

НАВОИ

НАВОИ

БИБЛИОТЕКА
ПОЭТА

Советская
печать



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Редакционная коллегия

Ф. Я. Прийма (главный редактор),

*И. В. Абашидзе, Н. П. Бажан, Г. П. Бердников, А. Н. Болдырев,
[А. С. Бушмин], Н. М. Грибачев, М. А. Дудин, А. В. Западов,
М. К. Каноат, К. Ш. Кулиев, Э. Б. Межелайтис, А. А. Михайлов,
Д. М. Мулдагалиев, С. А. Рустам, [А. А. Сурков], М. Танк,
В. Д. Федоров, М. Б. Храпченко*



*Большая серия
Второе издание*



С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ

Н А В О И

СТИХОТВОРЕНИЯ
И ПОЭМЫ

Вступительная статья

Камиля Яшена

Составление и примечания

А. П. Каюмова

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ • 1983

Алишер Навои (1441—1501) — выдающийся поэт-гуманист Средневекового Востока, основоположник узбекской национальной литературы. Его богатейшее стихотворное наследие составляют ряд диванов (сборников лирики), знаменитый цикл из пяти монументальных поэм «Хамсе» («Пятерика») и много других произведений. Полнотой материала настоящее издание превосходит большинство ранее выпущенных однотомных собраний сочинений Навои в русских переводах. Основные места в книге занимают пять поэм: «Смятение праведных», «Лейли и Меджнун», «Фархад и Ширин», «О семи скитальцах», «Стена Искандара», каждая из которых представлена в избранных главах. Раздел стихотворений объединяет разнообразные по жанрам и формам образцы лирики поэта (газели, мухаммасы, тюги, кыта, сакинаме и др.).

ВЕЛИКИЙ МАСТЕР ПОЭЗИИ

Классическое наследие прошлого в его самых лучших, гуманистических традициях, как известно, является неотъемлемой составной частью в строительстве социалистической культуры. Творчество Навои — наглядная и ярчайшая иллюстрация тому. В условиях социализма подлинные сокровища человеческого духа, созданные в далеком XV веке, продолжают служить делу нравственного и эстетического воспитания народов, созидающих коммунистическое общество.

Имя Алишера Навои по праву стоит в ряду величайших имен мировой художественной литературы. Узбекский народ гордится творческим подвигом своего гениального сына, так же как гордятся азербайджанцы своим Низами, таджики — Джами, грузины — Руставели.

В Советском Союзе произведения Навои доступны широким массам читателей на многих языках народов, населяющих нашу страну. Они неизменно вызывают интерес и восторженное отношение у людей самых разных профессий, возрастов, поколений, национальностей.

1

В истории литературы народов Востока поэзия занимала главное место. До нас дошли и стали предметом тщательного изучения некоторые образцы древней тюркской поэзии, известные науке как тюркские рунические надписи. Они относятся к VI—VIII векам.

Первое известное нам поэтическое произведение на тюркском, т. е. староузбекском, языке — дидактическая поэма «Наука быть счастливым» Юсуфа Хас-Хаджиба, написанная в 1069 году. Немного ранее была создана эпопея в стихах, написанная на фарси (таджикско-персидском языке), — «Шахнаме» Фирдоуси. Бессмертные произведения литературы на этом языке, выдающимися представителями которой были Рудаки, Низами, Хосров Дехлеви, Руми, Аттар, Саади, Хафиз, Джами и другие, проповедовали гуманистические

идеи, явились образцом блестящего мастерства художественного слова.

Узбекская литература развивалась на основе этих богатых литературных традиций. Еще до Навои на узбекском языке создавались такие произведения, как «Мухаббат-наме» («Книга любви») Хорезми, «Юсуф и Зулейха» Дурбека, «Махзанул-асрар» («Сокровищница тайн») Хайдара Хорезми, стихи «царя поэтов» Лутфи, поэтов Саккаки, Амири, Атаи, Гадои и многих других.

Однако привести в движение и раскрыть все творческие возможности родного языка, поднять узбекскую литературу и узбекский литературный язык до высшей степени совершенства — исполнение этой миссии выпало на долю Алишера Навои. Великий поэт, выдающийся деятель культуры, мудрый политик и государственный деятель, крупнейший ученый, художник и музыкант, Навои обладал еще одним ярчайшим талантом — талантом быть человеком. «Самым лучшим человеком признай того, от кого будет наибольшая польза для народа»; «Если ты человек, то не признавай человеком того, кто не заботится о благе народа». ¹ Эти мысли были высказаны Навои в эпоху, когда кровавые преступления были типичным явлением; когда из-за соперничества феодальных властителей рекою текла народная кровь; когда обычаем завосателей было сооружение башен из человеческих голов; когда жестокость и алчность были нормой поведения в кругах титулованных грабителей, имеющих власть над страной. В таких условиях жил, творил и боролся Навои.

Алишер Навои родился 9 февраля 1441 года в городе Герате, столице Хорасанского государства. Его отец Гиясиддин принадлежал к родовой знати, близкой ко двору правителей Хорасана. Навои с раннего детства рос и воспитывался среди людей, умевших ценить красоту художественного слова. Гиясиддин любил литературу, часто устраивал литературные беседы.

С детства Алишер увлекся чтением произведений классиков персидско-таджикской литературы: Саади, Аттара и других. По свидетельству самого Навои, его направляли, давали высокую оценку написанным им стихам такие поэты, как Лутфи, Шейх Кемаль Турбати. Навои учился у образованнейших людей своего времени, принимал участие в их высокоинтеллектуальных и глубоко поучительных беседах. Все это дало возможность ему взрастить свой поэтический дар, пробудившийся еще в раннем детстве.

Серьезнейшим событием в отроческие годы Навои было знакомство с оригинальным произведением средневекового Востока — поэ-

¹ Навои Алишер, Соч., т. 15, Ташкент, 1968, с. 59; т. 6, 1965, с. 155 (на узб. языке).

мой Аттара «Язык птиц». Мало сказать, что Навои был очарован им, — оно открыло перед мальчиком целый мир волнующей, безгранично прекрасной жизни — жизни духа, пленительной мечты, творческого воображения. С 1457 по 1464 год Навои совершенствовал свои знания в разных медресе Мешхеда, затем вернулся в Герат, где пробыл до 1466 года на службе правителя Хорасана и Мавераннахра — султана Абу Саида.

В беспокойной политической жизни Хорасана Хусейн Байкара, потомок Тимура по линии ферганских правителей Омар-шейха, в это время выдвигался на первый план. Он претендовал на хорасанский престол и, находясь в изгнании, предпринимал активные действия против султана Абу Саида. Семейства Гиясиддина и Байкары с давних пор имели очень тесные связи. Два дяди Навои — поэты Мирсаид Кабули и Мухаммед Али Гариби — за этот союз были казнены султаном Абу Саидом. Жизнь самого Алишера Навои также находилась в опасности.

В период правления Абу Саида в Хорасане еще более усилились гнет и притеснения. Навои писал: «... в Хорасане не осталось верности. Место верности заняло лицемерие, место щедрости — жадность, место великодушия заняли зависть и ненависть. Страна превратилась в груды развалин, в ад: уделом народа стало разорение. Сановники отобрали вакуфные¹ земли. Шах разрушил много благоустроенных районов, превратил их в место обитания сов... Те, кто сделал своим ремеслом ради черного гроша убийство человека, теперь требуют в виде взятки от мертвецов их саваны. Они невинного обвиняют в воровстве и отрезают ему руку; не оказывают помощи смертельно пострадавшему, а наоборот, помогают его убийце. В этой стране (т. е. Хорасане) нет ни единого должностного лица, у которого бедные, измученные люди могли бы найти помощь».²

До боли в сердце переживая это страшное положение, Навои мечтал о том, чтобы пришел конец тирании, произволу и страданиям народа. Он, видимо, надеялся на то, что в стране будут установлены мир и спокойствие, будет обеспечено благополучие народа, созданы условия для расцвета наук и искусств, если власть в государстве возьмет такой просвещенный и смелый человек, как Хусейн Байкара. Навои оказывал помощь Хусейну в осуществлении его намерений, подбадривал его в период опалы и неудач, внушал ему уверенность в конечной победе. В успехе друга Хусейна Байкары Навои видел залог торжества своих собственных гуманистических стремлений.

В 1469 году правитель Хорасана султан Абу Саид погиб в воен-

¹ В а к у ф — земли, пожертвованные их владельцами на благотворительные цели.

² Навои Алишер, Сокровищница мыслей, т. 1, Ташкент, 1959, с. 708—711 (на узб. языке).

ном походе. Хусейн Байкара, в это время овладевший вторым по величине городом Астрабадом, двинул свои войска в Герат и легко овладел хорасанским престолом. По вызову нового султана Навои в том же году из Самарканда прибыл в Герат.

Поэт посвятил султану Хусейну торжественную оду «Хилалия» («Новолуние»), в которой поздравил его с победой и выразил уверенность, что царствование его будет ознаменовано торжеством добра и справедливости. Однако реальная жизнь, объективные исторические обстоятельства показали тщетность надежд идеалистически настроенного поэта.

Большое централизованное государство во главе с таким образованным правителем, каким был султан Хусейн, на деле раздирали внутренние противоречия. Крупные феодалы (Музаффар Барлос и другие), с одной стороны, непокорные царевичи, стремящиеся к самостоятельности, — с другой, затевали междоусобные кровопролитные распри. Злоупотребления властью разных должностных лиц — судей, чиновников шахской канцелярии, провинциальных управляющих — не знали предела и ложились бременем на плечи народа. Реакционное духовенство под благовидным предлогом защиты религии фактически грабило людей; его алчности, жадности, обману и козням не было конца.

В такое смутное время Алишер Навои твердо стоял на защите интересов народных масс. Он занимал высокие посты при дворе султана Хусейна: должность хранителя печати, главного визиря (1472—1476). В 1472 году Навои был пожалован титул эмира, в 1488 году — почетный титул: «Приближенный его величества султана». Навои способствовал более разумному правлению страной, примирял конфликты между отцом-шахом и его непокорными сыновьями, требовал и добивался смещения и наказания сановников, допуская злоупотребления властью.

Герат и Хорасан обязаны деятельности Навои тем блеском, который они получили во второй половине XV века. Навои покровительствовал поэтам, ученым, художникам, каллиграфам, архитекторам, музыкантам, танцорам, композиторам и другим мастерам искусств и ремесел. Такие знаменитые деятели культуры и науки, как историки Мирхонд, Хондемир, Васифи, художник Камиллидин Бехзад, каллиграф Султан Али Мешхеди и многие-многие другие, были воспитанниками Алишера Навои.

Не имея ни семьи, ни детей, ни наследников, поэт значительную часть своего огромного состояния тратил на благотворительные дела. Он построил немало учебных заведений, больниц, караван-сараяв, каналов, мостов и дорог.

В Герате Навои поддерживал самые тесные отношения с великим таджикским поэтом и мыслителем Абдурахманом Джамии

(1414—1492), который был его ближайшим другом, единомышленником, учителем и духовным наставником. Дружба Навои и Джами навсегда останется в истории как яркий символ дружбы между узбекским и таджикским народами.

2

Ко времени, когда Навои стал видным человеком в Хорасане, получив почетную должность при дворе, он уже пользовался репутацией виртуозного мастера стиха. Любители поэзии — а таких было тогда немало — гонялись за его стихотворениями, заказывали с них копии переписчикам, составляли из них антологии, часто даже без ведома автора. Талант поэта с большой силой сказался в лирике, долгое время остававшейся единственным родом его творчества, за пределы которого Навои вышел только в зрелом возрасте.

Лирические жанры, в особенности газели, пользовались большим успехом среди образованного населения Хорасана и других стран мусульманского Востока. Но авторы лирических произведений, даже те, кто обладал оригинальным и ярким дарованием, могли рассчитывать на прочную известность лишь в том случае, если им удавалось создать диван (т. е. сборник) своих стихов. Практика составления диванов имела в эпоху Навои давнюю традицию. Считалось, что, чем большее количество жанров и форм лирики представлено в диване, тем в более выигрышное положение ставил себя его автор, который мог блеснуть широтой и гибкостью своих способностей. Существовали определенные правила построения дивана. Обычно он открывался касыдами — стихотворными панегириками типа похвальных од, за которыми шли газели, сакинаме, тарджибанды, мухаммасы, мустазады, месневи и т. д. Замыкались диваны, как правило, такими лаконичными формами лирики, как рубаи, туюги и фарды.

Каждый вид лирики следовал также строго установленным канонам. Например, предусматривалось определенное количество стихов и строф в стихотворении, система и характер рифмовки. Многие виды лирики могли использовать только заранее заданную тематику.

Щедрость дарования Навои была такова, что поэт охватил все разновидности лирического творчества, созданные народами мусульманского Востока на протяжении ряда столетий. Газели и кыта, тарджибанды и рубаи — в каком бы жанре ни выступал Навои, он всюду с блеском доказывал безграничные возможности своего таланта и мастерства.

Попытку составления дивана стихов Навои предпринял в конце 1470-х годов, кстати говоря, по совету султана Хусейна, поощряв-

шего своего визиря в его литературных занятиях и подчас даже вступавшего с ним в творческое соревнование.¹ Первый свой диван, куда вошли стихи 1470—1476 годов, поэт озаглавил «Редкости начала». Позднее им был составлен второй диван «Диковины конца», объединивший стихи 1480—1492 годов, а в последние годы жизни (между 1491 и 1498 годами) поэт пересматривает свое громадное лирическое наследие, которое распределяет по четырем сборникам, известным под общим названием «Чар диван». Так появились четыре дивана: «Чудеса детства», «Редкости юности», «Диковины среднего возраста» и «Полезные советы старости», — на основе которых Навои создает в 1498—1499 годах сводный диван избранных образцов своей лирики — «Сокровищница мыслей». В этом монументальном памятнике узбекской средневековой поэзии, содержащем около 45 тысяч строк, главное место занимает жанр газели, форма которой была уже отточена поэтами многих поколений, в том числе такими узбекскими мастерами, как Амири, Атаи, Саккаки, Лутфи, Гадои.

Современному читателю Навои следует знать о том, как велика была в средневековой восточной поэзии власть художественной традиции, литературного авторитета и образца. История газели — яркий пример, превосходно иллюстрирующий власть традиции в пределах одного жанра.

На протяжении целого ряда веков газель как жанр сохранила все свои структурные особенности и компоненты. По содержанию она близка к романсу. Газель также очень напоминает любовную элегию, вещающую, как известно, о неразделенном чувстве, о погибших надеждах на взаимность, о непреодолимых препятствиях на пути соединения влюбленных. Традицией предписывались определенные «персонажи» газели. Это, прежде всего, влюбленный герой, испытывающий муки томления, сгорающий от неутолимой страсти. Столь же постоянными чертами наделяется и образ избранницы: ее красота божественна и ослепительна, но она либо холодна к своему поклоннику, либо предпочитает ему другого, либо вовсе его не замечает. Распространенный, хотя и не столь обязательный «персонаж» газелей — кравчий (виночерпий), чье вино должно заглушить боль от любовной тоски, погрузить ум влюбленного героя в сладостную мечту, либо, напротив, обострить его страдания до крайней степени.

Литературным этикетом предписывалось воспевание красоты возлюбленной, причем сложился определенный канон таких восхвалений. Обычно воспевались глаза, брови, ресницы и волосы красавицы, румянец щек и белизна ее кожи, маленький рот, ярко-красные

¹ Правитель Хорасана Хусейн Байкара был тоже поэт, писавший под псевдонимом Хусейни. Он оставил заметный след в истории узбекской литературы.

уста, стройный и гибкий стан, нежный пушок и родинки на лице. Симптомы любовного томления и страдания также имели устойчивые опознавательные признаки: жар в крови, чувственное опьянение, оцепенение, обморочное состояние, самоуничтожение, разрывание ворота (в знак отчаяния) и т. п. При этом использовался готовый набор деталей, метафор, сравнений и уподоблений.

Добавим, что автор газели должен был каждый раз преодолевать одни и те же технические трудности. Газель, как правило, строилась из 4—11 бейтов (двустихий), скрепленных единой рифмой. Нередко задача осложнялась: вслед за рифмой появлялся редиф — слово (или группа слов), повторяющееся в конце каждого бейта. Наконец, автор должен был обязательно упомянуть свой поэтический псевдоним в заключительном двустихии — так называемый прием тахаллуса. Кстати говоря, имя Навои — не что иное, как поэтический псевдоним поэта, означающий: мелодичный.¹

Из сказанного видно, в какие ограниченные рамки была заключена фантазия автора газели. И однако поэты находили возможным проявлять оригинальность.

Современному читателю, не посвященному в особую жизнь этого жанра, газели Навои могут показаться несколько однообразными. Однако восприятие классической газели требует определенного читательского навыка. Вдумчивый и подготовленный читатель не может не отдать должного искусству поэта. Поистине захватывающее занятие — следить за тем, как в предельно суженных формах фантазия Навои выявляет свою неистощимую изобретательность, как она творит все новые и новые вариации образов, красок, деталей, которые от газели к газели поворачиваются разными гранями, обретая подчас неожиданные и прямо противоположные смыслы. Какое необъятное разнообразие в единообразии!

В отличие от элегии газель не допускает изображения «истории» чувства или индивидуальной ситуации, в которой оно возникло. «Ситуация» в газели, как сказано, в сущности — одна и та же. Она метафизична и не нуждается в развитии. Но она допускает и даже требует того, чтобы в нее был вовлечен довольно обширный «ассортимент» подробностей предметно-чувственного мира — подробностей, взятых из жизни природы, из социального быта, культурного и религиозного обихода, из мифологии и поэтического эпоса народов Востока. Так, большинство газелей не обходится без того, чтобы в них не упоминались солнце, луна, звезды, пустыня, заря, ветер, ливень, молния, сад; печень (аналог сердца в поэзии Запада), цветы и деревья (неизбежная роза, тюльпан, камфара, кипарис, чинар);

¹ Иначе — псевдонимом Фани (что значит: тленный) — Навои подписывал свои стихи на языке фарси.

животные и насекомые (конь, собака, сова, голубь, неизбежный соловей, мотылек, скорпион и т. д.). Часто встречаются признаки городского пейзажа (улица, майдан, дом, стена, мечеть, базар), упоминаются предметы хозяйственного и культурного обихода (свеча, кубок, халат, шелк, ковер, сеть), драгоценности (золото, серебро, жемчуг, рубины). Значительны вкрапления из области религиозного культа (мечеть, минбар, михраб, намаз, четки, кыбла, сура). Но обильнее всего, пожалуй, представлены в газелях атрибуты и признаки войны: поле битвы, полчища воинов, разграбленная врагом местность, лук и стрелы, копья, меч, щит и т. д. Подробности, подобные перечисленным, давали возможность нарисовать некую, конечно, очень условную обстановку. Но именно на них проецируются переживания влюбленного, вследствие чего детали этой обстановки часто превращаются в иносказания, в своеобразный язык любви. Например, кипарис — чаще всего не деталь южного пейзажа, а стройный стан красавицы, красавица вообще. Аналогично значение и арабской буквы «алиф» — символа стройности. Камни и стрелы — обычные синонимы любовных терзаний. Зуннар (пояс, который носили немусульмане) — символ неверности. Рубин — алые уста, а стрелы — ресницы возлюбленной, лук и михраб (сводчатая ниша в мечети) — изгибы ее бровей. Готовый запас таких подробностей позволял авторам газелей путем бесконечного варьирования и комбинирования уже испытанных художественных средств создавать все новые и новые узоры. Залогом успеха была высокоразвитая ассоциативность художественного мышления. Покажем это на примерах нескольких газелей, включенных в настоящее издание.

Едва подкову подниму, бровь милой вспоминаю я,
И, как михраб, душа моя бывает сумраком полна.

*(«С прикосновеньем губ твоих душа бессильна
и больна. . .»)*

Здесь представление о безукоризненно симметричном изгибе объединяет три слова: брови, михраб и подкову.

Богатейший пучок ассоциаций рождает красно-розовый цвет:

Ветер утра, одари нас шелком розовым зари,
Чтобы роза лепестками кипарис мой обняла.

Первый бейт этой газели, в котором розовый цвет зари как бы служит одеянием стройного стана красавицы, подсказывает следующий бейт, где розовый цвет переходит в красный:

То не край завесы неба окровавила заря —
Это кровь моих рыданий ночью землю залила.

А вот не менее показательный начальный бейт еще одной газели:

Когда тюльпаны зацветут на брошенной моей могиле,
Знай: пламень сердца рдеет тут, здесь раны кровь мою пролили.

Алый цвет в газелях Навои обретает всевозможные оттенки. Поэт видит его и в отсвете осенней красноватой листвы, и в тюльпанах, и в рубиновых устах красавицы, в вине и в пламени:

...померкли осенью глаза,

Унылый листопад разлуки их алой кровью оросил.

(*Друзья! Надежда на свиданье сожгла мне грудь,
лишила сил...»*)

Еще и стрелы не дошли, а я уж в сердце ранен был,
На эту рану ливень стрел ударил из твоих зрачков.

Стремясь к рубинам губ твоих, кровавым морем слезы лью.
Дивиться ль алым облакам над морем, где струится кровь?

(*«В мечтах увидя шелк ресниц, я из-за них
страдать готов...»*)

В двух последних бейтах красный цвет сопрягается с представлением о влаге и жидкости. А в концовке цитируемой газели (спустя десять строк) эти ассоциации подобно отзвуку эха снова оживают.

Где *розоцветное* вино, где *розоликий* кравчий мой?
Вот почему и Навои покинуть Хорасан готов.

Культуре ассоциативного мышления немало способствовал такой распространенный прием поэтической классики Востока, как редиф. У больших поэтов редиф — не просто щегольское украшение, а главная тема всего стихотворения, формулируемая в повторяющемся слове (либо группе слов). Привычная метафора любовной горячки — пожар — в нижеследующей газели Навои превращается в своеобразный перечень разных видов горения:

Скажи я всё, что в сердце скрыл, — земля запылывает
И среди дня весь хор светил костром запылывает.

О, не прикладывайте мне целебной мази к ране,
Не то и вата, как фитиль, на ней запылывает.

Когда огонь внутри горит, не скрыться от пожара —
Куда бы ты ни уходил, он всюду полыхает.

О, мой язык — язык костра, и каждый вздох мой — искра:
Куда бы он ни угодил, всё вмиг запылывает.

Я молнией твоей любви, как ствол сухой, повержен:
Ее давно и след простыл, а он всё полыхает.

Увы, из глаз моих поток — и тот течет горячим,
И след, который прочертил, ожогом полыхает.

О Навои, огонь любви хмельною влагой тушат,
Но сердце, сколько бы ни пил, всё так же полыхает. . .

Немало у Навои газелей, где сквозные ассоциации, захватывая весь текст или большую его часть, выражены несколько приглушенно. Вот один из подобных образцов:

В моих слезах — из сердца *кровь*, поток их *красным* кажется,
Да, это — *кровь*, хоть отблеск слез как будто ясным кажется!

Я раз припал к ее губам — мой ум сражен безумием:
Кто тих — и тот, испив *вина*, подчас опасным кажется!

Страшна и малая печаль для сердца сокрушенного:
Подбитой птице ком земли — и тот ужасным кажется.

Увижу днем ее чело — она и ночью снится мне:
Взглянув на солнце, взор смежишь, — оно всё *красным* кажется!

Вокруг себя людскую *кровь* ты проливала реками,
В них гряда черепов-каменей пластом безгласным кажется.

Может быть, самое любопытное в этой газели то, что Навои не поддавался соблазну продолжить до конца выстроенную им цепь: кровь, бьющая из сердца, — губы — вино — подбитая птица — красное солнце — кровь многих людей. Поэт закончил газель неожиданно:

Дверь кабачка закрой не всю — как лик прикрыли локоны:
В полнеба разлитой *закат* всегда прекрасным кажется.

Взгляни, о боже, Навои какой объят молитвою:
Мне брови чудятся, михраб в их сгибе властным кажется!

Чуткий и требовательный художник, Навои не гнался за внешними эффектами, пользуясь ассоциативным мышлением в той мере, в какой оно не угрожало изысканностью, нарочитостью и схематизмом.

Перу Навои принадлежит по меньшей мере две с половиной тысячи газелей — плод великой щедрости его таланта! Конечно, его газели — в гораздо большей мере явление искусства, нежели чело-

веческий документ. Отнюдь не личные увлечения побуждали поэта к созданию столь обширного свода любовной лирики. Но это обстоятельство нисколько не умаляет ее действенности — напротив. Поражает прежде всего разнообразие настроений и широчайший диапазон чувств, которые поэт сумел выразить в своих газелях. Несмотря на то что газель — это песня о недостижимой или отвергнутой любви, Навои почти каждый раз ищет и передает новую эмоциональную атмосферу, светящуюся разными нюансами чувств. Сетования, печаль, мольбы и скорбь поэт порой предельно обостряет, порой же они граничат с радостью, умилением и восторженным упоением.

Наряду с богатством эмоциональной палитры вторая отличительная черта многих газелей поэта — тема верности, которая станет лейтмотивом его поэтического эпоса и которая в ту эпоху имела злободневный гуманистический смысл, далеко выходящий за пределы интимного чувства. На это указывает ряд газелей, помещенных в настоящем издании. Вот одно из таких указаний:

Влюбленный! Верность сохраняй избраннице навеки.
Единым чувством будь силен. Твоя опора — верность.

В наш низкий век не доверяй ни знатым, ни богатым.
Пей с горя, скорбью опьянен. Чужда вельможам верность.

(«Я буду очень удивлен, что соблюдает верность. . .»)

О значении этой темы свидетельствует тот факт, что в свою поэму «Смятение праведных» Навои включил обширный гимн, прославляющий вафо, т. е. верность. По резонному замечанию В. Захидова, верность Навои понимал как «большую социальную категорию».¹

Традиции поэтической классики Востока допускали в газелях отклонения (впрочем, весьма ограниченные) от главной (т. е. любовной) темы. Удельный вес таких газелей в наследии поэта значителен. Но еще более важно то, что целый ряд его газелей подобного рода наполнен острокритическим содержанием. Мишенью смелой сатиры Навои становятся служители ислама — ишаны, имамы, корыстолюбивые, лицемерные шейхи, использовавшие религию в целях наживы, беззастенчиво вымогавшие у народа последние гроши. Едко и хлестко звучат такие газели, как «Мечется в кругу дервишей, воеет в испуганье шейх. . .», «С минбара искусное слово лепил проповедник. . .», «Он любить мне запрещает, простодушный, кроткий шейх. . .», «Пустословя на минбаре, вволю чешет шейх язык. . .».

¹ См.: Захидов Вахид, Мир идей и образов Алишера Навои, Ташкент, 1961, с. 145.

Сдергивая маску с подобных проповедников Корана, Навои изображает их подлинное лицо:

В ярости — он хищник дикий, похотью — как грубый скот,
Хоть и кажется двуногим по прямой походке шейх.

На людей похожим станет разве только в кабачке,
Если хмелем бренной влаги пополощет в глотке шейх!

*(«Он любить мне запрещает, простодушный,
кроткий шейх! . .»)*

Следует, наконец, сказать еще об одной особенности газелей Навои — о насыщенности их двустихиями с емким назидательным смыслом, кристаллизующими мудрость поэта, его склонность к философским раздумьям.

Проповедник гуманных и благородных истин, Навои блестяще показал себя и в такой афористической по своей природе форме лирики, как кыта, среди которых читатель без труда найдет колкие социальные выпады и обличительные мотивы. С презрением отвергая лесть и угодничество перед сильными мира сего, поэт отстаивает достоинство и уважение к истине:

Не позволяй льстецам себя завлечь —
В корысти все негодники едины.
Беседуя, цени не чин, а речь:
Не важно, кто сказал, важны причины!

А другое кыта, как бы продолжая тему предыдущего, поэт начал так:

Не разделяйте трапезу с тираном —
Прилично ли лизать собачье блюдо?

Решительно ополчался Навои против преклонения перед властью денежного мешка и золота, предупреждая о разлагающих последствиях этой низменной страсти:

Что злато-серебро? От них — лишь порча рук.
Возьмешь — блестит, отложишь — руки в черном!
Но и душе они — погибельный недуг:
Загубишь жизнь пристрастием позорным!

Поэт развенчивает спесь и высокомерие тех, кто «пробился в вельможи» («Бывает так, что спеси полн болван. . .»). Однако Навои решительно защищал гордость, основанную на вере в справедливость и стремлении к добродетели. Вот как он изобразил свою деятельность при дворе султана Хусейна:

В диване шах печать мне поручил —
В готовые дела клеймо вклепать.

То означало: гордость заглуши
И ниже всех других в диване сядь.

Однако с таким отречением от гордости, которое было равносильно отказу от участия в делах, поэт примириться не мог:

Но гордость я никак сломить не мог,
И вышло так, что я сломал печать.

Навои принадлежал к числу тех немногих в истории государственных деятелей прошлого, для которых политика была неотделима от нравственности и служила как бы ее продолжением. Слова и дела не расходились в жизни поэта. Он поступал в соответствии со своими убеждениями, которые открыто высказывал в стихах.

3

Придворные круги ненавидели Алишера Навои за его действия, направленные на благо народа, за резкое осуждение им деспотизма и насилия, корыстолюбия и низости. Со временем эта вражда все более и более усиливалась. История сохранила следующий примечательный эпизод: когда Алишер Навои жаловался и говорил, что ему надоели люди шахского двора, Джами ответил: «Разве там есть люди, если есть, то покажи их нам».¹

Борьба против феодальной знати была задачей трудной и опасной. Иногда одерживали верх круги, враждебно настроенные против Навои. В 1487 году он был удален из столицы и назначен правителем пограничного города Астрабада. В 1488 году в Астрабаде готовилось покушение на жизнь Навои. Только благодаря проницательности поэта оно было предотвращено. Весть об этом происшествии всколыхнула страну и дошла до Герата. Султан Хусейн вынужден был вскоре вызвать Навои в столицу. По возвращении в 1489 году в Герат Навои продолжал свою деятельность и творческую работу.

Смуты и междоусобные войны все более омрачали политическую жизнь государства. Сыновья султана Хусейна один за другим вставали против центральной власти. В это беспокойное время Навои, с присущей ему дальновидностью и громадным авторитетом, был одной из главных опор расшатавшейся власти султана. Но это не помешало тому, что близкие Навои лица пали жертвой различ-

¹ Навои Алишер, Соч., т. 14, Ташкент, 1967, с. 19 (на узб. языке).

ных политических интриг. В частности, был посажен в темницу и закован в цепи младший брат Навои Дарвешали, правитель города Балха; был казнен племянник Навои, поэт Мир Хайдар Сабухи.

Навои не жалел сил для того, чтобы установить в стране порядок и спокойствие, согласие между царевичами, обеспечить нормальные условия для труда дехкан и ремесленников. Однако феодальные распри не прекращались. Очень характерную картину этой эпохи Навои в своей поэме «Стена Искандара» описал так:

Вот два царя враждуют, мир поправ,
Всю землю на две доли разодрав.

И уведет от мирного труда,
Вооружит народы их вражда;

И поведет, ожесточив сердца,
Отца на сына, сына на отца. . .

Отец возжаждет сына истребить,
И сын возжаждет кровь отца пролить,

И брат на брата обнажит свой меч,
Чтоб голову мечом ему отсечь. . .

В результате интриг царедворцев погиб молодой принц Мумин Мирза, внук султана Хусейна. Он был казнен по приказу самого султана, к чему его склонили придворные интриганы, причем султан приложил к приказу свою печать в пьяном, почти бессознательном состоянии. Отмена приказа, последовавшая на другой день, опоздала. Ни в чем не повинный четырнадцатилетний Мумин Мирза был обезглавлен. Это еще больше обострило внутренние противоречия. В казни Мумина Мирзы Навои увидел предзнаменование гибели власти Тимуридов. История вскоре подтвердила его предчувствие.

В 1500 году султан Хусейн отправился в очередной военный поход против восставшего сына Мухаммеда Хусейна. Как обычно, ведение дел в столице на время отсутствия властителя было поручено Навои.

Вскоре отец и сын помирились. Султан Хусейн возвращался в Герат. Навои со своими приближенными выехал из столицы ему навстречу. 30 декабря 1500 года они встретились вблизи Герата. Навои слез с коня и подошел к султану Хусейну. Тут ему стало плохо. Ни слова не успев сказать, он упал без сознания (случилось

кровоизлияние в мозг). 3 января 1501 года в Герате Навои скончался.

Весь Герат провожал в последний путь своего любимого поэта и мудрого деятеля. Целый год в стране длился траур по поводу кончины Алишера Навои — так велика была любовь к человеку, посвятившему весь свой талант и дарования бесконечно любимому им народу.

4

Литературное наследие Алишера Навои огромно. В нем мы находим множество прекрасных стихотворений, эпические произведения, научно-философские трактаты, литературоведческие исследования, жизнеописания ученых, поэтов, философов, труды по истории, по языкознанию.

Вершиной же поэтического творчества Навои является создание «Хамсе» («Пятерицы») — цикла из пяти крупных поэм.

В начале 80-х годов XV века, в зрелый период жизни, будучи прославленным поэтом и крупным государственным сановником, в прозаическом произведении «Вакфия» («О жертвоприношениях»), где Навои подводит итог своей деятельности строителя (продолжавшейся, впрочем, до конца дней), он высказывает свое заветное желание: написать в оставшиеся годы жизни такое монументальное поэтическое произведение, чтобы память о нем сохранилась на долгие века.¹ Примеры подобных произведений были хорошо известны поэту и его современникам: это, во-первых, эпическая поэма «Шахнаме», грандиозное творение прославленного персидско-таджикского поэта Абулькасыма Фирдоуси Туси, во-вторых, тематически соприкасающийся с ней цикл из пяти поэм «Хамсе», созданный двумя веками позже, в XII столетии, великим азербайджанцем Ильясом Низами Гянджеви (1141—1203).

«Пятерицу» можно кратко определить как свод исторических, философских, космогонических и географических познаний своего времени, преподносимых читателю в виде занимательных, зачастую высокохудожественных, романтических или авантюрных сюжетов, с участием либо легендарных, либо исторических персонажей (воссозданных, естественно, с помощью творческой фантазии), либо просто вымышленных или мифических, причем «сверхзадачей» такого повествования является изложение и утверждение (а в иных случаях, наоборот, — опровержение) тех или иных философских понятий, религиозных и нравственно-этических догм, житейских правил и т. д.

¹ См.: Иззат Султан, Книга признаний Навои, Ташкент, 1979, с. 234—235.

Иными словами, произведение это должно было представлять некий сплав духовных ценностей самого высокого достоинства.

Такая многогранность и глубина содержания при совершенстве художественного выполнения, способность удовлетворить потребностям и соответствовать вкусам высокообразованных и взыскательных читателей создали «Пятерице» Низами сразу же после ее написания очень широкую популярность на всем мусульманском Востоке, а значит, согласно литературным традициям эпохи, — возбудили у поэтов, современников и потомков, желание подражать высокому образцу, продолжить и творчески развить начатое основоположником. Обычаем литературной практики того времени было создание стихотворных «ответов» на произведение, уже ставшее известным, будь то небольшая газель или громадная по размеру поэма: автор «ответа» варьировал те или иные особенности содержания и формы произведения-образца, демонстрируя свою способность уловить в нем самое ценное, внести в него собственную долю фантазии, по возможности что-то оттенить, переставить акценты и т. д.

В период XIII—XV столетий, с появления «Пятерицы» Низами и до того времени, когда за подобный же труд принялся Навои, исследователи насчитывают до десятка поэтов, трудившихся на этой же стезе. Сведения о некоторых из них отрывочны; с несомненностью установлено, что ими были созданы одна либо две-три поэмы из «пятисложного» цикла. Сами эти поэмы зачастую известны лишь по названию либо в отрывках, в неполных списках. Так, например, сам Навои в своих литературоведческих трудах называет Ходжу Имадиддина Лахури, поэта из Индии, писавшего на фарси, автором лучшей из поэм «Лейли и Меджнун» (из цикла «Хамсе») — следовательно, было еще немало других авторов. Из их числа Навои упоминает Ашрафа, умершего в середине XV века, а из своих современников — Мавлана Али Аси, Абдаллаха Хатифи. Тот факт, что уже в эпоху Навои о произведениях поэтов подобного ранга можно было сказать сравнительно немного, дает основание предположить: их попытки продолжать традицию «Хамсе» не имели большого успеха. Создать весь цикл из пяти поэм, творчески воспроизвести и продолжить то, что начал Низами, удалось лишь двум авторам — Амиру Хосрову Дехлеви (1253—1315), крупному ираноязычному поэту, жившему в Индии, а также старшему современнику и наставнику Навои, классику персидско-таджикской литературы Абдурахману Джами.

В Герате эпохи Навои, в условиях, благоприятных для развития литературы и культурной деятельности в целом, «Пятерицы» Низами и Хосрова Дехлеви пользовались исключительной популярностью. В Герате же были созданы многие «ответы» на них, в том числе са-

мый значительный — «Пятерица» Джами.¹ Все это стало внешними побудительными стимулами к тому, чтобы у Навои появилось желание приняться за подобный же труд. Более важны, однако, стимулы внутренние: поэт, в зрелом возрасте обогащенный колоссальным жизненным и литературным опытом, ощутил настоятельную потребность воплотить в емком поэтическом творении уроки мудрости — житейской, нравственной, государственной, — выношенные и выстраданные им, преподать их современникам и потомкам ради их духовного усовершенствования и социального благополучия родины. Жанр «Пятерицы», к тому времени вполне сложившийся, подходил для этой цели как нельзя лучше. Непосредственным побудительным импульсом к работе, возможно, стало для Навои появление первой из пяти поэм Джами — «Тухфатул-ахрар» («Дар благородным»). Свообразным «эхом» — так предписывал литературный канон — звучит заглавие и первой поэмы в «Пятерице» Навои: «Хайратул-абар» — «Смятение праведных».

Еще раз подчеркнем особенность литературной практики того времени: устойчивость, канонизированность поэтических жанров, о чем говорилось выше в связи с лирикой Навои. Можно предполагать, что это — отражение традиций фольклора, где «стереотипы», жанровые, сюжетные, образные, версификаторские, обеспечивают устойчивость словесной ткани произведения, сберегаемого только памятью народного певца, создающего свои варианты текста в соответствии с индивидуальными особенностями своего дарования и вкусами слушателей. Письменная литература эпохи Навои во многом следовала правилам такого рода. В частности, каждая новая поэма должна была быть в чем-то существенном «похожа» на близкую ей по содержанию и форме поэму предшественника. Это обеспечивало новой вещи успех у читателя. С другой стороны, степень одаренности, творческого своеобразия поэта-продолжателя определялось то, насколько его творение по-своему «непохоже» на образец, что нового внесено в уже написанное, что продолжено, углублено, заострено при сохранении замысла, сюжетной канвы, общих особенностей и т. п.

В 1483 году с самого начала работы над «Пятерицей», когда

¹ Первый дастан (поэма) «Пятерицы» Джами — «Дар благородным» — был завершен автором в 1482 году. Спустя год появился первый дастан «Пятерицы» Навои. Оба цикла поэты завершают в одном и том же году — 1485-м, оба — дастанами об Искандаре. Работали они, таким образом, параллельно, вдохновляя друг друга. Это ли не прекрасный пример творческого содружества двух могучих талантов? Завершив традиционную «Пятерицу», Джами впоследствии присоединил к ней два дастана, созданные ранее («Золотая цепь» и «Саламан и Абсал»), составив «Семерицу» (напомним: «пять» и «семь» — числа издревле магические) и назвав ее «Хафт авранг» («Семь престолов», — имелось в виду созвездие Большой Медведицы).

Навои освободился от высоких постов при дворе султана (но все же не до конца избавился от хлопотных обязанностей по государственной службе), он в качестве главных образцов избрал для себя труды прежде всего Низами и Хосрова Дехлеви. В начале и конце каждой из пяти поэм Навои говорит о своей зависимости от предшественников, называя себя всего лишь их учеником, который едва ли и достоин состязаться с учителями (скромность в данном случае не только предписывалась каноном, но и была выражением искренней признательности поэта великим предшественникам, глубокого восхищения их творческим подвигом). И тут же Навои подчеркивает: он намерен продемонстрировать и свои творческие возможности, не отказываясь от самостоятельной трактовки сюжетов своей «Пятерицы».

Одной из насущных для Навои всегда была проблема тюркского (староузбекского) языка, его важной роли в литературной практике своего времени и его способности играть такую роль. Проблема эта как бы вновь обрела актуальность, когда поэт приступил к написанию «Пятерицы». Все известные Навои предшествующие образцы этого жанра были созданы на языке фарси.¹ Навои решил, что читающие по-тюркски вполне достойны иметь на своем языке такое сокровище духовной культуры, как «Хамсе», и что подарить им это сокровище — его долг. В поэме «Смятение праведных» Навои пишет, что, после того как Джами благословил его на труд, он

...Желанье ощутил в душе своей,
Желанье вслед великим трем идти,
Хоть шага три пройти по их пути.

Решил: писали на фарси они,
А ты на тюркском языке начни.

Хоть на фарси их подвиг был велик,
Но пусть и тюркский славится язык.

Затем Навои неоднократно и с предельной категоричностью высказывает следующее: он вовсе не намерен пересказывать по-тюркски поэмы предшественников, тем менее — переводить их на тюркский. И поэт с блеском выполнил миссию, им самим на себя возложенную: каждая из пяти его поэм, в общих чертах следуя сюжетной канве и варьируя идейно-образную ткань предшественника, являет собой оригинальное произведение, где словесная ткань тюркского (староузбекского) языка виртуозно использована для выражения идей, актуальных для эпохи Навои; причем стиль, поэтическая тональность произ-

¹ В XIV веке в Золотой Орде поэт Кутб написал поэму «Лейли и Меджнун» — на бытовавшем там старотюркском языке. О ее существовании Навои, по-видимому, не знал.

ведения отражают богатый и сложный внутренний мир поэта, его неповторимую индивидуальность, тонкое и чуткое постижение им человеческих поступков, помыслов и эмоций.¹ Создание «Пятерицы» на языке тюрки — подвиг Навои еще и ради упрочения позиций староузбекского языка в качестве литературного, наравне с фарси и арабским, господствовавшими тогда в культурной жизни мусульманского Востока.

Приступив к осуществлению давно задуманного, Навои завершает первую поэму «Смятение праведных» в том же году, в котором начал, — в 1483-м. Быстрота, с которой, неожиданно для него самого, пошло дело, блестящий успех и широкая известность, которых удостоилось первое творение, вдохновили поэта на продолжение труда. И следующие три поэмы — «Фархад и Ширин», «Лейли и Меджнун», «О семи скитальцах»² — были начаты и окончены в течение одного лишь года — 1484-го. При этом от государственной службы Навои так до конца и не оставался освобожденным.

Завершающая цикл поэма «Стена Искандара», вероятно, была написана в 1485 году. Некоторая задержка с ее завершением была вызвана не только естественным переутомлением, но и возникшими у автора сомнениями принципиального порядка, о которых речь впереди.

Таким образом, колоссальный труд, содержащий свыше 51 тысячи стихотворных строк, был создан за период немногим более двух лет, а если считать только дни работы над произведением, то и того меньше — всего за шесть месяцев.³

Сам Навои в заключительных строках финальной поэмы «Стена Искандара» выражает — естественное в его устах — сомнение в собственном успехе, в том, удалось ли ему хотя бы приблизиться к тому, чего достигли великие предшественники. Однако именно один из них — Джамии — сразу же, как только ознакомился с произведением своего ученика, дал его «Пятерице» самую высокую оценку, справедливо расценив ее как грандиозное событие литературной жизни своей эпохи, крупный вклад в сокровищницу духовной культуры всего человечества. Время доказало справедливость этой оценки.

¹ Заслуга в раскрытии многоплановой художественной оригинальности «Пятерицы», созданной Навои, принадлежит Е. Э. Бертельсу. См. его фундаментальное исследование «Навои. Опыт творческой биографии», М.—Л., 1948 и в кн.: Бертельс Е. Э., Избранные труды. Навои и Джамии, М., 1965.

² Иначе — «Семь планет» (узб. «Сабъи сайяр»); различный перевод названия вызван тем, что планета по-арабски именуется словом, обозначающим «странник» или «скиталец»; в отличие от звезд, стабильных на карте неба, планеты переходят, «странствуют» из созвездия в созвездие. Здесь, кроме того, подразумеваются семь странников, рассказы которых слушает шах Бахрам в семи дворцах.

³ См.: Иззат Султан, Книга признаний Навои, с. 249.

И теперь, в наши дни чтение «Пятерицы» Навои в оригинале, в переводе ли — занятие поистине захватывающее, способное вызвать глубокое сопереживание. Не вдаваясь в подробный анализ поэм, мы коснемся лишь некоторых моментов как многопланового сродства между ними, так и специфики каждой из них.

5

Прежде всего обращает на себя внимание, что первая поэма, «Смятение праведных», не похожа на четыре других. Она, в отличие от них, бессюжетна и «безгеройна». «Смятение праведных» — это философско-дидактический трактат почти в чистом виде, «почти» — потому что абстрактные понятия о сущности человека, человеческого духа, роли слова, наконец составляющие предмет двадцати «бесед» нравственные категории щедрости, благопристойности, воздержания, правдивости и т. д. и т. п. иллюстрируются краткими рассказами — своего рода новеллами в стихах, где действуют персонажи, чьи характеры очерчены скупо, но выразительно. Сюжеты этих новелл — типа басен или притч, порой с участием исторических или мифических героев и т. п. Таким образом, это философский трактат, но созданный пером художника, в целом являющийся порождением его образного мировосприятия.

Далее. При явном структурно-смысловом отличии первой поэмы от четырех остальных мы без труда видим в ней то, что сплачивает все пять в единый по замыслу цикл. Каждая из них (в меньшей степени вторая — «Лейли и Меджнун», о которой разговор особый) содержит значительный, философический элемент мысли, ориентированный на дидактику, воспитание читателя в том духе, какой поэтом признается желательным. В прямой форме поучений этот элемент занимает особое место в поэме «Стена Искандара». Только здесь поучения «оживляются»: они вложены в уста двух собеседников — Искандара (Александра Македонского) и его сверстника и ученого друга Арасту (Аристотеля). В поэме «О семи скитальцах» сравнительно со «Смятением праведных» ситуация, при которой читатель должен извлечь из текста нравственный урок, как бы «обернута вспять»: сперва рассказываются сказки-притчи, затем следует назидательный вывод.

Один из философских лейтмотивов, в прямой форме выражаемый в поэме «Смятение праведных» и в более завуалированной — в остальных, — это призыв к доброте, к тому, чтобы в отношениях между людьми господствовали доверие и сострадание:

Не назовется человеком тот,
Кого людское горе не гнетет.

В этом смысле Навои — прямой последователь своих предшественников и учителей, в первую очередь Низами и Джами, в чьих произведениях мотивы гуманности звучат с немалой силой (заметим, что в этом отношении, как и в ряде других, всем троим до известной степени уступает Хосров Дехлеви, чья «Пятерица», при высоких художественных достоинствах, менее насыщена философскими и дидактическими мотивами, раздумьями на социальные темы и т. п.). Зато в другом с особенной яркостью проявляется индивидуальность Навои, его громадный опыт исторического мыслителя и, главное, государственного деятеля, долгие годы стоявшего в центре важных политических событий эпохи. Это размышления о сущности единодержавной власти, об обязанностях правителя, о его нравственном облике, о структуре общества, его «низах» и «верхах», о функциях государственного аппарата и органов правосудия, о положении войска, о налогах и т. д. В «Смятении праведных» весь этот круг проблем лишь намечен, однако содержание следующих поэм неопровержимо свидетельствует: они — главное, что постоянно занимает мысли поэта, глубоко тревожит его. И в этом «Пятерица» Навои стоит неизмеримо выше аналогичных произведений его предшественников.

В первой части поэтического цикла Навои эпизодически появляются Искандар (Александр Македонский), иранские шахи Хосров и Бахрам, царевич-каменотес Фархад — персонажи, которым в более поздних частях «Пятерицы» суждено стать центральными, в высшей степени показательными, выполняющими важнейшую смысловую функцию — воплощать положительные идеалы автора либо концентрировать в себе то, что он осуждает. В связи с этими образами Навои в «Смятении праведных» пока еще кратко формулирует свое представление об идеальном правителе, которого видит в Искандаре:

Он был царем, пророком и святым,
Ни с кем в познание мира не сравним.

Здесь же — одно из многочисленных у Навои поучений самодержцу, имеющее целью предохранить от бедствий как его самого, так и подданных:

Народ — твой сад. Будь мудрым, Садовод.
Будь, Пастырь, добрым! Стадо — твой народ.

В этой поэме намечаются и некоторые другие сюжетные коллизии следующих частей «Пятерицы», как, например, рассказ о «красавице Чина» и о безумно влюбленном в нее юноше, ради любви готовом пожертвовать жизнью. Новелла эта выделяется среди прочих впечатляющей силой: поэт здесь явно приоткрыл то, что глубоко волновало его долгие годы.

Остросюжетное воплощение любовно-романтической тематики объединяет две следующие поэмы Навои — «Фархад и Ширин» и «Лейли и Меджнун», выделяющиеся в «Пятернице» благодаря общности своей художественной типологии.

«Лейли и Меджнун» — это роман в стихах, трагическая повесть о загубленной любви. Низами, автор первого дастана на эту тему, пользовался литературными сведениями отчасти легендарного характера о Кайсе, арабском поэте VII века, прозванном «Меджнун» (т. е. «Одержимый бесами, злыми духами») за то, что, согласно преданию, был безумно влюблен в некую девушку и слагал об этом страстные стихи, впоследствии собранные воедино, с прибавлением стихов аналогичного содержания других, неизвестных, поэтов. Коллизия «Лейли и Меджнуна» (Лейли — имя возлюбленной Кайса — от арабск. «лейл» — «ночь») — плод поэтического вымысла Низами, она аналогична той, которую Шекспир воплотил в трагедии «Ромео и Джульетта».

Взяв за образец дастан Низами, Навои, во-первых, усилил в своем произведении реалистические мотивы, глубже обосновал психологически поступки героев, во-вторых, заострил гуманистическую направленность сюжета, резче, нежели у предшественников, выразил протест против тех предрассудков и навыков мышления, которые сеют зло и вражду между людьми, ограничивают право человека, и прежде всего женщины, на свободный выбор в любви. Последнее на мусульманском Востоке явилось предвосхищением прогрессивных общественных воззрений на много веков вперед.

Финал дастана «Фархад и Ширин» также трагический: как и в параллельной поэме, влюбленные погибают, не достигнув соединения. Однако и несходство между двумя произведениями очень существенно. Так, например, общественное положение главных персонажей «треугольника» Фархад — Ширин — Хосров, в отличие от героев предшествующего дастана, весьма разительное — Хосров — шах Ирана (с чертами реальной исторической личности), Ширин — армянская царевна, Фархад же — сын властителя Чина, т. е. Китая (хотя то, что рассказывается об этой стране, дает основание утверждать: автор имеет в виду Западный Китай, в древности именовавшийся Хотан).

В отличие от предшественников, прежде всего от Низами, который в большей степени придерживался исторических хроник, содержащих сведения о реально существовавших Хосрове и Ширин (его поэма озаглавлена именами этих персонажей), и ввел Фархада в качестве второстепенного героя, Навои делает последнего главным персонажем (что отражено и в заглавии), в помыслах и действиях которого воплощаются важнейшие положительные идеалы автора. Следует помнить, что Навои был убежденным сторонником сильной

единодержавной власти, но при условии сосредоточения этой власти в руках просвещенного и справедливого монарха, высокогосударственного и гуманного, заботящегося о народе, ради его благоденствия готового на подвиги и жертвы.

Сын властелина, Фархад с юных лет симпатизирует людям труда, овладевает искусством каменотеса и кузнеца. С помощью волшебства он увидел свою будущую возлюбленную — Ширин и, отказавшись унаследовать престол отца, отправляется на поиски ее. Ширин — армянская царевна, и во имя любви к ней Фархад совершает один из главных своих подвигов — прокладывает в горах оросительный канал, по которому вода устремляется на поля Армении. Впоследствии он возглавляет войско, которое обороняет родину армян от полчищ иранского шаха Хосрова (вспомним, что это центральный персонаж дастана Низами), претендента на руку Ширин, всюю душой полюбившей Фархада. Хитростью враги заманили его в плен. И здесь Фархад проявляет чудеса мужества и великодушия даже к недругам: он имеет возможность бежать, но остается в плену, чтобы шах не казнил его стражей. Фархад кончает с собой, получив ложную весть о смерти Ширин.

Образ Фархада, которого Навои наделил самыми светлыми человеческими качествами, именно благодаря этому, а также благодаря таланту, с которым описан герой и его благородные подвиги, вызывал и на протяжении веков продолжает вызывать искреннее сочувствие читателей и слушателей. Он сделался любимым и поистине народным в среде узбеков, да и всюду, где ощущается влияние среднеазиатской литературы и фольклора.

Еще одна особенность поэмы Навои «Фархад и Ширин», сближающая ее с двумя последующими в «Хамсе»: в ней автор широко и свободно использует исторический и географический материал, как реальный, так и почерпнутый из мифологии. Это в значительной степени расширяет познавательный материал произведения, обостряет читательский интерес к нему.

Последнее в высокой степени свойственно и четвертой, и пятой частям «Хамсе» — поэме «О семи скитальцах» и особенно «Стене Искандара». Первая имеет своеобразную структуру. Здесь обрамляющий сюжет — история любви иранского шаха Бахрама (как обычно в эпико-романтических поэмах того времени, образ его — слав исторически реального и вымышленного) и красавицы Диларам из Чина (героиня с таким именем встречается в одной из притч «Смятения праведных»). В этом — черта отдаленного сюжетно-тематического сходства с первыми двумя поэмами. Однако идейно-нравственные акценты здесь иные. Очень существенно, что в отличие, скажем, от Низами, который идеализирует шаха Бахрама (это, в силу ряда причин, стало традицией в литературах и фольклоре мусульманского Востока

еще задолго до Низами), Навои подает его натурой сложной и противоречивой, в которой явно преломляются черты реальных, хорошо знакомых автору самодержцев и в которой отрицательные начала в конце концов одерживают верх. Момент сурового назидания именно правителям в этой поэме резко усилен сравнительно с предыдущими, являясь продолжением и развитием тех размышлений об общественно-исторической роли и назначении правителя, о его долге перед подданными, о его моральном облике, которые поэт уже излагал в дастанах «Смятение праведных» и «Фархад и Ширин».

Шах Бахрам в дастане «О семи скитальцах» начинает как мудрый и справедливый самодержец, но у него одна страсть, которая временами отвлекает его от государственных дел, — страсть к охоте. Вскоре появляется и еще одна: шах услышал о красавице Диларам, вытребовал ее себе ко двору, сделал своей возлюбленной, после чего окончательно, к несчастью подданных, запустил дела правления. Он нашел в себе силы понять, в чем причина бедствий его и страны: проявив жестокость, Бахрам избавился от Диларам, но тоска охватила его с еще большею силой. Тогда-то мудрецы посоветовали шаху построить семь дворцов (по числу дней недели, посвященных главным планетам). Здесь Бахрам слушает сказки-новеллы странников, и один из них рассказывает о красавице, в которой шах узнал свою Диларам. Страсть к ней шаху не удастся превозмочь, и эта страсть оказывается роковой: снова предавшись пиршествам и охоте, Бахрам вместе с войском и возлюбленной гибнет во время гигантской облавы на диких животных. Мрачным пророчеством звучат стихи в финале:

Вот так, западню готовя другому, ты
Себе открываешь мрачные омуты. . .

В описаниях придворных пиршеств и увеселений, сопровождающихся обильным винопитием, явственно проглядывают черты гератского придворного быта, а в облике шаха Бахрама — характерные качества самого султана Хусейна. Думается, в дастане «О семи скитальцах» над дружеским, нередко восторженно-почтительным отношением Навои к властелину и сверстнику Хусейну возобладал критический взгляд на властителя, стремление преподать ему, а возможно, и nasledникам, жесткий нравственный урок.

Подобного рода замысел воплощен в изящной, высокохудожественной поэтической ткани. Вставные новеллы (их семь, по числу дворцов Бахрама) представляются, по форме и функции, развитием того, что было заложено в структуре «Смятения праведных», по богатству же и красочности содержания предвосхищают многосложный, до предела насыщенный географическим, историческим и научно-фантастическим материалом дастан «Стена Искандара».

Переходя к разговору о нем, следует подчеркнуть, что здесь идея высоконравственного и широко образованного монарха является стержневой уже безраздельно, образ же Искандара, в высокой степени идеализированный, — законченное воплощение такой идеи. Дастан «Стена Искандара» следует рассматривать как своего рода социальную утопию, одну из самых ярких на мусульманском Востоке, причем характерные черты такой утопии резко усилены Навои сравнительно с предшественниками, разрабатывавшими аналогичный сюжет. У Навои это государь, предельно близкий простому люду, готовый ради полного растворения в нем (суфийский мотив, характерный для «позднего» Навои) отречься от своего сана. Здесь напрашивается аналогия с «чинским» царевичем Фархадом, добровольно превратившимся в мастера-каменотеса. Оставшись, по просьбе подданных, на троне, Искандар неуклонно проводит в жизнь свои идеалы:

Он истребил, разрушил зла оплот,
От беззаконий защитил народ.

Гуманность превыше всего ставит Искандар, когда начинает с большим войском походы в дальние страны. Не завоевателем приходит он туда, но миротворцем и мудрым законодателем, строителем полезных для народа сооружений (главное из них — «вал», или «стена», защитившая цивилизованные страны от свирепых варваров). Наряду с этим Искандар — пытливый и самоотверженный исследователь всего неизведанного, его открытия обогащают науку.

Образ Искандара в поэме Навои, как сказано, далек от прототипа (Александра Македонского), причем идеализация этот образ подвергался еще задолго до первой «Пятерницы» Низами. Потому-то Навои, приступая к своей поэме, поначалу не решался совместить в одном персонаже черты реально-исторические и вымышленно-эпические. Он все же отважился на это, очевидно увлеченный сверхзадачей: создать предельно убедительный образ могучего монарха, сильного прежде всего своей справедливостью, близостью к народу и просвещенностью, чтобы этот образ послужил назиданием для правителей — современников поэта. Действительность, увы, жестоко обманула его надежды, чему свидетельство — историческая трагедия Хорасана в последние годы жизни Навои и после его кончины, бесславная гибель Тимуридов, упадок экономики и культуры, разгул кровавых распри в течение веков.

В дастане «Стена Искандара» читатель найдет своеобразные отголоски сюжетов и мотивов каждой из предшествующих частей «Хамсе», снова — эпизодически — встретится с их героями. Такова еще одна черта, сплачивающая цикл, при всей его многосложности

и многообразии, в единое целое как по структуре, так и по замыслу, по идейно-тематическому наполнению.

Интереснейшим произведением Навои является также поэма «Язык птиц» (1499). Она написана в аллегорической форме. Большая группа птиц в поисках царя птиц Симурга отправляется в дальний полет. Им предстоит преодолеть много гор и долин. Устав от мучительной дороги, многие птицы разочаровываются и отказываются лететь дальше. Предводитель птиц Удод (Худхуд) упрекает безвольных, уговаривает их продолжать путь. Наконец небольшая часть птиц — их осталось всего тридцать — долетает до той вершины, где должен был находиться царь птиц. Однако вершина оказалась пуста: Вокруг никого не было. Все удивлены. Но как раз в это время слышится голос, объясняющий, что достаточно посмотреть на самих себя, чтобы увидеть Симурга. Таджикское слово Симург и означает: тридцать птиц. По мысли Навои, истинное величие человека достигается не за счет милости судьбы, не через близость к престолу самодержца, а путем неустанного, самоотверженного духовного восхождения к вершинам мудрости и нравственного совершенства.

В книге «Возлюбленный сердец» (1500), написанной рифмованной прозой, Навои поместил свод своих жизненных наблюдений. В нем он характеризует деятельность различных кругов и слоев общества — султанов, духовных лиц, судей, поэтов, музыкантов, учителей, чиновников государственного аппарата, ремесленников, земледельцев и т. д. Навои особенно высоко ценил труд крестьян.

Перу Навои принадлежит ученый труд «Спор о двух языках» (1499), в котором сопоставляются два языка — тюрки и фарси. Поэт подчеркивает богатство и широкие выразительные свойства родного языка тюрки, не уступающие, на его взгляд, достоинствам господствующего в то время в литературе языка фарси, возможность и необходимость создания на языке тюрки высокохудожественных произведений.

Много сочинений написал Навои по истории литературы. В книге «Собрания утонченных» (1490—1492) он сообщает данные о более чем четырехстах пятидесяти поэтах и приводит извлечения из их произведений. Специальный трактат «Весы размеров» Навои посвятил теории восточного стихосложения.

Политической истории Ирана посвящена книга Навои «История правителей Ирана». Книги «Дуновения любви» и «История пророков и мудрецов» представляют собой свод кратких сведений об ученых, пророках, философах и богословах.

Любовь к человеку, страстная проповедь идей добра, справедливости, гуманизма составляют суть художественного творчества Навои. Он твердо придерживался пантеистического объяснения мира. Согласно этому учению, во всем, что есть в мире, в том числе в чело-

веке, отражается красота творца, т. е. бога. Следовательно, отношение к человеку должно соответствовать его божественной сущности. Вместе с тем высокого звания человека достоин только тот, кто постоянно заботится о благе народа, кто обладает нравственным совершенством.

В условиях господства феодального деспотизма, эксплуатации трудящихся кучкой алчных и ненасытных угнетателей, засилия клерикализма и религиозного фанатизма пантеизм был прогрессивной идеологией. Ее разделяли многие передовые мыслители, кому были дороги интересы народа и общества.

Воззрения Навои, естественно, были ограничены рамками своего времени и среды. Он никогда не подвергал сомнению основные догмы ислама, не выступал против феодальной власти как таковой. Он был сторонником крепкого централизованного государства, управляемого просвещенным и справедливым властителем. Он надеялся, что путем самовоспитания человек сможет совладать с жестокими эгоистическими страстями, отказаться от угнетения себе подобных. Поэт трагически ошибался, полагая, что его политические нравоучения смогут благотворно повлиять на действия власть имущих. Утопический характер подобных чаяний очевиден. Однако это не мешало Навои высоко нести через всю жизнь знамя гуманизма и быть пламенным борцом за счастье людей.

Творческий подвиг, совершенный поэтом, поставил его имя в один ряд с именами корифеев мировой литературы. Навои блестяще выполнил, прежде всего, одну из выдвинутых им задач: он создал монументальное, законченное поэтическое произведение на языке тюрки (староузбекском), доказав тем самым его богатые выразительные возможности. Введя в круг интересов тюркоязычных народов богатство сюжетов восточной литературы и фольклора, «Пятерица» Навои сделалась основой и источником многих последующих поэтических произведений.

Вскоре после смерти поэта его славное имя стало обрастать легендами, вошедшими в фольклор народов Средней Азии. В репертуаре певцов-сказителей появились дастаны, восходящие в своей основе к тексту поэм «Пятерицы». С начала XVI века вся последующая литературная жизнь Узбекистана развивалась под влиянием творчества Навои, которое служило прекрасной школой художественного мастерства.

Широчайшую известность произведения Навои получили в советскую эпоху. В 1941 году Советское правительство приняло постановление о проведении юбилейных торжеств в ознаменование пятисотлетия со дня рождения поэта. Небывалый размах приобрело изучение

литературного наследия и биографии Навои, издание его произведений на современном узбекском, русском и других языках народов СССР. Произведения поэта прочно вошли в репертуар узбекских театров и творческих коллективов, его стихи, положенные на музыку, звучат в концертных залах, исполняются по радио и телевидению, на народных и семейных праздниках, в узком кругу друзей поэзии.

Фигура Навои привлекала и привлекает внимание даровитых писателей, художников, деятелей других искусств. Упомянем в этой связи роман узбекского писателя Айбека «Навои», удостоенный Государственной премии. Доныне пользуется популярностью пьеса Уйгуна и Иззата Султана «Алишер Навои». Постановке пьесы в Театре драмы имени Хамзы, как и одноименному фильму, выпущенному киностудией «Узбекфильм» (режиссер — народный артист СССР К. Ярматов), также были присуждены Государственные премии. Народный артист СССР композитор Мухтар Ашрафи создал оперу «Диларам» по мотивам дастана «О семи скитальцах». Многие талантливые художники республики, вдохновляясь творчеством Навои, создали прекрасные произведения живописи.

В Ташкенте на проспекте, носящем имя Навои, высится памятник великому мастеру поэзии, расположенный рядом с литературным музеем имени Навои. В Самарканде, в историческом центре города, воздвигнут памятник, изображающий Навои и его друга Абдуррахмана Джами во время душевной беседы. Именем Навои названы Академический театр оперы и балета в Ташкенте, Самаркандский государственный университет, а также молодой цветущий город химиков и новая область Узбекистана, возникшие в ранее безводных пустынях северо-западного Узбекистана.

Испокон веков творчество Навои было близко сердцам всех народов Средней Азии. Великий поэт Казахстана Абай, классики туркменской литературы Махтумкули и каракалпакской литературы Бердах признавали Навои своим учителем. И ныне многочисленные представители литератур народов нашей страны наравне с другими великими поэтами и мыслителями прошлого изучают творения Навои, секреты его виртуозного мастерства, обогащают свой идейный и художественный арсенал.

Духовное наследие замечательного сына узбекского народа в наше время приобретает международное звучание, становится достоянием всех, кому дороги интересы мира, дружбы и единства народов.

Навои с нами. Он в наших рядах в борьбе против всего косного и отжившего, в борьбе против социального зла и несправедливости, в борьбе за идеалы мира, свободы и счастья всех людей на земле.

Камиль Яшен

СТИХОТВОРЕНИЯ
«СОКРОВИЩНИЦА МЫСЛЕЙ»

ГАЗЕЛИ

ЧУДЕСА ДЕТСТВА

1

Если со свечою дружбы ступишь на порог, мой друг,
Можешь от свечи коварной получить ожог, мой друг.

Без томления в разлуке нет ни страсти, ни любви,
Всё же от вина такого лучше будь далек, мой друг!

Слово «страсть» не вспоминай ты, о любви не помышляй,
А не то тебя накажет беспощадный рок, мой друг.

Не гори огнем любовным, погаси костер страстей,
Коль не хочешь стать золою, — вот тебе урок, мой друг.

На коне шалунья скачет, пыль презрения летит.
Не смотри, как скачет пери, в этом дай зарок, мой друг.

Коль жемчужною росой пот на розе — не смотри!
А не то тебя закружит горестей поток, мой друг.

Без любви ты жить не хочешь. Нет терпенья ни на миг.
Ты себя низверг в пучину, и урок не впрок, мой друг.

Стойким будь. Себе подругу ты поласковой найди.
Не люби каменносердых, тех, кто так жесток, мой друг.

А не то заботы тяжелой поразит тебя стрела.
Так и Навои с печалью справиться не мог, мой друг.

2

Я возрожден твоим письмом, о, как я рад, поверь мне.
Исчезла грусть, не надо мне других наград, поверь мне.

Язык бессилен мой, перо об этом лучше скажет —
Как ослабел я, как устал от всех утрат, поверь мне.

Когда читал твое письмо, я слезы лил невольно,
Настоян в мускусе твоём разлуки чад, поверь мне.

Чтоб в тело бренное мое ты душу вновь вдохнула,
Тебе Мессия диктовал, пришел в твой сад, поверь мне.

Мне, сирому, прислала ты слов драгоценных жемчуг,
Руины сердца превратив в желаний клад, поверь мне.

Коль книга дел твоих черна, то не прибавит пользы,
Указ подпишешь ты «Джамшид» или «Кубад», поверь мне.

О Навои, ты был спасен письмом прекрасной пери,
Мессию славить за письмо ты невпопад, поверь мне.

3

Камень горя привязала к телу без пощады ты.
Тело — дерево, а горе — плод на нем, что ж, рада ты?

Уст твоих рубин так сладок, сахар не сравнится с ним.
Улыбнулась, засмеялась — и для глаз услада ты.

Для других ты стол накрыла, чашу счастья поднесла,
Мне ж оставила коварно только чашу яда ты.

Если песни соловьиной ты не хочешь от меня,
Так зачем, вино пригубив, стала розой сада ты?

Как Адам, из рая изгнан, глаз мой разлучен с тобой,
И его, свой лик скрывая, ввергла в бездну ада ты.

Верности не знает роза и терзает соловья,
Сделала бы постоянство соловью наградой ты.

Так Меджнун безумен не был, как страдалец Навои.
На пути его рассудка вечная преграда — ты!

Едва прижал к груди письмо — затрепетало сердце.
И в жаркой жажде этих уст запылало сердце!

На раны от любовных стрел я положил посланье —
Как о целителе таком давно мечтало сердце!

Края его жестоких ран едва зарубцевались —
Но вновь в губительную даль лететь желало сердце!

Как будто пала пелена с него в одно мгновенье —
Так долго от земных утех она скрывала сердце. . .

Казалось, вслед свернулась кровь, когда письмо
Посланья-свитка так давно, так долго ждало сердце!
свернулось!

Но ничего не прояснил поток туманных строчек —
И от неясности такой опять страдало сердце. . .

О Навои, в твоей груди опять заныли раны.
Я приложил письмо к груди — и запылало сердце. . .

Клялся он, что друг мой верный, даже плакал от обиды.
Сам смеется надо мною, как посмотришь — враг он
скрытый.

Друг! Посмешищем меня же для моих врагов он сделал,
Если друг таков, то лучше я умру, врагом убитый.

Глубже и больней, чем враг мой, друг страданья
дружбе у врагов учусь я, если другом честь забыта.
причиняет.

Если враг наносит рану, друг, надеюсь, даст мне
пластырь.
Если ранит друг — умру я, нет от ран его защиты.

Узнай, с твоим лицом в разлуке мой каждый вздох
 Я разбросал по белу свету огни его палящих роз.
костром возрос.

Как будто Рисовальщик Рока, твой нежный высветлив
 Прибавил яркости извиву губ, зацелованных взасос.
овал,

Для твоего для пса цепного, что, мнится мне, сильнее
 Не смог иного приношенья сыскать я, кроме горьких слез.
льва,

Пришедший о моем здоровье осведомиться, милый друг,
 Возьми с собой хмельную чашу, ведь я бы трезвости
не снес!

Не надобно перечить Року, единоборствовать с Судьбой.
 Считай, что жизнь великолепна, пора принять ее всерьез.

О соловей, ты не увидишь румянца розы поутру
 Иль, словно Навои неспящий, вместишь в душе ночной
хаос!

Мне внятны все ее слова, неуловим для взгляда рот,
 Не диво, что слова ясны, куда ж исчез отрада-рот?

Аллах, аллах, вот чудеса: отлично вижу свежесть губ,
 Жизнедающих губ, но где ж меж ними сам услада-рот?

Тончайшей линиею — стан, легчайшей точкой рот отметь,
 Воображение мое, — сомнений сонм — досада-рот!

С алифом сходен стан, хотя его прекрасней во сто крат;
 Подобен нежному нулю — блаженный рот, привада-рот!

Я умираю от тоски и жажды к тем устам припасть,
 Но ста отчаявшимся ждать твоих лобзаний надо, рот!

В моих устах — разлуки яд. И целовать не стану я.
К ее устам не припадет мой горький, полный яда рот.

Чтоб речи светлые вещать, уста очистить должен ты.
Есть добрые слова — и всё ж не знает с взором сладу
рот.

Коль, Навои, не хочешь пасть злоречья жертвой, то
очисти
Уста от прозы, а затем от песенного лада — рот!

9

Пользы мира ты не жаждай, ибо в нем лишь вред —
не больше.
Жизнью пользуйся — на время входим в этот свет —
не больше.

Странно, что жилью воздвигший приглашает смертных
в гости,
Ведь и сам он в этом доме — гость недолгих лет —
не больше.

Не считай себя могучим, смертен ты — ведь слон
громадный
Перед комариным жалом — лишь отваги след —
не больше.

В брэнную войди обитель — шейх там наторел
в торговле;
Пусть зовется ханакою — это лавка бед — не больше.

Тот, кто в платье златотканом, — пусть кичится
неразумно:
Знает мыслящий, что в злато жалкий шут одет —
не больше.

На престол воссев небесный, всё равно не будь
беспечен —
В небе ласки ты не встретишь, встретишь лишь рассвет —
не больше.

Повелитель справедливый должен думать о народе,
Ведь блюсти пасомых благо пастырь дал обет —
не больше.

Если нынче стал скитальцем Навои по доброй воле,
Не горюй, благоразумный, глянь безумцу вслед —
не больше!

10

Я обезумел, закутавшись в шкуру оленью, — и только.
Камень безумья, разбитое темя, гнездо исступленья —
и только.

Ты животворным дыханьем, Иса, не смягчай мои муки:
Пища моя — жаркой крови струенье — и только!

Хызр, со своею водою живою ко мне не спеши ты:
Смерть пред подругой — по мне, наслажденье —
и только!

В сердце богатого вечная мысль о дирхеме,
В сердце моем — скрытых язв наважденье — и только.

Воды Ковсера и песни Давида тебе оставляю.
Мне же — кабацкие песни и кубков круженье — и только.

Шаху небесная крепость — оплот от превратностей рока,
Нам же, незнатным, обитель спокойного бденья —
и только.

Жаль мне, что брменная твердь по-прежнему к людям
сурова:
Милость иль гнев станут добычею тленья — и только.

В смертный мой миг не твердите о гурнях рая
Мне, Навои, ибо жажду ее лицезренья — и только.

Нет, не только очи твои черны, о красавица черноокая,
 Дуги-брови твои чернотою полны, о красавица черноокая.

Если хочешь заставить наши сердца безвозвратно
покинуть родину,
 Уподобь свои кудри стремленью волны, о красавица
черноокая.

Розоликая, ты кипариса стройней: нет прекрасней тебя,
несравненная,
 Для тебя моя песнь соловьиной весны, о красавица
черноокая.

Если каждой своею ресницею ты не убила меня, не
изранила,
 Почему в мое сердце сто ран вплетены, о красавица
черноокая?

Обрати порой и на бедных нас взор, исполненный
снисхождения,
 За тебя мы взмолились, тобой пленены, о красавица
черноокая.

Шах Абу-ль-Гази ибн-Байкара наградит пускай дружбой
вечною
 Навои, кому очи твои неверны, о красавица черноокая.

Лишь взглянул на эту пери, очи прелестью пьяня,
 Как смятенье и безумье ополчились на меня.

Ах, когда б мне в ночь разлуки жечь свечу свиданья
с ней,
 Ласково вести беседу подле этого огня!

Только где звезда такая, где счастливая звезда,
 Чтоб слугой, одним из многих, быть ей — пусть не дольше
дня?

Коль наперсником ей стану, может, улучу я миг,
 Чтоб сказать: «Уединимся, всех прислужников кляня!»

Впрочем, и в уединенье ноги ей я не смогу
Лобызгать, в душе отвагу дерзновенную храня.

Даже ежели протянет ногу вдруг к моим очам,
Сердце к взору приревнует, страстью зависть извиня.

Так не уповай на близость с ней, влюбленный Навои,
Боль несбыточных мечтаний, призрак счастья прочь
гоня!

13

Всё громче стон в моей груди, что пронзена твоей
стрелой.
Так саз, чья дека пронзена, рыдает каждую струной.

Чадит свеча моей тоски, и тень от копоти свечи
В заре, на белизне стены, колеблясь, пишет образ твой.

Дыханье прихоти твоей — кораблик утлый бытия
Несет, бросает, в миг любой готово захлестнуть волной.

И каждой встречей спалено, печально сердце и темно,
Влачась в пыли земных дорог, как странник с нищенской
сумой.

Срезает, плача, ночь нагар на черных амбровых свечах;
А я сгораю, но твоя свеча не плачет надо мной.

Но родинка твоей щеки разлуки долгой ночь сожгла,
Так язву раскаленный прут врачует язвой огневой.

И вздох горящий Навои погасший дух животворит,
Как по весне дыханье роз несущий ветерок степной.

14

Всадник на соревнованье бьет тулпара по бокам, —
Конь — как молнии сверканье, пыль подобна облакам.

Острой ревности стрелою сердце ранено мое.
Бьется сердце, словно голубь, подкатясь к твоим ногам.

Причиняя мне мученье, ты сгибаешь лук бровей,
Для тебя сплетаю душу в тетиву тугую — сам.

Над ристалищем, как солнце, ты восходишь каждый день.
О, как радостно и больно на тебя глядеть глазам!

Кто, в мишень пуская стрелы, изгибает лук бровей?
Ты — чье сладостное тело для души жестокой храм.

Будешь ты одна виновна, коль от горя я умру,
Коль моей несчастной жизни нить порвется пополам.

Знаю, станет тот мишенью, кто царицу попрекнет,
Знаю — нет в ней снисхожденья к опрометчивым рабам...

Навои, твои желанья растоптал ее тулпар —
Сердца лучшие надежды превратились в пыль и хлам!

15

Без тебя разлуки пламя жжет меня за часом час.
Волоском, в костер упавшим, извиваюсь я, дымясь.

О, открой свой лик-светильник! О, блесни лучами глаз!
Мотыльком готов сгореть я, над огнем твоим кружась.

Я боюсь, что красотой можешь мир ты погубить, —
Как батыр на поле боя, уничтожить можешь нас!

Ты пылаешь розой алой, даже осенью цветешь,
В дни, когда гулять выходишь, в шелк одевшись и
в атлас.

Ты сумела мое сердце, словно птицу, приручить,
И душа моя трепещет, твой беспечный слыша глас.

Стала б долголетней Ноя и богаче, чем Гарун,
Долголетия и богатства пожелав хотя бы раз...

Коль умру я, на могилу положить вели рабам
Ту плиту, что заменяла мне подушку и матрас.

Если б мог во сне последнем взор твой встретить Навои,
Он спросил бы, пробудившись, что ты делаешь сейчас?

Верю я, что мертвых могут оживить рубины уст
И обычной речи могут подарить бальзама вкус.

Ты поймала мое сердце на приманку алых губ,
Как охотник, что набросил сеть незримую на куст.

Зеленеет ветвь сухая от рубинов этих уст.
Ты — моя вода живая! Без тебя мир был бы пуст!

Твоя родинка, как мошка, на зрачках моих сидит.
Эта родинка всечасно радость мне дарит и грусть.

Ты, расчесывая косы, затмеваешь свет дневной.
Утро делаешь ты ночью. Мрак вокруг тяжел и густ.

Словно зеркало твой облик. Скрыть его аллах велит.
Если кто тебя увидит, страстный вздох удержит пусть! . .

Постник, изгнанный из храма, направляет к людям путь
И дивит их, повторяя все молитвы наизусть.

Я молюсь, чтоб твои слезы превратились в зерна вдруг,
Чтоб ручная птица сердца их с твоих клевала уст.

Навои одной лепешкой целый день бывает сыт,
Но ни днем, ни темной ночью нам покоя нет от чувств!

Взор твой вдруг мрачнее ночи в гнев и презренье
Черных бед сосредоточьем весь я в то мгновенье стал, —

Но соединились в бедах и лекарство, и болезнь;
Вдох мой собственный лекарством, давшим исцеленье,
стал.

У любви сто душ в запасе, чтоб любимой отдавать.
Чтоб отдать тебе всё сразу, я бы на колени встал!

Я рассорился с друзьями, чтоб тебя не раздражать.
Я сдружился с чужаками, я твоею тенью стал.

Облик твой к тебе стремленье пробуждает вновь и вновь.
Ты — от ста других в волненье; я — для стрел мишенью
стал.

Вечный ищет то, что тленно, и находит, что искал.
Я — твой спутник неизменный, дух мой жертвой тленья
стал...

Навои, твои газели, что в томленье ты слагал,
Все влюбленные запели. Ты их утешеньем стал!

18

С удивленьем пальчик тонкий на ее устах застыл,
Вся она как алиф тонкий, что в моих мечтах застыл.

До сих пор не понимает, что любовный будит пыл.
Пальчик словно на солонке, а не на устах застыл.

От улыбки уст-рубинов станет юношею вмиг
Старец, что у Азраила в каменных руках застыл.

С райским сказочным павлином я бы мог ее сравнить.
Ветерок, ее целуя, на ее щеках застыл.

У меня глаза в тюльпаны превращаются от слез,
Черные зрачки тускнеют — в них разлуки страх застыл.

Ах, спокойствие той птице, что живет среди руин!
Ужас дружбы с зимней стужей — у меня в стихах застыл.

Навои, беды напитков в ста бокалах видишь ты,
Но в любом и счастья слиток, как велит аллах, застыл.

19

Что за пегий конь несется? С луноликой мчится он,
Будто бы из роз и ветра конь тот пегий сотворен.

С той поры как в мире этом для гарцующих простор —
Каждый глянувший, как чудом, луноликой изумлен.

То не пегий конь, то небо в ранних звездах над землей,
Всадник тот солнцеподобный непослушен, разъярен.

Как не умереть, увидев луноликой красоту:
Конь и всадница шальная — как хмельной волшебный
соп.

Если я впаду в безумье, не дивитесь, люди, мне,
Кто не потеряет разум, этим дивом поражен!

На коне, подобном пери, пери облаком летит.
Будь благочестив, — а станешь пить вино себе в урон.

Словно смерч, несется чудо, ты уж, Навои, молчи,
Не найдешь ты слов смутнее среди слов любых времен.

20

Кипарис подобен розе увлажненной, — говорю.
Уст рубин вино подобен — я, влюбленный, говорю.

Бровь ее мне станет кыблой — сердцу моему прият.
Эта бровь — что свод михраба, — преклоненный, говорю.

Сердце плачет кровью, вижу через трещину в груди.
В скорби о ее рубинах — я, пронзенный, говорю.

Не со звездами сравню я красоту ее лица —
Мир сияет словно солнцем освещенный, — говорю.

Как душе освободиться от безумия оков, —
Каждым волоском любимой оплетенный, говорю.

Что атлас нам златотканый! Лучше — бедности пола.
Ты и в рубище прекрасна, — умиленный, говорю.

О, не отводи ты взгляда в сторону от Навои!
Он влюблен в тебя навеки — я, плененный, говорю.

С несчастным нищим говорить и шах не может дерзко,
Как нищий с шахом говорить не станет тоже дерзко.

Откуда шаху силу взять для разговора с нищим —
Вдруг птица Хума на того крыла положит дерзко?

Пока влюбленным ты не стал, в беде будь осторожен,
Лишь саламандрой став, с огнем играть ты сможешь
дерзко.

Пустынна улица любви — зефир пройти боится,
Чтоб в жгучем том краю не стать с самумом схожим
дерзко.

В развалинах дракон и тот жилища не построит,
Не пробуй в домик бедняка войти, прохожий, дерзко.

Не находя в монастыре всего, что пожелаешь,
И притязанья предъявлять на всё негоже дерзко.

Нрав похитительницы той чужих сердец обидчив,
Желая даже ей добра, не глянь на ложе дерзко.

Высокомерие любви чуть Навои увидел,
Стал вопли издавать, а петь не в силах всё же дерзко.

Человеку дал горенье этот мир-хамелеон,
И огонь в небесной чаше фокусником был зажжен.

Удивительно, что часто у людей в таком аду
Сободем и горностаем ум бывает воспален.

Похитительница сердца, к шапке приколов перо,
Ты не обретаешь крыльев, чтоб подняться в небосклон.

Ни жары, ни стужи люди на земле не создают,
Сам собою мир морозен или жарко накален.

Нет любви в невесте неба, похищающей сердца,
Что жеманством подменяет женской верности закон.

Гордый человек, склонивший в уважении главу,
Пьяницу напоминает, что в молитве бьет поклон.

Хорошо тому, кто всюду будет в странствиях своих
Тенью спутника иль друга непременно повторен.

Выбрав местопребываньем хоть Аджам, Ирак, Хиджаз,
Навои, будь другом богу, и с тобою будет он.

23

Меланхолия безбрежной забурлившего ручья.
Степь затоплена, безумцем там еще блуждаю я.

Ливень — куполом над розой. Но, разрушив, понесла
Зданье моего безумья меланхолии струя.

Каждый сук сухой одела буря пыльная в степи,
С обессиленного ж тела сорваны клочки тряпья.

Если вздохи все и слезы как потоп, что толку мне
И от утреннего ветра, и осеннего дождя?

Будет ватую с лекарством белой розы лепесток,
Коль из раны — красной розы — стрел не вынуть острия.

О советчик, ты считаешь, что еще я человек,
Но я стал в пустыне дикой пугалом и для зверья.

Исполнять людей желанья случая не упусти,
О богач, пока ты властен над теченьем бытия.

Шейх безумье прогоняет оттого, что в дни весны
Шейх не знает, как безумна, Навои, душа твоя.

24

Моя любимая с другим блаженство делит, как в раю.
Смотрю на них, душа в крови, глухие вздохи издаю.

Как пес, которого ведут на крепкой привязи, иду,
Плетусь на улицу твою, топчусь, под окнами стою.

Хочу, чтоб ты, моя луна, не забывала обо мне,
И потому сюда хожу и скорбных стонов не таю.

Пусть время в сердце мне вонзит десятки оперенных
стрел —
Стерплю, но только извлеки, назад возьми стрелу свою.

Я не ищу небытия, но сердце горькое, томясь
В тоске по розовым губам, меня влечет к небытию.

Солому тянет к янтарю, так и меня к себе зовет
Разлуки желтое вино, которое в унынье пью.

Глоток проглотит Навои, до самой смерти будет пьян.
А ты пируй и в кубок лей веселья звонкую струю.

25

Настало утро, я — в похмелье, мы оба — пленники вина.
Дай чашу, круглую, как солнце, источник трезвости она.

Была бессонной ночь разлуки, была неутолимой жажда.
Но вот взошла заря сближенья, опять душа опьянена.

Пока еще не близок полдень, умерим шум пирушки
пьяной.
Красны, как розы, наши лица, и чаша каждая полна.

И солнце обрывает звезды — срезает розы с небосвода,
И плачет небо вместе с нами слезами прерванного сна.

И бренный мир — обитель горя — размок от этих слез,
расплылся,
И помощь ангелов небесных ему сегодня не нужна.

Восходит огненное солнце, перед его багряным ликом
Дорога утреннего неба разостлана, обнажена.

Пей, Навои, с утра свой кубок, изнемогай от опьянения,
До ночи пей, куда вечность не будет выпита до дна.

Ты — свиток времен предвечных, что мудростью озарен,
Предвечными письменами, печатью рока скреплен.

Меж атомов каждый атом от века помнит тебя.
Меж каплями дождевыми лишь о тебе перезвон.

Прислужница прикоснулась — и зеркалом стал твой лик.
Он глаже озер закатных, и дивно светится он.

Украшены кудри ночи дыханьем твоей любви.
Круг солнца, в тебя влюбленный, пред ликом твоим
склонен.

Приходит в твои чертоги и хан, и бедный дервиш.
Невежда и мудрый старец — все чтут твой добрый закон.

На розу глядит, но песни поет тебе соловей,
И мотылек не свечою — тобою он привлечен.

О боже, да будет вечно с влюбленными Навои!
Язык поэта да будет тебе одной посвящен.

Я от скорби обезумел, одичал — и потому
Изумился беспредельно мир смятенью моему.

Успокой мое горенье! Стрелы в грудь мою метни!
Я, как струи свежей влаги, жадным сердцем их приму.

Как письмо тебе доставить? Имя светлое твое
Я, к чужим глазам ревнуя, не доверю никому.

Храм высокий мудрых магов, дом вина — тебе приют,
Небо — кровля, светоч — солнце в радостном твоём доме.

Не достигь тому любимой, кто не жертвует собой.
Навои, отдай сто жизней в жертву взгляду одному.

Я упьюсь вином и буду опьянением осиян.
Кто пьяней меня из магов, кто пьяней из мусульман?

Не из треснувшей бутылки проливается вино —
То, разбитое разлукой, сердце кровь струит из ран.

Если буду без сознания, маг, не убивай меня, —
Я, нарушив покаянье, в первый раз сегодня пьян.

В мире — только виночерпий, только я и дом вина!
Пьян от песен, пьян от чаши, я восторгом обуян.

Я один в степи исканий, не с кем об руку идти.
Путь велик, но где же спутник, где же друг мой? —
Всё — обман!

Шейх, я опьянел, но чашу ты мою не разбивай!
Чашей мне даны печали и восторг мне чашей дан.

Утонув в потоке винном, слаб и жалок Навои.
Вот взметнулся из бутылки, захлестнул его аркан!

Мечется в кругу дервишей, воеет в исступленье шейх.
Звонкую монету веры грабит на раденье шейх.

Птиц приманивают зерна, ловят сети. А людей
С четками подстерегает на ковре моления шейх.

Простодушный! То не чудо, а мечта твоя была, —
Знай, подстроил хитроумно все твои виденья шейх.

За красавицами мчится. . . Бьет в ладоши. . . Проложил
Путь широкий для безумья, лжи и преступленья шейх.

Выйдя с полной утробой, дураков к постам зовет,
Насыщает легковерных сладостью смиренья шейх.

Он — невежда, и не диво, что нашел учеников
Самого себя темнее полный самомненья шейх.

Я кабатчику — помощник, польза людям от меня,
В ханаке же от народа ждешь ты приношенья, шейх.

Слух мой мирно отдыхает в кабачке. Эй, замолчи!
Или ты не накричался утром в час раденья, шейх?

Навои! Ты видишь: продал за вино великий сан
Со священным облачением ради опьянения шейх.

30

Словно зеркало, омыла ты лицо водой тоски,
Или зеркало сверкнуло, отражая блеск щеки?

Потрясен я тьмой разлуки, не могу найти себя:
В лихорадке бьюсь и вижу кос тугие завитки.

Стрелы ты пускаешь в сердце — и воскликнуло оно:
«Эй, убийца! Зорче целясь, напрягай всю мощь руки!»

Идолу или Каабе поклоняться — всё равно!
Мой михраб — лишь брови милой, всюду мне они близки.

О, погибель! Растрепались завитки твоих кудрей,
Черною завесой скорби омрачили блеск щеки.

Ной не вечно жил, не вечно царствовал и Сулейман.
Навои! Вино — твой лекарь, исцеляйся от тоски!

31

Снарядила корабль — нам разлука опять суждена,
В сердце мне, словно в берег, стучит расставанья волна.

О, не плачьте, глаза! Мир слезами моими залит,
Негде шагу ступить. Как сойдет с корабля та луна?

А когда океан под напорами ветра дрожит,
То дрожит и душа моя, страха за пери полна.

Увезла мое сердце — терпенье с собой увезла,
Все глаза проглядел я, слезами душа сожжена.

Не пытайте меня про корабль ее — цел или нет,
Раз дышу — значит, цел, ведь дыхание — это она.

Моря страсти беги, пусть рассыпано в нем серебро,
Жизнь монетой скользнет, а монета такая — одна!

Тонет в море забвенья лодчонка ненужных забот,
Лишь в руках Навои закачается чаша вина.

32

Как гарцует она! Как танцует под ней вороной!
Я готов стать добычей, подраненной меткой стрелой.

На охоте она всё стремится оленя подбить —
Я оленем бы стал, чтоб охотилась пери за мной!

Или стать бы собакой, чтоб мордой касаться седла,
Навсегда пусть в собаку вселится мой дух суетной.

Без нее мое сердце по капле исходит тоской,
Словно кровью — олень, что прощается с жизнью земной.

Как Бахрам, не наброшу на шею онагру аркан,
Ведь я сам, как Бахрам, заарканен жестокой судьбой.

Посмотри, Навои, дремлет пес в ее светлой тени —
Ты ничтожнее пса для красавицы той озорной!

33

В моем сердце твоя обломилась шальная стрела.
Жаркой крови струя эту сталь облила, обвила.

Но вино твоих губ так бодрит, подкрепляет меня,
Словно вправду его ты живую водой развела.

В эту рану мою, что горит и горит, как костер,
То огня подбавляешь, то влагой с ресниц залила. . .

Сад печальный — любовь, это сердце — убитый павлин,
Лишь цветы расцвели там, где ты наступила, прошла.

Ветерок или голубь, летящие там, в вышине,
Расскажите вы солнцу, что землю сжигает дотла!

Ах, когда ты в разлуке встаешь перед взором моим,
Опускаю ресницы, чтоб стонов моих не прочла!

Навои, эти слезы твою не утишили боль —
И потопа волна тот огонь погасить не смогла!

34

То ли щеки румянами красит вино,
Лучами ли пьяными сердце полно?

Мерцают в ушах драгоценные камни,
Сияют ли звезды с луной заодно?

Твой лоб покрывается бисером пота,
Роса ли на розе — не всё ли равно?

Бутон этот нежный проткнула колючка,
Иль сердце обманами пронзено?

Запуталась в прядях любви моей птица,
Ночную ли тварь приманило окно?

Горит небосвод, как лицо моей милой,
Иль пламя души моей вознесено?

Любимая, рада ли ты расставанью,
Иль так же тебя убивает оно?

Ночной ли печали на всем покрывало,
От смерти крылатой ли стало темно?

Коль скажут: от мук Навои отступился,
Не верь — не бывает водою вино. . .

35

Войди в мой темный дом, о джан, от смерти дай свободу,
Я пью вино твоих речей, как Хызр — живую воду.

Ведь это сердце для тебя — как бы сосуд прозрачный:
Ты видишь всё, что скрыто в нем, — и радость, и невзгоду.

Твой лик, как солнце, сжег мой сад, безумца нищим
сделал.
Но будь как солнце, что порой и милость дарит году.

Сто стрел торчат в моей груди — железной птицы перья.
Скажи, когда оставишь ты бесцельную охоту?

Спроси, чем я живу? Одной надеждой на свиданье!
Другой и знать я не хочу, пустой молве в угоду.

Когда поток зальет поля, гора — одно спасенье.
Кто ждет зари, тот должен знать, что ночь — пролог
к восходу.

О Навои, огонь любви описывать не пробуй:
Горит перо, и белый лист, истлев, чернеет с ходу. . .

36

Ах, в чертах у каждой пери оставляет росчерк шалость,
И в твоих чертах, поверь мне, это ярко начерталось.

Суждено тебе лукавством сокрушать сердца мужские,
Чтобы с мукою надежда в них равно перемежалась.

Что дивиться? Чуть задела — грудь пронзила мне
шалунья,
Кровь текла всю ночь из раны, с влагой слез
перемешалась. . .

О, кокетство с красотою уживается прекрасно,
Оттого под этим взглядом так печально сердце сжалось.

Сотню бед стерплю от милой, сотню раз скажу спасибо —
Лишь бы раз в душе шалуньи, лишь бы раз проснулась
жалость!

Ах, того, что ждешь, — вовеки не дождешься от лукавой.
Вот исчезла — а казалось, шла навстречу, приближалась!

Навои, внемли совету, не ищи любви лукавой,
Чтобы сердце с вечной мукою вечно не соприкасалось!

Лик — белой розы, косы — смоль, и тонкий стан —
самшит,
 Пою о ней. . . Так соловей пролить свой стон спешит.

Живому сердцу стать дано добычей глаз твоих:
 Два ловчих гонят дичь одну, она ли убежит?

А в школе той, где весь тобой лукавства пройден курс,
 Наверно, верною простой никто и не грешит.

И разве эти слезы — сталь? За что ж, в ответ на них,
 Я этим взглядом ледяным, как пикою, прошит?

Хоть каждый день меня казнишь — не предаешь земле,
 Когда ж твой скорбный долг тебя спокойствия лишит?

Не камнем, что дробит скалу, — тоской души своей
 Фархад пробился в грудь горы, где сладкий ток
бежит. . .

А этой розы лепестки — подобие когтей,
 И соловей у ног ее растерзанный лежит.

Кто виноват в судьбе такой, безумный Навои?
 Любой, кто истинно влюблен, тоске принадлежит.

Горит свеча любви, и тает воском тело,
 И — бабочкой душа иль искрой полетела?

Легендой сделалась моей разлуки ночь
 И черным жемчугом на сердце отвердела.

Другой тебя воспел в руинах грез монахов,
 Моя же — смолкла песнь и горесть онемела.

А сердце от тоски твердеет, как гранат,
 И каждым зернышком излиться бы хотело.

О, где ты? Ветерок, скользящий вдоль домов,
 Шепнет ли о тебе мечте осиротелой?

Иль месяц, страж ночной, согнувшись, как старик,
Крадется за тобой, касается несмело?

Где отыскать приют, не знает Навои,
Его подруга — боль, кров — небо без предела.

39

То не заросли тюльпанов — то стенанья пал огонь,
Не пожар зари — разлуки в мирозданье пал огонь.

Пламя щек твоих способно сжечь мое жилье дотла.
На бездомного скитальца в час свиданья пал огонь.

Войско моего терпенья блеск твоих ланит спалил,
Караван грозой застигнут — гром, сверканье! — пал
огонь.

Вспыхнул я, сгорел и умер, лишь открыла ты лицо,
На меня от молний взгляда — о, страданье! — пал огонь.

Навои, когда вздыхаю я о ней, то говорят:
«На леса Мазандарана молнии упал огонь!»

40

Я дохну — и лик у девы станет зеркала мутней, —
Вечно в сторону красавиц я влекусь душой своей.

Вздых мой мира не туманит, и нельзя рассеять ночь
Этим вздохом, потому что не увидать утра ей.

Не кляните, мусульмане, говоря: «Он пьет вино!»
Милосердия достоин даже гебр или еврей.

Вот чего, за чашей сидя, я от зеркала хочу:
Мага юного пусть будет отражение ясней.

Всех собак живьем изжарил жар дыханья моего.
С улицы, где дом любимой, разогнал он всех людей.

Навои, не жалко душу за свидание отдать,
Только что мне пользы в этом! Жизнь прошла в разлуке
с ней.

Не знаю, чем смог человек ненависть неба навлечь,
Но ежевечерне закат в землю вонзает свой меч.

Походит закат на рассвет — всюду разбрызгана кровь,
Наверно, от пятен ее солнца уже не сберечь.

И речь тут идет не о дне, а о бельме на глазах,
О тучах, укравших зарю, а не о ночи тут речь. . .

Небо ведь может весь мир, будто жернов, крутить,
Цепью судьбы обмотав строптивых от шеи до плеч.

Мудр и могуч падишах, но меч и над ним занесен,
Рядом со слабым в свой час приходится сильному лечь.

Как угадать наперед, где выигрыш, проигрыш где?
Ветер попутный дохнет — в трюме откроется течь?

Ясно одно, Навои, — всё так, как задумал аллах,
Пой, а в чужие дела не дай себя людям вовлечь.

Во мраке разлуки с тобой сгораю я, будто свеча;
Обуглена плоть, как фитиль, слеза, словно воск, горяча.

Далеко твой стан-кипарис, далеко головка-тюльпан,
О стены разлуки я бьюсь, но дверь не открыть без
ключа,

Мне мнится стрелой кипарис, а роза колючкой теперь,
Я в сад выхожу без тебя, оковы разлуки влача.

Огонь моей горькой души рубинов и крови красней.
О кравчий, пусть льется вино в широкие чаши, журча.

Будь трезв, если хочешь, но мне сверх меры упиться
Разлука съедает мой хмель, как хлеб на полях саранча,
позволь,

О родинках я говорю, шепчу о пушке над губой,
Но разве приблизишь ее, везде о приметах крича?

Покой — недоступная вещь, немислим покой без нее, —
А разве он мыслим при ней, чьи взоры опасней меча?

Безрадостны песни и жизнь усталых седых соловьев,
За воронов можно их счесть, убить невзначай,
сгоряча...

О друг, не считай, что вконец свихнулся старик Навои,
Если любовь — не болезнь, он справится с ней без
врача.

43

Когда повелела она любить и страдать вдали,
Ушел я, а все почему-то ближе к ней подошли.

И что же, покорность мою вовсе не ценит она,
А тех, кто остался при ней, мнит украшеньем земли.

Хитрый, увертливый ферзь всегда возле шаха стоит,
А прямо ходящим ладьям с краю места отвели.

Тысячи ран нанесла мне горькая эта любовь,
Но что перед солнцем червяк, кровью истекший в пыли!

Вздумав добиться любви, пожертвовал встречами я,
Губит разлука меня. О роза, вернись в вели!

Знаю — мольбы ни к чему, сердца луноликих черны,
Астрологи в центре луны темную глыбу нашли.

К любимой ступай, Навои, в Иран или, может, в Ирак,
А о поездке в Хиджаз аллаха зазря не моли.

44

Те брови — лук. А их стрела летит в сердца-колчаны,
Живым колчаном со стрелой бреду я сквозь туманы.

Возжаждут близости уста — глаза ревнуют, плача,
Глаза засмотрятся в лицо — и плачут губ тюльпаны.

О, пусть бы грудь мне рассекла и сердце бы открыла,
Течет вода открытых рек в моря и океаны.

Ее стрела — сплошной огонь, как головня горящий,
Не искры мечутся вокруг, а жаркие обманы.

Лицо ногтями разодрал я в горести, в обиде,
И слезы сыплются из глаз, крупны и неустанны.

Сравню я с чашей круговой небес круговращенье,
Я пью вино! . . А Джам не знал, как небеса коварны.

Хоть их вращает Навои, как сто волшебных Джамов,
И пишет, что на ум придет. Лишь вздохи постоянны.

45

О ветерок, поведай мне о черноокой весте,
Потом и ей ты передай любви глубокой весте.

О, сделай милость, торопись ты от нее ко мне,
Неси от радости моей, такой далекой, весте.

А не поверит мне она — так сам ей передай,
Что вся земля в моих слезах, в тоске жестокой, —
весте.

Скажи, что ангелов извел я воплями любви,
О людях неба ты подай, хотя б сторонкой, весте.

Высокомерие в ней есть, но жалость быть должна, —
О язвах сердца сообщи, под черной коркой, весте.

Скажи ей: вести получи. А нет — так не найдешь
О бедном имени во всей вселенной громкой — весте.

А будет радостною весте — размеренно скажи,
Иль насмерть Навои сразит отрадой звонкой весте.

Очень горько, что подруга верным причиняет боль,
Судит слабость и смиренность, строго обвиняет боль.

И привыкшие к блаженству, к счастью близости сердца
В горестном плену разлуки плакать заставляет боль.

А соперники болтливы, недостатков сто найдут,
Назовут тебя бессильным — это вызывает боль.

Пусть бы приговор суровый вынесла сама судьба,
Но красавицы — вот судьи. Кто нам причиняет боль?

Пусть убьет меня красотка, но соперник — тут как тут,
Как смущает, унижает, как меня терзает боль.

Горе, горе! . . Ты сжигаешь медленно людей любви,
Кто их вздохи сосчитает, кто их замечает боль? . .

Роза неверна. Обманет, как ее ни стереги,
Соловьи в саду замолкли, песня разжигает боль.

И людей, прямых, как стрелы, жизнь сгибает в лук
кривой,
А кривых — шах уважает, это причиняет боль.

Навои, ведь ты погибнешь без надежды на любовь,
А напрасная надежда в сердце обостряет боль.

Бессильно сердце пред тобой, тебя я жду в печали,
Желтеют листья, осень спит в моем саду в печали.

Я не на розы лепестке пишу посланье это,
Желта бумага и таит мою беду в печали.

Тропинки на лице от слез — мой взгляд-гонимец провел их,
Он всё ходил, тебя искал, твердил «найду!» — в печали.

Глаз почернел от тишины, от одинокой боли,
Как крови спекшийся комок, он на виду в печали.

Ресницы над потоком слез напоминают ветки —
«Дорогу преградим воде, пусть как в пруду — в печали».

Не станут зарослями роз обиженные слезы,
Трава засохнет на лугу — в жару, в бреду, в печали.

Эй, шах, не украшай шатер атласною лазурью,
Я нищий, небо — мой шатер, под ним бреду в печали.

Не молви: «Навои, держи дитя-любовь сокрытым», —
Как сказка городских детей, она в ходу, в печали.

48

Мне подруга повязала рану на груди платком,
Кровь сочиться перестала, но пылает грудь огнем.

В этот миг сгорело сердце. И она его со зла
В пищу бросила собакам, искрошив кривым ножом.

Кудри черные — в колечках, вьются, будто бы они
Счет ведут убитым людям: узелок за узелком.

На земле не остается равнодушным к ней никто:
Запах кос, как запах нарда, вдаль несется с ветерком.

О бесстрашная, хмельная! Так разгневалась за что?
Иль она меня, играя, в грудь ударила мечом?

Жертва я ее забавы. Весь растерзан на куски,
И бессильного собаки рвут в остервененье злом.

Кто такого человека, что за доброе одно
Злого тысячу не сделал, повстречал в пути земном?

Роза солнечного мира! Не волнуй ты соловья —
Заразаясь его волнением, и сама сгоришь костром.

Ты не думай, что волнения нету в сердце Навои,
На чужбине он — с тобою и с утраченным теплом.

Свеча горела в темноте. Свеча в слезах сгорела,
Как будто от любви ко мне себя убить хотела.

Ночь одиночества черна. И голос кто подаст мне,
Коль соловей в саду замолк, ворона онемела?

О, стать бы смерчем, пронестись по улице знакомой
И в дверь разлуки постучать, что ты замкнуть велела! . .

Ушла, не выпила воды. Поста ли испугалась?
Кувшин сегодня полн вина и пиала без дела.

Удары неба бьют и бьют, как топором, по сердцу,
От их жестокости душа больная затвердела.

Разгорячи мое лицо веселой чашей, кравчий,
Лицо, как виноградный лист под ветром, пожелтело.

Кто многобожец — путник тот на нищенской дороге,
Тот — прах, завязка для чувяк: рванешь — и оллетела.

Сказала ты: «Я Навои жестокостью замучу!»
И обещаю ты верна. Свеча моя сгорела.

От поста и лицемерья избавляясь, пей вино,
От недугов и неверья избавляясь, пей вино,

От вина в пожаре сердце, и — да славится любовь,
Избавление от горя и от всех скорбей — вино.

Душу от поста избавишь чашею небытия,
Соткана она из света, словно из лучей вино.

С милою не разлучайся, из объятий не пускай,
Иль погибнешь от кокетства, и тогда — скорей вино.

Дождь из стрел обрушит небо в ночь разлуки на тебя,
Кровь из ран окрасит тело, но ее красней вино.

О жестокая! К страдальцу на прощанье обернись,
Если я тебе не нужен, то хотя б испей вино.

Навои своей не хочет луноликой потерять,
Ты оставь ему, о боже, девушку и с ней — вино!

51

С холодным вздохом почему спускается по склону утро?
Быть может, ранено, как я, любовью затаенной утро?

А если страстью не горит подобно мне, так почему же
Свои одежды, как Меджнун, порвало испуганно утро?

Не говори, что облака — крапленный киноварью хлопок:
Быть может, кровь свою, как я, из раны льет бездонной
утро?

Не вихрем солнечных лучей моих очей прорезан сумрак.
То расцарапало лицо зубцом звезды спаленной утро.

Полнеба охватил в ту ночь пожар от искр моих
стенаний,
Вращающийся небосвод назвал его влюбленно — утро.

Встань, виночерпий, подними, ликуя, утреннюю чашу!
Когда уйдем, взойдет не раз из пьяного притона утро.

О Навои, захочешь ты — и сад исполнится напевов.
Как роза, никнет ночь. Поет, как соловей бессонный,
утро.

52

Ушла, но глаз ее игра в душе моей осталась,
Навек в ушах моих краса ее речей осталась.

Дом глаз моих разрушен в прах от слез, но та плутовка,
По чьей вине случилось так, по воле чьей, — осталась.

Когда бы птица сердца в сеть густых кудрей попала,
Она б среди роз порхать и тут, как соловей, осталась.

Хоть птица та уже в пути, роз радости не скрою,
Ведь кипариса злая тень среди аллеи осталась.

Любви загадок не задам. Не мешкай, в путь скорее! —
Меджуна нет, но тайна тех ушедших дней осталась.

Подобно сердцу моему, вздыхают все в округе —
Она ушла, но среди людей молва о ней осталась.

Разлуку, близость оценить ты, Навои, не пробуй.
Ушло большое, малость всё ж, что всех ценней, осталась.

53

Всякий раз теряюсь, если, по пути меня тесня,
Всадник царственный гарцует на дороге у меня.

Всякий раз его ресницы в грудь вонзаются мою,
Если бросит взгляд, насмешкой и презрением казня.

Как бутон от ветра, сердце раскрывается мое
От стремительного бега буйногривого коня.

Из-под конских ног при скачке выбивается огонь,
Так выбрасывает солнце метеоры в блеске дня.

Если всадник мечет стрелы, что спешат вернуться вспять,
Вся душа моя трепещет, извивается, стена.

Оседлать не вздумай месяц — тот скакун в конце концов
Сбросит всадника на землю, суд над дерзостным чиня.

Меч твой только распалает жар любовный Навои,
Хоть вода, как всем известно, гасит всполохи огня.

54

Говорю: «Лишь кудри могут излечить любовный бред».
— «Пса взбесившегося лечит смерть, не цепь», — она
в ответ.

Как узнать, что с сердцем случилось от случайной встречи
с ней?
По лицу увидишь сразу, в объяснениях нужды нет.

Очертанья звезд не вздохом нарисованы моим,
Звезды — это слез небесных, за меня пролитых, след.

В темь кудрей попав змеистых, сердце мечется мое.
Всё же в нем не обнаружить боли явственных примет.

Я под меч подставляю шею, покорен тобой. Смелей
Нанеси удар последний — то последний мой завет.

Зря корят меня за пьянство, ведь того, что суждено,
Отменить не правомочен никакой, ничей запрет.

Навои, тебя позору эта пери предала —
Притаись в углу: такого выносить нельзя на свет.

55

В драгоценном платье цвета ртути снова розоликая
явилась,
Словно солнце, что за облаками тонкими, весенними
укрылось.

Платье — словно облако; по платью светлые наведены
полоски —
То весенний дождь из тучи льется: серебро из тучи
заструилось.

В этом ярком платье серебристом стройный стан твой мне
напоминает
Серебро, искрящееся ярко, что в сверканье ртути
погрузилось.

Солнце твоего лица я вижу в этом платье серебристом —
точно
Солнце, что в пути своем небесном в зеркале случайно
отразилось.

Почему серебряное платье вдруг померкло? Из осенней
тучи
На тебя серебряные слезы пролил я — оно тогда
затмилось.

Серебристый стан тебе недаром в дар дан голубыми
 небесами,
 Ты блистишь в серебряном халате, а потом в зеленом
 засветилась.

Навои, когда ее одежда как вода струится, то не диво,
 Что в воде жемчужину находят — так вот и на этот раз
 случилось!

56

Не удивляйтесь, о друзья, что я тоской томим:
 Разбито сердце — как же слез не лить очам моим?

Но неужели есть сердца без боли и заботы
 И в целом мире злая скорбь владеет мной одним?

Напрасно думать, что вино страданья исцеляет, —
 Без друга близкого вином мы боль не заглушим.

Как счастлив тот, кто не узнал отчаянья разлуки,
 Отвергнут не был никогда и не был нелюбим.

Для воспаленных ран моих на свете нет лекарства,
 Но как же сердце исцелить и что мне делать с ним?

Зачем ты гнешься, кипарис, направо и налево?
 Зачем ты, стройный и прямой, становишься кривым?

Нет, не спасают Навои ни грех, ни покаянье —
 Лишь смертью суетность моя развеется как дым.

57

То не тюльпан, не запах трав вдруг ветер к нам
 принес —
 То раны кровь, то аромат распущенных волос.

С любимую отражены мы в зеркале нарцисса,
 И это — свет ее лица, а не блистанье роз.

Она как роза, но над ней не рокот соловьиный,
 А пенье сердца моего во мраке разнеслось.

Приносит ветер запах трав, и я припоминаю
Неповторимый аромат се тяжелых кос.

Я пред нарциссом опустил, пред чашей золотою
Завесу светлую души, монх весенних грез.

Не говорю, что я всегда, как соловей, тоскую, —
Не умножаем в мире мы ни радостей, ни слез.

Сравнится ль с розой кипарис, в саду царящий сердца,
И кто прекрасней? Для меня давно решен вопрос. . .

О розы милые, к чему гордиться красотой?
И вы увянете, и вас не пощадит мороз.

Как кравчий мне, так соловью подносит чашу роза —
И охмелеть, как Навои, и соловью пришлось.

58

С минбара искусное слово лепил проповедник,
Бесстыдный, на место пророка вступил проповедник.

В своем ли уме он? Взойдя по ступеням минбара,
Зачем, погрозив кулаком, возопил проповедник?

Зачем размахался руками он, как бесноватый?
От истинной веры для лжи отступил проповедник.

Любуясь раскатами голоса, речью играя,
Он в чаше гордыни себя утопил — проповедник!

В мечети кричать о запрете вина бесполезно —
О, если бы дома хмельного не пил проповедник.

Людей к милосердию криками он призывает,
Но разве лихву беднякам уступил проповедник?

Ступени минбара ступенями неба не стали —
Зачем же ты так о себе возомнил, проповедник?

Налей, виночерпий, мне чашу — в обители жизни
Путем лихоимства деньгу прикопил проповедник.

Не слушай его, Навои, ты познаешь веселье
В вине, если счастье твое загубил проповедник.

В невежестве погибла жизнь и в суете напрасно.
Я в покаянье дни провел — ушли и те напрасно.

Я время жизни расточал в пустых соблазнах плоти,
И, душу осквернив, я жил в нечистоте напрасно.

Я с винной чашей дружен был — мой душа и разум
Блуждали в ней — в ее огне и пустоте напрасно.

О мусульмане, знайте все, что прибыль этой жизни
Я промотал по кабакам и в срамоте напрасно.

Теперь что пользы мне кричать, заламывая руки:
«О, я — глупец! Зачем кружил я в темноте напрасно?»

Напрасно каешься в грехах, в делах ничтожной жизни:
Грешить — грешил, так не кричи о слепоте напрасно.

И всё, что в жизни называл я правдой, — ложью стало,
Вот истина: пропала жизнь в неправоте напрасно.

Подумай: нищий на суде — он праведней султана,
Султаном стал бы нищий — и погряз в тщете напрасно.

Но что мне до других людей, о Навои, я знаю:
В невежестве погибла жизнь и в суете напрасно.

Я жажду близости твоей — приди, моя отрада!
Приди: я — тот, кто жизни ждет, испив от чаши яда.

В костре сгорает человек — огню и горя мало!
И я горю, и мой палач мне не подарит взгляда.

И, двери смерти отворив, стрела мне грудь пронзила!
Стрела что ключ, и рана — дверь, и грудь моя — ограда.

Аллах мне ниспослал любовь — и плоть испепелилась,
И сгинула в огне душа, стреле небесной рада.

Я страстью сердце утолил, как влагою Кавсара:
Не в райском ли саду выросла та ветка винограда?

Как саламандра, я в огне не знаю искры страха.
Молю! Оставь меня в любви, не избавляй от ада!

Пока твоя бунтует плоть, ты — прахом будь ничтожным,
А станет прахом плоть — грядет душе твоей награда.

Без тьмы разлуки, Навои, не будет утра встречи.
Так белую берут сурьму, коль красить черным надо.

61

Если кровью изойду — этому виною ты.
Если счастья не найду — этому виною ты.

Обещала: «Я приду!» Говорила: «Жди в саду!»
Если я с ума сойду — этому виною ты.

«Это горе — не гора, поцелую — всё сотру. . .»
Каждый день растить беду — этому виною ты.

«Отражу я стрелы звезд!» — звезды ранами во мне
Отразились, как в пруду, — этому виною ты.

Я попал в твои силки! Не глаза — а колдовство,
Рот — как точка! Я в бреду! Этому виною ты.

Разорен я! Чашей мне станет жалкий черепок,
В сердце я свой клад найду — этому виною ты.

Глуп, кто ищет в Навои святость! Я ее пропил!
И сейчас в кабаке иду — этому виною ты.

62

Долго ли, себя казня, должен я о камни биться,
Чтобы разум покорить и любимой покориться?

Ты преступница, душа! Потянув за цепь безумья,
Я предаю тебя суду, заключу тебя в темницу.

Право, я несправедлив, и душа не виновата:
Что не видели глаза, то могло ли ей открыться?

71

Мне не спится в эту ночь, не ложится, не сидится,
Я брожу, ищу во тьме, где же истина таится?

Только что мне горевать? И зачем рыдать напрасно?
Предначертана судьба и не может измениться.

Я — пылинка, я молюсь, но меня не слышит солнце,
Мало пользы от мольбы — значит, незачем молиться.

Яд, кинжал или петля — много способов надежных,
Чтоб окончить эту жизнь и к любимой возвратиться.

63

В гневе ты — любой поступок мой мученье для тебя.
Ты добра — мой грех стократный упоенье для тебя.

Ты со мною то скучлива, то внезапно весела,
Как привыкнуть к переменам настроенья у тебя!

Доброта твоя сражает, и убийственен твой гнев,
Своему дивлюсь терпенью в раздраженье на тебя.

Сердце, так тебе и надо: полюбило — и терпи,
Будь хоть каждое мгновенье огорченьем для тебя!

Роза, зная пылких вздохов опасайся, но поток
Слез из глаз моих — спасенье, наслажденье для тебя.

Солнце, не сожги влюбленных: знай, от их горячих лиц
Прибавляется свеченье, жар и жженье у тебя.

С солнцем не ищи сравненья. Ты — пылинка, Навои,
Но его пренебреженье — оскорбление для тебя.

64

Сто тысяч раз кинжал любви полосовал мне тело,
Разлука бросила в шипы, в сто тысяч ран одела.

Но даже и среди шипов, тебя благословляя,
О нежном аромате роз влюбленно сердце пело.

Из тела — дома своего — рвалось к любимой сердце,
Без родины, в краю чужом ему осточертело.

Мой саван словно бы в крови от каждой нити алой, —
Душа от алых губ твоих немало претерпела.

Как не погибнуть соловью: неверности жестокой
Пылающих средь луга роз — нет меры и предела!

В ста завитках, о Навои, твоей любимой локон.
На завиток — по сто сердец навек оцепенело.

65

О, если бы в саду любви вступила страсть в свои права!
За шею милую обняв, шепчу ей нежные слова.

В мгновенье близости лицо я прячу на ее плече,
В мгновенье слабости у ног лежит покорная глава.

К себе приблизив розы щек, беру губами лепестки,
То как безумный к ним прильнув, то прикасаясь к ним
едва.

Я с губ живительный сироп, что слаще и хмельней вина,
Вбираю — и в сравненье с ним была бы горечью халва!

Слеза в ресницах задрожит — к ее лицу прижму глаза,
Росу восторга осушит жар щек — не грубость рукава.

Беспамятство одолевать в себе хотел бы я порой
И вежеством одним смирять порывы злые естества.

Одну хмельную ночь познай и будь доволен, человек.
Займется утро, день придет — и снова жизнь твоя
трезва.

Разлуки ад и горя яд дала в избытке мне судьба.
А ночь хмельную мне не дав, она была бы не права.

О Навои, что стоишь ты и что — вино мирских услад?
У пса — лакай он даже кровь — должна быть в миске
голова.

РЕДКОСТИ ЮНОСТИ

66

Есть где-то пери, говорят, она красивей всех.
Любовь моя милей стократ, она красивей всех.

Красавиц много, но она весь мир ввела в соблазн,
Нет в мире без нее услад, она красивей всех.

Ее лицо — как ясный день, глаза ее — как ночь.
Ланиты, как тюльпан, горят — она красивей всех.

Пускай мне возразит иной — мол, краше лица есть,
Но ясно говорит мне взгляд — она красивей всех.

Красой насытиться нельзя, красе предела нет,
Юсуф прекрасней был навряд — она красивей всех.

Коль были бы Ширин, Лейли прелестны, как она,
Меджнун грустил бы и Фархад — она красивей всех.

Пусть солгала и не пришла — прекрасна эта ложь.
Прощу ей всё, ей нет преград, она красивей всех.

Я слышал, гурии добры, но гурия моя
Добрей, отрадней всех отрад — она красивей всех.

О Навои, в ее саду шипы как лепестки,
А улица ее как сад, — она красивей всех.

67

Вновь разлука обожгла, вновь тоской теснится сердце.
Разум вновь испепелен, и опять дымится сердце.

Постоянство искушать — нет вреда, но нет и пользы.
Тот, кто любит, тверд в любви, помнит о царице сердце.

Путник, цели ты достиг, если ищешь прах Меджнуна, —
Обращен и я во прах, сделалось гробницей сердце.

Гвозди в небе вместо звезд, дегтем небосвод измаран,
Не зажжется никогда светлою денницей сердце.

74

Не ликуй, соперник мой, был и я любезен милой,
А теперь отвергнут я, и теперь темница — сердце.

Сердце, не печалься так — может быть, в разлуке благо.
О шалунье позабудь, пусть другой пленится сердце.

Если дева, Навои, не огорчена разлукой,
Не прощаясь уходи, пусть угомонится сердце.

68

Чтоб свежей ты травой была в саду моем, хочу я.
Чтоб ты смеющимся цветком сияла в нем, хочу я.

Моя любимая больна, и дух мой с нею страждет.
Чьи муки горше, не узнать. Но быть врачом хочу я.

Без милой хижина моя — пристанище печалей.
Чтоб снова солнцем ты вошла в мой темный дом, хочу я.

Живую воду подноси, о Хызр! Зачем ты медлишь?
Отдать ей душу, быть вовек ее рабом хочу я.

И если кровь, как хна, нужна ее ногам, ладоням,
Чтоб крови дать ей, грудь мою пробить мечом хочу я.

О лекарь! Сообщи скорей, что милая здорова,
За весть такую жизнь отдать, забыться сном хочу я.

О Навои! Ты стан ее видал, стреле подобный.
Чтоб был твой глаз навек пронзен стрелы концом, хочу я.

69

Оставь скорей случайный кров. Пускай душа больна —
Для путника всего милей родная сторона.

Твой путь опасен, конь твой хром, дорога далека,
И всё ж оставь случайный кров — пусть цель едва видна.

Твой караван уйдет вперед, останешься один —
В пустыне той грабеж, разбой, недаром ночь темна.

Неопытному ни воды, ни пищи не сыскать —
Легка дорога для того, кем пройдена она.

В ком нет сомнения, лишь тех свиданье с милой ждет —
Обдуман каждый шаг в пути, дорога им ясна.

В долине страсти чудесам, о путник, не дивись —
Там муравей повергнет льва, там червь сильней слона.

Долину эту покорит, с ней справится лишь тот,
Кем, точно молнией в грозу, земля озарена.

О кравчий! Трудно мне в пути, я выбился из сил —
Я бочку вычерпаю всю, покрепче дай вина.

В твоём вине такой огонь, что голова в дыму,
Сгорают знания и ум, душа опалена.

Из сердца вычеркну я всех, чиста души скрижаль.
Скажу — и тайны в этом нет — там лишь она одна.

О Навои, на путь скорбей остерегись вступать,
Пока ты в брэнности своей не убежден сполна.

79

Лик твой в бисеринках пота обретает новый свет.
Ах, когда сияло солнце так в кругу своих планет!

За девятую завесу спрячься, чтобы мир не сжечь!..
Но, увы, все покрывала этот свет не скроют, нет!

Отражаешься, как солнце, ты в потоках слез моих,
Оставляешь в моем сердце навсегда горячий след.

Из души совью веревку, чтоб себя связать скорей:
Нежных уст твоих рубины порождают буйный бред.

Вопрошая: «Что со мною?» — в небесах луна плывет.
Я терзаюсь, но ни слова не могу сказать в ответ.

Пиршеству любви даруют соловьи свои сердца.
Я на углях роз пылаю — не спастись вовек от бед!..

Коль вином печаль развеять ты захочешь, Навои, —
В пузырек, кипящий в чаше, превратиться — дай обет!

Наступили дни разлуки, угрожает смертью рок.
Для чего терплю я муки? Всё равно умру в свой срок.

От любви твоей к другому я страдаю, я горю.
Рай с тоскою вспоминаю, в ад шагнув через порог.

Надо ль в горькое лекарство добавлять смертельный яд?
Ты, губя меня разлукой, добавляешь к ней упрек.

Для чего, любя другого, так сурова ты со мной?
Ведь равно ласкает солнце и колючку, и цветок.

Твой тулпар мои желанья раскидал, развеял в прах, —
Сердца лучшие надежды смяты, втоптаны в песок.

Стан твой, схожий с кипарисом, я б омыть слезами мог...
Ах, унес мечты о счастье слез безудержных поток.

Жжет меня твое сиянье. Гордый взор как меч жесток.
Ах, зачем мечом жестоким сбить спешишь меня ты с ног?

К смерти ты приговорила злой разлукой Навои —
Душу с телом разлучила, и аллах мне не помог!

Он любить мне запрещает, простодушный, кроткий шейх!
Э, какой там кроткий! Злыдень! Мерзкий пес в чесотке,
шейх!

Что в вине твоём соринки, если даже коврик свой
После омовенья стелет в луже посередке шейх!

Яркий свет добра и веры разве может излучать
В заблуждениях погрязший разум твой короткий, шейх?

В море лжи и лицемерья, духом алчности гоним,
Посохом-веслом махая, плавает, как в лодке, шейх.

Сеть обмана расстилает для доверчивых людей,
Сделав зернами приманки погремешки-четки, шейх.

В ярости — он хищник дикий, похотью — как грубый скот,
Хоть и кажется двуногим по прямой походке шейх.

На людей похожим станет разве только в кабачке,
Если хмелем брэнной влаги пополощет в глотке шейх!

Если средь твоих собратьев я бы честного нашел,
Я рабом ему служил бы, радуясь находке, шейх!

Ты себя считаешь мужем, а чаряд твой так цветист,
Что под стать лишь пестрой птице или глупой тетке,
шейх.

Простодушна юность в дружбе, к ней стремится Навои,
Не беда, что дружбу тоже запрещает кроткий шейх!

73

Не придет она — из тела мое сердце выйдет,
Но забьется, коль из этой узкой дверцы выйдет.

И пустыня станет садом, коль она из сада,
Грациозней кипарисов островерхих, выйдет.

Опасайтесь, мусульмане! Угрожать исламу
И религию разграбить иноверка выйдет.

Нет, из глаз моих не слезы — капельки сочатся,
А из раны капля крови, на поверку, выйдет.

Из груди моей, приятель, вытащи занозу —
Заодно стрела из сердца милосердно выйдет.

Если на меня и небо гнев свой обратило,
Разве же мои стенанья слушать сверху выйдет?

Чашу Навои наполни, кравчий, в утешенье —
Ведь любимая печальна непомерно выйдет.

Небосвода грудь сияет солнцем, звездами, луной,
Небосвод не замечает бед поверхности земной.

И садовника, который множество цветов развел,
Соловей, лишенный розы, не примет своей тоской.

Шах, владеющий всем миром, сотней розоликих дев,
Не увидит, что в разлуке бредит нищий, как изгой.

Будь, приятель, милосерден — раны разбинтуй мои:
Жесткий пластырь впился в тело, болью пронизал
сквозной.

Душу жертвовал я людям, отклика не находя,
С каждой толпой сливался, был с людьми я
день-деньской.

Я не выболтал секретов. Как же узнавал народ
Всё о сокровенной, тайной, о любви моей мирской?

Навои! Когда узнает тайну закадычный друг —
У него всегда бывает закадычный друг другой.

Я отвел глаза от милой, боль тревог — возмездье мне,
Возгордился — и кровавых слез поток — возмездье мне.

Я не знал в безумном сердце единенью с ней цены,
И за это уготовил мудрый рок возмездье мне.

Я забыл, что сад свиданья крепким кровом был моим.
По степи блуждать без крова, без дорог — возмездье мне.

Может быть, твоей открытой лаской возгордился я,
И в разлуке тайной скорби злой ожог — возмездье мне.

Не карай меня разлукой, лучше на смерть обреки!
Парази кинжалом гнева! Твой клинок — возмездье мне.

Можно ли в любви неверность по заслугам наказать?
Только смерть, что преступленьем я навлек, — возмездье
мне.

Навои в саду свиданья песнь твою не оценил.
Стон мой, что пребудет ночью одинок, — возмездье мне.

76

Нет! Не нарциссы те глаза! Нарциссы разве палачи?
Людей разят ее глаза быстрее, чем острые мечи.

О пери! Косы на заре от ветра приколола ты,
И я в смятении гляжу на усмиренные бичи.

Нет, не бичи — две цепи мне — две черные твои косы.
Пускай на землю упадут! Скорее косы размечи!

Пропитанный водою слез, вдруг запылал от страсти я.
Ах! То не молния ль зажгла сырое дерево в ночи?

Рычаньем небо разодрав, явился лев — дрожи, лиса!
Пришла, сжигая землю, страсть — о разум хитрый,
замолчи!

Заря! В саду моих очей ты пальму стройную взлелей!
Осыпь цветами тело ей, росой косы омочи!

Возлюбленная, покажись изголодавшимся глазам,
Румяным яблоком лица мой давний голод облегчи!

Плоть побеждая, Навои, плотину страсти подними!
Да хлынут в душу без преград печали светлые ключи!

77

Познал вино — и от глупцов, от их речей свободен я.
От самохвалов, от святош и от ханжей свободен я.

Подвижники в монастырях не знают прелести вина.
Хвала всевышнему! Без них мне веселей, свободен я.

Из тесной кельи в кабачок любовь забросила меня.
Моя темница далеко! От всех цепей свободен я.

Но где жестокая моя? Ах, если бы она пришла
И стала бы со мной нежней! Ведь только с ней
свободен я!

Погибну от разлуки я. Эй, виночерпий, кубок дай!
Похмелье кубком исцели, чтоб стал скорей свободен я!

Все песни звучные свои в злосчастье черпает поэт.
О Навои! Не говори: «От злых страстей свободен я».

78

Друзья! Надежда на свиданье сожгла мне грудь, лишила
сил.
Безмерный груз моей печали скалой мне душу придавил.

Как милости просить у шаха, когда огонь моих страстей
Испепелил мое сознание и языка меня лишил?

Весной любви глаза сияли, померкли осенью глаза.
Унылый листопад разлуки их алой кровью оросил.

В тоске я стал, как волос, легок, как нить, запутался
в тоске.
Бессильное поникло тело, по каплям кровь ушла из жил.

Ах, сердце рвется к ней, как птица, и днем, и ночью
рвется к ней.
Из оперенья стрел разлуки у сердца пара легких крыл.

Потоки слез разлились морем, бушует ураган любви,
О мой корабль, куда ты мчишься, руля лишенный и
ветрил?!
ветрил?!

Мне стыдно жить в разлуке с нею, но я не виноват,
клянусь!
Презрев меня, нейдет за мною посланец смерти Азраил.

Когда ты пьешь вино, лишенный рубиноцветных губ ее,
Проси, чтоб в том вине кабатчик рубин и яхонт
растворил.

О Навои, тяжка разлука, но не грусти, быть может, бог,
Творя безжалостных красавиц, и добрых тоже сотворил.

79

Меня покинув, чаровница теперь смеется надо мной:
«Смотрите! На осенней ветке осенний лист дрожит
сухой».

Она права. Я слишком сильно разжег огонь в моей душе.
И вот поблек. Спина согнулась, лицо покрылось
желтизной.

Кровь многих сотен жертв алеет на белых пальчиках ее.
Что делать! Эта чаровница своих ногтей не красит хной.

Взгляните, в чем она? В наряде из лепестков изящных
розов
Или в оранжевом жилете под нежно-алой епанчой?

О нет, не ей от солнца жарко, а солнцу жарко от нее.
Спасая солнце, чаровница лицо завесила фатой.

Ее глаза пьяны. О сердце, налей до края чашу дней,
Чтоб охмелел и я, влюбленный в глаза красавицы
хмельной.

Плачь, плачь, влюбленный, лейтесь, слезы! Ты слепнешь,
ночь твоя темна.
В ухабах, в рытвинах дорога, хромает конь усталый
твой.

Плачь, Навои! Здесь, вероятно, твоя любимая прошла.
Не потому ли пыль дороги тончайшей кажется сурьмой? . .

Прямого, искреннего друга искал я много лет подряд.
Напрасно! Горести, печали все в тайниках души таят.

Ах, как была нужна мне дружба! Родную душу обретя,
Я б одолел тоску и горе, я стал бы радостью богат.

Я видел колесо фортуны, я знаю, в чем его секрет.
В конце гнезда у каждой спицы разящий насмерть
спрятан яд.

Нет счастья! Жизнь скорбит о людях, как ночь, как
в трауре вдова.
Бледна. Распущенные косы. Слеза тоски туманит взгляд.

Да, мир уныл и беспросветен. Все начинанья губит он.
Захочет ли его Всевышний вновь переделывать? ..
Навряд!

Нет верности, нет чести в мире. Но погоди, настанет
час —
Появятся другие люди и свет от мрака отстоят.

Красиво сказано, не так ли? .. Ах, если б это всё
сбылось!
Ах, если б знать, что эти строки свечами истины горят! ..

О кравчий, дай хмельную чашу, осадком грудь мою
намажь.
Быть может, эта муть и чаша меня от муки исцелят.

Ах, Навои, зачем дивиться, что нету счастья, если мир
Весь, точно музыка дурная, на части без толку разьят!

Враг пожалеет иногда, но не разделит горе друг.
Едва надвинется беда — тебя покинет вскоре друг.

О сердце! Дружбы не ищи. С врагами сладить я могу,
Но лишь страдание несет на жизненном просторе друг.

Когда мне душу ранил враг, случилось, я его прощал.
И я прощал, когда терзал кинжальной болью в споре
друг.

Когда ночами я не спал, будил мой стон подчас врага,
Но в безмятежном, сладком сне встречал со мною зори
друг.

Когда я, мучась, умирал — казался дружелюбным враг.
А друг? Враждебности не скрыл в своем холодном взоре
друг.

Пускай хулят меня враги — от них иного я не жду.
Но тот, кому я отдал жизнь, — он тоже в этом хоре —
друг.

Коварен рок: ты счастлив был, но вот уже идешь ко дну.
К тебе на помощь не плывет в житейском бурном море
друг.

Эй, виночерпий! Другом будь — налей вина! Врагов
не счесть,
Но есть у всех такой, как ты, в кабацком разговоре
друг!

Уже завыли псы кругом, как Судто умер Навои,
Друзей-приятелей моих я вижу в этой своре, друг.

82

Царь вселенной на востоке расстелил потоки света.
Развернулось полосами знамя золотого цвета.

Будто небо подметая радужным хвостом павлиньим,
Разбросал посланец счастья брызги яркие рассвета.

«Встало над каймою неба солнце золотом узорным» —
Так в одной из сур Корана рань рассветная воспета.

Жрец в кумирне запевае, муэдзин, зовя к молитве,
Над террасами Каабы славит утро с минарета.

Лишь влюбленный неудачник воротник порвал халата —
Сквозь завесу слез кровавых смотрит он на утро это.

Все любовные волнения отдала она другому.
Он рыдает. Нет страданий хуже страсти без ответа.

Несчастливцы! В ваших душах острые шипы разлуки.
Не вино, а слезы в чашах — неудачников примета.

Если б выпало вам счастье хоть на час сойтись
с любимой —
Вы б, как Фаридун на троне, пировали без запрета.

Осушив Джамшида чашу и упав к ногам любимой,
Вы ушли бы в вечность счастья, как сгоревшая комета.

Навои! Судьба такая и тебе не суждена ли?
Много странствий обещает наша брэнная планета.

83

Я буду очень удивлен, что соблюдает верность
Красавица. В нее влюблен, но есть ли в мире верность?!

Я столько черноглазых знал коварных и неверных.
Весь мир изменой заселен. Как отыскать мне верность?

Пусть черноглазая меня измучает сначала,
Чтоб был наградой исцелен. Награда эта — верность.

Сердечные страдания, боль пусть причиняет пери,
Пусть буду страстью опален. Меня излечит верность.

Влюбленный! Верность сохраняй избраннице навеки.
Единым чувством будь силен. Твоя опора — верность.

В наш низкий век не доверяй ни знатным, ни богатым.
Пей с горя, скорбью опьянен. Чужда вельможам верность.

Кто жизнью жертвует своей, чтоб верность доказать
им, —
Невежественен, неумен. Глупа такая верность.

И если ты услышишь речь о верности красавиц,
Не спорь, неправдой разозлен. Не верь лишь в эту
верность.

О Навои, не говори о верности! Быть может,
На свете лишь один бедняк хранить способен верность.

Скажу ль, что уст твоих шербет мне как родник воды
 А если не скажу «родник», то назову ль его «душой»?
живой,

А если ночь, как дни мои, светла от лика твоего,
 То солнцем пламенным его иль светлую луной назвать?

Коль колыхнет она свой стан иль улыбнется нежный рот,
 Мне кипарисом ли его иль розою живой — назвать?

Когда ж с усмешкою глядишь или коварный шуришь
 Врагом ли жизни мне тебя иль истинной бедой —
глаз,
назвать?

Когда клянусь я гнет любви, меня не следует хулить,
 Могу ли трудности свои я ношею простой назвать?

Могу ль уму я помешать уйти из пламени любви?
 Тому, кто от огня бежит, могу ли я «постой!» сказать?

Как быть, коль о моем вине узнает постник, Навои,
 Коль спросит, то могу ли я, что это слух пустой,
сказать?

В мечтах увидя шелк ресниц, я из-за них страдать
 Ведь те, кто в Мекку держит путь, порой страдают
готов —
от шипов,

Еще и стрелы не дошли, а я уж в сердце ранен был,
 На эту рану ливень стрел ударил из твоих зрачков.

Стремясь к рубинам губ твоих, кровавым морем слезы
 Дивиться ль алым облакам над морем, где струится
лью,
кровь?

Нежнейший пух твоих ланит стал искушеньем для меня,
 Но колет всякая трава у этих розовых кустов.

Любимые, зачем стряхать с меня вам землю цветника,
Зачем с безумца-бедняка, шутя, срывать его покров?

Едва коснусь я губ твоих, в мое дыханье жизнь
войдет, —
Ведь это ветер, что пахнул дыханьем чистых родников.

Ты узелками кос своих давно мне сердце оплела,
И сердце приняло союз твоих растрепанных силков.

Шейх приказал не пить вина, а маг мне чашу
преподнес.
Я, твой союзник, не бежал от этой чаши и пиров.

Где розоцветное вино, где розоликий кравчий мой?
Вот почему и Навои покинуть Хорасан готов.

86

На мускус родинка похожа — как будто предо мной —
индус,
В стране Хотана оказался пришлец страны чужой —
индус.

Чья родинка, похитив сердце, пленяет тотчас же собой,
Кто этот «похититель сердца», пленяющий красотой
индус?

Твои глаза, где светит верность, совсем не смотрят
на меня.
Не диво, что слывет неверным в неискренности той
индус.

На солнце утвердив жилище, он в мир лучами льет
беду,
И родинка твоя — несущий беду на мир земной индус.

Берет он сердце красотой, и разницы нет для него,
Будь армянин то, иль китаец, иль смуглый красотой
индус.

Равны и соловей и ворон пред цветником красы твоей,
И в красноречии зайкой стал черноликий твой индус.

Стал я рабом, индусом тюрка, и вот отныне, Навои,
Все люди стороны китайской в его глазах — сплошной
индус.

87

Из сердца вынута стрела со вздохом горестным моим,
Так искры, разлучась с огнем, всегда берут с собою дым.

Сто верных, лоб к земле склонив, в пыли испачкали
лицо,
Куда бы ты ни посмотрел, все пред лицом грязны твоим.

Страсть к ней заставила меня уйти от пользы и вреда,
Прибытка мне в торговле нег, как и убытка нет другим.

Пусть утро радости взойдет для любящих, но я привык
Грустить в полночной тишине, одетой сумраком густым.

Печали пыль, осев в душе, нам утомление несет,
И ты, куда бы ни пошел, уже не расстанешься с ним.

Что бытие, небытие? Ни счастья, ни тоски в них нет,
Не радуйся же бытию, небытием не будь томим.

Свое вино пей, Навои, в нем, словно в струнах, песня
есть,
Она к веселию зовет и станет спутником твоим.

88

Зачем, о солнце, словно тень, тобою я гоним?
Меня сожгло ты, мир залив сиянием своим.

Любовь, сжигая, пепел мой до неба подняла,
Не ты ль, любимая, меня шлешь к небесам пустым?

Меня отныне жар любви лишил душевных сил,
Но, ветер близости, ведь я уже неизлечим.

Ты на любовь кладешь запрет, я спорить не хочу,
Я, проповедник, всё равно иду путем своим.

Скажи, любовь, зачем меня на смерть ты обрекла,
Зачем разлуке ты велишь стать палачом моим?

Ты обещала близость мне, отдав разлуке в плен,
Ты к небу подняла меня, чтоб был я свержен им.

О Навои, лишь близость к ней могла б мне жизнь
вернуть,
Бездействием не упрекай, не будь судьей моим.

89

Сердце, полное печали, взял красавиц легкий строй,
Как бутон, что до расцвета сорван детскою рукой.

Сердце бедное осталось в путах локонов твоих,
Как жемчужина меж створок в глубине лежит морской.

У тебя в саду поймали птицу сердца моего,
Как зерном и сетью, кудри с этой родинкой двойной.

Сердце ты мое швырнула в пыль на улице своей,
Люди могут, словно пламя, затоптать его ногой.

Образ твой увидя, разум обезумел, как дитя,
Что рисунок на бумаге вдруг увидело цветной.

В мире подлостей немало, почему ж не видит их
Та, что радостью могла бы озарить весь мир земной?

Навои лишен рассудка, это, кравчий, не беда.
Возврати ему рассудок полной чашею хмельной.

90

Я хотел, чтобы подруга в сердце радость мне несла,
Но не знал, что испытаю от нее так много зла.

Я хотел, чтоб от дыханья уст ее цвела душа,
Но хирман существованья дева ветру отдала.

Думал я, фундамент горя разобьет она, любя,
А она лишь грунт разлуки мне под дом мой подвела.

Надо б ей свечою лика озарить мой темный дом,
А не дымом кос завесить свет у каждого угла.

Думал я, ресницы-стрелы разорвут узлы души,
Но лишь жалом для убийства стала каждая стрела.

Пусть не будет склонен к розе тот, кто, словно кипарис,
Неподвластен переменам, если осень подошла.

Не мешайте же стенаньям предаваться Навои,
Он, подругу вспоминая, стонет, словно жизнь ушла.

91

Узор твоих волнистых строк теперь в душе моей живет,
Что ни алиф, то стройный стан в воображении встает.

Нет, не письмо ко мне пришло — то был могучий
Он горе в радость превратил, войдя в приют моих талисман,
невзгод.

Свила ты нить бесценных строк, и в плачущих моих глазах
Кровавые прожилки их пылают ночи напролет.

Иссохший, немощный, я сам похожим стал на эту нить,
И корчится она в крови, что из обоих глаз течет.

Возлюбленная — всех милей, но мил, как жизнь, и каждый знак,
Что истомившейся душе весть о любимой принесет.

О щедрая, своим письмом дай нищему, что жаждет он,
Ведь здесь, в развалинах, никто таких сокровищ не найдет.

Будь счастлив, Навои! Пришло ее желанное письмо, —
Оно тебе от всех скорбей освобождение дает.

Как меня б ты ни терзала — буду молча я терпеть.
 Как бы клятв ни нарушала — буду молча я терпеть.

Обещала ты мне муку, людям — верность. Их оставь,
 Дай мне то, что обещала, — буду молча я терпеть.

Слово милой — стих Корана, хочешь ты меня казнить,
 Но душа отважней стала — буду молча я терпеть.

Волосы твои душисты, солнце лика твоего
 Тень твою мне начертало — буду молча я терпеть.

Что твоя усмешка значит? Как ее мне понимать?
 Ты на что мне намекала? Буду молча я терпеть.

Навои, в руках любимой сердце верное твое —
 И оно возликовало: «Буду молча я терпеть!»

У любимой на пиру, милый музыкант, играй.
 Книгу горести моей и печали открывай.

Ты рассказывай о том, как страдаю, как грущу.
 Ты мелодию тоски вдохновенно исполняй.

Твои струны хорошо прославляют мир иной.
 Но сейчас о мире том, я прошу, не вспоминай.

Если струнный инструмент всё не сможет объяснить,
 Словом песенным своим инструменту помогай.

Голову мне отруби — может, буду я смелей.
 Побыстрей гони коня, свистом сабли опьяняй.

Так настрой свой инструмент, чтоб созвучен пиру был,
 У любимой на пиру от других не отставай.

Не беда, что твой напев вовсе не для Навои, —
 Слух ценителей других тем напевом улаждай.

Двух зубов мне не хватает, но какая это щель!
Жизнь из щели выползает, смерть вползает в эту щель.

Щели все заделать можно, щели можно заложить.
Кто же эту щель заложит? — Не простая это щель.

Как бы ни был осторожен, как бы ни берегся ты —
Даже краткое мгновенье расширяет эту щель.

Нет, не только дверью смерти представляется она —
Множество земных печалей проникает в эту щель.

От зубов сто притеснений — вот мой тягостный удел.
Зубы возраст отмечают, дни считает эта щель.

Ближе, ближе срок предельный, грань небытия видней.
Не одни редеют зубы, и глаза — пустая щель.

И, всё выше поднимаясь, скорби и печали дым
Застилает их и мраком наполняет эту щель.

Неустанно, неуклонно сквозь глазницы, меж зубов
Старость с сотнею недугов посещает эту щель.

Навои, к пути готовься — это твой последний путь.
Близкой смерти посещение означает эта щель.

Пусть из праха моего тот, кто любит, слепит печь.
Всё внутри меня горит — о моей любви здесь речь.

Утешения друзей — не лекарство для меня,
Разлученному тоска не устанет душу жечь.

Я ногтями горы бед исцарапал. Друг Фархад,
От такой тоски тебя я хочу предостеречь.

Ветер бури, на меня понапрасну сил не трать, —
От любого ветерка мне мой прах не убережь.

Умоляю, ты людей мучиться не заставляй,
Но готов благословить я твой занесенный меч.

Став красавицы рабом, в кабачке я пью вино —
Значит, мнением людей я решился пренебречь.

Не склоняйся, Навои, перед грозною судьбой,
Но красавице своей, умоляю, не перечь.

96

Я хочу, чтоб был счастливым и богатым мой народ.
Не вино мне достается, кровь из ран моих течет.

Кто лишь удовольствий хочет, тот не стоит ничего —
Он в зависимость к другому непременно попадет.

Лучше гордым и способным выпить самый горький яд,
Чем из пиалы безволя пить, хотя и сладкий, мед.

Разве лучше сто красавиц? Разве краше их цветник?
Счастлив тот, кто с милой вместе в бедном шалаше
живет.

Сердцем ты не предавайся упоительным пирам.
Привыкай к ночам страданья в хижине своих забот.

Птице хорошо на воле, радуясь, поет она.
Птица в клетке золоченой зерен рабства не клюет.

Лучше щедрым быть и телом собственным кормить
собак,
Чем, от скупости жирея, жить, не ведая хлопот.

По дороге к высшей цели ты не мчался на коне.
Вместе с нищим-горемыкой нишета его умрет.

Навои, печальна старость для несчастного того,
Кто в дни юности беспечной жизнь порочную ведет.

97

Камни милая бросает. Что с моею головой?
Все — в меня, не пролетает ни один над головой.

Я зерном засеял страсти поле сердца моего —
Стая горлинок играет над моею головой.

Мне рассек кинжал разлуки голову на сто частей,
И все сто частей страдают. Что с моею головой?

Столько стрел-ресниц у пери, сколько у меня волос, —
Ночь печали нависает над моею головой.

Я в двуличную влюбился — мне нужны две головы.
Как с одной прожить — не знаю — мне с моею головой.

Сам я полюбил такую. От нее я всё терплю,
Все мученья принимаю. Что с моею головой?

Жертва пери, я вращаюсь вокруг нее, как небосвод,
И того не понимаю, что с моею головой.

Лучше выпью, превративши чашу в круглый щит, —
Ливни бедствий отражает над моею головой. пусть он

Навои, я от страданья высох бы, но добрый шах
Свой покров распространяет над моею головой.

98

Кто в любви бывал несчастен и страдания узнал,
Знает: то несчастье — благо. Не напрасно он страдал.

О, любовь! Чиста, как жемчуг, даже пыль с ее дорог.
Яркий блеск светил небесных рядом с нею бледен стал.

Тот, кто пил из грубой чаши чистое вино любви,
Чашу знатную Джамшида никогда не выбирал.

Хоть любовь царит и красит все небесные дворцы,
Кто влюблен, одежд богатых никогда не надевал.

Кто однажды был пронизан ярким пламенем любви,
Тот в халате златотканом от мгновенной вспышки стал.

От огня ее святого, как от молнии небес,
Гибли троны и короны. Ветер пепел раздувал.

Пусть корона золотая. Для чего тебе она,
Если ты, в любви сгорая, в этом мире дымом стал?

И короной, и богатством станет искорка ее.
Пусть она спалит мне сердце. Разве жребий этот мал?

Дай вина мне, кравчий, чище всех источников в раю,
Но чтоб в нем светло и жарко пламень адский полыхал.

И тогда в аду глубоком слезы чистые мои
Пламя сделают слабее, чтоб народ не так страдал.

Навои, когда взглянула на простой твой труд любовь,
В царственном ее убранстве каждый стих твой заснял.

99

У тебя халат зеленый, пуговицы золотые.
Стан твой словно куст прекрасный с лепестками
молодыми.

Золотистый, как шиповник, твой халат тебя скрывает.
Что в халате тайно дышит? Не цветок ли? Не плоды ли?

Что за стан, о бог всевышний! Куст ли райский в том
халате?
Что в нем скрылось цветом в розу? Тайна радости?
Беды ли?

Этот лик воды прозрачней. Волны — суть морщины гнева.
Синих родинок свеченье — словно лилии поплыли.

Улица твоя — цветник. Чудо. Нет в раю такого,
Чтобы роза с гиацинтом на одном побеге были.

Коль меня туда допустят, может, легче станет сердцу.
Может, станут доброй вестью тех садов цветы святые.

Хватит мучиться и хватит тосковать в молельне мрачной.
Ждет меня кабак веселый, чаши, солнцем залитые.

По душе кабатчик честный и по мне веселый кравчий.
Тот, кто любит веселиться; в жизни сердцем не остынет.

И не странно, Навои, что стихи твои прекрасны.
О, стихи, слезами глаз, кровью сердца налитые!

Осрамился я — но пьяный сок земной тому причиной.
 Пью вино, но несравненной стан прямой тому причиной.

Если друга мучит пери, не она, а он виновен.
 Коль в шального камень кинут, сам шальной тому
 причиной.

Если кто от скорби сохнет, небо в том не виновато,
 Но, что скорбь в скорбящем чует дух родной, тому
 причиной.

Я ношусь бездомным вихрем по земле, но то не диво, —
 Значит, сам пылию я небо, ропот мой тому причиной.

Про луну лепечет глупый, привораживая пери, —
 Люди верят в заклинанья: ум пустой тому причиной.

Жизнь дарующий убийца! Я умру, в том нет позора.
 Если смерть милей мне жизни, холод твой тому причиной.

Хоть тебя я проклинаю, льешь ты кровь мою жестоко,
 Проклинающий отступник сам собой тому причиной.

Навои, вина не пьешь ты, ждет напрасно виночерпий, —
 Образ грозный, голос нежный — роковой тому причиной.

Твоей неверностью, увы, терзаюсь постоянно,
 Верна другому ты — увы, терзаюсь постоянно.

Кому-то верности обет, а мне одни мученья.
 Я не желаю знать других. О, будь же постоянна!

Ты казнь пообещала мне, но я окреп внезапно,
 Целительней твои слова иных стихов Корана.

То — солнце ль твоего лица, а это — тень от стана,
 Волос ли, павших до земли, струя благоуханна?

И утонченный бы не смог понять твои реченья:
 Остроты, колкости и смех звучат весьма туманно.

Дела мирские — ночи тьма, вино — источник света.
Слей, кравчий, муть и напои из чистого стакана.

Отнимет душу, Навои, любимая — не сетуй,
Благодари за то, что ей одна душа желанна.

ДИКОВИНЫ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

102

Неблагодарная моя несправедливой быть решила,
Обычай верности в любви вмиг по ветру пустить решила.

Боюсь, мученья причинят ей вздохи тех, кто в чувстве
верен.
Ведь основанье мукам их — она же положить решила.

Не закручинилась она, влюбленных радости лишая,
Когда, вогнав невинных в грусть, мгновенно согрешить
решила.

В мгновенье током гневных слов разрушив верности
чертоги,
Творенья мудрости земной — стремленьем водным смыть
решила.

И не отважился никто замолвить хоть одно словечко
За осужденную любовь, ту, что она казнить решила.

Ах, время, сыновья твои исполнены противоречий
В глазах того, чья суть вполне отшельнической быть
решила.

В чертогах сердца Навои бесчинствуют войска разлуки
С тех самых пор, как в Астрабад его душа вступить
решила.

Кипарис розоволикий, гордо в сад выходишь ты,
Среди роз гуляя тихо, отдых здесь находишь ты.

Что с вином и розой делать обезумевшему мне?
Я готов лобзать тропинки, по которым бродишь ты!

Аромат душистой розы разве может мне помочь;
Если ты меня бросаешь, если прочь уходишь ты?

Умереть готов в бессилье. Подошла душа к устам.
Снизойди ко мне, Мессия, ведь к другим снисходишь ты.

Ах, глаза розоволикой скорбны, словно два больных...
Ты меня приводишь в трепет, сердце в дрожь приводишь ты.

Кто сказал, что горе розы не тревожит соловья?..
Неба гнев своим зуннаром от себя отводишь ты.

Семь небес есть у аллаха. Без тебя на что они?
На других глаза наводишь, стороной проходишь ты.

Груз несчастья тяжелее на дороге нищеты...
Сердце! Прежних дней веселья плачем не воротишь ты.

Навои, смирись, стань прахом, позабудь свои мечты!
Зря мечтаешь ты о пери, зря себя изводишь ты!

Коль возлюбленная пери у бродяги где-то есть,
В нем — величье Искандара, Хызра все приметы есть.

О, как сладко стан твой стройный каландару обнимать!
О аллах, какое благо, что на свете это есть!

Заглянувши в мое сердце, состраданье ощутит
Та, в чьем сердце постоянно от меня секреты есть.

Из-за глаз твоих, о пери, я бессонницей томлюсь.
В грустных взорах обещанье летнего рассвета есть.

Как шипы, твои ресницы в сердце страстное впились.
Что ж! Шипы у каждой розы в дни ее расцвета есть.

Отправляйся из мечети в майхану скорее, друг,
Чтобы сбросить гнет эпохи, где на всё запреты есть.

Навои, твои лохмотья и чалма всем говорят:
Сотни поводов для пьянства и зимой и летом есть!

105

Горе мне! Огонь разлуки налетел и тело сжег,
Опустить заставил руки, душу мне умело сжег.

Стало странником бездомным сердце бурное мое,
Всё, что я имел доньше, пламень оголтелый сжег.

На меня любовь упала, словно молнии стрела.
Ты ушла. Огонь коварный всё, что жить хотело, сжег.

Всё поблекло, почернело от огня любви к тебе.
Злой, безжалостный убийца всё, что в сердце пело, сжег.

От горящих уст-рубинов я не смог себя сберечь,
Вспыхнул я, как стог соломы; душу пламень белый сжег.

Сжег он имя и приметы, слог неповторимый мой,
Всё, что на моих страницах билось и кипело, сжег.

Навои, с зарею вспомни каждый стон свой, каждый вздох:
Сам ты этой ночью темной всё, что ввысь летело, сжег!

106

Всё чудесно осветилось, будто Хорасана край,
Солнце в небе появилось, пробудило сонный край.

Ты одна Восток и Запад можешь сразу озарить.
В небе солнце затмевая, ярко землю озаряй!

Среди пери, солнцу равных, — некого сравнить с тобой:
Выберу одну тебя я, если скажут: «Выбирай!»

Полыхают искры страсти, искры адского огня.
Ты, как сотня солнц, прекрасна; век сияя — не сгорай!

Быть достойным этой пери постарайся, Навои.
Тот, кого она полюбит, на земле узнает рай!

107

Трудно чувством твоим слабым мою душу возродить.
Легче было бы Каабу, в прах разрушив, возродить...

Сын свободного народа, полюбив, я стал рабом.
Ты могла б в рабе несчастном доблесть мужа возродить.

Если люди речь заводят о тебе, моя любовь,
В тот же миг могу твой образ, их послушав, возродить.

О, пойми, с тобой в разлуке я желаю умереть.
Ты могла бы к жизни труп мой, обнаружив, возродить.

Тысячи страниц терпенья пишет сердца каждый вздох.
Мой покой одна могла б тл, вдруг нарушив, возродить.

Благочестье с лицемерьем ловко смешивает шейх,
Хочет он обычай тленный равнодушья возродить.

Человеком в наше время лишь того я назову,
Кто способен в человеке добродушье возродить.

Надо мной несчастным небо, подымая мести меч,
Хочет летом ощущение зимней стужи возродить...

Навои, тебя отныне не заманят в Астрабад;
Страшно встретить эту пери, страсти ужас возродить.

108

Умолкнул пред твоей красою разум,
Взметнулась страсть, затмив собою разум.

Где озаряет тьму твое сиянье,
Там меркнет мысль, сражен бедою разум.

Ведь людям свет любви послал Мессию,
Хоть и владел загадок тьмою разум.

И трудный путь любви никто не кинул,
Когда надменно звал к покою разум.

Но если мысль не освещать любовью,
Не станет ли она пустою, разум?

О Навои, в вине любви — забвенье,
Когда тебя гнетет тщетою разум.

109

Всегда он в обуви грубой, с небрежной чалмой, —
Обидеть до смерти может приятель мой грубиян.

Его сдержать я стараюсь, но, кто ни подступит к нему,
Ответит дерзостью грубой, обидой прямой грубиян.

Не диво, что конь строптивый под стать хозяину дик,
Когда в быстрой скачке мчится стремглав домой
грубиян.

Он каждый миг помышляет до смерти меня извести.
Что ж, пусть тогда с ним сдружится такой же злой
грубиян!

В саду, во время попойки, буянил приятель мой.
О ветер, не дуй так резко: сморен дремой грубиян.

Налей кабатчику, кравчий, — в похмелье он зол и груб,
Скажи ему: «Злую душу вином промой, грубиян!»

Нет, при любой неудаче грубым не будь, Навои,
И за сто удач не стоит быть грубым, как твой грубиян!

Ах, наполнил мальчик чаши влагой светлою, и вот —
Стонет винная лачуга, покачнулся ветхий свод.

Мальчик наглый — рваный ворот, опоясал стан зуннар;
В левой — нож, рукою правой чашу поднял мальчик тот.

Взгляд-убийца поражает души кротких мусульман,
Локон-петля правоверным шею мягко обовьет.

От луча неправой веры сотни отблесков в лице;
Кудри — тьма колец лучистых — губят праведный народ.

Сел на землю у порога, чашу клонит мальчик-маг,
В землю льет осадок винный, в мертвых влагу жизни
льет.

Вот меня нашел глазами и, смеясь, заговорил —
Сотни слов сказал мне дивных, много нежных в них
забот:

«Навои! Кому уделом чаша чистого вина,
Тот прекрасное вдыхает, вечное блаженство пьет».

111

Ну так что ж, коль в сердце милой восемнадцать тысяч
смут?
Ей ведь только восемнадцать, — разве люди не поймут?

Много лет красивым будет этот нежный кипарис,
Если только в восемнадцать знает столько он причуд.

Лет сто восемьдесят будут верной гибелью грозить
Бедствия, что под бровями у нее нашли приют.

Не склоняйтесь изумленно пред царицей красоты, —
Виден здесь художник вечный, вдохновенный виден труд.

Тело — серебро, а сердце — ясный камень в серебре.
Всё о ней сказать сумею ль? Разум мой бессилен тут.

Навои с луной расстался, пролил, скорбный, море слез,
В каждой капле нити солнца отраженного цветут.

В час, когда глаза любимой в памяти моей кружат,
Слезы взгляд мой застилают, лоб морщины бороздят.

Ты в меня метнула камень, подобрал тот камень я,
И к израненному сердцу он рукой моей прижат.

Лютой ревностью сраженный, ослабел я потому,
Что влетает без утайки ветер в твой цветущий сад.

Не внимайте мне, о люди, — закружится голова!
Тяжко слов моих безумье, скорбных мыслей горек яд.

Нет счастливее служенья, чем глядеть на образ твой!
Смотришь на изображенье, мастера в нем видеть рад.

Ночью в кабачке — раденье. Отлитых из серебра
Тысячи мышей летучих пред кумиром там кружат.

Звонкую монету жизни Навои туда несет,
Только вспомнит он смутьянки дерзкий и влекущий
взгляд.

Если жив я, эти стоны надо мною почему?
Псы на улице пустынной дико воют почему?

О любимая! Скажи мне, что замыслил разум твой?
В ночь разлуки я, безумный, схвачен тьмою почему?

Если не сгубила душу эта злая ночь тоски,
Звезды светлые сокрыты тьмой густою почему?

Стало пусто в доме плоти, воли нет, и мыслей нет.
Так обижен, так ограблен я судьбою почему?

Ты вернулась и на ветер душу кинула мою,
В час ночной в степи упрёков я с тобою почему?

Человеческую сущность в этом теле истребив,
Сердце ты мое сжимаешь злой рукою почему?

О законник! Тайны страсти в речь законов не вместить.
Уши людям ты терзаешь болтовнею почему?

Раз предначертаний вечных не дано нам избежать,
Сердце бедное тревожим мы борьбою почему?

Если нет тебе надежды на свиданье, Навои,
Обольщение надежды пред тобою почему?

114

Голова моя разбита, я — Меджнун, безумен я,
И при встрече бьют камнями дети дерзкие меня.

Вкруг лица любимой пери из тюльпанов ли венки,
Иль вокруг луны собрались звезды, головы клоня?

То не смерч столбом песчаным над пустыней горя
Прах бесчисленных влюбленных встал над ней горой огня. стал —

Ты — Лейли, тебе пристала свита светлых райских дев,
Я — Меджнун, толпа безумцев шествует за мной, стена.

И любви исход единый — это смерть, о Навои!
Есть исход! А я боялся — нет спасенья для меня!

115

Размоет ли зданье сердца беды и скорби река?
Вином замешены стены — его основа крепка.

Пред кем лучистая чаша и в чаше блещет вино,
Чело того не темнеет, над тем не властна тоска.

По чистоте и по цвету чудесна чаша с вином,
Как райский родник — прозрачна, как пламя ада —
ярка.

Скажу я: всю жатву горя тот яркий огонь сожжет
И мыслей чертог омоет вода того родника.

Когда виночерпий духа нальет такого вина,
Блажен, кому эту чашу протянет его рука.

Я болен, о виночерпий, я чаши этой хочу!
Бедою сковано сердце, печаль моя глубока.

На темном пути упреков не оставляй Навои:
Ты налил полные чаши — сткрой мне дверь кабака!

116

По нежности твое лицо — и роза, и цветущий сад,
А сладкие уста твои душе покой и жизнь сулят.

Но скрылась пери от меня, бежит она от глаз моих,
И тело вспыхнуло мое, и душу тайный мучит ад.

Сто караванов огневых видал ли ты в степи любви?
То пламя стона моего, то вздохи черные дымят.

Я ночью слышал скорбный вой, я думал — это воют псы,
Но то на улице ее в тоске влюбленные вопят.

Я чашу полную разбил. Заплакал я. Но что грустить?
Ведь пьяный разобьет кувшин, вина услышав аромат.

Я в кабачке небытия! Что крепость мира перед ним!
Здесь люди забывают мир и забывают боль утрат.

Ты растопила сердце мне. Взгляни! В саду очей моих
Не розы блещут, а следы кровавых ног твоих горят.

Сказал я: бедный Навои в любви спокойствие обрел, —
Но вот опять бездомен он, безумьем и тоской объят.

117

Брызжет в черный мускус ночи белым серебром зима,
Черное смешала с белым, радостна во всем зима.

Снега нет в стране индусов, но бела постель зимы.
Ночью ложе по-индусски убрала ковром зима.

Мрачны эфиопы ночи, чист и светел белый снег.
Победила эфиопов снежным порошком зима.

Есть у нас обычай зимний — в белом доме пить вино.
Благостны зимы законы, к нам пришла с добром зима.

На пиру кипит веселье, люди греются вином.
Нет, не холодом и мраком — славится теплом зима.

Дом зимы разрушен будет, но мгновение цени.
Знай: напиток розоцветный принесла в твой дом зима.

Если хочешь власти Джама, утреннюю чашу пей.
От похмелья ночного, знай, излечит днем зима.

Навои! Вино поможет, теплой тучей станет ад,
Если стужу прогоняет снежным помелом зима.

118

Искрой солнца озарила ты мой бедный кров, свеча, —
Так гони же ясным светом гьму из всех углов, свеча!

Оба мы с тобой безумны. Голова твоя в дыму...
В медь нога твоя обута — крепче нет оков, свеча!

Ты, как я, по солнцу плачешь и во мраке до зари
К свету огненной дорожкой манишь мотыльков, свеча!

В темные часы дремоты сказкой старой душу мне
Утешаешь — и пылаешь ярче всех костров, свеча!

Тихо слезы льешь в печали — и спадают вниз они,
У подножья нарастая грудой жемчугов, свеча!

Это пери засияла! Мотылька своей души
Навои в огонь кидает — к смерти он готов, свеча!

Вокруг твоих очей-убийц стоят в засаде круговой
Твои ресницы, что сюда сошлись на подвиг боевой.

Я губ целительных твоих в смертельной скорби возжелал
Затем, чтоб жизнь вернулась мне, когда глотну воды
живой.

С монетой жизни в кулаке я шел к тебе, но на пути
Разлуке отдал деньги я, неожиданно, в сделке роковой.

Нарцисс-хвастун перед тобой красу свою превозносил, —
Он кажется перед тобой дурною, сорною травой.

Печален, темен твой напев, сияющая, как Зухре!
Но звезды — бубенцы твои, да будет солнцем бубен твой!

Уже не сердце Навои мишень для песен-стрел твоих,
Но в солнце бубна твоего он целится своей стрелой.

Щеки — розы. Над щеками увлажненный локон твой,
О создатель! Сеет амбру благовонный локон твой!

Стан — свеча. Над стройным станом как огонь твое
лицо,
По лицу струится дымом освещенный локон твой.

Разовьешь его — влюбленным черной цепью станет он,
Чистой росой утра опьяненный локон твой.

Ты — царица всех прекрасных! Солнцу — твоему лицу
Стал венцом благоуханным, стал короной локон твой.

Что свеча! Твой стан сравню я только с пальмою
прямой.
Как над пальмой, над тобою пышной кроной локон твой.

О жестокая шалунья! Свей твой локон! Пощади!
Пусть не ввергнет нас в безумье разъяренный локон
твой!

Удивительно ли, если жадно дышит Навои?
Амбру льет на лик горячий благовонный локон твой!

Все красавицы, что страстью сердце мучат нам, —
капризны.
Ну а ты, мое несчастье, всех ты лучше — и капризней.

Отнимают жизнь иные, а другие — вновь даруют...
Но живит и губит разом взор твой жгучий и капризный!

Избалованней ребенка эта ветреная пери:
Что попросит и получит — вмиг наскучит ей, капризной!

Так случайно, ненароком и мое разбила сердце...
Но твое от всех я скрою имя, случай мой капризный!

То, что взором овладеет, без труда проникнет в душу.
Как потом спастись от страсти, столь могучей и
капризной?

Пропускаю час молитвы, потому что днем и ночью
Лик луны моей сияет, лжет мне луч ее капризный!

Навои, твой дух не знает ни мгновения покоя —
Как посев, что тщетно просит пить под тучею
капризной!

Скажи я всё, что в сердце скрыл, — земля запылывает
И среди дня весь хор светил костром запылывает.

О, не прикладывайте мне целебной мази к ране,
Не то и вата, как фитиль, на ней запылывает.

Когда огонь внутри горит, не скрыться от пожара —
Куда бы ты ни уходил, он всюду полыхает.

О, мой язык — язык костра, и каждый вздох мой — искра:
Куда бы он ни угодил, всё вмиг запылывает.

Я молнией твоей любви, как ствол сухой, повержен:
Ее давно и след простыл, а он всё полыхает.

Увы, из глаз моих поток — и тот течет горячим,
И след, который прочертил, ожогом полыхает.

О Навои, огонь любви хмельною влагой тушат,
Но сердце, сколько бы ни пил, всё так же полыхает...

123

Своим письмом ты боль мою не уняла ни разу.
Я раб, увы, и вольную ты не дала ни разу.

А ливень слез размыл и снес печальный кров терпенья,
Но посетить юдоль мою ты не пришла ни разу.

Разлуки горы прокопал я голыми руками,
Фархада воля совершить то не смогла ни разу.

Ограбила ты разум мой, испепелила сердце...
И враг столь страшные не смел творить дела ни разу.

К разрухе этой я привык, приучен я к разлуке —
Иного мне любовь моя не принесла ни разу.

И сердце горькое мое я псам твоим бросаю —
Мне не кидали так легко и камень зла ни разу.

Ты мой палач — и плачу я, молю судьбу о казнях,
Лишь бы другого палача мне не дала ни разу.

О мальчик, дай вина, бутыл — отрада пьяным взглядам,
Иной дороги, чем в кабаке, боль не нашла ни разу.

Навеки сердце Навои изменница разбила.
А верных — к радости любовь не привела ни разу.

124

Я на пиру не от вина — от дум о ней пьянею,
И в мыслях я не на пиру, а на свиданье с нею!

И сам с собой веду порой беседы, как безумец:
В глазах всегда ее уста и стан, что лоз нежнее...

И то рыдаю, то смеюсь в плену воображенья:
То разлучен, то снова с ней встречаюсь, как во сне, я!

Не говори, что от вина кровь приливает к коже:
От унижений, от стыда я перед ней краснею!

Моя тоска, как муэдзин, зовущий на молитву,
Кричит протяжно в тишине, и вопль тот слов яснее.

О виночерпий, дай вина, чтоб утопить рассудок —
Сраженный страстью, он давно бессилен в битве с нею.

Назад не пробуй, Навои, вернуть свой бедный разум:
Ведь без него забыть печаль сумеешь ты вернее!

125

О, чашей стань хоть солнца круг — что сок сладчайший
в чаше,
Коль не дано из милых рук гринять бесценной чаши?

И всё же, кравчий, наливай и лей полней, чем прочим:
Что лечит горести разлук вернее пенной чаши?

Спросил я лекаря любви — назвал он три лекарства:
Свиданье, смерти злой досуг, отраду верной чаши.

В разлуке с лучшим из светил пью залпом, опрокинув:
Ищу звезду среди подруг на черном небе чаши...

Когда ж подруга поднесет, сказать: «Не пью» — не смею,
Хотя от счастья стану вдруг пьянее полной чаши.

О, в бренном мире слышим мы дыхание спасенья,
Когда любовь, минуя слуг, сама подносит чашу.

Ах, милая, дрожит рука, налей же влаги алой
И, словом ласки нежа слух, к губам приблизь мне чашу!

Я знаю: жаждущим вода — спасение от смерти.
Но мне, о Хызр, хоть смерть вокруг, водой не наполни
чашу.

Я прогулял среди гуляк, напился среди пьяниц
И вот стою, исполнең мук, испив позора чашу.

А впрочем, что за прок, скажи, от пира с громом бубна,
Когда с красавицею, друг, нельзя нам выпить чашу? ..

Ах, если кто-то пил вино в саду зеленом мира,
В пустых кустах на завтра вдруг найдут пустую чашу. . .

Гази, правитель, чей удел — Джамшида кубок вечный,
Подъемлет к солнцу синий круг — небес высоких чашу.

Когда ж узнают Навои — опустят очи долу. . .
Мирза мне в честь былых заслуг опять протянет чашу!

126

Когда любовь свела тебя на нет, от благочестья
жалкого — что пользы?
Ты стерт с земли, лишен земных примет, от гордости
заносчивой — что пользы?

Когда ты всё богатство расточил, как будто бы его и не
бывало,
Благоразумный принимать совет, о прибыли
раздумывать — что пользы?

Утратив разум, от людей бежав, ты под ноги свою ей
бросил душу.
В ней не нашлось и жалости в ответ, а в этом виде
ангельском — что пользы?

Влюбленный, ты о близости мечтал — твоим уделом
сделалась разлука. . .
Узоры сна стирает трезвый свет, ждать в этом мире
радости — что пользы?

В моря любви с надеждой ты нырял, нашел одну меж
раковин заветных,
Жемчужины ж в итоге нет как нет! А в скорлупе
сверкающей — что пользы?

Любимая — в душе твоей! А ты, не зная о том, искал ее
по свету. . .
Носиться днем и ночью ветру вслед, а душу прозевать
свою — что пользы?

О, благо тем, кто весел на пиру, не упускает чаши
искрометной. . .
Но сколько бы ни выпил ваш сосед, коль самого обнесят
вас — что пользы?
Во имя мудрой бедности сожги знамена выгод, почестей,
богатства,
Они кружили сердце столько лет, пришли, ушли, опять
придут — что пользы?
О Навои, на торжище любви ты торговал всегда себе
в убыток.
Кто возместить сумеет этот вред? И в этом жалком
торжище — что пользы?

127

Из груди отверстой выйдя, сграсть мой разум подожгла.
Так стволы сжигает пламя, выползая из дупла.

Чуть сплетутся нити страсти с завитками тех кудрей —
И довольно для безумцев: их судьба — сгореть дотла.

На лице луны я видел синяки от кулаков:
Видно, ей хмельное солнце насажало их со зла.

Душу семенами горя полнит щек твоих пушок.
Так и лето полнит склады муравьями без числа.

Ветер утра, одари нас шелком розовым зарю,
Чтобы роза лепестками кипарис мой облекла.

То не край завесы неба окровавила заря —
Это кровь моих рыданий ночью землю залила.

Кто мое, Меджнуна, тело видит в шрамах этих ран,
Тот решит: Лейли, наверно, псу лизать его дала.

Если я покину тюрков, не вините Навои:
О луна моя — туркменка, боль с ума меня свела.

Мне в час, когда блеснет звезда, на ум луна приходит,
А в час луны манит мечта: светило дня восходит.

Когда в ковше моем вода, на шее плащ для шейха,
Та чаша пира, что пуста, на память мне приходит...

Смотри: с вином в мой скорбный дом спешит моя
шалунья.
Поверь, не время для поста, когда она приходит!

Хоть милости она полна — на желтый лик не взглянет,
Где след от слез, как борозда, полями щек проходит...

О, мука! Стоит вспомнить мне ее прикосновение —
И жгучим ветром на уста неожиданный вздох приходит.

Иду в пески небытия — немой двойник Меджнуна,
И там ступаю неспроста, где след его проходит...

О Навои, сияньем глаз укрась свое жилище.
И впрямь: подходит час, когда любимая приходит!

Мне суждены скитания, и знание
Всей меры бед, и горькое изгнание,

Прощание с друзьями и страной...
Зато с бедою — новые свиданья!

Но что тебе? Ты в зеркало глядишь
И жаждешь вновь ненужного признанья...

Смотри, о шах в стране моей любви,
Жду от тебя, как нищий, подаянья.

Родит измену верность в наши дни.
Наполнить чашу — лучшее деянье!

О, век бесстыдств! Мне сто неправд грозят —
И все они в святейшем одеянье.

Грей среди пьяниц душу, Навои:
Так набожное черство воздержанье...

Рубину губ, убийце моему, моей души отторженной
не нужно.
А грешным взорам — святость ни к чему, и света веры
тоже им не нужно.

Мое же сердце алчет этих уст — оно и дня прожить
без них не может.
Так видящему рядом смерти тьму живой воды испить
немедля нужно.

Ты гонишь на ристалище коня — и мне уже беды такой
довольно.
Дальнейшего печальному уму уже и предугадывать
не нужно.

Да будет сердце жертвою твоей! Оно само любви мучений
жаждет...
Кокетством ты пытаешь — и ему полет ресниц твоих
увидеть нужно.

Смотри же — птица сердца рвется прочь из хижины
измученного тела!..
А гнезда вить в разрушенном доме одним лишь совам,
душам ночи, нужно.

Лицо твое — как белый лик луны... О нежная небесная
лепешка!
Как крошек хлеба в нищую суму, твоих лучей голодным
взорам нужно.

О, в этой лавке бренности земной свой нищий нрав ты
мигом обнаружишь,
Едва соседу скажешь своему, что сильным мира угождать
не нужно.

Нужнее слава добрая!.. Хотя не худо бы сначала
оглядеться:
Мы только люди все — и потому еще нам многое на свете
нужно.

Увы! Навек расстался Навои с душой своей поруганной...
И всё же,
Чтоб страсть его в одну вместить тюрьму, сто душ
людских собрать бы вместе нужно!

Живописец, к портрету ее пририсуй меня тоже, дивясь!
Да увидят глаза ее облик пригожий, дивясь.

Чтобы взгляды скрестились, чтоб стан к ее стану
приник!
Опиши ее рот, на рубины похожий, дивясь.

Не сплестись нам обоим — я знаю! — в объятье одном,
Но услышит она мои стоны, им всё же дивясь.

Я не смею просить, чтобы грудью склонилась на грудь,
Чтобы я прикоснулся к ней, шелковой коже дивясь!

Боже, боже!.. Какое безумие в сердце растет!
Размечтался ты, нищий, султанскому ложу дивясь!

Говорят, что собак она держит в своей стороне,
К ним швырните меня! Да паду я, подножью дивясь!

Если смерти рука увлекает безумца во тьму,
На безумца в разлуке — взирает прохожий, дивясь.

Кубок свой расплещи, виночерпий веселых времен!
Тянем горький напиток — увы, — бездорожью дивясь.

Не вернулось безумное сердце твое, Навои,
Люди видят Меджнуна, истлевшей одежде дивясь.

Я, с тобою разлученный, горестным иду путем.
О несчастье! Чужестранцем стал я в городе родном.

С той поры как я скитаюсь, жалости достоин я,
Если горе суждено мне — что ж, я с ним давно знаком.

Долго друга в неустанных я скитаниях искал,
Но когда ж смогу сказать я: здесь мой друг и здесь мой
дом?

Сердце грустное не может жизнь в себе остановить,
И друзьям я, и влюбленным словно вовсе не знаком.

Только друг меня заметит, злой соперник тут как тут, —
Все соперниками стали нынче на пути моем.

Ты, сказавший: «Был я верен, и обидой награжден», —
Страшно мне твое же горе передать твоим стихом.

Навои, уйди из мира, если с другом хочешь быть, —
Соловей нектар не выпил, он лишь грудь пронзил шипом.

133

На ее щеке девичьей темной родинки пятно —
Каплей амбры на горящем угле кажется оно.

В сердце милой вызвал жалость я жемчужною слезой;
Я — купец, и наживаюсь я на жемчуге давно.

Шах на пиршестве печали — кровью плачу, желт
лицом, —
Так из кубка золотого каплет красное вино.

Сердце просит подаянья уст твоих, но ты скупа.
Почему хотя б надеждой жить сейчас мне не дано!

Приходи, я буду прахом, попираемым тобой;
Вся душа полна страданья, тело муками полно.

Уничтожь в своем сознанье бытие, небытие:
Быть, не быть за гранью жизни — ах, не всё ли нам
равно!

Навои! Ужель пророком пьяной музыки ты стал?
Музыкант, играй на лютне! Виночерпий, лей вино!

134

Эти губы, чья улыбка зажигает блеск очей,
Заставляют плакать кровью и меня игрой своей.

Стоны испускает сердце, увидавшее луну.
Обессиленное сердце, что ни миг, — стучит слабей.

Не могу теперь из сердца я стрелу ее извлечь:
Что ни миг — стрела другая в грудь вонзается больней.

Не дожидаться сострадания, даже если б сердца стон
Пробудил на смертном ложе ко всему глухих людей.

Ты кровавою водою эти слезы называй,
Потому что цвет их создан кровью из груди моей.

Сколько я ни выставляю войск терпения в груди,
Милый взор моей любимой войска грозного сильней.

Стать рабом моей подруги пожелал бы сам Юсуф,
На базаре чувств хотел бы он себя продать скорей.

К Навои, больному духом, приведет любовь ее,
Где б она ни рассыпала стрелы вкрадчивых очей!

135

Человек в любви не видит тьмы мучения, как я,
Не томится он в разлуке и в смятении, как я.

От стрелы такого взгляда и от локонов твоих
Кто бы так терзался сердцем, был в волнении, как я?

Красоты такой неверной не было досель в веках,
Мир столь верного не видел в поклонении, как я.

Я сказал: века не знали соловьев таких, как я,
А она: «Кто затмевает роз цветение, как я?»

Ты сказала: «Прах влюбленных я конем своим топчу».
Знай, другого не отыщешь в унижении, как я.

Если дева даст мне чашу, об изгнанье речи нет:
Был ли кто так верен чаше единения, как я?

Я сказать тебе не смею о жестокости твоей,
Был ли кто еще на свете в притеснении, как я?

Без надежды на свиданье жил ли кто-нибудь, как я?
И с такой надеждой встречи ждал в смирении, как я?

Навои, твердить не надо: будь в разлуке терпелив.
Был ли кто в таком безвольном подчинении, как я?

Лик явив мне, словно пламя, ты сама мой дом сожгла.
 Что мне дом! Ты душу, тело черных глаз лучом сожгла.

Не тверди, что я виновен. Тело, душу взяв мою,
 Ты, недобрая, убийца, и меня потом сожгла.

Похищающая сердце, на меня бросая взгляд,
 Ты своею красотою вмиг меня огнем сожгла.

Вспыхнуть я готов, как нитка, оброненная в огонь,
 Разлученного с тобою ты костром тоски сожгла.

Погрузив в огонь терпенье, разум, сердце, плоть мою,
 Всё, что знал, чего не знал я, зло во мне с добром
 сожгла.

Больше, чем весь мир и сердце, чаша жаркая любви,
 Беспощадный виночерпий, ты меня вином сожгла.

С той поры твой стан и губы воспевают Навои,
 Всё, что тайно, всё, что явно, в сердце ты моем
 сожгла!

От страдания в разлуке лик иссохший мой — айва.
 Каждой клеточкою мозга страсть к тебе одной жива.

Сколько грязи униженья на лице теперь моем,
 Не имеет столько пыли на щеке крутой айва.

Голова седою стала, желтым сделался мой лик,
 Я — обложенная ватой, ставшая сухой айва.

Меч разлуки перерезал мне морщинами лицо,
 Но не принято, чтоб резал меч тебя стальной, айва.

От мучений горьких тела, изнывая, сохну я
 И сгибаюсь, словно ветви, словно в душный зной айва.

Человек, живущий мирно, всем желающий добра,
Охранен пушком защитным, сердцем схож с тобой, айва.

Навои, недаром солнце желтым выглядит всегда,
Ведь оно — источник жизни, чистый плод земной, айва.

138

С прикосновеньем губ твоих душа бессильна и больна,
Но силы вновь она найдет в покое сладостного сна.

От неустанных горьких слез лицо покрыла бледность
Теряет золото свой блеск, когда в нем ртути белизна. ^{мне,}

Едва подкову подниму, бровь милой вспоминаю я,
И, как михраб, душа моя бывает сумраком полна.

От взгляда зависти моей тесьма, стянувшая твой стан,
Мне тонкой кажется змеей, что вокруг тебя оплетена.

То застилает взор мечта о них, рубинах уст твоих,
А не слеза из-под ресниц, что словно кровь сейчас ^{красна,}

Рука разлуки уж легла на струны сердца моего,
И отвечает той руке рыданьем каждая струна.

Уже не диво, что давно готов ты гордость позабыть, —
Быть в своре бешеных собак душа твоя обречена.

Зачем желаньем милых уст себя ты мучишь, Навои?
Их пламенеющий коралл сокрыт глубокой тьмою дна.

139

Что о муках знают шахи, чей парчой горит наряд?
Что им огненные вздохи, те, что сердце пепелят?

Тот, чей меч обрызган кровью, мук влюбленных не ^{поймет,}
Кровь владыки проливают и виновных не щадят,

Лишь смиренным боль понятна, а не тем, кто вознесен,
Непонятно для Парвиза то, что вытерпел Фархад.

В край тоски душа и сердце удалились от меня,
Но за спутниками следом всё шаги мои спешат.

И когда узнают люди, что разлукой я убит,
Пожалеют о несчастном, не вернувшемся назад.

Грусть мою в цепях разлуки в состоянье ли понять
Все, вкушающие радость, кубки сдвинувшие в ряд?

Разве шахи станут думать о несчастных бедняках?
Навои, к престолу неба обращай свой чаще взгляд.

140

Певец, узнав мою тоску, спой мне о ней в печальный час,
Пусть тайне сердца моего теперь печальный вторит саз.

Начни мелодию свою, в которой грусть отражена,
И мне отраду принесет твой утешающий рассказ.

И пусть Меджнун или Фархад не будут названы тобой,
О муках расскажи моих, чтоб слезы капали из глаз.

Коль хочешь в пении своем чужих судеб не повторять,
О тех пой больше, обо мне упомяни один лишь раз.

Коль хочешь петь ты обо мне, пой о величии души,
А о возлюбленной моей — ее кокетство пой сейчас.

Когда осенние ветра завоют в этом цветнике,
Мотив разлуки, соловей, для розы спой, порадуй нас.

Печальной песнею твоей сжег тайно сердце Навои,
Певец, узнав мою тоску, спой мне о ней в печальный час.

О жестокая, до пепла тело ты мое сожгла,
Строя храм любви, на пепле ты всё здание возвела.

Если ты среди развалин не услышала совы,
Посмотри, как птица сердца душу криком извела!

Шел ко мне Меджнун от вздоха моего занять огня —
Вспыхнул сам и, словно волос, догорел в огне дотла.

Так я слаб в ночи печали, что дохнувшая заря
С улицы любимой тело словно искру унесла.

Сердце, жизни не должно ты столь беспечно доверять —
Ты всё время пьян, когда же голова твоя светла?

Столько лет уже ресницы ранят сердце Навои,
Стрел своих мишенью дева это сердце избрала.

Дождусь ли светлого я дня, когда ко мне она придет,
В сад жизни горестной моей когда опять весна придет?

Тюльпаноликая, в мой сад, как долгожданная весна,
Как тонкоствольный кипарис, она, легка, стройна,
придет?

Я не умру, когда она ко мне наездницей лихой,
Чтоб подчинить меня узде, схватить, как скакуна,
придет,

Чтоб душу бедняка согреть и взять зажженную свечу
С могилы, где его душа уже погребена, придет.

Погибнет сердце на пути, когда узнает, что она,
Увидев даже, что душа моя пьяным-пьяна, придет.

Где то вино, в котором я рассудок мог бы утопить,
Когда перед лицом небес ко мне моя вина придет?

О пери, гурии своей, мечтать не смеет Навои,
Когда она на пир, где он свой кубок пьет до дна,
придет.

Тебя увидя в цветнике, смутясь, затрепетала роза.
Роняя лепестки в тоске, от зависти увяла роза.

И, покрасневшись от вина, разлукой злой опьянена,
Как сердце красное, сама от крови стала алой роза.

В стране священной красоты, шахиня, всех прекрасней ты,
И все сады, и все цветы взяла ты под начало, роза.

Когда гуляешь ты в саду, чтоб оградить тебя от зла,
Все розы встанут, как щиты, шипы их словно жало, роза.

Пурпурных уст блаженный зной меня влечет к тебе одной.
Когда ты на пиру со мной, я пью — и сердцу мало, роза.

Пой днем и ночью, соловей, в честь гостии утренней моей,
Знай, быстротечна смена дней, летят, и жизнь
промчалась, роза.

Когда все розы расцвели, в дорогу вышел Навои,
Но для души его теперь разлука раной стала, роза.

Связь с городами я порвал, от шума их я отказался,
И от богатства двух миров, от благ мирских я
отказался.

Но сто несчастий на себя я принял, плача и скорбя,
От жизни отвернулся я, и от святых я отказался.

К чему богатство, города, душа и всё, чем жизнь горда?
Когда б желанья я имел, тогда б от них я отказался.

Я б Искандаром стать не смог, бессмертьем Хызра
пренебрег,
На что мне вечной жизни срок? Аллах велик — я
отказался!

Но от красавицы одной, такой насмешливой и злой,
Хоть это мне грозит бедой, я ни на миг не отказался.

Мой проповедник, ты давно нам хвалишь райское вино,
Я слаб, но взять большой бокал из рук твоих я
отказался,

Ты кровью плачешь, Навои, но, чтоб достичь своей
любви,
Идя по собственной крови, от мук таких не отказался,

145

Если встречи долгожданной человек, волнуясь, ждет,
Залюбуешься сияньем, что от глаз его идет.

Не пришлось отдать мне душу, чтоб тебя
поцеловать,
И теперь я сам не знаю, для чего душа живет.

Градом каменным разлука уничтожила меня,
Погребен я с головою, а лавина всё растет.

Можешь выкупить страдальца за один глоток вина,
А не то я буду продан будто пьяный сумасброд.

Приложи бальзам свиданья к ранам сердца моего,
А не то разлуки камень мне на голову падет.

Если шейх порвет, на счастье, благочестия халат,
Лицемерия заплату на прореху он кладет.

Навои, все в мире смертны, мира бренного дитя,
Бойся ханжества и лести, от которых дрожь берет.

146

Позором жалости твоей смущаюсь каждый день я,
Его не смыть и за сто лет покорного служенья.

Безумьем, болью страсть моя внезапно обернулась,
И вот — паденье для меня милее возвышенья.

Пусть от жестокости твоей я буду равен праху,
Но от другой я не приму и жест благоволенья.

Уста и стан твой далеки, но в цветнике я тщетно
Искал бы стройный кипарис или бутона рденье.

Ни ангельская чистота, ни человечность пери
Со свойствами твоей души не выдержат сравненья.

На улице любви я нищ: ведь на парчу богатых
И на лохмотья бедняков здесь нету разделенья.

Не говори: «Поклоны брось, коль выжил ты в разлуке»,
Любовь узнавший Навои узнал и униженье.

147

И мертвый бы воскреснуть мог от тех бесценных слов.
Как вздох Мессии был поток тех вдохновенных слов.

Ты — пальма, и плоды на ней — жемчужные слова.
Аллах, что может быть нежней тех совершенных слов!

Что слово — мысль дарят уста. Ведь только у детей
На мысль одну не меньше ста произнесенных слов.

Тщась лик твой описать, твержу я «солнце» много раз,
Но глубже мысль не нахожу от повторенных слов.

В разлуке плачу, больно мне. Ком в горле от чужих,
Хоть и сочувственных вполне, проникновенных слов.

На нет вся стройность сведена обилием шелков,
Так мысль бедна, затемнена обильем бранных слов.

Коль сердцем ты, о Навои, пред другом будешь чист,
Он тайны будет знать твои без откровенных слов.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ СТАРОСТИ

148

Если сердце вспыхнет гневом — вся вселенная сгорит,
Запылают сферы неба, высь надменная сгорит.

На расстеленную вату не бросайте камфару —
Будет пламенем объято всё мгновенно и сгорит.

124

В сердце жар волнения тлеет от раздумий о тебе.
Но однажды вспыхнет сердце, словно сено, и сгорит.

Сердце, что ежеминутно испускает вздох иль стон,
Опаленное разлукой иль изменою — сгорит. . .

Почернело мое тело, я любовью обожжен.
Как от молнии солома, мысль нетленная горит.

На глазах вскипают слезы, льются, как с горы ручьи, —
Лишь сильней от слез соленых тело бrenное горит.

Навои, скорей на сердце ковш-другой вина плесни!
Если это не поможет — несомненно всё сгорит!

149

В мой дом, разгорячась, вбежала с вечернею звездой
она,
Испариной омыла розы, как розовой водой, она.

Ресниц разбойничьих кинжалы — похитчики моей души,
Прядь амбровым жгутом спустила на стан свой молодой
она.

Приют мой темный озаряет солнцеподобный лик ее
Я на свету дрожу пылинкой, — не луч ли золотой она?

Взяв за руку меня, смеется, сажает около себя,
Пересыпает слов алмазы, сверкая красотой, она.

И говорит: «Печальный друг мой, как поживаешь без
меня?»
Что я отвечу ей? Сквала язык мой немотой она.

Кувшин с вином она открыла и кубок полный налила,
Пригубив, молвила с упреком, с лукавой прямою она:

«Скажи, Меджнун, не сновиденье ль, что разума
лишился ты?
Испей вина, открой мне душу, какой живет мечтой она?»

Я выпил, потерял сознание, к ногам возлюбленной
припал, —
Не хмель сразил меня — сразила своею добротой она.
Тому, кто в снящемся свиданье, как Навои, блаженство
знал, —
Не спать до воскресенья мертвых: сон сделала бедой
она,

150

Моя безумная душа в обломках сломленного тела —
Как тот безумец, что притих среди развалин онемело.
Краса твоих рубинов-уст чудесно оживляет мертвых —
То, верно, на живой родник дыханье божие слетело!
Жемчужины твоих зубов как будто в раковине скрыты,
Улыбка створки разомкнет — гляжу на блеск оцепенело,
Стекая медленно, дрожит в моих ресницах капля
крови —
То, в капле влаги отразься, наверно, роза заалела!
Я стан твой вспомню — и в строке все недописанные
буквы
Прямы, как в слове «джан» алиф, что выводил писец
умело!
Всю жизнь отдам я за тебя, любовь моя, ты —
совершенство:
Как среди тварей человек, ты меж людей царишь
всецело!
И если хочешь, Навои, чтоб людям смерть не слало
горе,
Про горе не слагай стихи, в которых бы страданье пело!

151

Она ушла, покинув пир, и села на коня, хмельна,
А я ей чашу протянул, с мольбой держась за стремяна.
Нет, мне ее не удержать, но я бы в жертву жизнь принес,
Лишь силой чуда бы она была на пир возвращена!

Торопит всадница коня — и сердце падает в груди,
Мечом обиды ранен я, жестоко грудь уязвлена.

Зачем не насмерть я сражен? Не легче ль муки мне
пресечь,
Чем торопить в обратный путь и гнать сквозь темень
скакуна?

Как грустно одиноким быть на горьком пиршестве
скорбей:
Нарушен сердца сладкий сон, душа покоя лишена.

От века так заведено: кто чашу радости вкусил,
Сто кубков горечи тому судьба велит испить до дна!

Я в одиночестве умру. Не странно ль — преданность моя
Ответной верностью в любви ни разу не награждена!

Когда белеет голова, с уединением смирись,
Ведь не украсят юный пир ни грусть твоя, ни седина.

Неверную не возвратишь. К чему ж терзаться, Навои?
Смотри: ты бледен, стан дрожит, душа печалью смущена.

152

Мой жар растопит и свечу — не только мотыльков
сожжет,
Так на лугу вокруг рдяных роз безумен соловьев полет.

Средь пыльных туч затерян я, среди развалин я брожу —
То, верно, пыль небытия судьбой низринута с высот.

Нет, то не звезды, это рок рассыпал скорби семена,
Так в ночь печали зернам слез, пролитых мной, неведом
счет,

Увидели б друзья мои, как груз измены мне тяжел, —
Была б безмерна их печаль, безумье — ей один исход.

Разлуки тягостная тишь — погибель для моей души;
Влача копыта, вялый конь в траве все гнезда в прах
сотрет,

Греховна преданность моя — убей, разлукой не терзай,
Да будь виновней я стократ — немислим большей кары
гнет.

Гуляка праздный! В кабачок, в свой бранный дом веди
меня —
Обитель та глушит печаль, спасенье кабачок дает.

Убогой долей надели, богатствами не ищущай:
У богача — желаний нет, у бедняка — их полон рот.

Сжигают стоны Навои и соловья, и мотылька, —
Зачем для них огонь любви — мой жар их без того
сожжет!

153

Ты ношей горестей мой стан, как чанг, горбатым сделала
И звук в душе поющих струн под стать утратам сделала.

Уж лучше бы в скрижаль небес мою беду вписали бы,
А ты волною моря слез меня объатым сделала.

Пронзил все девять сфер небес дым стонов моих
огненных, —
Ты из него витки кудрей злым супостатам сделала!

Скитаний мук, твоих измен, моей убогой немощи —
Всё мало! — Ты меня еще и бесноватым сделала!

И дым небес, и звезды слез, и стонов гром, и молния —
Ты этот скорбно-пестрый мир моим халатом сделала!

О кравчий, в старом кабачке твоей я стану жертвою:
Твое вино меня хмельным, людьми проклятым сделало!

Как жаждал Навои любви, а ты над бедным
тешилась, —
Ты всем погибшим от любви меня собратом сделала!

О сердце, про мою беду моей жестокой расскажи,
Как умираю я от мук в тоске глубокой, расскажи.

Про дым дыханья моего, про боль и стон кровавых слез —
Кудрявой, словно кипарис, розовошекой расскажи.

Про сотни тысяч мук любви, сокрытых от людей в тебе,
Ты ей — хранительнице тайн любви высокой —
расскажи.

О видевший, как я влачусь, разбитый, у ее дверей,
Ты про убогий жребий мой моей далекой расскажи.

О том, как я, смятен и наг, в пустыне пленником брожу,
Меджуну, что один бредет в степи широкой, расскажи.

О ты, кто поучал людей к слезам смятенья привыкать!
Про то моей душе больной и одинокой расскажи.

У ней уста — как у Исы, но все ее посулы — ложь.
О ветер, умер Навои. Про то — жестокой расскажи.

Я луноликой бы не смог и слова молвить за сто лет,
А если б и сказал — стократ я был отвергнут бы
в ответ.

Любви в ней нет, но иногда вдруг милосердьем одарит —
И люди в зависти язвят меня уколами клевет.

И странно ведь: она весь мир навек поссорила со мной,
А у самой — друзей не счесть, ей мил в пиру любой
сосед.

А как иначе? Верный друг всегда доверьем обделен,
Пока чужие — как друзья и каждый лаской обогрет.

И значит, люди неверны, как неверна и жизнь, о Хызр,
Раз Искандар, построив вал, смутьянам положил запрет.

Блажен, кто отыскал приют, который людям не найти,
Хоть и обыщут даль времен, хоть и обыщут целый свет!

Жестокостям сынов времен, о виночерпий, нет границ!
Дай чашу мне, чтоб ум померк, а разума пропал и след!

А если помощь мне подаст Фархадов и Меджнунов рой,
И сотней уст не вразумит безумца добрый их совет!

Могучий, словно небо, шах иль луноликий кипарис —
В жестокости, о Навои, различий между ними нет!

156

Хоть бодры телом и душой бывают старики,
Сравнятся с молодыми им — потуги нележки!

Пристала ль белой бороде горячность юных лет?
Пожухнув, вновь не зацветут вовеки лепестки.

И странно, если невпазд, как юный, скор старик,
А молодой — в повадках стар, рассудку вопреки.

В ходьбе подмогою — клюка, а пика — ни к чему:
Помехой будет, если взять ее взамен клюки.

Но и с клюкой не будет прям согнувшийся в дугу,
И если б юный это знал, согнулся бы с тоски!

Когда глаза запали вглубь, считай, что сильный муж
Смушение слабости укрыл в запавшие зрачки!

Вот стар я стал, и осужден я сплетнями ханжей:
Про тайные мои грехи твердят клеветники.

А те, кто в юности чисты, пусть вознесут хвалу
За то, что бог укрыл от них бесчестья тайники.

Никто не волен — стар ли, юн — в добре или грехе,
И те, кто ропщет на судьбу, от блага далеки.

Кто в молодости был строптив, веленьям не внимал,
Укоры совести его под старость велики.

Господня благость — океан: надежду буря шлет, —
Отчаяньем, о Навои, себя не допеки!

Моя душа — как властелин, она — султан в стране
 мечты!
 Каких ни пожелает благ — они доступны и просты.

Ее краса и страсть моя — два чуда, меж собой — сродни:
 Дивится мир на страсть мою, меня ж дивят ее черты.

Весь мир — среди багровых туч, но красит их не цвет
 небес,
 То — отблеск крови слез моих в зеркале горней высоты!

Когда бушует ураган, когда вокруг шумит потоп,
 То — слез моих текут ручьи, порывом стонов разлиты!

А птица сердца — как сова: свиданья, словно клада,
 ждет,
 В разбитом сердце спит сова среди глуши и пустоты.

Пусть верность — красоте не впрок; ты будешь верен,
 Навои,
 Хотя прошло уж много дней, как от любви страдаешь ты.

В степи любви, о Навои, увидишь ветер — знай и верь:
 В круженье смерча чудный стан мелькнет виденьем
 красоты!

В пустыне горьких мук любви, безумец, я сожжен
 разлукой,
 А люди в сплетнях страсть мою корят со всех сторон
 разлукой!

В убогой хижине моей я дружен с чашей одинокой,
 Где сотрапезник мой, где друг? Увы, всего лишен
 разлукой!

Вдруг о неверности твоей ко мне тревожный слух доходит.
 И вот повержен, сломлен я, исторгнут в сердце стон
 разлукой.

Гордец! В суровый час беды будь с теми, кто судьбой
унижен, —
Ведь нынче их щадит судьба, а ты уже сражен разлукой!
Клянусь: готов сто тысяч бед перенести за миг
свиданья,
Но не приму я жребий мой, когда грозит он мне
разлукой!
Отвергнутый, я слезы лил, чтоб мой посев взошел
плодами,
Увы, не даст плодов росток: он в сердце заронен
разлукой!
О Навои, когда мы ждем соединения с любимой,
Сто тысяч бедствий претерпеть положен нам закон
разлукой!

159

В огне измен душа от слез и от тревог сгорает.
Так молния сверкнет бедой — и сразу стог сгорает.

Летя на светоч красоты, горящий в ночь печали,
Огнем томимая душа, как мотылек, сгорает.

Напрасна жертвенность в любви — мое сгорело сердце:
Ведь даже храбрость смельчаку в огне не впрок —
сгорает!

Что это — рдяный цвет зари, багровый свет заката?
Иль это небо — мой огонь его зажег! — сгорает?

Любовь, мне сердце опалив, сожгла и дух и тело.
Когда страна в огне — с ней всё в недолгий срок
сгорает.

От мук сжигающей любви, как ты ни скор, не скрыться,
Ведь даже мотылька полет не уберег: сгорает!

Ты не спознался, Навои, с красою солнцеликой:
Ведь даже разум, что постичь светило б смог, сгорает!

Все розы замерли в саду пред розоликою моей:
Открыли для молитв о ней, а не для нег и смут уста.

Не удивляйтесь, что она то ранит словом, то — живит:
Как у Мессии нежен рот, но злые речи льют уста.

Окружье твоего чела напоминает солнца круг:
Нет точки циркуля на нем, искать — напрасный труд —
уста!

Послушай шепот уст моих — слова их только о тебе,
Но жизнь покинуть срок придет — и вздохом изойдут
уста.

Большую чашу, кравчий, дай! На мне как будто сотни
уст —
От лютой жажды исцелит ведь лишь большой сосуд
уста!

Послушай, хочешь уберечь ты тайну сердца своего —
Не подражай бутонам роз: пусть губ не разомкнут
уста!

164

За мною дети вслед бегут, жестоко бьют камнями,
Смотри: уже обсыпан я — не счесть их груд! — камнями.

У бедной хижины моей — камень зла и скорби,
Как будто рухнул небосвод на мой приют камнями!

В горах разлуки кряж страстей омоют кровью слезы,
И, весь в рубинах слез, поток зардеет тут камнями.

Моей могиле, о друзья, камней печали хватит, —
Не украшайте бедный холм, как он ни худ, камнями.

Отриньте камни злых детей: я истекаю кровью,
Как будто швы заживших ран мне больно трут камнями.

На мне — следы твоих камней, я с этой болью свыкся,
Но в давних ранах вновь зажжен жестокий зуд камнями!

Истерта немощная плоть камнями тяжкой кары, —
Пусть небеса хоть душу мне не избьют камнями.

Эй, кравчий, лей фиал полней — да будет он тяжелым:
Не перевесить на весах большой сосуд камнями!

Держу я чашу, словно щит, чтобы прогнать печали,
А небеса, о Навои, и щит мой бьют камнями!

165

В болтовне неисчерпаем, кладезь сладких слов — болтун,
В славословии — речистый, в речи — пустослов болтун.

Принесет посланье птица — славословий в нем не
счесть:
Многословный в разговоре, и в письме таков болтун!

Все слова его приятны и язык велеречив,
Диво ль в том, что облакает речь в такой покров
болтун?

У чувствительных аж слезы прошибает похвалой, —
Где морочить научился этих простаков болтун?

Осторожен будь с болтливым, не делись своей бедой:
Всем чужим твои печали рассказать готов болтун!

Не прими на веру слепо смысла всех его речей:
Речь свою всегда украсит вязью завитков болтун!

В болтовне его цветистой — сто советов Навои, —
Где он только их находит? До чего ж толков болтун!

166

Отрекся я от уз любви. Гоните прочь меня скорей,
Излейте на меня хулу, обрушьте тяжкий град камней!

Свяжите шею мне жгутом в урок приверженцам любви,
Ташите средь базарных толп вместилище души моей!

С позором пусть приволокут меня на торжище беды.
Толпа! Измучай плоть мою, как только сможешь, —
и — убей!

И тут же мерзостный мой труп предайте пламени костра,
Из преисподней взяв огонь, а хворост — из степи
скорбей.

Сгорю — и, в горсти взяв мой прах, развейте по ветру
его —
Пусть в небо пепел мой взметнет разлуки мертвый
сухovej.

И ветер понесет мой прах, а вы всей болью ваших ран
Пропойте песнь про зло разлук и про изменников-
друзей.

И, видя мой позор, сто бед стерпите, пленники любви,
Но усмирите пыл сердец, взнуздав коня любви своей!

Друзья, прошу вас: пусть придет на пепелище мук моих
Кумир моей былой любви — не знавший жалости злодей.

Я — тлен среди небытия, но к опозоренной душе
Пусть ветер рая донесут копыта мчащихся коней!

Всем хватит бед в степи любви, и кто за Навои вослед
Туда придет — сто тысяч мук сыщите для пришельца в
ней!

167

Секрет влюбленности — у тех, кто раб ее оков, спросите,
А тех, кто счастьем наделен, про радости пиров
спросите.

Любовь и верность — наш удел, другой обычай нам
неведом,
А про неверность у дурных — в чем суть ее основ —
спросите.

Нас жалкой немощью гнетут заботы времени и
старость, —
О красоте и силе — тех, кто молод и здоров, спросите.

Кто бессердечен, что ему сердце восторги и крушения?
Про сердце — лучше у того, кто слышит сердца зов,
спросите.

На ее пути я лягу прахом — взвейся надо мною, ветерок!
 Вихрем стань, лети за розоликой и развей мой прах
 у милых ног.

Ангелам подобна эта пери! Если я умру в разлуке с ней,
 Пусть на свет огней моей могилы прилетит она, как
 мотылек.

Если вдруг у птицы вырвут перья, страшной болью тело
 ей сожжет, —
 Так и мне в моей разлуке горькой град язвящих стрел
 всё тело сжег.

Словно солнце светлый облик милой — нет мне света без
 ее лица,
 Если бы сто солнц вокруг светило, черный мрак и их бы
 заволок.

Даже если б я хотел отречься от любви и дружбы
 навсегда,
 Над игрой любви ведь я не властен, я с судьбой бы
 совладать не смог!

Мчусь в долине скорби как безумный, — ветру не
 настигнуть мой полет,
 Но ее мне не догнать вовеки: быстрый конь, на нем
 лихой седок!

Бог спасет тебя от опьяненья, юный кравчий, если, для
 меня
 Чашу приготовив, дашь пригубить хоть один
 целительный глоток.

Но, увы, я в кабачке — лишь жертва. Здесь хозяин,
 потчужа вином,
 Равнодушно на меня взирает: что со мной — здоров иль
 занемог?

Я сгорел в огне моей печали, — пусть же все, подобно
 Навои,
 Обретут любовь, едва увидят искр моих струящийся
 поток!

Ее краса — диван стихов, в нем брови в первый стих
слились;
Писец судьбы предначертал им полустышьями срастись.

Был так жесток весенний град ее небесной красоты,
Как будто самоцветы звезд небесная низвергла высь!

От стонов огненных моих всё горло сожжено до уст:
Когда из уст не звук, а стон услышишь, сердце, — не
сердись.

Потоки слез моих — как кровь, не утихают ни на миг,
И странно ли, что в муках я, — ведь слезы кровью
налились!

Была сокрыта скорбь моя, но кубок хлынул через край,
В забаву людям боль души рыданьями взметнулась
ввысь.

А ей укромный угол люб, вино да горстка миндаля, —
Что ж делать, если любо ей таким даяньем обойтись?

Любимая, мелькнув, ушла, похитив сердце Навои, —
Приди ко мне еще хоть раз — хотя бы жизнь отнять
вернись!

Сверкнула в темноте ночной краса ее чела — свеча,
И словно солнце вдруг взошло — светлее звезд была
свеча!

Ей голову сжигает страсть, а ноги держит медь оков, —
Не потому ли от безумств себя уберегла свеча?

И каждой ночью до зари она, рыдая, жжет себя, —
Печальным другом стала мне в юдоли бед и зла свеча.

Не говори, что пламя — бич: к моей бессоннице добра,
Своим дрожащим языком мне сказок наплела свеча!

Желая в сердце мотылька побегу нежности взрастить,
В него роняет влагу слез и зерна без числа свеча.

Не для того ль, чтоб мотылька пожаром страсти
погубить,
Ему лукаво подмигнув, свой лик-огонь зажгла свеча?
Та луноликая меня не допустила в свой шатер —
Не так ли дразнит мотылька огнём из-за стекла свеча?
А может быть, из-за любви она сгорает и сама,
И опалает мотылька, чтоб он сгорел дотла, свеча?
Пусть, Навон, светильник твой задуют вздохи мук твоих,
Блеснул тот лик — твой ветхий дом сияньем залила
свеча!

172

В печальном сердце от любви такая тяжесть мук,
Что стон мой в душах всех людей родит ответный звук.
Какое диво в том, друзья, что плачу я навзрыд?
В больной душе — печаль и скорбь, когда неверен друг.
Когда душа во власти слез, тому причиной — хворь:
Влюбленных от измен гнетет мучительный недуг!
Когда в беде есть добрый друг, то это — не печаль,
Но горе, если скорбь придет и нет друзей вокруг.
Когда ты ранен не мечом, лекарство — радость встреч:
Тому, кто раз любовь обрел, страданье — от разлук!
О ты, взлелеявший свой сад, не радуйся цветам:
Ведь на рассвете не от роз — от солнца блещет луг!
С Фархадом и Меджнуном схож смятенный Навон —
Его любимой красота достойна их подруг!

173

Что жизнь мне? — Речь твоя, живое слово — лучше,
Рубин живящих уст — всего земного лучше!

Я — раб твоих измен, и всё ж я твердо знаю:
Кто в мире лучше всех, ты — и такого лучше!

Ты ищешь жертв себе — убить своей любовью, —
Не сыщешь никого — меня, больного, — лучше!

В степи любви бродя, забудь покой, о разум, —
Чем жить под сотней крыш, бродить без крова лучше!

Любовь! Возьми в свой дол меня взамен Меджнуна!
Не я ли, чья судьба стократ сурова, лучше?

Смиренно я служу пригожим и негодным:
И тот, кто хуже всех, — меня, дурного, лучше!

А хочешь, Навои, чтоб стих твой стал острее, —
Тебе поможет шах — нет острослова лучше!

174

Друзья, мой стройный кипарис вы среди роз в саду
спросили б,
А от меня взамен всю жизнь для той, кого я жду,
спросили б!

От скорби сердца я умру, а вы мне ищете лекарство!
И не ищите, лучше вы ее — мою беду — спросили б!

Не надо сострадания мне, когда я от разлуки стражду, —
Как мне страданье облегчить, ее — мою страду —
спросили б!

Напрасно ищите средь роз сраженное безумьем
сердце, —
Безумца — у ее дверей, где я во прах паду, спросили б.

Когда бы знали вы, что враг, сулящий гибель мне, —
разлука,
Вы у разлуки кровь мою — за верность сердца мзду —
спросили б.

Когда не вижу дивных уст, я словно отрешен от мира, —
Мой след в стране небытия, куда один бреду,
спросили б!

Когда сердца вам леденит сказ о Фархаде и Меджнуне,
Вы лучше пламенный дастан, напетый мной в бреду,
спросили б!

Скорбь погубила Навои. Мучители, вы плоть — не душу,
Когда, страданиями убит, я мертвым упаду, спросили б!

175

Ах, от печали умер я — жестокая моя, приди!
И ты, о сердце, вслед за ней и дружбу к ней тая, приди.

И хоть твержу я «приходи», не зная звука слов иных,
Ей всё равно, скажу ли «стой», произнесу ли я «приди».

И пусть не в силах ты спасти меня от бед и мук моих,
Узнать о бедствии моем, о муках бытия — приди!

Как месяц льет в разбитый дом через проломы кровли
свет,
Сквозь раны тела в сердце мне свой лунный свет струя,
приди.

Ты ведь сулила потушить огонь мой влагой уст своих, —
Сейчас летит мой жаркий стон в небесные края, —
приди!

Ты, кравчий, чашу мне нальешь — я только идолу
служу, —
Налей мне две, чтоб и творцу была бы часть своя, —
приди!

Пусть ты убила Навои, ни разу не придя к нему, —
Иса, к надгробию его как добрый судия приди!

176

Украшишь ты свой наряд красным, желтым,
зеленым —
И пламенем я объят — красным, желтым, зеленым!

В пустыне моей любви кострами горячих вздохов
Самумов вихрится ряд — красным, желтым, зеленым.

Цветник твоей красоты в душе моей отразился,
И блескам цветов я рад — красным, желтым,
зеленым,

В мечтах о твоём лице, о родинках и пушинках
Мне вновь застилает взгляд красным, желтым,
зеленым,

Рубиновое вино, литое золото чаши,
Зеленая гроздь горят красным, желтым, зеленым.

Где бедность — там пестрота, и каждый нищий сумеет
Украсить бедный халат красным, желтым, зеленым.

Не требуй же, Навои, диван разукрашивать ярко:
Ведь сами стихи пестрят красным, желтым, зеленым,

177

Когда я сердцем и душой изведал от людей печаль,
Была ли сердцу от души, душе ль от сердца злей печаль?

Вся скорбь — от этих двух причин, от них всегда тоска
и грусть:
Когда печаль со всех сторон, попробуй-ка рассея
печаль!

Кто в этом мире огорчен — из-за людей его беда:
Кого в темнице мрак гнетет, тому от палачей печаль!

Послушай, друг, я клятву дал с людьми вовеки не
дружить:
Да не проникнет в их сердца от горести моей печаль!

Мне и в глухих песках пустынь не нужен в бедствиях
собрат:
Ведь даже призракам степным чужда моих скорбей
печаль!

Одно коварство видел я в ответ на преданность мою,
Из-за неверности людской в душе еще сильнее печаль!

О кравчий! Свыше сил моих печаль, что от людей
терплю:
Налей мне терпкого вина, налей еще, развея печаль!

И пусть разгонит тяжкий хмель рассудка горестную
Все беды сердцу — от ума, и от его затей — печаль! ^{блажь:}

Душа у Навои — в огне, и пламенем горят слова,
Но это меньшая беда, чем от любви твоей печаль!

178

Я в юности старцам служил, в послугах сгибаясь спиной,
Но старость пришла и ко мне, невесело юным со мной!

Слова что ни день — трудней, а странно — не проще ли ^{речь}
Цедить меж редких зубов, а не через ряд сплошной?

Меня к молодым влечет сильнее день ото дня,
Но почему-то они обходят меня стороной.

Должно быть, правы они, если подумать всерьез:
У них ведь иные пути, и жребий у них иной!

Сравнить ли цвет камфары с румянцем их мускусных ^{щек?}
Мой пламень под снегом скрыт, под мертвенной ^{белизной.}

Среди цветущих деревьев стоит скоробленный куст,
То — я среди молодых, и сгорбленный, и больной.

О сердце, тебе бы теперь молитву творить в тиши, —
Увы, старцев шумно чтут, навек простишься с тишиной!

Полсотни стоянок в пути! Пора усмирить свой пыл:
Спешить уже нету сил, поспешность была бы смешной.

Полсотни лет я грешил, и что я смогу свершить,
Коль век меня наградит еще половиной одной?

Создатель, дай веру мне, я в ней заглушу мой стыд
За бедность моих трудов, за скудость свершенного ^{мною!}

Не сетуй же, Навои, что море господних щедрот
Волнуется и шумит: надежду несет волной!

145

Не диво, если кровью слез людское зло грозит всегда:
За мукой мука вслед идет, и за бедой спешит беда!

Да что там зло и доброта — не стоит даже речь вести:
Толпа с жестокостью дружна, а доброте она чужда!

Согнулся даже небосвод под ношей низостей людских:
Сверкают звезды, словно пот, на теле, взмокшем от
труда!

А ведь в предвечных письменах не предуказан жребий мук,
И на скрижалях душ людских не предначертана вражда!

А было б людям только зло навек предписано судьбой —
Его и сотни добрых дел не одолели б никогда!

Когда один — причина зла для многих страждущих людей,
Пусть он и совершит добро, а как бы не было вреда!

Глаза и брови смерть сулят, а речи уст ее — обман,
Найти б другую — только нет другой красы, что так
горда!

Нет! Вечности не обретешь ты в брэнном мире средь людей,
Пока в вине небытия не растворишься без следа!

Никто не волен, Навои, в обитель вечности ступить,
Пока не призовет аллах направить первый шаг туда!

Я бью себя камнями в грудь в смертельном гнете
каждый миг:
Стучу в ту дверь, где боль тоски, как гостя, ждете
каждый миг!

Безумьем я сражен, мой труп хранит в развалинах сова,
Ей любо плакать надо мной, бубня в дремоте каждый
миг.

В любви я плоть свою обрел, влачась в степи небытия,
Но, плоть измучив, я свой дух с любовью лишь сильней
сопряг.

Не тщись разубеждать меня речами мудрыми, о друг, —
Для Навои влюбленным быть — судьба предначертала
знак.

182

Любовь к одним благоволит, других — корит хотя бы,
А мне дожидаться бы не ласк, а лишь обид хотя бы!

Что за причуды! Не грозит, жестокостью не мучит,
Но — не порадует ничем, не поманит хотя бы.

Не только вздохом сладких уст мне жизни не дарует —
Не глянет даже, чтобы вмиг я был убит хотя бы!

Когда в любимой нет любви, мученья — тоже благо, —
Раз нет любви, а мучить лень, пускай казнит хотя бы!

Не от меча, не от камней я принял муки смерти —
Тех мук не вытерпит и сталь или гранит хотя бы!

О кравчий! Дай забыть печаль, налей до края кубок!
Кому шлет небо столько мук или сулит хотя бы!

О, смертной мукой Навои терзают ежечасно,
Хоть и неведом час его или сокрыт хотя бы.

183

Когда, тоскуя по тебе, я розу в цветнике возьму,
Мой жаркий вздох чадит и жжет — она желтеет в том
дыму!

Я думал, рок всю тяжесть мук Фархаду и Меджнуну дал,
Потом я понял: жребий бед мне предназначен одному!

Ее каменьев тяжкий град проник сквозь боль отверстых
ран —
Как сердце милой, этот груз в себе храню я, как в дому.

Моя наездница лиха, ей любо на скаку играть, —
Что ж, нужен ей для гона шар — с себя я голову сниму!

Ах, нечестивица, к беде она попалась мне в пути:
Вот приключилось горе мне — погибель вере и уму!

Не диво, если, охмелев, рассвет я встречу в кабачке:
Вчера собрался я в мечеть, да позабыл надеть чалму!

Спален любовью, Навои клеймом каленым сердце сжег:
Оно язвит и жжет меня, а жар я сам даю клейму!

184

Я твой платок держал в руке и слез сдержать не мог
Но лишь к очам его поднес — и хлынул слез поток тогда, тогда,

Едва коснулся он очей — иссяк и замер ливень слез,
Но чуть отнял его от глаз — слезами взор истек тогда!

Опять поднес — и нету слез, и я платок свой отложу,
А снова слезы потекут — возьму опять платок тогда.

Ах, если б остря ресниц я сделать языками смог —
Я б речью глаз своих сказал, как слаб я и убог, тогда.

Я намотал бы нить души на каждый волосок ресниц,
Навек терзаться б и страдать я жизнь свою обрек тогда!

Налей-ка, кравчий, чашу мне, и пусть красавица
Все блага веры я отдам как плату за глоток тогда! подаст —

О Навои, пока я пьян, я эту песню затяну,
Ума и веры суета мне будет невдомек тогда!

Твердят любимой обо мне то ль правду, то ли ложь
теперь,
А ей — что правда, что обман, всему поверит сплошь
теперь!

Жестокой сердце я отдал — ах, пусть и жизнь мою
возьмет:
Враждой ее друзей убит, я ни на что не гожд теперь!

Уж раз соперники мои в таком доверье у тебя,
Убей, разлукой изведи, а жить мне невтерпеж теперь!

Любой навет ей по душе, пришло безвременье мое —
Приспело время прочь брести, ведь я же нехорош теперь!

От мук всё сердце истекло потоками кровавых слез,
За мигом миг, за часом час всю кровь мою возьмешь
теперь!

О сердце, людям не дано обеты верности блюсти.
Что ж ты горишь? Нарушь обет и верность уничтожь
теперь!

Пусть нечестивцы, Навои, отнимут веру, жизнь возьмут,
Да упасет тебя аллах, чтоб с ними был ты схож теперь!

Когда тюльпаны зацветут на брошенной моей могиле,
Знай: пламень сердца рдеет тут, здесь раны кровь мою
пролили.

Как злы удары стрел твоих — из ран ручьями кровь
струится,
А ты еще мне раны шлешь — ах, стрелы глаз не жестоки
ли?

Обитель тела не нужна сраженному безумьем сердцу:
О доме вспомнит ли Меджнун, блуждая средь песков и
пыли?

Когда о бедствиях моих, друзья, рыдал я в ночь разлуки,
Что значит этот ливень слез — хоть раз бы вы меня
спросили!

И даже Ной мне — не чета, сто тысяч лет разлука длится,
Взметнулась к небу буря слез, потоп — неровня ей по
силе!

О ты, кто на пиру мирском изведал чаш круговращенье,
Знай: много чаш кровавых слез тебе дары небес судили!

О Навои, когда во сне увидишь свой предел родимый,
Не говори, что вздорен сон, что в снах безумца нету
были!

187

Поверь, никто не претерпел такой напасти злой, как я!
Полюбишь — будет ли любить тебя избранник твой,
как я?

«Спасение от мук любви — в соединенье», — рек мудрец,
Но был ли в мире человек, кто б жил с такой бедой,
как я?

Где пери, равная тебе, среди избранниц красоты?
Средь бедных пленников любви найдется ли такой,
как я?

Не брезгуй бросить псам твоим мою истерзанную плоть!
Кто щедро душу им скормил, так жертвуя собой, как я?

Пускай я гибнуть обречен от зла жестокостей твоих,
Но ты не сыщешь никого, кто б верен был душой, как я!

Нет избавления, о друг, от бед и от забот мирских,
Пока в укроном кабачке не обретешь покой, как я.

И если красота ее к другим щедра, о Навои,
Найдется ли еще простак, несчастный и больной, как я!

Кто на стезе любви-един, в ком суть одна жива,
Земле и небу он не враг, хотя число их — два!

Забудь привычку различать растенье, тварь и вещь:
Три эти сути не в ладах с единством естества!

На небо хочешь — отрешись от четырех стихий:
Они — как крест, губящий дух живого существа!

Пять чувств — не помощь мудрецу: где сердцем не
Там два да три — как будто пять, да суть не такова! ^{поймешь,}

Шесть направлений — шесть сторон — вся суть небытия,
А без того их имена — ненужные слова!

Проникнуть через семь небес — противно естеству:
Они — страшней кругов в аду — семи зияний рва!

Чуждайся рая, Навои, — восьми его кругов:
В них — не опора для любви, а гибель торжества!

Душа бедою сражена, разбойница моя!
Тому виною ты одна, разбойница моя!

Так оскорбила ты меня, что злых таких обид
Не знают наши времена, разбойница моя!

Я удалился от людей, я позабыл себя,
С тех пор как ты со мной дружна, разбойница моя!

Мой век был возмущен тобой, когда, опьянена,
Вскочила ты на скакуна, разбойница моя!

Не диво, если, до меня измучив целый мир,
Ты станешь крепко мне верна, разбойница моя!

Иль мне, безумцу, иль тебе погибнуть суждено,
Когда нальешь ты мне вина, разбойница моя!

Кто здесь о счастье помянул? — Несчастен Навои!
Твоя, твоя во всем вина, разбойница моя!

Зверя дикого поймала тех кудрей густая сеть,
Сто Фархадов, сто Меджнунов душит, оплетая, сеть.

Сколь охотница искусна! На того, кто целый мир
Красотою слов пленяет, пала золотая сеть.

Зерна родинок — приманка, и не только соловья;
Ах! Обманет и Симурга солнцем залитая сеть.

Эй, охотница! Павлина, озаряющего сад,
Покорила, ослепила, кольцами блистая, сети!

Сто красавиц расставляли сеть свою для Навои,
Но безумного поймала лишь твоя густая сеть.

Уже белеет голова, да и зубов уж многих нет.
Пора собраться в дальний путь, кончай свои дела, поэт.

Давно ли молодость цвела, а смотришь — старость тут
как тут.
Как ни хитри — один конец в долине горьких зол и бед.

Кто, сорок лет давно пройдя, переступил за пятьдесят,
Тот знает, что добра не жди, когда уже ты стар и сед.

Твой посох — тетива, твой стан согбен, как лук; что
скоро сам
Стрелой из мира улетишь — других не надобно примет.

Когда со всех шести сторон ожесточились семь небес,
Что пользы — шестьдесят тебе иль семьдесят минуло лет.

Известно: молодость — весна, а зрелость — осень. Если
так,
То старость сравнивать с зимой поэтам я даю совет.

Увы! Ни осень, ни весна мне счастья больше не сулят.
Пришла моя зима — и в снег, как в саван, я уже одет.

Непоправимо устает от долгой жизни человек!
Сосед сказал: «Сто лет живи!» — тебя он проклял, твой
сосед.

Свой путь все люди на земле к забвенью держат, Навои!
Когда стремишься к цели ты, иди и сам за ними вслед.

192

Будь жестокой или нежной — весь я твой, душа моя,
Жизнь возьми иль возврати мне — весь я твой, душа
моя.

С нежным станом, чаровница, или вовсе отойди,
Иль приблизься, кипарис мой, стан тугой, душа моя.

Расскажи мне, как ты смотришь на мою к тебе любовь?
Ведь делить привыкла тайны ты со мной, душа моя.

Не кори меня за стоны, о веселая всегда;
Для меня ведь ты причина жизни злой, душа моя.

Вспомни ласковое слово, что сказала сердцу ты,
Хоть на краткое мгновенье, гость родной, душа моя.

От тебя я впал в безумье, но, прекрасная, пойми,
Ты слепишь, подобно пери, красотой, душа моя.

Не зови меня неверным — умер в страсти Навои,
Подозрение и нежность, светоч мой, душа моя!

193

Улыбки всем расточая, мне ты не улыбнулась,
Встретив мой взор, печалью одетый, не улыбнулась.

В жажде твоих рубинов подобен я стал шафрану,
Но ты и при виде этой приметы не улыбнулась.

Молил я: «Скажи хоть слово», но знаком ты приказала
Мне умереть и, слыша обеты, не улыбнулась.

Не зная счастья слияний, себя ты отдать не можешь,
Я не дивлюсь, что при этой беде ты не улыбнулась.

Послушай, Меджнун с Фархадом были лишь струйкой
дыма,
Я.— пламя, но ты б и вспышке кометы не улыбнулась.

Улыбка подобна солнцу, солнцу светить пристало,
Жаль, что ты на такие советы не улыбнулась.

О Навои, от розы вдали соловей тоскует,
Может, она и песням, что спеты, не улыбнулась.

194

О кравчий, всё, чем я богат, всё в чаше той заключено,
Ведь в ней вино, а в том вине ее лицо отражено...

В лазури неба разлилось румяное вино зари,
И в чаше, светлой, как лазурь, пускай зарей блеснет
вино,

Налей, о кравчий! Миг один мы будем юны и пьяны,
Ведь юности быстрей, чем миг, в сей жизни пролететь
дано,

Не разлучайтесь ни на миг со счастьем, что любовь
дарит,
Разлука оборвет любовь, и счастье упадет на дно.

Не удался со знатью пир, где льют вина искристый ток,
С отребьем всяким в кабаке я пью опивки — всё равно!

Чтоб самому не быть собой, я пью вино и день и ночь,
Лекарство от печальных дум для нас — забвение одно.

Но горе жалящей змеей не потому ль меня разит,
Что было сердце Навои отрадами обольщено?

Не спросила — сердце друга трепетать давно ли стало?
Оскорбленное, тем боле замирать от боли стало.

Раны кровь не успокоил, не унял рубин подруги.
Видеть струи слез кровавых ей забавно, что ли, стало?

Я хотел вином рубина отогнать свои печали,
Но в безумье впало сердце и чернее смоли стало.

Сердце, на горе терпенья ты живешь, но всё нагорье
Смыто паводком любовным и ровней юдоли стало.

Навои, ты жемчуг нижешь из росы своей ланиты,
И тебя лишь стихотворство утешать в недоле стало.

Пусть сто тысяч звезд-жемчужин сыплет с высей
небосвод —
Туча бедствий неизбежно град печали принесет.

Знает рок одну заботу, низвергая этот град, —
Обломать побеги жизни, саду тела слать извод.

Каждый, кто обижен долей, знает злобный рок небес,
Но судьбу, старуху злую, благодетелем зовет!

В океане сотворенья небо — мелкий пузырек,
А пузырь хоть каплю влаги даст ли от своих щедрот?

Если б небо было в силах хоть на миг найти покой,
Разве так оно спешило б — день за днем, за годом год?

Небо, как и я, — в смятенье, смущено своей судьбой:
Как меня в кругу терзаний, мчит его круговорот.

Синева на теле неба — от ударов злой судьбы:
Как ни мчится, мне подобно, а до цели не дойдет!

Нет могущества у неба, и слабы мы наравне,
И вовеки мы не можем друг от друга ждать отчет!

Навои, коль правду ищешь, знай, что сущ один лишь бог!
Нет у сущего вне бога, правду бог в себе несет!

Как от вздохов безнадежных дым струится, посмотрите!
В ночь разлуки море горя как клубится, посмотрите!

От луны письмо доставив, в грудь мою вонзила когти
И с моим кровавым сердцем взмыла птица —
посмотрите.

Родинка на подбородке — волшебство индийских магов,
А под ним михраб явила чаровница, посмотрите.

У меня душа сгорает от любовной жгучей жажды.
Два рубина, влаги полных, — вот криница, посмотрите.

И глаза ее, и губы взяли в плен мою свободу,
В них так сладостно и властно смех искрится,
посмотрите.

Тщетно Шествующий ищет, хоть и полон мир Желанным,
Боже! Он страданья просит, он томится, посмотрите.

Навои в стремленье к другу перестал быть сам собою,
Взял он посох, и на теле — власяница, посмотрите!

МУХАММАСЫ

Позабыт моим кипарисом, я грущу всё сильнее в разлуке,
Очи плачут по нежной розе, — о, как жалок я с ней в
разлуке!
Я без гурии райских кушей не пою много дней в разлуке:
Да какой же напев веселый запоет соловей в разлуке?
Попугай — и тот онемееет в нежным вкусом сластей в
разлуке!

Жжет огонь любви мое тело — до костей, яр и зол,
сжигает,
Воротник лишь займется — пламя, глядь, уже и подол
сжигает!

Обезумевший стон мой землю и небесный престол
сжигает, —
Если я не с ней, солищеликой, весь подоблачный дол
сжигает
Буря пылких моих стенаний, жгущих жарче огней в
разлуке!

Ах, из сердца пролил я крови через взор еле зрячий
много,
Плакал я, тоскуя по розе, росной влагой горячей много,
Порассыпал я слез-тюльпанов, истомлен неудачей,
много, —
Не кори, если я, забытый, не вознес громких плачей
много:
Разве крик изойдет из тела, если жить всё трудней
в разлуке?

Нестерпимой болью я мучу, позабыт любимую, душу, —
Не живящей чашей свиданья — горьким хмелем вымою
душу!
Не спасти мне вовек от смерти ядом мук губимую душу,
Горек жребий измен, о время, — лучше ты возьми мою
душу,
Разлучи и с душой и с жизнью: я с любимой моей в
разлуке!

Не язви же меня, разлука, остриями беды горячей,
Сотни мук претерпи, о сердце, — лишь не гнет
соперников жгучий!
Не расстанься, душа, с любимой, хоть сто бед
понависнут тучей,
Сотни тысяч жизней отдам я, лишь одним ты меня не
мучай:
Нас губить, отняв друг от друга, о измена, не смей 0
в разлуке!

От красы ее, жаром жгущей, вся душа дошла обгорела,
А тела ее жаркий светоч опалает до пепла тело!
И о ней такое сравненье потому написал я смело,
Что, познав блаженство свиданья, мотылек сгорел до
предела,
А к утру он погибнет снова со свечою своей в разлуке!

О, как жалок бедный влюбленный, если нежная с ним
 не рядом:
 В горе он соловью подобен, разлученному с вешним
 садом!
 Жаль певца: и жив, да без розы, одинокий, он чужд
 усладам.
 Как бездомный пес, без любимой Навои стонет горьким
 ладом:
 Что за подданный без султана? Ты меня пожалей в
 разлуке!

199

О, не была б твоя краса такой прекрасной никогда,
 О, не видал ничей бы взор твой облик ясный никогда,
 И казни бы не слала ты такой ужасной никогда,
 И не являла бы чужим свой образ властный никогда, —
 О, если б ты не ввергла мир в мятеж опасный никогда!

А ты, открыв прекрасный лик, повергла всех людей в
 недуг,
 И наострили сто мечей все пленники любви вокруг,
 И сердце изрубили мне в куски кинжалами разлук!
 И если свет твоей красоты посеял столько смут и мук,
 О, не видать бы мне тебя — беды всечасной — никогда!

Твой лик сверкнул мне, как огонь, — познало сердце
 горький рок!
 Кто этот жар увидеть смог, того он сразу в пепел сжег!
 Мечтать о верности твоей — о, этот жребий так жесток!
 О, не видать бы мне твой лик, разящий насмерть, как
 ожог, —
 Не заронила бы в меня ты искры страстной никогда.

Любовь к тебе смутила ум, для веры став бедой из бед,
 А был ведь милостив и добр твоей былой любви обет!
 А нынче я — невольник твой, спасенья мне от казни нет,
 Я — пленник в цепях кос твоих: я жертвою в их кольца
 вдет, —
 О, не бывать бы жертвой мне твоей безгласной никогда!

Ты, сердце у меня отняв, сулила быть всегда со мной.
А мучили меня враги — ты шла, не глядя, стороной!
Когда бы милостям твоим я не поверил — ни одной —
Не обманулся бы вовек, познал бы жребий я иной, —
О, не терзать бы сердце мне мечтой напрасной никогда!

Навек ты сердце отняла, когда с чела сняла покров,
Изранила ты душу мне, твой гнев безмерно был суров!
И если верностью любви, о светоч, так манил твой зов,
А я такую страстью млею, к свиданию страстному готов,
О, не терпеть бы мне потом и гнет злосчастный никогда!

О лукобровая! Когда стрелой пронзила сердце ты,
Сулила верность мне в любви и исполнение мечты,
Но если ты теперь гнетешь и все надежды отняты,
Измену понял я, в душе — не страсть, а темень
пустоты, —
О, не сносить бы мне позор молвы стогласной никогда!

В плену желаний и страстей я мыкать свое горе стал,
Я, как Меджнун, для горемык собратом их по хвори
стал,
Увы, посмешищем для всех я дни влачить в позоре стал
И, опозоренный навек, совсем безумным вскоре стал,
Зову я смерть: не свижусь я с тобой, несчастный,
никогда!

Не думай, сердце, обрести покой в тени душистых кос!
О, если б в жертву я себя устам медвяным не принес!
И разве пред ее конем не пал во прах я — вот вопрос!
О той, что неверна тебе, о Навои, не надо грез:
Не молви «если» да «кабы» ей, безучастной, никогда!

200

Ах, любимую покинут я жестоко напоследок!
Так за муку посрамлен я волей рока напоследок,
Что от тайны не осталось и намека напоследок!
Стоном выдал скорбь, что мыкал одиноко, напоследок,
Ранят грудь ресницы-стрелы издалека напоследок!

Луки-брови ты взводила — стрел-ресниц летели жала,
Острия меня язвили, болью грудь на части рвало.

Я, собрав все силы сердца, сделал было щит-забрало,
Затаил, зажал я раны, да страданье явным стало:
Через очи кровь прорвалась в два потока напоследок!

Как меня судьбой злосчастной по любовным тропам
мчало!

Посмотрела б — пожалела, ты ж меня не замечала!
А теперь вот-вот умру я, истомленный одичало.
Раны от меча разлуки я хотел сокрыть сначала,
Да рванул пред всеми вóрот я широко напоследок.

С той поры, как стрелы горя сердце мукам обучали,
Сотни тысяч язв сокрытых воспалились от печали.
А мечтал я, чтобы люди ран моих не замечали,
Только стали явны людям затаенные вначале
Клейма страсти, что хотел я скрыть глубоко,
напоследок!

Как безумный, одержимым страстью к этой пери был я,
В цепях кос ее Меджнуном мыкал плен совсем без сил я,
И безропотно томился, ждал обрести ответный пыл я,
Нем от страсти и восторга, все мучения сносил я,
Но и брошенный, терплю я боль упрека напоследок!

Лик ее своей красою посрамит все розы сада,
От ее речей певучих — соловьям и то досада!
Косам гиацинт — неровня, а нарцисс — не стоит
взгляда!
За безверье глаз, за косы, что зуннары, — мне отрада
Вечно быть хмельным в притоне без зарока напоследок!

Думал я о лике пери — одержимость донимала,
Гнет любви и мрак похмелья принесли мне слез немало.
Был я нищ и наг, мне разум будто вовсе отнимало,
Я безумьем был ославлен и не пощажен нимало,
От камней разлуки боль мне и морока напоследок!

Пей вино! Ведь доли, благо нам дающей, мы не знали,
И красавиц в вешнем цвете среди кущей мы не знали!
Вслед за осенью придет ли день цветущий, мы не знали,
Зелени мирского сада, нас влекущей, мы не знали,
Стали тенью, незаметной и для ока, напоследок!

Что за польза в шахской власти, если жить без
отрешенья:
В странах вечности не сыщешь ни султана, ни
правленья!
Только мудрому султану не познать вовек забвенья.
Навои, ты ищешь вечность, жаждешь с нею единенья, —
Ждать ее без отрешенья нет и прока напоследок!

201

О, сколько дней ты не со мной, отторгнул грозный рок
тебя:
За много лет единый раз я повидать не смог тебя!
В дом сердца гостем тщетно жду я, сир и одинок, тебя,
Приди, покой моей души, — ведь я в душе берег тебя!
Открой чело — как жаждет взор, струящий слез поток,
тебя!

Ушла шалунья, мрак души о ней вестями не согрет,
А плоть — пустыня, где вовек и не сыскать заветный
след:
Ни мига мне в пустыше той не жить без муки и без
бед, —
О мускусная лань, приди, — нигде такой пустыни нет,
Где б я не рыскал, словно смерч, ища, сбиваясь с ног,
тебя!

О пери, от разлук с тобой я сердцем хворым изнемог,
Жестоко осужден молвой, покрыт позором, изнемог.
Не упрекай, что я — незрим, сражен измором, изнемог:
Ты, пери, скрылась — вот и я, невидим взорам,
изнемог, —
Всем неприметен, я ищу, куда зов тайн завлек тебя!

Взошла луна моя в красе, украшенной венцом лучей,
И душу немощью гнело, а сердце жгло всё горячей,
А взор мой, лишь узрел ее, взбурлился кровью, как
ручей, —
Не диво, если ты в крови утонешь, свет моих очей:
Ведь захлестнуло кровью слез, которой я истек, тебя!

О, кто бы свел меня с тобой и дал бы чашу страсти мне,
Хотя бы в шутку роз собрал и дал нектар их сласти
мне!

Но мне тебя не заманить — за что же гнет напасти мне?
Увы, надежды быть с тобой нет даже малой части мне:
Утратив разум, от чужих я отлучить не смог тебя!

Я, кравчий, не прошу тебя: «Таким-то будь, таким —
не будь»,
Лишь душу мукой не томи и не терзай разлукой груди!
О, сжался, смилуйся, прости, не норови меня минуть,
И если взор не отвожу я от тебя — укор забудь:
Очам влюбленным не забыть, хоть на недолгий срок,
тебя!

И если, одержимый, я пройду все реки и моря,
Все горы-долы обойду, судьбу за муку не коря, —
Не укоряй, мол, ты зачем у всех дверей толчешься зря!
О пери, если Навои поник, безумием горя,
Такой удел дарован тем, кто целью дум нарек тебя!

202

Лик явив, столикой мукой разве сердце не гнела ты?
В доме тела хворый дух мой не разбила ли дотла ты?
Разве сложенную душу жаром страсти не сожгла ты?
Опаленной моей доле не прибавила ли зла ты?
Злобно муча, с черной долей разве не меня свела ты?

С той поры, как я, убогий, встретился с тобой,
прекрасной,
О, каким огнем палящим не был я сожжен, несчастный!
Не пытала ль ты мне душу смертной карой ежечасной,
Жаром молний не обжег ли душу мне мой стон ужасный,
О лавина слез горючих, не смертельно ль тяжела ты?

Кипарис мой ладный, ты ли не гнушалась мной,
неладным?
Не со смехом ли внимала ты рыданиям надсадным?
Не арканом ли грозила, не мечом ли беспощадным?
Не мое ли тело предал гневный меч твой мукам
страдным?
Мне разлукой разве тело на куски не рассекла ты?

Сто мучений претерпел я — злоке той не ново мучить!
Горем, скорбью я терзался — ох, она бедова мучить!
Сердцу я излил обиды: что ж, мол, так сурово мучить?
Всё ты, сердце, ей сказало — стала горше снова

мучить, —
Поразмысли: совершаешь разве добрые дела ты?

Говорить, что не бывает от людей сто бед, не вздумай,
Лгать, что луноликой любо чтить любви обет, не

вздумай,
Мнить, что ей, подобно небу, чужды гнев и вред, не
вздумай!

И тебя, судьба, клянем мы — нас корить за бред не
вздумай:

Всем счастливым дав надежды, не у нас ли их взяла ты?

Если на стезе бездольных боль и скорбь терпеть не
будешь,

Шагом средь мужей печали ты вовеки ведь не будешь!
Не познав безмолвных песен, никогда ты петь не

будешь!

Другом океану страсти, Навои, ты впредь не будешь,

Если, как Аму с Арасом, слез не пролил в два жерла ты!

203

Где тополь мой? О, горе мне! Я с нежным

станом разлучен.

С моим смеющимся цветком, с моим тюльпаном разлучен.

Нет песен! С гурией моей я злым обманом разлучен.

Поет ли соловей, когда он с гулистаном разлучен?

И молкнет попугай, с родным шакеристаном разлучен?

О, горе мне! Как я горю! В крови моей упрямя огонь.

Бежит по платью моему и по моим костям огонь.

От рыбы, что подперла мир, метнулся к небесам огонь.

И страшно мне за облака — неугасимый там огонь.

Везде огонь! Ведь я с твоим лицом румяным разлучен,

О, горе! Сквозь мои глаза частицы сердца потекли.

Росой кровавых слез моих окроплена вся грудь земли.

И над землю — мой посев: тюльпаны красные взошли,

Ты плачешь! Можно ль не рыдать, когда любимый твой
вдали?
Как прах с душой, так я с тобой судьбы обманом
разлучен.

Нет кубка единенья мне! Навек лишен я встречи с ней.
Я влагой жизни огорчен — вином своих печальных дней.
Не яд ли горя в то вино примешан милою моей?
Разлука горше смерти мне! О рок, срази меня скорей!
Но да не буду я с ее желанным станом разлучен.

Разлука, сердца моего шипами больше не терзай!
Я сто мучений претерпел, я полон скорбью через край!
О сердце! Больше претерпи, но милую не забывай!
Что мне десятки тысяч дней? Пусть я погибну невзначай!
Но только да не буду я с моим тюльпаном разлучен!

Огонь прекрасного лица меня тоскою опалил.
И тело и душа горят, я весь в огне, нет больше сил.
Душе и телу моему так мудрый рок определил.
Сгорел при встрече мотылек не потому ль, что он решил,
Что будет на рассвете он с ночным туманом разлучен?

Влюбленному прожить нельзя без милых глаз, без
милых кос.
Без алой розы соловей поет, но голос полон слез.
О, горе мне! Как жить могу? Я смерть любимой перенес,
Без милой сердцу Навои блуждает, как бездомный пес,
О боже! Да не будет раб с его султаном разлучен!

204

Кто твои увидел кудри, тот навек тоской пленен.
С черною печалью страсти, с горем подружился он.
Каждый миг себе в безумье говорит он: «Я влюблен!»
О взволнованные кудри! Кольцами со всех сторон
Льетесь вы, и тьмой душистой дух мой скорбный покорен.

Ах! В прекрасной книге страсти розы — лишь один
листок,
Все цветы произрастанью учит свежий твой пушок.

Черных завитков сплетенье лишь рассыплет гребешок —
И потоком гиацинты упадут на розы щек,
И скажу я: свод небесный облаками омрачен.

Подойти к тебе нет силы, я смотрю издалека,
И растаявшее сердце увлекает слез река.
Кудри жемчугом убрала верной мешшате рука...
Словно зеркало, сверкает предо мной твоя щека,
Но ее жестоким блеском я, печальный, ослеплен.

Тайну страсти сокровенной сохранит ли наша речь?
Только истинно влюбленный тайну может уберечь!
Что мне чары всех красавиц, что мне боль неожиданных
встреч!
Но от той жестокой пери душу можно ли сберечь?
Что поделатъ человеку, даже ангел тут смущен!

Голосу любви внимает неба синего атлас:
«Почему одежда мрака с дивным телом обнялась?
Ведь настала ночь свиданья!» Молвит небо:
«Минул час!

Белая рубашка утра с нежным телом обнялась.
И любитесь восходом тот, кто истинно влюблен».

Не Исы ли то дыханье, что уста твои таят?
Я молю: «Убей!» Смеется надо мной лукавый взгляд.
Навои губам желанным в сладкий плен отдаться рад,
Ведь они единым вздохом мертвых жизнью одарят.
Ах! Кто ожил, будет снова злой разлукою сражен.

ТАРДЖИБАНД

205—214

О кравчий, утром принеси, прошу, того вина,
Которым сердце усладил я нынче допьяна.

Есть свойство у него — когда вновь чаша налита,
Хоть пьян ты, хочется ее вновь осушить до дна.

Послушай: раз я встретил тех, кто жаждой одержим,
И приключилась тут со мной история одна.

Какой-то силой повлекло к кабатчику меня.
Не так ли рыба на крючок порой завлечена?

Оставил рублище в залог, закупорил кувшин,
Чтобы надежней влага в нем была сохранена.

Иду. До девяти небес мне уж рукой подать,
Ведь чудной влагою моя посудина полна.

Внезапно, выследив меня, сойдясь со всех сторон,
Нравоучители толпой вокруг встали, как стена.

Разбился в схватке мой кувшин, вот чем я сокрушен;
Всем неприятностям иным пред этим грош цена.

Стою и слезы лью ручьем, несчастен, пьян и наг.
Где выход? Не найти его. Моя ли в том вина?

В смятенье, попросить вина вошел я в погребок.
Смотрю, а у меня в руке один лишь черепок.

* * *

О чаше радостную весть ты принеси мне в срок,
О кравчий, ибо я вконец от жажды изнемог.

Ах, если в этом цветнике мне роза неверна,
Как воздержаться от вина? Как дать такой зарок?

Коль не сменяет ночь разлук заря — похмелья час,
Кто б ночь от утра отличить в угаре винном мог?

Я лакомствами и вином, водою и зерном
Насыщусь властью, чтобы силок приманкой не завлек,

Став преданным учеником кабатчика, узнай —
Шейх-уль-ислама имя я забвению обрек.

Придя в кабак, мертвецки пьян и буен буду я,
Чтоб всяк — и мудрый и простак — ума не уберег.

Столпотворенье спьяну я устрою в кабаке,
Чтоб завопили земляки, пускаясь наутек.

О состоянии моем, ханжа, не вопрошай,
Когда без сил я в кабаке переступил порог.

И не осталось у меня ни четок костяных,
Ни рубища, чтобы отдать их за вино в залог.

В смятенье, попросить вина вошел я в погребок.
Смотрю, а у меня в руке один лишь черепок.

* * *

Глоток осадка в черепке — вина ничтожный след,
Но даже в нем отображен, знай, для меня весь свет.

Чтоб самолюбию страдать не приходилось впредь,
К вину прибегнуть надо мне — иного средства нет.

Пока я верен остаюсь кабатчику, узнай,
От неба можно мне не ждать опасностей и бед.

Но если всё ж беда придет, о кравчий, что ж с того?
Мне лишь бы твердо знать, что ты дал верности обет.

На праведный я вышел путь в конце концов, и что ж?
Поддавшись страсти, в тот же день я преступил запрет.

Решил благочестивым стать, отшельником святым,
Чтоб чистой радости познать мне благодатный свет.

В мечети постоянно я в моленьях пребывал,
Но это чаяньям моим лишь приносило вред.

Я цену ханжества узнал, напоминал о нем
И зикр, и коврик, и любой молитвенный предмет.

Стремясь достичь небытия, освободился я
От пут ханжей, отринул их благочестивый бред.

В смятенье, попросить вина вошел я в погребок,
Смотрю, а у меня в руке один лишь черепок.

* * *

Хотел бы в этом мире я иметь красивый дом,
Чтоб «дом кувшинов» был открыт в соседстве с ним
при том,

Чтоб в заведении этом, где б я душу отводил,
Виноторговец щедрым был, почтенным стариком.

Чтобы всегда стоял его помощник перед ним
С красивой чашею в руках, наполненной вином,

Чтоб тот юнец прекрасней был всех среброгрудых дев,
Всех периликих красота соединилась в нем.

Такой вернет когда-нибудь мне жизнь с глотком вина,
Иль жизнь отнимет у меня другой в чаду хмельном.

Осталось дело мне одно — впредь сказки сочинять, —
Безумец, время провожу так ночью я и днем.

Пить в складчину я предложил однажды беднякам,
Собрал их вместе и еще поведал кой о чем:

«Я слышал, — так сказал я им, — что дом вина открыл
Старик виноторговец вновь. В питейном храме том

Подносят поначалу всем по чаше, говорят,
Какой бы нищий ни пришел к ним, жаждою влеком».

В смятенье, попросить вина зашел я в погребок.
Смотрю, а у меня в руке один лишь черепок.

* * *

В ту пору постоянно был я грустен и влюблен,
Гуляюко беспутным слыл, молвою заклеюмен.

Гордился пьянством пред людьми, хоть и сносил позор,
Ведь благочестия давно я преступил закон.

Кумиром сделал флягу я, носил ее с собой
На волоске, что к кушаку всегда был прикреплен.

Когда заложен коврик был, а также башмаки,
Я вскоре был и тюрбана за ними вслед лишен.

Попал я в мир небытия, безумен и хмелен,
Подобно каландару в нем бродить был обречен.

Подростки райской красоты мне раны нанесли,
В неистовстве каменьев град швыряя мне вдогон.

Меня служитель погребка любовью сжег дотла,
Был одержимым, озорным и с пери схожим он.

Когда узнал я, что судьба всех пьяниц такова,
Гуляк, что льнули к погребку, сойдясь со всех сторон,

Что все они в любви равны, сроднился с ними тут
Я, плачущий от мук любви, таящий в сердце стон.

В смятенье, попросить вина вошел я в погребок.
Смотрю, а у меня в руке один лишь черепок.

* * *

Где схожий с розою лицом прекрасный кравчий мой?
Похмелье губит душу мне, я поражен тоской.

В разлуке много я сносил страданий, тяжких мук,
В прах превратился, не стерпев злой участи такой.

Всё ж мук похмелья, что сношу здесь, что ни утро, я,
Не знали тело и душа и в час разлуки злой.

Как натиск этих мук сломить, страданья отразить?
Один лишь выход — чтоб кабак стал крепостной стеной.

Узнайте — сколько бы вина мне старец ни поднес,
Отдам как выкуп всё добро, накопленное мной.

Готов жемчужины души я разбросать пред ним,
Пусть даже на голову мне наступит он ногой.

Будь тайн моих хотя б на миг поверенным факих,
Все знали б, что творил я здесь в приход очередной.

Был и в мечети я вчера, представь, мертвецки пьян,
Сегодня ж, не вкусив вина, вдруг потерял покой.

В растерянность меня, в тупик похмелье привело —
Я волю выпустил из рук, утратил разум свой.

В смятенье, попросить вина вошел я в погребок.
Смотрю, а у меня в руке один лишь черепок.

* * *

В угаре винном сам не свой я постоянно был,
В долине этой как Меджнун бродил, лишенный сил.

Кабатчик голову мою в горячечном чаду
Как виноградину среди кувшинов раздавил.

Знай, от обилия вина как чаша-утка стал
Безгласным соловей души, весь пыл его остыл.

Когда вконец я опился, согнуло буквой «даль»
Мой стан под тяжестью вина — так жребий мне судил.

Стал с чашей золотою схож я желтизной лица,
Я цвета алого вина ручьями слезы лил.

Стянув с меня одежду, чтоб в залог ее отдать,
Как видно, небо поддержать взялось мой винный пыл.

Взамен одежды мне оно дерюгу поднесло,
Чтоб ею наготу свою я кое-как прикрыл.

До горя довело меня пристрастие к вину:
Случилось — малый черепок мне чашу заменил.

Меня в отчаянье поверг хозяин кабачка:
Из-за одной той чаши мне разнос он учинил.

В смятенье, попросить вина вошел я в погребок.
Смотрю, а у меня в руке один лишь черепок.

* * *

Опять из гордости тяну осадок терпкий тот,
Я отдал душу за вино, иное всё не в счет.

О кравчий, подойди на миг. Я умер, посмотри
На зеркало души — налей вино мне прямо в рот.

Нет, не на зеркало, скорей на солнце, что тепло
Всему живому на земле, пылинкам всем дает.

Зря постник упрекал меня, мне угрожал за то,
Что в погребке я трачу дни и ночи напролет.

Сказал я: «Лучше пить вино, чем постником прослыть,
Лишь ради славы человек на этот путь идет.

Я пью вино и тем, узнай, уничтожаю плоть,
Постишься ты, чтоб укреплять ее наоборот.

Он рассердился и, бранясь, направился в мечеть,
Взамен благословений мне поток проклятий шлет.

Вошел он в келью, верно, всё ж с молитвой на устах —
Такой за ханжество свое от неба чуда ждет,

На этот раз он прогадал: чтоб отразить беду,
В ту пору чудо совершить мой наступил черед.

В смятенье, попросить вина вошел я в погребок.
Смотрю, а у меня в руке один лишь черепок.

* * *

Стал вновь любимым пить вино. Снести мне это как?
Что предпринять мне, чтоб запас терпенья не иссяк?

Кровь буду пить я, не вино, узнайте, дело в том —
Его с любимым распивать стал мой соперник-враг.

Когда сопернику дано хмельную влагу пить,
Я кровью замену вино, лишенный лучших благ.

Отныне ворон заместил той розе соловья.
Что ж делать! Видно, суждено судьбой жестокой так.

Не диво, если кто-нибудь, в любви неверным став,
Вдруг на себя повесит крест, ведь то неверных знак.

Разорван ворот, для камней мишенью стала грудь,
Нарушил буйством я покой, охвачен страхом всяк.

Обманом чашу сердца я наполнил до краев,
Ведь не сумел помочь ему делами я никак.

Увидев ясно, что себя готов я потерять,
Стал я спускаться по пути, ведущему в кабак.

На улице Рустема я заметил, как туда ж
Махмуд Хабиб, мертвецки пьян, свой направляет шаг.

В смятенье, попросить вина вошел я в погребок.
Смотрю, а у меня в руке один лишь черепок.

* * *

Как не признать мне, что вино — мой самый верный друг,
Когда истерзана душа от горестей и мук?

К устройству мира присмотрись. Всё больше изумлен,
Я не сумел постичь его и с помощью наук.

Не только солнца, мне одной пылинки не познать, —
Как ум ни напрягай, ясна бесцельность тех потуг.

Прихода и ухода смысл кто знает на земле?
Неведомо, как я возник и где замкнется круг.

Ни знания мне не помогли, ни постник, ни мулла
Не предложили в помощь мне, представь, своих услуг.

«Чтоб затрудненья разрешить, придется звать друзей, —
Сказал я, — мы обсудим всё, есть для того досуг!»

Не излечил болезнь мою при всем старанье враг.
Сам шейх и тот бы не сумел мой исцелить недуг.

Не смею ни отвлечься я от тяжких мыслей тех,
Ни объяснить всего того, что вижу я вокруг.

Задача трудная легла на плечи мне, когда
Иссякло, муки не снеся, мое терпенье вдруг.

В смятенье, попросить вина вошел я в погребок.
Смотрю, а у меня в руке один лишь черепок.

МЕСНЕВИ

215. (ПОСЛАНИЕ К САИД-ХАСАНУ АРДАШЕРУ)

...Ты верен, щедр, и дар тебе высокий дан:
Ты — кладезь добрых свойств, мой друг Саид-Хасан.

Красой ты райский сад намного превзошел:
Померкнет перед ней и райской пальмы ствол!

В чертоге добрых дел тобой воздвигнут трон,
От суеты мирской ты духом отрешен.

На свете хоть один сравнится ли с тобой?
Излить печаль души к тебе идут гурьбой.

Я рад: твоей любви я благодать постиг,
Я — любящий твой сын и верный ученик.

Но мне послал беду неотвратимый рок:
Гнела меня печаль, терзала боль тревог.

И стал в родном краю нелегок мой удел —
Из сердца горечь мук изгнать я захотел.

И выпал жребий мне идти в далекий путь, —
Велений злой судьбы не суждено минут.

И если повелит тебе всесильный рок
Сюда назад идти с твоих путей-дорог,

И если ты в края родных округ придешь —
Испить веселый хмель на вешний луг придешь,

И, чистое вино держа в руке своей,
Захочешь повидать собратьев и друзей, —

То, даровав друзьям хмель радостного дня, —
Я знаю — вспомнишь ты, конечно, и меня.

И ты, про мой уход, про мой отъезд узнав, —
Про то, что я вдали от этих мест, узнав

И не найдя меня среди своих друзей,
Печаль по мне храня среди своих друзей,

Промолвишь: «Горький путь скитальцу в даль лежит, —
Как видно, им глоток вина разлук испит!»

Какую долю дал ему несчастный рок,
Что в даях чуждых стран бродить его обрек?

Какая грусть-печаль на ум ему взбрела,
Зачем чужбина-даль на ум ему взбрела?»

Неведома друзьям печаль моих невзгод,
И каждый скажет то, что в ум ему взбредет.

И чтобы ты узнал, что случилось тут со мной,
Послать тебе письмо за долг почел я свой —

Тебе моей души кручину объяснить,
Отъезда моего причину объяснить.

Со мной случилось тут немало бед и зол,
И потому теперь я в странствия ушел.

Во-первых, славный дар — дар слова. Человек
От грубого скота им отличён навек.

Душевым тайником хранимы перлы слов,
И в цветнике людском дороже нет плодов.

Слова — душа небес, мир — речью напоен:
Она живой водой течет во тьме времен. . .

При сотворенье дан словам высокий знак,
А среди слов стихи — прекрасней прочих благ.

Прекрасен и красив жемчужин ровный ряд,
Но четкий строй стихов — прекрасней во сто крат.

И речь, в которой нет ни лжи, ни слов плохих,
Искусник звучных слов оденет в ладный стих.

Меж тюрок я возвращен. Их рода скромный сын,
На тюркском языке стихам я дал почин.

По дару равных мне не знали времена,
И сила Низами моим стихам дана.

Каких бы слов в стихе я, бедный, ни изрек,
Жемчужной красотой в них блещет каждый слог.

Дана всевышним мощь мне редкая в удел,
Но проявить мой дар мне рок не порадел.

Был дар Фирдоуси и мощен и высок:
С самим Рустамом он тягаться силой мог.

Когда на «Шахнаме» он был благословлен,
Бессчетных перьев строй был сломлен-посрамлен.

Его высокий труд вовек необорим,
И до сих пор никто не мог тягаться с ним.

Сам о себе сказал сей муж — рудник даров:
«Тридцатилетний труд был тяжек и суров».

А если б я писать такой же труд решил,
Даровано творцом и мне немало сил.

И если речь вести без гнета тяжких бед,
Мне хватит тридцать лун — не три десятка лет!

Когда я вдохновлен и мысль моя быстра,
Сто бейтов каждый день мне дарит бег пера.

Не «Шахнаме» б создать, а «Пятерицу» мне —
О, только б до нее добраться пятерне!

И дать труду почин надежду я храню —
Вложить уменьем рук всю силу в пятерню!

Пусть Низами сказал о трех десятках лет, —
В два года или в три свершу я мой обет!

Когда закончу труд — устрою торжество,
Чтоб людям — на их суд — явить красу его.

Пусть будет там сто лиц — спою: моя душа
Двум лицам может петь, двулицьем не греша.

Что — сто, что — двести лиц, — разбег калама спор:
С Меркурием самим затеять может спор.

Пока он на пути свершит свой оборот,
Краса моих стихов затмит небесный свод!

А был бы кто-нибудь, мне равный в пользе дел,
Кто, кроме бед, иным достатком не владел,

И был бы дан приют ему горою Каф,
И птицей Анкой был воспитан его нрав,

И был бы его дом моей душе сродни,
Где средь обломков стен — страдания одни,

И он бы на пирах всей кровью сердца пел —
Печальный вел напев про горький свой удел...

И если б был такой, о ком бы шла молва,
Что участь дней его, как и моя, крива,

То как бы он себя скитаться не обрек
И как бы упасть он от чужбины смог?

И что еще познал я в Хорасане тут —
Обету добрых дел не верен здешний люд.

Где люди верность чтут и сердцем ей верны,
Им щедрость с добротой в попутчики даны.

И если этих свойств — трех этих качеств нет,
Заступят место их пороки трех примет:

Глядишь — в раздоре злом дух верности иссяк
И в щедрый прежде дом вошла корысть сутяг,

И гибнет доброта от зависти дурной,
И — правит «добрый» люд «прекрасною» страной!

О людях и стране подробно я скажу,
И, что в них — не по мне, подробно я скажу.

Что за страна, где зло и дикий нрав царят,
Где не цветущий рай, а дышит смрадом ад!..

Сокровища дворцов разграблены сполна,
Страна разорена, расхищена казна...

Где человечность? К ней затерян даже след.
Сплошное зло вокруг, иного — нет как нет!

И что за люди! Им шайтан и див под стать:
Привычно им хитрить и слабых угнетать.

Вкус пищи позабыт, и все едят давно
Небывшей стороны невзросшее зерно!

За жалкий грош убьют — всех губит жадный зуд,
И даже с мертвеца хоть саван — да сорвут!..

А мученик-бедняк, сражен бедой, умрет —
Убийце воздадут за это зло почет.

Набегом вихря бед сметен гератский люд:
От самаркандских стен взвихрился ветер, лют.

Народу здешних мест — от тех краев беда:
Набеги, грабежи — и не сочтешь вреда!

Мне здесь среди людей и друга даже нет,
С кем мог бы сесть вдвоем — развеять горечь бед.

И шаха не найти, что делом бы помог,
Кому б хвала воздал я звучным строем строк.

И не сыскать людей, чей нрав не зол, не крут,
Чтоб горемыка мог найти у них приют.

Нет пропитанья мне, ни в чем достатка нет,
Покоя не найти, и жить — не сладко, нет!

И крова не сыскать, и счастья нет душе,
Чтоб хоть единый миг не ведать бед душе!

И нет в любви удач — подруги не найти,
Что упасла б меня от скорбного пути.

Нет друга, кто со мной делил бы зло невзгод,
Кого бы огорчил мой нынешний уход... .

Лишь ты один всегда мне верным другом был,
Подмогою ты всем моим недугам был.

Но и тебя настиг своим коварством рок:
Ты по его вине теперь, увы, далек.

Тому, чей рок — влачить столь горестный удел,
Осталось лишь одно — уйти в иной предел. . .

И третье. Бог-творец — велик и всемогущ,
Он — вечности венец и вечно вездесущ.

На свитке бытия он волю начертал —
Два мира создал он, основу двух начал. . .

С единой целью им был создан человек —
Чтоб таинство творца хранил в душе вовек.

Дан человеку дар — вершиной быть всему,
И суть всего познать назначено ему. . .

И вот уразуметь я так суть дела смог:
Движенью этих дум двоякий дан исток.

Один исток таков, что господом дано
Для чистоты сердец священных благ вино —

Чтоб, к истине стремясь, искать стези такой,
Где будешь отрешен от суеты мирской,

И чтоб на той стезе постигнуть цель ее —
Во всем забыть себя — себя и всё «свое».

И в сути бытия предел высокий есть:
Постигнув суть творца, небытие обрести. . .

Другой исток таков: властитель ли, бедняк —
Лишь на пути благом нетленных вкусят благ.

Наставника найдя, — так было искони, —
Себя препоручить ему должны они.

Им праведный дано пред ним свершать обет —
И шагу не ступить, не чтя его завет. . .

Но эта страсть, увы, недуг судила мне,
Дала немало мук сей страсти сила мне.

А мог ли кто-нибудь покой найти от мук,
Кто помыслом таким повергнут был в недуг?

Пока я мог идти, я устремлял свой шаг,
Мечтая обрести дары заветных благ.

О, пусть на том пути погибель суждена:
На праведной стезе во благо и она!

Когда б моим мечтам послал свершенье рок,
Я к счастью вечных благ причастным стать бы смог...

А не свершу мечты, желанной для меня,
И сгину я навек, в себе ее храня, —

Паду к твоим стопам я с робкою мольбой —
Чтоб твой смиренный раб помянут был тобой!

Пусть помощь мне подаст твоих радений рать:
Позволь своей мольбе мой зов в себя вобрать!

И зов мой — та мольба, что бедный раб берег, —
Чтоб господу узреть меня сподобил рок!

САКИНАМЕ

216

О кравчий, кубок царственный подай,
Рубины-капли льются через край.

Рубинов россыль скрыл в себе кувшин,
Но ярче всех единственный рубин.

Подковой раскаленную горя,
Ценней он, чем рубин в венце царя.

И огненным сияньем этот свет
Всех гурий превзошел, затмил весь свет.

Подобно солнцу, в чаше он горит,
То чаша, из которой пьет Джамшид.

Едва Джамшид на пышный пир пришел,
Как солнце он поднялся на престол.

Все шахи — лишь привратники пред ним,
И разум наш — безумьем одержим.

Его приказа слушается хан,
Его велению подчинен султан,

Его престол до неба достает,
Его войска — как звездный небосвод.

Несут ему, как цвет зари, вино,
Как плавленный рубин, горит оно.

Я сам, едва заговорю о нем,
Восторгом загораюсь, как огнем.

Вино пусть шах, как воду Хызра, пьет,
А мне пусть только гушу подает.

Когда нальют нам чаши до краев,
Хмельных сдержать я не сумею слов:

«Шах, славный словно глубь небесных недр,
Ты сердцем — море, ты, как туча, щедр.

Коварно небо, как хамелеон,
У чаши неба свой всегда закон.

Нет вечности для знатных, для царей,
Нет верности для счастья жизни всей.

Аллаху слава! Создан им ты, шах,
Всезнающим и опытным в делах.

Смотри: завоеватели земли,
Все шахи в землю черную легли.

Где Каюмерс, Хушенг, скажи мне, где?
Где их венец и трон, скажи мне, где?

Джамшид и Феридун где, наконец?
Кто небом пощажен был, наконец?

Где Кейанидов, Саманидов род,
Где Искандара, Ашканидов род?

Рустама нет, и Сама тоже нет,
Мертв Яздигерд, Бахрама тоже нет.

Где ханы, где их предок Чингисхан?
Где Угедэй, властительный каган?

Где хан Тимур, что мир завоевал?
Он с армией бесчисленной прахом стал.

Нет ни детей его — твоих отцов,
Нет внуков — старших братьев-храбрецов.

Наука зла привычна небесам,
Они берут всё, что дарили нам.

Чей трон они до солнца вознесли,
Тот скоро свергнут был, лежал в пыли.

Кому был налит наслажденья мед,
Сто кубков яда выпьет с медом тот.

Судьба сильней глупца и мудреца,
Мессия с Хызром спорят без конца.

Мысль выражение нашла в словах:
Никто не вечен — ни бедняк, ни шах.

Не забывай о боге ни на миг,
Другим не утешайся ни на миг.

С надеждой милости его дождись
И гнева постоянно не страшись.

Будь справедливым к людям и к стране,
Чтоб в счастье им жилось и в тишине.

Бог — это крепость, ты всемогущ с ним,
Пусть станет правда знаменем твоим.

Свой долг исполнив, весел будь всегда,
Пусть сердце знает, что пройдет беда.

И о веселье думать мы должны,
Богатства мира не на век даны.

Беспечности минут не отдавай,
Будь справедлив, веселья не теряй.

Предвидеть каждый миг, увы, нельзя,
Уносит время пыль — догнать нельзя.

Придет печаль — будь весел средь гостей,
В парчу одетый, с ними чашу пей.

Когда ты людям принесешь покой,
Всемиловитвым будет бог с тобой.

А если милостив, участлив ты,
То и за гробом будешь счастлив ты.

217

О кравчий, в чашу мне налей вино,
Пускай рубином светится оно.

Не говори, что яхонта в нем цвет,
Оно рубин, какого ярче нет.

С дыханием Исы его сравни,
С живой водой, что продлевает дни.

Ты видишь, к этой чаше я приник,
Чтоб от себя уйти, хотя б на миг.

Разлука с шахом так мне тяжела,
Что речь и выразить бы не могла.

Заслугам шаха даже меры нет,
Делами он на весь прославлен свет.

Так в «Пятерице» в каждой букве есть
Жемчужины, которых и не счесть.

Сказания, написанные мной,
Я шаху посвящаю с похвалой.

Быть может, я чрезмерность допустил,
Полезностями речь перегрузил,

Но пусть царевич их запомнит все,
Шах благородный их запомнит все,

Хотя ему советы не нужны,
Как разуму обеты не нужны.

Зачем они тому, кто богу друг,
Кто в чистых душах видит верных слуг?

О, если б я ему вновь близким стал,
Хоть раз его красу вновь увидал!

218

О кравчий, дай мне пьяное вино
Там, где всех пьющих радует оно.

Вино такое, что друзья его
От запаха пьянеют одного.

Мелодии «Ирак» пьянящий звук
Горит, как кровь источника разлук.

О музыкант, напевный строй держи
И хусейни оттенки покажи.

Из слов Хусейна — вязь цветов живых,
Из Гариби — его чудесный стих.

Настроив саз, мне счастье, радость дай
И в горе мне покоя сладость дай.

Пристрастны шахи к редкостным делам,
Речам внимают тонким и стихам.

Бог сделал их приятными для нас,
Мы навсегда храним о них рассказ.

Да будет слово шаха, как он сам,
Великодушно и приятно нам! . .

219

О кравчий, сладость кто душе нальет?
Напильник волн пусть горе мне сотрет.

Придется выбравшему те пути
Неприглашенным к кравчему прийти.

Свиданье я тогда устрою с ним,
Беседу словом я начну таким:

Певец, у стихотворца твоего
Волшебник — мысль, а буквы — колдовство.

В поэзии ты умный водолаз,
Стихи твои — то жемчуг, то алмаз.

Едва ты по листу провел пером,
Уже стихов собрался целый том.

Как будто Анвари иль Хагани
И Ферьяби иль сам Исфгани.

Живую воду слов ты отцедил,
И душу ты живую в них вложил.

Стих восхваления почти угас
И был давно в забвении у нас,

Но все касыды в творчестве твоём,
Что из чернил ты выводил пером,

По сути это целый мир живой,
А буквы стали «вечной чернотой».

Тому, кто сыплет жемчуга с пера,
Тому забыть о скупости пора.

Чем меньше слов, тем совершенней стих,
И в том достоинство касыд твоих.

220

О кравчий, чашу-зеркало налей,
Чтоб с сердца ржавчину сняла скорей.

Вино — как роза, в чаше — блеск зеркал,
А смешанный их цвет, как роза, ал.

Я с этой чашей, полною ума,
Раскрою то, что значит речь сама.

Ты мысль мою узнаешь наперед,
И к ней моя беседа поведет.

Знай, что в предвечности, когда господь
Вложил себя в им созданную плоть,

Дух еще не был с плотью сопряжен
И мир наш еще не был сотворен.

Семь климатов и девять есть небес.
«Да будет!» — и прекрасный мир воскрес.

Лишь для тебя рожден был этот свет,
И в созданном тебе замены нет.

Земля, и небо, и просторы вод —
Никто из них спины не разогнет.

Ты это время вынес на себе,
И тайны духа ведомы тебе.

Ты многих в удивление привел,
Все видели, как жребий твой тяжел.

Друзей, тебе подобных, знал и я,
Их на своих беседах видел я.

На небо в звездах обращая взор,
Они вели свой долгий разговор.

А звезды — искры вечного огня —
Оставили тебя, как и меня.

Но мне ль себя находкой называть?
Так лишь тебя могу именовать.

Старайся уж меня развеселить
И так живи, чтоб каждый миг ценить.

Ведь жизнь — мгновенье, только и всего,
Желанье Хызра — только и всего.

О кравчий, чашу-море дай мне пить,
Чтоб мне тем морем жажду утолить.

Когда я стану море выпивать,
Дай сотню мне жемчужин разбросать.

Жемчужинами капли упадут,
Рубин иль жемчуг — все, как пламень, жгут.

Рубином, раскаленным, как звезда,
В сердца людей ударю я тогда.

Пускай повсюду скорбный стон стоит,
Мое пусть сердце бьется о гранит.

И, как безумный, крик я подниму,
Как пес бездомный, вой я подниму.

И вздох из сердца я издам такой,
Что солнце обернется пеленой.

Греха в том нет, что я ума лишен,
Подумай только, с кем я разлучен.

Где тот, кого и небо над землей
Не видит, путь свершая круговой,

Подобного ему среди людей
Напрасно я ищю до этих дней.

Быть может, с той поры как мир в пути,
Уж нет возможности его найти.

Среди людей мудрейших он имам,
В мир истины вознес его ислам.

Ведь он из тех, кто, не жалея сил,
Поборником суфийской правды был.

В его груди сто тысяч есть миров,
А в сердце — трон ста тысяч мудрецов.

И всех его достоинств верный знак —
Блеск молний, что рождает каждый шаг.

Другой, идущий к лестнице крутой,
Ступеньки не достиг бы ни одной.

«Вершина знания» — скажет ум о нем,
А умник скажет: «Есть безумье в нем».

Наукою прославлен меж людьми,
Всегда суфистом мудрым был Джами.

Он — солнце, мне ж пылинкой только быть.
С землею солнце можно ли сравнить?

Стократно повышая свой предел,
С ним не сравнюсь я, как бы ни хотел.

В полете мысли он пера не гнал,
Мое он имя и не называл.

Но моему перу внушил слова
Такого же живого естества.

Он близостью к себе меня почтил,
Мне имя друга щедро подарил.

Но солнце каждый раз идет в закат,
А мне грустней без солнца во сто крат.

Казаться терпеливым должен я,
Но как разлука тягостна моя!

Быть может, чаша, данная тобой,
Мне возвратит утраченный покой.

222

О кравчий, дай вина небытия,
Чтоб видел я исход небытия.

И пьяным от вина небытия
Войду я в кабачок небытия.

Пойду к гулякам вместе с ними пить
И с пьяницами чашу осушить.

От чаши бренности бесстрашным став,
Я сам в лохмотьях перейму их нрав.

Хоть он всемогущ и душой высок,
Небытия он одолеть не мог.

Пусть тело было погруженным в прах,
Гореньем духа был он в небесах.

Соблазна собственного «я» лишен,
Безгрешен и суфист скромнейший он.

Там, в бренности, неведом он всегда,
От существа его нет и следа.

Мне внешне он наставник и отец,
На самом деле вещей он мудрец.

Я рабству этому безмерно рад,
Зовет меня он: сын, товарищ, брат.

От тягот всех, что шлет нам существо,
Я находил спасенье у него.

Он — помощь мне, когда я удручен,
Сомненье духа разрешает он.

Саид прозваньем, по имени Хасан,
В том и другом он слава наших стран.

Ему и небо, где идет всегда
С желаньем нашим, с мыслями вражда,

Дорогу указало в райский сад,
А я попал в разлуки сущий ад.

Печальным стал я, жизни свет исчез,
Рыдаю я под сводами небес.

Когда теряем мы таких людей,
Нам остается плач и гнет скорбей.

Мне трудно было б муки выносить,
Когда бы мне надеждою не жить.

Но как же быть, чтоб излечить недуг?
Одно вино теперь мой верный друг.

О кравчий, по-ирански лей вино,
Пусть с песней усладит меня оно.

По-пехлевийски чашу мне налей,
Пускай вино, как море, будет в ней,

Чтоб, ум и память не теряя зря,
Ее я выпил в честь богатыря.

Приверженцев суфизма вождь и шах,
Великий он знаток в его делах.

В уединенье неба — солнце он,
И, как Иса, от мира отрешен,

По силе — десяти слонов сильней,
А по смиренью — сущий муравей.

Небоподобный стол гостей зовет,
За ним — всем уваженье и почет.

Готов он пир устроить беднякам,
Но среди них, как нищий, скромн сам,

Когда же он воздвиг Нимат Абад,
По милости его народ богат.

Была лепешка каждому дана,
Как солнце горяча, кругла она.

Он рвение к наукам проявил,
В любой из них он одаренным был.

В познаниях явил он волшебство,
Жемчужины в морях стихов его.

Для сильных — он соперник силе их,
Печальник он — для слабых и больных.

Для раны пластырь он, целитель мук,
И сорок лет как он слуга и друг.

В заветных тайнах он наперсник мне,
Я всем готов делиться с ним вполне.

Из всех, кто здесь беседует со мной,
Единомышленник он верный мой.

И вот враждебным небом так же он
С моей душой печальной разлучен.

В разлуке с ним покой утратил я,
И горько льется жалоба моя.

От памяти мне не уйти, скорбя,
Где то вино, чтоб мне забыть себя?

224

О кравчий, дай скорей вина любви,
Душа моя вся отдана любви.

Такого дай вина, чтоб тот, кто пьян,
Мог тела своего спалить хирман.

Когда начнет огонь тот душу жечь,
О пламени любви начну я речь,

О том, что сделала со мной любовь,
И с телом, и с душой больной — любовь.

Веселым был пленен я божеством,
И позабыл я о себе самом.

Едва к той пери охватила страсть,
Позволил сердцу я в безумье впасть.

Когда любви безумство не избыть,
Возможно ль долго тайну сохранить?

А тот, кто другом назван был моим,
Кто так же был любовью одержим,

Не мог мучений вытерпеть моих,
Когда ему я рассказал о них,

Но если б я о них не говорил,
Он тайну бы мою и так открыл.

Мне мука тело слабое сожгла,
На голову мою тоска пришла.

Мне небо мстит жестокости мечом,
Не только небо — мир и все кругом.

Кто был мне другом на пути моем,
Отныне самым злейшим стал врагом.

Нет, не они язвят, как жалом змей, —
Земля и небо рушат дождь камней.

Все близкие разят меня сейчас,
А женщины иголкой тычут в глаз.

Теряя жизнь, уже я свален с ног,
От слабости уже на землю лег.

Моим болезням даже счета нет,
И мне теперь не мил весь белый свет.

Я в теле сто недугов увидал,
Сто пыток я душою испытал.

Когда ж решил я умереть, стена,
Прочь все врачи бежали от меня.

Когда ж к небытию я сделал шаг,
Надежду близости мне подал шах.

В огне тех слов надежду я обрел,
В миг смерти в них спасение нашел.

Но мне, бедняге, близость не дана,
В воображенье лишь живет она.

Учеников немало я привлек,
Но ни один из них мне не помог.

Тот, кто в любви мученьем был моим
И с кем в разлуке горько я томим,

Мне не сказал: «На свете есть больной,
В любви сгоревший — я тому виной,

Он, раненый, в развалинах умрет,
Разлукой опечаленный — умрет.

Спросить о сердце горестном пойду,
И в тело лаской жизнь я приведу».

Уже два года, как томим я сам,
И каждый миг в них равен двум годам.

Теперь есть на губах его пушок,
Волосной покров на щеки лег.

Он иногда и смотрит на меня,
Глядит, как таю я день ото дня,

Но разве знать, друзья, мне суждено,
С кем ныне пьет он чистое вино!

Каким любовным предан он мечтам,
Где допьяна пирует по ночам?

Кому беда такая суждена,
Пусть одинокий пьет — и допьяна!

225

О кравчий, дай мне хоть один глоток,
Будь милосердным — я ведь одинок.

Дай чашу мне, печаль в душе храня,
Жалея одинокого меня.

Мне каждый миг о горестях грустить,
Об одиночестве мне слезы лить.

Немало в этом мире я ходил,
По миру беспредельному ходил.

Бывал средь тех, чья вера высока,
Бывал и среди пьяниц кабака,

Я видел беды множества людей,
Средь многих скопищ множество скорбей,

Могущество я, знатность, счастье знал,
Богатство и высокий сан я знал.

Всё, что искали люди, я нашел,
Но от всего я отряхнул подол.

Всё, что влечет нас, было на пути,
Лишь верности не мог нигде найти.

От тех, к кому был верностью согрет,
Лишь сто жестокостей имел в ответ,

Кому помог найти я правый путь,
Те в глаз стрелу стремились мне воткнуть.

А тот, пред кем я голову склонял,
Меня камнями тотчас осыпал.

Кому хвалу мой говорил язык,
Те на куски мой резали язык,

В чью честь хотел я слово написать,
Тот руку, как тростник, мне мог сломать.

Любил я — и жестокость я познал,
Нес душу — и несчастье я познал.

Нет, верности не сыщешь меж людей,
И это боль несет душе моей.

Наверно, так устроен этот свет,
Что доброты в сынах Адама нет.

Страдаю я, мне горечь не забыть.
Но как созданными такими быть?

Когда б свой ум я обманул, скорбя,
Я этим бы оклеветал себя.

Правдивых, честных в этом мире нет,
В долине, в городе, в пустыне нет.

Один лишь я иначе одарен,
Я не таков, кто верности лишен.

Но лучше мне тех слов не говорить,
Я сам налью вина и буду пить.

Кто ж чашу верности мне поднесет,
Не примешав к ней горя и забот?

Пить в ночь веселья буду без стыда,
Чтоб пьяным быть до Страшного суда!

226

О кравчий, поднеси, как друг, вина,
Пусть будет чаша дружества полна.

Ведь память о друзьях, когда я пью,
Огонь льет в душу скорбную мою.

На красоту выброшенный покров —
Как солнце за грядою облаков.

Один из них был мудрый Муаммаи,
Он жил в пустыне, от людей вдали.

Другой, что музыкой влек души вдаль,
Со спутником своим — ходжа Кемаль.

Мир Садр единомышленник был мой,
И он в искусстве не кривил душой.

Мой друг Тенбель жил в чистоте души —
И сам хорош, и речи хороши.

Еще один — Сабзарский был Алим,
Беседовать приятно было с ним.

По-разному дружили все со мной,
И все ушли, окончив путь земной.

Так буду пьян я памятью о них,
Что уж друзей не зачючу иных.

О кравчий, я прошу тебя, полней
Мне чашу благодарности налей,

Чтоб утопил я жалобы в вине
И благодарность выразил вполне.

Язык, что жаловаться мог порой,
Не чужд и благодарности живой.

Хотя друзей я многих потерял,
Круг новых у меня не так уж мал.

Один из них таков, как Атаи,
Другой же — как дервиш, как Фанаи,

Один на небе знанья — солнца лик,
Другой же небом знанья быть привык.

Во всем тончайшим вкусом одарен,
Решителен и тверд душою он.

Есть Асафи, таких стихов творец,
Что Сулейман свой отдал бы венец.

Встречался я и с Бенаи, но он
В науках был не очень изощрен.

Еще был друг для горестного дня,
Любил порой он посещать меня.

Есть Мешхеди — от всех отличен он
И благородством духа одарен.

Есть Шафии, святилище ума,
Он заслужил прозвание «муамма».

Есть тот, кто к чаше истины приник,
Друг, верный спутник мой и проводник.

Катиб безумный; он, когда придет
Охота, отвлекает от забот.

Еще есть несколько; пускай их бог
Всегда оберегает от тревог.

Не говорю я нынче о других,
В «Собраниях» написано о них.

Одни среди пустынь небытия,
Другие живы — этим счастлив я.

Мне небо есть за что благодарить,
Из благодарности я стану пить.

Разлука или близость — всё равно
Я осушу до дна свое вино.

228

О кравчий, отдыхая от забот,
Налей мне чашу, путь меня зовет,

Налей в кувшин мне алого вина,
Чтоб, воспарив, душа была пьяна.

Навек с земным прощаясь бытием,
Тебе махать я буду рукавом,

Пока в тот тленный мир не попаду,
На пир гуляк, наверно, я приду,

Целуя землю, буду всем служить,
Как кравчий, чашу подавать и пить

И, выпивая свой бокал до дна,
Как и они, воспряну от вина.

Пока рабы небытия пьяны,
Поклонники вина все пить должны:

И за царя царей (почтенья знак!),
И за Абу-ль-Гази, царя гуляк,

Вслед бедняку, что дни влачит свои
Подобно горестному Навои,

Мы станем петь, возбуждены вином,
Свои моленья воссылать о нем.

Пока в движенье кубок-небосвод,
Пока вино людской вкушает род,

Пусть будет он при шахских жить дворах
И кравчим шаха будет на пирах.

И пусть, как солнце, он взойдет в зенит,
Джамшида чаша пусть его поит.

Пока судьба свой не свершит закон,
Пусть нами вечно будет править он.

Святые на него молитвы шлют,
И ангелы «аминь» ему поют.

КЫТА

229

Старайся этот мир покинуть так,
Чтоб без долгов расчесться с пережитым:
Уйти из мира прочь, сбивая шаг, —
Не то же ль, что из бани — недомытым?

230

Пусть в сад твоей души негодник не заглянет,
Посконный половик не скрасишь и цветком:
Навозный жук, смердя, и розу испоганит,
Летучей мыши ввек не виться мотыльком!

231

Невежда в страхе жизнь провел:
Боялся он учиться слову,
И был он ну точь-в-точь осел:
Влачился он от рева к реву.

Что золото-серебро! От них — лишь порча рук:
 Возьмешь — блестит, отложишь — руки в черном!
 Но и душе они — погибельный недуг:
 Загубишь жизнь пристрастием позорным.

Когда я в тишине лечу души недуги,
 Ложится на меня печалей пыльный пласт.
 Едва — стряхнуть его — я выйду из лачуги,
 Как злобою людской стократ меня обдаст!

Кто сокрушил в себе прибежище гордыни,
 Богатства вечности даны тому отныне.
 А если гордость и во мне нашла обитель,
 Найдется ль для богатств другой хранитель?

Со мной в походе два коня,
 Но пеший я ходок:
 Что кони в шахматах, они
 Поднять не могут ног.
 Что в шахматах, за край полей
 Им не дано дорог.
 Конь черный подо мной — земля,
 А белый конь — песок!

Из тысячи один поделится с другим,
 А большинство — скупцы и всё себе берут!
 Таков обычай есть, и всеми он храним:
 Брать у других — легко, давать — нелегкий труд!

Я, жар души в стихи вдохнув, мечтал,
 Чтоб мысль мою тем жаром зажигало,
 И потушить огонь, что жег мне мысль,
 Живой воды, наверно, было б мало.
 О, если бы горение души
 Всегда огонь свой мысли отдавало!

В диване шах печать мне поручил —
 В готовые дела клеймо вклепать.
 То означало: гордость заглуши
 И ниже всех других в диване сядь.
 Но гордость я никак сломить не мог,
 И вышло так, что я сломал печать.

Бывает так, что странный в ином сидит задор:
 Он по любой причине с людьми вступает в спор.
 Такому не перечьте: ни зернышка не даст,
 Когда хоть слово скажут ему наперекор.
 А сам — с огромной ложкой у каждого котла, —
 Эх, кто котлом бы — сажей ему лицо натер?

Не разделяйте трапезу с тираном —
 Прилично ли лизать собачье блюдо?
 Не доверяйте тайн своих болванам —
 Беседовать с ослами тоже худо!

Учтивость привлекательна вдвойне,
 Когда ее в привычку взял богатый.
 Раскаянье ценней во много раз,
 Когда богат и знатен виноватый.

Нет щедрости прекраснее такой,
Когда не ждут, чтоб лесть была отплатой.
А мудрый тех достойными зовет,
Чей дух — смиренья кладезь непочатый!

242

Не позволяй льстецам себя завлечь:
В корысти все негодники едины.
Беседуя, цени не чин, а речь:
Не важно, кто сказал, важны причины!

243

И в тысяче ответов будь правдив:
Лишь истина одна — для них приют.
Один калам ста букв ведет извив,
На тысячу баранов — общий кнут!

244

Как женский лик, сияя вдалеке,
Над миром блещет солнце на восходе.
Здесь дива нет: в арабском языке
Название для солнца — в женском роде.

245

Ты благороден, ты умом высок,
В сердцах людей ты будишь мятежи.
Ты бесподобен! В паре кратких строк
Я о тебе сказал четыре лжи!

Болтливым с любопытными не будь:
 Не спрячешь тайну, если с уст слетела!
 Последний вздох назад уж не вдохнуть,
 Когда уйдет дыхание из тела!

Есть выродки, чьи свойства, как ни прячь,
 В особенности мерзостны и гадки:
 Безмозглый шах, скупой богач,
 Ученый муж, на деньги падкий.

Не внемлет он словам, как сил ни трать,
 А ведь ему ж от лени и неладно:
 Те ценности, что лень глупцу собирать,
 Не раздавать — и вовсе не накладно!

Бывает так, что, спеси полн, болван
 Заподличает, выбившись в вельможи.
 Здесь чуда нет: от власти словно пьян,
 Он, всё забыв, себя не помнит тоже!

Далекий дым, а не манящий свет
 Холодной ночью — поводырь скитанья.
 Не так ли, заглушив соблазн, аскет
 Находит радость в твердом воздержанье?

Когда холоп отставлен, а без зова
 Являет пыл непрощеных хлопот,
 Он — словно в жены лезущая снова
 Супруга, получившая развод.

За темнотой придет сиянье света,
 Ты в это верь и будь неколебим.
 Есть в этом мире верная примета:
 Над пламенем всегда завесой — дым.

От всех венцов — одна долука нам:
 Ведь ум слабеет, сжат со всех сторон.
 Венцов не надо нашим головам,
 Как и самим султанам — их корон!

Когда богатств души ты убережь не смог
 И, вверив языку, рассыпал их по свету,
 Как друга ни проси, чтоб слово он берег, —
 Большой ли в том секрет иль тайны вовсе нету, —
 Не странно, если он нарушил свой зарок:
 Он просто раздавал ходячую монету!

Хулит моих сородичей народ
 За их бездарность. Это — справедливо.
 Но и моя «бездарность» всех гнетет:
 Мол, я не всё дарю. Вот это — диво!

Уж если об ином молва пошла,
 Что только зло да злобу в нем найдешь,
 Добра не жди — не сотворил бы зла,
 Не сделал зла — уже и тем хорош!

Я столько от друзей обид терпел
 И столько бед и мук омыл слезами,
 Что лучше смертный обрести удел,
 Чем уцелеть и снова быть с друзьями!

Среди искусств такое есть уменье:
 Оплошность скрыть, когда ошибся друг,
 И похвалить при всех его раденье
 Или сокрыть отсутствие заслуг.

Прекрасен дом, в котором есть жена —
 Твой добрый друг, красивая подруга.
 Но та обитель света лишена,
 Когда в ней нет жены, хозяйки, друга.

О Навои, не дай взойти корысти зернам,
 Не сдобри их слезой в стенании притворном,
 Для прихотей не отводи надел пространный
 И по ветру развей запасы слеси чванной!

Заводишь речь — скажи лишь половину:
 Навьешь словес — и жалкий будет вид!
 Когда паук накрутит паутину,
 Он в ней и сам как пойманный висит!

Два пса борзых охотились на льва.
 По силе нет как будто в них различий,
 Но пес один, принюхиваясь, ждет,
 Другой — бежит, не дожидаясь кличей.
 Растерзан пес. Смертельно ранен лев —
 Он стал тому, трусливому, добычей!

РУБАИ

То море плещет, ценный дар скрывая,
 В нем капли все — как бы вода живая.
 Его равняют с шахскою казной,
 «Сокровищницей мыслей» называя!

За то письмо я жизнь отдать бы смог:
 Когда проник я в смысл желанных строк,
 Я в море слез, затрепетав, поплыл,
 Как будто в воду брошенный листок!

Когда тебя народ виной корит,
 Ты на людей не затаи обид:
 Укор правдив — исправиться не стыд,
 А лживая хула не уязвит!

Когда я гнал вином печаль забот,
 Укор ханжи поверг мне душу в гнет.
 Что ж — буду пить все ночи напролет,
 Пока душа опять не заживет!

Когда, порвав с людьми, я вырвался из пут,
 Я рад был, что меня простор и воля ждут.
 Но, полюбив тебя, я снова влез в хомут:
 Так зверь: рванет аркан — и шею стянет жгут!

Здесь розы нет, а мне о ней твердят!
 Пройти б у сада, вдоль его оград, —
 Пусть прелесть розы не увидит взгляд,
 Зато вдохну чудесный аромат!

О ветер! Полетишь за милою моей —
 Ты душу отнеси и сердце прямо к ней.
 Дай сердце псу ее — пусть сгложет поскорей,
 А душу на пути у ног ее развей!

Укрывшийся в горах от мира человек
 В пещере в зимний день найдет себе ночлег.
 Ему прохладу в зной дарует горный снег,
 А власть тщеты мирской ему чужда навек!

Сильней души моей тебя люблю я, жизнь,
 Сильней любви своей тебя люблю я, жизнь!

Да, есть любовь, верней которой нет,
И всё ж еще сильнее тебя люблю я, жизнь!

272

Сто тягот сердцу принесла разлука,
Пронзила душу, как стрела, разлука,
Спалила тело мне дотла разлука,
И пепел в небеса взвила разлука.

Т У Ю Г И

273

То — губ нектар ли, глаз твоих алмазная слеза ли?
А может быть, твои уста чужой нектар слизали?
Лукавством лук заряжен твой, и стрелы в сердце
Ах, если б зерна яда с них на полпути слезали! метят, —

274

Стрела обиды в грудь впилась и сердце мне задела —
Едва утихнувшая страсть опять взялась за дело!
Так предначертано судьбой: мы сердцем рвемся к юным,
А до других — кто нелюбим — влюбленным что за дело?

275

Дугою бровь — как меткий лук: стрелу мне брось навстречу!
О, долго ли еще, скорбя, лишь уповать на встречу?
Среди луноподобных звезд, что всех затмят красою,
С красой такой, как у тебя, другую разве встречу?

276

Рубины губ ее — огонь, они мне душу жгут.
Как лук мой стан — лишь потяни за тетиву, за жгут.

207

Я клятвам верить был бы рад, но искренни ль они
И светоч верности в тебе зажгут иль не зажгут?

277

Нет, ты не роза, я правдив в сравненье этом смелом:
По бледности твое лицо соперничает с мелом!
Затворница! Румянец щек тому лишь дан в награду,
Кто не гнушается вином и в страсти будет смелым.

278

Кинжал разлуки в эту ночь затеял пир и справил,
Но рок, мне сердце истерзав, недуг мой не исправил.
Тогда он в Тун меня послал и пыткой мучил в Туне,
Как нужно мучить — не забыв ни одного из правил!

279

Пока любимая в Сари, грустить не перестану.
Когда ж сравнения искать для милой пери стану,
Я в сад пойду, в цветенье роз увижу лик прекрасный,
А рядом — стройный кипарис, ее подобный стану!

280

Бальзам для ран я не нашел, страницы книг листая.
Что тело мне терзает в кровь — не хищных птиц ли
Огонь любви мне душу сжег, и в горькой той пустыне
Не отыскал ни одного целебного листа я!

281

Жестокий град коварных стрел мне душу поражал,
И в сердце две из них впились, как острых пара жал.
Алмазы горьких слез моих пролив к твоим стопам,
Я взоры россыпью камней бесценных поражал.

209

Мой взор состарила слеза, в мученьях пролитая,
 Но ты, как прежде, — лишь мечта, что дразнит,
пролетая.
 Один — в тоске я слезы лью, но если ты со мною,
 Мой, как у Хызра, долог век — что ж вспомнил про
лета я?

Чтоб ей сказать: «Не уходи», уста я растворил,
 Но замер зов мой на устах и льда не растворил.
 Ее капризам нет числа, упорству — нет границ,
 Мир удивлен: такое зло ну кто хоть раз творил?

Ф А Р Д Ы

Всё отдать, себя лишая, — это щедрость свыше мер,
 Сделать то же, только молча, — это мужества пример.

Дородность тела — нам всегда отягощает бытие,
 Душе спокойней во сто раз освободиться от нее.

Обманщик должен быть хитер, внимания
не привлекать —
 Так тихо крадется лиса, чтоб птичку быструю поймать.

Тот, кто учтив и кто не скуп, вдвойне свой одарил
народ:
 Мир — от спокойствия его, благоустройство — от щедрот.

От людей звероподобных ждать привета и добра —
 Всё равно что юной розе пожелать любви козла.

Знай — обирающий народ бывает алчным до конца,
 А кто заботится о нем, всегда влечет к себе сердца.

Знай — настоящий тот глупец, кто вечности от мира
ждет,
 И несомненно, тот дурак, кто верности от ближних ждет.

Кто тебе приносит сплетни, не щадя в них никого,
 Тот пред ними обесчестит и тебя же самого.

Друг обвинит — молчи: он хочет, чтоб в зеркало упал
твой взгляд,
 Коль мутно в зеркале, не думай, что в этом друг твой
виноват.

Разбито сердце, дом терпенья вот-вот на землю упадет,
 Поймет ли кто мое увечье, не испытав моих невзгод?

В этих полных горя вздохах траур жизни я таю,
 В каждом вздохе — сотня вздохов, сокративших жизнь
МОЮ.

ПОЭМЫ
«ПЯТЕРИЦА»

Глава XIV

О СЛОВЕ

Я славлю жемчуг слова! Ведь он
Жемчужицею сердца рождено.

Четыре перла мирозданья — в нем,
Всех звезд семи небес блистанье — в нем.

Цветы раскрылись тысячами чаш
В саду, где жил он — прародитель наш.

Но роз благоуханных тайники
Еще не развернули лепестки.

И ветер слова хлынул с древних гор
И роз цветущих развернул ковер.

Два признака у розы видишь ты:
Шипы и благовонные цветы.

Тех признаков значенье — «каф» и «нун»,
То есть: «Твори!» Иль, как мы скажем, «Кун!»

И всё, что здесь вольно иль не вольно,
От этих букв живых порождено.

И сонмища людей произошли
И населили все круги земли.

Как слову жизни я хвалу скажу,
Коль я из слов хвалу ему сложу.

Ведь слово — дух, что в звуке воплощен,
Тот словом жив, кто духом облачен.

Оно — бесценный лал в ларцах-сердцах,
Оно — редчайший перл в ларцах-устах.

С булатным ты язык сравнил клинком,
С алмазным слово я сравню сверлом.

Речь — лепесток тюльпана в цветнике,
Слова же — капли рос на лепестке.

Ведь словом исторгается душа,
Но словом очищается душа.

Исус умерших словом воскрешал —
И мир его «Дающим жизнь» назвал.

Царь злое слово изронил сплеча,
Так пусть не обвиняют палача.

По слову в пламя бросился Халил,
И бремя слова тащит Джабраил.

Бог человека словом одарил,
Сокровищницу тайн в него вложил.

Не попади душой кумиру в плен,
Чей рот молчанием запечатлен.

Она прекрасна, уст ее рубин
Твой ум пьянит сильнее старых вин.

Но пусть она блистает, как луна,
Что в ней — всегда безмолвной, как стена?

Ты, верно, не сравнишь ее с иной,
Не спорящей с небесною луной.

Пусть не лукавит взглядом без конца,
Пусть не пронзает стрелами сердца.

Пусть даже внешне кажется простой
И пусть не ослепляет красотой.

Но если дан ей ум, словесный дар,
То он сильнее самых сильных чар.

Она упреком душу опьянит,
Посулом смуту в сердце породит.

И пусть обман таят ее слова,
Но как от них кружится голова!

И видишь ты, что все ее черты
Полны необычайной красоты.

Как устоишь перед таким огнем,
Хоть ты сгораешь, умираешь в нем?

А коль она прекрасна, как луна,
И в речи совершенна и умна,

Коль, наряду с природной красотой,
Владеет всею мудростью земной,

Она не только весь Адамов род,
Но коль захочет — целый мир сожжет.

Такой красе, сжигающей сердца,
В подлунной нет достойного венца,

Когда певец прославленный средь нас
Ведет напев под звонкострунный саз,

То, как бы сладко он ни пел без слов,
Нам это надоест в конце концов;

Мелодия любая утомит,
Когда мутриб играет и молчит.

Но если струны тронет он свои
И запоет газели Навои,

Как будет музыка его жива,
Каким огнем наполнятся слова!

И гости той заветной майханы
Зарукоплещут, радостью полны,

И разорвут воротники одежд,
Исполнены восторга и надежд.

Что жемчуг, если слово нам дано?
Оно в глубинах мира рождено!

Пусть слова мощь сильна в простых речах,
Она учетверяется в стихах.

Стих — это слово! Даже ложь верна,
Когда в правдивый стих воплощена.

Ценнее зубы перлов дорогих;
Когда ж разрушатся — кто ценит их?

В садах лелеемые деревья
Идут в нагорных чашах на дрова.

Речь обыденная претит порой,
Но радует созвучной речи строй.

Когда дыханье людям дал творец,
Он каждому назначил свой венец.

Шах, расцветая розой поутру,
Главенствует в суде и на пиру.

И каждый место пусть свое займет,
Тогда во всем согласие пойдет.

Царь должен за порядком сам смотреть,
И не дозволено ему пьянеть.

Не должен бек с рабами в спор вступать,
Строй благолепный пира нарушать.

Фигуры, бывшие в твоей руке,
Рассыпались на шахматной доске.

И кто-то из играющих двоих
В порядке, по две в ряд, расставит их.

Встают ряды, и стройны и крепки, —
В двух песнях две начальные строки.

Но силы их пока затаены,
Меж ними есть и кони и слоны.

Коль у тебя рассеян ум и взгляд,
Твой шах и от коня получит мат.

Столепестковой розою цветет
Тетрадь, чей шит любовно переплет;

Но вырви нить, которой он прошит, —
Лист за листом по ветру улетит.

Так участь прозы — с ветром улетать,
Поэзии же — цветником блистать.

Удел ее поистине велик —
Она цветет в предвечной Книге Книг.

Ее одежда может быть любой,
А суть в ней — содержание, смысл живой.

Не ценится газель, хоть и звучна,
Когда она значенья лишена.

Но смысл поэма выскажет сильней,
Когда прекрасен внешний строй у ней.

О боже, дай мне, бедному, в удел,
Чтоб я искусством слова овладел!

Глава XV

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТОМ, ЧТО В СЛОВЕ СОДЕРЖАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО ДУШОЙ, А БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ФОРМА СЛОВА — ТЕЛО БЕЗ ДУШИ

В пучине слов ныряльщик лучший — тот,
Кто смысла перл в жемчужнице найдет.

Пред тем, кем светоч смысла обретен,
Гарем очарованья озарен.

Тот опьянен словами, кто подъял
Жемчужницу значенья, как фиал.

Скажи: вино бессмертья в нем горит,
Что, словно лампа, сердце озарит.

Кувшин небесный полон тем вином,
А солнце — крышка на кувшине том.

Все люди мира им упоены,
Самозабвением усыплены.

Но сколько из него вина ни пить,
Кувшин вовек до дна не осушить.

Хоть поколенья это пьют вино,
На каплю не убавилось оно.

Иду как пьяный с караваном я
К порогу майханы небытия.

Стремлюсь, надеждой радостной горя...
Мне чаша слова светит, как заря.

Но, с путеводной чаши сняв печать,
Я много лет предпочитал молчать.

Предчувствую, испив из чаши сей,
Что я расстанусь с волею своей.

Как ветер, устремлюсь, куда хочу,
Сады в цвету, пустыни облечу.

И обойду, как солнце, высоту,
Всё видя — ничего не обрету.

Отвергну всё и сяду пировать,
Упьюсь вином, начну стихи слагать;

И на престол поэзии взойду,
И тысячи приверженцев найду...

Тогда б играл и пел я целый день,
Кулах парчовый сдвинув набекрень.

И морем слов мне б стало бытие —
Я в нем бы плавал в чаше, как в ладье.

Я до краев бы наполнял фиал,
Его ежеминутно б осушал.

Запел бы я под пиршественный шум
По-тюркски: «Ай-Тулгум» и «Ай-Тулум».

Я одинок! Поэтов тюркских нет.
Найду ль в сердцах сочувственный ответ?

Пускай мой друг пригубит хоть глоток,
Коль он, как я, не выпьет весь поток.

Увы! Пока мечта свой пир ведет,
Безмолвствует высокий небосвод.

Иль не было предтеч моих в былом,
Владевших тюркским словом и стихом?

А если были — позабыл их мир. . .
Я после них пришел на этот пир.

Но хуже одиночества гнетет
Меня назойливый и жадный сброд.

Двух не умеют слов они связать,
Бездарны все, и все хотят писать.

Они, в стихах размеров разных двух
Не различая, мой терзают слух.

Их строй словесный знатоку смешон,
Лад исполненья верности лишен.

Все ложной новизной хотят блистать,
Хоть и не могут ничего создать. . .

Когда врата поэм открылись мне
И пери красоты явились мне,

Мое искусство скромно занялось
Нарядом их, прической их волос.

Сунбул кудрей их тронул гребень мой,
Нарциссы их я оттенил сурьмой.

Блеск их ланит от слез моих зардел,
Где родинки мой взгляд напечатлел.

Для их одежд брала моя рука
Слова, как многоцветные шелка.

Чтоб заблистал красою каждый стих —
Невестой, не похожей на других,

Парчою царской, с головы до ног,
Свой стих я, как красавицу, облек.

Я посвятил всё существо мое
Заботам украшения ее.

Они же, как разбойники в ночи,
Пришли — украли золото парчи;

Украли стих — красавицу мою,
Украли жемчуг, шелк и кисею.

И пери Чина в нищенскую шаль
Одели, словно смертную печаль. . .

Мой каждый бейт они перепеют
И за свое творенье выдают.

И всё, что у меня ни украдут,
Презревши стыд, несут ко мне на суд.

Коль в их мазне себя узнать я рад,
Они нахально требуют наград.

Стыжусь за них, судить их не могу,
Но больше выносить их не могу.

Одно мне остается: прочь уйти,
Твердыню на вершине возвести.

На круче неприступной высоты
Воздвигну замок вечной красоты.

Его опоры — у подземных вод,
А башен сталь упрется в небосвод.

Глубокий будет кладезь там, чье дно
До грозных недр земли углублено,

Чтоб ход под крепость ту не подкопать,
Зубцов стены арканом не достать.

Чтоб там мои создания цвели,
От бедствий и опасностей вдали.

И будет много там камней и стрел,
Чтоб враг напасть на крепость не посмел.

Те камни будут скорбью мне даны,
А стрелы вздохом утра рождены.

Кто на твердыню приступом пойдет,
Тот от камней и стрел моих падет. . .

О, боже, боже! Небыль, бред и тьма!
Я бредил, будто впрямь сошел с ума.

Хвалился, будто опьянен вином,
Забыв себя в безумии своем,

Коль ты себя над всеми вознесешь,
Знай: это всё — безумие и ложь.

Бранил я подражателей моих,
Что взяли образцом мой слог и стих.

Они ведь пишут плохо не всегда,
Стихи их сладкозвучны иногда.

Они поют, как ты, — и от души,
Ты сам — плохой, они же — хороши.

В дорогу, Навои! Забудь покой,
Но строк, рожденных сердцем, вслух не пой!

Средь нищих нищим будь, пока венца
Не удостоишься из рук творца.

Глава XXVI

ТРЕТЬЯ БЕСЕДА

О СУЛТАНАХ

О ты, кому, как небу, власть дана,
Ты, чьи литавры — солнце и луна.

Ты волен в зле сегодня и в добре,
И солнце всей страны — в твоём шатре.

Венец твой вознесён главой твоей,
Престол твой утверждён стопой твоей.

И звезды неба — горы серебра
Для твоего монетного двора.

Твой трон, пред коим падают цари,
Благословляет хутбой Муштари.

Запечатлен твой перстень на луне,
Твой светлый щит — как солнце по весне.

Ты — мудрый Сулейман в юдоли сей;
Хума парит над головой твоей.

Ты правишь там, где правил древний Джем.
Златой фиал идет твоим перстам.

Но ты на перстне надпись не забудь,
Что «В справедливости — к спасенью путь!»

Молясь, аят Корана повторяй:
«Правитель, справедливо управляй!»

Ты помни, что судья в твоих делах —
Сам возвеличивший тебя аллах.

Могучих он к ногам твоим поверг,
И чуждый блеск перед тобой померк.

Склоняется перед тобой народ,
Покорно он твоих велений ждет.

Творец миров, владыка звездных сил,
Людей твоей деснице подчинил.

Но сам пред ним ты немощен и слаб,
Ты сам — его творение и раб.

Как все, ты — прах и обречен земле.
Как все, ты — сгусток тьмы, не свет во мгле.

Своим рабам подобен ты во всем —
По внешности и в существе своем.

Но красотой речи и умом,
Но совершенством в мастерстве любом,

Упорством каждодневного труда
И честностью — со всеми и всегда,

Но преданностью богу твоему
И полным подчинением ему

Ты уступаешь — не мужам святым,
А самым низким подданным своим.

Но всё ж калам судьбы предназначтал,
Чтоб ты султаном в этом мире стал.

Неизреченный дал тебе печать,
И жезл, и власть — людьми повелевать.

Ты каплей был. Но в море превратил
Тебя живой Источник Вечных Сил.

И в этом — воля, власть и мощь творца;
А божью власть приемлют все сердца.

По жребию ли тайному, — одно
Такое счастье здесь тебе дано, —

Ты знай: вершина мудрости земной
В искусстве управления страной.

Пусть для народа шах добро творит
И за добро творца благодарит.

Установи закон добра взамен
Насилия — «И будешь ты блажен!».

Да, здесь ты — царь, но царь на краткий срок. . .
«Так осчастливь людей!» — сказал пророк.

Божественных велений череда
Несметна. Друг народу — будь всегда!

Народ — твой сад. Будь мудрым, Садовод!
Будь, Пастырь, добрым! Стадо — твой народ.

Пастух задремлет — волки нападут,
Урон великий стаду нанесут.

Забросишь сад — засохнут деревья
И пригодятся только на дрова.

Благоустраивай и орошай
Свой сад! Волков от стада отгоняй!

За то, что стадо защитишь и сад,
Награда — урожай, приплод ягнят.

А коль сады загубишь и стада,
Придут к тебе тревога и беда.

Умрешь, перед судом предстанешь ты. . .
Что ты ответишь? В бездну канешь ты.

Открой глаза и правдой озарись!
Всю жизнь на благо подданных трудись!

Ты благоденствуешь, а твой народ
В невыносимых бедствиях живет.

Но труженик и в бездне нищеты
Духовно выше степенью, чем ты.

Предстанут пред владыкою времен
Тот, кто гнетет, и тот, кто угнетен.

Награду угнетенный обретет,
А на тебя проклятие падет.

Язык того, кого ты угнетал,
Тебе вонзится в сердце, как кинжал.

И перед бездной содрогнешься ты,
Как стебель, от стыда согнешься ты.

Ты счастлив ныне, но идешь во мрак.
В эдем пойдут гонимый и бедняк.

Когда же все грехи твои сочтут,
Тебя стократным мукам предадут.

И не поможет бог беде твоей, —
Предвечный бог — не сборщик податей.

Иглу у нищих силою возьмешь —
Знай: та игла тебя пронзит, как нож.

Спеши, утешь обиженных тобой!
Не то — сгоришь в геенне огневой.

За всех, кого колючкой ранишь тут,
Тебе стократно в бездне воздадут.

И будет пламень вокруг тебя жесток
За тех, кого хоть искрой ты обжег.

Отнимешь нить у нищих, эта нить
Удавом вырастет — тебя душишь.

Ты властен. Над тобою — никого.
Но ты — палач народа твоего.

Насильник обездоленных людей,
Насильник ты и для души своей.

Взгляни: ты в скверне по уши погряз!
Беги, пока твой разум не погас.

Уйди от зла, добром наполни мир!
А ты, восстав от сна, бежишь на пир.

Подобен раю, светел и высок
Для пиршества украшенный чертог.

Но в киноварной росписи его
Алеет кровь народа твоего.

Завеса, чья неслыханна цена,
Не из парчи — из жизней соткана.

Украшен жемчугами твой шатер —
Ты у народа отнял их, как вор!

Чтоб яшму взять для арки и стены,
Гробницы древние разорены.

Вот на пиру садишься ты на трон.
Фиал вином шипучим опенен.

Там кравчие спуют — полны красы,
Вельможи льнут к ногам твоим, как псы.

Чтоб жажду утолить, шербет, вино —
В стократном им количестве дано.

Там речи — пустословие одно,
Их верным слушать стыдно и грешно.

Там сквернословья слышен пьяный хор,
Там непотребства оскорбляют взор.

Покамест день сияет над землей,
На сборище разгульном чин такой.

Когда ж звезда вечерняя блеснет
И ночь страницу дня перечеркнет,

Зажгутся свечи, но бесчинство то ж
Идет и у тебя, и у вельмож.

Свеча, пылая, плачет над тобой,
И, падая, рыдает кубок твой.

«Дай денег!» — казначею ты кричишь
И, как петух охрипый, голосишь.

Так целый день в тени твоих палат
Царят разгул, и скверна, и разврат.

Забыт завет пророка! От вина
Толпа твоих гостей пьяным-пьяна.

Хоть каждый тигра злобного лютей,
Но все покорны власти пса страстей.

Корыстью низкой души их горят,
Они давно презрели шариат.

Не дрогнут изнасиловать, растлить,
Чтоб изменную похоть утолить.

Когда же утро землю озарит,
Чертог царя являет гнусный вид:

Как будто рать в сраженье полегла,
Распластаны упившихся тела.

Уже намаз полуденный вершат,
А в замке царь, вельможи, войско спят.

Едва проснутся — бросятся опять
Последнее у нищих отбирать.

Всё взыщут, не оставят ни зерна:
Мол, пополненья требует казна!

Казну пополнят, а ночной порой
Опять — и шум, и гам, и пир горой.

Когда бесчинству царь дает пример,
Бесчинствуют вельможа и нукер.

Вот так проходят ночи их и дни;
О будущем не думают они.

Пророка и халифов четверых —
Ты вспомни, заступивший место их!

Где у тебя закон? Где правый суд?
К чему твои поступки приведут?

По воле бога ты султаном стал —
А ты народ измучил, обобрал!

Молитва, пост завещаны тебе,
А ты привык к веселью и гульбе.

В самозабвенье дни твои пройдут...
Опомнись! Вспомни: грянет грозный суд!

И ужас смерти обоймет тебя;
Никто в ту пору не спасет тебя.

Не шахом, жалким прахом станешь ты.
Как из пучины зла воспрянешь ты?

Когда ты жизни грань перешагнешь,
Ты знай, что там пощады не найдешь.

Раскайся, справедливость прояви,
Себя для жизни вечной оживи!

Твое насилье, низость и разврат
Земле и небу вечному претят.

Раскайся же отныне навсегда!
Трудись! Страшись грядущего суда!

Хоть никакой не волен человек
Не совершить греха за долгий век,

Хоть совершенства полон только тот,
Кто создал мир и многозвездный свод,

Но ты, порой невольно оступаясь,
Раскайся, о прощении молясь.

И коль невольно утеснил людей,
Воздай им тут же милостью своей.

И должен ты, как свет во тьме, светить,
Все души справедливостью пленить.

Как солнце, луч над миром простирай,
И подданным своим любовь являй!

Ту доблесть, что жила в былых царях,
Хранит один Победоносный шах!

Глава XXVII

РАССКАЗ О СУЛТАНЕ И СТАРУХЕ

В те дни, когда Победоносный шах
С врагами царства пребывал в боях,

Нукеров верных сотни две всего
Сопровождали шаха своего.

В сраженьях каждая его стрела
Смертельной для противников была.

Аллах возвел его на шахский трон,
Что был его отцами утвержден.

Когда в свою столицу он вступил,
Он двери справедливости открыл.

Он истребил насилие и гнет,
Украшил город от свсих щедрот.

При нем исчезли ересь и разврат
И стал опорой правды шариат.

Дабы столицу осмотреть кругом,
Султан однажды выехал верхом.

И некая старуха подошла
И крепко за полу его взяла.

«Эй, шах! — кричала, плакала она. —
Передо мною на тебе вина!

Ты справедлив. Так пусть же призовут
Тебя ответчиком на правый суд!»

А царь: «Не дрогну, жизнь тебе отдав,
Когда твой иск по шариату прав!»

И вот на суд к исламскому кази
Пришли — старуха и султан Гази.

Был весь народ смятенъем обуян,
Когда, как подсудимый, сел султан.

Они сидели, словно Заль и Сам,
Открытые земле и небесам.

Старуха начала: «Когда в боях
Сначала отступал великий шах,

В отряд, что двинулся против него,
Неволей взяли сына моего.

Он кипарисом был в саду моем,
Единственным на ниве колоском.

Но царь убил кормильца моего. . .
Мечом он в битве зарубил его!»

Судья ей: «Для признания вины
Мне два живых свидетеля нужны».

Старуха молвила: «Я приведу
Двух очевидцев правому суду».

А царь: «Вину свою я признаю.
Всё так. Я зарубил его в бою».

Судья сказал: «Иль кровью заплати
За кровь, или потерю возмести!»

Султан ответил: «Я, без дальних слов,
По шариату жизнь отдать готов!»

Мешок динаров золотых открыл
И меч старухе плачущей вручил;

Сказал: «Казною жизнь не возместить,
И ты вольна мне голову рубить.

В бою убил я сына твоего,
Но жизнь тебе отдам за жизнь его!»

Потупила старуха скорбный взгляд,
Увидев тот прославленный булат.

В смятении, она к ногам царя
Упала, так сквозь слезы говоря:

«Мой сын против тебя пошел на бой,
Я за тебя пожертвую собой!

Меня теперь ты с миром отпусти,
Коль я виновна, мне вину прости!»

Так у всего народа на глазах
Явил святую справедливость шах.

Старуха мать от мести отреклась,
От денег — ради чести — отреклась.

Но сам султан ей сына заменил,
Безмерно он ее обогатил.

Своим вниманьем, как небесный Заль,
Утешил, сколько мог, ее печаль.

* * *

Забудь обиды жгучие свои
Пред блеском солнца правды, Навои!

Эй, кравчий, дай мне верности фиал,
Чтоб верности цветник не отцветал!

Вина мне! Выпью радостно его
За справедливость шаха моего!

Глава XXVIII ЧЕТВЕРТАЯ БЕСЕДА О ЛИЦЕМЕРНЫХ ШЕЙХАХ

Эй ты, обманщик, дармодед в хырке,
Чей крик с утра мне слышен вдалеке!

Эй, лицемер, на рубище своем
Заплаты нашивающий кругом!

Не деньги ли под множеством заплат
Ты прячешь, как в народе говорят?

По тем заплатам нитка лжи прошла,
Твоя игла — из уса духа зла.

Заплаты он кладет на небосвод,
С планетами игру свою ведет.

Зарозовеет утренний туман,
Но это утро — призрак и обман.

Пускай у шейха велика чалма,
Но под чалмой — ни света, ни ума.

Взгляни на посох шейха и скажи:
«Сей посох — столп опорный дома лжи!»

А четки подобрал он из кусков
С порога у ваятеля божков.

Сосуд греха — их камень головной,
А нить — зуннара шнур волосяной.

Подошвы деревянные его
Стучат, к соблазну города всего.

Но он восходит на минбар святой,
Тряся своей козлиной бородой.

Пусть он козел, не страшен он вора́м.
Хоть и козел он — а роует сам.

Козел почтенный, если мудр и стар,
Становится водителем отар.

Не так ли шейх хвастливый, как козел,
Доверчивых ведет долиной зол?

Взгляни, как зорко, сам идя вперед,
Козел стада на пастбища ведет. . .

А шейх, тряся козлиной бородой,
Ведет людей к геенне огневой!

Заблудших он ведет, на свет маня;
Но это отблеск адского огня.

Прибежище, где царствует разврат,
Зовется: «Храм», «Молельня», «Харабат».

Там шейх циновку стелет. Смысл ее
По начертанью слова — «бу-риё».

В мечети их столбы, изгиб стены —
Отвращены от южной стороны.

Из храма гебров — створы их дверей,
Михраб их — дуги женственных бровей.

Шейх этим грешным молится бровям,
Ему шайтан подсказывает сам.

И, полн доверья, слушает народ
Невежественный — всё, что он поет.

А шейх сгибает спину, словно «нун»,
Сидит в углу, как набожный Зуннун.

Средь истинных суфиев — первый он.
Его решения для них закон.

И он своей пустою болтовней
Увлечь людей умеет за собой.

Одним внушает: «В угол сядь, молись!»
Другим внушает: «В горы удались!»

Он шлет на мученичество одних
И тешит небылицами других.

Умеющий обманывать народ,
Он выдумку за правду выдает.

Себя обманывает... Для него
Нет друга, кроме Хызра самого.

Он в тряпке банг упрятал; и она
От цвета банга стала зелена.

Не потому ль кричат: «Вот Хызр идет!» —
Что зеленью тряпье его цветет?

Такой он — этот шейх! Его душа
Всецело в обаянье гашиша.

В ночи, дурманом банга обуян,
Он видит под собой звезду Кейван.

И кажется ему, что он достиг
Вершин познания — и, как бог, велик.

Услышать най бродяги — всё равно
Что выпить вечной истины вино.

И чем приятней песня, чем звучней,
Тем громче сам он подпевает ей.

Он топает не в лад, ревет, как слон,
Не понимая, как ничтожен он.

И, по примеру шейха своего,
Суфии кружатся вокруг него.

Несутся вихри ликов неземных
В расстроенном воображеньи их.

И все они — как их беспутный пир.
И пляска, что ни день, у них, и пир.

В самозабвенье кружатся они;
Ты их с ночною мошкой сравни —

В самозабвении, в глухой ночи
Кружащейся вокруг твоей свечи.

Круженье, вопли тех «мужей святых»,
Их иступленье, обмороки их

У них зовутся «поиском пути»,
Дабы «в забвенье истину найти».

Но в них пылает пламя адской лжи.
Ты с их ученьем, верный, не дружи.

Они всю ночь не устают плясать —
Да так, что поутру не могут встать.

Но вождельенье в них одно и то ж:
Привлечь к себе внимание вельмож,

Чтоб сам вазир верховный поглядел —
Насколько в «Вере» круг их преуспел,

И убедился в набожности их,
И счел бы их за подлинно святых;

И всех бы их от бедствий защитил
И щедрою рукой обогатил;

Чтоб щит страны — султан великий сам,
Молясь о них, к предвечным пал стопам,

Чтоб шейха лицемерного того
Возвысил, стал мюридом у него;

Чтоб для него казну он расточил,
Чтоб землю шейх в подарок получил.

А ты на ненасытность их взгляни,
Когда обогатятся все они.

Увидишь: суть их — низменная страсть:
Разбогатеть, а там — пускай пропасть.

Вот для чего им хитрость и обман:
Их цель — богатство, власть, высокий сан.

Так пусть о них всю правду знает свет:
Обманщиков подлее в мире нет!

Их внешность благовидна и свята,
Но души их — отхожие места.

Любой из них — пристрастий низкий раб:
Любой из них пред нечистью ослаб.

Снаружи — перья ангелов блестят,
Внутри их — дивы и бездонный ад.

Пусть веет мускусом от их рубах,
Но в их сердцах — смятение и страх.

Динар фальшивый позлащен извне,
Но золото очистится в огне.

Ну а для этих, правду говоря,
Огонь гееннский раздувают зря.

Никто бы вечно жигь в огне не мог,
От них же сам огонь бы изнемог.

Людей различных порождает мир:
Святыня этим — кыбла, тем — кумир.

Сожженья недостойные, они,
Не веря в жизнь, проводят жизнь одни. . .

Свет истины! Дорогу освети
И мир, и жизнь, и душу возврати

Тем искренним, чей путь прямой суров,
Отрекшимся от блага двух миров,

Труждающимся, страждущим в тиши,
Чтоб не погас живой стогнь души;

Тем, что в огне сожгли свою хырку
И не злоумышляли на веку;

Которым ни мечеть, ни майхана,
Ни Кааба святая не нужна!

Всё ведают они! Но в их глазах
Вселенная — соломинка и прах.

Настанет день — и мироздания сень
В небытии исчезнет, словно тень.

Им эта мысль сердца не тяготит,
Живая мысль их зеркалом блестит.

В том зеркале горит желанье их,
Любимой лик — и с ней слиянье их.

Той мысли земнородным не вместить,
Лишь грань той мысли в сердце может жить,

И в каждой грани — вечно молодой
Лик отражен красавицы одной.

И ты в какую грань ни бросишь взгляд,
Везде глаза волшебные глядят.

Везде глаза прекрасные того,
Кто смысл и суть живущего всего.

И те, кто видел это, лишь они —
Суфии подлинные в наши дни.

Они несут свой путеводный свет
Всем заблудившимся в долине бед.

Они, как Хызр, оставшего найдут
В пустыне и к кочевью приведут.

По зоркости вниманья своего
Они — как братья Хызра самого.

Под их дыханьем даже Хызр святой
Нам кажется зеленою травой.

Источник вечной жизни Хызр найдет
В слезах, что по ланитам их течет.

Пыль их сандалий зренье исцелит,
Их слово камень в золото превратит.

Пред гневом их бессилен небосвод,
И круг планет, что род людской гнетет.

В их цветнике всегда цветет весна,
Как два листка, там солнце и луна.

Они — в пути, и пот на лицах их
Непостижимее глубин морских.

Как многозначно содержание слов
В благословенном строе их стихов!

Суфий сидит в углу — чуть виден сам,
А ходит по высоким небесам.

В иклинах мира их путей черта
От всякой ложной мудрости чиста.

На светлом том пути — ристанье их,
В делах и мыслях — состязанье их.

Их ночи жаркою мольбой полны,
Чтоб сонмы верных были спасены.

Путем пророка следуют они,
Его лишь волю ведают они.

Слезами веры путь свой орося,
Они идут — награды не прося.

Под бурей не сгибаются они,
В беде не содрогаются они.

Смиренны, без надежды на эдем,
Лишь к истине стремятся сердцем всем.

Любовь их только к истине одной.
Нет во вселенной истины иной.

О ищущий жемчужину любви,
О ней к глубинам вечным воззови!

Глава XXX
ПЯТАЯ БЕСЕДА
О ЩЕДРОСТИ

О мудрый муж, от сердца щедрым будь
И счет своих даяний позабуди!

Пусть из перстов твоих золотой поток
Дождем осыплет Запад и Восток!

Враждует серебро с рукой твоей;
Рассыпь его без счета, не жалеи!

Сыпь золото, как молнию, всегда,
Чтоб молния вспотела от стыда.

Корону голова твоя несет,
Краса венца — жемчужина щедрот.

Жемчужины твоей прославлен свет,
Как перламутр жемчужницы планет.

Чем больше здесь казна расточена,
Тем выше в небесах твоя цена.

Пусть вечно блещет, словно слово «барк»,
Твоя звезда, как «фарр» над словом «фарк»!

Ты всюду знамя щедрости несешь,
Как гордый стяг «алифа» в слове «бош».

Ты сам — жемчугоносный океан,
В одной руке — Кулзум, в другой — Оман.

Ты раздаешь. Зато твоим перстам
Покорствуют Бармак и сам Хатам.

Родясь, ты принял гору серебра,
И щедрость, и желание добра.

И твой любой на теле волосок
Тобою восторгался б, если б мог.

Не будь скупым, просящего дари,
Но сам за всё творца благодари.

Ведь щедрость — знак душевной красоты,
А жадность — знак душевной нищеты.

Ты щедр, от корня щедрых порожден.
Венец твой этим перлом озарен,

Но этот чистый перл не попирай
И разум жадностью не называй!

Кто щедр без меры — шум пойдет о нем,
И назовется щедрость мотовством.

Без всякой меры щедрость — наравне
Со скупостью — ущерб несет казне.

Так щедрость цену перлов низвела
К стекляшкам на ошейнике осла.

Такая всем нам заповедь дана:
У щедрости граница быть должна.

Ты богом в сан султана возведен,
Богатствами безмерно наделен.

Ты можешь сыпать горсти серебра,
Но только ради блага и добра.

А из тщеславья деньги раздавать,
Для хвастовства горстями их бросать

Грешно, постыдно! Это дар пустой;
И скупость лучше щедрости такой.

Ведь нужно пьяным быть, безумцем стать,
Чтобы богатство предков расточать.

Кто пьет за пиалю пиалу,
Тот погружает разум свой во мглу.

Наследье Сулеймана истребить
Способен див, вино привыкший пить.

Хоть посади на золотую цепь
Безумца — что ему любая крепь?

Сорвется он — не удержать его
Богатствами Каруна самого!

Но меру щедрости, любви, добра
Нельзя измерить мерой серебра.

Цветы тюльпана ветер оборвет,
Но кто же щедрым ветер назовет?

Аллах сказал в Коране: «Пей! Вкушай!»
Но там же сказано: «Не расточай!»

Нет блага в расточенье. И народ
Щедротой мотовство не назовет.

Богатый дарит щедро. Но беда,
Когда не знает сам — кому? куда?

Ты на просящих зорко посмотри:
Тем, кто в нужде, — по их нужде дари.

А ты пресыщенному ставишь стол,
Даришь халат тем, кто и так не гол.

Ты посылаешь лучших скакунов
Владеющему сотней табунов.

Рубины посылаешь в Бадахшан,
Тмин посылаешь в тминовый Кирман.

Водою жизни Хызра напоить,
Египет леденцами угостить —

Не всё ль равно, что днем зажечь свечу:
Мол, солнцу я помочь светить хочу.

Ночь осыпает мускус с темных крыл,
Чтоб дол земной благоуханным был.

Но тот, кто сытого на пир зовет,
Голодным же ни корки не дает,

Он с тучей схож, что льет поток воды
В горах, поля минуя и сады.

Пропойца жаждет лишь глотка вина,
Ему ж тобой и капля не дана.

Чума настала... Стон вокруг и плач.
Но деньги прячет в тайнике богач.

Есть в мире виды счастья и беды,
И щедрости душевной и нужды.

Не бедствует порода тех людей,
Что бедствуют от жадности своей.

Я проклиная жадных к серебру,
Что тянутся к народному добру!

О помощи они ли вопиют
Иль наглостью и силою берут,

Коль всё удастся им с людей содрать,
Не жалко часть им сотую отдать.

Богач, бесчестно грабя свой народ,
Бесчестно и «дары» ему дает.

Всю жизнь он роет яму. Но кому?
Себе он роет яму самому.

О, стыд! У беззащитных отнимать
И часть, корысти ради, раздавать!

От грабежа его — народу вред,
А от его раздачи пользы нет.

Не щедр, кто не уделит ничего,
Пока не молят помощи его.

Пусть люди стонут в пропасти нужды,
Он не придет спасать их из беды.

«Он — брат наш!» — прихлебатели кричат,
Но себялюбца — никому не брат.

Ты видел, как базарный чудодей
Бросает шарик в пасть индийских змей?

Свой яд факиру змеи отдают,
Но разве это щедростью зовут?

Тот, чей язык, как пламя, удлинен,
Кто щедростью своею восхищен,

Кто пред людьми своим величием горд,
Тот, как алмаз, душой жесток и тверд.

Свеча же, ровно озаряя мрак,
Над строчкой ночи свей подымет стяг.

Есть у огня достоинство свое —
Железо плавит он, как мумиё.

Пускай заря прекрасна и ясна,
Краса лучами солнца ей дана.

Ты щедрыми людьми зови таких,
Что радуются радости других.

Кто сердцем щедр — богат иль беден он —
Корысти низкой, зависти лишен.

Он, сострадая, силы соберет
И гибнущих от бедствия спасет.

У океана капли не возьмет,
А свой бальзам страдальцам принесет.

И всё, что принял сам, как благодать,
Нуждающимся он готов отдать.

«Что с вами?» — он не спросит никогда,
Сам видит он — где бедность и нужда!

Как нож разбойника — голодных стон;
И всё, что есть при нем, отдаст им он;

Для них в горах добудет он рубин
И чистый жемчуг из морских глубин.

Бывает миг: дирхем з руке твоей
Мешка динаров золотых ценней.

Вот щедрый муж: богат иль не богат,
Но всем, что есть, помочь в беде он рад.

Не только деньги бедным он несет,
Скажи — он им всю душу отдает.

Он знает, что дарить добром сердца —
Веленье милосердного творца.

Здесь тайна скрыта: Милосердный сам
Творить добро велит его рукам.

Но тот, скажи, безумен или пьян,
Кто страстью расточенья обуян...

Казну свою, что ты собрал не сам,
Не раздавай, как лепестки ветрам!

Но и не будь скупым; динаров звон
Не прячь в мешок, как в розовый бутон.

Жемчужница, от жадности твоей,
Скрывает перлы в мантии своей.

Ночь поглотила солнца круг златой,
И лик земли покрылся темнотой.

Восходит солнце — и монеты звезд
Ссыпает утро в бездну тайных гнезд.

А осень сыплет щедрою рукой,
Как расточитель, золотой листвою.

Дракон, что на сокровище лежит, —
Поймет ли он, что кровью клад залит?

Когда Бахрам небес заносит меч,
Тому дракону клад не уберечь.

Восстанет небо на тебя с мечом,
Умрешь ты на сокровище своем.

Не зная, кем сражен, рукою чьей,
Омоешь ты лицо в крови своей.

Тогда на жизнь надежду сокруши,
Расставшийся с жемчужиной души.

Вставай же, дверь подвала раскрывай,
Казну свою страдающим раздай!

Зерно засыпал ты в амбар давно,
Истлеет втуне чистое зерно.

Раздай голодным! И взойдет щедрей
Посев на ниве мудрости твоей.

Хоть не посев — зерно, что раздаешь, —
Но всё же, что посеял, то пожнешь.

Посей добро и добрый урожай
Сторицею под осень собирай.

Друг, от корыстолюбья отрекись,
Как на посев, на щедрость положишься!

Умей отдать, далек от мысли брать.
И лучше уж не брать, чтобы отдать.

Глава XXXI

РАССКАЗ О ХАТАМЕ ТАЙСКОМ

Спросил Хатама некий человек:
«О славный муж, я прожил долгий век,

Но кто же равного тебе найдет,
С тех пор как ты простер ладонь щедрот!»

Ответил: «Я под сень шатров моих
Созвал однажды всех людей степных.

Чтоб изобильна трапеза была,
Барашков я зарезал без числа.

На том пиру мне душно стало вдруг.
Я вышел в степь, гостей покинув круг.

И на тропе глухой, среди песков,
Увидел старика с вязанкой дров.

Под этой тяжестью сгибался он,
Кряхтя, на посох опирался он.

Вся хижина телесная его
Шаталась от бремени того.

Так, что ни шаг, он тяжело вздыхал
И, останавливаясь, отдыхал.

Я был взволнован видом этих мук
И ласково сказал ему: «О друг,

Твой непосилен груз! Тебя язвит
Колючек ноша, как гора обид,

Ты — житель степи — видно, не слышал,
Что здесь у вас Хагам с шатрами стал,

Что он, дабы в сердцах посеять мир,
Всех, злых и добрых, звать велел на пир?

Сбрось ты колючек ношу с плеч долой!
В цветник добра, на пир идем со мной!»

Мое волнение увидал бедняк;
Он улыбнулся мне и молвил так:

«Цепями алчности окован ты,
На шее у тебя — петля тщеты.

На башню благородства никогда
Не вступишь ты — не знающий труда.

Поверь: мой тяжкий труд не тяжелей,
Чем иго благодарности твоей.

И лучше мне трудом дирхем добыть,
Чем от Хатама стадо получить!»

И не сказал в ответ я ничего,
Склонясь перед величием его».

* * *

О Навои! Будь сердцем щедр во всем, —
Да будет сам Хатам твоим рабом!

Дай чашу, кравчий, щедрс нам служи,
Пример Хатаму Тая покажи!

Мы бедны. Не на что купить вино,
Тебе лишь море щедрости дано!

Глава XXXII
ШЕСТАЯ БЕСЕДА
О БЛАГОПРИСТОЙНОСТИ

О устремленный к истине, всегда
Согнувшийся под ношею труда!

Служа добру, пылинкой ты взлетишь,
Глаза высокомерья ослепишь.

Лей слезы отрешения души
От мира! Пламя страсти потуши!

Раскаянье, как пламя, взметено —
И лжи лицо от копоти черно.

О верный, каждый огненный твой вздох
Хирманы лицемерья сжечь бы мог!

А верный к цели главной устремлен,
Корысти для себя не ищет он.

Дыханье сил он сам в себе найдет,
Опору крыл растущих обретет.

Проверь запас твоих духовных сил,
Ты — что на путь искания вступил.

Ты неуклонно путь свой проходи,
И в скромности достоинство блюди.

Новруза месяц согнут, но потом
Как он сияет в торжестве своем!

Лук для стрелы свой изгибает стан,
Но славу возгласил ему Коран.

Согнул над миром спину небосвод,
Но дел мирских ему подвластен ход.

Двойной дугой изогнут лук бровей —
За них ты жертвовал душой своей.

Происхождением знатным не гордись
И преходящей славы устыдись.

И пусть твой стыд дождем живых щедрот
На пажити безводные падет!

Но непристоен будет здесь вовек
Гордящийся собою человек.

И первый признак неприличья — смех,
Когда вокруг беда, нужда и грех.

Вот засмеялся и загурковал
Нагорный голубок — и в сеть попал.

Тюльпан расцвел и смехом засиял —
И лепестки по ветру растерял.

Блеснула в ливне молния, смеясь,
И цвет тюльпана превратила в грязь.

Рассвет, смеясь, жемчужницу раскрыл,
А полдень в пепел жемчуг превратил.

Когда бесстыдный смех гремит вокруг,
Тогда я молча слезы лью, мой друг.

В ночи свеча в слезах светлей горит,
А смех цветов под ветром облетит.

Так смехом молний в землю бьет гроза,
Но перлом станет облака слеза.

И пьяница, отверженный от всех,
Слезой раскаянья смывает грех.

Не засмеется мудрый никогда
Под каплею из облака стыда.

Как хор лягушек — хохот шутников,
Их шутки — род лягушечьих прыжков.

Кто стал шутком наперекор судьбе,
Пусть щеки сажеей вымажет себе.

Слова шута — бессмыслица и ложь,
Он сам себе в язык вонзает нож.

Смеша приклеенною бородой,
Он сам глумится над самим собой.

За деньги шуткой шут послужит всем,
Он за пощечину берет дирхем.

Сова — ночная хищница, а днем
Всем птицам кажется она шутком.

Цыган, дабы добыть свой хлеб дневной,
Горланит, ходит книзу головой.

Когда б имел хоть каплю он стыда,
Так не унизился бы никогда.

Чуть над землей заблещет солнца стяг,
Уходят знаки звезд в подземный мрак.

Шут болтовней в ночи гуляк смешит,
А днем слова, обдумав, говорит.

Лиса смешна в уловках; а на льва
Идут селеньем всем — гласит молва.

О том же, что всегда в народе чтут,
Что честью и достоинством зовут,

Скажу: две эти степени верны,
Но не во всякой степени равны.

Воздай царю и воинству его
По сути и достоинству его.

Но коль рабу покорность явит хан,
Сам на себя наденет он аркан.

Ты кланяешься нищему — зачем?
Довольно, если дашь ему дирхем.

Пред юношей с поклоном не вставай,
Достоинство свое не унижай.

Умей нести достоинства печать
И всем — по их достоинству — воздать.

Тебе в служенье некто подчинен,
И от тебя во всем зависит он —

Ты не гони его, не угнетай,
Сочувствуй, в трудном деле помогай.

Заветам правды слуг твоих учи,
Открой им справедливости ключи.

Над подчиненными держи надзор
И знай: их беззаконье — твой позор.

И все злодеяния их твоим грехом
Предстанут перед будущим судом.

Но от нужды избавь твоих людей;
Прожиток их — за пазухой твоей.

Ты их руководи во всех делах,
Пускай за совесть служат, не за страх.

Блуди тебе доверенную часть,
Возмездия грядущего страшась.

И честь семьи — твоя, во-первых, честь,
Коль у тебя семья и дети есть.

Ты породил детей, но должен знать,
Как с малых лет им воспитанье дать.

Нисана капля пала в перламутр —
И стала перлом, ярче вешних утр.

Ты должен хорошо детей наречь,
Чтоб их потом насмешкам не обречь.

Ведь имя — счастья знак и знак обид.
Не зря: один — Хусейн, другой — Язид.

Вторая цель твоя на том пути —
Достойного учителя найти.

Потребна дичь, которую принес
Охотничий твой обученный пес.

Как сыну твоему невеждой быть,
Когда ты пса умеешь обучить?

Жалей дитя, оберегай от бед,
Но в нежности чрезмерной — явный вред.

Святое уважение к своим
Родителям пускай владеет им.

Великим уваженье быть должно
К тому, кем благо жизни нам дано.

Главу свою перед отцом склоняй,
А сердце матери своей отдай.

Свободы, счастья хочешь ты искать?
Пускай благословят отец и мать.

Пускай отец — луна и солнце — мать
Тебе дорогу будут озарять.

Блюди всегда предуказанья их,
Не преступай предначертанья их.

Пред ними ты свой стан, как «даль», согни
И знай: твои хранители — они.

А к страждущим на жизненном пути
Долг милосердия высшим долгом чти.

Ты помогай везде, где можешь, сам
Голодным, бесприютным беднякам.

Коль старше муж тебя — ему служи,
А если младше — помощь окажи.

Долг уваженья к людям не забудь:
С ровесником своим умерен будь;

Чрезмерного почтенья не являй
И грубостью отнюдь не оскорбляй.

Есть мудрость в изреченье золотом:
«Средина — мера лучшая во всем».

Дари добро вниманья своего
Любому — по достоинству его.

Когда по воле неба, может быть,
Царю ты удостоишься служить,

На этой службе не жалея трудов,
Но только царских избегай пиров.

Они души твоей не утолят,
В напитке царственном — змеиный яд.

Таит величье тысячу обид,
Цветеньем розы куст колючий скрыт.

Безумец пламя за цветник сочтет,
Но от ожогов кто его спасет?

Вот тянется ручонкою своей
Дитя к змее, не зная свойства змей.

Отборный жемчуг ловится подряд
К беде, — жемчуголовы говорят.

Вот в чем опасность службы царской, друг:
Жемчужин горсть ничто пред морем мук.

Свой путь подальше от царей держи,
А лучше — им и вовсе не служи.

Кто истину несет в себе самом,
Тот в царстве духа будет сам царем.

А если поневоле служишь ты,
Беги — когда по воле тужишь ты.

Хочу, коль ты способен всё понять,
О положенье нынешнем сказать.

Коль должен ты служить, служи — иди,
Но здесь мои советы затверди:

Во-первых: к делу ревностью горя,
Не спорь напрасно с волею царя.

А во-вторых: в служении своем
Будь скромнен, руководствуйся умом.

И в-третьих: не промолви напрямиком
Ни доброго, ни злого ни о ком.

В-четвертых: проходя свой трудный путь,
Со всеми ласков и приветлив будь.

Но тот блажен, кто будет в стороне
От этой службы, тягостной вдвойне...

А тем, кто служит честно, тьма обид
Звездой удачи изредка блестит.

Всё это ложь, беспомощный мой друг!
А правда в том, что ты внезапно, вдруг

Всё бросишь сам и всем пренебрежешь,
И вдаль — к рабату бедности — уйдешь.

И там свою гордыню победи,
Даров судьбы твоей покорно жди.

Бессмертной вечной воле покорись,
Как стебель травяной, к земле склонись.

Всё горе вынеси, что рок пошлет,
Как горы на себе земля несет.

И град камней бестрепетно прими,
В грозе фиалкой стан свой распрями.

В беде покорствуй, верности держись,
Духовного смятенья устыдись!

И силу и величье обретешь
И к вечной цели верный путь найдешь.

Глава XXXIII

РАССКАЗ О СТЫДЛИВОСТИ АНУШИРВАНА

В дни юности своей Ануширван
Любовным был недугом обуян.

Он от любви своей изнемогал,
Но в тайне ото всех ее держал.

И, мукою великой истомлен,
Свиданья наконец добился он.

В дворцовом цветнике, в тени ветвей,
Он встретился с возлюбленной своей.

И руку он к любви своей простер:
Но, видя, что глядит она в упор,

Он прочь отдернул руку, устыдясь.
Она спросила: «Что с тобою, князь?»

Ты руку протянул и прочь убрал?»
И так Ануширван ей отвечал:

«Не суждено мне счастье в этот час,
Огонь мой пред нарциссами погас!»

Вот так не перешла своей черты,
Стыдливость юношеской чистоты.

Нарциссы глаз своих склонил в слезах,
Ушел и от любви отрекся шах.

Иной огонь светил уму его.
И по величью духа своего

Владыкой он непобедимым стал,
Мир справедливостью завоевал.

* * *

О Навои, все души страсть влечет,
Но чистота — величия оплот.

Эй, кравчий! Скромно кубок наполняй,
Деятикратно кланяясь, подай!

Чтоб сам тебе я молвил: «Друг, испей!»
Вина уронишь каплю — не жалеи!

За каплю девять чаш я выпить рад,
Прольешь — я выпью тридцать чаш подряд.

Глава XXXVI
ВОСЬМАЯ БЕСЕДА
О ВЕРНОСТИ

У неба — девять золотых ларцов,
А в каждом — сотни тысяч жемчугов.

И каждый перл — подобие свечи,
Что нежный свет жемчужный льет в ночи.

Тот жемчуг выше чтят душа моя
Глубин жемчугсных бытия.

Мы называем Небом Море сил,
Где неисчерпны россыпи светил.

И все они по чистоте равны,
Как жемчуга, которым нет цены.

Все несравненны — с чем их ни сравни,
Все непостижны разуму они.

Где ищешь перл один — там сто лежат,
Где ищешь сто — отыщешь мириад.

Но есть на дне жемчужина одна,
Чьим блеском эта глубь озарена.

Вселенную пронизывает свет
Жемчужины, которой пары нет.

Ты спросишь: «Как жемчужину зовут?»
В ответ чистосердечные вздохнут

И скажут: «В день творенья названа
«Жемчужиною верности» она!

Она — единственная, как Анка,
Она — средь нас, хотя и далека...

Подобна блеском солнцу. Пыль на ней —
Татарский мускус в волосах ночей.

Кто ею овладеет — не таю —
Опасности подвергнет жизнь свою.

Кто в руки ту жемчужину возьмет,
Свой век в труде и муке проживет.

Но, в преданности искренней тверда,
Она тебя не бросит никогда.

Она любовь являет всем живым —
Возвышенным, и низменным, и злым.

Так Солнце мира светит всем равно,
И для того оно сотворено.

Всесенний ливень каплею любой
Рождает перлы в глубине морской.

Цветы не знают, украшая сад,
Что всех благоуханием поят.

Огонь не знает, что тепло дарит,
Вино не знает, что оно пьянит.

И тот, кем жемчуг верных обретен,
Поймет, что ничего не знает он.

Хоть перлу верности и нет цены,
Ему и свойства низкие даны:

Кто этот перл несет в груди своей,
Тот примет на голову град камней.

Кто вечно верен другу своему,
Тот истомится мукой по нему.

Чем плодоносней ветвь, тем больше ей
Достанется и палок и камней.

Чем жила рудная в горах щедрей,
Тем глубже ходы прорубают к ней.

Тот, для кого в ночи свеча горит,
Ей голову урезать норовит.

И наконец, когда блеснет восток,
Он пальцами потушит огонек.

Любовью к людям солнце дня полно,
А ночью под землей утаено,

Как свет — слова, что начертал калам,
Но от чернил сам черен стал калам.

К темничной яме наклонился день,
Но там и в полдень непроглядна тень.

С тех пор как звезды всходят над землей,
Мир перед ними как старик хромою.

Неужто же любви, что так сильна,
Глухая безответность суждена?

Ужель награды, кроме боли, нет
Тому, кто мотыльком летит на свет?

И неужель услышит лишь упрек
Тот, кто всю душу верности обрек?

Ты гостю подаешь вино и мед,
За что ж он в кубок твой отраву льет?

Вот розы в знак любви приносишь ты,
Не розы — сада райского цветы.

А друг в ответ колючками дарит,
Чей каждый шип и ранит и язвит.

Где человека средь людей найти,
Коль так у них искривлены пути?

Где человека средь людей найти,
С кем разговор от сердца повести?

Где друга верного отыщешь — где? —
Когда ты в притеснение и нужде?

Чтоб он хоть посочувствовал тебе,
Когда ты предан гибельной судьбе!

Чтобы пред ним ты душу облегчил,
Под тяжестью мирской влачась без сил.

А кто в беде на жизненном пути
Не может друга доброго найти,

Чей рот, как дратвой, тайною зашит,
Кто в сердце копит горе — и молчит,

Сгорит от горя одинокий тот,
Костром истлест, дымом изойдет.

Пусть тело рана старая томит,
Трудней тому, кто боль в душе таит.

Печаль дохнет, как ураган грозна,
Хирман его развеет — до зерна.

Да шлет тебе дыханье бытия
Жизнь, как подруга верная твоя!

Неверную подругу надлежит
Со свечкою сравнить, что не горит;

Сравнить с сосулькою, когда она
Способности горенья лишена.

Но жизнь — подруга верная твоя,
Когда с тобою верные друзья.

А тот, кем добрый друг не обретен,
Жемчужница — но жемчуга лишен.

Не сможет одинокий человек
Свой долг исполнить и за долгий век.

Один — перед лицом земных щедрот, —
Он счастья в этом мире не найдет.

Горит очаг, коль два полена в нем;
От головешки — дым над очагом.

Столба в жилище мало одного,
Прогнется кровля радости его.

Когда орлу крыло стрела пронзит,
Как на одном крыле он полетит?

Двух игроков для нардов надо брать,
Одною костью в нарды не сыграть.

Кресалом не ударив, из кремня
Не вырубешь ни искорки огня.

Но трут кресало с камнем запалят
И целый мир сияньем озарят.

Коль заострен калам и расщеплен,
Тогда в руке умелой пишет он.

И кто бы выстрелить из лука мог,
Когда у лука надломился рог?

Жемчужина полуденных глубин
Красивей, если рядом с ней — рубин.

Бедняк, когда он дружбою богат,
Счастливей обитателя палат.

А у царя, лишённого друзей,
Тоска на сердце, камня тяжелей.

Несчастье, громом грянувшее вдруг,
Не утрашит, когда с тобою друг.

Как верхний камень замыкает свод,
Так дружба — счастья истинный оплот.

Вот свойства друга. Но, увы! Взгляни —
Таких не существует в наши дни!

А если есть, то где его найти
В людском потоке, на земном пути?

Быть может, он средь ангелов живет,
Но как достигнешь ты его высот?

Не будет пери другом никогда,
Ведь пери человечности чужда.

Тебе подобных пери я видал,
Но верности у них не наблюдал.

Нет, верность ты ищи в сердцах людей,
Хоть это, может быть, всего трудней.

Коль встретишь верность, обойдя весь свет,
Произнеси: «Победы близок свет!»

И сонмы духов неба в этот час
В слезах воскликнут: «Да не сглазят вас!»

Кто встретил верность на тропе мирской,
И сам да будет верным всей душой.

О свежий ветер, веющий в ночи,
Мой вздох горящий до нее домчи!

Как вихрь, над головой ее кружи,
Ей о моих мученьях расскажи!

Шепни, что на пути далеко к ней
Я жертвовать готов душой своей!

Из цветника ее хоть лепесток
Сорви и принеси на мой порог.

О ветер ночи, будь моим гонцом,
Поведай ей о бедствии моем!

К ногам ее склонись и ей служи,
Заботливо, любовно поддержи!

Не будь, как предрассветный ветерок,
Рассеянным, что к полдню изнемог.

Будь смелым, ветер, веющий в ночи,
Лети, шумя крылом, труби, кричи!

И от меня скажи ей: «Ты одна
Из воздуха и света соткана!»

О, долго ль встречи мне с тобою ждать?
Конца разлуки нашей не видать!

Тюльпаном был я на горах тоски
И растерял под ветром лепестки. . .

Душа изнемогла, душа больна,
Ремнями смерти скручена она.

Степные дали я пересекал,
Нигде пути к тебе не отыскал.

Нашел одни страданья, клад ища,
И жизнь моя по-прежнему нища.

Я был обманут маревом степным.
Бреду в пустыне, тернием лзвим.

Найти мне розу счастья не дано,
Зато шипами сердце пронзено.

Тот, для кого я не жалел души,
Злоумышлял против меня в тиши.

Тот, кто надеждой был души моей,
Низверг мне на голову град камней.

О друг, не сотня мне голов дана!
Камней ведь — сто, а голова — одна.

Примчись ко мне на крыльях на ветру,
Иначе будет поздно, я умру.

Коль с караваном, по пескам степным,
Ты двинешься к развалинам моим,

Не медли, весть мне с голубем пошли,
Водюю Хызра жар мой утоли!

Чтобы навстречу вышел я тебе,
Исполнен благодарностью судьбе.

Когда в слезах тебя увижу я,
Мой первый дар тебе — душа моя.

И слезы вновь исторгнутся из глаз,
При виде счастья, пусть в последний час.

Но коль не будет это мне дано
И солнце встречи мне не суждено,

Тогда искать мне дальнего пути,
В страну за гранью времени идти.

Но тот, кто выпил верности фиал,
Тот и блаженство высшее познал.

Кто это чувство разделил со мной,
Я знаю сердцем: избранный такой

Всю жизнь свою любимой посвятит
И для нее души не пощадит.

Он девяти небес подымет гнет
За каплю счастья от ее щедрот.

Кто верности жемчужину найдет,
Ее он миром вечным назовет.

Он сердце должен для любви открыть,
Благословлять ее, благодарить.

О, если счастья удостоюсь я,
На лоне мира успокоюсь я!

Благодарить любовь я буду рад
Всем, чем по воле судеб я богат.

А те, чьи души искренне верны,
Таким сокровищем награждены,

Что, если небо в свиток превратить,
На нем рассказ о них не уместить!»

Глава XXXVII

РАССКАЗ О ДВУХ ВЛЮБЛЕННЫХ

Слышал я: четырех улусов хан,
Эмир Тимур, великий Гураган,

Повел войска железною рукой
И, в Хинд войдя, жестокий принял бой.

Удачи неизменная звезда
Ему дала победу, как всегда.

А чтобы не могли враги восстать,
Велел он всех индийцев убивать.

И там он столько жизней погубил,
Что кровь убитых потекла, как Нил.

Отрубленные головы горой
Лежали над кровавою рекой.

Там не было пощады никому,
Настала смерть живущему всему.

Шел некий воин — весь окровавлен,
И двух влюбленных бедных встретил он,

Готовых вместе молча смерть принять;
Им негде скрыться, некуда бежать.

Убийца воин обнажил свой меч,
Чтобы мужчине голову отсечь.

Но заслонила женщина его
И так молила воина того:

«Ты хочешь голову? — мою руби,
Но пощади его и не губи!»

Убийца воин повернулся к ней,
А друг ее вскричал: «Меня убей!»

И вновь убийца двинулся к нему,
И вновь предстала женщина ему.

Тот со стальными пальцами барлас
Разгневался: «Убью обоих вас!»

Занес он меч над жертвою своей,
А женщина кричит: «Меня убей!»

Мужчина же: «Меня убей сперва,
Чтоб лишний миг она была жива!»

Так спорили они наперебой,
Под меч его склоняясь головой.

Угрюмый воин медлил. Между тем
В толпе раздался крик: «Пощада всем!»

Спешил глашатай войску возвестить,
Что царь велел убийства прекратить.

За жертвенность, быть может, тех двоих
Рок пощадил оставшихся в живых.

* * *

О Навои, и ты любви своей
Пожертвуй всем, души не пожалей!

Дай чашу, кравчий, если ты мне друг
И в чистой радости и в море мук.

Я задыхаюсь, мне исхода нет.
Врачуй! Исполни верности обет!

Глава XL
ДЕСЯТАЯ БЕСЕДА
О ПРАВДИВОСТИ

Тот, кто правдив, не думает о том,
Что древний свод идет кривым путем,

Ведь не помеха мчащейся стреле
Бугры и буераки на земле.

Ум направляет к цели — по прямой,
От цели отдаляет путь кривой.

Высокого познания мужам
Любезен звонкий най за то, что прям.

А чангу крутят каждый раз колки,
Чтоб струны были прямы и звонки.

Копье достойно богатырских рук;
Веревкой вяжут караванный выюк.

Свеча высоко на пиру горит,
Сердца гостей сияньем веселит.

А по кривой летая, мотылек
Попал в огонь и крылышки обжег.

Прям кипарис и к небу устремлен,
И никогда не увядает он.

А гиацинт деревья обвивал,
И почернел под осень, и увял.

Пряма на таре звонкая струна;
А лопнет — в кольца скрутится она.

Коль по линейке строки пишешь ты,
Калам не отойдет от прямоты.

А коль наставишь точки, как пришлось,
Вся рукопись пойдет и вкривь и вкось.

В сияние одетая душа —
Как ни была бы пери хороша,

Хотя б красавицы вселенной всей
Склонялись, как служанки, перед ней,

Хотя б огнем ланит, венцом чела
Она весь мир испепелить могла, —

Но коль живой сердечной прямоты
В ней нет, то ею не прельстишься ты;

Она прямыми стрелами ресниц
Не поразит и не повергнет ниц.

И не привяжется душою к ней
Никто из чистых, искренних людей.

Коль верные михраб не возведут,
Намазы их напрасно пропадут.

Будь благороден, пишущий! Пиши
Правдиво перед зеркалом души.

Тот прям душой, чей правду видит взор;
Рукою гибкой обладает вор.

Когда же явным станет воровство,
Палач отрежет кисть руки его.

В косых глазах, так говорит молва, —
Одно явленье видится, как два.

А в вечном и едином видеть двух
Есть многобожие; запомни, друг!

Был непостижный дар всезнанья дан
Великому, чье имя Сулейман.

Царь Сулейман — владыка и пророк —
Наполнил славой Запад и Восток.

В песках, где даже коршун не живет,
Он словом воздвигал дворцовый свод;

На облаках ковер свой расстилал,
В походе ветер, как коня, седлал;

Заставил дивов, пери, свет и тьму
Повиноваться перстню своему.

Была на перстне надпись; смысл ее:
«В правдивости — спасение твое!»

Живет в наш век султан, хакан времен, —
Нет, не хакан, а Сулейман времен;

Тот, чей престол вздымается в зенит,
Чьим блеском затмевается зенит.

Ему отважных преданы сердца;
Как небо в звездах — свод его дворца.

Джамшида он величием пышной,
Войсками Искандара он сильней.

Он близ Хурмуза ставит ратный стан,
Там, где когда-то правил Сулейман.

По вечной воле разума времен,
Как Сулейман, он перстнем одарен.

Тот перстень сила звезд ему дала,
Чтоб совершать великие дела.

Не лал бесценный славен в перстне том,
А надпись на окружье золотом.

Я изумился, прочитав ее:
«В правдивости — спасение твое!»

Пусть этот перстень мощи не дает,
Владелец перстня мощь в себе найдет.

И каждый будет жизнь отдать счастлив
Владыке, что к народу справедлив.

Правдивость — сущность истинных людей;
Два главных свойства различимы в ней.

Вот первое: не только на словах,
Правдивым будь и в мыслях и в делах.

Второе: сожалей о мире лжи,
Но правду вслух бестрепетно скажи.

И оба свойства эти хороши,
И оба — знак величия души. . .

О, если б каждый лживый человек
Поменьше лгал! Но не таков наш век. . .

Так мыслит в наше время целый свет,
Что слово правды хуже всяких бед!

Там, где ты ищешь правды, прямоты,
Лжи закоснелой вижу я черты.

«Страной неверных» дальний Чин зовут,
Но верность и правдивость там живут.

Хоть правда от природы всем дана,
Но всем потом не по сердцу она.

Где сердце ты правдивое найдешь
Средь изолгавшихся, чья правда — ложь?

И кто правдив сегодня — о, как он
Гоненьем и нуждою угнетен!

Взгляни на время! Видишь, как оно
В движении своем искривлено.

Как циркуль движутся пути светил,
Но циркуль тот «прямой» не начертил.

Правдивым — слава! Но у них всегда
С коловращеньем времени — вражда.

Калам писца стезей спешит прямой
И платится за это головой.

Был прям «алиф», но в плен его взяло
Петлею начертание «бало».

Веревка прямо, как струна, в шатрах
Натянута, но вся она — в узлах.

По линии прямой — метеорит
Летит к земле и, падая, горит.

Свиваясь в кольца, древняя змея
Над кладом дремлет, яд в зубах тая.

Чарует сердце новая луна,
Хоть, словно серп, она искривлена.

А сколько завитков вокруг чела
Накручивают, чтоб чалма была?

Нет, нет! Не то хотел сказать я вам —
Видать, ошибся быстрый мой калам!

Над нами искривлен небесный свод,
Но в правде сердца истина живет.

Свеча сгорает, изливая свет,
И для свечи отрады большей нет.

А яркий росчерк молнии кривой
Блеснет — и поглощается землей.

Садовник, чьи орудья — шнур и взгляд,
Кустарник дикий превращает в сад.

Когда широкозубой бороной
Не заскородишь пашни поливной,

Напрасно будешь землю поливать,
Напрасно будешь урожая ждать.

И зеркала поверхность — чем ровней,
Тем отраженье в зеркале верней,

Тем ярче в нем сиянье красоты
И резче безобразия черты.

Так солнца диск в озерах отражен,
А кривизною зыби — искажен.

Когда ты по невежеству солжешь,
То, может быть, — не в счет такая ложь.

Но тот — неверный, не мужчина тот,
Кто делом лжи, как ремеслом, живет.

И сколько бы ни ухитрялся он,
В конце концов он будет обличен.

И если он обманет весь народ,
Но всё же от возмездья не уйдет.

Хоть целый век обманывай глупцов,
Но выдаст ложь себя — в конце концов.

Рассвет вещает наступленье дня,
Обманчив яркий блеск его огня.

Фальшивыми монетами платеж
Подсуден. Что же неподсудна ложь?

Ты в злобе клялся ложно, может быть,
Но ложь свою ты можешь искупить.

Тому, кто средь людей слывет лжецом,
Народ не верит никогда, ни в чем.

И если правду будет говорить,
Он никого не сможет убедить.

«Обманщик он! — трубит о нем молва. —
Ему не верьте! Ложь — его слова!»

В народе имя доброе навек
Утратит, изолгавшись, человек.

Коль правда весь народ не убедит,
Ложь эту поросль правды заглушит.

Когда не можешь правды ты сказать —
Молчи, терни и жди, но бойся лгать.

Глава XII

РАССКАЗ О ПТИЦЕ — ЛГУНЕ ТУРАЧЕ

Жил у подножья гор, в лесу большом
Могучий лев, с небесным схожий львом.

Но, не страшась в округе никого,
Боялся он за львенка своего.

Все муравейники он разорил,
Чтоб муравей дитя не укусил.

Испытывая постоянный страх,
Таскал повсюду львенка он в зубах.

Жил там один турач, гласит молва;
Он пуще коршуна боялся льва.

Лев проходил, детеныша держа.
Турач, от страха смертного дрожа,

Вдруг перед носом льва взлетал, крича.
А лев пугался крика турача.

На миг сильней он челюсти сжимал,
Чтобы в беду детеныш не попал;

И сам, не рассчитавши страшных сил,
Невольно львенку раны наносил.

От этого душой терзался лев,
Вернее — просто убивался лев.

И, чтоб конец несчастью положить,
Он с этим турачом решил дружить.

Сказал: «Не причину тебе вреда!
Так поклянемся в дружбе навсегда.

Ты всякий страх забудь передо мной,
Сиди себе в своих кустах и пой.

Я здесь среди зверей слыву царем,
А ты придворным будь моим певцом.

Мне убивать тебя корысти нет,
Сам знаешь — бык мне нужен на обед.

Враги твои — охотники одни;
И ты остерегайся западни.

Но если в сеть ловца ты попадешь —
То знай: во мне спасителя найдешь.

Твой крик услышав, я примчусь бегом
И вмиг с твоим разделаюсь врагом.

Вот этой страшной лапою моей
Спасу тебя от вражеских сетей!»

Так лев могучий мягко говорил,
Что сердце турача обворожил.

Вот лев и птица в дружбе поклялись
И впрямь, как братья кровные, сошлись.

Где лев свирепый в полдень отдыхал,
Туда турач без страха прилетал.

И даже — шла о нем в лесу молва —
Садился смело он на гриву льва,

Как птица легендарная Анка
На гребень царственного шишака.

Порой «На помощь!» в шутку он кричал.
За это лев сердился и ворчал:

«Эй, друг, не лги, со мною не шути!
Ложь до добра не может довести».

Но турачу понравилась игра.
«На помощь!» — он в кустах кричал с утра.

А лев устал его увещевать,
Не стал на крик вниманья обращать.

Так жил шутник до рокового дня,
Когда его поймала западня.

Беспечно начал он зерно клевать
И в сеть попал, а сеть не разорвать.

Он закричал: «На помощь, друг, скорей!
Один я тут не вырвусь из сетей!»

Спросонья лев подумал: «Снова крик...
Какой обманщик! Экий озорник!

Сто раз напрасно он меня пугал,
Сто раз его спасать я прибегал.

Сто раз обман устроивши такой,
Он только потешался надо мной!..»

О помощи не докричался лжец —
Попал в беду, настал ему конец.

Тому, кто никогда нигде не лжет,
Без спора верит на слово народ.

* * *

Будь, Навои, прямым в своих речах,
Будь искренним в напевах и стихах!

О кравчий, дай отрадный мне фиал,
Чтоб выпил я — и льву подобен стал!

Пускай пирушку озарит свеча!
Пускай дадут кебаб из турача!

Глава LVI

ВОСЕМНАДЦАТАЯ БЕСЕДА О ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ

Для духа мир — узилище, но он
Рай для невежды, что в него влюблен.

Не унижай величья своего,
Не пей, мой дух, из кладезя его!

Коль мира этого круговорот
В свой срок рабом в подземный град сойдет,

Зачем о нем печалиться, скорбя,
И — прежде смерти — убивать себя?

Зачем при жизни траур надевать?
Умрешь — тебя успеют обрыдать.

В душе твоей печаль; ты не страдай,
Свою печаль стократ не умножай!

Заботами свой век не сокращай,
Одну заботу в две не превращай,

Но от своей печали отдохни,
Усталость, скуку, горечь отгони!

Пускай судьбы гоненье велико,
Старайся пережить его легко.

Как ни громаден труд, но победит
Тот, кто на этот труд легко глядит.

Пусть Шам цветет, красуется Герат,
Когда они души не тяготят.

И стоит ли печалиться о них
Нам — странникам на сих путях земных?

Сад этой жизни верности лишен,
В нем лучший цвет на гибель обречен.

И если этот сад от бурь и гроз
Укрыть своих не может лучших роз,

Там не ищи успокоенья ты,
Где благовонья лишены цветы.

Что совершится, то навек уйдет.
Кто прошлое догонит? Кто вернет?

Что можешь ты о будущем сказать?
Как можешь ты судьбу предугадать?

Не властен управлять грядущим днем
Живущий во мгновении одном.

В мгновенье каждом, это помни ты,
Грядущее и прошлое слиты.

Что ты скорбишь над бездной бытия,
Когда одно мгновенье — жизнь твоя?

Ты милосерден, ты — родник любви,
Не мучься, милость сам себе яви.

Тебе одно мгновенье здесь дано —
Так пусть же будет счастливым оно.

Твое дыханье — жемчуг дорогой,
Прозрачный жемчуг — друг надежный твой.

Ты в четках чередуй рубины дней
С жемчужинами радости своей.

Равняю жемчуг духа твоего
С жемчужиною солнца самого.

Сияет всем светило бытия:
Но в глубине — жемчужина твоя.

Восходит солнце, падает во тьму...
Но внемлет мир дыханью твоему.

Способно солнце полдня всё спалить,
А без дыханья мир не может жить.

В дыханье сущность жизни всей живой;
Так назови его «живой водой».

Дыханье, дух!.. От бездны до звезды
Источник вечный в нем живой воды,

Дыханье сил творящих, суть всего, —
В твоём живом дыханье дух его.

О, дуновенье, что миры творит,
Сосуд из глины разумом дарит!

В дыхании Исы увидишь ты
Ступень к познанию вечной красоты.

Живущее погружено во тьму,
Но духом вечным жизнь дана ему.

Вокруг тебя — без края и конца —
Как океан, струится дух творца.

Могучим будешь, коль познаешь ты,
Каким богатством обладаешь ты!

Всё — от него: бессмертье бытия,
И каждый шаг, и вздох, и жизнь твоя.

А жизнь твоя — дыхания длина,
Но сотнями скорбей омрачена.

Ты унижаешь высший дар ее,
Виной тому — неведение твое.

Ничтожны мысли в голове твоей,
Ничтожен смысл пустых твоих речей.

Подумай о сокровище своем,
Не будь живой душе своей врагом!

Не унижай величья своего,
Но устыдись хоть бога самого.

Воспрянь из тьмы и праха, сын земли,
И назиданью мудрости внемли.

Тот, кто всему дыхание дает,
Тебя осыпал множеством щедрот.

Ты призван быть не зверем, не ростком,
Не камнем — а разумным существом.

Сознания чистый свет в тебе горит,
Путь правой веры пред тобой открыт.

Пять чувств тебе даны, чтоб осязать,
И видеть, и внимать, и обонять;

И руки, и запас телесных сил,
И ноги — чтобы прямо ты ходил.

Ты различаешь вкус различных блюд,
Но помни: милость вечного и тут.

Дары творца несметны. . . Пусть же вам
О них напомнит вкратце мой калам.

Так много у тебя одежд цветных,
Что ум не может перечислить их.

Твой конь, твой мул, твой верховой верблюд
Тебя в любую даль перенесут.

Твои сады полны живых щедрот,
В садах бегут потоки светлых вод.

В садах кумиры дивной красоты,
Как гурии небесной высоты.

До звезд айваны твоего дворца
Возносятся — по милости творца.

Пусть счета нет богатству твоему,
Но знай — за всё обязан ты ему.

Дороже всех богатств тебе дана
Бесценная жемчужина одна:

И это — разум. Не сравняться с ним
Рубинам и алмазам дорогим.

В жемчужнице земного бытия
Заклучена жемчужина твоя.

В ней — дар познания тайн и высоты,
Вот чем при жизни достоин ты!

Аллах, когда свой перл тебе вручал,
Тебя короной щедрости венчал.

Благодари его за дар любой
И ведай: благодарным — дар двойной.

За хлеб насущный, за питье и снедь
Молитвой благодарности ответь.

И да не будет до скончанья дней
Предела благодарности твоей.

На сущность жизни взор свой устремим,
О духе бытия поговорим.

Вот чудо силы зиждущей, живой —
Твой каждый вдох и каждый выдох твой.

Вдох новой силой наполняет грудь,
А выдох — в нем существованья суть.

Тебе дана двойная благодать —
Всею грудью вольным воздухом дышать.

Дыханьем жив светильник бытия.
Благодари! Дыханье — жизнь твоя!

Дыханье, дух живой! Его почтил
Творец всего, владыка вечных сил.

Ты помни с благодарностью о том,
Что почитаемо самим творцом!

Ведь мыслишь ясно, видишь, слышишь ты
И чувствуешь — покамест дышишь ты.

Сознание да сопутствует ему —
Дыханию святому твоему.

Ты душу будь всегда отдать готов
Тому, кто твой защитник, друг и кров.

Страшись о верности забыть своей,
Нет сердцу испытанья тяжелей.

В рассеянье, в самозабвенье ты
Чем занят в этом вихре суеты?

В твоих делах аллаху пользы нет. . .
Смотри, чтоб не возникли грех и вред.

Пускай твои заботы и дела —
Впустую, но не делай людям зла!

Противоядие тебе претит,
Зачем же ядом кубок твой налит?

Счастлив, коль друга ты сумел найти, —
Ему вниманье сердца посвети.

Но устрашись насилье совершить,
Страшись жестокость к людям проявить!

Уж лучше пир веселый в майхане,
Чем стон и слезы по твоей вине.

Не тронь ничью казну, ничью семью
И чти чужую честь, как честь свою.

Друзей и собеседников найди,
От гнета горя жизнь освободи.

Увидя чудо розы молодой,
В саду беседу избранных устрой.

С любезностью, с изысканностью всей,
Присущей мудрым, созови друзей.

Чтоб с их приходом, радостна, светла,
Как сад весенний, жизнь твоя цвела.

В лачуге ль темной, в роскоши ль палат —
Будь щедрым, беден ты или богат,

Ни серебра для истинных друзей
И ни души своей не пожалей.

Возрадуется пусть душа твоя,
Когда вокруг тебя твои друзья.

Здесь на разлуку все обречены.
Как меч кривой, сверкает серп луны.

Счастливец на земле любовь обрел,
Воздвиг беспечной радости престол;

Но, выкованный небом, меч кривой
Обрубит ветви радости живой.

Он неразрывных сердцем разлучит,
Как вихрь закрутит, в стороны умчит.

Таков в своих деяньях небосвод,
Таков его ужасный обиход.

О, если б от грозы его спаслись
Прекрасный ирис, стройный кипарис.

Как гости все они в саду земном,
Как братья все они в кругу своем.

О, если б сердце в мире повстречать,
Способное на дружбу отвечать!

Стремящийся к возлюбленной своей
Да будет осчастливлен встречей с ней.

Когда душой с любимой будет слит,
Пусть он меня в тот миг благословит.

Достигший здесь желанного всего,
Пускай на лоне счастья своего

Благодаренье поспешит изречь,
Чтоб счастья цвет от бедствий уберечь.

Пусть вечно благодарным будет он
За благодать, которой наделен.

И пусть создатель сущего всего
Продлит и осчастливит жизнь его!

Глава LXIII

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Когда я к этой книге приступил,
Почувствовав прилив духовных сил,

Я за живой водой пошел во тьму
В страданиях; не зримых никому.

Я сталью острой очинил калам
И дал исход стремительным словам.

Страницы украшая, словно рай,
Тростник мой зазвучал, как звонкий най.

Звук, порожденный писчим тростником,
Пел, нарастал, взывая, как маком.

Приняв за пенье флейты этот звук,
Запел и заплясал суфийский круг.

Тот звук отшельничьих пещер достиг,
Всех девяти небесных сфер достиг;

Он поднял смуту среди толп людских,
Смятенье в сонме ангелов святых.

И праведники стали горевать
И ворота одежды разрывать.

И этой звонкой флейты перелив
Внимали пери, крылья опустив.

Под этот звук освобождаясь от мук,
Больные позабыли свой недуг.

Теперь, когда пленяющая взгляд
Красавица одета в свой наряд

И над землей, величия полна,
Взошла, как двухнедельная луна,

Стал виден весь Восток в ее лучах,
И смута на земле и в небесах.

Вновь началась... Сломался пополам
Секретаря небесного калам.

Сокровищницы неба казначей
Слётел, кружась над головой моей.

Меня дождем бесценных жемчугов
Осыпал он из девяти ларцов.

Осыпал золотом и серебром
В великом расточительстве своем.

Как легкий вихрь кружился он, и пал,
И пыль у ног моих поцеловал.

Расставил он передо мной подряд
Сокровища, которыми богат.

Осыпал серебро моих седин
Рубинами неведомых глубин.

И стал я в удивленье размышлять,
Стал в размышленье душу вопрошать:

Ведь это всё — написанное мной —
С моею жизнью сходственно самой;

Но это только тысячная часть
Того, над чем души простерта власть.

Пусть мой дастан достоинств не лишен,
Но как далек от совершенства он.

Он мыслями богат. Но где же строй?
В нем нет системы строгой и прямой.

Бывало — вдохновением дышу,
Но лишь двестиший десять напишу,

Зовут заботы; надо всё бросать,
И некогда затылок почесать.

Как только тушь на небе голубом
Рассвет сотрет сернистым мышьяком,

И утро тьму ущелий, мглу и дым
Сметет лучистым веником своим,

И ночь знамена мрака унесет,
А день свой стяг багряный развернет,

И до поры покамест этот стяг,
Склонясь к закату, не уйдет во мрак,

Покамест ночь наставшая опять
Не станет с сажей киноварь мешать,

Покамест над землю небосвод
Опять свои светила не зажжет, —

С рассвета до ночи душою всей
Я пленник жалоб множества людей.

Не остается ни мгновенья мне
Побыть с самим собою в тишине.

И кто в мой дом печальный ни придет,
Сидит и забывает про уход.

Тяжелый, долгий разговор ведут,
Сидят, пока другие не придут.

Толпится в доме множество людей,
Сжигая зданье памяти моей.

Задачи ставят, коих, может быть,
Никто не может в мире разрешить.

Прощенья просишь — дерзостью сочтут,
Всё объяснишь — обиду унесут,

Будь с ними щедр, как небо, в их глазах
Любая щедрость только тлен и прах.

Тем, кто утратил в жадности покой,
Нет разницы меж каплей и рекой.

Всё, что ты им даешь, они возьмут
И на тебя же с жалобой пойдут.

О, этот разноречей пустых!
Лишь алчность — чувство общее у них.

Будь ты могуч, как богатырь Рустам,
Будь ты безмерно щедр, как был Хатам,

Будь, как Карун, несметно ты богат,
Останешься пред ними виноват.

Хоть я от всяких служб освобожден,
Хоть я своей болезнью угнетен,

Но всё же не решаюсь их прогнать,
А слушаю — и должен отвечать.

Я в слабости души себя виню —
И все-таки докучных не гоню.

И это каждый день... в течение дня
Пересыхает горло у меня.

Страдаю днем от глупости людей,
А ночью — от бессонницы моей.

И отдыха не суждено мне знать;
Урывками я принужден писать.

Прости погрешности стихов моих!
Мне было некогда чеканить их.

Мне сроки рой забот укоротил,
Свой замысел не весь я воплотил.

О, если б я, благодаря судьбе,
В день час иль два принадлежал себе,

То я не знал бы никаких препоц,
Всецело в море мыслей погружен.

Я доставал бы перлы редких слов,
Нырять в бездну, как жемчуголов.

Я добыл бы — силен, свободен, смел —
Сокровищ столько, сколько я хотел.

Я показал бы в наши времена,
Какою быть поэзия должна.

А так, возможно, тщетен был мой труд
И звуки этих строк навек замрут...

Когда я так в печали размышлял,
Мне друг мой, светлый разумом, сказал:

«Что ты без сил склонился головой,
О воин справедливости святой?

Ты, честности пример среди людей,
Не поддавайся слабости своей!

Ты здесь достиг вершины красоты,
Но можешь высшего достигнуть ты.

Ты — языка творец — дерзай, твори!
Свободно крылья раскрывай, пари!

Твои создания — редкостный товар,
И вся вселенная — его базар.

Звездой блистает этот твой дастан,
Молва о нем дошла до дальних стран.

Я «Украшением вселенной всей»
Зову творение души твоей.

Небесной милостью осенено,
Блится шахским именем оно!»

О шах, твоею славой, как аят,
Динары справедливости звенят.

Согнулось небо пред тобой кольцом;
И солнце — как твоя печать — на нем.

Как я могу хвалу тебе слагать?
Пылинке среди звезд не заблестать.

И капля меру знать свою должна,
Не может океаном стать она.

Но то, что высшей волей суждено,
Да будет человеком свершено.

Сгорел в огонь влетевший мотылек,
К огню не устремиться он не мог.

Несчастный сумасшедший — для детей
Посмешище, мишень для их камней.

Подобьем тех камней, того огня,
Поэзия, ты стала для меня.

Хоть в мире слов свободно я дышу,
Но нет мне пользы в том, что я пишу.

И мысль меня преследует одна,
Что эта страсть опасна и вредна;

Поэзией зовется эта страсть,
И горе тем, кто предан ей во власть.

Нижи газель, как жемчуг, но лишь те
Поймут ее, кто чуток к красоте.

За истину в ней выдается ложь,
И скажут все: «Как вымысел хорош!»

Кто был стихописанием увлечен,
Мне кажется, что жил напрасно он.

Да лучше в погребке небытия
За чашей бедности сидел бы я!

Сумел бы от мирских тревог уйти
И думал бы о будущем пути!

Когда бы зной степной меня палил,
Я кровью сердца жажду б утолил. . .

Платил бы я на пиршествах ночных
Динарами телесных ран моих.

Меня бы одевала пыль пустынь,
Я не желал бы лучших благостынь.

Зонтом от солнца плеч не затеня,
Упорно к цели гнал бы я коня.

Была б в ягач моих шагов длина,
Моим венцом была бы седина.

Я шел бы, к цели устремлен одной,
Не чувствуя колючек под ногой.

Все бранные заботы разлюбя,
Я перестал бы сознавать себя.

И был бы царский жемчуг слез моих
Приманкой птицам далее неземных.

И рана скорби на груди моей
Была б святыней страждущих людей.

Кровавые мозоли пят моих
Дороже были б лалов дорогих.

Из каждой капли крови этих ран
В долине бед раскрылся бы тюльпан.

Я искрами моих горящих мук
Степной простор осыпал бы вокруг.

И, как весною, снова б зацвели
Пески пустынной, выжженной земли.

Когда бы я дорогой ослабел
И отдохнуть немного захотел,

Везде мне место — лечь, забыться сном,
Везде мне небо — голубым шатром,

Предгорий луг ковром служил бы мне,
А изголовьем камень был бы мне.

Едва прохлада сменит жаркий день,
Я лег бы на землю легко, как тень.

К моим ногам, измученным ходьбой,
Фархад склонился б и Меджнун больной.

И были бы ланиты их в крови
От сострадания к моей любви,

Хоть ни пред кем я не взывал о ней,
Не плакал о возлюбленной моей.

И поняли бы вдруг, изумлены,
Два призрака глубокой старины,

Что в области любви властитель — я,
Что на века над ними — власть моя.

...Когда б такой я степени достиг
И стал душой в страданиях велик —

Весь мир, подобный радостной весне,
Прекрасный мир зинданом стал бы мне!

Тогда б сурьюмою пыль моих одежд
Была для ангельских пречистых вежд.

И мне любовь моя и божество
Открыла б солнце лика своего,

И жители небес, как стая птиц,
Кружась пред нею, падали бы ниц. . .

. . . И устремил свой взор духовный я
Поверх небытия и бытия.

Решил бесстрашно, как Саид-Хасан,
Преодолеть сей бурный океан.

Меня душа, как птица, ввысь влекла,
К земле тянули низкие дела.

Вело веленье духа в райский сад,
А низменная страсть бросала в ад.

- Лик этой страсти ангельски красив,
Но в ней слились в одно шайтан и див

И, каждый миг бесчисленно плодясь,
Над слабым сердцем утверждают власть.

Когда умножится зловещий рой,
Всецело овладев живой душой,

То человек, о правде позабыв,
Становится коварным, злым, как див.

Так говорю я, ибо я и сам —
Увы! — подвластен гневу и страстям.

Во имя бога вечного, душа,
Воспрянь, опору зла в себе круша!

Во власти этих дивов я томлюсь,
Великой кары в будущем страшусь.

Мой обиход — коль правду говорить —
Так плох, что хуже и не может быть.

А жизнь души нерадостной моей
Еще печальнее и тяжелей. . .

Пусть даже слез я океан пролью,
Грудную клетку превращу в ладью,

Но выплыть мне не даст в ладье такой
Гора грехов — огромный якорь мой.

Я внешне человек, но — видит бог, —
Как я от человечности далек. . .

Меня — изгнанника — от Солнца сил
Поток тысячелетий отделил. . .

Вот мудрецы беседуют в ночи —
В своих речах они прямой свечи.

Но змеи зависти в душе их те ж,
От бури злобы в сердце их мятеж.

И я, как все, вместилище страстей
И недостойн похвалы людей.

«Защитником народа» я слыву,
Гласит молва, что правдой я живу.

Слыву «пленным вечной красотой»,
Безгрешным и глазами, и душой.

Соблазн гоню от глаз. . . Но как в тиши
Осилью вожделения души?

Погибну, коль на помощь не придешь,
Коль сам меня ты, боже, не спасешь!

Всю жизнь мою, все прошлые года
Я вспоминаю с мукою стыда.

А весь мой труд — калам, бутылъ чернил,
Всю жизнь свою бумагу я чернил. . .

Калам речистее, чем мой язык,
Письмо чернее, чем мой темный лик.

Коль милостью их не омоешь ты,
Как им избавиться от черноты?

Длинна, я вижу, цепь моих стихов;
Стократ длиннее цепь моих грехов.

О господи, раба не осуди!
Меня над гранью бездны пощади,
Коль хорошо сложил дастан я свой!
А если плохо — то я весь плохой.
Благоволеньем озари мой труд,
Пусть эти строки сердца не умрут,
И пусть глубины мысли в книге сей
Откроются, сияя, для людей!
Велик мой грех. Но что весь груз его
Пред морем милосердья твоего?
Пусть добрых дел моих ничтожен след,
Но милости твоей предела нет!

РАССКАЗ О РАБЕ

Жил, знаменитый правосудьем встарь,
В одной стране великодушный царь.

Раб у него был верный, пазанда,
Великий повар, славный в те года.

Однажды царь с гостями пировал,
А повар сам все блюда подавал.

И в спешке вдруг, усердием горя,
Горячим блюдом он облил царя.

И все решили: нет прощенья тут,
За грех такой его теперь убьют.

Шах глянул на несчастного того —
И сжалился и пощадил его.

Вазир сказал: «Ответь, владыка мой, —
Как ты миришься с дерзостью такой?»

А царь в ответ: «Взгляни — он весь дрожит,
Он страхом и смущением убит.

А ведь убитого — ты должен знать —
Не принято повторно убивать.

Он тягостным раскаяньем томим,
И мы его невольный грех простим!»

О боже, мир падет, хвалу творя,
К стопам великодушного царя.

Я трудно жил, в грехах свой век губя,
Но жив одной надеждой на тебя!

Измучен я, казнен моим стыдом,
Но ты за муки воздаешь добром.

Хоть недостоин я твоих щедрот,
Но свет моей надежды не умрет.

О море щедрости! Кто я такой?
Из моря хватит капли мне одной.

Я знаю — только с помощью творца
Довел я эту книгу до конца.

И я «Смятеньем праведных» назвал
Свой труд, как только суть его познал.

Пишу в благословенный восемьсот
Восемьдесят восьмой — по хиджре — год.

* * *

О переписчик будущего дня,
Молитвой краткой помяни меня!

И да исполнит бог мечту твою,
Да уготовит сень тебе в раю.

О Навои, вина теперь налей
И чашу благодарности испей.

Эй, кравчий мой, хранитель чистых вин,
Не надо чаши! Дай мне весь кувшин.

Сегодня я без меры пить хочу,
На время сам себя забыть хочу!

ФАРХАД И ШИРИН

Глава XII

РОЖДЕНИЕ ФАРХАДА

Товар китайский кто облюбовал,
Тот так халат цветистый расшивал.

* * *

Да, красотой своих искусств Китай
Пленяет мир и обольщает рай! . .

Был некогда в Китае некий хан,
Не просто хан — великий был хакан.

Коль этот мир и тот соединить,
Я знал бы, с чем его страну сравнить.

Был до седьмого неба высотой
Хаканский трон роскошный, золотой. •

Звезд в небесах, а на земле песка
Нам не хватило б счесть его войска.

Таких богатств не видел Афридун,
Казался б нищим перед ним Карун.

Завоеватели пред ним — рабы, —
Сдают ему владенья, гнут горбы.

Как океан, как золотой рудник,
Он был богат и щедрым быть привык.

Нет, рудником глубоким не был он, —
Был солнечным высоким небом он.

Его взыскав, ему давало всё
Судьбы вертящееся колесо;

Как никого, прославило его,
Единственным поставило его,

Единственным настолько, что ему
И сына не давало потому.

Венцом жемчужным обладает он, —
О жемчуге другом мечтает он.

В саду его желаний — роз не счесть,
Но есть одна — о, если б ей зацвести!

Он, льющий свет на этот мир и тот,
Сам будто в беспросветной тьме живет.

Он думает: «Что власть, хаканство? Нет,
Я вижу: в мире постоянства нет,

И вечности дворец — не очень он
Высок, пожалуй, и непрочен он.

И чаша власти может быть горька.
И человек, процарствуй хоть века,

Чуть он хлебнет вина небытия,
Поймет всё то, что понял в жизни я.

Хакан, чей трон, как небосвод, высок,
Бедняк, чей кров — гнилой кошмы кусок, —

Обоих время в прах должно стереть:
Раз ветвь тонка, то ей не уцелеть...

Ты смотришь в небо тщетно, властелин, —
Где жемчуг твой заветный, властелин?

Без жемчуга — какой в ракушках прок?
Хоть океан безбрежен и глубок,

Но жемчуга лишенный океан —
Что он? Вода! Он, как хмельной буйан,

Бессмысленно свиреп, шумлив и груб,
Лицо — в морщинах, пена бьет из губ.

Хоть тополь и красив, но без плодов —
Он только топливо, охалка дров.

От облака — и то мы пользы ждем,
Оно — туман, коль не кропит дождем.

Огонь потух — в том нет большого зла:
Раздуешь вновь, пока хранит зола

Хоть уголек, хоть искорку... А я...
Ни искрой не блеснет зола моя.

Я — море безжемчужное, — скажи,
Что я стоячий пруд, — не будет лжи.

Владыка я, но одинок и сир,
И, лишь покину этот бранный мир,

Чужой придет топтать мои ковры,
Чужой тут будет пировать пиры,

Ласкать красавиц, отходить ко сну,
Развеивать, как пыль, мою казну,

Сокровища мои он распродаст,
И всю страну войскам врага предаст,

И клеветой мою обидит тень,
В ночь превратит моих желаний день.

Бездетен я — вот корень бед моих.
Страдать и плакать сил уж нет моих.

О господи, на боль мою воззри —
И отпрыском закат мой озари!..»

В мечтах о сыне ночи он не спал,
Он жемчуг слез обильно рассыпал.

Чтоб внял ему всевышний с высоты,
Давал обеты он, держал посты,

Он всем бездетным благодетель был,
Для всех сирот отец-радетель был.

О predetermined перо!
Забыл хахан, что, и творя добро,

Ни вычеркнуть, ни изменить твоих
Нельзя предначертаний роковых.

Ждет человек успеха, но — гляди —
Злорадствует помеха впереди.

Не зная, радость, горе ль пред тобой,
Не стоит спорить со своей судьбой.

Хакан с ней спорить не хотел, не мог, —
Но он молился — и услышал бог. . .

* * *

Иль новый месяц так взошел светло?
Не месяц — солнце новое взошло,

Не солнце — роза. Но ее не тронь:
Не роза расцвела — возник огонь.

О, не подумай, что огонь так жгуч:
То вспыхнул скорби неумной луч. . .

Едва младенец посмотрел на свет,
Судьбою был ему на перст надет

Печали перстень, и огнем пылал
В его оправе драгоценный лал.

Не сердце получил младенец — он
Был талисманом горя наделен,

И просверлил нездешний ювелир
Свое изделие, выпуская в мир.

В его глазах — туман грядущих слез,
В его дыханье — весть гнетущих грез,

Печать единолюбия на лбу
Предсказывала всю его судьбу.

Сказало небо: «Царь скорбящих он».
Сказал архангел: «Царь горящих он». . .

. . . Хан ликовал. Он стал настолько щедр,
Что море устыдил и глуби недр.

Издад хакан указ: дома должны
Шелками, по обычаю страны,

Так быть украшены, чтоб уголка
Не оставалось без шелков... Шелка,

Узорные, тяжелые, пестрят,
Украсили за домом дом подряд.

Китай разубран, разрисован весь,
Народ ликует — он взволнован весь.

В те дни народ мог делать что хотел,
Но нехороших не случилось дел.

С тех самых пор, как существует мир,
Нигде такой не праздновался пир.

Все скатерти — не меньше неба там,
Как диски солнца, были хлебы там.

Снял с землепашцев, как и с горожан,
За пятилетье подати хакан.

Народ в веселье шумном пребывал,
И караван невзгод откочевал

Из той страны китайской, и она —
Счастливейшая среди стран страна:

Нет ни морщинки на ее чертах,
А если есть кой-где, то в городах...

* * *

И мне хоть кубок выпить, кравчий, дай
Той красной влаги, что на весь Китай

Лилась рекой на щедром том пиру,
Чтоб вдохновиться моему перу!

Глава XIII ВОСПИТАНИЕ ФАРХАДА

Хакана сыном наградил творец,
Наградой осчастливлен был отец.

* * *

И стал хакан раздумывать, гадать,
Какое бы младенцу имя дать:

От блеска красоты его — Луне
Прибавлен блеск и Рыбе в глубине.

С царевичем (так было суждено)
И счастье государства рождено.

Хакан подумал: «В этом смысл найди:
Блеск — это „фарр“, а знак судьбы — „хади“».

Так имя сыну дал хакан: Фархад...
Нет, не хакан, — иные говорят,

Сама любовь так нарекла его,
Души его постигнув естество.

Не два понадобилось слова ей, —
Пять слов служило тут основой ей:

«Фирак» — разлука. «Ах» — стонаний звук.
«Рашк» — ревность, корень самых горьких мук.

«Хаджр» — расставанье. «Дард» — печали яд.
Сложи пять первых букв — прочтешь: «Фархад».

Как золотая клетка ни блестит,
Однако птица счастья в ней грустит.

Пышна Фархада колыбель, но в ней
Всё плачет он, тоскует с первых дней.

Невеста небосвода день и ночь
С него очей не сводит: чем помочь?

Десятки, сотни китаянок тут,
Как соловьи сладчайшие, поют,

Но в нем печаль, какой у детства нет, —
Навеять сон Фархаду средства нет!

Кормилица ему давала грудь —
К соску ее он не хотел прильнуть,

Как тяжелобольной, который в рот
И сладкий сок миндальный не берет.

Другою пищей дух его влеком,
Другим Фархад питался молоком:

То — молоко кормилицы любви, —
Ему в духовной вылиться любви.

Фархад особенным ребенком рос:
Как муравей питаясь, львенком рос.

В год — у него тверда была нога,
В три — не слова низал, а жемчуга,

И речь его не речью ты зови, —
Зови ее поэмою любви.

В три года он, как в десять, возмужал,
Все взоры этим чудом поражал. . .

Отец подумал, что пора начать
Наследника к наукам приобщать.

Учителя нашел ему хакан,
Чьи знания — безбрежный океан,

Кто так все тайны звездных сфер постиг,
Что в них читал, как по страницам книг,

И, на коне раздумья вверх несясь,
Всё отмечал, всё приводил он в связь.

Хотя и до него был разделен
На много клеток небосвод, но он

Так мелко расчертил его зато,
Что небо превратилось в решето.

И если мудрецам видны тела,
То телом точка для него была.

Постиг он все глубины естества
И математики и божества.

Был в Греции он, как философ, чтим, —
Стал Аристотель школьник перед ним...

Сказал мудрец Фархаду: «Полюби
Науку с корешка — от «Алиф-би».

«Алиф» воспринял как «алам» Фархад,
«Би» как «бела» истолковать был рад.

Тот день был первым днем его побед, —
Он в первый день освоил весь абджед.

Умом пытлив и прилежаньем рьян,
Он через год знал наизусть Коран.

Знал всё построчно, постранично он,
Ни слова не читал вторично он.

Но, раз прочтя, всё закрепит в мозгу,
Как бы резцом наносит на доску...

И лишь когда он про любовь читал,
Он те страницы вновь и вновь читал,

И чувствовал себя влюбленным сам,
И предавался грусти и слезам;

И если так влюбленный горевал,
Что ворот на себе в безумстве рвал,

То и Фархад проклятья слал судьбе,
Безумствовал, рвал ворот на себе.

Не только сам обидеть он не мог, —
Ничьих страданий видеть он не мог.

Всегда душой болея за других,
Он, как мудрец, был молчалив и тих.

Отца он в размышления поверг,
У матери — в печали разум мерк.

Хан утешал: «Все дети таковы».
Мать плакала: «Нет, только он, увы!»

Ах, не могли они его судьбу
Прочсть на этом скорбном детском лбу!

Когда Фархаду стало десять, он
Во многих был науках искушен,

И в десять лет имел такую статью,
Какой и в двадцать не дано блистать.

Всё знать и всё уметь хотел Фархад,
Оружием наук владел Фархад,

Оружием отваги — силой сил —
Теперь он также овладеть решил,

И не остался пред мечтой в долгу:
В кольцо сгибал он радуги дугу,

Соединять ее концы он мог,
Соединяя Запад и Восток.

Тупой стрелой он мог Арктур пронзить,
А острой мог зенит он занозить;

Планету Марс он на аркан ловил,
Созвездью Льва хребет он искривил;

Он выжал воду из созвездья Рыб;
Он шестопером семь бы сфер прошиб.

Со скоростью круженья сфер — свое
Умел меж пальцев он вращать копье

Так, что казалось — он прикрыт щитом,
Полнебосвода им затмив притом.

Он горы так умел мечом рассечь,
Что прорубал в горах ущелья меч.

И пусть гора одета сплошь в гранит —
Навек прорехи эти сохранит.

Под палицей его Альбурз бы сам
Взлетел мельчайшим прахом к небесам.

Когда б он руку Руин-Тену сжал,
И Руин-Тен как мальчик бы визжал.

Но хоть ученым он прослыл большим
И был, как богатырь, несокрушим,

Он скромн был, как новичок, едва
По буквам составляющий слова.

Он силой не хвалился никогда,
Ни в чем не заносился никогда,

И, равнодушен к власти, он скорей
На нищенство сменил бы власть царей.

Он сердцем чист был и очами чист,
Всем существом, как и речами, — чист,

Чистейшее на свете существо!
И весь Китай боготворил его,

И чуть прохладный дунет ветерок,
Молились все, чтоб бог его берег,

И каждый достоянья своего
И жизни бы лишился за него!

А чтоб не знал ни бед, ни горя он,
Чтоб никакой не ведал хвори он,

Хан щедро подаянья раздавал,
Что день — то состоянья раздавал.

Фархад достиг четырнадцати лет,
Но боль в душе носил, как амулет...

* * *

Вина печали нам подать изволь,
Чтоб заглушить в душе печали боль:

Пока беда не занесла свой меч,
Пусть пир шумит, а мы продолжим речь.

Глава XIV
ОБРЕЧЕННОСТЬ ФАРХАДА

Тот зодчий, что такой дворец возвел,
В нем всё предусмотрел и всё расчел.

* * *

Любовь сказала: «Мной Фархад избран, —
Румянец розы превращу в шафран».

На стройный стан его давя, печаль
Решила изогнуть «алиф», как «даль».

Клялась тоска: «Он мной заморожен, —
Из глаз его навек похищу сон!»

Мечтала скорбь: «Разрушу я потом
До основанья этот светлый дом. . .»

Хоть замыслов судьбы предречь нельзя,
Но не заметить их предтеч — нельзя:

Готовя нам злодейский свой удар,
В нас лихорадка зажигает жар;

Пред тем как осень оголит сады,
Шафранный яд уже налит в сады;

Кому судьба грозит бедой большой,
Тот омрачен заранее душой.

Хотя пиров не избегал Фархад,
Но в сладость их тоска вливала яд.

Он пьет розовоцветное вино —
Не в сласть ему, заметно, и вино.

И музыка звучит со всех сторон —
И музыкой Фархад не ободрен.

Не веселит ни песня, ни рассказ,
Ничто не радует ни слух, ни глаз.

А если в грустных месневи поют
О двух влюбленных, о любви поют,

Иль о Меджнуне вдруг заговорят, —
В слезах, горюя, слушает Фархад...

Отец вздыхал: «Что это значит всё?
Что сын тоскует, что он плачет всё?»

Иль мой Китай совсем безлюден стал?
Иль он диковинами скуден стал?

Иль девушки у нас нехороши,
Жасминогрудые, мечта души?

Иль нет у нас искусных шукарей,
Что чудеса творят игрой своей:

Из чаши неба достают мячи,
Проглатывают острые мечи;

Стянуть умеют мастера чудес
Фигуру с шахматной доски небес,

Во тьме ночной умеют вызвать день,
День затмевают, вызвав ночи тень;

Черпнут воды ладонью — в ней огонь,
Черпнут огонь — полна воды ладонь;

На паутинке держат тяжкий груз,
Меняют вид вещей и пищи вкус

И делают иные чудеса,
В смущенье приводя и небеса...»

О чародеях вспомнив, с той поры
Хакан их приглашал на все пиры.

Царевича их мастерство влекло,
Оно в нем любопытство разожгло,

И стал следить за их работой он,
Вникал во всё с большой охотой он,

Постиг все тайны их волшебных дел
И наконец к ним также охладел.

Да, свойство человека таково:
Всё недоступное влечет его,

Для достижения не щадит он сил,
Но лишь достиг желанного — остыл...

Когда хакан увидел, что Фархад
Уже всем этим радостям не рад,

Он призадумался и духом пал:
Казалось, он все средства исчерпал.

Но нет — придумал! О, любовь отца!
Четыре будет стронть он дворца:

Четыре времени имеет год —
Для каждого дворец он возведет.

«Пусть в них живет поочередно — пусть
В них навсегда Фархад забудет грусть,

И каждый раз, живя в дворце ином,
Иным пусть наслаждается вином.

Каков дворец — таков при нем и сад, —
Там розы самоцветами висят.

Дворцу весны, приюту нежных грез,
Приличествует цвет весенних роз.

Пленяет зелень летом нам сердца, —
Зеленый цвет — для летнего дворца.

Ты так его, стронтель, сотвори,
Чтоб садом был снаружи и внутри.

А третьему найти ты должен цвет,
Как осени шафранно-желтый цвет.

И золотом его щедрей укрась,
Чтоб с осенью была полнее связь.

Дворец четвертый для зимы построй,
Чтоб спорил белизною с камфарой,

Чтоб он сверкал, как горный лед, как снег, —
Дворец для зимних радостей и нег!

Когда же все четыре завершим,
Невиданное в мире завершим.

Земных сравнений им не выбирай —
В любой дворец Фархад войдет, как в рай.

В Китае соберу со всех концов
Красавцев и красавиц для дворцов, —

Гильманов, гурий поселю я там,
Наследника развеселю я там.

Скорей представь нам, зодчий, чертежи, —
Всю мудрость, дар свой, душу в них вложи.

И тотчас же ремесленных людей
Мы соберем по всей стране своей,

Чтоб каждый в дело всё искусство внес,
Будь живописец иль каменотес, —

Чтоб вытесать побольше плит могли б
Из каменных разнопородных глыб,

Дабы из них полы настать потом
Иль выложить дворцовый водоем.

Картины пусть нам пижут для дворцов,
Пусть шелком нам их вышьют для дворцов,

Чтоб каждый миг, куда б ни бросил взгляд,
Искусством развлекаться мог Фархад.

Покуда же последний из дворцов
Не будет окончательно готов,

Мы также сыну не дадим скучать:
Фархад ремесла станет изучать,

И, чем трудиться больше будет он,
Тем скорбь свою скорей забудет он...»

Хакан повеселел от этих дум.
Но одному трудней решать, чем двум.

Был у него один мудрец-вазир,
Прославленный на весь китайский мир.

Благоустроен был при нем Китай,
Украшен был его умом Китай.

Велик вопрос был иль ничтожно мал,
Шах только с ним дела предпринимал,

Вазиру имя было Мульк-Ара.
Он был душой хаканского двора,

Он преданнейшим человеком был,
Он при Фархаде атабеком был,

И за Фархада, как родной отец,
Скорбел немало тот вазир-мудрец.

И в этот раз хакан послал за ним —
И поделился замыслом своим.

И тот сказал хакану: «Видит бог,
Мудрей решенья ты найти не мог.

Скорей за дело, чтоб Фархад не чах...»
И дело всё ему доверил шах.

И Мульк-Ара, душой возликовав,
Перед хаканом прах поцеловав,

Ушел и дома стал вести учет
Припасов, средств, потребных для работ...»

* * *

Подай мне, кравчий, чистого вина, —
Постройки роспись вся завершена.

Не вечны и небесные дворцы,
Что ж наши легковесные дворцы?!

Глава XVI
ОТДЕЛКА ДВОРЦОВ

Тот, кто резец на камне отточил,
На том же камне вот что начертил.

* * *

Бессилен мудрый старец-разум там,
Где воля покоряется мечтам.

Граниторезным зрелищем прельщен,
Фархад покоя сердца был лишен.

Он, к ночи возвратясь в свой дом, всю ночь
Был возбужден, не спал потом всю ночь.

Когда же черной ночи грузный мрак
Стал рушиться (в землетрясениях так

Вершины рушатся со всех сторон),
И день золото-рубиновый свой трон

Стал утверждать на острых пиках гор,
И мраморный изменчивый узор

Украсил небо, — с ложа встать спешит
Фархад-царевич, тот второй Джамшид.

В места работ коня торопит он, —
Там переймет Каренов опыт он. . .

В смятение пришли все мастера:
«Царевич к нам пожаловал с утра!»

И в каждом рвенье втрое возросло:
«Фархад ценить умеет ремесло!»

А он — на что свой взгляд ни кинет, вмиг
Находит с мастером один язык.

Решил ему всё показать Карен:
Учил его гранит тесать Карен.

И кузнеца позвал он наконец:
«Свое искусство покажи, кузнец!»

А тот силач железнорукий был,
Большой знаток в своей науке был,

И он сказал: «За дело я берусь».
Он положил в огонь железный брус.

И черный брус железный красным стал,
Как исполинский бадахшанский лал.

И для Карена выковал кузнец
Кирку, тесло, зубило и резец.

Но закалял их сам Карен потом:
От кузнеца скрывал он свой прием.

И тут же проверял он свой закал:
Тесал гранит и искры высекал. . .

Фархад как зачарованный глядел,
Вникал и в явь и в тайны мудрых дел.

Хоть много тонких знал ремесел он,
Но все забыл бы и забросил он,

Чтоб и в гранильном деле мог достичь
Всех совершенств, чтоб цели мог достичь,

На выучку он был готов пойти
Не к одному Карену — к десяти.

Людей стесняясь, стал Фархад тайком
Орудовать теслом и молотком.

Он делал чудеса, тайком учась:
Ему — минута, что другому — час. . .

Но не стоял — вращался небосвод,
Чередовался дней круговорот.

Четыре года что для мудреца?
Вот все четыре кончены дворца —

Четыре рая! . . Шла отделка стен:
Наружные разделявал Карен,

А внутренние — лишь зайди, взгляни —
Узнаешь кисть художника Мани,

Мани лисал на стенах, а Фархад
Теперь других не находил услад,

Помимо дивных живописных дел.
И этим он искусством овладел:

Мани картину на стене творит, —
Царевич на бумаге повторит.

Он постигал почти мгновенно всё.
Так изучил он постепенно всё:

Владеть каменотесным делом стал,
И живописцем он умелым стал,

Всегда стремясь в глубины существа,
На светлые вершины мастерства,

И до глубин дошел и до высот,
Весь полон знаний, точно медом — сот. . .

* * *

И так, умы волнуя и сердца,
Четыре райских вознеслись дворца.

При каждом сад, и каждый сад иной,
Но каждый — настоящий рай земной.

Дворец весны снаружи и внутри
Был розовым — на что ни посмотри:

Все стены, и полы, и потолки,
Все двери, окна, ниши, уголки,

И нежным цветом роз с его картин
Светились лица женщин и мужчин.

Там розовыми были все ковры,
На ложах шелк был розовой игры,

Был розовый бассейн. Но ты о нем
Не говори, что это водоем:

Нет, розовое было в нем вино, —
По арычкам в него текло оно.

Пройдешь вокруг, и под ногой звенят
Сплошь самоцветы — яхонт и гранат,

Куда ни взглянешь — розовый цветник, —
Здесь даже в мрамор запах роз проник;

Звенел повсюду соловьиный шелк;
Одетые в розовоцветный шелк,

Красавицы, как розы, все нежны,
Прогуливались по дворцу весны.

* * *

Дворец для лета так построен был,
Что весь зелено-голубой он был.

Вокруг него — свежезеленый луг,
И сосны с кипарисами — вокруг;

И всяких птиц порхали стаи там,
И было много попугаев там,

Ученых, вещей, и в зеленый цвет,
Как ангел божий, каждый был одет.

Красавицы гуляли на лугах
С лазоревыми чашами в руках;

Сиял зеленый купол над дворцом,
Фарфоровым отделан изразцом;

И пол зеленым облицован был, —
Из тех же самых изразцов он был.

Бассейны были из зеленых плит:
Борта и дно — лощеный хризолит.

Вокруг бассейнов — камешки, но тут
Насыпан не рубин, а изумруд.

* * *

Но разукрашен весь иначе был
Дворец, который предназначен был

Для осени: тут было всё желто,
Ее дыханьем будто налито.

Вверху простерся легкий, некрутой,
Широкий купол цельнозолотой.

На стенах — мрамор, желтый, как янтарь,
Не дом — янтарный, золоченый ларь.

Как солнце, языкастые круги,
Слепящие, вихрастые круги —

Отделка стен наружных. Но смотри —
Не меньше было золота внутри!

Старался мастер, не был скуп хакан —
Тут всё янтарь и золотой чекан,

А в росписи стеной — не мастерство —
Божественного духа торжество!

Бассейн — очарование очей —
Из золотых был сложен кирпичей,

И желтое вино плескалось в нем,
Играющее золотым огнем.

И вокруг него — под цвет вино как раз —
Насыпан золотистый был топаз.

Там девушки сияли, как заря,
В шелках прозрачных цвета янтара. . .

* * *

И вот — стоит четвертый наконец,
Для зимних нег построенный дворец.

Весь мраморный, белее мела весь,
Не мраморно — камфарно-белый весь!

В серебряном окружье — потолок
Сиял, как между век глазной белок.

На стенах, ослеплявших белизной,
Был серебристо-белый шелк сквозной.

Блистали серебристые шелка
На ложах из слоновьего клыка,

Был даже пол там белый — сплошь фарфор,
На нем — белее хлопка был ковер.

Серебряный бассейн — как изо льда,
Как перламутр, играла в нем вода,

А каждой капли переливный блеск —
Жемчужины отборной дивный блеск.

И ночью светел был любой покой,
От девушек струился свет такой:

Лучисто-серебрист был цвет их тел,
А цвет одежды был жасминно-бел...

* * *

Взгляни на те китайские дворцы:
Кумирни или райские дворцы?

Какие там кумирни! По красе
Дворцовые сады — иремы все!

Нет! Каждый из дворцов хаканских там
Мог красотой затмить Мекканский храм!

Когда открыть дворцы пришла пора,
Отправился к хакану Мульк-Ара,

И всё ему подробно доложил:
Как вел дела он, как их завершил.

Хакан, доклад прослушав, ликовал,
И слов не находил он для похвал.

С Фархадом и с вазиром к тем дворцам
Затем решил пуститься в путь и сам.

Вот прибыли они. Помилуй бог!
Как человек создать такое мог?!

В саду весны — красоты, чудеса!
Вошли в дворец — без счета чудеса!

Второй дворец — земной чудесный рай,
А третий — краше, чем небесный рай!

В четвертом же такая красота,
Что и найдут сравненья на уста!

Немеет разум тут, бессилен дух, —
Так очарованы и глаз и слух.

Здесь всё загадка, всё тревожит ум.
Таких красот постичь не может ум.

Хан мастерам не пожалел наград:
Кто что просил, он выдавал стократ.

Вазир всегда был у него в чести,
Теперь же — выше не превознести.

И отдал шах Фархаду для утех
Дворцы, сады и райских гурий тех.

Потом распорядился, чтоб вазир
Для каждого дворца готовил пир,

Чтоб пировал три месяца подряд,
В том иль ином дворце живя, Фархад...

Не медлил и ни часу Мульк-Ара:
Готовить стал запасы Мульк-Ара.

На каждый день припас вазир-мудрец
Сто лошадей и тысячу овец,

Припас на целый год сластей, плодов
И тонких вин всех вкусов и цветов...

* * *

Китайской красотой пленен давно,
И я люблю китайское вино:

Так не забудь же, кравчий, и щедрей
И нам вина китайского налей!

Глава XVIII

ХАКАН ПРЕДЛАГАЕТ ФАРХАДУ СВОЙ ТРОН

Кто в царский тулумбас ударил, тот
Отряды слов построил так в поход.

* * *

Царевича хакан спасти не мог, —
С пути судьбы его свести не мог.

Он убедился, что крута гора
Сыновней скорби, и что та гора

Гранита тверже, и нет силы той,
Чтоб выдержала спор с горой крутой.

Но замыслов точил он всё же меч —
И вот чем сына он решил увлечь:

«Я за порогом зрелых лет стою,
Уже давно склонил главу свою

Над урной старости. Хаканский сан
Стал в тягость мне. . . — так рассуждал хакан, —

А мой Фархад — он юн, он полон сил,
Мед всех ремесел и наук вкусил,

И мудрым стал, как седовласый муж,
И храбростью он наделен к тому ж.

Чем не правитель и не воин он?
Занять мой трон вполне достоин он.

Нет в нем пороков, кроме одного:
Тоски, мягкосердечия его.

О, эта скорбь его, стенанья, плач!
Где им лекарство, где найдется врач?

О, боль и чистота его души!
В дервишах эти свойства хороши,

Но царственной особе, мудрецу,
Такая жалостливость не к лицу.

Кто в мир приходит как имущий власть,
Тот в крайность доброты не вправе впасть,

Нельзя царить не строго на земле:
Царь, сказано, — тень бога на земле.

Есть мера милостей и мера кар, —
Их соблюденье — государей дар.

Бог всемогущ, но для своих же чад
Не только рай — он сотворил и ад.

Бог — милосерд, он щедр, целитель он,
Но и воитель он и мститель он.

Кого избрал помощником господь,
Чувствительность обязан побороть.

Должно в царе от всех отличие быть,
Должны в нем твердость и величие быть.

Что, если этих качеств он лишен —
И вдруг врагами будет окружен?

Что, если враг нож занести дерзнет?
Себя он кротко в жертву принесет?

Он предпочтет погибнуть сам, дабы
Врага избавить от стрелы судьбы?

Да, это — добродетель, но она
Дервишам лишь, а не царям годна!

Нет! Должен царь острить возмездья меч,
Чтоб тысячи кровавых дел пресечь.

Пусть горностаи свой запятнают царь
Разбойничьею кровью, — знает царь:

Он горы сделал садом для купца, —
Волк уничтожен — спасена овца.

Когда злодея царь не устрасит,
Злодей доволен, честный муж дрожит. . .

Боюсь в Фархаде я дервишских черт:
Он слишком кроток, слишком мягкосерд.

Не то беда, что не задира он, —
Беда, что равнодушен к миру он.

Что из того, что так учен Фархад?
Невежды с ним как с равным говорят.

Хоть силой он поспорит со слоном,
Но жалость ведь сильнее силы в нем.

Нет проку в льве, коль так незлобен он,
Что муху тронуть неспособен он...

Противоядьем убивают яд:
Пусть за меня хаканствует Фархад.

Труд управленья на себя приняв,
Он постепенно свой изменит нрав.

Я так скажу, и в том не ошибусь,
Что время прививает к делу вкус, —

И исподволь его перекует
Горнило государственных забот.

О подданных заботясь что ни шаг,
Верховный страж народных прав и благ,

Усвоит он основу всех основ:
Царь со злодеем должен быть суров...»

Теперь хакан решение нашел —
И в этом утешение нашел.

И он созвал советников своих,
Вазиров мудрых и вельмож больших,

Созвал придворных — и не только знать, —
Фархаду рядом место дал занять,

И хоть вопрос и труден был весьма,
Но речь его вдруг потекла сама:

«Путь жизни указал мне правый бог.
Пожаловал меня державой бог;

Над всем моим Китаем власть мне дал,
Победами несчетно награждал;

Вручил богатства — не исчислить их,
Воображеньем не измыслить их,

Не охватить мечтою смелой всех
Ниспосланных мне от него утех.

И разум наш не знает тех широт,
Где б видел я предел его щедрот.

Страдать бы я причины не имел, —
Я всё имел... Но сына не имел!

Кто скорбь отца бездетного поймет?
Вкушал отраву я, вкушая мед.

Стал для меня цветник всей жизни пуст, —
Слова обиды боль срывала с уст.

Рыдал, молился, бичевал я плоть, —
И озарил мои глаза господь:

Он мне Фархадом очи озарил,
Все дни мои, все ночи озарил.

И за тебя, наследник мой Фархад,
Я шлю хвалы всевышнему стократ!..

Вот ты в глубины всех наук проник,
Сам — глубочайших знаний ты рудник, —

Нет, море знаний — море вглубь и вширь,
Пред кем Меркурий — водяной пузырь!

Что солнце светит, что пьянит вино,
Что сахар сладок — знают все давно.

Что ты умен, напоминать к чему?
Китай дивится твоему уму!

И что прибавит похвала людей
К неизмеримой мудрости твоей?

А я уже давно прошел, мой сын,
Ту плодороднейшую из долин,

Что мы долиной зрелости зовем;
Давно достиг я на пути своем

Долины старости печальной... Да!
Мне — шестьдесят... Преклонные года!..

Я немощен, и ясно вижу я:
К концу пути что день — всё ближе я.

Скрывать пороки старости смешно:
Нам молодеть, увы, не суждено.

Попробуй, старец, скрыть свои года —
Глаз не поднимешь после от стыда.

Предвестник смерти — наша седина,
На древе жизни — изморозь она.

Из бороды сединки вырывать —
Над собственной могилой горевать.

Два-три ты вырвешь волоска седых,
Дней через пять — пятнадцать-двадцать их,

Иной себя покрасит человек —
Через неделю он, как лошадь, пег.

Стыдись, красильщик: виден твой грешок, —
Смеется, скаля зубы, гребешок.

Что — гребешок? Ведь гребешки молчат:
Но станешь ты посмешищем внучат.

Как ни хитри, старик, а не найти
К своей увядшей юности пути.

Чем больше наша юность весела,
Тем больше наша старость тяжела.

Хулить судьбу и мне пришла пора,
Но нет! Судьба ко мне была добра.

Меня всю жизнь руководил господь.
Умом широким наградил господь,

И смолоду меня он отличил —
Хаканство над Китаем поручил;

И к старости меня привел, любя,
В преемники мне ниспослав тебя. . .

Луна уходит с неба — горя нет,
Когда идет на смену ей рассвет.

Чинар тенистый захирел, — смирись:
Высокий рядом вырос кипарис.

Лев ремесло оставил, одряхлев, —
И тигр начнет зверей судить, как лев,

Когда такой есть сын, как ты, сынок,
Отцовской пальмы принялся росток.

И если смерть придет — такой отец
Не скажет в смертный час: «Вот мой конец»,

В свой смертный час уверен будет он,
Что снова в сыне будет повторен.

О, молодость! Она спешит стареть,
Но старости нельзя помолодеть.

Нет, старости недуг неизлечим. . .
Я озабочен, сын мой, лишь одним:

В мой смертный час на троне вновь себя
Увидеть юным, увидав тебя,

Чтоб мой венец, мой трон, мою казну,
Мои войска и всю мою страну

Украсил ты заранее, мой сын:
Уважь мое желание, мой сын!

Отказом сердца моего не рань:
Стань государем и отцом мне стань.

Один завет тебе даю вперед:
Так правь страной, чтоб счастлив был

народ. . .»

Фархад увидел: горечи полно
Отцом ему налитое вино.

Вздыхнул он вздохом огненным таким,
Что поднялся в седьмое небо дым.

Такого испытанья он не ждал, —
Он, наземь рухнув, горько зарыдал:

«О, здравствуй, царь царей, отец родной!
Небесным тронот стань твой трон земной!

Чтоб войск твоих могущество росло,
Чтоб звезд числа достигло их число;

И чтоб цвели сады утех твоих,
Не вяли розы наслаждений в них;

Чтоб полон был державный кубок твой
Вином искристой радости живой».

И так сказал он: «Мой отец, мой шах!
Кто я и что? Я пред тобою — прах...»

Я так смущен... Дерзну ль давать ответ?
В словах моих порядка, меры нет.

Но хоть и прах я, — на твои слова
Осмелюсь я ответить слова два.

Одно бесспорно: молод будь иль стар,
На всех обрушит время свой удар,

И всё, что в мире сотворил творец,
Обречено им на один конец.

Но гибнут тьмы и тьмы травинок в год,
А мощный кипарис лет сто живет.

Хоть сто холмов снесет иной поток, —
Стоит Альбурз незыблемо-высок.

Коль сам ты мал, то жизнь мала тебе,
Коль ты велик, то жизнь — скала тебе.

Хоть на сто лет срок жизни будь продлен,
Но муха и столетняя — не слон.

Как маленького кобчика ни кличь,
Орлу — одна, ему другая дичь.

И если шаху на доске — конец,
То пешка в клетке шаха — не боец. . .

Пылинок мириады, а взгляни, —
Чуть солнце сядет — ни видны они».

Фархад такую речью мудреца
Приободрил печального отца.

Хакан сказал: «О свет очей моих,
О яркий светоч старых дней моих!

Сказал ты как поэт и как мудрец,
Жемчужин-слов открыл ты здесь ларец,

Осыпал ты жемчужинами нас:
Они висят в моих ушах сейчас.

Но как бы ни был этот жемчуг чист,
Но как бы ни был ты, мой сын, речист,

Не этих слов я ожидал, о нет!
Не радует меня такой ответ.

И чтобы я утешен был вполне,
Согласьем должен ты ответить мне. . .»

Царевич понял: круг замкнулся. Он
Был просьбою отцовской побежден.

И, прах целуя пред отцом, в слезах,
Воскликнул он: «О мой отец, мой шах!

Нет места больше колебаниям, раз
Мой искренний отвергнул ты отказ.

Ничтожен я. . . смотрю недалеко. . .
А дело государства — велико.

Но я — хоть стыдно молвить — ничего
Не знаю в нем, я избегал его.

Не думал я о нем до сей поры, —
Я знал лишь развлеченья да пиры,

И я прошу у шаха, чтобы шах
Хотя б на первых мне помог порах, —

Ну, год иль два, покуда б я привык,
Покуда бы в основу дела вник,

Дабы, при шахе состоя всегда,
Вникал в дела державы я всегда,

Дабы умом в дела торговли врос:
На что в стране велик иль скуден спрос,

И в чем стране добро, в чем зло стране,
Что делать, чтоб добро росло в стране.

Пусть выберут мне должность поскромней —
Посмотрим, как сначала справлюсь с ней;

А совершу ошибку я порой —
Укажут пусть, чтоб я избег второй.

А разберусь я в малом деле том —
На большее поставите потом.

Без навыка — рукам ли, иль уму —
Не научиться в мире ничему.

Поупражняюсь год иль два в делах —
Исполню всё, что повелит мне шах. . .»

Столь тонкой мысли должное воздав,
Шах согласился, что Фархад был прав.

* * *

Дай царственную чару, кравчий, эй!
От войск печали мне спасенье в ней,

Не царствованье, а вино любя,
Я угнетаю не других — себя!

Глава XIX
ЗЕРКАЛО ИСКАНДАРА

Кто вяжет в книгах тонких мыслей вязь,
Так свой рассказ украсил, вдохновясь,

* * *

Лишь получил хакан такой ответ —
Желания сердечного предмет, —

Он радостью настолько полон стал,
Что весь Китай ему казался мал.

Каких он ни придумывал наград,
Всё большего заслуживал Фархад.

Сокровища подземных рудников?
Нет! Им цена — не больше черепков!

Сокровища морей? Что жемчуга,
Что камешки, — цена недорого!

Не знал хакан, чем сына одарить;
Решил хакан хранилища открыть.

Не говори — хранилища, не то:
Сто рудников и океанов сто!

Тех ценностей ни сосчитать нельзя,
Ни в сновиденьях увидеть нельзя.

Владелец клада мудрости — и тот
Лишь от рассказа горем изойдет.

Туда вступивший проходил подряд
Через сорок первых кладовых-палат.

А в каждой — сорок урн. Не выбирай!
Все золотом полны по самый край!

А золота хоть в каждой равный вес,
Но что ни урна — то сосуд чудес.

Так, золото в одной копнешь, как воск:
Что хочешь делай, — разомнешь, как воск!

И снова сорок кладовых-палат,
Но здесь шелками очарован взгляд.

По сорок тысяч было тут кусков
Пленительных узорчатых шелков.

Тут изумленью не было границ,
Тут перворазум повергался ниц

Пред красотой всяческих чудес
И пред искусством ткаческих чудес.

Не только шелк в кусках, — одежд таких
Не выходило из-под рук людских.

Не ведавшим ни ножниц, ни иглы,
Земной им было мало похвалы.

Так создавал их чародей портной
В своей сверхсовершенной мастерской.

В одной из этих шелковых палат
Хранитель показал такой халат,

Что не один, а десять их надев
На стройный стан любой из райских дев,

Сквозь десять — так же розово-чиста —
Прельщала б райской девы нагота...

Для мускуса особый был амбар,
Где на харвар навален был харвар.

И если б счетчик разума пришел —
И тысячной бы части он не счел

Несметных драгоценностей: и он
Был бы таким количеством смущен.

Как кровь, был влажен там любой рубин, —
Он слезы исторгал из глаз мужчин,

А каждое жемчужное зерно
Могло лишить и жизни заодно.

Еще другое было чудо там:
Хранилось тысяч сто сосудов там —

Хрусталь и яшма. Годовой налог
С большой страны их окупить не мог.

Сто самых ценных выбрал казначей, —
Мир не видал прекраснее вещей!

Чем больше шах и шах-заде глядят,
Тем больше оторваться не хотят.

Глядят — и то качают головой,
То молча улыбаются порой. . .

Но, зрелищем пресыщен наконец,
Фархад заметил в стороне ларец.

Как чудо это создала земля!
Был дивный ларчик весь из хрусталя, —

Непостижим он, необыден был.
Внутри какой-то образ виден был,

Неясен, смутен, словно был далек; —
Неотразимой прелестью он влек.

В ларце замок — из ста алмазов. . . Нет!
То не ларец — то замок страшных бед!

Ничем не отомкнешь его врата, —
Так эта крепость горя заперта!

Сказал Фархад: «Мой государь-отец!
Хочу хрустальный разглядеть ларец:

На диво всё необычайно в нем, —
Скрывается, как видно, тайна в нем.

Чтоб разгадать я тайну эту мог,
Пусть отомкнут немедленно замок!»

Пытался скрыть смущение хакан,
И начал с извинения хакан:

«Нельзя твоей исполнить просьбы нам.
Открыть ларец не удалось бы нам:

Нет от него ключа — вот дело в чем,
А не открыть его другим ключом.

И сами мы не знаем, что таит
Ларец, столь обольщающий на вид»,

Царевича не успокоил шах,
В нем любопытство лишь утроил шах.

Фархад сказал: «Что человек творил,
То разум человеческий открыл.

И значит, размышления людей —
Такой же ключ к творениям людей.

А так как я во все науки вник,
То трудностей пугаться не привык.

Но если суть ларца я не пойму,
То нет покоя сердцу моему! . . .»

Но как Фархада шах ни вразумлял,
Как ни доказывал, ни умолял,

Царевич всё нетерпеливей был,
Настойчивее и пытливей был.

И понял шах, что смысла нет хитрить,
Что должен сыну правду он открыть.

И приказал он отомкнуть замок,
И зеркало из ларчика извлек.

Магическое зеркало! Оно —
Столетиями в хрусталь заключено,

Как в раковину жемчуг, — в том ларце
Хранилось у хакана во дворце.

Нет! Словно солнце в сундуке небес,
Хранилось это зеркало чудес.

Мудрец его украсить так решил,
Что тайно сзади тайну изложил:

«Вот зеркало, что отражает мир:
Оно зенит покажет и надир,

Его сиянью — солнце лишь пример,
Его создатель — румский Искандер.

Четыреста ученых вместе с ним
(С Платоном каждый может быть сравним)

Над зеркалом трудились. Миру в дар
Его оставил Искандар-сардар.

Проникшие в начала и концы,
Всеведущие в сферах мудрецы,

Постигшие взаимосвязь планет,
Обдумывали дело много лет,

Счастливую отметили звезду
И вдохновенно отдались труду.

Кто зеркало найдет в любой из стран,
Тот обретет в нем дивный талисман.

Послужит только раз оно ему,
Но что судьбой указано ему,

Что неизбежно испытает он,
Что скрыто смутной пеленой времен, —

Будь горе или счастье — всё равно:
Оно явиться в зеркале должно.

Но зеркало заключено в ларец.
Его открыть решится лишь храбрец,

Кто муки духа может побороть,
Не устрашась обречь на муки плоть.

Тот, кто замок захочет отомкнуть,
Тот пусть узнает древней тайны суть:

Есть мудростью венчанная страна,
Зовется в мире Грецией она.

Но и мудрейший среди греков грек —
Лишь прах своей страны, лишь человек.

Там каждый камень — жемчуг из венца
Мудрейшего из мудрых мудреца;

Любая травка там целебна, там
Целебен воздух, всё волшебно там;

Что ни долина — то цветной ковер,
Что ни вершина — небесам упор.

Ты должен, человек, туда пойти.
Знай, встретишь ты препятствия в пути.

На трех последних переходах — три
Опасности подстерегут. Смотри:

На первом переходе — змей-дракон:
Из божьего он гнева сотворен.

А на втором — жестокий Ахриман,
В нем — сила, злоба, хитрость и обман.

Но самый трудный — третий переход:
Там талисман тебя чудесный ждет.

Три перехода трудных совершив,
Препятствия на каждом сокрушив,

Сверши последний переход, герой:
Остановясь перед большой горой,

Пещеру обнаружишь в ней: она,
Как ночь разлуки черная, черна.

В пещере той живет Сократ-мудрец.
Он, как Букрат, велик, стократ мудрец!

Войдешь в пещеру. Если старец жив,
Утешит он тебя, благословив.

А если грек премудрый мертв уже,
Ты к вечной обратись его душе —

И узел затруднений всех твоих
Премудрый дух развяжет в тот же миг...»

Вот что прочел взволнованный Фархад:
Застыл, как очарованный, Фархад.

И он с тех пор забыл питье, еду,
Одною думой жил он, как в бреду.

Всё понял шах: пришла беда опять!
Но сыну он решил не уступать.

Царевич стал просить. Но каждый раз
Он от хакана получал отказ.

И, хоть упрямец не был ведь Фархад,
Стал наконец и требовать Фархад.

Тут начал шах оттягивать ответ:
То скажет «да», то снова скажет «нет».

И сын страдал, и мучился отец.
О, испытанье двух родных сердец!..

* * *

Дай, кравчий, мне пьянейшего вина!
Задача мне труднейшая дана.

Но сколь ни жестока судьба, — одно
Есть средство побороть ее: вино!

Глава XX

ФАРХАД МЕЧТАЕТ О ПОДВИГАХ

О доблестях труда на этот раз
Повествователь так повел рассказ.

* * *

Такое видя положенье дел,
Фархад, тоской снедаем, всё худел,

Хирел, душевный потерял покой,
Неодолимой угнетен тоской,

И было опасенье, что вот-вот
С ума сойдет он и бродить уйдет

Дервишем, нищим, соблазнен пустой
Зеркальною диковинкою той. . .

Однажды, тайно вызвав Мульк-Ару,
Сказал он: «Я зачакну здесь, умру:

К чему меня держать? Ведь всё равно
Судьбу нам переспорить не дано:

Будь человек мудрец иль будь простака,
Будь он богач великий иль бедняк,

Будь он царем или дервишем будь,
Могуч, как лев, иль слаб, как мышь, он будь, —

Не снять ему — закон судьбы таков —
Судьбой надетых на него оков!

Бессмысленно, как по воде писать,
Пытаться от судьбы себя спасти.

Невидимо судьба нам метит лбы,
И нам не разгадать клейма судьбы.

Всеведущим в мирских науках будь,
В дела судьбы тебе заказан путь.

Я сам в людских премудростях силен,
А пред судьбой, как неуч, посрамлен.

Что начертало мне судьбы перо?
Большое зло, великое ль добро?

Каким решением мой отмечен лоб?
Тот приговор что отвратить могло б?

Кто больше просвещен, тот да простит
Мое невежество, мой горький стыд.

Но сам предвечный, видно, захотел
Проверить слабых сил моих предел.

Отцу, возможно, старость омрачу,
Страну свою, быть может, огорчу.

Но выбора мне не дано судьбой.
О Мульк-Ара, откроюсь пред тобой:

Я в Грецию отправиться решил.
Не прихоть это — бог мне так внушил.

К чему вступать на путь обмана, лжи?
Отцу-хакану так ты доложи:

Родительскую чту я свято власть,
Сто раз готов к стопам отца припасть,
Его благоволения моля,
Его благословения моля.

Пусть он поможет хоть немного мне,
Припасов выдаст на дорогу мне.

Свидетель бог — не даром я прошу, —
Я подвиги заветные свершу.

Но если шах откажет мне, клянусь,
Ни перед чем я не остановлюсь —

Лишусь богатств и с табором бродяг,
С дервишами уйду, и нищ и наг.

Сквозь мертвые пустыни я пройду,
Сквозь горные твердыни я пройду,

А встретится дракон иль Ахриман
Иль с тысячами бедствий талисман, —

Нужду, страданья, ужасы презрев,
Все грозные преграды одолев,

На счастье ли свое иль на беду,
До цели, мне указанной, дойду! . .

Однако сердце шепчет мне пока,
Что улица отказа далека,

Что, взвесив всё на правильных весах,
Мне разрешение даст отец мой шах. . .»

Ошеломленный слушал Мульк-Ара:
Свалилась гора на него гора.

Хотел Фархаду преподать урок,
Но лишь вздохнул: упрек уже не впрок.

Чем бы Фархада он ни укорил,
Упрямец дверь для доводов закрыл.

Ни просьбе, ни упреку не найти
К его благоразумию пути.

Беспомощен и бледен, словно мел,
Вазир от потрясенья онемел.

Дым вздохов разъедал ему глаза,
И за слезою потекла слеза.

И так он встал и, весь в слезах, ушел.
Рыдая горько, робко к шаху шел,

Пришел — и с глазу на глаз — всю, как есть,
Поведал шаху горестную весть.

Шах, в грудь себя ударив, зарыдал,
И ворот на себе он разодрал,

А Мульк-Ара, пред ним целуя прах,
Увещевал его: «О мудрый шах!

О светоч государства! Разве плач
В таких делах — советник или врач?

Где мужу меры нужно принимать,
Там следует лишь разуму внимать.

Одно, другое средство — и мудрец
Найдет искомый выход наконец.

А будут средства разума слабы —
Принять нам нужно приговор судьбы!..»

«О мой вазир! — воскликнул шах в ответ. —
Свечою счастья был мне твой совет.

Запуталась сыпovняя стезя, —
Ужель свести его с нее нельзя?

Чем страждущее сердце исцелить?
В него елей увещеванья влить!

Одуматься дадим мы срок ему,
А не пойдет лекарство впрок ему,

Любой ценою надо ведь его
Утешить нам, обрадовать его...»

Они с ним говорили день за днем, —
Фархад стоял, однако, на своем.

И опустились руки их. И шах
Темницей сыну пригрозил в сердцах,

Но пощадил цвет юной розы той
И отказался от угрозы той.

Чему хакан мешал, тому решил
Способствовать теперь по мере сил.

В страну далеких греков пусть Фархад
Отправится, — излечит грусть Фархад.

Но не один он в Грецию пойдет:
С ним вместе и хакан свершит поход,

И поведет с собой войска туда,
Чтоб не грозила им в пути беда. . .

* * *

Веселье на исходе! Кравчий, эй,
Ты чару мне походную налей!

Лиши ума, чтоб мощь я приобрел
И дивов и драконов поборол!

Глава XXI ПОХОД В ГРЕЦИЮ

Тот, кто дорогу мысли проторил,
Поход словесных войск по ней открыл.

* * *

Хакан в литавры бить велел. Гонцы
Несутся по стране во все концы —

Войскам китайским объявляют сбор,
Войска идут, спешат. . . С тех самых пор

Как купол древнего монастыря,
Кружась, накрыл и сушу и моря,

Никто столь многочисленную рать
Не пробовал и не мечтал собрать.

Земля едва всю эту рать несла:
Не только людям не было числа, —

Был и шатрам походным счет не прост,
Их было столько, сколько в небе звезд.

На царство греков через много стран
Направил тот людской поток хахан,

Любовь, победный воздымая стяг,
На царство духа выступает так.

За рядом ряд — войска вперед пошли,
Блюдя порядок и черед — пошли.

Так шли они с привала на привал,
Привал две ночи кряду не бывал.

Намного их опережала весть,
Народы им оказывали честь:

Не как врагов встречали — как гостей,
Вручали им ключи от крепостей.

Все страны по пути и все цари
Сдавались им... нет, так не говори:

Скажи, что даже суша и вода
Охотно покорялись им тогда!..

* * *

Полгода длился их поход, и вот
Уже пред ними Греция встает.

И греки также — люд простой и знать —
Навстречу вышли почести воздать.

И люд простой и знать, и млад и стар —
Хакану каждый нес посильный дар.

Ликуя, мудрецы явились. Так,
Когда Меркурий вступит в Зодиак

Ярчайшей славы, — начинает вдруг
Светиться ярче всех созвездий круг. . .

Хакан тончайшим человеком был:
Он благосклонность к грекам проявил,

Они взялись его стада пасти, —
Он обещал им их права блюсти.

Почтил он, озадачив, мудрецов:
На должности назначил мудрецов,

Вопросы соизволил задавать
И каждому дал руку целовать.

Затем хакан сказал большую речь,
Сумел он мудрость в красоту облечь.

Сказал он: «Я пустыни пересек
Не для того, чтоб разорен был грек.

Не на чужие страны льстил я,
Иной мечтой руководился я:

В стране у вас есть некая гора —
Ни золота в ней нет, ни серебра,

Гранитная гора, — пещера в ней:
Черна разлуки ночь, — она черней.

Но озаряет мрак тот, говорят,
Таинственно живущий в ней Сократ.

Сказать прошу вас, мудрых стариков,
Где та гора и путь туда каков? . . .»

И прах облобызали мудрецы,
И шаху так сказали мудрецы:

«Да сбудется твое желанье, шах!
Доверься нашему признанью, шах!

У нас в стране мудрец Сухейль живет,
А на земле живет он лет пятьсот.

Он мудростью прославился давно:
Сократа и его мы чтим равно.

В таинственной пещере, как Сократ,
Ютится он четвертый век подряд.

Оплот всем благороднейшим сердцам,
Прибежище мудрейшим мудрецам, —

На тонкий твой вопрос, наш господин,
Ответ достойный даст лишь он один,

Хоть о Сократе и могли бы мы
Кой-что тебе поведать, ибо мы

От этой тайны отпили глоток, —
Но раз основа дела и уток

Покуда неясны и нам самим, —
Прослыть лжемудрецами не хотим.

К Сухейлю можем мы тебя свести,
А нас, могущественный шах, прости! . . .»

* * *

Хакан с Фархадом сели на коней
И вышли в путь. И не прошло двух дней,

Как перед ними та была гора,
Где соименник жил Звезды добра.

Все, спешившись, туда пешком пошли,
С душевным трепетом, гуськом пошли.

Один из мудрецов, кто первым шел,
В одну из трех больших пещер вошел.

Он старца — в столь изысканных словах —
Уведомил о царственных гостях:

«К Меркурию, да соизволит он,
Пришли луна и солнце на поклон».

Пещерник сделал знак: гостям он рад.
Вошел хакан и вслед за ним Фархад,

Благоговейно — до земли лицом —
Склонившись перед дряхлым мудрецом.

Провидец также оказал им честь:
Он с места встал и попросил их сесть.

Приветственные им сказал слова,
О трудностях пути спросил сперва,

Осведомился, в чем их дела суть,
Какую цель имел их дальний путь.

Подробно всё поведал старцу шах.
Провидец, о таких узнав вещах,

Не то печален стал, не то был рад,
Молчал, потом воскликнул: «Ты Фархад!»

И ниц перед царевичем он лег
И возгласил: «О милостивый бог!

Какое счастье, что не умер я,
Покуда не сбылась мечта моя!

Мне твой приход Джамаспом предвещен.
Так, умирая, завещал мне он:

„О ты, Сухейль, преемник мой, внимли:
Когда после меня вокруг земли

Свершит тысячетный оборот
Стремительно-превратный небосвод, —

Покорный предначертанной судьбе,
Явиться должен в Грецию к тебе

Царевич из Китая. Будет он
В искусствах и науках просвещен,

Он будет сокрушителем преград,
Тот юноша — по имени Фархад.

Исчадья зла отважась побороть,
Он ввергнет в муки дух, в страданья — плоть,

Но, тайным знаком счастья осиян,
Откроет Искандаров талисман.

О ты, премудрый астролог, Сухейль,
Завета моего залог, Сухейль,

Преемник мой в веках, и вот каков
Мой зов к тебе из глубины веков:

Дракон и див — царевичу враги,
Их сокрушить Фархаду помоги.

Стремиться будут многие к тому,
Что суждено Фархаду одному,

Но, в тайну эту посвященный мной,
Ты одному ему ее открой.

Когда дракона умертвит Фархад,
Он обретет на радость миру клад;

Когда же Ахримана он убьет,
То перстень Сулеймана обретет,

И, талисманом тем вооружен,
Добудет и Джамшида чашу он.

Богатства, что судьба вручит ему,
Пускай отдаст отцу он своему,

А сам да возблагодарит творца,
Улицезрев Сократа-мудреца,

Который наставленья даст потом
О древнем зеркале волшебном том.

Тогда пусть поспешит Фархад домой, —
В том зеркале узрит он жребий свой... «»

Завет Джамаспа изложив, старик
К Фархаду обратил свой мудрый лик:

«Бог видит правду! Жил я сотни лет,
Чтоб выполнить учителя завет.

Я принял меры, чтоб ни змей, ни див,
Тебе пути-дороги преградив,

Не помешали подвигам твоим,
Чтоб, их разя, ты был неуязвим...»

Затем Фархаду он вручил сосуд
И молвил: «Масло саламандры тут,

Я обжигался в капищах огня,
Копя его до нынешнего дня.

Отправясь в путь, возьми сосуд с собой
И, прежде чем начать со змеем бой,

Пока огонь раздует он внутри,
Всё тело маслом хорошо натри.

Затем, как саламандра чешую,
Намажешь им кольчугу ты свою.

Тогда на змея наступай смелей:
Обжечь тебя уже не сможет змей.

Ты, поразив чудовище, найдешь
Заветный клад, сокровища найдешь.

Так звезд расположение говорит,
Так алгебры ученье говорит.

Среди сокровищ талисман найдешь,
Который бросит Ахримана в дрожь.

И Ахримана ты сразишь, Фархад,
И облачишь в одежды скорби ад.

И перстень с Ахримана сняв, на свой
Наденешь перст тот перстень колдовской.

На шее дива — золотой щиток,
Что исписал волшебных слов знаток, —

Тебе в нем ключ искомый будет дан —
Откроешь ты заветный талисман,

Хрусталь найдешь двуполушарый в нем,
Джамшидову найдешь ты чару в нем

С резьбой письмен, что Искандар нанес,
Когда с Востока чару он привез.

Проникни в смысл письмен: он говорит,
Где именно Сократ от мира скрыт.

Ты мудреца великого найдешь,
Его, зеркальноликого, найдешь,

И тайну зеркала всю до конца
От древнего узнаешь мудреца.

То — зеркало и радостей и бед,
Проникнуть глубже в тайну — права нет. . .»

«Спешу, — добавил старец. — В добрый путь!
Пришло мне время навсегда уснуть. . .»

Сказал и душу богу он вручил:
Жил, как мудрец, и, как мудрец, почил.

* * *

Слезам старца мертвого омыв,
Его в пещере, плача, схоронив,

Оставив мудрецов на месте том,
Фархад с отцом пошли своим путем.

Пошли пустыней, как велел мудрец,
Пустыня привела их наконец

В долину, за которой обитал
Дракон, что талисманом владел.

Здесь, у развалин храма, над рекой
Они расположились на покой.

Когда же ночи змей, разинув пасть,
На утомленный день решил напасть

И густо за клубил свой черный дым
Над мировым простором голубым,

И солнце, спрятав лик в багряный прах,
Поспешно скрылось до утра в горах, —

Веселья самоцвет они зажгли
И чаши наслажденья извлекли.

Эй, кравчий! Скоро ль чашу мне подашь?
Уныл и краток вечер жизни наш.

Так пей вино и страх забыть сумей:
Вся жизнь коварна и страшна, как змей!

Ты чару горем закипеть заставь,
Меня хоть миг ты не скорбеть заставь!

Глава XXII

ФАРХАД УБИВАЕТ ДРАКОНА

Когда дохнул рассветный ветерок
И дымный полог с ночи он совлек,

День, посрамляя ночи нищету,
Серебряную выставил плиту.

Как выползший из логова дракон,
Вонзив язык горящий в небосклон,

С драконью голову величиной
Катилось солнце из норы ночной. . .

С мольбою к небу обратя свой взор,
Фархад себя всего до пят натер

Тем маслом саламандровым, и бронь
Он смазал им, чтоб не грозил огонь.

В слезах, моля о помощи творца,
Припал он также и к стопам отца.

Хакан от горя ворот разодрал.
Не он один с собой не совладал —

Вся свита зарыдала, все войска,
Как будто смерть была им всем близка,

Как если б он владыкой звездам был,
Как если бы он грозность гроз добыл,

В кольчуге и в оружье боевом,
На огненном коне своем верхом,

Царевич так сиял, что неба взгляд
Не различал — где солнце, где Фархад.

Когда вперед направил он коня,
Старик хакан, свою судьбу кляня,

Не утерпел: презрев преклонность лет,
За сыном дорогим помчался вслед.

Равниной дикой кони там пошли.
Вот признаки драконьи там пошли.

Была черна равнина, как смола. . .
Нет, ты скажи — она черна была,

Как черный день разлуки вечной, — день,
Когда на всё ложится смерти тень.

Земля, дыханьем змея сожжена,
Была от черной копоты черна.

Был конь Фархада гнед, но здесь он стал
Весь вороным, — так черен весь он стал,

Подул зловонный ветер. Этот смрад
И рай, пожалуй, превратил бы в ад.

Настолько смрад был ядовит и густ,
Что люди падали с коней без чувств.

Но сам Фархад лишь зубы крепко сжал
И путь невозмутимо продолжал.

Вот и пещера змея перед ним;
Он скачет прямо к ней, неустрашим.

Заерзал беспокойно вдруг дракон —
Почуял человеческий дух дракон.

Бедой, ползущей из жерла небес,
Наружу из пещеры он полез.

Как пламя ада, гнев его пылал,
Но, словно дым, он тело извивал.

Жестоких бедствий горный он хребет,
А пасть — пещера в горном кряже бед.

Хоть горной цепью он простерт, но всё ж
На беспокойный он поток похож.

Не голова — скала, не нос, а клюв,
Как черный камень, гладко тесан клюв.

Огонь из глаз. Так из-под почвы бьет
Пылающий, двуструйный нефтемет.

Дым из ноздрей. Скажи: за клубом клуб
Пылающая нефть дымит из труб.

Дышал он грозным нефтяным огнем,
Как будто печь клокочущая в нем.

Сам — что гора, он был четырехлап, —
Любая разодрать семь сфер могла б.

На лапах когти — как серпы беды,
Что, как алмазы острые, тверды.

Как пепел, серый весь, но испещрен
Был черным крапом, словно барс, дракон.

Он на дыбы вставал во весь свой рост,
Он задира́л свой исполинский хвост,

Им землю бил, и небо затемнил
Он пылью, что была черней чернил.

Фархада увидав, осатанев,
Змей тотчас впал в неистовейший гнев.

И на него, свиреп и дик, пошел,
Как змей небесный, напрямик пошел.

Разинув пасть, распространяя вонь,
Он изрыгал в лицо врагу огонь, —

Хотел испечь Фархада целиком —
И проглотить его одним куском,

Хотел на пробу змей сожрать его,
А после уничтожить рать его.

Но, маслом саламандры весь натерт,
Стоял царевич невредим и тверд.

И чудом озадачен был дракон.
Увидев, что царевич не сожжен,

Он шире пасть разверз — во весь объем, —
Решив добычу проглотить живьем.

Но, не забывший воинских наук,
Держа свой радугоподобный лук,

Успел Фархад в неравном том бою
Пустить стрелу, подобную копью.

Так змею в пасть он метко угодил,
Что вызвал восхищение светил,

И восклицали звезды: «У стрелка
Лобзания достойная рука! . . .»

Попятился, вясь клубами, гад,
Но стрелы продолжал метать Фархад.

И, стрелами утыкан, как мишень,
Дракон увидел свой последний день.

Подобно конской жареной кишке,
Лежал теперь в предсмертной он тоске.

А тот, кого он сам хотел испечь,
Молниевидный обнажил свой меч

И налетел, как туча, на него,
Рассек, прикончил тут же он его.

И разницы не видел небосвод
Меж молнией, что в гору попадет,

И между тем, как этот человек
Своим мечом чудовище рассек.

Фархад к пещере змея подошел
И надпись над пещерою прочел:

«Прославлен будь, бесстрашный витязь! Ты,
Чудовище убив, достиг мечты.

В пещере змея обнаружишь клад:
Тебе наградой будет он, Фархад!

Войдя в пещеру, знай: она кругла —
Ни углубленья в ней и ни угла.

Измерь ее шагами всю кругом
И средоточье вычисли потом.

Тут закопал громадный камень гад:
Во много сот батманов тот агат.

Мечом ты землю вокруг него разрой
И вырви глыбу из земли, герой.

И, в подземелье опустишь, дивись,
И восхвали божественную высь...»

Царевич всё исполнил, что прочел, —
В сокровищницу змея он вошел.

А там — всех драгоценнейших вещей
Не счел бы и небесный казначей.

Там тысячи кувшинов были — все
Соперничали с небом по красе.

Те — золота и серебра полны,
Те — самоцветного добра полны.

А в глубине хранилища был вход
В чертог высокий, как небесный свод.

Там в каждой башне был паук, и с ним,
Пожалуй, лишь Сатурна мы сравним.

Как Зуль-Фикар, блестя, лежал тут меч,
Он был волнист, двулезв, двужал тот меч.

И выпуклый — с ним рядом — щит сверкал,
Затмил бы он сверканье всех зеркал.

А надпись на щите гласила: «Тот,
Кто этот щит и меч здесь обретет,

Тот сто коварных дивов победит,
Изрубит их и в прах их обратит.

И в щит и в меч, как в перстень-талисман,
Вписал мудрец великий Сулейман

Таинственнейшее из всех имен,
Которым бог всесильный наделен.

Перед щитом с тем именем святым
Все козни злобных дивов — прах и дым.

От имени, что боязно изречь,
Остер особой остротой сей меч.

И дар еще ему чудесный дан:
Невинному он не наносит ран,

Зато злодея, по его делам,
Он рассекает сразу пополам, —

И всем проклятым силам зла на страх
Повергнет он и Ахримана в прах. . .»

Находкой осчастливлен, пред творцом,
Ликуя, пал царевич в прах лицом.

И меч и щит поцеловав, он меч
Подвесил к чреслам, щит надел оплечь,

Сев на коня, направил конский скок
Фархад туда, где войск шумел поток,

Когда с драконом грозным битва шла,
Над миром встала пыль, — не пыль — смола!

Придя, как Искандар, из царства тьмы,
Фархад привел в смятение умы.

Вскричали шах и Мульк-Ара — вазир,
Как если бы мертвец вернулся в мир.

Не светопреставление пришло —
Всё войско в исступление пришло:

Так ликовали, что живым он был.
Никто не знал, что змея он убил,

Узнав об этом, все до одного
Отдать хотели душу за него. . .

. . . Фархад и шах направили коней
Туда, где был убит поганый змей.

Пошла за ними войск живая цепь.
В крови драконьей утопала степь.

Когда хакан вошел в пещеру, сам
Не верил он сперва своим глазам:

Он в богатейших кладовых своих
И то сокровищ не видал таких.

Царевич взволновал отца до слез,
Когда ему сокровища поднес.

И в благодарность за защиту их,
Он одарил войска и свиту их.

Как ни был шах таким богатствам рад,
Но восторгался больше он стократ

Тем, что Фархад дракона зарубил —
И щит и меч заветные добыл. . .

Как будто кровью змея обагрел,
Пылал меж тем закатный небосклон,

И у подножия горы вазир
Уже налаживал веселый пир. . .

* * *

Эй, кравчий, друг! Не прекословь — утешь!
Вином, красней, чем кровь, утешь!

Сокровища, что получил хакан,
Я все раздам, когда я буду пьян!

Г л а в а Х Х I V

ФАРХАД ДОБЫВАЕТ ЗЕРКАЛО МИРА

В тот час, когда уставший за ночь мрак
Свой опускал звездистый черный стяг

И, словно Искандара талисман,
Заголубели сферы сквозь туман, —

Фархад, опять в доспехи облачась,
На подвиг шел, препятствий не страшась.

К ногам отца склонился он с мольбой —
Благословить его на этот бой.

Молитву перстня на коне твердя,
Полдневный путь пустынею пройдя,

Увидел он лужок невдалеке,
Увидел родничок на том лужке.

Тот родничок живую воду нес, —
Он был прозрачней самых чистых слез.

Верхушками в лазури шевеля,
Вокруг него стояли тополя,

И каждый тополь, словно Хызр живой, —
Росою жизни брызнул бы живой!

Фархад подъехал, привязал коня.
У родничка колени преклоня,

И, об успехе богу помолясь,
Он в той воде отмыл печали грязь.

Едва окончил омовенье он,
Заметил в это же мгновенье он

С ним рядом у живого родника
Какого-то седого старика.

Тот старец был в зеленое одет,
Лицом, как ангел, излучал он свет, —

Скажи, сиял он с головы до ног!
И молвил старец ласково: «Сынок!

Будь счастлив и все горести забудь.
Я — Хызр. И здесь я пересек твой путь,

Чтоб легче ты свершил свой путь отсель,
Чтоб счастливо свою обрел ты цель.

Как Искандар, скитался годы я,
Как он, искал «живую воду» я.

Я вместе с ним ее искал и с ним
Был бедствиями страшными казним.

И с ним попал я в область вечной тьмы,
Где ночь и день равно черней сурьмы.

Однако одному лишь мне тогда
Открылась та заветная вода,

А Искандар воды не уследил —
И жажду духа он не утолил.

Гадать по звездным стал дорогам он,
Стал знаменитым астрологом он.

Он связывает нити тайных дел,
Я их развязываньем овладел.

Знай, Искандаров талисман, мой сын,
Расколдовать могу лишь я один.

Недаром называюсь Хызром я:
Помочь тебе всевышним призван я.

Теперь запомни: продолжая путь,
Считать шаги усердно не забудь.

Когда достигнешь лысого бугра,
На горизонте вырастет гора,

По виду — опрокинутый казан:
Она и есть — тот самый талисман!

С бугра спустясь, будь точен и толков:
Двенадцать тысяч отсчитай шагов.

Но так я говорю тебе, смельчак:
Раскаяньем отмечен каждый шаг!

Путь перейдет в тропу. Тропа — узка,
Она ровна, но словно лед скользка.

На двух ее обочинах — гранит,
Острее мечей отточенных гранит.

Чуть шаг ступил — и соскользнул с тропы,
Скользнул — от раны не спасешь стопы.

Кто слаб, тот, горько плача и крича,
Вернется к водам этого ключа.

Но сильный духом — отсчитает так
Одиннадцатитысячный свой шаг.

Тут будет крепость. На стальных цепях
К ней лев прикован — воплощенный страх.

Пасть у него — ущелье, а не пасть:
Взглянуть нельзя, чтоб в обморок не пасть.

Но смельчака, кто, страх преодолев,
Пойдет на льва, не тронет страшный лев.

Его судьба теперь в его руках.
Врата твердыни — в тысяче шагах.

За сто шагов — гранитная плита, —
Натужься, сдвинь — откроются врата.

Войдешь — стоит железный истукан:
Вид — человека, воин-великан,

И лук железный держит воин тот
И сам стрелу на тетиву кладет,

А та стрела — и камень просверлит.
Такой дозорный в крепости стоит!

Весь в латах страж от головы до пят,
Горит, пылает жар железных лат.

На грудь навешен, как металлический диск,
Солнцеслепительный зеркальный диск,

Вонзи в него стрелу со ста шагов,
Не оцарапав и не расколов, —

И вмиг людоподобный исполин
На землю рухнет. Но не он один:

На крепостных стенах их сотня тут
И все в одно мгновение упадут,

И замок-талисман в тот самый миг
Откроется пред тем, кто всё постиг,

Но если кто в мишень и попадет,
Но зеркало стрелю разобьет, —

Все стрелы полетят в него — и он,
Как жаворонок, будет оперен.

Похож на клетку станет он, но в ней
Не запоет отныне соловей. . .

Всё в памяти, сынок мой, сбереги:
На всем пути считай свои шаги.

Не делай шага на своем пути,
Чтоб имя божье не произнести.

Лишь пасть отверзнет лев сторожевой,
Немедля в пасть ты бросишь перстень свой,

Твой перстень отрыгнув, издохнет зверь.
Поднимешь перстень и пойдешь теперь

Еще на девятьсот шагов вперед —
Плита тебе ворота отопрет.

А зеркало стрелой не расколоть
В тот миг тебе поможет сам господь.

Ступай и делай всё, как я сказал. . .»
Прах перед ним Фархад облобызал —

И в путь пустился, помня те слова;
Шаги считая, он дошел до льва.

Он бросил перстень в льва — и зверь издох.
Дошел до камня — сдвинул, сколько смог, —

И сразу же услышал голоса:
Шум за стеной высокой поднялся.

Но лишь открылись крепости врата,
В ней смерти воцарилась немота.

Глядит Фархад, не знает — явь иль блажь:
Стоит пред ним железный грозный страж —

И сто стрелков железных на стене
Натягивают луки, как во сне.

Молитвою сомнения глуша,
Спустил стрелу царевич не спеша —

И в средоточье зеркала, как в глаз,
Не расколов его, стрела впилась.

(Так женщина, к любимому прильнув
И робко и томительно мигнув,

Возобновляя страсть в его крови,
Медлительно кладет клеймо любви.)

Когда молниеносная стрела
Покой в зеркальном диске обрела,

Свалился вмиг железный Руин-Тен
И сто других попадали со стен. . .

Освободив от истуканов путь,
Свободно к замку-талисмани в путь

Пошел Фархад, и кованая дверь
Сама раскрылась перед ним теперь.

Богатства, там представшие ему,
Не снились и Каруну самому:

И Запад и Восток завоевав,
Тягот немало в жизни испытал,

Сокровища из побежденных стран
Свезил Руми в свой замок-талисман. . .

* * *

Был в середине замка небольшой
От прочих обособленный покой.

Он вокруг себя сиянье излучал,
Загадочностью душу обольщал.

Фархад вошел, предчувствием влеком;
Увидел солнце он под потолком, —

Нет, это лучезарная была
Самосветящаяся пиала! . .

Не пиала, а зеркало чудес —
Всевидящее око, дар небес!

Весь мир в многообразии своем,
Все тайны тайн отображались в нем:

События, дела и люди — всё,
И то, что было, и что будет, всё.

С поверхности был виден пуп земной,
Внутри вращались сферы — до одной.

Поверхность — словно сердце мудреца,
А внутренность — как помыслы творца.

Найдя такое чудо, стал Фархад
Не только весел и не только рад,

А воплощенным счастьем стал он сам,
К зеркальным приобщившись чудесам. . .

Оставив всё на месте, он ушел,
Обратно с дивной вестью он ушел.

У родника он на коня вскочил —
Утешить войско и отца спешил.

От груза горя всех избавил он,
Свои войска опять возглавил он.

Войска расположив у родника,
С собой он взял вазира-старика —

И в замок Искандара поутру
Привел благополучно Мульк-Ару.

Всё для отца вручил вазиру он,
Поднес ему и чашу мира он.

К стоянке лишь с вечернею зарей
Пришел царевич вместе с Мульк-Арой. . .

Когда фархадолика луна,
Сияющим спокойствием полна,

Разбила талисман твердыни дня,
И солнце — Искандар, — главу склоня,

Ушло во мрак, и легендарный Джем
Незримо поднял чашу вслед за тем, —

У родника живой воды вазир
Устраивал опять богатый пир.

Вино из чаши Джема пили там,
До дна не пивших не любили там,

Там пели о Джамшиде до утра,
Об Искандаре, сидя до утра.

* * *

Эй, кравчий, пир мой нынешний укрась:
Налей Джамшида чашу, не скупясь!

Напьюсь — мне Искандаров талисман
Откроет тайны всех времен и стран!

Глава XXV

ФАРХАД У СОКРАТА

Когда Сократ зари свой светлый взор
Уже направил на вершины гор

И астролябией небесных сфер
Осуществлял надмирный свой промер, —

Фархад молитвы богу воссылал
И буйного коня опять седлал.

Не колебался — верил свято он,
Что путь найдет к горе Сократа он.

Пошли за ним вазир и сам хакан,
Но не гремел походный барабан:

Войскам на месте быть велел Фархад,
В охрану взял он лишь один отряд. . .

Пустынную равнину перейдя,
Цветущую долину перейдя,

Остановились пред крутой горой:
Земля — горсть праха перед той горой.

В стекле небес лазурном — та гора,
Вздымалась до Сатурна та гора.

Она, как исполинский дромадер,
Горбом касалась высочайших сфер.

Вершина — вся зубчата, как пила. . .
Нет, не пилой — напильником была,

Обтачивавшим светлый, костяной
Шар, нами именуемый луной.

Не сам напильник бегал взад-вперед, —
Кость вокруг него свершала оборот.

Но, впрочем, шар отделан не вполне:
Изъяны в виде старца — на луне.

Не счесть ключей волшебных на горе,
Не счесть и трав целебных на горе.

Подножию горы — обмера нет,
В подножии — числа пещерам нет,

И так они черны и так темны, —
В них почернел бы даже шар луны.

Внутри пещер немало гор и скал,
Там водопадов грохот не смолкал,

Текли там сотни озверелых рек,
Вовек не прекращавших дикий бег.

В пещерах гор пещерных не один
Кровавый змей гнезвился — исполин. . .

Всё о горе узнать хотел Фархад,
И в чашу Джама поглядел Фархад.

Он увидал все страны света в ней, —
Воочию не видел бы ясней.

Он на семь поясов их разделил
И Грецию в одном определил.

Затем в разведку взоры выслал он —
И место той горы исчислил он.

Вот перед ним вся в зеркале она —
Пещера за пещерой в ней видна.

Он наяву не видел так пещер:
Смотрело зеркало сквозь мрак пещер.

И вот одна: приметы говорят,
Что в ней живет великий грек — Сократ.

Теперь Фархад нашел и тропку к ней.
Все шли за ним, приблизясь робко к ней.

Вошел царевич, зеркало неся:
Пещера ярко озарилась вся.

Препятствий было много на пути, —
Казалось, им до цели не дойти.

Вдруг — каменная лестница. По ней
Они прошли с десятков ступеней

И на просторный поднялись айван.
Вновь переход кривой, как ятаган,

И в самой глубине возник чертог. . .
Как преступить святилища порог?

Но голос из чертога прозвучал:
Переступить порог он приглашал.

Вошли не все, а лишь Фархад с отцом
И с верным их вазиром-мудрецом,

Как мысли входят в сердца светлый дом,
Так, трепеща, вошли они втроем.

Вступили в храм познания они —
Ослепли от сияния они.

То совершенный разум так сиял,
То чистый дух, как Зодиак, сиял.

Свет исходил не только от лица —
Лучился дух сквозь тело мудреца.

Кто, как гора, свой отряхнул подол
От всех мирских сует, соблазнов, зол

И, с места не сдвигаясь, как гора,
Стал воплощеньем высшего добра, —

Тот плоть свою в гранит горы зарыл,
А дух в граните плоти он сокрыл.

Но и сквозь камень плоти дух-рубин
Лучился светом мировых глубин. . .

Он в мире плотью светоносной был,
Он отраженьем макрокосма был.

Всё было высокосогласным в нем,
А сердце было морем ясным в нем,

В котором сонм несметных звездных тел,
Как жемчуг драгоценнейший, блестел!

Лик — зеркало познания божества,
В очах — само сиянье божества.

Где капля пота падала с чела, —
Смотри, звезда сиять там начала.

Лишь телом к месту он прикован был,
А духом странником веков он был.

Любовь и кротость — существо его,
А на челе познания торжество.

Перед таким величьем мудреца
У всех пришедших замерли сердца,

И дрожь благоговенья потрясла
Упавшие к его ногам тела.

* * *

Сократ спросил, как долго шли они,
Как трудный путь перенесли они

И через много ль им пришлось пройти
Опасностей, страданий на пути.

Но каждый, выслушав его вопрос,
Как будто онемел и в землю врос.

Сказал мудрец хакану: «Весь ты сед,
И много, верно, претерпел ты бед,

Пока моей обители достиг.
Но не горюй, почтеннейший старик:

Сокровища, которым нет цены,
Тебе уже всевышним вручены.

Но от меня узнай другую весть:
Еще одна тебе награда есть.

Великим счастьем отмечен ты:
Знай — будешь очень долговечен ты.

Открылось мне в движении планет,
Что жизнь твоя продлится до ста лет.

А если посетит тебя недуг
И раньше срока одряхлеешь вдруг, —

Я камешек тебе сейчас вручу:
К нему ты обратишься, как к врачу.

Ты этот камешек положишь в рот —
Недуг твой от тебя он отвернет,

И старческую немощь без следа
Он устранил на долгие года. . .»

А Мульк-Аре сказал он в свой черед:
«И ты немало претерпел тягот, —

Награду дать мне надо и тебе:
Ту самую награду — и тебе.

Одна опасность вам грозит троим, —
И мы пред ней в бессилии стоим.

Она — в соединенье двух начал, —
Блажен, кто только порознь их встречал!

Начала эти — воздух и вода.
Всевышний да поможет вам тогда. . .

Я всё открыл вам. . .» Шаху с Мульк-Арой
Кивнул Сократ учтиво головой

И сам их до порога проводил.
Фархада обласкал он, ободрил

И так сказал царевичу: «О ты,
Рожденный для скорбей и доброты!

Свой дух и плоть к страданиям приготовь:
Великую познаешь ты любовь.

Тысячелетье уж прошло с тех пор,
Как сам себя обрек я на затвор.

Я горячо судьбу благодарю,
Что наконец с тобою говорю.

Ведь ждал все дни и ночи я тебя!
Вот вижу я воочию тебя!

Мой час пришел — я в вечность ухожу.
Послушай, сын мой, что тебе скажу:

Знай, этот мир для праведных людей —
Узилище и торжество скорбей.

Да, жизнь — ничто, она — лишь прах и тлен!
Богатства, власть — всё это духа плен.

Не в этом смысл земного бытия:
Отречься должен человек от «я».

Найти заветный жемчуг не дано
Без погруженья на морское дно.

Тот, кто от «я» отрекся, только тот
К спасению дорогу обретет.

Дороги же к спасенью нет иной,
Помимо жертвенной любви земной.

Любовь печалью иссушает плоть,
В сухую щепку превращает плоть.

А лишь коснется, пламенно-светла, —
И вспыхнет щепка, и сгорит дотла.

Тебе любовь земная предстоит,
Которая тебя испепелит.

Ее не сможешь ты пребороть;
Ты обречен предать страданиям плоть.

Отвержен будешь, одинокий и сир,
Но озаришь своей любовью мир.

Слух о тебе до дальних стран дойдет,
Он до южан и северян дойдет.

Твоей любви прекрасная печаль
Затопит и девятой сферы даль.

Твоя любовь, страданьем велика,
Преданьями пройдет и сквозь века.

Где б ни были влюбленные — для них
Священным станет прах путей твоих.

Забудет мир о всех богатырях,
О кесарях, хаканах и царях.

Но о Фархаде будут вновь и вновь
Народы петь, превознося любовь! . . .»

Сократ умолк, глаза на миг закрыл
И, торопясь, опять заговорил:

«Пока глаза не смеркли, я скажу:
О том волшебном зеркале скажу,

Которое ты вынул из ларца
В сокровищнице своего отца.

Когда железный латник-великан,
Хранивший Искандаров талисман,

Сквозь зеркало, что ты стрелой пробил,
Сражен тобой молниеносно был, —

То расколдован был в тот самый миг
И первый талисман — его двойник.

Когда вернешься в свой родной Китай,
Ты свойство талисмана испытай, —

Открой ларец — и в зеркало смотри:
Что скрыл художник у него внутри,

Проступит на поверхность. Ты узришь
Ту, от кого ты вспыхнешь и сгоришь,

Начнется здесь твоей любви пожар, —
Раздуй его, благослови пожар.

Но знай: лишь раз, мгновение одно
Виденье это созерцать дано.

Откроет тайну зеркало на миг,
Твоей любви ты в нем увидишь лик,

Но ни на миг виденья не продлить.
Твоей судьбы запутается нить:

Ты станешь думать лишь о ней теперь,
Страдать ты будешь всё сильнее теперь,

И даже я, хранитель всех наук,
Не угасил бы пламя этих мук.

Так, на тебя свои войска погнав,
Схватив и в цепи страсти заковав,

Любовь тебя пленит навек. Но знай:
Как ни страдай в плену, как ни стеной,

Но кто такой любовью жил хоть миг —
Могущественней тысячи владык!

Прощай. . . Мне время в вечность отойти,
А ты, что в мире ищешь, обрети.

Порой, страдая на огне любви,
Мое ты имя в сердце назови. . .»

На этом речь свою Сократ пресек:
Смежив глаза, почил великий грек,

Ушел, как и Сухейль, в тот долгий путь,
Откуда никого нельзя вернуть. . .

Теперь Фархад рыдал, вдвойне скорбя:
Оплакивал Сократа и себя.

И шаха он и Мульк-Ару позвал
И вместе с ними слезы проливал.

Затем со свитой вместе, как могли,
Положенную долею земли

Навечно наделили мудреца —
Устроили обитель мертвеца.

* * *

Когда Фархад хакану сообщил,
Что грек ему великий возвестил,

То старый шах едва не умер: столь
Великую переживал он боль.

Была судьба нещадна к старику! . .
Печально возвращались к роднику.

Когда же солнце мудро, как Сократ,
Благословило собственный закат,

То ночь — Лукман, глубоко омрачась,
Над ним рыдала, в траур облачась.

Хакан устроил поминальный пир,
Хоть и обильный, но печальный пир.

В ту ночь пришлось вино погорше пить, —
В чем, как не в горьком, горе утопить?

* * *

Послушай, кравчий, друг мой! Будь умней,
Вина мне дай погуще, потемней.

Ты чару горем закипеть заставь,
Меня хоть миг ты не скорбеть заставь!

Глава XXVI

ВИДЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ ИСКАНДАРА

Лишь утренней зари забил родник,
Преобразив небесный луг в цветник, —

Свои войска из греческой земли
В Китай хакан с Фархадом повели.

Дел не имея на пути своем,
Шли без задержек, ночью шли и днем.

И вот царевич и его отец
В родной Китай вернулись наконец. . .

Хакан воссел на трон, — скажи, что так
Луна в зодиакальный входит знак,

Фархад унять волнения не мог,
Едва переступив родной порог,

Он, удержать не в силах чувств своих,
Потребовал ключи от кладовых:

Свою мечту увидит он теперь!
Сокровищницы распахнул он дверь, —

И вот ларец в его руках. . . о нет,
Скажи: вместилище ста тысяч бед!

«О казначей, поторопись, не мучь:
От ларчика подай скорее ключ!»

Но ключик, видно, в сговоре с замком,
Твердит свое железным язычком,

И в скважину войти не хочет он, —
Царевичу беду пророчит он,

И за намеком делает намек
Упрямому царевичу замок.

Волос упавших дергает он прядь:
«Оставь меня, не надо отпирать!»

Но человек не властен над собой,
Когда он соблазнен своей судьбой.

Царевич всё же отомкнул замок
И зеркало из ларчика извлек.

Глядит Фархад, и, изумленный, вдруг
Роскошный видит он зеленый луг.

Обильно луг цветами весь порос —
Не счесть фиалок, гиацинтов, роз.

Там каждая травинка — узкий нож,
Заржавленный от кровопуска нож;

Там каждая фиалка — страшный крюк,
Чтоб разум твой хватать за горло вдруг;

Нарцисс вином столь пьяным угощал,
Что сразу ум в безумье превращал;

В крови у каждой розы лепестки;
Петляются гиацинтов завитки,

И что ни завиток — аркан тугой,
Которым ловят разум и покой;

Татарский мускус темень источал, —
Он будущность народа омрачал;

В предчувствии, как будет гнет велик,
У лилий отнимался там язык;

И розы страсти распускались там, —
Чернели, сохли, выпекались там;

Всходили там цветы — богатыри, —
Горели гневом мести бунтари.

Царили там смятенье и печаль. . .
Фархад теперь окинул взором даль.

Он увидел гряду гранитных скал —
Их дикий строй долину замыкал.

И там, на склонах каменной гряды,
Людей каких-то видит он ряды.

Они стоят, как будто вышли в бой,
Толкуя оживленно меж собой.

Но у людей — ни луков и ни пик, —
Кирки в руках: долбят в камнях арык.

Один из них, хоть молод он на вид,
Всех возглавляя, сам долбит гранит,

То действует киркою, то теслом,
Каменотесным занят ремеслом.

Как он печален! На него, скорбя,
Глядит Фархад — и узнает себя!

А в это время из-за острых скал
Сюда отряд наездниц прискакал:

Красавицы, пленяющие взгляд,
На каждой — драгоценнейший наряд.

Одна была — как шах среди всей толпы:
Как роза — лоб, ресницы — как шипы;

Век полукружья бледны, высоки,
Уста ее румяны и узки.

А конь ее — не конь, а дар небес!
Нет, хром, в сравненье с ним, тулпар небес!

Как управляла резвым скакуном,
Как восседала, гордая, на нем!

На скакуне она, как вихрь, неслась,
Стремительнее всех других неслась.

Был облик пери лучезарно-юн,
Она казалась солнцем между лун.

Куда б ни обращала взор с седла,
Сжигала вмиг сердца людей дотла...

Глядит Фархад и видит, что она
В ту сторону пустила скакуна,

Где был он сам, печальный и худой,
Изображен в работе над плитой.

Когда же, перед ним остановясь,
Она его окликнула, смеясь,

И всадницы лучистоокой взгляд
Почувствовал каменотес Фархад, —

Его черты покрыла смерти тень,
И он упал, как раненый олень. . .

Увидя, как упал его двойник,
Едва пред ним блеснул той пери лик,

Получше разглядеть решил Фархад
Красавицу, чей смертоносен взгляд.

Поднес он ближе зеркало к глазам,
Взглянул — и простонал, и обмер сам,

И на пол так же, как его двойник,
Бесчувственно упал он в тот же миг.

Бегут к хакану слуги: «Ой, беда!»
Вошли, дрожат в испуге: «Ой, беда!»

Услышал шах — и ворот разодрал:
Увы! Увы! Он сына потерял!

Мать прибежала — и за прядью прядь
Свои седины стала вырывать.

Узнал и зарыдал мудрец-вазир:
Любил Фархада, как отец, вазир.

И друг Фархада и молочный брат,
Сын Мульк-Ары, Бахрам, кого Фархад

Считал ближайшим сверстником своим,
Душевнейшим наперсником своим, —

Не ворот — грудь свою порвал, скорбя, —
Чуть не лишил он жизни сам себя,

Родные, свита, слуги и врачи —
Как мотыльки у огонька свечи,

Вокруг Фархада плачут, хлопоча,
Увы, увы, — угасла их свеча! . .

Он как покойник сутки пролежал,
Нет, был он жив, хотя едва дышал.

И лишь когда свой животворный ток
Принес под утро свежий ветерок,

Фархад вздохнул и бровью чуть повел,
Румянцем жизни трепетным расцвел,

Глаза открыл — и видит, как сквозь сон,
Что близкими он всеми окружен,

И все в слезах, и он не мог понять,
Что в скорбь оделись и отец и мать. . .

Когда же всё припомнил он, тогда
Страдать он стал от горького стыда,

И был готов свою мечту проклясть
И в обморок непробудимый впасть.

Он поднялся и тут же в прах лицом
Пред матерью упал и пред отцом,

И ноги их смиренно целовал,
И плача о прощенье умолял.

И, счастливы, что милый сын их жив,
Его утешив и благословив,

Родители и все, кто были там,
Ушли спокойно по своим делам. . .

* * *

Хоть искренне отречься был бы рад
От своего желания Фархад,

Хоть был он отягчен виной большой —
Однако же всем сердцем, всей душой

Он к зеркалу тому прикован был,
И стыд и смерть принять готов он был,

Он искушенья не преоборол,
И снова доступ к зеркалу обрел —

И снова жадно заглянул в него.
Но было зеркало чудес мертво!

Сократ был прав: из зеркала чудес
Волшебный образ навсегда исчез.

И тут царевич понял: он навек
В страданья ввергнут, обречен навек,

И не спастись от роковой тоски,
Хоть разорвал бы сам себя в куски.

Он размышлял: «Раз жребий мой таков,
И страсти не расторгнуть мне оков,

И смерть моя хоть и близка, но всё ж
Вонзит не сразу избавленья нож,

То до того, пока от жгучих дум
Еще не вовсе потерял я ум

И не совсем лишился воли я, —
Обдумать должен всё тем боле я.

Благоразумным быть мой долг теперь,
Лишь этот путь сулит мне толк теперь,

Лишь так отца утешить я смогу.
Что из того, что сразу убегу?

Куда уйду один? Где скрыться мне?
Шах разошлет гонцов по всей стране,

Войска он двинет по моим следам,
Схватить меня он даст приказ войскам, . . .

И несомненно, через два-три дня
В любом убежище найдут меня.

А если вынуть меч и в бой вступить, —
За что же подневольный люд губить?

Ужель народу за любовь его
Моей наградой будет кровь его?

Себя на жертву лучше мне обречь,
Чем на родной народ обрушить меч!

Пусть шах-отец меня потом простит,
Ведь всё равно меня замучит стыд.

В лицо народу как я погляжу,
Что богу я в конце концов скажу?

А если б и пойти на тяжкий грех
И обнажить свой меч — один на всех, —

То сколько бы невинных ни убить,
Мне всё же победителем не быть!

Я буду схвачен. Если даже шах
И не казнит, — возьмет под стражу шах.

А может быть и так: признает суд,
Что я безумен, — в цепи закуют.

И сколько б я ни клялся, что здоров, —
Как докажу? Закон страны суров.

Себя пока я должен оберечь,
Свои поступки обуздая и речь! . . .»

Увы, не знал он, что любовь сама
На ветер пустит доводы ума. . .

* * *

Быть пьяным, кравчий, мой обычай стал,
С тех пор как от ума я притчей стал!

Вина любви губительной налей,
Но от ума избавь меня скорей!

Глава XXVII

ВРАЧИ ПОСЫЛАЮТ ФАРХАДА НА ОСТРОВА

Знаток любовных тайн и сердцевед
О ходе дела дал такой ответ.

* * *

Хотя Фархад любовь свою скрывал
И поводов к упрекам не давал,

Но если в доме пламя — неужель
Дым не найдет хоть маленькую щель?

И солнца ночью мы не видим, но —
Померкнут звезды — явится оно.

В какой мешочек мускус ни зашить,
Но запаха его не заглушить.

Тюльпан в бутоне тем приятен нам,
Что не видать сначала пятен нам.

Но лишь он распустился, мы на нем
Все пятна, все пороки узнаем.

Хотя на вид и был Фархад здоров,
Под хворостом благоразумных слов

Пытаясь скрыть сердечный свой костер, —
Однако вздох, слеза, скорбящий взор

На подозренья наводили вдруг,
Что есть какой-то тайный в нем недуг.

Любовь — пожар. Где дом души в огне,
Что скроет занавеска на окне?

Нам солнце и на атом не закрыть
И море в пузырек не перелить.

Кровавая слеза в глазах видна,
Как сквозь бутылку капелька вина.

И потому Фархад недолго мог
Скрывать огонь, который сердце жег.

И чем он больше тот огонь скрывал,
Он тем его сильнее раздувал.

Так он страдал всё больше с каждым днем,
И сил таиться не осталось в нем.

Он быстро чах, он превратился в тень, —
Все видели, что воском стал кремень,

Что стан прямой, как пальма, под грозой
Стал слабой виноградною лозой.

Однако же в вине подобных лоз —
Несякнувший родник кровавых слез.

Покуда мозг еще в нем был силен,
Он был и крепким телом наделен.

Теперь, когда ослаб от страсти дух,
И тело поддалось болезням вдруг,

Любовный прорываться начал бред, —
Он явно был безумием задет. . .

Шах, видя положение вещей,
Созвал друзей, советников, врачей;

Те долго обсуждали, чем он хвор,
Среди врачей возник ученый спор.

Тот скажет так, другой — наоборот,
Но лекарская мудрость верх берет —

И, всё обдумав и оговоря,
Докладывают шаху лекаря:

«Мозг шах-заде, бесспорно, поврежден —
Он многим был чрезмерно увлечен.

Зловредный жар возник внезапно в нем,
И этот жар усилен был вином.

С трех лет уже твой сын — не по годам —
Весьма ученым предался трудам.

Затем он погрузил в ремесла мозг,
А детский мозг, о шах, — не взрослый мозг!

Поход, который совершил твой сын, —
Одна из прочих пагубных причин:

Дракон в него своим огнем дышал,
Свирепый див камнями оглушал,

Он думами всё раскалял свой дух,
И воспалился мозг — и стал он сух.

В природе нынче также страшный зной;
Земля от засухи страдает злой;

Конец джауза. Ветер раскален,
Всё обжигает он со всех сторон;

И небо, словно печь, раскалено,
И солнце, как язык огня, красно.

Заря вздувает пламя, словно мех,
Ночь подсыпает уголь без помех;

Не метеоры падают в ночи —
То искры вылетают из печи.

Зной так силен, настолько жарки дни,
Что закипают родники в тени.

Не только на овец напал вертеж,
Но и людей в покое не найдешь:

Как саламандры, мы живем в огне,
Но все мечтаем о прохладном дне.

Так всю природу истомляет жар, —
Стократ Фархада изнуряет жар!

Чтоб жар его недуга умягчить,
Обратным средством надобно лечить.

Он изнутри горит, и потому
Прохладу, влагу нужно дать ему.

Такое место исцеленья есть:
Путь по морю туда дней пять иль шесть,

Там остров есть — красив он и велик,
Гора на нем, а на горе — ледник.

А с ледника струятся родники, —
Как лед, все холодны, как мед, сладки,

От моря — влага и прохлада там,
Пасутся в небесах Плеяды там.

Ту красоту описывать нет слов, —
Больной царевич станет там здоров. . .»

Надежду почерпнув из их речей,
Шах согласился с мнением врачей.

Вазиру Мульк-Аре он дал приказ,
Чтоб для пути морского всё припас.

К царевичу он вестника послал.
Фархад обрадовался и сказал:

«Хакану передайте мой привет,
Дерзну ль сказать: «Я сын его»? О нет!

Я жалкий раб его, — и всё, что он
Прикажет мне, то для меня закон.

В какие б он ни двинулся края,
Его стопой будь голова моя!»

Утешенный согласьем сына, шах
Молитву благодарности, в слезах,

Вознес творцу — и, вызвав Мульк-Ару,
Распорядился погрузить к утру

И привести в порядок корабли,
Чтоб завтра же отплыть они могли.

Был несказанно, бесконечно рад
Отцовскому решению Фархад:

Сам из дому он убежать не мог, —
Вот на чужбину выехать предлог!

Все странствия случайностей полны,
Всё может быть по прихоти волны.

Быть может, он очутится и там —
В краю, которого не знает сам.

Так и отца не опечалит он,
И сам к своей любви причалит он! . .

Так был хитер его расчетов ход,
Как будто всё предвидел он вперед.

Недуга словно не бывало в нем,
Как море, радость бушевала в нем;
Волнами мысли закипели вдруг,
Уста сомкнулись, как на судне люк;
Воображенье вздуло паруса,
Мережились, манили чудеса. . .

* * *

Эй, кравчий, морем винным угости —
И чашу, как челнок, в него спусти!

Блуждаю в море злой печали я:
Свой утлый челн куда причаляю я?

Глава XXVIII КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ

Жемчужину редчайшую для нас
Извлек нырнувший в море водолаз. . .

* * *

Для путешествия морского всё
Уже закончено, готово всё. . .

Пошли большие корабли вперед —
За каждым забурлил водоворот.

Пошли за ними стаями челны.
Волнами их вздымаемы, челны

Качались так, как если б в этот час
Удар подземный весь Китай потряс.

Морское дело знают моряки:
Им весла — то, что рыбам плавники.

Усердно корабельщики гребли,
Неслись, волну взрезая, корабли,

Неслись челны — и каждый словно конь, —
Разбрызгивая водяной огонь. . .

Два дня, две ночи плыли корабли.
Всё ближе к цели были корабли.

Сильней вздувает ветер паруса,
Волна морская словно бирюза:

Сливаются с водой края небес.
Открылся для Фархада мир чудес:

И вёсел плеск, и мачт высоких скрип,
И вид шныряющих диковин-рыб.

Посмотришь — сердце в ужасе замрет,
Страшилища неведомых пород!

Плывут, как будто горы-острова,
А присмотришь — живые существа.

То — рыбы, а не горные хребты,
Как волны — их узорные хребты.

А скорость их! Небесный метеор
В своем паденье не настолько скор.

Те безобразьем отвращают, те
Ни с чем нельзя сравнить по красоте, —

Так изумительна окраска их,
Все очертанья, вся оснастка их.

Вокруг кишки тучи мелких рыб.
Всю эту мелочь мы сравнить могли б

С густой травой, что буйно, без числа
Вкруг мощных кипарисов проросла.

Немало в море и Фархад и шах
Встречали исполинских черепах.

Их костяные страшные тела
Вздymались над водой, как купола,

Что так вселенский зодчий воздвигал
И сам в пучину моря низвергал.

И неклюже плавающих вкось . . .
Им видеть в море крабов довелось.

Столкнется с черепахой краб порой —
Столкнулась, ты б сказал, гора с горой.

За рыбами, как тигры вод морских,
Акулы шли и пожирали их.

Их тело — как гранитная гора,
А кожа их — шершавая кора,

И вся в шипах. А пасть откроют — в ней
Не счесть зубов. . . нет, не зубов — гвоздей!

А на спине — плавник стоит торчком, —
Зови его пилой — не плавником.

Нет! Копья полчищ моря — тот плавник,
Зубцы твердыни горя — тот плавник!

Вокруг морских собак бурлит всегда,
Как муравейник вокруг змеи, вода.

На суше много хищников живет,
Но их не меньше и в пучине вод.

Кто нужным счел и воды населять,
Оплел сетями и морскую гладь. . .

* * *

Так, наблюдая чудеса везде,
Два дня уж плыли шах и шах-заде.

Однако их на бедствия обрек
В делах своих непостижимый рок.

Недобрым резким ветром дунул юг —
Морская буря разразилась вдруг.

И ужаснулись даже моряки —
И, разрывая ворот, старики

В отчаянье докладывали так:
«Приметы знает опытный моряк, —

Бушует эта буря раз в сто лет, —
Добра не ждать, а ждать великих бед!»

Решили так: пока возможность есть,
Шах должен с сыном в лодку пересесть,

А эта лодка — месяца быстрее
Могла стремиться по зыбям морей.

Быть может, челн успеет их умчать,
Пока не начал ураган крепчать.

Ладью спустили. На беду свою,
Фархад-царевич первым сел в ладью.

Но вихрь, вонзив мгновенно когти волн,
Прочь оттащил от корабля тот челн.

Старик хакан, оставшийся один,
Рвал в иступленье серебро седин,

Рыдал, вопил. . . А где-то вдалеке
Сын мерил море в зыбком челноке.

Кто мог разлуку эту им предречь?
Увы, она не предвещала встреч! . .

А ураган, как разъяренный зверь,
Пришел уже в неистовство теперь:

Обрушил с неба мировой потоп;
До дна пучину моря всю разгреб;

Не только воды, — небо всколебал,
То небо вниз швырял, то в небо — вал,

И не до нижних сфер, а до высот
Девятой сферы вал иной взнесет;

И пеною всё плещет в небеса,
Пощечинами хлещет небеса,

А от таких пощечин небосвод
Темнел, стал мрачным очень небосвод.

Настала ночь. . . Но ураган не стих,
Катил он сотни тысяч волн больших —

И по волнам швырял туда-сюда,
Как щепки, величайшие суда;
То погружал их мачты в бездны он,
То тыкал ими в свод небесный он,
Как тычет пикой в грудь врага багыр.
И тысячи проткнул он в небе дыр:
Светила, замерцавшие сквозь тьму,
Служили доказательством тому.
Созвездья Рыб и Рака, трепеща,
В пучину вод низверглись сообща.
А остальные — в страхе пред водой,
Едва завидя месяц молодой,
К его ладье все устремились, в ней
Спасть пытаясь от морских зыбей.
И ангелы, путей небес лишась,
Ныряли в море, в уток превратясь.

* * *

Прошла в жестокой непогоде ночь.
Когда была уж на исходе ночь
И лоно неба стало поутру
Подобно бирюзовому шатру, —
Свирепый ураган ослаб, уснул,
И моря успокоился разгул.
Но корабли! Из сотни их — едва
Держались на воде один иль два!
Хоть были очень крепки корабли —
Разбила буря в щепки корабли,
И море на себе теперь несло
Осколок мачты, утлое весло,
Несло обломки жалкие досок,
И люди, за такой держась кусок,

Зависели от милости волны,
Как без руля и паруса челны.

Счастливец тот, кто сразу же погиб,
Кто заживо не стал добычей рыб! . .

Но уцелел в ту ночь не потому,
Что рок был благосклоннее к нему,

Корабль, на коем шах и Мульк-Ара
Спасительного дождались утра, —

Нет, причинив ему немало зла,
Судьба его осилить не смогла!

Но люди, плывшие на нем, — увы,
Безумны были иль полумертвы!

Носило море их из края в край,
В конце концов их отнесло в Китай,

Где выбросил их на берег прибой.
Там жители сбежались к ним толпой,

И лишь узнали, что произошло,
Какое корабли постигло зло,

Что унесло Фархада в океан
И что на этом судне сам хакан, —

И местный хан и тамошний народ
Так много проявили к ним забот,

Что все пришли в себя. Но шах-старик,
Не видя сына, снова поднял крик:

Настигнут был несчастьем снова он,
Рыдал, звал сына дорогого он,

Хоть мысленно и допускал чуть-чуть,
Что и Фархад мог выплыть где-нибудь,

Он также вспомнил, что предрек Сократ,
Но своему спасенью был не рад.

Всё ж пред судьбой решил смириться он —
Отправился в свою столицу он. . .

* * *

Дай, кравчий, выпить прямо из ковша:
Барахтается в море бед душа!

Из моря скорби как спастись душе?
В ладье ковша дай унестишь душе!

Глава XXIX

СПАСЕНИЕ ФАРХАДА И ВСТРЕЧА С ШАПУРОМ

Кто плавал по морям, нам о таком
Рассказывает случае морском. . .

* * *

Недолго войско разъяренных волн
Цадило утлый одинокий челн.

Фархад на нем недалеко уплыл —
Челнок разбит волнами вскоре был.

Фархад, за доску ухватясь одну,
Поэтому лишь не пошел ко дну.

С душой своей заранее простясь,
Но в доску из последних сил вцепясь,

Он стал игрушкой волн — и так устал,
Что сам бесчувственной доскою стал.

Когда над морем день уже сверкнул,
И ураган свой невод волн свернул,

И крик тревожный быстрых птиц морских
Над успокоенной стихией стих, —

Доска, Фархада на себе держа,
Йеменского достигла рубежа.

А тут как раз к Йемену судно шло, —
Его с пути прямого унесло.

Богатые купцы везли в Йемен
Индийский жемчуг, дорогой эбен.

Заметив человека на доске,
Они людей послали в челноке.

И вот — к доске примкнут челночный борт:
Пред моряками на доске простерт

Прекрасный юноша, — казалось, он
Всех чувств живых был навсегда лишен.

Хоть был он неподвижен, словно труп,
Однако же, из посиневших губ

Лишь признаки дыханья уловив,
Решили моряки, что был он жив.

И вот на дно челна он погружен
И на корабль поспешно привезен.

Купцы, вокруг него захлопотав,
Ароматичных средств понюхать дав,

Налили в рот ему затем питья —
И вывели его из забытья.

Чуть приподнявшись и еще без сил,
Фархад про всё, что было с ним, спросил.

Дав о его спасении отчет,
Купцы его спросили в свой черед,

Кто он, откуда плыл он и куда,
Где потерпел крушенье и когда.

Сказал он: «Мы — китайцы. Шли в Йемен,
Шелков богатый груз везли в Йемен,

Увы, в пути постигло горе нас;
Застигла злая буря в море нас, —

Товарищи мои на дно пошли,
Шелка туда же заодно пошли.

Я доску от челна успел поймать,
Но так же, как и остальные пять,

Пошел бы я ко дну, когда бы вас
Не выслал мне господь в последний час,

Что испытал я на доске своей,
Игралище бушующих зыбей,

Как я страдал, и сколько вынес мук,
И как доски не выпустил из рук,

И как страшна была ночная тьма,
И как и сколько раз сходил с ума, —

Зачем печальной повестью такой
Мне ваш душевный омрачать покой?

Когда же, в эти воды занесен,
Я впал уже почти что в вечный сон,

То, если вы меня тут не нашли б,
Я вскоре б, разумеется, погиб.

За это чем я вам воздать могу?
Я в неоплатном остаюсь долгу,

И, проживи я сотни лет хотя б,
До самой смерти я ваш верный раб! . . .»

Так говорил красноречиво он,
Настолько их растрогал живо он,

Что всех очаровал, — они ему
Сердечно покорились самому:

Старались пищей угодить, питьем,
Заботились о нем, как о родном, —

И постепенно стал Фархад опять
Душой и телом силы накапливать.

* * *

Вдруг, словно птицы, на ходу легки,
Какие-то плывут к ним челноки.

На корабле все начали вопить:
«О горе нам! Что делать? Как нам быть?»

Все мечутся, бледны с испуга все,
Прощенья просят друг у друга все —

И на Фархада с ужасом глядят:
«О милый гость, несчастный наш Фархад!»

Фархад не понимает, что стряслось,
Из-за чего смятенье поднялось,

А те, крича и плача, молвят так:
«Да, видно, ты неопытный моряк.

Тут дикари на островах живут,
Живут они морским разбоем тут.

Страшнее грозных бурь для моряков
Вид их долбленых черных челноков.

Один корабль иль целый караван —
Равно боятся тех островитян.

Они же, дикой смелости полны,
Едва заметив судно, мчат челны,

Они летят ему навстречу все,
В него снаряды с нефтью мечут все,

Зажгут корабль и — скопом — тут и там
Взлезают по пылающим бортам,

Всех перебьют, разграбят весь товар —
И уплывут, любуясь на пожар,

Такое их морское ремесло! . . ;
А нас сюда волною занесло,

Мы потеряли безопасный путь, —
Погибли мы, нам некуда свернуть! . . »

Благоразумен и невозмутим,
Фархад на это отвечает им:

«Не рано ль вам в отчаянье впадать?
Господь успеет помощь нам подать.

Корабль еще покуда не сгорел, —
Найдите лук и хоть немного стрел:

Пусть мало сведущ в деле я морском,
Но слыл когда-то неплохим стрелком».

И тут нашелся лук и стрелы вдруг;
Лук, правда, недостаточно был туг,

И стрелы оказались коротки
И для Фархада чересчур легки.

Но так как был уже со всех сторон
Корабль их челноками окружен

И нефтяной пылающий снаряд
Уже держал один дикарь-пират, —

Фархад немедля с жилы тетивной
Пустил стрелу в сосуд тот нефтяной,

И не ошибся даже на вершок:
Сосуд разбился, и огонь зажег

Метальщика, подручника при нем,
И самый челн охвачен был огнем.

Другой разбойник взялся за снаряд —
С ним точно так же поступил Фархад.

Едва Фархад заметит там иль тут
Уже зажженный нефтяной сосуд,

Как в тот же миг сражен его стрелой
И сам огнеметальщик удалой,

И челн горит, и люди на челне
Спасенья ищут от огня в волне.

Фархад губил челнок за челноком,
Сгубил он два отряда целиком,

И лишь тогда стрельбу он прекратил,
Когда всех прочих в бегство обратил.

* * *

Опасность миновала. А меж тем —
Народ на корабле остался нем.

Придя в себя и шумною толпой
Фархада окружив, наперебой

Его благодарили все, пред ним
Склоняя головы, как пред святым.

Богатства за Фархада все отдать
И душу были бы рады все отдать.

А сам Фархад устал, сидел грустя. . .
Но вот еще дня два иль три спустя

Вдруг закричал дозорный корабля:
«Я вижу землю! Впереди — земля!»

То был Йемен. Избегнув бед и зол,
Корабль к желанной пристани пришел,

* * *

И наняли в том городе потом
Купцы красивый и удобный дом

И, не теряя дорогих минут,
На радостях запиروвали тут.

Они достали крепкое вино —
Рубин не так был ярок, как оно.

Фархад же, от вина разгорячась,
Заплакал: он припомнил в этот час

Свою страну, хаканский дом-дворец,
Гадал — погиб иль жив его отец,

А если жив, как должен он страдать!
Что испытала и жива ли мать?

Каким теперь страдальцем стал он сам;
Ведь сиротой, скитальцем стал он сам!

Он был среди друзей, но одинок,
Он душу им свою открыть не мог,

То вдруг одна его терзала боль,
То новая вонзала жало боль;

То он горел влюбленностью своей,
То страшной обреченностью своей.

Купцы не знали ни причины слез,
Ни тайных мук его, ни тайных грез.

И, видя, что взбодрить его нельзя,
Печальны стали и его друзья.

Не всё мы видим и в душе своей, —
Душа чужая — нам в сто раз темней! . .

* * *

Ума и благородства образец
Был некий там, хотя и не купец,

Но в странствиях свой проводивший век
Один весьма достойный человек.

Художником прославленным он был,
Непревзойденным мастером он слыл.

Венец искусства и его закон —
Был гордостью своей эпохи он.

Пером и кистью он весь мир увлек,
И в мире знал он каждый уголок: . .

Он и Восток и Запад исходил,
Он и страну китайцев посетил.

Искусство их он изучал в те дни,
Знакомился с твореньями Мани.

На первенство он с ним затеял спор,
Который не решен и до сих пор.

Шапура имя обошло весь мир,
Шапур для всех народов был кумир.

По воле случая попал и сам
Он, как Фархад, на судно к тем купцам.

По обхождению, как и по уму,
Фархад пришелся по душе ему.

Он за Фархадом в море наблюдал
И, видя, как он горевал, страдал,

Он угадал в нем, глядя на него,
Не схожее со всеми существо.

Но этой сути необычный знак
Не мог Шапур определить никак.

Здесь на пиру, догадкой осенен,
Тоску и плач Фархада понял он:

Так может плакать от любовных ран,
Кто жертвой страсти был судьбой избран.

Шапур, дабы проверить вывод свой,
Речь о любви затеял роковой.

Хоть слез Фархад и не унял, но вдруг
Он весь притих, весь превратился в слух.

И, взвешивая все слова свои,
Мудрец Шапур вел речи о любви.

Тут им открылась дружбы их стезя,
И не могли с нее свернуть друзья.

С ним продолжал беседовать Шапур,
Но не спешил выведывать Шапур

Всю тайну сразу: знал он, что Фархад
И сам ему открыться будет рад.

Любовь участия жаждет каждый миг, —
Вино умеет развязать язык.

К Шапуру всей душой своей влеком
И опьянен любовью и вином,

Фархад уже был мысленно готов
Над тайной сердца приподнять покров.

И задал тут Шапур прямой вопрос:
«Кто ты, откуда, в чем причина слез?»

Свое происхождение скрыл Фархад:
«Что в этом проку?» — говорил Фархад.

Об остальном сказал, но вкратце он:
Про зеркало не смел признаться он.

Сказал он так, что, мол, во сне одна
Ему приснилась дивная страна.

Он не читал, не слышал о стране,
Подобной им увиденной во сне,

Но так она чудесно хороша,
Что ею пленена навек душа.

И вот — с тех пор он бросил край родной,
Разыскивает этот рай земной.

Приметы он привел своей мечты —
Какие горы видел и цветы.

Фархад уже готов был и про ту
Красавицу сказать начистоту,

Но застонал, и, не разжавши уст,
Смертельно побледнел — и пал без чувств. . .

Шапур немедля помощь оказал:
Он голову Фархада поддержал,

Виски ему натер, а также грудь, —
Сумел ему сознание вернуть.

Купцы, однако, — все до одного —
Так напились вина, что ничего

Не видели и не могли понять,
И меж друзей беседа шла опять.

Шапур сказал: «О кипарис Фархад,
Не унывай, приободришь, Фархад!

Осенних ветров ты изведаль гнет,
Но тверже будь — и ветер не согнет.

Угодно было, видимо, судьбе,
Чтоб ты мне всё поведал о себе.

Итак — отчаяньем себя не мучь:
К замку твоей мечты имею ключ.

Настолько точно описал ты мне
Тот край, который видел лишь во сне,

Что я узнал его! Я был там сам!
Я вновь влекусь к тем дивным небесам.

Не может быть другой такой страны:
Всё сходится, приметы все верны.

Живительно-тепло погоды в ней,
Обилье роз и плодородье в ней.

Как сам Ирем, пленительно свежа
Она от рубежа до рубежа.

Армен — ее название. Если ты
Отправишься в страну своей мечты,

Возьми меня, о друг мой дорогой,
Своим проводником, своим слугой!

А если ты не веришь мне, могу
И доказать тебе, что я не лгу».

Художник кисть и лист бумаги взял
И вид Армена тут же набросал.

Взглянул Фархад — и сладостно вздохнул, —
Он будто снова в зеркало взглянул!

Дорогу в царство друга обретя,
Он ликовал, как пьяный, как дитя...

* * *

Эй, кравчий, дай вина повеселей!
Весть получил я о мечте своей!

Красавицу армянку как забыть?
Хочу сегодня по-армянски пить!

Глава XXX

ФАРХАД С ШАПУРОМ ПРИБЫВАЮТ В СТРАНУ АРМЕН

Кто вел их к цели, тот, по мере сил,
Предмет их цели так изобразил.

* * *

Проснувшийся задолго до утра,
Фархад мгновенно вспомнил, что вчера

Сказал Шапур, что он нарисовал
И как страну его мечты назвал.

Еще была густа ночная тьма
И небо черным было, как сурьма, —

Он, с ложа встав, к Шапуру побежал, —
Ему бы ноги он облобызал.

Шапуру показалось, что к нему
Внезапно хлынул дивный свет сквозь тьму,

Когда Фархад его окликнул вдруг.
И он сказал: «О дорогой мой друг!

О царь страдальцев, жертв своей любви,
Твой след священен для людей любви!

Неужто разговор о той стране
Привел тебя в такую рань ко мне?»

Фархад воскликнул: «Знай, что весть твоя —
Весть возрождения мне, весть бытия!

Цель жизни, оправдание мое —
Моя любовь, страдание мое.

Ты слово дал мне — слово соблюди, —
Меня в тот край желанный приведи».

Шапур сказал: «С тобою путь в тот край,
Как он ни труден будь, мне будет рай.

Ну, с богом, светоч времени, — пойдем!»
В путь снаряжаясь, они пошли вдвоем.

Они — за переходом переход —
Без длительных привалов шли вперед.

Шапур был бодр, легко с Фархадом шел,
Фархад как тень с Шапуrom рядом шел.

О свойстве дружбы речь велась у них,
О спутниках хороших и дурных.

Рассказами свой улаждая путь,
Беседами свой коротая путь,

Даль мерили они за шагом шаг,
И дружба их росла и крепла так.

Рисунком друга по пути не раз
Фархад и сердце улаждал, и глаз,

Превозносил Шапура мастерство,
С китайским даже сравнивал его,

И столько он вопросов задавал:
Что создавал Шапур, как создавал,

Что стал Шапур подозревать: «Фархад,
Пожалуй, сам художник, мой собрат. . .»

Когда, пройдя чрез много разных стран,
Вступили путники в страну армян,

Шапур сказал: «Теперь, мой друг, следи, —
Свой вещий сон тут наяву найди».

И вот, спустя еще дня два иль три,
Фархад, ликуя, закричал: «Смотри!

Вот тот же луг во всей его красе,
И лилии на нем и розы все!

И тот же самый кружит соловей
Над розою возлюбленной своей.

Здесь прах похож на чистую парчу,
Здесь воздух тушит разума свечу!»

Куда бы здесь ни обращал свой взгляд
К несчастью устремившийся Фархад,

Он дружбу роз и терний наблюдал,
Свою судьбу теперь в ней наблюдал —

И сердце боль пронзала что ни миг:
Фархад долины бедствия достиг

И на вершине горя водрузил
Страданий знамя, что всю жизнь носил,

И так теперь сказал Шапуру он:
«Ты нашей дружбы свято блюл закон.

Вот тех же скал высокая гряда,
Что мне предстала в зеркале тогда.

Вот, друг Шапур, тот самый уголок,
Что так меня сквозь все преграды влек!

Быть может, я навязчив чересчур,
Но я тебе откроюсь, друг Шапур:

Взгляни на скалы, — видишь, люди там?
Работой надрывают груди там.

У каждого из них в руках — тиша.
За них, Шапур, болит моя душа!

Там пробивают, видимо, арык, —
Пойдем — узнаем, что за шум и крик...»

Друзья туда направили стопы
И стали на виду у той толпы.

Картина, им представшая, была
Поистине печальна, тяжела:

Кляня свою судьбу, самих себя,
Крепчайший камень этих гор долбя,

С надсмотрщиком суровым во главе,
Трудились человек там сотни две,

Изнурены, измучены трудом —
Бессмысленно порученным трудом:

Такой гранит был твердый, — ни куска
Не скалывала ни одна кирка!

Да что — куска! — крупинки небольшой
Не отбивалось ни одной тишой!

А те несчастные долбят, долбят. . .
Поистине не труд, а сущий ад!

Фархад глядел, и сердце сжалось в нем!
Вскипели сразу гнев и жалость в нем!

С глубокой складкой горя меж бровей
Глядел он, не стерпел и крикнул: «Эй,

Несчастные! Судьбой, как видно, вы,
Подобно мне, угнетены, увы!

Однако кто, за что обрек вас тут
На этот тяжкий, безуспешный труд?

Зачем так мучитесь вы, люди, здесь?
Какое же неправосудье здесь!

Гляжу на вас и богом вам клянусь,
Вот-вот я дымом вздохов захлебнусь!

Откройте вашу цель, и, может быть,
Я чем-нибудь смогу вам пособить! . . .»

Душевнейшим обычаем его,
Всецарственным обликом его

Те люди были так изумлены,
Так состраданьем были пленены,

Что, ниц повергшись, о своих делах
В таких ему поведали словах:

«Кто ты, кто сердцем чистым взговорил?
Не сам ли ты архангел Джабраил?»

Мы ангелов не видели, а всё ж —
Ты на людей обычных не похож,

Но если ты и человек, то пусть
Тебя минуют беды, горе, грусть!

Ты спрашивал, теперь ответ внемли:
Отчизна наша — это рай земли.

Есть сорок крепостей у нас в стране, —
Их башни с Зодиаком наравне.

Венчает добродетелью страну
Царица, наш оплот — Михин-Бану.

От Афридуна род ведет она,
И в мире, как Джамшид, она знатна.

На лик ее венец не бросил тень,
Но дань с венцов берет он что ни день.

Сокровищ у Михин-Бану в казне —
Никто не видел столько и во сне.

Опора нам — владычество ее,
Отрада нам — величество ее.

Живет она, от мира отрешась,
Ничьих враждебных козней не страшась.

Есть у нее племянница Ширин,
Как свет зари румянец у Ширин.

Вся — заповедник чистоты она,
Стройна как тополь, как луна ясна.

Не то что в светлый лик ее взглянуть, —
Не смеем это имя помянуть.

Кто красоты ее видал венец,
Тот, говорят, на свете не жилец. . .

Михин-Бану полна забот о ней,
Навек ей дав приют в душе своей.

Отраду в жизни находя одну,
Лишь для нее живет Михин-Бану.

А о труде своем что скажем мы?
Арык ведем в гранитном кряже мы.

Кряж с запада к востоку наклонен,
Источник оросил восточный склон.

Вода его свежа и так сладка, —
Мертвец воскреснет даже от глотка!

Туда, всю свиту вокруг себя собрав,
Царевна приезжает для забав.

Порою эта гурия пиры
Устраивает в том конце горы.

На западе ее дворец стоит,
Необычайной красоты на вид.

Дворцу под стать — окрестность хороша,
Как дивный рай, вся местность хороша.

Макушкой в заоблачный атлас
Там горная вершина вознеслась.

Ах, видно, нет и рая без беды:
Ни капли на вершине нет воды!

Однако, по суждению знатоков,
Исход из положения таков:

Пробить арык — и из ручья тогда
На запад, мол, поднимется вода.

Но от дворца живительный ручей
Течет, увы, за десять ягачей!

Вот их наметка. Мы по ней арык
Должны пробить — и вверх пустить родник.

Но здесь, как видишь сам, всё сплошь —
гранит;
Тишой долбишь, киркою бьешь гранит, —

Они его, однако, не берут...
Замучил, погубил нас этот труд!

Мы поломали все тиши, кирки:
Тут юноши на вид — как старики,

Все потеряли даже вид людей,
В три года сотни три пробив локтей.

Не только мало жизни нам одной,
Но если б жить нам столько, сколько Ной,

И то нам этот не пробить арык, —
Столь непосилен труд и столь велик!

Начальников мы убедить хотим, —
Что наши доводы и просьбы им!..»

Их повести печальной внял Фархад,
За них страдая, застонал Фархад:

«О ты, несправедливая судьба!
О, с камнем непосильная борьба!

А я такие знанья берегу
И неужели им не помогу?

Хоть я не для того пришел сюда,
Но слишком велика у них беда...»

* * *

Оставить их не мог беспечно он:
Горн попросил и мех кузнечный он,

И кожаный передник он надел
И приступил к работе, как умел.

Мех осмотрев и не найдя прорех,
Соединил затем он с горном мех,

Засыпал уголь, плюнул на ладонь —
И начал в горне раздувать огонь,

Затем — негодны будь иль хороши —
Велел собрать он все кирки, тиши,
И все затем забросил в горн и стал
Переплавливать весь собранный металл.
А переплавив, начал ковку он,
Ковал с особенной сноровкой он,
Ковал кирки под стать своим рукам:
Одна — равнялась десяти киркам!
Такие же тиши: коль взвесить их,
Тишей обычных было б десять в них!
Напильников наделал покрупней,
Точильных наготовил он камней,
И тайно всем орудиям он стал
Каренов тайный придавать закал.
И, так всё приготовив для работ,
Отер Фархад с лица обильный пот,
Присел — и стал о деле размышлять,
Как дело повести, чтоб не сплошать.
Почтительно застыв, толпа людей
Ждала, что будет делать чародей:
У них орудья отобрав из рук,
Что, если сам не справится он вдруг?
Как будто их сомнения прочел,
Фархад к черте арычной подошел,
Киркой взмахнул — и вот уже громит
Он богатырскою рукой гранит.
Ударом посильнее валит он
Такую глыбу — не осилит слон!
А послабее нанесет удар —
И то обломка хватит на харвар.
От мелких же осколков люди вскачь
Оттуда разбегались на ягач.

Что ни удар — то отгулов кругом.
На десять ягачей грохочет гром.

Так богатырскою своей киркой
Свершить успел он за день труд такой,

Который непосилен был двумстам
Работавшим три года мастерам.

Теперь звучал не горя — счастья крик:
«Да он один пророев весь арык!»

Спешат начальники к Михин-Бану —
Обрадовать хотят свою луну.

* * *

Эй, кравчий, дай из самых жгучих вин, —
Я проглочу расплавленный рубин!

Скалу печали чем разворочу?
Вином ее расплавить я хочу!

Глава XXXI

ВСТРЕЧА ФАРХАДА С ШИРИН

Тот ювелир, что жемчуг слов низал,
Так ожерелье повести связал,

* * *

А я, начав главу, упомяну
О том, что люди бросились к Бану.

Фархад их изумил своим трудом, —
Они ей так поведали о том:

«Пришел к нам некий юноша, — таких
Не видели созданий мы людских:

На вид он изможден, и слаб, и тощ,
А мощь его — нечеловечья мощь.

А сердцем прост и так незлобен он,
И ликом ангелоподобен он.

Не справиться так с глиною сырой,
Как он с крепчайшей каменной горой.

За нас один ломать он стал гранит, —
Арык на полдлины уже пробит! . . .»

Известием удивлена таким,
Могла ль Михин-Бану поверить им?

И лишь когда опять к ней и опять
Всё те же вести стали поступать,

Не верить больше не было причин.
Тогда Бану отправилась к Ширин

И рассказала всё, что стало ей
Известно от надёжнейших людей:

О том, каков на вид пришелец тот,
Обычаем каков умелец тот

И как один он за день сделал то,
Чего в три года не успел никто.

Воскликнула Ширин: «Кто ж он такой,
Наш гость, творящий чудеса киркой?

Он добровольно нам в беде помог, —
Действительно, его послал к нам бог!

Он птица счастья, что сама влететь
Решилась в нашу горестную сеть,

Сокровища растрачивала я,
Напрасный труд оплачивала я

И говорила уж себе самой:
«От той затеи руки ты умой, —

Арык не будет сделан никогда,
И во дворец мой не пойдет вода! . . .»

А этот чужеземец молодой,
Я верю, осчастливит нас водой.

Чем эту птицу счастья привязать?
Ей нужно уваженье оказать!»

Она приказ дала седлать коней, —
Михин-Бану сопутствовала ей.

За ними свита из четырехсот
Жасминогрудых девушек идет.

У сладкоустой пери — строгий конь,
Весь розовый и ветроногий конь.

Резвейшим в мире был ее скакун,
А прозван был в народе он Гульгун.

И, управляя розовым конем,
Ширин — как розы лепесток на нем.

Она пустила сразу вскачь коня —
Остались сзади свита и родня,

И конь, послушный пери, так скакал,
Что пот росой на розе засверкал.

Для уловленья в сеть ее красы, —
Как два аркана черных, две косы —

Две черных ночи, и меж той и той
Пробор белел камфарною чертой.

Злоумышляла с бровью будто бровь,
Как сообща пролить им чью-то кровь,

И на Коране ясного лица
Быть верными клялись ей до конца.

Полны то сладкой дремою глаза,
То страсть пьянит истомою глаза.

А губы — нет живительнее губ,
И нет сердцегубительнее губ!

Как от вина — влажны, и даже вид
Их винной влаги каждого пьянит.

Хоть сахарные, но понять изволь,
Что те же губы рассыпают соль,

А эта соль такая, что она
Сладка, как сахар, хоть и солона.

Другой такой ты не найдешь нигде —
Подобна эта соль живой воде!

А родинка у губ — как дерзкий вор,
Средь бела дня забравшийся во двор,

Чтоб соль и сахар красть. Но в них как раз
По шею тот воришка и увяз.

Нет, скажем: эти губы — леденец,
А родинка у рта — индус-купец:

И в леденец, чтоб сделать лучше вкус,
Индийский сахар подмешал индус.

И о ресницах нам сказать пора:
Что ни ресничка — острие пера,

Подписывающего приговор
Всем, кто хоть раз на пери бросит взор.

Нет роз, подобных розам нежных щек;
На подбородке — золотой пушок

Так тонок был, так нежен был, что с ним
Лишь полумесяц узенький сравним,

При солнце возникающий: бог весть,
Воображаем он иль вправду есть.

Жемчужины в ушах под стать вполне
Юпитеру с Венерой при Луне.

Для тысяч вер угрозою угроз
Была любая прядь ее волос.

А стан ее — розовотелый бук,
Нет, кипарис, но гибкий, как бамбук.

Заговорит — не речь — чудесный мед,
Харварами мог течь словесный мед.

Но, как смертельный яд, он убивал
Вкусившего хоть каплю наповал. . .

Такою красотой наделена
Была Ширин. Такой была она

В тот день, когда предстала среди скал
Тому, кто, как мечту, ее искал.

И вот он, чародей-каменолом,
В одежде жалкой, с царственным челом.

Величьем венценосца наделен,
Он был силен, как разъяренный слон,

А благородно-царственным лицом
Был времени сияющим венцом.

В пяту вонзился униженья шип,
А камень бедствий голову ушиб.

Боль искривила арки двух бровей,
Хребет согнулся под горой скорбей,

Легли оковы на уста его,
Но говорила немота его.

На нем любви страдальческой печать,
На нем тоски скитальческой печать.

Однако же — столь немощен и худ —
Он совершает исполинский труд:

С горой в единоборство он вступил —
Гранит его упорству уступил. . .

Фархад, узрев Ширин, окаменел,
То сердцем леденел, то пламенел.

Но и сама Ширин, чей в этот миг
Под пеленою тайны вспыхнул лик,

К нему мгновенной страстью занялась,
Слезами восхищенья облилась.

На всем скаку остановив коня,
Едва в седле тончайший стан склоня,

Тот жемчуг, что таят глубины чувств,
Рассыпала, открыв рубины уст:

«О доблестнейший витязь, в добрый час
Пришедший к нам, чтоб осчастливить нас!»

С обычными людьми не схож, ты нам
Загадка по обличью и делам.

По виду — скорбен, изможден и хил,
Ты не людскую силу проявил, —

Не только силу, но искусство! Нет,
Не знал еще такого чуда свет!

Но, от большой беды избавив нас,
Ты в затрудненье вновь поставил нас:

Ведь сотой части твоего труда
Мы оплатить не сможем никогда.

За скромные дары не обессудь, —
Не в них признательности нашей суть. . .»

* * *

Фархад от изумленья в землю врос,
А ей закрытый подали поднос

С дарами драгоценными; никто
Не мог бы оценить богатство то,

Поднос рукой точеною открыв,
Ширин, все извиненья повторив,

Дарами стала осыпать того,
Чье чудом ей казалось мастерство.

Фархад стоял, как бы ума лишен,
Так был он поражен, обворожен

Негаданно счастливой встречей той,
Изысканной, учтивой речью той.

Так сердце в нем стучало, что чуть-чуть
Его удары не разбили грудь,

И сам он с головы до ног дрожал,
Всё успокоиться не мог — дрожал.

Но вот уста открыл каменотес
И, задыхаясь, еле произнес:

«Я умер от дыханья твоего,
Погиб от обаянья твоего!

Но я не знаю, кто ты! Уж не та ль,
Чей образ вверг меня навек в печаль

И отнял трон, и родину, и дом,
И кем я был в скитальчестве ведом

И на чужбину брошен, пред тобой
Повержен в прах, ничтожный камнебой?

Душа меня покинула, едва
Произнесла ты первые слова.

Нет, я живу, не мог я умереть —
Твое лицо я должен был узреть!»

Вздыхнул он. Ветер вздоха был таков,
Что с луноликой он сорвал покров.

Да, перед ним теперь предстала та —
Его любовь, страдание, мечта!

Но кто лишь отраженье увидал
Возлюбленной, и то Меджнуном стал,

Не будет ли небытием сражен,
Чуть наяву ее увидит он?

Кто, вспомнив о вине, хмелеет, — тот,
Хлебнув его, в бесчувствие впадет. . .

Едва Ширин свой приоткрыла лик,
Фархад ее узнал и в тот же миг,

С глубоким стоном, мертвеца бледней,
Как замертво свалился перед ней.

Увидев, что, как труп, он распростерт,
Ширин воскликнула: «Он мертв, он мертв!»

Как тучей помраченная луна,
Померкла, огорченная, она. . .

Едва тот светоч верности угас,
К нему, как легкий мотылек, тотчас

Поспел Шапур — и горько зарыдал:
«О ты, несчастный! Ты всю жизнь страдал:

Печаль и муки — вот твоя судьба,
Тоска разлуки — вот твоя судьба!

Путь верности ты в мире предпочел,
Но вот какой привал на нем нашел!

Ты на него лишь раз взглянул затем,
Чтоб в тот же миг расстаться с бытием.

Чист сердцем, как ребенок, был, — увы!
В сужденьях мудр и тонок был, — увы!

Ни совесть ты не замарал, ни честь —
Всех совершенств твоих не перечести,

Тебе уж не стонать, страдальцу, впредь!
Не двинуть ни рукой, ни пальцем впредь!

Где мощь твоя, крушительница скал?
В ущельях, что киркой ты высекал!

Что блеск и что величие твои,
Высокие обычаи твои?

Раз не возглавишь ты людей земли,
Какой же людям прок от всей земли?

Какие страны, в траур облачась,
Тебя начнут оплакивать сейчас?

Какой народ всех более скорбит,
Какой хакан несчастием убит?

«Ах, лучше бы не знать Фархада мне, —
И горе не было б наградой мне!»

Так горевал Шапур. Не он один:
Рыдала столь же горько и Ширин,

Михин-Бану не сдерживала слез,
И плакал весь цветник придворных роз.

Потом уже, подавлен и понур,
Поведал им учтивейший Шапур

Всё то, что знал о друге он своем,
О встрече с ним, о странствиях вдвоем. . .

Но время наступило наконец
Обратно возвращаться во дворец.

Шел медленно печальный караван.
И на носилках пышных, словно хан,

Лежал Фархад. . . нет, — как великий шах,
Несомый девушками на плечах!

Затем в одной из царственных палат
Оплакан всеми снова был Фархад.

И жизни словно не принадлежал,
На царственном он ложе возлежал.

* * *

Эй, кравчий, верный друг мой, поспеши,
Вином крепчайшим чувств меня лиши!

Я притчей стал, в любви не меря чувств,
А если пить — так до потери чувств!

Глава XXXII

ШИРИН ВЛЮБЛЯЕТСЯ В ФАРХАДА

Расписывавший ложе по кости
Повествованье так решил вести.

* * *

Фархад вторые сутки там лежал,
То — будто бы дышал, то — не дышал.

При нем, не отходя ни шагу прочь,
Ширин с Шапуром были день и ночь.

Когда же непреодолимый сон
Им в третью ночь сковал глаза, — то он

Глаза открыл, очнулся — и не мог
Понять никак, что это за чертог,

Как он сюда попал и почему
Столь пышно ложе постлано ему? . .

И вдруг он вспомнил, как к нему пришла
Та, что была, как солнце, вся светла,

Что с ней беседы удостоен был,
Что награжден своей мечтой он был. . .

Но пресеклась воспоминаний нить, —
Не мог Фархад концов соединить.

Иль образ пери так его потряс —
Ее волшебный голос, чары глаз,

Что в обморок упал он — и сюда
Из жалости доставлен был тогда?

Холодным потом обдал стыд его, —
Что, если пери навестит его?

И, робости не в силах превозмочь,
Стремглав он убежал оттуда прочь.

Он проблуждал всю ночь, а на заре
Он возвратился наконец к горе,

Где ради той, которую любил,
Арык в гранитных скалах он долбил.

Здесь он подумал: «Я пред ней в долгу.
Чем благодарность высказать могу

Ей, луноликой, светлой пери, ей,
Так снизошедшей к участи моей?

Арык — ее заветная мечта,
Так пусть не будет тщетною мечта!

Хоть жизни нашей скоротечен срок
(Не знаю, мне какой намечен срок),

Но ровно столько я хотел бы жить,
Чтоб это дело с честью завершить. . .»

И вот опять киркой он замахал,
Опять гранит в горах загромыхал:

Что ни размах руки — то грома треск,
Что ни удар кирки — то молний блеск.

А пыль — как туча, встала до небес,
Лазурь затмилась, солнца свет исчез.

Его дыханья расстирался дым,
Туманом поднимался он густым.

Не пыль, не дым окутали простор
Страны армянской всей от гор до гор.

Нет, не туман! Весенней тучи мощь,
Гранитный град, гранитный шумный дождь.

Лопатой тину или снег рукой
Не снимешь так, как он гранит киркой.

И так в работе той горяч он был,
Так рвением трудовым охвачен был,

Так быстро продвигался он вперед,
Что в изумленье ввергнутый народ,

Который следом камни разгребал, —
И кушаков стянуть не успевал. . .

Но сам рассказчик, подтянув кушак,
Вспять повернул повествованье так:

Когда в то утро солнечный рубин
Открыл глаза Шапуру и Ширин,

Фархада ложе пусто было. Ах!
Мгновенно свет померк у них в очах.

Напрасно поднят был переполох —
Никто Фархада отыскать не мог.

Шапур пустился в горы. Прибежав,
Увидел он: Фархад и жив, и здрав!

Забыл Шапур и горе, и испуг,
И ноги друга обнял верный друг. . .

* * *

А между тем — грустна, потрясена,
Стрелой любви внезапной пронзена

(Как от рассказчика мы узнаем),
Ширин страдала во дворце своем.

Ее уже огонь разлуки жег.
Чтоб скрыть любовь, она нашла предлог,

И говорит она Михин-Бану:
«Постигнуть надо дела глубину.

Дабы, напрасным угнетен трудом,
Родной народ не проклял нас потом,

Направлен был к нам волею небес
Тот витязь-камнелом, но он исчез.

Нам не пробить арыка без него,
Напрасен труд великий без него.

Скорей гонцов повсюду разошли,
Чтоб чужестранца-витязя нашли. . .»

Весьма тонка была Михин-Бану, —
Всё сразу поняла Михин-Бану.

Ей стало ясно, что граниторуб
Ее племяннице отныне люб,

Что наставленьем — страсти не унять
И что пока не время ей пенять.

Благоразумием руководясь,
Михин-Бану за понски взялась.

Когда же весть пришла, что витязь тот
Опять в горах усердно камень бьет,

Уста Ширин, поблекшие с тоски,
Вновь расцвели, как розы лепестки.

Но жаждет испытания любовь,
Томится без свидания любовь.

И стала думать и гадать Ширин,
Как повидать его хоть раз один,

Хоть издали, хоть как-нибудь тайком,
И даже так, чтоб он не знал о том:

Она боялась, чтоб еще сильнее
Не растерялся он при встрече с ней,

И как бы не был тот костер открыт,
Что тайно в сердце у нее горит. . .

Михин-Бану была душевна с ней,
Беседовала ежедневно с ней,

Справлялась о здоровье — не больна ль?
Какую носит на душе печаль?

И убедилась, что Ширин чиста,
Что страсти не перейдена черта,

Но что любовь проникла в сердце к ней
И с каждым днем над нею всё властней.

Ширин таилась: с кем ей говорить,
Какому другу сердце ей открыть?

Ах, первая любовь всегда робка, —
Ширин блюла достоинство пока.

Проходят дни, а всё грустна Ширин,
Не ест, не пьет, не знает сна Ширин.

То вдруг решает: «Я пойти должна!»
То вдруг и мысль об этом ей страшна.

Честь говорит ей: «Нет!», а сердце: «Да!»
Кто скажет ей — что благо, что беда?

О боль разлуки, как ты горяча!
Недуг растет, а нет ему врача.

* * *

Эй, кравчий, дай душистого вина!
Дай розового, чистого вина!

Неисцелима боль моя, но ей
Благоуханное вино — елей!

Глава XXXIII

ФАРХАД ЗАКАНЧИВАЕТ АРЫК И СТРОИТ ЗАМОК ДЛЯ ШИРИН

Кто острой мысли сложный ход решал,
Тот так пером всю книгу украшал.

* * *

Фархад всецело в дело весь ушел,
Он с каждым днем арык всё дальше вел,

Тая в душе надежду, что, когда
Он завершит арык, придет сюда

Ширин, розовотелый кипарис,
С кем наконец его пути сошлись:

Ее увидит и услышит он
И тем за труд свой будет награжден.

О, сколь она нежна и хороша!
А если скорбная его душа,

От радости такой вся излучась,
Покинет вовсе плоть его в тот час,

То — бог свидетель — больше у него
Он и просить не смеет ничего. . .

Одушевлен надеждою такой,
С зари и до зари своей киркой

Гранит неутомимо он долбил
Во имя той, которую любил.

Арык он так прокладывал: вперед
Две равнобежные черты ведет

На тысячу локтей: три — ширина,
Два локтя вглубь — арыка глубина.

Он тысячу прорубит, а за ней
Прорубит дальше тысячу локтей.

А двести камне носов следом шло,
Освобождая от камней русло.

Тогда Фархад при помощи тесла
Подравнивал бока и дно русла,

И так искусно их потом лошил,
Как будто воском камень он вошил.

Нет, стены превращал он в зеркала, —
Песчинка отражаться в них могла.

А если каменный кончался грунт
И вдруг песчаный обнажался грунт, —

Не облегчались там его труды:
Пески — плохое ложе для воды, —

И, чтоб арыку не грозил обвал,
Чтоб всей воды песок не выпивал,

Без устали киркой он и тишой
Работал — и не унывал душой.

Он сотни плит гранитных вырезал,
Их оббивал и тщательно тесал,

И высекал зубцы по ребрам плит —
Зубец в зубец он сплачивал гранит,

И, много сотен плит сводя в одно,
Он стены облицовывал и дно,

И так в работе этой был он строг,
Что швов нигде никто б найти не смог...

А снова станут скалы на пути,
В куски он их раскалывал в пути.

Гранитных скал стал жителем Фархад —
Стал скалосокрушителем Фархад.

Подтянет свой кушак потуже он —
Одним ударом рушит целый склон;

Махнет, как бы игрушкой, он киркой —
Смахнет скалы верхушку он киркой.

Он низвергал за глыбой глыбу в степь —
Обрушиться хребты могли бы в степь!

Осколки били по луне, но ей
Был ореол защитой от камней.

Был звездам страшен тех осколков дождь,
Что излила на них Фархада мощь, —

И, головы спасая, сонмы звезд
Бежали с неба, покидая пост.

А небосвод — хоть весь изранен был —
Захватывал те камни и копил,

Чтоб их бросать на землю: млад и стар
Страдают от камней небесных кар,

И, видимо, запаса тех камней
У неба хватит до скончанья дней! . .

Вершины руша от самих небес,
Пыль поднимая до седьмых небес,

Сто вавилонских чар затмив, Фархад
Сердца потряс, смутил умы Фархад,

Когда и день и ночь арык в горах
Он пробивал, свергая горы в прах. . .

Так исподволь всё дело шло к концу,
Арык уже был подведен к дворцу,

И здесь, как мы в дальнейшем узнаем,
Фархадом был устроен водоем, —

Нет, озеро там выдолбил Фархад,
Чья площадь — шестьдесят на шестьдесят.

Вода его живой водой была —
Свежа, прохладна и до дна светла.

* * *

Вблизи дворца стоял один утес,
Который в небо голову вознес.

Он круглым был, — в окружности своей
Имел он свыше пятисот локтей.

Фархад подумал: «Исполин-скала!
Мне тут сама природа помогла.

Об остальном я позабочусь сам:
Прекрасный замок из скалы создам».

Опять Фархад кирку пускает в ход,
Над озером он замок создает.

Из цельной глыбы строит он дворец —
Искуснейшего зодчества венец.

Возглавлен был высоким сводом он,
Стоял лицом к озерным водам он;

Его айван со множеством колонн
В лазурный упирался небосклон.

Величию наружному под стать
Сумел Фархад и всё внутри создать:

Был для приемов и пиров большой
Внутри скалы им высечен покой;

Вверху простерся купол-великан,
Трехарочный и тут стоял айван

С высокими колоннами: Фархад
Не пожалел трудов для колоннад.

Он отзеркалил так скалу-дворец,
Что весь подобен стал стеклу дворец.

Своим резцом художник-камнетес
Узоров много на айван нанес,

Украшил стены множеством картин, —
На каждой он изображал Ширин.

Была на троне изображена
Средь гуриеподобных дев она.

Но даже и при райской красоте
Лишь воплощенной формой стали те,

Зато Ширин была так хороша,
Как в образ воплощенная душа!

Во многих видах он изображал
Ту, для кого дворец сооружал.

Изображал он также там себя,
Но так изображал он сам себя,

Что, где бы ни была она иль он,
К ней взор его всегда был устремлен.

Шапур его не оставлял и тут,
С ним разделяя живописи труд,

И смелой кистью другу помогал,
И в кисть Фархада смелость он влагал,

Над росписью работая в те дни,
Друг друга дополняли так они:

Один — людей напишет, тот — зверей,
Один — зверей поправит, тот — людей.

Ту, что была всем пери образцом,
Фархад не кистью лишь, но и резцом

Изобразил на камне, и себя
Из камня высек, плача и скорбя.

Так создан был из той скалы дворец,
И так он был украшен под конец,

Подобный по величине горам,
А по изяществу — китайский храм.

Когда уже всё кончил в нем Фархад,
Вновь принялся за водоем Фархад.

Стал от него арыки ответвлять
И к самому дворцу их направлять

Так, чтоб дворец Ширин со всех сторон
Узором водным был осеребрен.

Когда он это дело завершил,
И город он снабдить водой решил.

А город был внизу, и без воды
Там огороды гибли и сады.

Фархад исчислил высоту — она
Двум тысячам локтей была равна.

И с этой кручи вниз пустил Фархад
За водопадом в город — водопад.

И так благодаря его трудам
Все люди воду получили там. . .

* * *

Когда же день настал для пуска вод,
Смятением охвачен был народ.

Не только этот город — вся страна,
Событием таким потрясена,

Спешила к месту зрелища толпой,
Невиданной досель еще толпой —

Такой, что, попади в нее игла,
И та упасть бы наземь не могла.

Да что игла! Из-за людских лавин
Ни гор не видно было, ни равнин!

А несравненный низвергатель скал
Вдоль берега арычного шагал,

В слезах, печальный. И, как он, понур,
Брел рядом с ним и друг его Шапур.

Да, шел Фархад, тоскою удручен,
Одной мечтою страстной увлечен.

Он думал: «Валит весь народ сюда,
Быть может, и она придет сюда

Полюбоваться делом рук моих —
Моя любовь, источник мук моих.

Я жду ее, тоскую, но боюсь:
Придет — от радости я чувств лишусь.

А если вдруг не явится — умру.
Не повидав красавицы — умру. . .»

Так, молча, нес он бремя горьких дум.
Но в это время он услышал шум,

И вот — сквозь слезы, как сквозь пелену,
Он видит караван Михин-Бану.

Блестящей свитою окружена,
Как между звезд бесчисленных луна,

Была она так величава — вся
Великолепье, блеск и слава вся.

Горячим ликованьем обуян,
Народ, столь пышный видя караван,

Срывал все драгоценности с себя
И путь царицы устилал, любя.

Фархад остановился и поклон
Отвесил низко, горем ущемлен:

Не находил он в царской свите той,
Которая была его звездой.

Печально он опять побрел вперед,
И весь тот многочисленный народ,

Заполнивший от гор до гор пути,
Держал о нем лишь разговор в пути —

И, праздник омрачая сам себе,
Скорбел и плакал о его судьбе.

Хотя Фархад и поспешить бы мог,
Он остановкам находил предлог,

А сам смотрел: не прибыла ли та —
Его любовь, страдание, мечта.

Глядел не в два — в четыре глаза он,
Ища ее — смятение времен.

И так дошел он до истока вод,
И так за ним дошел и весь народ.

* * *

Подай вина мне, кравчий! Винный хмель
Приятней, чем тоски полынный хмель!

О, хмель разлуки! Сколько боли в нем!
Лечи его свиданьем иль вином!

Глава XXXIV

ПРАЗДНИК ВОДОПУСКА

Кто в тех горах разламывал гранит,
Поток прозрачной речи так стремится.

* * *

Когда Фархад, на сердце навалив
Хребты печали, реки слез пролив,

Отправился в тот день на пуск воды, —
Ширин, кто знала все его труды:

И высеченный среди скал арык —
Тот гладкий, как лицо зеркал, арык;

И тот дворец, подобный небесам,
Который для нее он создал там;

И те узоры и картины те,
Которым равных нет по красоте;

И всё, что он свершил и что вовек
Другой свершить не мог бы человек, —

Осведомляясь каждый миг о нем
И тем же, что и он, горя огнем,

На этот раз, такую слыша весть,
Волнения не в силах перенести, —

Придворным слугам отдает приказ
Коня Гульгуна оседлать тотчас.

Тот резвый конь был на ходу легок —
Зерном жемчужным он катиться мог,

Он ветром был. Ширин — нежна, тонка,
Была на ветре лепестком цветка,

Но прежде чем на ветер свой воссесть;
Ширин к Бану с гонцом послала весть:

«В прогулку солнце хочет, мол, пойти,
Оно спешит, оно уже в пути.

И тот себе наметило привал,
Что Зодиака знак облюбовал.

Так пусть булаторукий витязь — тот
Гранитонизвергатель подождет.

Пусть водопуск задержит, пусть вода
Пойдет, когда прибуду я туда. . .»

Бану, обрадована вестью той,
Спешит найти в толпе людей густой

Фархада, потерявшего, скорбя,
Не только сердце — самого себя.

Найдя, сказала: «Ты нас извини.
Тебе лишь огорчения одни

Мы причиняли, и велик наш стыд,
Но разве он тебя вознаградит?

Немало ты набегался. Присядь.
О радости хочу тебе сказать:

Сейчас сюда и та прибыть должна,
Что, словно роза нежная, нежна,

Стройна, как кипарис, — чтоб озарить
Арык, что соизволил ты прорыть,

И цвезть, как роза и как кипарис,
У этих вод. А ты приободришь...»

Ведя такой сердечный разговор,
Бану велела разостлать ковер,

Поставить трон и, дав коню покой,
Сошла с седла, на трон воссела свой —

И вновь Фархаду оказала честь,
Проя его на тот ковер присесть.

Гранитосокрушитель, весь в пыли,
Склонился перед нею до земли —

И, словно ангел божий, он присел,
У тронного подножья он присел... .

Но тут в толпе возникла кутерьма,
Пыль черная, густая, как сурьма,

Клубилась вдалеке. Она, она —
Султан красавиц, ясная луна,

Вершина красоты, светильник дня —
Сюда поспешно правила коня!

А стража стала оттеснять народ,
Который сбился у истока вод

Вокруг Фархада и Михин-Бану.
Но как сдержать взметенную волну? . .

Фархад весь дрожью был охвачен вновь,
Внезапный жар в нем высушил всю кровь.

И начала его увещевать
Михин-Бану заботливо, как мать:

«Свою ты волю напряги, сынок,
Глаза и сердце береги, сынок!

Ведь, потеряв рассудок в этот миг,
Ты рушить можешь всё, что сам воздвиг.

Пред всем народом обезумев здесь
(Об этом поразмысли, это взвесь),

Как встретишься ты с пери? Что, когда
Ее страдать заставишь от стыда?

Мир не прощает недостатков нам.
Ты овладей собой, не мучься сам,

Не огорчай меня, а также ту —
Земную гурию, твою мечту. . .»

Пока боролся он с собой самим,
Красавица была почти пред ним.

В огонь, что на щеках ее пылал,
Как саламандра, весь народ попал.

Не говори, что за кольцом кольцо
Спадали кудри на ее лицо,

Благоухая амброй: это — дым
От пламени того был столь густым,

Как амбра черный, — чернотой своей
Мир омрачил он тысячам семей. . .

К Фархаду направляя скакуна,
Смущала время красотой она,

И, дерзко время попирая в прах,
Конь приближался, взмыленный в пахах.

Бану Фархаду говорит: «Спеши
Взор убережь от бедствия души,

Покуда не сошло оно с седла,
И принимайся за свои дела.

Быть может, нелюбезен мой совет,
Но был бы лишь полезен мой совет».

Шапур помог Фархаду встать — и тот
Пошел с киркой открыть воде проход.

А тут как раз поспела и она —
Та, что была от пери рождена.

И, осмотрев со всех сторон арык,
Любуясь, как сооружен арык,

Ширин, в восторге, слов не находя-
И руки в изумленье разводя,

Качаньем головы, улыбкой — так
Высказывала радость что ни шаг. . .

Фархад киркой пробил дыру, куда
Вся ручьевая хлынула вода.

Но, встретив заграждение камней,
Свернул сначала в сторону ручей.

И, словно мельница стояла там,
Теченьем камни увлекало там.

Когда же стал арык приютом вод,
Волненье всколыхнуло весь народ.

Как будто вся толпа сошла с ума —
Такая началась там кутерьма,

Такая суматоха, клики, рев, —
И тут и там, с обоих берегов.

Подтягивали пояса певцы, —
Настраивали голоса певцы

Так, чтоб напевы их звучали в лад
С водой, которую пустил Фархад.

Михин-Бану с красавицей своей
Во весь опор помчали двух коней,

Чтоб, обогнав течение воды,
Ждать в замке появления воды.

Но даже конь небесный бы не мог
Опередить столь быстрых вод поток.

И все-таки за всадницами вслед
Пустился весь народ — и юн и сед.

Фархад, давно оставшийся один,
Пешком понесся догонять Ширин.

А конь ее, как ни был он горяч,
Как ни летел за ягачом ягач

(Не говори, что ровным пряником), —
Летел и через горы ветерком.

Но ветерок, чья ноша серебро,
Бойся сбросить всё же серебро, —

И был в такой тревоге этот конь,
Резвейший, ветроногий этот конь,

Что вдруг одну из ног вперед занес,
А остальными — в камень будто врос.

А если бы его погнать туда —
Могла с Ширин произойти беда:

Запутаться ногами мог бы конь,
Свалить ее на камни мог бы конь! . .

Фархад, которого примчала страсть,
Чтоб розе с ветра наземь не упасть,

Согнулся, как под солнцем небосвод,
Спиной уперся он коню в живот,

Передние схватил одной рукой,
Две задние ноги схватил другой,

И так же, как владычицу сердец
Носил тот ветроногий жеребец,

Так на своих плечах Фархад-Меджунун
Понес обоих, как лихой скакун.

Он так помчался, что, как черный дым, —
Нет, как сурьма, клубилась пыль за ним.

Без передышки на себе их мча,
Два или три бежал он ягача —

И вскоре очутился пред дворцом.
Он обежал дворцовый водоем,

К айвану подбежал и, стан склоня,
Поставил наземь пери и коня. . .

Едва сошла красавица с седла,
Вода в арык дворцовый потекла.

Прах пред Ширин облобызал Фархад,
Опять ни слова не сказал Фархад,

И, слезы проливая, он ушел,
Как туча дождевая, он ушел.

Когда он в горы шел тропой крутой,
Арык уже наполнился водой,

И до краев был полон водоем —
Так что вода не умещалась в нем;

Она, подобно райским ручейкам,
Текла вокруг дворца по арычкам,

В степь изливаясь, продолжала путь,
У горожан в садах кончала путь. . .

«Рекою жизни» тот арык с тех пор
Зовется у людей армянских гор,

И «Морем избавленья» — водоем
Народ прозвал на языке своем.

* * *

Эй, кравчий, море винное открой —
И чашу дай с корабль величиной!

В арыке винном — воскресенье мне,
А в море винном — избавленье мне!

Глава XXXVI
СВАТОВСТВО ХОСРОВА

Кто начертал сей длинный свиток, тот
Такой придал событиям поворот.

* * *

Когда те два несчастных, не к добру,
В блаженстве — чувств лишились на пиру,

То гости, в ком сладчайшее вино
Внезапно было в кровь претворено,

С мест повскакав, друг друга торопя,
К ним кинулись, стеная и вопя,

И отнесли Ширин в один покой,
Каменотеса бедного — в другой.

Так небосвод сближенья их лишил
И вновь меж них разлуку положил:

Им, попраным войсками горя, врозь
Всю ночь лежать в бесчувствии пришлось.

Когда же на заре подул зефир,
От копоти ночной очистив мир,

Рассеял он и темной страсти дым —
И возвратил сознание тем двоим.

Покинул тотчас царский дом Фархад,
Ушел, снедаемый стыдом, Фархад,

Ширин была к отчаянью близка —
Горой свалилась на нее тоска.

Михин-Бану чуть в горе не слегла —
Всё успокоить сердце не могла.

Фархада обнадеживать нельзя,
С Ширин быть строже — тоже ведь нельзя:

Так — пересудам пищу можно дать,
Так — справедливость может пострадать.

Но, веря в чистую любовь его,
Царица пригласила вновь его,

А там — еще раз. Не прошло трех дней —
Опять Фархада приглашают к ней.

И с ней и с пери, полной лунных чар,
Он выпил несколько счастливых чар...

И вдруг жестокосердный небосвод,
Коварный и неверный небосвод,

Негаданно запутал их судьбу,
Нет — подменил как будто их судьбу...

* * *

Царил тогда на западе один
Могучий, именитый властелин,

Аджамский шах и аравийский шах, —
Скажи: он был полуазийский шах.

Хосроя внук, Хормуза сын он был.
Хосров Парвиз — так в мире он прослыл...

Хотя имел супругу он, хотя
Имел он также от нее дитя,

Однако не был он доволен им
И не считал наследником своим.

Всё чаще стал раздумывать он так:
«Где солончак — там и растет сорняк.

Так нам вещает мудрости дехкан:
„В худую землю не бросай семян.

А розы — лишь на цветниках цветут,
Сажать их в мусор — бесполезный труд“».

Себя несчастным стал считать Хосров,
Стал о другой жене мечтать Хосров

И разослал нарочных, чтоб нашли
Чистейшую жемчужину земли.

А в это время разнеслась молва
(Вскружилась у Хосрова голова),

Что гурия одна, покинув рай,
В мир снизошла, избрав армянский край;

Что чистотой ее озарена,
Как солнцем, та счастливая страна;

Пройдет она, изящна и горда, —
Туба в раю сгорает от стыда;

Ковсера струи молкнут там, едва
Произнесет она хоть слова два.

По знатности — ей предок сам Джемшид,
По славе — солнце в рабство к ней спешит.

Влюблен в нее редчайший мастер. Он
В науках и искусствах искушен;

Он низвергатель гор, — такой силач —
Скалу в куски дробит рукой силач!

Но горосокрушитель от любви
Стал чахнуть, силы стал терять свои.

И, видя, что печаль его крепка,
И пери с ним, как говорят, мягка.

Но если ей среди женщин равных нет,
Мужчин, как он, столь достославных — нет. . .

Таков был слово в слово этот слух,
Разволновал Хосрова этот слух.

В его воображенье день и ночь
Была она, не отступая прочь.

Он думал день и ночь о тех двоих,
Однако ждал разведчиков своих.

Но вот из ближних и из дальних стран
Вернулись все разведчики в Иран,

И тот разведчик, что в Армен ходил,
Слух об армянской пери подтвердил:

«Да, красота ей райская дана —
Достойна ложа шахского она».

А те, что из других пришли краев,
И те иных не находили слов:

«Молвой о ней весь мир шумит, и все
О райской говорят ее красе».

Хосров их выслушал, и страстью к ней
Он втайне воспылал еще сильней,

И порешил отправиться в Армен
За гурией, кем славится Армен.

Но так как он носитель власти был
И не к лицу владыке страсти пыл,

Он по-султански всё обдумал вновь, —
Не привела б к оплошности любовь. . .

На весь Иран и в мире знаменит
Был некий там мудрец Бузург-Умид,

Друг и советник шаха. И его
Призвал Хосров для дела своего.

Уединясь, Хосров с ним говорил,
Волнуясь, тайну он свою открыл.

Мудрец сказал: «В расстройство не впадай,
Но страсти торопливость обуздай.

Найди такого человека, в ком
Посольский опыт сопряжен с умом:

Чтоб, мыслей полон, он устами всё ж
С жемчужною был раковиной схож;

Чтоб он уста, как раковина, сжал,
А при нужде раскрыв их, — не плошал,

И только жемчуг чтоб ронял из губ,
И был где нужно — щедр, где нужно — скуп;

Происхождением чтобы знатен был,
Чтоб обхождением приятен был.

Такого человека ты найди, —
К Михин-Бану с посланьем снаряди.

Весьма, я слышал, опытна она,
Царевна тоже, говорят, умна:

Поймут что в сватовстве твоём — и честь
И выгода большая также есть,

И без задержек отошлют посла,
А мы расспросим сами тут посла,

А также по ответу их поймем —
Согласье или отговорки в нем.

Хоть основанья этому и нет, —
Но если бы уклончив был ответ,

То ты, кто в трудных искушен делах,
Найдешь достойное решенье, шах...»

И, согласившись с мнением мудреца,
Хосров такого подыскал гонца,

Доверил притязание свое, —
Мол, докажи призвание свое.

И, в дело вникнув, опытный посол
В тот дальний путь не мешкая пошел.

* * *

Эй, кравчий, пить! Дорога предо мной:
Препятствий трудных много предо мной.

Я к ней спешу, и, если буду пьян,
Легко перенесусь в страну армян!

Глава XXXVII

МИХИН-БАНУ ОТКАЗЫВАЕТ ХОСРОВУ

Долину эту перешедший здесь,
Явил свой ум и красноречье здесь. . .

* * *

Когда уже вступил в страну Армен,
Когда он уж достиг дворцовых стен,

Посол, кто мудр был, хоть и не был стар,
Замыслил в сердце сотни тонких чар.

Дворца привратник доложил Бану:
Мол, счастье правит повод в их страну,

Пришел от самого Хосрова, мол,
Вельможный, благороднейший посол.

Он воплощенный разум. Молчалив,
В ответах краток, но красноречив.

Бану слуге кивнула головой:
Посла в покой направить гостевой;

Пусть лучших вин слуга подаст ему,
Подаст изысканнейших яств ему.

К послу затем приставила сама
Людей высоких знаний и ума,

Достойных, привлекательных людей,
Глубокопроницательных людей,

Дабы, поговорив о том, о сем
С влиятельным Парвизовым послом,

Тончайше бы уразумели все
Намеренья его и цели все. . .

Когда, затронув дела существо,
Им стало ясно шаха сватовство,

Мужи отправились к Бану тотчас,
В смущенье пред ковром ее топчась.

Царица, пропустив их за ковер,
Узнав, к чему клонился разговор,

Сообразила: снова не к добру
Завел неверный небосвод игру.

Сказала: «Завтра мы определим
Удобный час для личной встречи с ним.

Он гость, что прибыл из великих мест, —
Нам надлежит почтить его приезд:

Богат и пышен должен быть прием, —
Да не хулит нас при царе своем,

Его слова сама я взвешу там,
И тот или иной ответ я дам».

* * *

Мужи ушли. И вот — Бану одна
В пучину дум душой погружена.

Нет, перед ней — сомнений темный мир,
Огромный и головоломный мир:

Ни родом, ни державою своей,
Ни в чем Хосров не уступает ей,

Напротив, лестен очень этот брак, —
Страну б ее упрочил этот брак.

Но вспоминался ей Фархад, и вновь
От жалости в ней холодела кровь:

А если твердой быть и предпочесть
Того, в ком выгоды ей больше есть?

Но будет ли согласна и Ширин,
Изящная, прекрасная Ширин?

Заставить? Но согласие под кнутом
К несчастью бы не привело потом.

Хосрову отказать? Придет он в гнев:
Легко джейрана одолеет лев.

Соперничать не стоит голяку
С тем, кто на свет явился весь в шелку.

Под молотом дробится всё равно
Сто тысяч стекол так же, как одно.

Как отказать, какой найти предлог,
Чтоб гнев Парвиза на страну не лег? . .

Так сеяла старательно она
Соображений разных семена

И, видя, что плодов посева нет,
Племянницу призвала на совет:

«Послала испытанье нам судьба.
Решай сама, а я, увы, слаба».

И гурия, суть дела разобрав,
Воскликнула, лицом к земле припав:

«И смерть легка была бы для меня,
Твои подковки — Кааба для меня!

Убежище от горя, мой Ирем,
Мой рай земной — веселый твой гарем.

Могу ль тебе наперекор пойти,
Могу ли на такой позор пойти?

Твой приговор скорей изречь прошу,
Скорей обрушить скорби меч прошу.

Иль заживо низвергни ты меня,
Как у индусов, в капище огня:

Пусть плоть моя избавится в огне
От сотен тысяч мук, сужденных мне;

Пусть я, подобно волосам моим,
Вся превращусь в кудрявый, легкий дым.

И даже и стенать не стала б я,
Освободила б мир от жалоб я.

О одинокий мученик Фархад!
Прости: так будет лучше мне, Фархад.

Я — лишь мечта твоя, однако ты
Пожертвовал всей жизнью для мечты.

И мне, поверь, достаточно самой
Сознания, что ты в мечте — со мной. . .

Однако — знай: когда б и лучший друг
Своей любви меня лишил бы вдруг,

То с гордостью свой прожила б я век,
В сознание, что я всё же — человек.

А плен мне страшен. Если средство есть,
То пусть Бану мою спасает честь,

А если нет — его найдет Ширин:
Сама себя тогда убьет Ширин! . . .»

* * *

Ее в том состоянии увидав,
Слезам своим обильным выход дав,

Спешила сердобольная Бану
Утешить, обласкать свою луну:

«Ширин, услада сердца моего!
Вся боль дошла до сердца моего!

Сожгла мне этим словом уши ты,
Мою испепелила душу ты.

И ты права, и я, увы, права,
Однако позабудь мои слова, —

Скорей вина подать себе вели,
Веселой влагой сердце взвесели.

Закончу завтра дело пиром я, —
Посланника отправлю с миром я. . .»

Назавтра, в срок, на пышном пире том
Бану с иранским встретилась послом.

Со всем радушьем задала вопрос,
Как дальний путь посланец перенес,

И, за Хосрова тут же помолясь,
Ему на славословья не скупясь,

О нем осведомлялась у посла,
Здоров ли, хороши ль его дела?

Красноречивый, голову склонив,
Как подобает, всё ей разъяснив,

Такому просвещенью, и уму,
И царственности, и всему тому,

Что он увидел, — тысячи похвал
Всем сердцем справедливым воздавал.

Обычай пира подводя к концу,
Бану дары преподнесла гонцу —

И, почести большие оказав,
Уехать разрешила, так сказав:

«За шаха помолюсь, целую прах, —
Да будет счастлив твой великий шах.

Сама я не скажу ни да, ни нет:
Столпы державы пусть дадут ответ».

Конец тех слов уразумел посол,
Поцеловал он землю и ушел.

Бану, собрав советников своих,
Так в этом деле наставляла их:

«Послу, носящему Хосроев знак,
Вы скажете, столпы державы, так:

Пусть передаст Хосрову: эта весть,
Что шах прислал с послом, — большая честь.

Пылинку превознес он до небес,
Явил нам, жалким, чудо из чудес.

Но что же делать, если мы рабы
Препятствующей нам во всем судьбы?

А положенье наше таково,
Что стыдно даже огласить его.

Суть в том, что луноликая, о ком
Печется шах, любовью к ней влеком,

Вся добродетель, с головы до ног,
Увы, имеет все-таки порок:

Нельзя при ней сказать и слово: брак, —
Замужеству — она смертельный враг.

Дерзнувшего сказать она, увы,
Лишить способна в гневе головы.

Мужской обычай — вот ее закон:
Всё — конь, да стрелы, да звериный гон.

Хоть нас и огорчает сей порок,
Но — что от бога, то и не в упрек.

А в остальном — как пери вся. Смотри:
Как солнце в сонме ярких Муштари.

Весь род мужской в тоске по ней зачах. . .
Так пусть рассудит справедливый шах,

Что быть могло причиною тому,
Чтоб засидеться ей в моем дому

Без мужа до сих пор, когда б не та,
Не свойственная девушкам черта.

Открыли правду не без боли мы, —
Теперь покорны шахской воле мы».

Сказав, эпохи госпожа ушла.
Советники призвали вновь посла.

И не нашел посол Парвиза слов —
Сорвать с отказа скрытого покров.

Он встал и низко поклонился всем,
Ушел обратно, приуныл совсем...

На месте — шаху слово в слово всё
Он доложил, донес Хосрову всё.

Шах в гнев пришел и верить не желал.
Посла другого он к Бану послал.

Ответ был тот же. Он и в третий раз
Погнал гонца, но чести он не спас.

Хосров рассвирепел, рвал и метал:
«Как видно, я совсем ничтожен стал,

Раз и такие люди уж и то
Меня дерзают ставить ни во что!

Всё это басни, в том сомнений нет:
Лжив от начала до конца ответ.

Иль мало униженья мне того,
Что предложил я им вступить в родство,

Так должен я — к тому же в третий раз —
От них позорный получить отказ?!

Иль соколу уйти с небес пора,
Раз курица кудахчет средь двора?

Пусть лев обрубит когти, стиснет пасть,
А львица пусть в дому захватит власть?

Нет, этого обмана не прошу —
Я так теперь армянам отомщу,

Такая будет их стране беда —
Урок лжецам до Страшного суда! . . .»

Велел он вскоре выступать войскам.
О, горе вам, армяне, горе вам! . .

Поклонники любви, поймите вы:
Любовь и царство — не одно, увы!

باش آرد و جلاب که تاخت پرله تاملان - خشی این
 رساری اشکم کو کورماک فی عیب کیم عیب یاس
 چخ او یون برله الوردین نقدین ایلین و آخر اول

تایلا ربک سواریم کو تکلی چکان او نیامان
 تیره اویدین تبتلاج اوق باسلار غدرایلی او نیامان
 بر شعیبد برله بولماس اهل عرفان او نیامان



وعدده کسب قیلدیک نواغیضه ولیکن او نیامان

مویز بولغایلی ایل پلای عمدی یا لغمان او نیامان

ن لک بیضا

ایکیم غنم تیغین کوسونی قیلدق پاک عشق

دود آهیدین کوزونی ایلادی نناک عشق

* * *

Познанья чару, кравчий, дай скорей:
Глотка вина не стоит власть царей.

Что мощь владык! Обман, насилье, гнет!
Я пью вино страданья за народ.

Глава XXXVIII

НАШЕСТВИЕ ХОСРОВА НА СТРАНУ АРМЕН

Войска стихов построив на смотру,
Поэт в поход повел их поутру.

* * *

Парвиз, поднявший гнева острый меч,
Решив страну армян войне обречь,

Собрал такую силу, что и сам
Не ведал счета всем своим бойцам.

За войском поднимавшаяся пыль
Мрачила светоч дня за милем миль,

Скажи — совсем затмила светоч дня,
Сознанье неба самого темня.

Не помнил мир неправый, чтоб поход
Настолько был несправедлив, как тот!

Немного дней водил Парвиз войска, —
Увы, была страна Армен близка. . .

Тревоги весть летит к Михин-Бану,
Что вторгся неприятель в их страну,

Что он потоком грозным хлынул. . . нет, —
Какой поток! То море страшных бед!

Какое море! Ужасов потоп!
Нет ни дорог свободных и ни троп. . .

Бану не растерялась: в ней давно
Созрела мысль, что горе суждено.

И был начальник крепости умен —
К осаде крепость приготовил он.

А крепость, простоявшая века,
Была и неприступна, и крепка,

Но так ее сумел он укрепить,
Что крепче и кремлю небес не быть.

Дорога, по которой в крепость шли
Арбы с пшеницей, с сеном той земли,

Напоминала неба Млечный Путь,
Покрытый звездной зернью вечный путь.

За крепостной стеной, что вознеслась
Зубчатым гребнем в голубой атлас,

За каждым из зубцов — гроза врагам —
Сидел не просто воин — сам Бахрам!

Рвы доходили до глубин земных,
И так вода была прозрачна в них,

Что по ночам дозорным со стены
Бывали звезды нижние видны.

Вся крепость так укреплена была
И так припасами полна была,

Что даже и небесный звездомол
Лет в сто зерна б того не промолол.

Как звезд при Овне — было там овец,
Коров — как звезд, когда стоит Телец.

Описывать запасы всех одежд
Нет смысла нам, — а счастье их — нет надежд...

Теперь Бану заботилась о том,
Чтоб власть в народе укреплять своим.

А пери думу думала одну —
Она с военачальником Бану

Фархаду в горы весть передала:
Мол, таковы у них в стране дела, —

Его судьба, увы, ее страшит,
Пусть он укрыться в крепости спешит.

Не думал он в укрытие засесть,
Но, чтоб обиды пери не нанести,

Он всё же нужным счел туда пойти,
Но с тем, чтоб не остаться взаперти. . .

Над крепостью была одна скала —
Быть башней крепости небес могла.

На ней Фархад решил осады ждать,
Чтоб камни в осаждающих метать. . .

* * *

А между тем туда спешил Хосров,
Придя, войска расположил Хосров

От места укрепленного того
В полмиля расстояния всего,

А сам со свитой выступил в объезд —
Обозревать твердыню здешних мест.

Внимательно он местность изучал,
На крепость взоры часто обращал,

Обдумывал, рассчитывал, но взор
Не крепость видел на высотах гор,

А небо на земле. Как небо взять?
Где силу и дерзанье где бы взять?

Так размышлял и каялся Парвиз,
Но не совсем отчаялся Парвиз:

В походе пользы, может быть, и нет,
Но сожаленья путь — не путь побед.

Хосров на ту скалу направил взгляд,
Где на вершине пребывал Фархад,

Как жемчуг драгоценный на челе.
Хосров его заметил на скале,

И, словно сам в себя вонзил кинжал,
Он, к свите обратившись, так сказал:

«Осведомьтесь, кто дерзкий тот храбрец —
Угроза и смятение сердец!»

Погнал коня один из тех людей,
К скале приблизился и крикнул: «Эй!

Желает знать великий шах Парвиз,
Кто ты такой? Чем занят? Назовись!»

И так Фархад ответил со скалы:
«Себе не стану расточать хвалы.

Я к именитым не принадлежу, —
Я именем своим не дорожу,

Оно мне чуждо стало, — нет, оно
Исчезло — в прах, в золу превращено

Огнем любви, в котором, весь сожжен,
Я своего же существа лишен.

Но люди легкомудры — потому
Небытию не верят моему —

И, прах мой поминая, не в укор,
Фархадом именуют до сих пор. . .»

От столь глубокоумдро-скорбных слов
Чуть не лишился разума Хосров.

И, ревностью сжигаем, думал шах:
«Есть сладость в этих мыслях и словах,

Красноречив соперник мой Фархад,
Но в сахаре он мне подносит яд.

Убить змею шипучую — не жаль:
Не ползай и при случае не жаль!

Чтоб не вонзился терний в ноги — прочь!
Он мой соперник, — и с дороги — прочь!

Пришла пора стянуть на нем аркан,
Пробить ему в отходный барабан».

И кликнул шах: «Эй, люди, кто храбрей!
Ко мне его доставьте поскорей. . .»

Увидел с высоты своей Фархад,
Что мчится в десять всадников отряд,

И громко закричал оттуда вниз:
«Эй ты, сардар! Хосров ли ты Парвиз,

Иль не Хосров, но уши ты открой
И вслушайся в мои слова, герой!

Своих людей ко мне ты с чем послал?
Когда б меня ты в гости приглашал,

То разве приглашенья путь таков,
Что требовал бы сорока подков?

А если смерти ты меня обрек,
Мне это — не во вред, тебе — не впрок,

И грех пред богом и перед людьми
За десять неповинных жертв прими.

Ты волен мнить, что это — похвальба.
Однако шлема не снимай со лба:

Метну я камень в голову твою —
И лунку шлема твоего собью.

Вот мой привет! И вот — второй! Проверь:
Сбиваю с шлема острие теперь».

Фархад метнул за камнем камень в шлем —
И лунку сшиб, и острие затем.

Сказал: «Вот подвиги людей любви!
Ты видел сам и воины твои,

Как меток глаз мой, как сильна рука:
Так уведи скорей свои войска,

Иначе — сам себя же обвиняй:
Всех истреблю поодиночке, знай!

Хоть пощадил я череп твой, а всё ж
И сам ты головы не унесешь.

А потому благоразумен будь —
И с головой ступай в обратный путь.

И милосердью ведь пределы есть:
Не вынуждай меня, сардар, на месть.

Я не хочу, чтоб каждый камень мой
Стал неприятельскою головой.

Но мне, в себе несущему любовь,
Я верю — бог простит и эту кровь.

Тебя он шахом сделать захотел,
Мне — прахом быть назначил он в удел,

Однако дело, коим занят шах,
Стократ презренный прах в моих глазах,

Дорогой гнета день и ночь скача,
Конем насилья всё и всех топча,

Ты тем ли горд, что кровь и производ
Ты в добродетель царскую возвел?

Моею речью можешь пренебречь,
Но страшно мне, что ты заносишь меч

И тучу войск на ту страну ведешь,
Куда тебя вела любовь. . . О, ложь!

Свои уста, язык свой оторви —
Ты говорить не смеешь о любви! . . .»

Рассерженный Хосров остался нем.
Фархад пробил сначала камнем шлем,

Теперь, произнеся такую речь,
Вонзил он в сердце шаха острый меч.

И, в сердце уязвлен, Хосров ушел,
К своим войскам он, зол, суров, ушел.

* * *

Войска печали, кравчий, отзови!
И шах и нищий — все равны в любви.

Любовь для нас, как власть царям, — сладка,
Но есть соблазн и в доле бедняка.

Глава XL

ПЛЕНЕНИЕ ФАРХАДА

Что крепость небосвода? Лучше ты
Скажи о ней: твердыня красоты!

* * *

Когда к осаде приступил Хосров,
Он вырыть приказал огромный ров.

И круглый вал насыпать земляной,
Чтоб с тылу оградить себя стеной. . .

А в это время в крепости армян
Бил день и ночь тревоги барабан,

Дозорных крик не умолкал всю ночь,
И глаз никто там не смыкал всю ночь,

И, факелами вся озарена,
Пылала, как жаровня, их стена. . .

Десятый день в осаде жил народ,
Не отпирая ни на миг ворот.

Но к их стене вплотную подойти,
Людей своих на приступ повести

Хосров не мог: на тысячу локтей
Фархад камнями побивал людей.

Метнет — разбита вражья голова.
Но он пробил бы даже череп льва.

Что — голова? Попал бы он равно
И в маковое малое зерно!

Несчетно камни он заготовлял,
Врагов несчетно ими истреблял. . .

Но если спросишь: как же тот, кто сам
Привержен был к страданиям и слезам,

Кто каждому несчастному был рад
Помочь и обласкать его, как брат,

Кто с каждым бедняком сердечен был,
Великодушен, человечен был;

Кто возмущен насильем, гнетом, злом,
Теперь убийство сделал ремеслом? —

То мы напомним: проливая кровь,
Он воевал за верность и любовь

И ужас наводил на тех людей,
Которых на злодейство вел злодей.

Фархад же человеком был — и он
Самозащиты признавал закон.

Да, положение было таково:
Иль он — Хосрова, иль Хосров — его!

Любя Ширин, ее народ любя,
Он поступал, как муж, врагов губя. . .

А шах Хосров, злодей эпохи той,
Весь мир топча губительной пятой,

Бездействовал угрюмо день и ночь,
Всё о Фархаде думал день и ночь:

Как обезвредить, как его убрать,
Чтоб двинуть наконец на приступ рать?

С Бузург-Умидом ночи он сидел:
Как быть, где средство к улучшенью дел?

Что ни решат — всё тайна. А к утру —
Молва кочует от шатра к шатру.

И гневный шах, качая головой,
Не мог с безликой справиться молвой. . .

Но вот один бесчестный негодяй,
Хитрец и плут, известный негодяй,

Кто дьяволу пришелся б двойником,
Нет, — дьявол был его учеником! —

Перебежал к Хосрову. Денег тьму
Шах посулил предателю тому.

А подлый плут решил награду взять
И хитростью живым Фархада взять.

Он так сказал: «Я чувств его лишу,
Но дать людей в засаду мне прошу. . .»

Коварный шах ему что нужно дал,
Сто человек в броне кольчужной дал.

Обходной тропкой двинулся хитрец, —
Помешанным прикинулся хитрец.

Сорвал он розу, снадобье добыл —
И розу этим зельем окропил.

Он брел нетвердым шагом, так стена,
Что каждый стон был языком огня.

Безумцем притворясь, он громко пел
О той, по ком он якобы скорбел.

И так притворщик гнусный скорбен был,
Так жалок, так искусно сгорблен был,

Что, лишь услышал песнь его Фархад
И лишь на нем остановил свой взгляд,

Он сразу вспыхнул жалости огнём,
И сердце болью закипело в нем.

Сказал он: «Кто ты? В чем твоя беда?
С какой ты улицы пришел сюда?»

И кто она, светлейшая из лун,
Тебя ума лишившая, меджнун?

В меня любовь вонзила скорби меч, —
Как удалось ей грудь твою рассечь?

Несправедливым небом я казнен, —
Зачем же твой столь безнадежен стон?

Меня в огонь разлуки бросил рок, —
Ужель он и тебя огню обрек? . . .»

Хитрец, найдя доверия базар,
Раскинул лицемерия товар:

«Подвижников любви пророк и шах!
Мы на твоём пути — песок и прах.

Я имярек — скорбящий человек,
Пришелец я из края имярек.

Вела меня сквозь бедствия судьба,
Забросила впоследствии судьба

Меня сюда и покарала вновь,
Страдальческую присудив любовь.

Я разлучен был с милой. Но пока
Хотя б тайком, хотя б издалека

Я мог послать ей вздох иль нежный взгляд, —
Был и таким я кратким встречам рад.

Хосров (будь проклят он! Да ниспошлет
Ему скорбей возмездье небосвод!),

Когда пришел и город обложил,
Меня последней радости лишил:

Там, в крепости армянской, заперта
Со всеми горожанами и та —

Улыбчивая роза, мой кумир, —
Нет, солнце, озаряющее мир!

Я тут чужой, я неизвестен тут, —
Мне в крепости укрыться не дают,

Слыву безумцем, и меня народ
Камнями прогоняет от ворот.

Отверженный, в пустыне я брожу, —
Сочувствия ни в ком не нахожу.

О, горе, горе! Страшен мой недуг!
О, если б хоть один нашелся друг!

Но ты, кто, сам живя в цепях любви,
Слывешь проводником в степях любви,

Ты, шах всех униженных на земле,
Престол свой утвердивший на скале,

Поверить этой повести изволь —
И состраданием облегчи мне боль! . . .»

Весь вымыслен с начала до конца —
Фархада взволновал рассказ лжеца.

Ему казалось — самому себе
Внимает он, внемля чужой судьбе.

И так его разжалобил рассказ,
Что слезы градом полились из глаз,

И он издал, как пламя, жгучий стон
И наземь рухнул, горем потрясен. . .

Обманщик из-под рубища извлек
Отравленный снотворный свой цветок,

И, чтоб продлить бесчувствие, поднес
Дурман Фархаду он под самый нос.

Разбив войска его сознанья так,
Он закричал, подав засаде знак. . .

Шапур, за камнем лежа в стороне,
От сна дурного мучился во сне.

Услышав крик, вскочил в испуге он, —
Забеспокоился о друге он,

Взглянул — лежит ангелоликий друг,
И суетятся воины вокруг,

А между них — дьявололикий шут,
Поет и пляшет — счастлив дикий шут.

Так вот кем предан был Фархад! Так вот
Зачем меджнуном наряжен урод!

Шапур один, а те пришли толпой.
Как против ста он может выйти в бой?

И все они при копьях, при мечях —
Несут Фархада на своих плечах.

Тяжелый камень подыскал Шапур,
Вскочил на выступ, словно горный тур,

И притаился — ждал, пока пройдет
Как раз под ним ликующий урод, —

И бросил камень так, что черепки
Остались от предательской башки.

Есть поговорка: «Тверд зловредный лоб,
Но камень разобьет и медный лоб. . .»

Рыдал Шапур, — осиротел он вдруг, —
Чуть на себя не наложил он рук.

Да что — Шапур! Гранитная скала
Слезам по Фархаду истекла. . .

Ни к радости, ни к горю свет не глух:
Летит, как быстрый камень, в крепость слух.

Но люди тайно горевали там, —
Несчастье от Ширин скрывали там,

Уверены, что иль сойдет с ума,
Иль жизнь свою она прервет сама. . .

* * *

Дай чару, кравчий, — я лишился сил:
Меня дурман разлуки подкосил.

Мой разум ты от плоти отдели,
Вином мое беспамятство продли!

Глава ХLI
ДОПРОС ФАРХАДА ХОСРОВОМ

Событий этих смысл раскроет тот,
Кто от беспамятства в себя придет.

* * *

Без чувств был к шаху принесен Фархад,
Тиран был так его плененью рад,

Что, царственных не пожалев даров,
Людей по-царски одарил Хосров.

С Фархада он аркан сорвать велел,
Всего цепями оковать велел.

Врача позвав, распорядился он,
Чтоб был Фархад в сознание приведен.

Открыл глаза несчастный пленник — ах!
Он скован! Цепи на руках, ногах!

Как раб, поверженный во прах, лежит,
Как сумасшедший, в кандалах лежит!

Он вражескою стражей окружен. . .
Пред ним айван дворцовый. . . пышный трон. . .

На троне — с обликом героя — шах,
Увенчанный венцом Хосроев шах.

Кандальник бедный головой качнул,
Закованный рукою шевельнул, —

Нет, он не спит, не бредит — он здоров:
На троне перед ним — тиран Хосров.

Своей беды он понял глубину:
Он предан был, он у врага в плену!

Однако же не растерялся он,
Нахмутив брови, приподнялся он,

И, правила приличия блюдя,
Придворные сбывчани блюдя,

Всем низко поклонился он сперва,
Хотел сказать какие-то слова,

Но, не слыхав вопроса, речь начать —
Невежливо, — и он решил молчать.

Сомкнул уста Фархад, потупил взор, —
Пусть шах с ним первый вступит в разговор. . .

Дивясь его достоинству, Хосров
На вид как будто стал не так суров,

Огнем любви соперника и он
Как будто был на время озарен.

Казалось, он исполнить не желал
Того, что на Фархада замышлял.

Величественно опершись на меч,
Он с пленником повел такую речь:

Хосров

Кто ты, безумец, и родился где?

Фархад

Что для безумца родина? Нигде!

Хосров

Каким владеешь в жизни ремеслом?

Фархад

Горением любви, враждой со злом.

Хосров

Кто ж ремеслом таким бывает сыт?

Фархад

Горящий сыт огнем, — любовь гласит.

Хосров

Не сказка ли твоя любовь навек?

Фархад

То знает лишь горящий человек.

Хосров

А в чем же суть горенья твоего?

Фархад

Порфиносец не поймет его.

Хосров

Давно ль твое горенье началось?

Фархад

Когда душа и тело были врозь.

Хосров

Не отречешься ль от любви своей?

Фархад

Сам отрекись от этих слов скорей.

Хосров

Что ты считаешь мукой для любви?

Фархад

Страшней всего — разлука для любви.

Хосров

В чем благодать влюбленных, сила их?

Фархад

Свиданье, благосклонность милой их.

Хосров

В возлюбленной ты очарован чем?

Фархад

Ее ревнуя к языку — я нем.

Хосров

Любовь свою, скажи, в чем носишь ты?

Фархад

А душу в чем — зачем не спросишь ты?

Хосров

Мечтаешь о свиданье с пери той?

Ф а р х а д

Да, но довольствуюсь одной мечтой.

Х о с р о в

Мед каплет с уст ее, — так говорят?

Ф а р х а д

Для друга — мед, для недруга — в них яд.

Х о с р о в

Не сгубят ли тебя ее уста?

Ф а р х а д

О, эта гибель — знай — моя мечта!

Х о с р о в

Так что ж — любовь: ущерб, убыток лишь?

Ф а р х а д

Такой ущерб для любящих — барыш.

Х о с р о в

Однако — больше пользы в жемчугах?

Ф а р х а д

Пред философским камнем жемчуг — прах.

Х о с р о в

В разлуке — боль страдания, тоска.

Ф а р х а д

Надежда на свидание сладка.

Х о с р о в

Себя, дервиш, не шахом мнишь ли ты?

Ф а р х а д

Любовь не судит — шах, дервиш ли ты.

Х о с р о в

Меджнун, подумай о своей судьбе.

Ф а р х а д

Влюбленный не печется о себе.

Хосров

А если я страну тебе отдам?

Фархад

О шах, становишься ты жалок сам!

Хосров

За дерзость ты заплатишь головой.

Фархад

Уж лучше казнь, чем разговор с тобой...

* * *

Такие рассыпал он жемчуга
В ответ на всё глумление врага.

Хосров был озадачен: «Как он горд,
Как неподкупно, мужественно тверд!

Он — жалкий пленник, я — великий шах,
Но сколь он дерзок был во всех речах.

Он знал, что будет сломан жизни ствол,
А все мои посулы он отвел.

Но если столь гордыня в нем крепка,
Предам жестокой казни смельчака,

Чтоб пред царями трепетал вперед
Весь черный люд и всякий нищий сброд...»

Пришел тут в гнев свой неумный шах,
И приказал тот вероломный шах

У крепости помост соорудить,
И виселицей тот помост снабдить,

И вздернуть одержимого: гордец
Мечты своей достигнет наконец.

И стрел поток в него чтоб пущен был,
Чтоб ливня грозowego гуще был.

И пусть, унизан стрелами, затем
Семь дней висит он, в назиданье всем,

Чтоб каждый нищий и бунтарь любой
Знал разницу меж шахом и собой.

Спустя семь дней из петли труп извлечь,
Костер, подобный адскому, разжечь —

И сжечь презренный труп, испепелить
И по ветру весь пепел распылить,

Чтоб не осталось от него следа
И чтоб о нем забыли навсегда. . .

* * *

Всё выслушав, Фархад, презревший страх,
Сказал смеясь: «О многогневный шах!

Ты мне во всей своей грозе смешон:
Не думай, что теперь ты отомщен,

Что казнями унизишь ты меня, —
К блаженству лишь приблизишь ты меня!

Все казни я с восторгом претерплю
Во имя той, которую люблю.

Три казни ты назначил, но одна
Мне смерть от них, однако, суждена,

А я, живой, терплю в разлуке с ней
В день не одну, а тысячу смертей.

Меня повесив, не ликуй, о шах!
Пойми, коль можешь, мысль такую, шах:

Душе моей, что истерзалась так,
Стал виселицей бранный мой костяк.

Ты вздернешь плоть мою, но этим всё ж
От плоти душу ты мою спасешь. . . .

Потом, о шах, войскам ты повелел
Облить мой труп дождем несметных стрел.

Не знал ты, видно, стрел разлуки, шах:
Нет стрел острей, жесточе муки, шах!

Я день за днем стою под ливнем их, —
Так что мне стрелы лучников твоих?

И сжечь меня ты приказал, и прах
Развеять в небе — всем другим на страх.

О шах, ты не был истинно влюблен,
Разлукой не бывал испепелен.

А я горю в ее костре, и мне
Гореть не страшно на твоём огне.

Да, я умру с улыбкой на устах,
В надежде, что мой пепел в небесах

Не пропадет, — слетится в кучку там,
И станет мускусною тучкой там,

И, может быть, в палящий летний день
На голову любимой бросит тень,

И вздох моей любви по ней — с высот
Порой в раскатах грома донесет,

А влагой, что в глазах моих кипит,
Пыль под окном любимой окропит. . .

Тиран! Все казни мне назначил ты,
Меня одним лишь озадачил ты:

Как мог ты сам свою унижить честь,
Обрушив на меня такую месть?

Ты — грозный шах, герой-сардар большой,
А я — меджнун с истерзанной душой,

Бессильный раб любви, страдалец я,
Ничтожный нищий и скиталец я.

И столь большой владыка, от людей
Узнав о роковой любви моей,

Сам якобы любовью одержим,
Становится соперником моим

И, честь свою и разум свой поправ
И сотни тысяч воинов собрав, —

Чрез мирные чужие рубежи
Несет убийства, гнет и грабежи,
Несет он беспощадную войну
В цветущую и мирную страну,
Где правит та, кого он не видал,
Но чьим супругом стать он возмечтал.
С плеч головы снимает, а с голов —
Венцы снимает грозный шах Хосров.
На чужестранца бедного, кого
Соперником он счел, на одного
Своей стотысячною силой всей
Бросается герой-владыка сей.
Но, дважды бит камнями, он, сардар,
Бойтся честный нанести удар, —
Противника он бьет из-за угла:
Стотысячная рать не помогла, —
Помогут хитрость, подкуп и обман.
Растрогав ложью, мне дают дурман
И сковывают сонного и тут
Приводят в чувство и допрос ведут.
Что ни вопрос — острее осиных жал.
Что ни совет — отравленный кинжал.
Но, получив на каждый свой вопрос
Ответ достойный, гордый шах не снес
Столь смелых мыслей: нет, они ему
Иль не по вкусу, иль не по уму.
Меня казнить велит он. Таково
Всё благородство царское его!
Но это ведь не суд, не казнь, — любой
Почной убийца так вершит разбой!..
Пока меня палач твой умертвит,
Мне сердце разорвать успеет стыд

За шаха справедливейшего: он,
Обманом победивший, побежден!

Вот справедливосгь шахов — бог прости!
Вот доблесть их — господь мой вздох прости!

Я всё сказал. Мир оставляю я, —
Подруги имя прославляю я...»

* * *

Его по знаку шаха увели,
Его на казнь, на плаху увели —

Туда, где перед крепостью, у рва,
Уже сложили хворост и дрова.

Но даже стража, что его вела,
Участия к нему полна была.

Проникла в крепость эта весть. Народ
Бежал к стене, и плакал весь народ,

Когда Фархад в цепях, бредя с трудом,
К помосту на аркане был ведом,

И каждый человек тогда хотел
С ним разделить страдальческий удел.

Но весь народ, горюя, как один,
Скрыл горе от Бану и от Ширин...

В душе Хосрова тоже был разлад:
«Нет, смерти не заслуживал Фархад».

Но чем укоры совести сильней,
Тем самолюбье шахское больней,

И шаха нерешительность томит.
Но тут как раз мудрец Бузург-Умид,

Как будто мысли шахские прочел,
Вмешаться в это дело нужным счел:

«Шах, основания для казни нет.
Одно уж то, что в нем боязни нет, —

Свидетельство, что не виновен он,
Что отвечать не должен кровью он.

Хоть признаки и есть, что не совсем
В своем уме несчастный, — но меж тем

Немало истины в его речах.
О них подумать стоило бы, шах.

А если он умом и поврежден,
Темницей лишь грозит ему закон.

Под сильной стражей месяц или два
Пусть в заточенье посидит сперва,

И если бред безумья в нем не лжив,
Пусть он, меджнун несчастный, будет жив».

И шах решил смягчить свой приговор.
Невдалеке, среди высоких гор,

Была скала, чье острое ребро
На лбу луны поставило тавро.

Там укрепленный старый замок был —
Узилищем преступникам служил.

Он звался Селасиль. Твердил народ,
Что дивами построен замок тот.

Кто знает, сказка это или быль?
Шах заточил Фархада в Селасиль,

Чтоб, как Ширин, жил в крепости и он,
От мира и от милой отрешен.

Как драгоценный идол окружен
Монашеской толпой со всех сторон,

Так стражею был окружен Фархад:
В пятьсот мечей тот грозный был отряд!

Эй, кравчий, опьяни меня скорей,
Опутай узами своих кудрей!

Безумен я, но сам я жажду уз:
Быть может, в них я сброшу плоти груз.

Глава XLV

ПИСЬМО ШИРИН К ФАРХАДУ

«В строках начальных мсего письма,
Что за меня напишет боль сама,

Да прозвучит моя хвала тому,
Кто создал в мире черной скорби тьму

И кто обрек на вражий гнев и месть
Людей, чья непоколебима честь,

Кто им разлуку горше яда дал,
Сердцам влюбленных муку ада дал.

Когда он страсти молнию метнет,
И кипарис и хворост он сожжет;

Низринет он поток любви — беда! —
И пустоши зальет и города;

Он дунет ветром скорби — и для нас
Уже и свет ярчайших звезд угас;

Костер невзгод он разожжет, а дым
Глаза разъест и зрячим и слепым;

Он камнем гнева, брошенным с вершин,
Равно дробит стекляшку и рубин,

У соловья он исторгает стон,
На пышной розе в клочья рвет хитон;

Он атом на страдание обрек,
Он солнце на сгорание обрек. . .

Кончаю тут вступление к письму, —
Нет, не к письму, а к мраку самому!

Посланье от лампы к мотыльку,
Увы, гореть уж нечем фитильку!

От саламандры — в капище огня, —
Скажу ясней: Фархаду — от меня:

Тебе, чья крепость горя — горный кряж,
Я, крепости тоски бессменный страж,

Пишу в слезах, измучена судьбой. . .
О милый мой страдалец, что с тобой?

Придавленный горой тоски по мне,
Как ты живешь в той дикой стороне?

Тростинку тела твоего, боюсь,
Не изломал бы горя тяжкий груз.

В пучине бед, наверно, тонешь ты?
В костре разлуки как там стонешь ты?

Как корчишься на том огне тоски,
Как сердце разрывается в куски?

Чернеет ли весь мир в твоих глазах,
Чуть о моих ты вслומнишь волосах?

Михраб моих бровей припомнив там,
Как юный мсяц, не согнешься ль сам?

Мои ресницы вспомнишь ли, грустя,
Чтоб каждый волос стал острее гвоздя?

Лишь вспомнишь ты мои глаза скорбя,
Пронзит ли боль стоиглая тебя?

Представишь ли мои зрачки себе
Так, чтобы выжглись клейма на тебе?

Вообразишь мои две розы ты, —
Прольешь ли розовые слезы ты?

О родинке моей мечтать начнешь, —
На ране сердца сколько мух сочтешь?

Без моего лица не в силах жить,
Не хочешь ли и солнце потушить?

Лишен беседы сладостной со мной,
Подолгу ль гсворишь ты сам с собой?

Лишь память о зубах моих блеснет,
Не превращаются ли слезы в лед?

Когда вообразишь мои уста,
Блуждает ли в небытии мечта?

Не стали б ямки на щеках моих
Колодцами горчайших мук твоих!

Тебе в плену — моих кудрей узлы
Не будут ли, как цепи, тяжелы?

Не сделаешься ль золота желтей,
Припомнив серебро моих грудей?

Не сделаешься ль тоньше тростника,
Восбразив, как станом я тонка? . .

В степи ль, в горах обрел обитель ты?
Обрел постель не ча граните ль ты?

Где птица счастья твоего? Увы,
Витает над тобою тень совы!

Лань, говорят, теперь вожатый твой,
Кулан теперь там конь крылатый твой;

В твоей же свите состоят теперь
И птица хищная, и хищный зверь;

Львы у тебя — в стремянных, говорят,
Орлы — в бойцах охранных, говорят;

Царя царей теперь ты носишь сан,
Стал, говорят, велик, как Сулейман.

Но если Сулейману ты ровня,
Царицею Билькис сочти меня.

А если же Билькис я не чета,
Твоя рабыней быть — моя мечта. . .

О, если бы судьба, чье ремесло —
Творить насилье, сеять в мире зло,

Моей горячей тронута мольбой,
Не разлучила бы меня с тобой!

Была б тебе я спутница и друг,
Всегда бы услаждала твой досуг;

Как солнце, сзаряла бы твой день,
Была бы ночью при тебе как тень:

Ты б ногу занозил колючкой злой —
Ресничкой извлекла бы, как иглой;

Я б волосами подметала сор,
Чтоб и соринки твой не встретил взор,

А пылью чтоб тебя не огорчить,
Могла б слезами землю смочить;

Хотел бы ты от скорби отдохнуть,
Склонил бы голову ко мне на грудь;

Сгустился б над тобою вечер бед, —
Лицо открыв, я излучала б свет;

А стал бы долгий день тебе невмочь, —
Волос душистых опустила б ночь;

Как амулет от боли и тоски,
Сплела бы на тебе я две руки;

Ты попросил бы зеркало — и вмиг
Я повернула бы к тебе свой лик;

А воспалился б сердцем и ослаб —
Уст моих сладкий ключ я поднесла б;

Была б твоим светильником в ночи,
А днем хранила б тайн твоих ключи. . .

Но если мы — всем любящим пример —
Разобщены круговращеньем сфер,

То сможем ли, хотя б расшибли лбы,
Смягчить несправедливый суд судьбы? . .

Но ты в народах мира знаменит
Тем, что тебе — как мягкий воск — гранит,
Тягчайшие страданья стерпишь ты,
Всех бедствий испытанья стерпишь ты,
И хоть со мной в разлуке ослабел,
Но будь, как витязь, доблестен и смел, —
И мужество и твердость сохрани,
И в униженье гордость сохрани. . .
А если скорбь ударит камнем в грудь,
И крика ты не сдержишь — не забудь:
Закон влюбленных не нарушь, Фархад,
Блюди там клятву наших душ, Фархад!
А я, кого разлуки острый меч
На сто частей не пожалел рассечь,
Кого огонь разлуки сжег дотла,
Я — только раскаленная зола.
Но пусть душа на ста кострах горит,
Сильней огня девичий страх горит:
Не испустить на людях вздохов дым,
Не уронить слезы глазам моим!
Будь женщина, как лилия, скромна,
Будь гордою, как кипарис, она;
Пусть, как луна, сияла б красотой,
Луну хоть затмевала б красотой;
Возлюбленной она примерной будь,
Иль даже ветреной, неверной будь, —
Не дай господь ей как-нибудь попасть
В тот плен, которому названье — страсть!
Не дай любви хлебнуть ей через край,
А дашь — мечом разлуки не карай.
Огонь такой любви нет сил снести,
Нет сил, чтоб душу из него спасти.

Спасется ль слабый малый муравей
От сотни жадных, беспощадных змей?

И хвостинке ль тонкой уцелеть,
Когда ударит молниенная плеть?

О, для влюбленных много страхов есть!
Страшней всего, однако, стыд и честь:

Хоть в судорогах бейся день и ночь, —
Лишилась чести — утешенья прочь!

Позора избежать ведь нелегко
Той, кто в любви заходит далеко.

Пускай вздыхает так, что семь завес
Поднимутся со всех семи небес,

Но ей с лица не снять покров стыда,
Ей от людского не уйти суда. . .

Твоя печаль, я знаю, тяжела,
Но не подумай, что моя мала,

И всё же, вспомнив о тебе, Фархад,
Свои страданья множу я стократ.

Я пленница любви твоей, и вот —
Мой стон, мой вопль пронзает небосвод.

С тобой в разлуке я забыла смех,
Мне без тебя на свете нет утех:

Венец мой царский захватил Хосров,
Мой край родной поработил Хосров;

Я и народ мой жить обречены,
Как совы, в тьму пещер заточены;

Нас всех теперь сравнял надменный враг:
Мы все рабы — царица и бедняк.

Те, кто в плену, мертвы при жизни тут,
Те, кто спаслись — от страха перемерут.

Все эти беды, весь позор, вся кровь, —
Всею причиной лишь моя любовь.

Меня народ возненавидит . . . Ах, —
Его проклятья у меня в ушах!

Стыд перед ним терзает душу мне,
Стыд пред Бану убьет меня вдвойне. . .

И все-таки скажу я без прикрас:
Моих страданий будь хоть во сто раз,

Не в сто, а в тысячу раз больше будь, —
Но только б на тебя еще взглянуть, —

Клянусь, что буду я тверда, как сталь,
Что отойдет с моей души печаль!

Но и сейчас, в разлуке, в этот час,
Что горше самой смерти во сто раз,

Поскольку я еще дышу пока,
Надежду в сердце я ношу пока.

Конец тогда, когда надежды нет, —
С надеждой можно отстрадать сто лет. . .

Теперь я об одном тебя прошу:
Письмо, что я в смятении пишу

Пером смятени я, мертвая почти, —
Внимательно прочти и перечти

И, если хочешь облегчить мне боль,
Прислать ответ с посланцем соизволь.

Я сохраню твое письмо-привет,
Как тайный, чудотворный амулет,

Оно послужит для Ширин твоей
Охранной грамотой от всех скорбей. . .»

* * *

Когда несчастный дочитал письмо,
Рыдая, целовать он стал письмо,

В безумии стена, крича, вопя,
Он наземь падал, корчась и хрипя.

Когда же наконец он поборол
Безумья приступ и в себя пришел, —

Шапур калам для друга очинил,
Бумагу подал и сосуд чернил,

И сел Фархад и стал писать ответ —
Повествованье мук своих и бед. . .

Фархад письмо Шапуру передал,
Простился с ним — и снова зарыдал.

Шапур ушел. Бог весть каким путем
С письмом пробрался в крепость он потом.

Ширин взяла в смятении письмо,
Прочла в уединении письмо.

Высокой скорби страстные слова
Нам огласит дальнейшая глава.

Глава XLVIII

КОЛДУНЯ ОБМАНЫВАЕТ ФАРХАДА

Кто пламя скорби в песне раздувал,
Так смысл печальных слов истолковал.

* * *

Для подлого обмана в этот раз
Одна старуха подлая нашлась,

Вполне пригодная к таким делам.
Хоть стан ее согнулся пополам,

Хотя она совсем стара была,
Но, как шайтан, она хитра была.

Ее коварству не было границ:
От бедных поселянок до цариц,

И даже среди мужчин — и млад и стар —
Страшились все ее коварных чар.

Она могла насильно всех влюбить:
Отца в родную дочь, а сына — в мать;

Могла бы петуха к овце привлечь,
Сатурна к Солнцу похотью зажечь;

Могла нечистой волею своей
Разрушить счастье тысячи семей.

Промолвит слово — человек засох.
Предсказывал судьбу ее горох:

На коврике разложен, с виду прост,
Приобретал он свойства вещей звезд.

А в лекарских делах — и сам Букрат
У сводни поучиться был бы рад. . .

Шах посвятил немедленно ее
Во всё злоумышление своё,

И, подкупом большим соблазнена,
Бесстыдно отвечала так она:

«Будь он горой железной — истошу,
В пыль превращу и по ветру пушу! . . .»

Сказала — и с ковра горох сгребла,
Ушла, бродила — к месту добрела.

Седые космы прикрывал платок —
Из мерзких дел основа и уток,

А рубище на ней — лохмотья сплошь,
Любой клочок — коварство, козни, ложь.

Как некогда Мария на Сянай,
Смиреницей она пришла в тот край.

* * *

Фархад, ее увидя, с места встал —
И, стройный, как «алиф», согнулся в «дал».

О трудностях пути сперва спросил,
Цель посещения какова — спросил.

Согнувшись вся подковою кривой,
Колдунья закачала головой:

«Ты видишь, сын мой, я больна, дряхла,
Себя отшельничеству обрекла.

От суеты мирской уединясь,
Давно с людьми я прекратила связь.

Одним лишь благочестьем дорожа,
Жила я, богу ревностно служа.

И жизнь моя текла без перемен,
Пока царил покой в стране Армен.

Но тут как раз — откуда ни возьмись —
Нагрянул этот самый шах Парвиз

И распрю так раздул, что дома нет,
Где радости еще мерцал бы свет.

О горе, горе, что творится там!
Об этом слышал ты, наверно, сам.

А чтоб служить всевышнему — нужна
Не суета войны, а тишина.

И я решила: от людей уйду,
Из кельи городской своей уйду,

Найду пещеру с близким родником —
И в ней забуду обо всем мирском,

И стану в тихом том затворе жить,
Без суетных тревог, без горя жить.

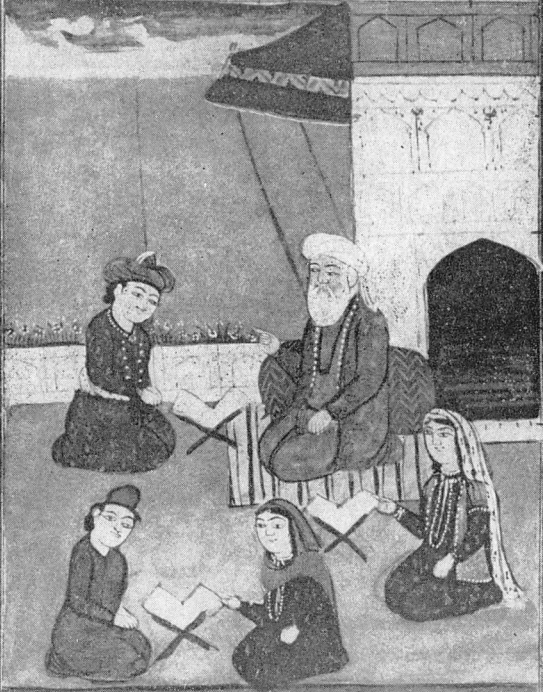
А жить недолго дряхлой, хилой мне:
Пещера будет и могилой мне.

Бродила я, искала — и помог
Мне обрести такое место бог...

Отмыв от жизни руки, буду здесь
Я доживать остаток жизни весь.

А люди? . . Им, клеветникам, не верь, —
Ты лучше эгим черным камням верь! . . .»

فاج او سید العلام در دور
 لعل او سید ما فاج زر عجب دور
 غم شای آرا قولی تو تو نمک
 بجران تو نینا گویم یار تو نمک



مد جگنی ای تایی نوع ظاهراً
 شکر و کفنی نه تیل هر وی آخر
 ای کون کنجا کنی منقل اولسون
 همینک باری خود صد اولسون

<p>تیشتم پرده کای دیگرین دو خود اولی اطرافینا خاکسنگ سی غیر اتا دین ازان کای سیاس جس روی اند افروختی تیره</p>	<p>خوب و دو سوم سو اولی پسیر اند ازان کم افروخت گردد تو زمان اول بر جاس اولی کای کینه سو پیشین اولی</p>	<p>اندو دین از کونیا اولی سوم گردد چون بی اولی نرسد ازان کنو چو سیسیان ازان سب نم شایسی سب ازان سب</p>	<p>چو آفت از شیشی بودیم تو زب تو زان اچکا را بر یک کای کس فری جانی ازاب گردد چون سب اولی بودی</p>
<p>چو کونیا از ازان بودی</p>	<p>ن کونیا از ازان بودی</p>	<p>کونیا از ازان بودی</p>	<p>کونیا از ازان بودی</p>
<p>دو اولی سب کای سب ایسی سب دی بر ازان اوستانی دی اولی کان کم اسیان ایسیان اولی قنای و اسیان</p>	<p>چو اولی سب کای سب کونیا قنای بودت شان کونیا ایسیان ازان کونیا ایسیان ازان کونیا</p>	<p>دو اولی سب کای سب ایسیان کونیا ازان تو سب کونیا ازان بر ازان کونیا</p>	<p>چو اولی سب کای سب ایسیان کونیا ازان تو سب کونیا ازان بر ازان کونیا</p>
<p>کونیا از ازان بودی</p>	<p>کونیا از ازان بودی</p>	<p>کونیا از ازان بودی</p>	<p>کونیا از ازان بودی</p>
<p>اومان اولی کای سب و سادت طرح لاکونیک نظار جی و میان کس بر امانی کای سب و اسیان ساده تعلق در هر کای سب کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا رود کونیا</p>			
<p>کونیا از ازان بودی</p>	<p>کونیا از ازان بودی</p>	<p>کونیا از ازان بودی</p>	<p>کونیا از ازان بودی</p>
<p>اولی کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا</p>	<p>کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا</p>	<p>کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا</p>	<p>کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا</p>

Взволнован этой речью, бледнолиц,
Фархад склонился пред колдуньей ниц, —

Прося благословенья, лобызал
Прах на ее ногах — и так сказал:

«Свет озарения в твоих очах,
Сокровищница истины — в речах!

Грязна дорога мира и крива!
Клянусь, что ты права, во всем права!

Неверность — вот закон людей мирских,
Но каждый хочет верности других.

Однако что так потрясло тебя?
Какое взволновало зло тебя?

Уж не случилось в крепости беды ль,
Что на сердце тебе насела пыль? ..»

Сказала: «Я не скрою, сын мой, да!
Действительно, случилась там беда —

Беда, которой и границы нет,
Такой позор не мог и сниться! Нет! ..

С Хосровом сговорясь, Михин-Бану
Ему бесстыдно продала страну,

Они сдружились — и идет к тому,
Чтобы Ширин уже отдать ему.

Простерт ковер свиданья с двух сторон,
И залиты вином страна и трон.

Примеру их последовал народ:
У всех вошло распутство в обиход.

А люди благочестья и стыда
Ушли, забрав пожитки, кто куда.

Так я сюда заброшена судьбой —
И душу, сын мой, отвожу с тобой! ..

Но вот что чудо, вот где божий перст!
Теперь под ними сущий ад разверст:

Пирам пришла на смену скорбь, мой сын.
Причина — в их красавице, в Ширин:

Таким исходом дел была она
Безмерно, видимо, угнетена:

Хосров ей ненавистен был, как враг,
Однако неизбежен был их брак.

Но в самый бракосочетанья день,
Поистине — ее закланья день,

В последний час — кто б думал, кто б гадал! —
Она в себя вонзила свой кинжал. . .

Кто знает правду? Также говорят,
Что выпила она смертельный яд,

С тем чтоб, когда законный час придет,
Шах не вкусил ее заветный мед.

Кто знает правду? . . Третьи говорят,
Что был какой-то юноша Фархад,

Который эту гурию любил,
Но будто бы Хосров его убил.

В тот миг, когда она от жизни сей
Умыла руки, в верности своей,

Был стон ее к Фархаду обращен,
Был на устах ее в то время он.

Все замыслы Парвиза руша так
Слила с душой Фархада душу так».

Всю эту ложь Фархаду изложив,
Как меч, язык свой острый обнажив

И вздохами уснащивая речь,
Фархаду в грудь она вонзала меч

И, чтоб ему опомниться не дать,
Бездушно продолжала причитать. . .

И крикнул вдруг Фархад: «Молчи! Молчи!
Отнять ты хочешь душу? Получи!

Я мертв уже! Перед тобой мертвец!
Чего ж еще ты хочешь наконец?

Пей кровь мою! Но от речей избавь!
Оставь меня, проклятая, оставь!..»

Сказал Фархад — и, в грудь себя бия,
Пустился с криком в степь небытия.

Потоком слез он горы затопил,
Потопом Страшного суда он был!

И тот потоп разрушил в нем самом
Его несчастной жизни шаткий дом.

* * *

Потоп вина, мне кравчий, приготовь!
И цветом пусть напоминает кровь!

Нет, в этот день вина не надо мне:
Оплакивать пришлось Фархада мне!

Глава LI СМЕРТЬ ШИРИН

Кто словом сскрушенья начал речь,
Тот кончил похоронным плачем речь.

* * *

Когда была посажена Ширин
На царственный свой крытый паланкин,

Чтоб к месту исцеления спешить
И в том краю без тревоженья жить, —

Все воины Парвиза собрались
Взглянуть на ту, кого избрал Парвиз.

Столпившись пред носилками ее,
Они как будто впали в забытье, —

Скажи, что солнце, выглянув из туч,
В густую пыль направило свой луч!

Но в этот час произошло здесь то,
Чего и ожидать не мог никто:

Пришел полюбоваться на Ширин
И шах-заде, родной Парвизов сын,

Прославленный красавец Шируйя...
Как связана со всей рекой струя,

Как искра с пламенем костра, так он
Всем естеством был с шахом сопряжен.

Однако жил с отцом он не в ладах,
И не был также с ним сердечен шах.

Так издавна меж ними повелось:
Всё — несогласье, всё — раздор, всё — врозь...

Как весь народ, и Шируйя глядел
На паланкин. Вдруг ветер налетел —

И занавеску поднял, и на миг
Он той луны увидел светлый лик, —

Не говори — луны, — она была,
Как солнце, ослепительно светла!

Хотя всего лишь миг он видел ту
Мир озаряющую красоту,

В нем сразу вспыхнул страсти тайный жар,
Негаснувший, необычайный жар!

Лишась покоя, отстранясь от дел,
Ни днем ни ночью он не спал, не ел.

И понял он, что жертвой должен пасть,
Что смерть — расплата за такую страсть,

Потом подумал: «Смерть?.. Но почему
Мне нужно умереть, а не ему?»

Кто не боится смерти сам в любви,
Ужели не прслет чужой крови?

Ведь если устраню Хосрова я,
Мир будет мой и гурия — моя.

Всё царство мне отцовское на что?
Подобных царств она сулит мне сто! ..»

Он, в замысле преступном утвердась,
Вступил с военачальниками в связь.

А так как все границы перешло
Чинимое нареду шахом зло,

То Шируйя войска к себе склонил
И постепенно весь народ сманил.

Таков был небосвода поворот!
Принес присягу Шируйе народ, —

Хосров был схвачен, в яму заключен,
Пощечинами даже посрамлен!

Но чтобы этой птице как-нибудь
Из темного гнезда не упорхнуть,

Чтоб мести от нее потом не ждать,
Решили ей покой во прахе дать...

Сын обагрил отцовской кровью меч!
Кто злодеянье это мог пресечь?

Закон любви таков, что вновь и вновь
За пролитую кровь ответит кровь!

Фархада погубил Хосров — и вот
Возмездие ускорил небосвод.

Терзал сердца народа властелин —
Убил его едиnorodный сын.

Судьба на мплость и на гнев щедра,
В потворстве и в возмездии быстра.

Невинному удара боль тяжка,
Но и суровой кары боль тяжка!

Чужую жизнь пресекавший, знай: змея
Отмстительница тайная твоя!

Кто искру сделал грудой пепла, тот
Себе возмездье в молнии найдет!

Какое в землю сеял ты зерно,
Землей оно же будет возвращено.

А если так, то в брэнной жизни сей
Лишь семена добра и правды сей.

Кто сеял зло — себя не утешай:
Неотвратим твой страшный урожай!

Хосров Парвиз насилья меч извлек —
В него вонзило небо свой клинок;

Пошел на преступленье Шируйя —
Не жди судьбы прощенья, Шируйя! . .

* * *

Когда Хосров был сыном умерщвлен,
Отцеубийца поднялся на трон

И возложил на голову венец —
Правления тяжелого венец.

В нужде мы и убийце угодим:
Стал Шируйя царям необходим.

Пытался он Михин-Бану привлечь
И сразу о Ширин завел с ней речь.

Ответила: «Она еще больна.
Оправится — решить сама вольна.

Ее судьба в ее руках, а я
Ни в чем ей не помеха, Шируйя!

Но лучше ты поговори с ней сам:
Захочет — я благословенье дам. . .»

Но так как грубым он невеждой был,
А страсть в нем разожгла надежды пыл,

То он кумиру своему послал
Письмо любви, в котором так писал:

«О гурия, ты — обольщение глаз,
Чью красоту я видел только раз!

Но, вспыхнув от ее огня, с тех пор
Ношу в душе пылающий костер.

О, ни Фархад, ни мой родитель-шах,
Клянусь, не мучились в таких кострах!

Отцовскую пролить осмелюсь кровь,
Чем докажу еще свою любовь?

Никто таких страданий не терпел,
Какие мне любовь дала в удел.

Всю летопись судьбы перелистай
Лист за листом подряд — и прочитай

Все повести любви из века в век, —
Такой любви не ведал человек!

Хоть я владыкой стал, тебе скажу:
Я горькую утеху нахожу

В том, что, тебя любя, о мой кумир,
Себя на весь я опозорил мир.

Да, мне в позоре этом равных нет,
И мучеников столь бесславных — нет!..

Не отвергай, Ширин, моей любви.
И к жертве страсти милость прояви.

О пери, обещаю мне ответь,
Надеждой на свиданье мне ответь!

Хоть я не жду отказа, но клянусь:
Ни перед чем я не остановлюсь,

И — не добром, так применяя власть,
Ответить на мою заставлю страсть!..»

Ширин, приняв посланье от гонца,
Лишилась чувств, не дочитав конца.

Она понять сначала не могла
Столь небывало страшные дела.

Но, долго размышляя над письмом,
Она, увы, уверилась в одном:

«Вот подлинно безумный, страшный тем,
Что чувство страха утерял совсем!

Кто мог отца с пути любви убрать,
Преступит всё и может всё погрять,

Чтоб своего достичь. Я цель его,
И ждать я от него могу всего.

Нет, не хочу я на него смотреть!
О боже, помоги мне умереть!

Да, смерть — одно спасение мое,
В ней вижу воскресение мое!..»

К такому заключению придя
И в нем успокоение найдя,

Она с довольным, ласковым лицом
Речь повела почтительно с гонцом.

Сказала: «Шаху передать прошу:
Я за него молитвы возношу.

Угодно было, видимо, судьбе
Хосрова бремя передать тебе.

И если жизни ты лишил отца,
То был орудием в руках творца

И, значит, воли был своей лишен,
А сделал то, чего хотел лишь он.

Я ль не пойму страдания твои?
Сама я знала плен такой любви.

Ты слышал о Фархаде, кто гоним
И кто загублен был отцом твоим,

Кто был любви поклонникам главой,
Всем верности сторонникам главой?

Круговращенье вечное небес
Таких еще не видело чудес,

Такой любви, как между им и мной,
Примером ставшей для любви земной.

Не преходящей похотью сильна, —
Сильна была единством душ она!

Фархад низвергнут был Хосровом в ад,
И принял смерть из-за меня Фархад.

И я теперь в разлуке вечной с ним,
Но сердцем так же безупречно с ним.

Я заболела от тоски по нем
И чахну безнадежно с каждым днем.

Я птицей недорезанной живу
И непрестанно смерть к себе зову...

Но если шах действительно мне друг,
Он, может быть, поймет, что мой недуг

Тем более жесток, что милый мой
Еще поныне не оплакан мной.

И если б, как обычаи велят,
Я, завернувшись в черное до пят,

Здесь труп его оплакать бы могла
И скрытой скорби выход бы дала,

То, душу от печали облегчив,
Я жить могла б, недуг свой излечив...

Шапура в цепи заковал Хосров;
Освободи Шапура от оков —

И я с людьми туда пошлю его,
Где брошен труп Фархада моего.

Он привезет его ко мне — и я
Свою очищу совесть, Шируйя,

И, выплакав свою любовь к нему,
Покорной стаю шаху моему.

А твой отказ — он приговор твой, шах.
Тогда меня получишь мертвой, шах!..»

Гонец понес царю, ликуя, весть.
Услышав от гонца такую весть,

Был счастлив Шируйя, повеселел —
И выпустить Шапура повелел.

Шапур пришел к Ширин и, весь в слезах,
Ниц распростерся перед ней во прах.

И вся слезами залилась Ширин, —
Фархада вспомнила тотчас Ширин.

Настолько встреча их горька была,
Что почернело небо, как смола.

Но жалоб сердца отшумел поток —
Настал для разговора дела срок:

Убрав тигровой шкурой паланкин,
Дала Ширин Шапуру паланкин

И, двести человек в охрану дав
И пышность царских похорон создав,

Отправила весь караван туда,
Где смеркла навсегда ее звезда...

Шапур с людьми ушел — и там, в горах,
Нашел того, кто рушил горы в прах

И кто теперь горою бедствий сам,
Мертв, недвижим, предстал его глазам.

Не как гора! — зверями окружен,
Лежал как средоточье круга он.

Но звери разбежались от людей —
И люди стали на места зверей,

И на носилки возложили труп,
И шелком и гарчой покрыли труп,

И почести, как шаху, оказав
И, плача, на плеча носилки взяв,

Печалью безутешною горя
И щедро благовоньями куря,

Так до дворца Ширин они дошли,
Фархада тайно во дворец внесли,

В ее опочивальне уложив
И ей затем, печальной, доложив. . .

* * *

Когда Ширин узнала, что такой
Желанный гость доставлен к ней в покой,

Она возликовала, как дитя,
Лицом в тот миг, как роза, расцветя.

Не только на лице, в ее душе
Следов страданья не было уже.

И, с места встав, легка и весела,
С ликующим лицом к Бану пошла,

И так сказала: «Прибыл друг ко мне.
Хочу проститься с ним наедине.

Часы свиданья быстро пробегут —
Пускай меня хоть раз не стерегут. . .»

И, разрешение получив, она
К себе в покой отправилась одна,

Решив достойный оказать прием
Возлюбленному во дворце своем:

«Он умер от любви ко мне — и вот
Мне верность доказать настал черед.

В своем решенье до конца тверда,
Не окажусь я жертвою стыда.

Сердечно гостя милого приму:
Я жизнь свою преподнесу ему!

Но совесть лишь одно мне тяготит,
Один меня гнетет предсмертный стыд,

Одну ничем не искуплю вину —
Удар, который нанесу Бану! . . .»

Смыв от жизни руки, в свой покой
Ширин вступила твердою ногой.

Покрепче изнутри закрыла дверь
И, не тревожась ни о чем теперь,

С улыбкой безмятежной на устах
Направилась к носилкам, где в цветах,

В парче, в шелках желанный гость лежал,
Как будто сон сладчайший он вкушал.

Но сон его настолько был глубок,
Что он проснуться и тогда б не мог,

Когда бы солнце с неба снизошло
И, рядом став, дотла б его сожгло!

Залюбовавшись гостя чудным сном,
Столь сладостным и непробудным сном,

Ширин глядела — и хотелось ей
Таким же сном забыться поскорей,

И с милым другом ложе разделить,
И жажду смерти так же утолить.

Свою судьбу в тот миг вручив творцу,
Она — плечо к плечу, лицо к лицу —

Прижалась тесно к другу — обняла,
Как страстная супруга, обняла, —

И, сладостно и пламенно вздохнув,
С улыбкой на устах, глаза сомкнув,

Мгновенно погрузилась в тот же сон,
В который и Фархад был погружен. . .

О, что за сон! С тех пор как создан свет,
От сна такого пробужденья нет!

Пресытиться нельзя подобным сном,
Хоть истинное пробуждение — в нем! . .

* * *

Покрепче, кравчий, мне вина налей!
С возлюбленной я обнимусь своей.

Мы будем спать, пока разбудит нас
Дня воскресенья мертвых трубный глас!

Глава LII

БАХРАМ ВОССТАНАВЛИВАЕТ МИР В СТРАНЕ АРМЕН

Кто плачем дом печали огласил,
Напев такой вначале огласил.

* * *

Михин-Бану, вся свита и родня
Напрасно ждали до исхода дня,

А всё не возвращался их кумир.
И вечер опустил покров на мир —

Ширин не шла. . . И, потеряв покой,
Направились очи в ее покой.

Хотели дверь открыть — и не могли,
И выломали дверь, и свет зажгли,

И, занавес парчовый отвернув,
Оцепенели все, едва взглянув:

Фархад на ложе не один лежит, —
С Фархадом рядом и Ширин лежит

И друга обнимает горячо,
Прижав к лицу лицо, к плечу плечо.

Но, как Фархад бестрепетна, нема,
Ширин, увы, была мертва сама!

Разлуке долгой наступил предел —
Им выпал вечной близости удел. . .

Тела их бездыханные слились,
Как с гибкою лианой кипарис.

Но, мертвой увидав свою луну,
Могла ль снести удар Михин-Бану?

Сама пресытись жизнью в этот миг,
Стон издала она — не стон, а крик,

И сотрясла, смутила небеса,
И душу отпустила в небеса.

Всю жизнь она одной Ширин жила,
Скажи, что жизнь ее — Ширин была, —

И потому, Ширин лишась, она
Была мгновенно жизни лишена.

Вслед за душой ли вырвался тот стон,
Иль вылетел с душою вместе он?

Но пальма жизни сломана была, —
В веках лишь стебельком она была!

О дивная, о благостная смерть!
О, если б нам столь сладостная смерть!

! * * *

Листы времен листая как-то раз,
В них обнаружил я такой рассказ:

Когда благодаря своей любви,
Неслыханной среди людей любви,

Прославился Фархад, и слух о нем
Распространялся дальше с каждым днем, —

То и в Китай, страну его отцов,
Проникла эта весть в конце концов.

А там — судьба, верша свои дела,
Немало перемен произвела.

Отец Фархада умер вскоре, — мать
Ушла за ним — зачахла с горя мать.

И так как сына был хакан лишен,
То младший брат его взошел на трон.

И стал при нем начальником войскам
Сын Мульк-Ары, Фархада друг — Бахрам.

Он, доблестью прославясь, был таков,
Что стал акулой грозной для врагов. . .

Фархада он вполне достоин был,
И весь Китай при нем спокоен был.

Но сам он потерял давно покой
И, по Фархаду мучимый тоской,

О нем расспрашивать не уставал
Всех, кто из дальних странствий прибывал. . .

Когда же слух о нем — не слух, а шум! —
Уже и в Индустан дошел и в Рум,

То чрез бродяг-дервишей и купцов
Проник в Китай тот слух в конце концов.

Принес Бахрам хакану эту весть:
«На западе, мол, государство есть —

Армен ему названье. Этот край —
Прекраснее Ирема, сущий рай.

Там гурия живет — и, говорят,
Сошел с ума, в нее влюбясь, Фархад.

И если б соблаговолил хакан,
Повел бы я войска в страну армян,

Фархада б разыскал, помог ему,
А не нашел бы — так и быть тому. . .»

Хакан подумал: «Если слух не лжив,
То вряд ли всё же мой племянник жив.

Но мне опасен может стать Бахрам.
Пусть он идет и пусть погибнет сам. . .»

Он разрешение дал Бахраму. . . Тот
Собрал войска и двинулся в поход.

Двойные переходы делал он,
На запад шел всё дальше смело он,

И на страну армян — настал тот день! —
От войск его упала счастья тень.

Здесь истина ему открылась, здесь
Он разузнал и ход событий весь, —

И, пламенной скорбью обожжен,
Направился к гробнице друга он.

Бахрам одним утешиться бы мог —
Был в горе он своим не одинок:

Фархада тот народ не забывал,
С его печалью он свою сливал. . .

Узнав, что друг был у Фархада там,
Велел Шапура пригласить Бахрам.

Пришел Шапур скорбящий — и вдвоем
Они о друге плакали своим.

А над гробницей так Бахрам вопил,
Что землю жаром скорби растопил.

Лицом припал к изножью гроба он,
И весь дрожал, как от озноба, он

И восклицал: «Фархад! Мой друг, мой брат!
Мою надежду ты унес, Фархад!

О, лучше б слепота глазам моим,
Чем увидеть Фархада мне таким!

Язык мой вырван из гортани будь,
Чтоб не сказал тех слов когда-нибудь!

Где с огнедышащим драконом бой,
Где с Ахриманом разъяренным бой?

Где меч твой, рассекавший ребра гор?
Где сотрясавший стены шестопер? ..

Но ты устал, Фархад! Ты погружен,
Оказывается, в слишком крепкий сон!

Очнись же наконец, глаза открой, —
Пришел к тебе гвой друг, товарищ твой.

Потряс я воплем небеса! Проснись!
Весь мир в огне! Открой глаза! Проснись!

Ты спишь! .. Так, значит, правду говорят,
Что сон и смерть — одно? .. Ты мертв, Фархад?!

Был у тебя такой, как я, слуга,
А ты погиб от подлого врага!

О, если б за тебя мне жертвой лечь! ..
Но если обнажить возмездья меч —

И если страны недругов твоих
Опустошить, сровнять бы с прахом их,

Обрушить горы в море, чтоб вода
Их степи залила и города

И чтоб водовороты лишь одни
Напоминали, что в былые дни

Стояли минареты здесь, и вот —
Всё стало навсегда добычей вод. . .

Нет, нет! Ведь если, мстя за кровь твою,
Кровь сотен тысяч я теперь пролью, —

К чему мне кровь такая?! Всё равно
Твой дух обрадовать мне не дано!

А если так, кушак и меч к чему?
И в жгучих мыслях душу сжечь — к чему?

И латы и кольчуга для чего?
И лук и щит без друга — для чего?

Героем как считаться мне теперь?
Как ездить мне на скакуне теперь?

Как на пиру теперь веселым быть, —
С каким же сердцем стану чару пить?

Клянусь, что без тебя, о мой Фархад,
Мне пир не в радость, а вино мне — яд!

Мое вино — боль укоризны, скорбь,
Одно мне остается в жизни — скорбь!..

Иль самому мне булавой своей
Покончить с бедной головой своей?..»

Так он рыдал, Бахрам, так причитал,
И весь народ там плакальщиком стал.

* * *

Уняв печаль, поцеловал он прах
И, выйдя, начал думать о делах.

Он к Шируйе послал приказ, чтоб тот
Пришел — и личный дал во всем отчет:

«Коль зла не делал другу моему,
Его с почетом, с лаской я приму;

А коль уверюсь я в его вине, —
То буду знать, что надо делать мне!»

Испуг напал на шаха Шируйю —
За голову боялся он свою.

И Шируйя Шапура пригласил —
Заступничества у него просил:

«Свидетелем да будет честь твоя —
В крови Фархада не повинен я.

Его убийцу я казнил потом,
Хотя он был моим родным отцом.

Об этом ты Бахраму доложи,
Без кривотолков, прямо доложи.

Скажи, что я готов служить ему,
И власть его покорно я приму.

Одну лишь милость да проявит он —
От встречи с ним пускай избавит он.

Уговори его — и я тогда
Твой друг и раб до Страшного суда! . . .»

Шапур исполнил просьбу — и Бахрам
Сказал: «На это я согласие дам.

Однако же армянская страна
Хосровом так, увы, разорена,

Народ такие пытки претерпел,
Такие он убытки претерпел,

Что даже и прикинуть трудно мне,
Какой понес ущерб он на войне.

Да будут все убытки сочтены —
И Шируйей сполна возмещены.

Когда он убоготорит армян,
Тогда его я выпущу в Иран,

Однако пусть сначала присягнет,
Что столько же оттуда он пришет. . .»

Почел за милость Шируйя приказ,
Казну свою огустошил тотчас —

И весь ущерб, что принесла война,
Армянам тут же возместил сполна.

А возвратясь в Иран, как присягал,
Он без задержки столько же прислал. . .

* * *

Бахрам велел созвать народный сход
И спросил армянский весь народ:

«Фархада ради кто из вас терпел
Парвизов гнев и разоренье дел?

Кто потерпел ущерб — скажите мне,
И радуйтесь: я уплачу вдвойне».

В ответ на речь его со всех сторон
Раздался шум смятенья — плач и стои:

«О, за Фархада все молились мы!
Стать жертвой за него стремились мы!

Скорбим поныне мы всегда о нем
И эту скорбь деньгами не уйдем! . . .»

Бахрам назначил счетчиков, вдвойне
Плативших пострадавшим на войне.

И заложить затем решил Бахрам
Основу и величье царства там.

Он вызвал всю родню Михин-Бану,
Нашел среди них ровню Михин-Бану:

Достойный муж, светило меж светил,
Кто мудростью Бану превосходил.

Его, как падишаха на престол,
Герой Бахрам торжественно возвел,

Дабы народу в государстве том,
Стал мудрый муж покровом и щитом;

Дабы, держась державных правил там,
По справедливости он правил там;

Чтоб заново страну отстроил он,
Ее богатства чтоб утроил он.

Народам и державам — там расцвет,
Где справедливость есть, где гнета нет! . . .

И, это всё царю армян внушив
И так устройство царства завершив,

Китайские войска созвал Бахрам
И роздал всю свою казну войскам,

Сокровища и деньги роздал всем
И начал с извиненья речь затем:

«Со мной столь трудный совершив поход,
Перенесли вы множество невзгод,

Теперь вернитесь к семьям, по домам,
К своим хозяйствам и к своим делам.

Хакану так скажите обо мне:
„Нашел Бахрам Фархада в той стране,

Обрел теперь Бахрам к блаженству путь,
Прости, хакан, здоров и счастлив будь!“»

* * *

Бахрам, такую речь войскам сказав
И пути связей с миром развязав,

От праха мира отряхнул подол, —
К Фархадовой гробнице он ушел.

А с ним — Шапур. Вблизи нее в те дни
Отшельниками зажили они.

Так этот путь смиренья стал для них
Желанней всех богатств и царств земных...

Примеру их псследуй, Навои,
Осуществи желания свои!

* * *

Мне чару униженья, кравчий, дай!
Вина уничтоженья, кравчий, дай!

Быть может, ощутив его во рту,
Я тот же путь спасенья обрету!

ГЛАВА V

В ней говорится о великом мудреце из Гянджи и о его «Пяти сокровищах». Она поведает об индийском чудотворце, перед мастерством которого тускнеют жемчуга, нанизанные кашмирскими искусницами, и о моем желании вплести в эти искрящиеся ожерелья тонкую нить своей поэзии.

Те времена затеряны во мгле,
Когда Ничто царило на земле.

И созиданья первый ветерок
Лишь дуновеньем сушее предрек.

И не было начала у начал,
И слова звук еще не означал.

Вдруг прозвучало повеленье: «Будь!»,
Явлений всех определяя суть.

«Да будет слово!» — и с тех пор оно
В начало каждой песни вплетено.

Нет равной драгоценности такой —
Вмещает слово весь простор морской,

Бескрайний изумительный простор,
Где волн не повторяется узор.

О слово, от глубин до высоты —
Одно явление означаешь ты!

Жемчужиной звать слово не спеши, —
Перл — плод воды, а слово — клад души.

Но если слово жемчугом зовешь,
С живой росой этот жемчуг схож.

Ты — песня; сколь ни пой, ей нет конца;
Ты — золото бездонного ларца.

Пусть пыльной мглы взметнется пелена,
Но разве солнца свет затмит она?

И разве в мире сможет кто-нибудь
Концом иголки воду зачерпнуть?

Песнь — это неба и земли оплот,
Вместилище сокровищ и щедрот.

Вслед за каламом двигалась строка,
Нанизывала буквы-жемчуга.

И наконец, пророчески велик,
Святое имя вымолвил язык.

На нем творил, достигнувший вершин,
В Гяндже почивший, слова властелин.

В дворце величья он хранил свой клад,
В сокровищницу мысли внес он вклад.

Он в келье, вдохновеньем осиян,
Чеканил мысль, где словом был чекап.

Слова как жемчуг, и на нитке строк
Соединял их мысли узелок.

Так ярко строчки начали сверкать,
Что люди стали жемчуг подбирать.

Гранил он слог, в шлиф сердце превратив,
Калам в руках творца — медоточив.

Алмазы единенья в длани взяв,
Уединенья пояс повязав,

В святилище он, разумом глубок,
Как деву, разукрасил каждый слог.

Он, как Муса, чья гордость велика,
Он на горе терпения — Анка.

И если не Муса, то отчего
Его перо скрывало волшебство?

Коль не Анка, кто может разъяснить,
Где он терпенье взял, чтоб так творить?

Превыше всех поэтов чтим людьми
Гранильщик слов — великий Низами.

Клад драгоценный он в Гяндже не скрыл —
Все «Пять сокровищ» миру подарил.

И в каждом находили все века
Бесчисленные мысли-жемчуга.

Мог каждый перл, обрадовав сердца,
Стать украшеньем царского венца.

Смысл многозначный дивным перлам дан,
Они — как заповедный талисман.

Воитель в крепость натиском проник,
Но тайны талисмана не постиг.

Тот талисман увидел чародей,
Индийский маг, мудрейший из людей.

Его калам — создатель чудных строк,
Всех в мире взбунтовать он ими мог.

Нет равного по силе мастерства:
Он — град Кашмир — столица волшебства.

Он точкой, схожей с родинкой ланит,
Прельщает нас и бедствие сулит.

Стих вился, как Бобуля путь, хитро,
В Бобулев кладезь он вмещал перо.

Ни с кем другим на свете не сравним,
Он чудеса творил пером своим.

Волшебник этот, талисман узрев,
Пред чудом замер, вдруг оцепенев.

Но отступить не вздумал ни на шаг,
Секреты мастерства постигший маг.

Пять крепостей гранитных он воздвиг,
Открыл пять кладов, каждый был велик.

И замков он построил, счетом пять,
Мог каждый украшеньем века стать.

Снаружи — восхитительный узор,
Внутри — убожество радовало взор.

Не каждый чудотворцем может слыть,
И капище с Каабой не сравнить.

Есть в мире волшебство и ведовство,
И каждый — мастер дела своего.

Изваян идол, он собой хорош,
Ваятеля искусней не найдешь, —

Подобен розе нежный цвет лица,
В себя влюбить способен мудреца.

О нем одном все люди говорят
И от восторга пламенем горят.

Никто не смеет состязаться с ним,
Он в гордой красоте непобедим.

В меджлисе том участвовал Ашраф,
Себя с толпой паломников смешав:

И я решил направиться туда
Дорогой испытаний и труда.

Я размышлял в дороге об одном —
Владела мысль и сердцем и умом:

Для каждого сокровища мудрец
В Гяндже построил собственный дворец.

И тот, происхождением индус,
В строительство дворцов вложил свой вкус:

Вкруг каждого чертога город-сад,
Где средь цветов фонтаны шелестят.

А я мечтаю только об одном,
Чтоб радостно жилось в саду моем.

Чтоб город мой величественным был.
«Пошли мне силу!» — я судьбу молил.

Успел я две поэмы написать,
О третьей неотступно стал мечтать.

Надеждою одной питаю дух:
Создать поэму лучше первых двух.

И «Пять сокровищ» и «Сокровищ пять»
Дозволят ей с собою рядом стать.

В то, что писал я раньше, — буду строг, —
Я воплотить свой замысел не смог.

Но уповаю всё ж достигнуть цель
И написать, как не творил досель.

Мечтою этой ныне я ведом.
Поддержка пира — мне порукой в том!

ГЛАВА VI

Содержит восхваление лучезарной звезды, озарившей священный небосклон, избранной жемчужины в сокровищнице поэзии, Ринда, вкусившего пречистого вина из кубка познания мавланы Нураддина Абдуррахмана Джамии. Да будет счастлив тот, кто выпьет глоток из пригубленной им чаши!

В эдеме слов раскрывшийся бутон,
Науки неизведанный закон.

Он столь недостижим и столь высок,
Что небо у его свернулось ног.

Пыль от его шагов целебна столь,
Что может врачевать любую боль.

На посох, что в руках сжимает он,
Мог опереться звездный небосклон.

Возденет посох он, впадая в гнев, —
И будет ослеплен шайтан и дэв.

Он, зерна четок нанизав на нить,
Птиц благородства может приманить.

Нить эта столь надежна и крепка,
Что судьбы мира свяжет на века.

Сосуд, в котором он омыл свой лик,
Как океан, бескраен и велик.

Стал тот сосуд священным навсегда,
В нем животворна чистая вода.

Стопа творца — возвышенный михраб,
Который правверный чтит араб.

И надпись на михрабе том «Аллах»
Благоговейный всем внушает страх.

В поклоне каждом, в рвении святом,
Он достигал единства с божеством.

Он в барабан величья в небе бьет
И гуриям урок добра дает.

Тот, чье прозвание было Нураддин,
Свет благочестья воплощал один.

Абдуррахманом в мире наречен,
Но людям как Джамии известен он.

О ты, кто маяком науки стал,
Зерцала благодетельства шлифовал.

Единственный на всех путях времен
Достоинствами всеми одарен.

Ты знаний океан вместил один,
Чьи волны выше облачных вершин.

Калам твой рассыпает жемчуга,
На нить их нижет мудрая строка.

Пером рожден тот своенравный ряд,
Где перлы мыслей жемчугом горят.

И мыслей караваны вдаль идут,
Раздумья сокровечные несут.

Тот караван не ведает препон,
Движеньем к светлой цели упоен.

Неся по свету вещие слова,
О коих в небесах звучит молва.

Стихи прекрасны, проза высока;
Мир охватили звучные войска.

Пусть «Пятерицы» ты не создавал —
Каламом ты иное начертал.

И если люди вздумают считать —
Твоих сокровищ тоже счегом пять.

Ты в «Силсила» вложил весь блеск ума,
И эта сила всех свела с ума.

«Тухфу» ты создал, души одаря,
О сокровенном людям говоря.

Когда каламом начертал «Сибху»,
То гурий рая приобщил к стиху.

Когда ты завершил «Сан-ул-кисас»,
Его прославил всенародный глас.

«Диван» составил — духа торжество,
Созвездий жемчуга вплетя в него.

И пять твоих сокровищ расцвели,
И «Пятерицы» силу обрели.

Звучат стихи превыше всех похвал,
Но в прозе ты непревзойденным стал.

Дойдет до всех пусть тонкость слов твоих,
Народы пользу извлекут из них.

Твои творенья да живут в веках,
Я на твоём пороге жалкий прах!

ГЛАВА IX

Повествует о величии ночи, когда дым за клубился из огнедышащего зева дракона поверженной любви, звезды казались тусклыми искорками опаляющей мир страсти, и в такую ночь влекомый мечтою путник, оседлавший коня беспокойства, мечется в бездорожье и нако-

нец достигает долины любви, обители тревоги и беды. Избегнув ливня напастей, он попадает в грозовую бурю злоключенья. Молнии печали разжигают в нем пламя страстной любви. В этой кромешной тьме обретаешь драгоценный светоч любви, подобно путеводной звезде, он выводит тебя на ристалище слова, готовя тебя к встрече с мечтой о Лейли и страданиями Меджнуна.

Изменчив и ксварен небосклон,
Им прошлой ночью день был затемнен,

Над миром шелестя, зефир в ночи
Развевал тьму и пробудил лучи.

И я попал под купол темноты,
Где выходы и входы заперты.

Где тучи, мрачный воздвигая стяг,
Усугубляли полуночный мрак.

Из плена тьмы уйти не стало сил,
Мрак небосвода сердце мне сдавил.

О сердце, оседлай мечты коня,
Его как одержимого гоня, —

В край, где арабов жили племена,
Дорога и опасна, и длинна.

И там, любви почуяв аромат,
Конь бег прервет, смятением объят.

Любви долиной звали местность ту,
И пересечь ее невмзготу.

Мечтатель придержал здесь скакуна —
Нога коня была повреждена.

А ветер всё крепчал, он холод нес,
И тучи проливали ливень слез.

В округе было мрачно и темно,
Мечтать о свете было не дано.

Но луч восхода озарил восток,
Над Тур-горой блеснул грозы клинок.

Иль будто, в снисхождении велик,
Господь явил Мусе пречистый лик.

И Тур-гора, и дол, и всё вокруг
В каскаде света потонуло вдруг.

А молния, чтоб видеть всё могли б,
Рассыпав искры, ринулась в Ясриб.

Столь этот свет был ярк и высок,
Как будто с богом встретился пророк.

В ночь Восхожденья он небес достиг,
Мир озарил его пречистый лик.

До Кудса свет дошел ночной порой,
Мешая мускус ночи с камфарой.

Так некогда бестрепетный Халил
Свою судьбу сквозь пламя проносил,

Как покоритель молнии светло
Немврода озаряющий чело.

И с каждым мигом делалось ясней,
Что Йемен излучал поток огней.

И свет, что Йемен не видал досель,
Ночь озарил, как луч звезды Сухейль.

О нет, о нет, Увайса тайный жар
Зажег луны серебряный пожар.

И этот свет, что излучал Увайс,
Горел как пик вершин Абукубайс.

Он на предгорьях осветил дома,
Кааба озарилась им сама.

Когда в Изаме он возжег огни,
Красней граната вспыхнули они.

В Саламе на деревьях луч благой
Затрепетал, как жемчуг дорогой.

И над горою Неджда этот луч
Был уподоблен молнии из туч.

С Меджнуна жарким вздохом он сравним,
Который он исторг, тоской томим.

Над Шамом просветлели небеса,
Восхода расстилалась полоса.

Столь небеса кудряво расцвели,
Как будто приоткрыла лик Лейли.

Но молнии мятущаяся нить
Все племя Хай сумела осветить,

Грозя в своем неистовстве шальном
Испепелить всё сущее огнем.

А молнии блеск чаще, всё быстрее;
Он растревожил логова зверей.

Пантера, тигр и кровожадный лев
Готовились к прыжку, расшвирипев.

Влюбленных кости, тлевшие в земле,
Переплелись, мешаясь в полумгле.

Свились, как ветки саксаула, в жгут,
Когда костры холодной ночью жгут.

Казалось, солнце поглотил дракон,
Навечно мрак на землю водворен.

И бедствия на землю пали вдруг.
Не дождь, а стрелы сыпались вокруг.

Гнал ветер тучи и, впадая в гнев,
Ревел и грохотал, как горный дэв.

Когда сшибались тучи мрачным лбом,
Шла трещина на небе голубом.

Темь эту не сочти вечерней мглой —
Она для душ источник боли злой.

И путника застигнул этот мрак,
И замер тот, не в силах сделать шаг.

Застыл он в изумлении немом,
Не помышляя в страхе ни о чем.

Он чувствует себя едва живым,
Предчувствием несчастья томим.

Не жар и не болезнь его гнетет,
Луны восхода он в смятенье ждет.

И разум — не советчик и не друг —
Его безумный охватил испуг.

За трусость душу клял он сотню раз,
И если б мог, то умер бы сейчас.

Не открывая глаз, беды он ждал,
Пока рассвет вдали не замерцал.

Когда рассветный ветер тронул высь
И облака печали унеслись,

Тот путник, что почти лишился сил,
Перевести дыхание решил.

Себя спросил он: «Это ночь была
Иль черный день в долине, полной зла?»

Ни в ком участия в этом мире нет,
Куда ни ступишь, там несчастья след.

Что за долина скорби и тщеты?
Дыхание щемит от темноты!»

Себе он не ответил на вопрос,
Вдруг некий голос рядом произнес:

«Долиною любви ее зовут,
Здесь злоключенья душу стерегут.

Огонь любви был молнии исток;
В ночи их высекал любви клинок.

Не тучи у тебя над головой —
Сгорающей любви огонь живой.

Там не весенний дождь свой сыплет град,
А стрелы страсти гибелью грозят.

В долине той зверей голодных рев,
Их больше, чем весною комаров.

Драконы там таятся в камышах,
И львиный рык на всех наводит страх.

Зимой трещит мороз в долине той,
А летом изнуряет душный зной.

На каждой розе там шипа крючок,
Внутри тюльпана — траурный ожог.

В долине, знай, не только страшно жить,
Опасно даже рядом проходить.

Пустынный край, где знойный смерч кружит,
Старинное предание хранит:

Здесь жил безумец — он бродил во мгле,
Неся клеймо печали на челе,

В пустыне горя, смуген и угрюм,
Блуждал он обреченно, как самум.

Из элементов главных четырех
Его создал, как всех живущих, бог.

Не землю взял, а прах с путей беды,
В ручье страданья зачерпнул воды.

В грудь вдул не воздух — ветер ледяной,
Взамен огня — палящей страсти зной.

В руинах духа — скорбных птиц приют,
Сни ему покоя не дают.

А волосы — как в ночь безумья дым,
Который вихрем пагубным клубим.

Безумен от любви, годами юн,
Известен он под именем Меджнун.

Здесь он живет, один средь пустоты,
Шипы ему дорсже, чем цветы.

Одну он любит в мире, только ту —
Народов всех и муку и мечту.

Она покоя не дает мужам,
Подобной ей не ведает Аджам.

Ее одну, чья красота — беда,
Он любит, как никто и никогда.

Любовь, легендой ставшею веков,
И Низами прославил, и Хосров.

Они в стихах возвышенных поэм
Поведали о двух влюбленных всем.

Дастан для обитателей земли
Сложил звезда поэтов Сухайли.

Поэзия его нам дорога,
Слова дарил он, словно жемчуга.

Слегка Хосрова потревожив тень,
Очам другому был как яркий день.

Боль одному невольно причинил,
Другого память бережно почтил.

И перлы рассыпающий калам
Создал поэму, явленную вам.

Преследуя возвышенную цель —
Так написать, как не было досель.

Известно, каждый, в меру сил своих
Об этой были сочиняя стих,

Сам не пройдя через долину ту,
Любовную не ведал маету.

Преданье это выслушав не раз,
От истины далекий пересказ,

Сам для поэмы находил слова,
Быль приукрасив в меру мастерства.

Ты, друг вселенной, мужество яви,
Ты проходил долиною любви.

Пустынную ее увидев даль,
Изведал сам и муку и печаль.

Я — человек, горевший в том огне,
Что расскажу и кто поверит мне?

Долины этой давний житель — я,
Ее наставник и учитель — я.

Поведаю легенду, боль земли,
Песнь о любви Меджнуна и Лейли».

И начал я рассказ издалека,
В нем мысль замысловата и тонка.

И я, вложив старанье, опишу,
Печали и страданья опишу.

И про себя я так подумал сам:
«Бери бумагу, заостри калам.

Не медля отправляйся в трудный путь,
Доверься слову и правдивым будь.

Пусть даже ты не столь красноречив —
Всё оправдает искренний порыв.

Зато горенья будет больше в нем,
Твое волненье жжет сердца огнем.

У них сунбул имелся и цветы —
Огонь в сердцах возжечь сумеешь ты.

И если ты отыщешь перлы слов,
Их жемчугами слез омыть готов.

И если песнь там жалобно звучит,
Внимая ей, заплачешь здесь навзрыд.

Постигнешь ты всю боль и жар страстей,
Взволнованной душой их примешь всей.

В груди восторга трепет ощутив,
Свои невзгоды сразу позабыв,

Всю суету из мыслей изгоня,
Взнуздаешь вдохновения коня.

В свою обитель ты вступил один,
Когда призвал к молитве муэдзин.

Свершив намаз, как должно поутру,
Рукою потянулся ты к перу.

И, будто тайный выслушав приказ,
Она писать поэму принялась.

ГЛАВА X

Рассказывает о рождении Кайса, о том, какой любовью он был окружен с детства, и о том, как за свою доброту и ласковость он стал дорог людским сердцам.

Певец в цепях любви. В звучанье слов
Он слышит тяжкий звон своих оков.

Жил человек в Аравии один,
Богатый и всеильный властелин.

Он, предводитель нескольких племен,
Годами долгой жизни умудрен,

Несчастливым людям помогал в беде,
Голодным не отказывал в еде.

Для них всегда накрыт был дастархан,
И на огне для всех кипел казан.

Тем, кто блуждал, теряя след, в песках,
Звездою путеводной цвел очаг.

Он глубоко в мир знания проник
И в щедрости был истинно велик. . .

Никто не сосчитал его казны,
Все у него отары, табуны.

Он в жизни шел проторенной тропой,
Но только сын не послан был судьбой.

Достаток есть, а в доме пустота, —
Выходит, жизнь напрасно прожита.

Безрадостно проходит смена дней. . .
Он — дерево, лишечное корней,

О, если б рядом с тем, который стар,
Молоденький поднялся санавбар!

Когда старик умрет, прожив свой срок,
Наследник будет статен и высок.

В жемчужнице, безжизненно пустой,
Рожденный перл пленяет красотой.

А если сын аллахом будет дан,
Богатство не развеет ураган.

И если солнце жизни вдруг зайдет,
Другое солнце вспыхнет в свой черед.

Им ярко озарится вышина,
И этот свет согреет племена.

Средь облетевших, высохших ветвей
Не станет петь о розе соловей.

В ночи печальной меркнет фитилек,
На свет не устремится мотылек.

Ты жаждешь счастья? Возмечтай, как он,
И за терпенье будешь награжден.

И он на чудо страстно уповал,
Он так просил, что бог молениям вял.

Он жаждал сына, сжалился творец —
Наследника послал он наконец.

Родился сын — Создателю хвала!
Дитя любви — всех любящих кыбла.

Еще он капля, нежный плод любви,
Еще далек он от невзгод любви.

Он — слиток серебра, сокрыт в тиши;
Легчайший ветер в цветнике души.

Сбылись молитвы любящей четы:
Дитя являет верности черты.

И приказал страны влюбленных шах:
«Пускай и на земле и в небесах

Преобразится, разукрасясь, мир,
Луна и звезды пусть придут на пир.

Небесный свод избудет пусть печаль,
И песня счастья звоном полнит даль!»

Но те, кто был к злосчастью приобщен,
Поборники беды подняли стон.

Коснулось горе детских вежд рукой,
Чтоб лились слезы из очей рекой.

Разлука в душу устремила взгляд:
«Я на него камней обрушу град!»

Ему страданье увлажнило рот:
«Наступит время, вздох его сожжет!»

Любовь шепнула, проникая в грудь:
«Обителью мне чистой, сердце, будь!»

Гордясь своей жемчужиной, отец
Перед друзьями распахнул ларец.

И в несказанной гордости своей
Подарками осыпал всех гостей.

Сыновний долг исполнив до конца,
Назвал он Кайсом сына — в честь отца.

Младенец вверен нянькам был тотчас,
И те с ребенка не спускали глаз.

Как розы тесно скрученный бутон,
Собольим мехом был окутан он.

Как лепесток, опущенный в шербет,
Струила колыбель медвяный свет.

Блаженство, радость там сплелись в одно...
Потом всё было как заведено:

Заботились о первенце родном
И ночью стерегли его, и днем.

Так охраняет просветленный глаз
Слезы счастливой блещущий алмаз.

Спал мальчик в колыбельке расписной —
Миндалинка в скорлупке вырезной.

Пеклась о нем счастливая родня,
Холодный ветер от него гоня.

Его любви питало молоко,
И кровью сердца стало молоко.

Он хилым рос, внушая близким страх,
Беспомощнее узника в цепях.

Где сверстник бегал, там он поутру
Ползком передвигался по ковру.

С огня подолгу не сводил он взор,
Любви в нем видя трепетный костер.

Случалось, ночью плакал он сквозь сон,
И в детском плаче был недетский стон.

И если рядом кто-то горевал,
От состраданья он изнемогал.

Те первые слова, что произнес,
Своей печалью трогали до слез.

Младенец рос, и люди шли толпой
Волшебной любоваться красотой.

Одних пленял его прелестный лик,
Других — речей возвышенный язык.

Речей разумных ласковая суть
К людским сердцам отыскивала путь.

Исполненный ума и доброты,
Сиянье излучая красоты,

Для всех доступный, щедрый и простой —
Он был любим окрестной беднотой.

Слов должных для похвал не находя,
Все прославляли мудрое дитя.

Родителями страстно он любим, —
Два сердца стали биться в лад с одним.

Но говорили горестно не раз:
«Всего опасней для младенца сглаз!

Чтоб избежал наш мальчик доли злой,
Его окурим пряной гармалой!»

А годы шли, уже ребенку пять.
Пора его в ученье отдавать.

Родитель стал искать среди племен
Наставника, кто добр и кто умен,

Чтоб Кайс, отличный от других детей,
Прославился ученостью своей. . .

Наставник мой, твой опыт столь велик!
Я — твой послушный, робкий ученик.

Ученику бумаги лист вручи —
Его любить безмерно научи!

ГЛАВА XI

Рассказывает о том, как юный Кайс в школе вчитывался в страницы мудрых книг, а внезапный вихрь, именуемый любовью, развеял эти страницы, как расцвела весенняя красота Лейли и она стала учиться в школе, как шипы прелестной розы вонзились в трепетное сердце Кайса.

Тот, кто раскрыл мне тайны мастерства,
Быль мне поведал, что в веках жива.

Для Кайса принялись искать кругом
Наставника и с сердцем и с умом.

Среди мужей ученых был один
Добрей, чем ангел, знаний властелин.

Он был прославлен в племени своем
Ученостью и праведным житьем.

Он не напрасно был людьми хвалим:
Всем помогал учащимся своим.

Но был любим не за высокий сан —
В себе хранил познаний океан.

Но если вдруг учитель был сердит,
То таял перед ним как воск гранит.

Сиянием наполнен был чертог,
И мрак пробраться в чистый дом не мог.

Род достославный бережно храня,
Властитель был врагам страшней огня.

Но больше, чем богатством и казной,
Он дорожил жемчужиной одной.

Был полон роз его цветущий сад,
С одной он не сводил отцовский взгляд.

Один светильник радовал его,
Пред ним луч солнца — искорка всего!

Души своей единственный алмаз
Хранил родитель от недобрых глаз.

Как пальма аравийская, она
Была и тонкостанна, и стройна.

Лучистые глаза ее полны
Глубинным светом ласковой луны.

Как спелый финик, нежный рот румян,
Фата ее — как утренний туман.

А локоны, кудрявы и легки,
Как облаков вечерних завитки,

Нет, не вечерних — правду говоря,
Светилась в них рассветная заря.

Две брови, оттеняя нежный взор,
Соприкасаясь, начинают спор.

Но родинка, прервать решив раздор,
Разъединила спорящих сестер.

Ах, эти брови! Будто кипарис
Причудливо гнет ветки вверх и вниз.

Глаза — два иноверца, скрыта в них
Губительная сила для живых.

Под полукружьем выгнутой бровей
Взор бархатистый кажется живей.

Ресницы — словно черных стрел колчан,
Зеницы — охранять приказ им дан.

Чуть загнутый, двойной, сурьмленный ряд
Чернее шаловливых негрятят.

Моргнут глаза — и негры меж собой
Междоусобный затевают бой.

Нет, не колчаны, что берет стрелок,
Скорей, ресницы — пагубный силок.

В пустыне Чина ловчие силки
Впитали пряный мускус кабарги.

С чем розовость ланит сравнить дано?
На них приманка — родинки зерно.

Адам один был Евой оболещен,
А эта совращает миллион.

Ее медоточивые уста,
Ее красноречивые уста

В улыбке раскрываются слегка,
И речь ее приятна и сладка.

А на устах — души невинный мир;
Их увлажнил волшебный эликсир.

Кто поцелует этот рдяный рот,
Поистине бессмертье обретет.

И если губки — райских благ канун,
То подбородок — начертанье «нун».

Стан, схожий с тонкоствольною тубой,
С людскою расправляется судьбой. . .

За пери вслед паломники идут,
Не отпугнет их казнь и Страшный суд.

Ведь талли столь тонок перехват,
Что ниточка она на первый взгляд.

Из сходных нитей ангел шелк соткал
Для облаков — небесных покрывал.

Жемчужина она на дне глубин,
Огранкою не тронутый рубин.

Как истина высокая, чиста,
Как слово, не раскрывшее уста.

А косы заплетенные длинны,
Как полночь непроглядная черны.

И восхищенно люди нарекли
Ее чудесным именем Лейли.

В честь ночи Кадра названа она,
Прекрасная, как майская луна.

Лицо, как роза, источало свет,
И любящий отец им обогрет.

Воздвиг он школу — с виду как дворец,
Приют для детских трепетных сердец.

Была в ней круглой зала, как луна,
И в ней Лейли сияла, как луна.

Наставник, о котором наша речь,
Детей сумел уроками увлечь.

Он свет добра и правды излучал,
Играючи детей он обучал.

Учение казалось им игрой;
Как светозарных звезд беспечный рой,

Учились дети вместе и росли;
Средь звезд сняла, как луна, Лейли.

И в эту школу, лучшую из школ,
Родитель Кайса обучать привел.

Поистине та школа хороша,
Раскрепощенной в ней была душа.

Там истово и ревностно блюди
Священные обычаи земли.

Учитель наставлял ученика —
Жемчужину, чья ценность велика.

Опущен перл в познаний глубину,
Науку он познает не одну.

Учитель, видя дар в ученике,
Ему писал задание на доске.

Доска светилась, словно серебро. . .
Кайс в руки взял бумагу и перо,

И, прилежанья затянув тесьму,
Он в школе обучаться стал всему.

На все вопросы отвечал он вмиг,
Как будто всё заранее постиг.

Всё схватывал мгновенно, глубоко,
Опережая сверстников легко.

В иные дни — о них молва идет —
Уроков десять знал он наперед.

И в этой совершеннейшей из школ
Он всех опередил и превзошел.

Когда тот жемчуг всей вселенной — Кайс,
Учиться начал несравненный Кайс,

Красавица Лейли была больна,
Учиться в школе не могла она.

То жарче солнца у бедняжки лоб,
То бьет ее остужливый озноб.

Светильник меркнет, если масла нет.
Наполнишь маслом — снова вспыхнет свет.

Песок полдневный солнцем прокален;
Зажжешь костер — спалит живое он.

Ей кажется: сжигает солнце ум;
В песках блуждает огненный самум.

Лейли любила финики и мед,
Теперь потребны ей вино и лед.

Она была белее, чем жасмин, —
Теперь ланиты пышут, как кармин.

Не дождик сбрызнул розы лепестки —
Росинки пота жгут атлас щеки.

Весь в красных точках нежный шелк лица,
Как будто бы цветочная пыльца.

Жар утром спал, но к ночи вновь возрос, —
Болезнь взялась за бедную всерьез.

И стана неокрепшего самшит
От ветерка рассветного дрожит.

Больное тело вновь бросает в дрожь. . .
С землетрясеньем каждый приступ схож.

Так роза нерасцветшая хрупка,
Вот-вот она лишится стебелька.

Родные и друзья не спят ночей,
Зовя на помощь лекарей-врачей.

Их назначенья вряд ли ей нужны,
С одним мученьем все сопряжены.

Но тут природа, что сильнее всех,
Хворь одолев, взяла над нею верх.

Того больного, кто не хочет жить,
Святой Иса не тщится воскресить.

Природа лечит, если дух силен,
Болезнь из тела изгоняя вон.

Была природа доброю к Лейли —
Болезнь ушла, и силы вновь пришли.

Врачи ей помогли изгнать недуг,
И поправляться пери стала вдруг.

Природа совершила чудеса:
К ней возвратилась прежняя краса.

Медоточив опять румяный рот.
Хворь больше стройность стана не согнет.

Всё стала есть, что подавали ей,
И в жилах кровь забилась веселей.

Зарделся вновь румянец, как гранат, —
Она еще прекрасней во сто крат.

Чтоб скуку наступившую избыть,
Лейли решила школу посетить.

Пред зеркалом служанка-мешшате
Пришла на помощь юной красоте.

Но красота, что восхищала глаз,
Прекрасно обошлась и без прикрас.

Вновь завитки кудрей ласкали взгляд,
Как запятая после слова «хадд».

А родинка, прильнувшая к устам,
Казалась точкой после слова «фам».

Чернели брови, словно уголек,
Стремясь разжечь пожар атласных щек.

О, эта роза нежностью лица
Могла в геенну повергать сердца.

Дыханье амбры шелк волос струит —
Они как дым над розою ланит.

Алмазы диадемы надо лбом
Как искорки огня в дыму густом.

Рубинами горящие уста
И персиковой щечки смуглота,

Где родинка лукаво ворожит
И нежную улыбку сторожит.

Прелестный рот столь холоден на вид,
Но он огонь губительный таит.

Рубиновым, пленительным огнем
Он мир спалит и всех живущих в нем.

А брови от сурьмы еще черней,
Они как дым над пламенем очей.

Огонь зрачков и белизна лица —
Как молнии пронзают все сердца.

Не с молнией, рожденною грозой, —
Страшнее встреча с пагубной красой.

Вкруг нежной шейки вязь жемчужных бус —
Луны и звезд сверкающий союз.

Как в ночь свиданья цвел ее платок,
Скользкий лунный луч — его уток.

Она красива с головы до ног,
Являет диво с головы до ног.

Беда и радость, вместе — тьма и свет!
Кто равнодушен к ней, пусть даст ответ.

Не только мир земной смущен Лейли,
Все девять сфер в волнение пришли.

Она проснулась утренней порой,
За нею вслед спешит служанок рой.

Они толпой веселой собрались,
Учиться вместе в школу собрались.

И, предвкушая радость шумных встреч,
Хотят ее подруженьки развлечь.

Учитель рад: пришла Лейли опять,
И разрешил по саду погулять.

И вот Лейли вступила в школьный сад,
Зашелестел листвою довольный сад.

Вернулось солнце в свой цветник опять,
Спеша всех обогреть и всех обнять.

Обрадовались сверстники Лейли:
Почетное ей место отвели.

Так, возрожденной радости полны,
Цветы дождались солнца и весны.

Но тополек вдруг розу увидал,
Он содрогнулся и затрепетал.

На празднестве расцветших юных роз
Его сковал негаданный мороз.

То не мороз, а пламень — мнится мне...
С вершины до корней он весь в огне.

Взлетают искры, выются и кружат,
Как будто листья в ранний листопад.

Кайс опален огнем, как деревцо,
Желтее янтаря его лицо.

Опасно занедужил будто он,
И дух его растерян и смущен.

Огонь в него сжигающий проник,
Сознание теряет он на миг.

Слабеет он, как не слабел дотоль.
Схватила сердце сладостная боль.

Он весь в жару, он замер не дыша —
Сладчайшей болью молнится душа.

Ему дала пригубить чашу страсть,
Безумен он, любви почувяв власть.

И, ароматом винным упоён,
Мгновенно в дивный угодил полон.

Стремился тщетно одолеть напасть,
Чтоб шаткой тенью наземь не упасть.

Увидя это, юная луна
От состраданья сделалась бледна.

«Кто он? — спросила тихим голоском. —
Он мне не ведом, вовсе не знаком».

И смотрит, от волненья чуть дыша,
От тайного предчувствия дрожа.

Вдруг поняла: беда случилась с ним —
Огнем любви пронзен он и палим.

«Будь осторожен! — думала Лейли. —
Чтоб догадаться люди не могли.

Нет ничего страшнее пересуд,
И в школе нам встречаться не дадут.

Пред нами встанет тысяча преград,
Со мной учиться впредь не разрешат!»

И вслух сказала, опуская взгляд:
«Друзья, пойдете погуляем в сад!»

Подружки побежали вслед за ней
В веселом предвкушении затей.

Вокруг себя всех сверстников собрав,
Промолвила зачищица забав:

«Степь изнывает в зной от сухоты,
В саду побудем, там растут цветы».

Подруги разбрелись в густом саду,
Кайс шел за ними как на поводу.

Не смешиваясь с резвою толпой,
Он брел за ними узенькой тропой.

Пусть сад любви взрастивший садовод
Мне с розовым вином фиал нальет.

Чудесные цветы в саду любви,
Но ты их преждевременно не рви!

ГЛАВА XII

Когда весенний ветерок легчайшими вздохами затеплил светильники огненных тюльпанов и кудесница туча временами озаряла горные хребты, Кайс, ослепленный любовью, пошел в сад следом за розоликими пери. Там он вдохнул сладостный аромат цветущей красоты Лейли и упал, потеряв сознание.

Омылось небо вешней синевой,
Покрылась степь молоденькой травой.

В садах цветы как тысячи свечей,
Цветник ликует в трепете лучей.

Омыло небо яркое лицо,
Надев на шею радуги кольцо.

Как попугай, стал пестр небесный свод,
Земле он щедро краски раздает.

На нем и впрямь сапфировый венец. . .
Он — попугай, земля — его птенец.

В зеленом оперении своем
Земля всё совершенней с каждым днем.

И живописец, ведая секрет,
Определил всему особый цвет.

День сделал белым, густо-черной — ночь,
Сорока черно-белая — точь-в-точь.

Роса на желтой розе блещет днем,
Как жемчуга на блюде золотом.

А может быть, желтухи жар гнетет,
И капельки росы — предсмертный пот?

На луговине — новоселье трав. . .
Поднялся ирис, алебарду взяв.

Бутоны в шлемах — воинство весны,
Кинжалы льда им вложены в ножны.

Так яблони заливого звенят,
Как будто бы дирхемы там висят.

И лишь один чинар не серебрист —
С протянутой ладонью сходен лист.

В горах лавин грохочет камнепад,
Как будто вопрошает: «Где Фархад?»

Напоминает, облетев, тюльпан
Хосрова размставшийся тюрбан.

Зато бутон — услада для сердец —
Рубинами наполнил свой ларец.

У лепестка тюльпана, погляди,
Ожог пятном чернеет на груди.

От ветра черногрудки-лепестки
Порхают, как малютки мотыльки.

Фиалка и душиста, и мала —
Утиную головку подняла.

В полуоткрытом ротике цветок
Таит росинки беленький зубок. . .

Напоминает мне бутон цветка
Глаз журавля и яркость индюка.

Нарцисс, вина возжаждавший с утра,
Желтей, чем апельсина кожура.

Хмельные лепестки его в вине.
Подобны каплям жира в казане.

Исходит пряным запахом жасмин —
Он ароматов сада властелин.

Он всех пьянит, суля цветам беду,
И розы задыхаются в бреду.

И жалости и нежности полна,
Живой росой их кропит весна.

Росинки, жарко вспыхнув там и тут,
Как в праздник переливчато цветут.

А голуби взлетают и парят
И неразлучно парами сидят.

В одежде сада, что листвою зовут,
Надежный птицы обрели приют.

Тогда, снимая груз мирских забот,
Выходит в степь ликующий народ. . .

Горят костры. На них, чтоб дух не слаб,
Готовят из баранины кебаб.

Ученики, заполняя вешний сад,
Как радостные птицы гомонят.

Тот сад — с эдемской рощей он сравним —
Был издавна сирийцами любим.

В деревьях поднебесной высоты
Переливались звезды, как плоды.

Родник, что из ущелий Неджда бил,
Хрустальной влагой дивный сад поил.

А ныне этот сад засыпал рок,
Смежил глаза печальный родничок.

И у тюльпанов, первенцев весны,
Сердца клеймом печали клеймены.

Кайс и Лейли — тюльпаны в том саду,
Сердца у них предчувствуют беду.

Бутонами любясь без конца,
Бутонам уподобили сердца.

Лейли спокойна, только чуть бледна,
Достоинства стыдливого полна.

Но Кайс, он словно разума лишен,
Пред силою любви не защищен,

Не опуская восхищенный взгляд,
На всё он отвечает не попад.

То на глазах слеза его блеснет,
Он так вздыхает, будто душу рвет.

И смена чувств, что бушевала в нем,
Заметна сразу сделалась кругом.

Пытается он силы обрести,
Чтоб взор от луноликой отвести.

Но только взглянет, чуть поднимет взор —
Сжигает сердце яростный костер.

Вновь глянуть хочет, но не может, нет,
Но не смотреть нет силы — тоже нет.

Лишь краем глаза поглядит чуть-чуть —
Вздыхает немощную грудь.

От этих вздохов вешние листья
На всех деревьях сделались желты.

Лейли взирает на него с мольбой,
Как бы спросить желая: «Что с тобой?»

Твоя душа в смятенье и огне,
Горенье это так понятно мне!»

И пламя скорби сердце обожгло,
Ей стало и тревожно, и светло.

Остаться им вдвоем никак нельзя;
Она мечтает, чтоб ушли друзья.

Чтоб жертву и спасти, и оживить,
Что с ним случилось — ласково спросить,

Сознаться робко, что сама без сил,
Что искру ей он в душу заронил.

Народ неторопливо разбрелся,
Сад приглушал и смех, и голоса.

Переплетенье листьев и теней —
Тот занавес, какого нет плотней.

И в куще роз детей беспечных рой
Захвачен был веселою игрой.

Но от подруг намеренно отстав,
Лейли пришла сюда, в цветенье трав.

Был этот вешний луг со всех сторон
Цветущими кустами окаймлен.

Там внемлет роза с жалостью своей,
Как горестно стенает соловей.

В изорванной одежде, истомлен,
Он сам похож на вянущий бутон.

Отчаянья являя скорбный вид,
Он петь не в силах — плачет он навзрыд.

Так умирает в горе человек,
С возлюбленной расставшийся навек. . .

И в этот миг на луг Лейли пришла
И соловья влюбленного нашла.

Ее счастливый охватил испуг.
Волнуясь, все слова забыла вдруг.

А может — просто не нужны слова...
Всё поняла она, взглянув едва.

Придя в себя, от робости бледна,
Промолвила застенчиво она:

«О юноша, поверь, тебя мне жаль,
Какая у тебя, скажи, печаль?»

О чем ты плачешь, горестью объят?
Другие рады — ты один не рад.

Друзья смеются... Слышишь смех подруг?
А ты дрожишь, тебя гнетет недуг?

Ликует мир, встречающий Новруз,
Венчальный розы празднуют союз.

Весна ликует, в зелень сад убрав,
И гиацинт, как девушка, кудряв.

Здесь, в заповедном вешнем уголке,
Влюбленные сидят, рука в руке,

И обретают в лиственной тиши
Отдохновение и покой души.

Лишь только ты вздыхаешь — отчего?
И слезы проливаешь — отчего?

Людская радость всюду велика,
А у тебя из глаз течет река.

Весной прекрасной что тебя гнетет,
Какое бремя горя и забот?»

Вопрос ее чуть слышно прозвучал,
Но Кайс смущенный ей не отвечал.

Не может слова вымолвить язык,
От слез кровавых стал пунцовым лик.

Бессильный от нахлынувшей любви,
Не может мысли он излить свои...

«О ты, — он наконец проговорил, —
Твой взгляд мне в душу пламя заронил.

Метательница молний красоты,
Меня в огонь страдальня ввергла ты.

Откинула ты локоны со лба —
И стала словно ночь моя судьба.

Живу тобой, одной тобой дышу,
Единственной тебе принадлежу.

Прекрасная моя, свершив разбой,
Зачем ты вопрошаешь «что с тобой?».

Или, желая всех со следа сбить,
Ты вздумала коня поворотить?

Мое страданье — всё из-за любви,
Я — не виновен, но себя — вини.

Похитила ты сердце на беду...
Как жить я буду? Где покой найду?

Притворщица, смогла ты всё понять,
Какой ответ желаешь услышать?

О нет, довольно, ты прожгла мне грудь,
Победою своей довольна будь!

Плеснула масла в пышущий огонь,
Я заклеймен, ожог рукой не тронь!»

В волненье, задыхаясь, он изрек
И, обессилев, рухнул на песок.

Беспамятный простерся он в пыли;
Над ним склонилась в ужасе Лейли.

Его лицо слезами оросив,
Не ведает, он умер или жив.

Надломленная грянувшей бедой,
Кропит его слезами и водой.

Потрясена, и плача, и скорбя,
Винит себя во всем, одну себя.

Толпа служанок бросилась на луг,
В смятенье стали девушки вокруг.

Благоуханны, девственно-свежи,
Рабыни были тенью госпожи.

Мир потемнел в их любящих глазах:
«Что приключилось? Госпожа в слезах!»

Теперь ей тайну нечего скрывать,
Лейли служанок стала умолять:

Одной несчастье вынести невмочь,
Должны подруги ей быстрее помочь.

И та служанка, что других верней,
На помощь поспешила тотчас к ней.

Она сказала: «Душу не трави,
Я тоже погибала от любви.

Приди в себя, ступай спокойно в дом,
А юношу мы в чувство приведем.

Чтоб обошлось без лишних пересуд,
Мы не расскажем, что случилось тут».

И, выслушав совет подруг благой,
Лейли в смятенье побрела домой.

А девушки, оставшись на лугу,
Позвали Кайса верного слугу.

Передоверить юношу смогли
И бросились вдогонку за Лейли.

О искренний мой друг, верь слову ты,
Я тоже раб сердечной маеты.

Любви я все превратности постиг,
Не оставляй страдальца ни на миг.

ГЛАВА XV

О том, как соплеменники Кайса, узнав об его исчезновении, нашли влюбленного без сознания и, легкого как соломинка, принесли домой; о том, как он из-за любви лишился рассудка и прослыл безумцем — Медждуном.

Повествователь свой продолжил сказ,
Всё изложив как было, без прикрас.

Кайс шел всю ночь; его стопы влекли
В тот край, где жил богатый род Лейли.

С разбитым сердцем брел он тяжело,
Не ведая, что с ним произошло.

А между тем его отец и мать
Не ведали, где первенца искать.

Мать от тоски измучилась вконец,
Украдкой слезы вытирал отец.

Собрались все на поиски чуть свет,
Надеясь отыскать малейший след.

Следы их привели на вешний луг,
И там они двойными стали вдруг.

Был след один отчетливей других:
Являл он отпечаток ног иных.

«Лежал здесь кто-то, на земле упав,
Глядите, как примята зелень трав».

А что же дальше? Дальше был песок
И чуть приметный след бегущих ног.

А след другой исчез, как легкий пар,
Когда росу иссушит солнца жар.

Следов загадка ищущим ясна,
Они прочли их, словно письма.

Следы того, кто уходил ползком,
Запорошило утренним песком.

В пустыне, видно, заблудился он
И заживо песками занесен. . .

И люди в степь безводную пошли
И тело бездыханное нашли.

В барханах с обескровленным лицом
Кайс распростерся, схожий с мертвецом.

И родичи одежды стали рвать,
Над юношей лежащим причитать:

«Врача зовите! Гляньте, как он плох».
Но вдруг один из слуг услышал вздох!

«Аллаху слава! Он открыл глаза!» —
Благословляли люди небеса.

С бесчувственной ношей на руках
Отправились обратно, второпях.

Ломая руки, плачущая мать
Наследника едва могла узнать.

И стон ее всех родичей потряс,
И кровь и слезы хлынули из глаз.

Очнулся сын, он встал, едва живой,
С опущенной понуро головой.

Тут каждый отругать его был рад,
Обрушив на него упреков град.

Один сказал: «Ты плохо поступил!»
Другой: «Зачем ты близких всполошил?»

И каждый назидательный упрек
Вонзался в грудь, как ранящий клинок.

Суровые слова его казнят,
Как будто камни юношу разят.

С жестокою презригельностью всей
Они его пронзали до костей.

«Связать его и посадить на цепь!
Не то опять сбежит безумец в степь».

Так целый день прошел в попреках злых,
Но тот, кто любит, не услышал их.

Ему природа выключила слух,
Как будто побережь решила дух.

* * *

Светильник дня померк, свой свет излив;
Настала ночь, печаль усугубив.

Сгустился сумрак над вселенной всей,
И пагубнее стала власть страстей.

Когда заснули близкие кругом,
Кайс, крадучись, опять покинул дом.

Наутро, чуть восход окрасил высь,
Его искать повсюду принялись.

Нашли его, бледней он был, чем смерть, —
Нельзя без содрогания смотреть.

С тех пор в ночи и снова и опять
Его привычкой стал исчезать.

Любовью, как болезнью, он томим,
Недуг его души неисцелим.

Он наставленьям старших не внимал.
Безумец, их безумными считал.

И с каждым мигом, с каждым новым днем
Сильнее чувство разгоралось в нем.

Не знали люди, как болезнь лечить,
Как пагубу любовную избыть.

Родителей и родственников круг
Тревожил всех таинственный недуг.

Наставник всю надежду потерял...
А страсть росла, бушующая, словно шквал.

Когда все отступились от него,
Безумье стало править торжество.

Не властвовал он больше над собой...
Вслед за безумцем дети шли гурьбой.

Он был и дик, и с виду нелюдим.
«Меджнун! Меджнун!» — звучало вслед за ним.

Никто не хочет бедному помочь...
Кричат: «Пришел Меджнун, бегите прочь!»

С ума сошедший, впавший в забвенье,
Он вскоре имя позабыл свое...

Не только имя, но, молва идет, —
Он позабыл родных и славный род.

Взывал он горько: «О Лейли, Лейли!»
— «Меджнун!» — как эхо слышалось вдали.

И вечером, и рано поутру
Он подходил к заветному шатру,

Один и тот же избирая путь;
Камнями бил измученную грудь.

Ударом каждый отмечая шаг,
Следы Лейли он целовал в слезах.

Одно твердил, в беспамятстве кружа:
«Стань жертвою Лейли, моя душа!»

И снова он бежал, куда мог,
В пустыню, где шуршал ночной песок.

Вновь возвращался, чтоб горящий взор
С мольбою устремлять на тот шатер.

Людей увидя, он бежал, угрюм,
И по степи кружился, как самум.

О ты, кто сделал степь страной своей,
Я заблудился, боль мою развеи.

Я так устал, дай руку, снизойди,
Как жить мне дальше и куда идти?

ГЛАВА XVI

О том, как отец Лейли, узнав о любви Меджнуна к своей дочери, отправил родителю Меджнуна гневное послание, каждое слово которого жалило подобно отравленной стреле, и, познавший этот яд, отец Меджнуна так рассердился, что приказал заковать сына в кандалы.

Тот, в ком талант прозренья не иссяк,
Повествованье продолжает так.

Свершило время свой круговорот,
И сумасшедшим Кайса счел народ.

В Аравии, вблизи и вдалеке,
Звучит «Меджнун» на каждом языке.

И эти слухи вскоре дотекли
До грозного родителя Лейли.

Мол, так и так: жил в племени Амир
Кайс, удивлявший прилежаньем мир.

Способный и внимательный на вид,
Был жаждою познания знаменит.

Но говорят: виной судьба сама —
Несчастный всё забыл, сошел с ума,

Так повредился в разуме своем,
Что по пустыне бродит день за днем.

Родные в горе — Кайсу дела нет,
И сумасбродствам всем предела нет.

Себя услышать новость приготовь:
Винят в беде несчастную любовь.

Болезнь его не выпустит из рук,
Любовь — источник отроческих мук.

Отец Лейли сочувственно внимал.
«Ах, он бедняга! — под конец сказал. —

Перехвалили, знать, не в добрый час,
И виноват во всем коварный сглаз.

Ведь юноша трудолюбивым был,
Таким спокойным и счастливым был.

С учтивой речью и живым умом,
Он, помню, мне понравился во всем.

Жалею от души отца и мать,
Такой беде нельзя не сострадать.

Огонь, наверно, их томит и жжет,
Кто, как не я, родителей поймет.

Но кто она, задать хочу вопрос.
Та, что опасней всех расцветших роз?

Кто та, что столько горя принесла,
Какое пламя для него кыбла?»

«О добрый господин, — звучал ответ, —
В ответе нашем горькой правды свет.

Любовь жестокосердной не считай,
Сначала имя девушки узнай.

Она причастна к роду твоему,
И доказательств много есть тому.

Кайс вечером и с раннего утра
Как одержимый ходит у шатра.

А в том шатре твоя Лейли живет,
Кыбла его души — наш знатный род.

Здесь для него невинности юдоль,
Но выслушать нас дальше соизволь.

Завесой скрыт надежно твой чертог,
Он непорочен, девственен и строг.

Но ветер вздохов так нещадно жжет,
Что вдруг завеса вспыхнет и спадет?

Тот юноша, ты знаешь или нет,
Газели сочиняет, как поэт.

В начале и в конце там имя есть,
Которое нам страшно произнесть.

Теперь ты догадался обо всем,
Решай, как быть, советуясь с умом!»

В глазах отца, он понял всё давно,
Мир закружился, как веретено,

С опущенной сидел он головой,
От новости подобной сам не свой,

Придя в себя и трезво рассудив,
Взгляд на слугу печальный обратив,

Он произнес: «Немедленно ступай,
Родителю безумца передай:

Владыка рода славного Амир,
Не нарушай спокойствие и мир,

Пусть прекратится недостойный слух —
Он возмущает и тревожит дух.

Пусть это сплетня, но она растет,
Смеяться над тобою стал народ.

Иль, может, примирился ты легко,
Что слух распространился широко?

Впредь сумасбродства больше не терпи,
Держать безумца надо на цепи.

Напоминая не сочти за грех —
Среди арабов я сильнее всех.

Ты поступал как истинный злодей —
Пренебрегал советами людей.

Тебя и весь твой род смету, как сор, —
Бесповоротен этот приговор!»

Посланье это преданный вассал
Отцу Медждуна тотчас передал.

Тот, устрасая услышанных угроз,
В раздумчивой печали произнес:

«Несчастья я предвижу наперед,
Пусть на большой майдан придет народ»,

Решили все, кто в силах был внимать,
Войны кровопролитной избежать.

И люди в степь пошли, надеясь там
Вновь отыскать Меджнуна по следам.

Увидя близких, он заплакал так,
Как будто перед ним свирепый враг.

Его связали быстро и силком
Приволокли в теперь постылый дом.

Чтоб убежать, как прежде, он не смог,
Цепь обвилась вокруг рук его и ног.

Стальные кольца зло переплелись,
Не в тело — в душу звеньями впились.

Ты, кто к цепям безумья присужден,
Задумайся, услыша тяжкий звон.

Живя в плену печали и потерь,
Свободен будь! Возрадуйся теперь!

ГЛАВА XVII

О том, как Меджнун, ввергнутый в зиндан разлуки, горел подобно печному пламени; страдал, как птица, попавшая в силки расставания. Ухищрения врачей только усугубили его безумие. Оплакивая свою судьбу, он пролил столько горьких слез, что в их потоке захлебывался кровью. Пламя его сердца расплавил железные оковы. Он возжаждал свободы, подобно тому как песок пустыни жаждет воды.

Кто цепь любви покорно стал влачить,
Так продолжал повествованья нить.

Меджнун в цепях, безвинно осужден,
В плену безумья погибает он.

Закованный, не смея даже встать,
То затихал он, то кричал опять.

Так птица, угодившая в силки,
Не ест, не спит в плену глухой тоски.

Как можно спать, когда во тьме ночей
Из глаз течет кровавых слез ручей?

А сердце, не подвластное уму,
Живет по разумению своему.

Оно стучит и обжигает плоть,
Сумев легко рассудок побороть.

Клубится дым любовного огня,
Сознание Меджнуна затемня.

И этот дым незримого костра
Сильнее разуменья и добра.

И, превосходством мрачным упоен,
Безумья шах в мозгу упрочил трон.

Страсть взбунтовалась в разуме больном —
Меджнун не властен больше над умом.

Пробито сердце лезвием тоски,
Что рвет его и режет на куски.

Нет сил таких, что излечить могли б!
И наконец разыскан был табиб.

Искусный лекарь, праведный мудрец, —
К нему воззвал измученный отец.

Но дряхлый врачеватель позабыл,
Как нестерпимо жжет любовный пыл,

Не понимал, недужных лучший друг,
Что нет лекарства от сердечных мук.

К сухим устам он подносил шербет —
Кайс кровью сердца исходил в ответ.

Он утешал больного, но слова
Сгорали бесполезно, как дрова.

Питье и яства — пищу, всю подряд,
Больной отверг, как смертоносный яд.

Приказывал табиб: «Молчи! Не плачь!» —
Как будто смерти требовал палач.

Рассвирепев, грозил: «Эй, стон умерь!» —
Как будто рычал разъяренный зверь.

Врач палкой избивал его, крича,
Кайс извивался, дико хохоча.

И для родных ужасный этот смех
Был пострашней стенаний слезных всех.

Но старый врач, пускай не шарлатан,
Больному был страшнее, чем шайтан.

Не мог невежда лекарь знать о том,
Каким несчастный Кайс палим огнем.

Извлекъ желая тернии тоски,
Живое тело резал на куски.

А близкие, за лекарем следя,
Совет давали, раны бередя.

И этой обоюдную возней
Вконец измотан страждущий больной.

Придя в себя, терял сознание вновь,
И вместо слез из глаз струилась кровь.

В таком он состоянии пребывал,
Всю глубину страданья испытал,

Кляня себя, и близких, и врача...
Ночь наступила, небо омрача.

День чернотой густо затемнен,
Светило дня в утробе скрыл дракон.

Не ночь, а копотъ адского котла,
Под ним огонь разлука разожгла.

Восходит дым, небес беззвездно дно,
И оперенье ангелов черно.

Ночь распростерлась над вселенной всей,
Сомкнул свой клюв рассвета соловей.

Как будто ночь забыть о том могла,
Что снова днем должна смениться мгла.

Да, ночь была проклятием для людей,
Палач влюбленных, страждущих — злодей.

* * *

В такую ночь, печалясь и скорбя,
Меджнун очнулся и пришел в себя.

Ему казалось: молнии зигзаг
Его ударил и повергнул в прах.

Он сызнова всё начал вспоминать
И боль свою оплакивать опять:

«О тело беззащитное мое,
Зачем влачишь слепое бытие?

Сломив меня — бессильного раба,
Чего ты добиваешься, судьба?

Зачем вложила душу в эту плоть?
Душа бессильна чувство побороть.

Дух неподвластен телу моему.
К чему мне жить, о боже, не пойму!

Когда умру, прошу об этом сам, —
Отдайте тело на съеденье псам,

Чтоб тем ко мне участие проявить
И от злосчастий дух освободить.

Пускай собаки, поднимая рык,
Меня на части растерзают вмиг.

И грудь мою свирепо разорвут,
И вырвут сердце — горести сосуд.

Пускай они поднимут жадный вой,
При дележе подравшись меж собой.

Но нет, не надо! Сделайте не так,
Жаль бедных псов, зачем травить собак!

Бродяг бездомных жалко мне до слез —
От этой пищи заболает пес. . .

И, бешенством опасным заражен,
Других несчастных искушает он.

Тогда над псом свершится скорый суд —
Его зароят там же, где убьют.

О нет, о нет! Дозвольте лучше мне
Испепелиться в яростном огне.

Хочу больную душу сжечь живьем,
Смешаться с сострадательным огнем.

А чтоб мой след истаял и исчез,
Развейте легкий пепел до небес.

Но коли это всё не свершено
И телу жить, страдая, суждено,

Сносить насилье, волею судеб. . .
Зачем, зачем я в детстве не ослеп?

Бродил бы я, слепец, стуча клюкой,
С протянутой по-нищенски рукой

И в унижение, у чужих ворот,
Ждал подношенья от людских щедрот.

Меня бы вел в степную даль и ширь
Такой же бесприютный поводырь.

И если бы не он и не клюка,
Упал бы в пропасть я наверняка!

Приди, о смерть, глаза навек сомкни —
Беды моей виновники они.

Зачем Лейли заметил слезный взор,
Не он ли на меня навлек позор?

Глаза, виновен ваш влюбленный взгляд,
Пусть не меня, а вас в беде корят!

Ее не видя — может ли то быть? —
Сумел бы я другую полюбить.

Не святотатствуй! Равной в мире нет,
Она — кумир вселенной, звездный свет.

И если ветер, павший с высоты,
Легко откинет шелк ее фаты —

Ошеломит весь мир ее краса,
От зависти померкнут небеса.

И солнце будет так ослеплено,
Что облаком закроется оно.

А я былинка в скорбном мире сем,
Нельзя былинке справиться с огнем.

Ко мне, отец, табибов не зови,
Врачи не исцеляют от любви.

Они приумножать умеют боль,
Лекарства их — для ран отверстых соль!

Куда, ответьте, скрыться от тоски?
Бежать в ущелья гор или в пески?

Стонал бы я, блуждая среди скал,
В песках рыдая, людям не мешал.

В пустынном одиночестве, в глуши
Обрел бы я спокойствие души.

Когда в огне пожара вспыхнет дом,
А выходы и входы под замком,

Клубясь, восходят к небу, высоки,
Дразнящие драконьи языки,

А пламя наступает и гудит,
Еще мгновенье — дом испепелит.

В зиндаче плоти мой сгорает дух,
Я крепко заперт, мрак глубок и глух.

Но вдруг пожар, а двери на замке,
И узник ищет выхода, в тоске.

Огонь разлуки, пышущий костер
Объятья мне палящие простер,

И рушатся опоры в том огне,
И трещины змеятся по стене.

Где отыскать мне стойкости пример,
Когда пылают семь небесных сфер?

Те трещины в стенах или в мозгу?
В беспам'ятстве понять я не могу.

Душа в огне, темница заперта,
И пламя вздохов рвется изо рта.

И некуда и негде скрыться мне —
Повсюду я с огнем наедине.

Когда к костру приговорен злодей,
Его освобождают от цепей.

Лишь я один сгораю в кандалах,
За что караешь грешника, аллах?

Дым, всюду дым, как черная смола,
Не дым, а ночь меня обволокла.

Чуть бьется сердце, нет мне сил вздохнуть,
Клубится дым, переполняя грудь.

О нет, не ночь, а черная напасть,
Гора мучений, мрачной силы власть.

Несчастий груз, он тяжело плечи гнет,
Вздохнуть и шевельнуться не дает!»

Но вдруг забилась пленная душа,
Как птица в клетке, вылететь спеша.

А приподняться слабость не дает,
Ладони холодны, как зимний лед.

Обязан встать он, немощь одолеть,
Хоть истончились руки, словно плеть.

От пребывания в тяжких кандалах
Он ослабел до темноты в глазах.

Всё ж Кайс напрягся из последних сил
И столб чугунный цепко обхватил,

Рывок — и столб поддался наконец,
Распались звенья сомкнутых колец.

В свою свободу не поверив сам,
Дал узник отдохнуть больным стопам.

Не вытирая благодарных слез,
Молитву он создателю вознес.

Потом поднялся и, открыв запор,
Побрел шатаясь в выжженный простор.

Туда, в пустыню, путь его пролег,
Где только ветер, небо да песок.

Ты жизнь свою влачишь в цепях времен.
Сознанием «я» твой дух обременен.

Избавь себя от собственного «я»,
Войди счастливым в край небытия.

ГЛАВА XVIII

О том, как Лейли, чей стан — стройный кипарис, спешила домой, но по дороге ее встретил Ибн-Салам, и его сердце, словно птица, полетело к тонкостанному кипарису; о том, как от дуновения весеннего ветра в цветнике его желания расцвела роза надежды.

Тот, кто слова чеканил и гранил,
В рассказе тонкость мыслей проявил.

Когда Лейли, в смятенье и слезах,
Из дома убежала второпях,

Незащищенной нежности полна,
Казалась розой утренней она.

На бархатистой коже молодой
Слезинки схожи с розовой водой.

Стон каждый шаг ее сопровождал,
Как будто целый мир в унынье впал.

Кто для нее сравнение найдет,
Тот скажет: «Розу кипарис несет!»

Нежна, прекрасна — сколько ни хвали,
Нет слов таких, чтоб описать Лейли.

Она спешила, боль тая в груди,
Не ведая, что встретит впереди

Богатого властителя племен.
Взглянув, он понял, что навек влюблен.

Он прозывался так: Бахт Ибн-Салам.
Своим дирхемам счет не ведал сам —

Столь много было у него казны!
Всё у него: стада и табуны,

Овец отары с важностью бредут,
С горой двугорбой каждый схож верблюду.

Он был богатством щедро одарен,
Пред ним судьба не ставила препон.

У богача забот и горя нет,
Прекрасней звезд небесных — блеск монет!

Лейли он встретил на пути своем,
Страсть охватила душу целиком.

«Коль заболел, так сам себя цели,
Женюсь я на красавице Лейли!»

И порешил он время не терять,
А хитроумных сватов засылать.

Он выбрал сто подарков, сто ларцов —
Изделья лучших златокузнецов.

Был каждый сват похож на мудреца,
Велеречив и благостен с лица.

Поведал он, какой мечтой томим,
И важно сваты согласились с ним.

С тюками караваны вдаль пошли,
Везя дары родителям Лейли.

Отец Лейли от сердца рад гостям,
Был знаменит и славен Ибн-Салам,

Родитель знал и слышал от других,
Что среди арабов лучший он жених,

Что он и образован, и умен,
А главное, казною наделен.

Возглавя славный род Бани Асад,
Один он всех богаче во сто крат.

Польщен был сватовством отец Лейли,
И сватов в дом почтительно ввели.

Гостеприимству радуясь, послы
Уселись за накрытые столы.

Раскрыв подарков полные тюки,
Посланцы развязали языки.

Всё похвалив, застольем насладясь,
Речь повели они, не торопясь.

Рассыпав, как положено, сперва
Витиевато-льстивые слова,

Пролив на смысл приезда должный свет,
Они смиренно стали ждать ответ.

И, поразмыслив, вымолвил отец:
«Благословит господь союз сердец!

Давно мной уважаем Ибн-Салам,
Да будет он желанным сыном нам!

Жемчужину мою пусть заберет,
Украшив ею свой достойный род!

Повременить придется малый срок —
Надломлен бурей розы стебелек.

Надежды сад еще не расцвечал,
Луною зрелой месяц мой не стал.

Болезнь ее гнетет, а не каприз.
Пускай окрепнет юный кипарис.

Пред тем как чашу радости поднять,
Нам всем придется малость подождать.

Здоровье возвратится, и тогда
Чета соединится навсегда!»

Довольные успешным сватовством,
Послы вернулись в свой родимый дом.

А радость сердца, грустную Лейли
В сад погулять подруги повели.

Шептали розы, полные тоски,
Роняя наземь в муке лепестки:

«Себя к несчастной участи готовь,
Кровопролитна каждая любовь».

И ей казалось: огненный клинок
На части беспощадно грудь рассек.

В невыразимой муке и в крови
Пред ней предстало таинство любви.

В ее саду один бутон завял,
Другой, как лал багряный, запылал.

Цветник души огнем заполонен,
И, цепenea, тело слабнет в нем.

Любовь губила розу, наклоня,
И лепестки, как искорки огня.

Огонь любви смыкал палящий круг,
Суля несчастья ей и боль разлук.

Бежала пери, от себя таясь,
Как будто тени собственной боясь.

И, задыхаясь, потеряв покой,
Вошла в шатер, в разубранный покой.

Теряя силы, молвила она:
«В саду мне хуже, я совсем больна!»

Лейли в жару, ей дышится с трудом,
Но мысль о Кайсе — только лишь о нем.

В полубреду, безвольна и слаба,
Струится пот с горячечного лба.

Она слегла, и стали все считать,
Что лихорадка к ней вернулась вспять.

Однако самым близким из подруг
Ее сокрытый ясен был недуг.

Чтоб улыбнулась, позабыв печаль,
За радость эту — жизни им не жаль!

И с няней разговор они вели,
Советуясь, как дальше быть с Лейли.

«Коль весть о свадьбе до нее дойдет,
От ужаса несчастная умрет.

И надо нам до времени молчать,
Всё, может, образуется, как знать!

Наш кипарис в неведение пока,
Пусть не сорвется тайна с языка!»

* * *

Случилось так, что навестить Лейли
Приехали родные издали —

В желании утешить и развлечь,
И от всего печального отвлечь.

Старуху с ними привела судьба —
Она была болтлива и глупа.

Подобного не сыщешь языка —
Опасней он разящего клинка.

По глупости скорее, чем со зла,
Вздыхнув притворно, бабка изрекла:

«Зачем горюешь, свет моей души?
Душистой амброй кудри надуши.

Напрасно слезы льешь, моя душа,
Как прежде, скоро станешь хороша!

Увидел бог терзания твои,
Исполнил в срок желания твои.

Ты краше всех, сколь ни гляди вокруг,
Тебе под пару будущий супруг.

Кругом о вашей свадьбе говорят,
Твои подружки завистью кипят.

Полна до края счастьем пиала —
Свершилось чудо, господу хвала!»

Не побоялась старая греха,
Сказала громко имя жениха.

Услышав это, обмерла Лейли —
Ее утешить больше не могли.

Недаром весть таили от нее —
Болезнь сильнее вонзила острие.

О ты, кто скрыт, но явен нам во всем.
Ты, в сердце обитающий моем.

И если светом наполнишь ты сердца,
Прозреньем вещим одари слепца!

ГЛАВА XIX

О том, как стало известно, что жители селения Бани-Асад пожелали поймать стыдливую газель, и она, подобно заходящему солнцу обогрив небеса кровью заката, стала клониться к западу, и мать ее, как сострадающее небо, зарыдала над скорбной судьбою дочери.

Тот, кто открыл правдивых слов исток,
Речь в путь отправил, как речной поток.

Лечить больную лекари взялись —
Истаял тенью стройный кипарис.

Припомнила, придя в себя едва,
Болтуньи неразумные слова.

Невмоготу ей стало от тоски,
Жизнь словно плащ истерзана в клоки.

Рыдая, перестав владеть собой,
Она шепнула нянюшке с мольбой:

«С меня ты не спускала добрых глаз,
От бед оберегала столько раз,

Лелеяла, растила с малых лет,
Таиться от тебя мне нужды нет,

Скажи мне, состраданье проявив,
Неужто этот страшный слух правдив?

Иль ты хотела в благостной тщете
Весть эту утаить по доброте?

Меня спасая от беды большой,
Могла бы ты пожертвовавь душой?

Но ты не в силах отвести беду,
К тебе, родная, с просьбой припаду,

С единственной просьбою простой:
Немного у дверей моих постой.

Шумят и суетятся все кругом,
Но только пониманья нет ни в ком.

Как дальше жить, подумать надо мне,
Поразмышлять с собой наедине».

Рукой коснулась няня глаз своих,
Дав приказанье, чтобы шум затих.

«Подите прочь, — промолвила она, —
Настала ночь, пускай уснет луна!»

Лейли одна, но бедной не до сна —
Теснящий ворот порвала она.

И зарыдала горько в муке злой,
И посыпала голову золой.

В отчаянье, чтоб боль души унять,
Она ногтями стала грудь терзать.

И каждая царапина красна,
Как скорби и несчастья письменна.

Из этой книги бедственной тоски
Текли на землю крови ручейки,

И там, где пали наземь капли слез,
Из зерен горя жгучий терн пророс.

А птицы счастья, если есть они,
Прочь улетели, спрятались в тени.

Она в кровоподтеках, в синяках,
Внушает сострадание и страх.

«Не смеет любоваться он луной —
Надену траур, став его женой!

О небо, ты жестокости полно,
Перетерпеть мне горе не дано.

Зачем ты деревце склоняешь вниз,
Зачем ломаешь юный кипарис?

Повержен он. Ответить соизволь,
За что ему терпеть такую боль?

О небосвод всесильный, ты не прав,
Топор насилья и над мной подняв.

Немилосердный, беспощадный рок
Все ветви по суставчикам отсек.

Ту розу, что еще не расцвела,
В жаровне горя ты спалил дотла.

На яблоне не выросли плоды —
Она пылает в пламени беды.

Зачем завял не в срок весенний сад —
Еще далек осенний листопад.

Иль я шипы вонзала в чью-то грудь,
Или посмела друга обмануть?

Я всем желала счастья и добра.
Меня согнули зимние ветра.

Рок над Лейли победу одержал,
Он расставанья бросил мне кинжал.

Чтоб не в одно мгновение убить,
А по частям, натешась, разрубить.

Замужество, предложенное мне,
Мученья ада превзойдет вдвойне.

Душа в огне, от искорки одной
Воспламениться может мир земной.

Я, пламенем объятая, слаба —
Соломинка, безвольная раба.

Нет, не былинка — жалкий муравей
Раздавлен ношей собственной своей.

Мне тоже непосилен груз души.
Как дальше жить, о небо, подскажи!

Я в этой жизни места не найду,
Я муравей, мятущийся в аду.

Где справедливость мудрая твоя,
За что меня казнишь, как муравья?

О небо, неужели это грех,
Что муравей беспомощнее всех?

И я, в плену мучений неземных,
Судьбу кляню, томясь в цепях твоих.

Где друг мой милый, где плененный мной?
Где истомленный, от любви большой?

Как он живет, что будет дальше с ним,
Огонь его метаний нестерпим!

Его душа — мучения юдоль,
Как переносит разлученья боль?

Вздых губы сушит, дышит он с трудом,
Он душу рушит, скорбной жизни дом.

Представит он густых кудрей волну —
И у безумья мечется в плену.

Рыдает ли он, горем обуян,
Когда слагает обо мне дастан?

Прольет ли он кровавых слез родник,
В мечтах увидев мой лучистый лик?

Без локонов моих, без алых уст
Поймет ли он, что мир жесток и пуст?

Припомнив имя светлое мое,
Неужто не впадет он в забытье?

Представив снова гнутый лук бровей,
Не гнется ли он в горести своей?

Как переносит боль сердечных ран,
Ресниц припомнив стрельчатых колчан?

Забудет ли про всё, что знал досель,
В честь глаз моих опять пропев газель?

Он вспомнит очи, те, что ярче лун,
И вновь забьется, как река Джейхун.

Представит он фазаний мой шажок —
И попадет, израненный, в силок.

А родинка на бархате щеки
Не ослепит ли глаз его зрачки?

Какой мечтой его наполнен сон?
Каким он сновиденьем истомлен?

Иль, может, он привык страдать в глуши,
Исчерпаны все силы у души?

Что будет с ним, усталым от невзгод,
Когда к нему дурная весть придет?

Немилосердна быстрая молва, —
Как примет он жестокие слова?

Пусть знает милый: нет на мне вины,
Мы в выборе постыдном не вольны.

Тернистая мне выпала стезя,
Но отвратить замужество нельзя.

Надежды нет, мой день сменился тьмой,
Ношу я траур по себе самой!»

Так плакала Лейли, упав ничком.
Стенанья мать подслушала тайком.

Всё поняла в единый миг она
И зарыдала, жалости полна.

И думала в слезах и день, и ночь,
Как исцелить, чем ей утешить дочь?

О исцелитель мой, повремени,
К больному сердцу руку не тяни.

Прочь отойди, лекарство мне во вред, —
От самого себя спасенья нет!

ГЛАВА XX

О том, как отец Меджнуна разыскал сына в пустыне, уговорил вернуться домой и отправиться вместе с паломниками в Каабу. Но Меджнун вместо молитв воспевал красоту своей возлюбленной, чем привел паломников в смятение.

Тот продолжал повествованья нить,
Кто может нас рассказом удивить.

Той ночью, что живым внушала страх,
Бежал Меджнун из дома второпях.

Всю местность тщетно обыскав кругом,
Родные в горе возвратились в дом.

Перед отцом испытывая страх,
Изъездили округу на конях.

Меджнуна нет, истаял словно дым,
Отец от горя сделался седым.

Бедою удрученная такой,
Мать навсегда утратила покой.

Вдвоем сидели и отец, и мать,
Не зная, как им быть, что предпринять.

Измучились, решение ища,
И наконец вздохнули сообща:

«Одна надежда в старческих сердцах,
Что снизойдет к страдающим аллах.

С надеждой припадем к святым стопам,
Бог милосерден, он поможет нам.

А мы свое богатство раздадим
Отшельникам и дервишам святым, ←

Молитва тех, кто обездолен сам,
Угодно бывает небесам.

Аллах — защитник бедных и сирот,
Он сына исцеленного вернет.

Одной Қаабе излечить дано
Безумных, чье сознание темно».

Тут подошел паломничества срок...
В Қаабу путь и труден, и далек.

В пустыню люди бросились опять,
Сумев в песках Медждуна разыскать.

И, не противясь более ничуть,
Собрался сын в Қаабу, в дальний путь.

С родными попрощался блудный сын
И сам забрался в пышный паланкин,

Поспешно, благочестьем осиян,
Направился в Қаабу караван.

И вот пред ними благолепья храм,
Священный и возвышенный харам.

Он — купол мира — над землей сиял
И сущее на ней благословлял.

Он — точка наивысшая небес,
Непостижимей всех иных чудес.

К святыне этой, славе всех времен,
Паломники спешили испокон.

Храм походил на суфия колпак,
Отвергшего юдоль житейских благ.

Как суфий, запахнувшийся в халат,
Стоял недвижимый, каменный квадрат.

Звездой Полярной он сиял в ночи,
Вокруг камня — словно звезд лучи.

Нет, не звезда он в небе, а пророк,
Который всё предвидел и предрек. . .

Сомнения, посеянные злом,
Там ангелы развеяли крылом.

Летуньям ночи ангелы сродни,
Над ним незримо кружатся они.

Основа храма как святой завет,
Как глаз провидца, черен он на цвет.

Храм с тенью шаха может быть сравнен,
Чье повеленье — подданным закон.

Не смешиваясь с пестрою толпой,
Меджнун на дивный храм смотрел с мольбой.

Вдруг с новой силой страсть проснулась в нем,
Неутоленным вспыхнула огнем.

И, молнии подобно грозовой,
Он заметался, плача, сам не свой.

Храм обойдя, он в новый круг идет,
Как вкруг земли недвижимой небосвод.

Он желтою щекой к камням приник —
И пожелтели камни в тот же миг.

К ступеням храма он прижал лицо,
Потом, дверное ухватив кольцо,

Его с такую цепкой силой сжал,
Как будто бы любимую держал.

В оцепененье долгом замер он,
Вдруг вопль издал, души предсмертный стон.

Как будто безысходная тоска
Звала к себе страдания войска.

Всё небо облака заволокли,
Черней Каабы стало всё вдали.

Храм траурной оделся чернотой,
Меджнун рыдал у двери запертой,

Взывая так: «О мудрый властелин!
В благих решеньях волен ты один.

Сперва в огонь любви ввергаешь нас,
Потом за этот грех караешь нас.

Бессмертной добротой осиян,
За что моей души ты сжег хирман?

Я был твоим рабом, твоим слугой,
Я пред огнем разлуки — стог сухой.

Оковы тяжкой страсти я влачу,
Увещаний слышать не хочу.

Безумен я, мне снисхожденья нет.
Одни каменя мне летят вослед.

Ты создал пери, чудо совершив,
Ей не понять безумный мой порыв.

Ты пламя страсти бросил в глубь сердец,
Наполнил дивным жемчугом ларец.

Я страстью сломлен и порабощен,
В невольника любви я превращен.

Я пленник чувства, я дышу едва,
Дух напряжен, как лука тетива.

Я по суставам весь разъединен,
Я вервию любовным оплетен.

Я в пятнах, пламенеет красный шрам,
Ожоги страсти — не позор, не срам.

Пусть пламя возрастает всё сильней,
Пусть прожигает тело до костей.

И не молю я господя: «Спаси!»
Не говорю: «Огонь мой погаси!»

Я, о любви твердя, вступаю в храм,
Не отступлюсь и чувства не предаю.

Люблю, пока живу, пока дышу,
От мук меня избавить не прошу.

Еще мои страдания умножь,
В пылании пречистом уничтожь.

Глаза мне подведи сурьмой любви,
Разлей в моей груди настой любви.

Благоуханным стань, мой каждый вздох,
Мне щеки разрумянь, любви ожог!

По образу любви твори меня,
В любви единой раствори меня.

Великим испытаньем удостой,
Ее страданьем сердце успокой.

Сожги мой дух, чтоб я воскреснул вновь
И принял имя новое: «Любовь».

А мне твердят: «Забудь, оставь Лейли,
Себя от безрассудства исцели!»

О боже, не слова — каменьев град,
Прости, аллах, не знают, что творят!

Дай мне испить блаженного вина,
Налей желанья чашу дополна,

Две чаши полни, мало мне одной,
Не просветляй безумный разум мой!

Душой моею сделай страсть к Лейли,
Безволен я, попав под власть Лейли.

Спаси меня, страданьем, о аллах!
Насыть воспоминаньем, о аллах!

Когда мой дух навек покинет плоть,
Мне память о Лейли оставь, господь!

Но если мне прикажешь: «Оживи!» —
Дозволь бродить долиною любви..

В аду мне наказание не сули —
Страшней всех испытаний страсть к Лейли!

Когда умру, в раю не посели,
Рай для меня — свидание с Лейли.

Всё уничтожь, меня убить вели,
Не проживу на свете без Лейли!»

Он так взывал, в такой молил тщете,
Что спутники застыли в немоте

И, суеверный ощущая страх,
Шептали про себя: «Спаси, аллах!»

Безумца, распростертого в пыли,
Подняв, домой уныло понесли.

«Надежды на спасенье больше нет,
Невыносимо слушать жалкий бред!»

Родитель понял: «Сын — неизцелим!»
Всё племя сокрушалось вместе с ним.

Когда огонь страстей сжигает грудь, —
Нет в мире силы, чтоб его задуть.

Надежда близких тщетною была —
Безумного Кааба не спасла.

Ты был в Каабе счастья, пилигрим,
Твоею благостыней я храним.

В молитвах нас, заблудших, помяни,
Сиянием любви воспламени!

ГЛАВА XXI

О том, как Меджнун ушел от людей в пустыню и подружился с дикими зверями; о том, как повстречал охотившегося за оленями Навфала и тот, сделав Меджнуна своим другом, навсегда покончил с охотой.

Тот, кто слышал про эту быль не раз,
Так продолжал правдивый свой рассказ.

Когда прошел паломничества срок,
С печалью каждый убедиться мог,

Что ум Меджнуна погружен во тьму
И исцеленья тщетно ждать ему.

Ведет его безумия стезя,
Непоправимым бедствием грозя.

Отец рыдал, родня потрясена,
И мать от безысходности больна.

Решил отец и вместе с ним народ:
«Удерживать не будем, пусть уйдет».

И Кайс ушел в пески, к отрогам гор,
В пустынный и неведомый простор.

Днем он блуждает вдалеке от всех,
Где ночь застанет — там его ночлег.

Не всё ль равно куда направить путь,
Когда покой душевный не вернуть?

А если бы слышать его могли,
Как вздох, как стон слетало с уст: «Лейли!»

«Лейли, Лейли» — звучит на сто ладов,
Иных не знает мыслей он и слов.

Не видя, он вокруг себя глядит —
Сияние Лейли его слепит.

Сознания лишался он на миг,
Представив стан и светозарный лик.

Стан — кипарис, и, словно дивный сон,
Сияет лик, как розовый бутон.

Пред кипарисом наземь он упал,
Росою слезной розу окроплял.

Стихов и повелитель, и слуга,
Нанизывал он строчек жемчуга,

И музыку, и стих в едино слив,
«Лейли» в них повторялось, как редиф.

Кто слышал бейтов сладостную грусть,
Запоминал газели наизусть.

Горение душевного огня
Пылало в строчках, музыкой звеня.

И чувство, вознесенное в стихах,
Рождало трепет в мыслях и сердцах.

Любовь и страсть переполняли стих,
И буквы подчинялись власти их.

Печальному он душу окрылял,
Надежду в удрученного вселял.

Слова в строках взволнованно-живых
Сверкали ярче перлов дорогих.

Но налетал опять безумья шквал —
Бессмыслицу он снова бормотал.

Вдаль устремляя отрешенный взгляд,
Не понимал, что люди говорят.

Всё туже сумасшествия петля
Затягивалась, бедствия суля.

И в безрассудстве, истинно велик,
Метался он, как зверь пустыни дик.

То, как дитя, безудержно рыдал,
То, проливая слезы, хохотал.

Сам истязал себя нещадно так,
Что тело превратил в сплошной синяк.

Опомнясь, опускался он без сил
И в ужасе молитвы возносил.

Но страсть, сумев рассудок побороть,
Опять терзала немощную плоть.

Он с виду схож с засохшим тростником,
Но голос грохотал, как горный гром.

Рыдая, как ребенок, между тем
Не помнил он родителей совсем.

Друзей забыл, отрекся от родни,
Наперсники — страдания одни.

Вкушая горя терпкое вино,
Питье иное позабыл давно.

В глазах от вечных слез плывет туман,
Пуглив он бесконечно, как джейран.

Не ел он мяса, вкус его забыл,
С оленями он время проводил.

Бежали лани по пятам за ним,
Защитником его сочтя своим.

С открытым сердцем, ласковым умом,
Он стал их добровольным чабаном.

И гладил их, и ласково трепал,
В доверчивые очи целовал.

А волки вслед за ним послушно шли
И стадо по-пастушьи стерегли.

Он так рыдал один в седых песках,
Что внял его молениям аллах.

* * *

В то время средь арабов проживал
Стрелок искусный, доблестный Навфал.

Владея той землей обширной всей,
Он добротой прославился своей.

Однажды для охотничьих забав
Вождей племен, своих друзей, собрав,

Задумав учредить большой загон,
В далекие пески поехал он.

Облава началась под гром и стук,
Приблизился к Меджуну ловчих круг.

К нему метнулись звери, трепеща,
Защиты и прибежища ища.

Глаза просили слезно жизнь спасти,
Нависшую угрозу отвести.

При виде чуда дрогнувший Навфал
Оружие в руках не удержал.

Он спрашивать у ловчих принялся:
«Что означают эти чудеса?»

Стал наяву мне сниться странный бред,
Вы тоже это видите иль нет?

Что происходит, право, не пойму!»
Всё ловчие поведали ему.

И о судьбе Меджуна их рассказ
Навфала и растрогал, и потряс.

Он сам когда-то, и влюблен и юн,
Блуждал долиной скорби, как Меджун.

Суровый муж не постыдился слез,
Он соскочил с коня и произнес:

«О, совершенный эликсир — любовь,
В большой вселенной целый мир — любовь.

Печалью темной сердце сушишь ты,
Чтоб после полнить светом доброты.

Глядите, зверь, что столь неукротим,
Как смиренное дитя идет за ним!

Но, боже мой, как бедный отрок худ —
Не человек, а горестей сосуд.

Иль, может, райский ангел во плоти,
Коль не страшатся звери подойти!»

Он приказал: «Не трогайте зверей!» —
И луки повелел сломать быстрее,

Охотничьих собак на сворки взять
И жажду истребления унять.

«Не причиняйте беззащитным зла!» —
Он произнес и, соскочив с седла,

Приязни полный, доблестный Навфал
К стоящему Меджуну зашагал.

Тот кротким взором, мановеньем рук
Встревоженных зверей унял испуг.

Так юношу приветствовал Навфал,
Как будто бы родного увидал.

Меджун с поклоном произнес в ответ:
«В твоих глазах и ласка, и привет.

О справедливый, мудрый и простой,
Меня правдивой речью удостой.

Как можешь ты, достигший благ земных,
Рабом страстей стать низменных своих?

Не жажда насыщения влекла,
А пресыщенье — нет страшнее зла!

Потехи ради ты, и добр и смел,
Кровь проливаешь тех, кто жить хотел.

Ведь, занозив колючкою стопу,
От боли ты в сердцах клянeshь судьбу.

Насилья лук ты вздумал натянуть,
Сразил ты многих, жизнь им не вернуть!

Им тоже душу даровал господь,
Страдающую трепетную плоть.

Себя к добросердечью приготовь —
Не проливай невинных тварей кровь!»

Столь был Навфал словами потрясен,
Что пред Меджнуном преклонился он,

Промолвив: «Отрок, небожитель ты,
Законов доброты хранитель ты.

От слов твоих меня бросает в дрожь,
И угрызенья совести не множь!

Себя кинжалом я убью скорей,
Не трону больше в жалости зверей,

Ты всё сказал, теперь я попрошу
Внимать тому, что я сейчас скажу».

Меджнун ответил: «Внемлю, говори!
Уста для мудрой речи отвори».

Тот начал так: «Я зло в душе избыл,
Став праведным, я кротких возлюбил.

Вопрос мой за обиду не прими,
Зачем пренебрегаешь ты людьми?

В пустыне средь зверей живя как брат,
Ты преступил священный шарнат.

Светило всех творений — человек,
Всех в мире совершенней — человек.

Бежал ты от собратьев по уму,
Я странности решенья не пойму,

В беде великой не тебя винят —
Любовью к розоликой ты объят.

А если так, тоску свою забудь,
В моем шатре желанным гостем будь,

Развеселись, гуляя в тех местах,
Где ты томился у страстей в сетях.

Клянусь я все старанья приложить,
Чтобы тебя с Лейли соединить.

Коль не помогут просьбы и казна,
Начнется справедливая война.

Не разрешу тобою пренебречь,
Заступником влюбленных станет меч!

И да поможет нам благой господь
Преграды и препоны побороть!

Исполню я желанья и мечты —
Достигнешь долгожданной цели ты.

А не удастся это на беду,
Замену я достойную найду.

За доброту, всем сердцем полюбив,
Тебя приму в свой дом, усыновив.

Ты будешь жить в покое и любви,
Но со зверями дружбу разорви.

Причуда эта вскорости пройдет,
Для человека человек живет.

Соединиться с милой поспеши,
Для этого старанье приложи».

При слове «встреча» — в нем такая власть! —
Меджнун готов был замертво упасть.

От радости собою не владел,
От слабости как будто онемел.

От счастья слова вымолвить не мог —
Слезами затуманился зрачок.

И наконец с трудом проговорил:
«Я всё отверг, на всё бы возразил,

Но слово «встреча!» — вся надежда в нем,
Я не желаю слышать об ином.

Знай, если тщетны все мои мечты
И обещанья добрые пусты,

Пускай твой конь ударами копыт
Меня собьет и сердце раздробит».

Навфал и Кайс — теперь они друзья,
Соединила их одна стезя.

В общенье доверительном своем
Они согласно зажили вдвоем.

Свидания предчувствуя канун,
Разумным и счастливым стал Меджнун.

О, ты в разлуке от тоски ослаб —
Благая весть тебя спасти могла б.

И пусть напрасно ожидаешь ты —
Нет ничего чудеснее мечты.

ГЛАВА XXII

О том, как Навфал отправил сватов к отцу Лейли, требуя, чтобы тот выдал свою дочь за Меджнуна, и, оскорбленный отказом, Навфал двинул свое войско на племя Лейли, но, по велению судьбы, силы их оказались равными.

Тот, кто пустыню бедствий посещал,
Свое повествованье продолжал.

Два существа, сроднившихся во всем,
В шатре Навфала стали жить вдвоем.

Стремясь исполнить дружеский обет,
Навфал созвал старейшин на совет.

И мудрецы, собравшись, помогли
Посланье изложить отцу Лейли:

«Ты, оседлавший счастья скакуна,
Тебе судьба людей подчинена.

О славном Кайсе говорить хотим,
Достоинства его хвалить хотим.

На редкость он застенчив и стыдлив,
Винить его нельзя, что, всё забыв,

Любовью чистой любит он Лейли.
Мечты его в пустыню завели, —

Он сам себя от жизни отлучил
И прозвище Меджнуна получил.

Ты создал школу, лучшую из школ.
Всех сверстников, учась, он превзошел.

Такого прилежанья нет ни в ком —
Гордился ты своим учеником.

Влюбленного не мучай, не томи,
Как сына богоданного прими.

Соединенный с дочерью твоей,
Родных он станет ближе сыновей.

Но ты от милосердия далек,
Советом нашим добрым пренебрег.

Оставил жить его в плену скорбей,
Скитаться среди выжженных степей.

Так в чем же проявленье доброты?
Бесчеловечно поступаешь ты.

Но за упреки нас не обессудь,
То, что прошло, обратно не вернуть.

Я счастлив тем, что юноша у нас,
Живет со мной, как друг и сын, сейчас.

Приветлив он и больше не угрюм,
Болезнь ушла, стал снова светел ум.

Соединеньем любящих сердец
Мучениям положим мы конец.

Для свадьбы их, обычаям верны,
Не пожалеем собственной казны.

Соединим жемчужину и лал,
Чтоб твой венец как солнце засверкал.

Знай, подобру прошу тебя сейчас, —
Насилием ответчу на отказ!»

Отправились послы к отцу Лейли,
С собой подарков захватив кули.

Не говоря послам ни «да», ни «нет»,
Отец решил созвать большой совет.

На видном месте усадив послов,
Родитель был надменен и суров.

Не глядя на сидящих пред собой,
Он произнес: «Начертано судьбой,

Так с древних пор по днесь устроен мир:
Луну Фархара избирал кумир.

Все ищут пару для себя под стать —
Закон извечный нам не изменять!

В скрижалях начертал небесный рок —
Другому предназначен мой цветок.

Пускай узнает дерзостный Навфал —
Напрасно сватов он ко мне прислал.

В его письме двоякий смысл сокрыт:
Сперва он льстит мне, а потом грозит.

Нам подношенья ваши не нужны,
Угрозы, поношенья не страшны.

Пусть вождь узнает: юная луна
Уже давно с другим обручена.

Навфал забудет пусть про сватовство,
И мы простим послание его.

Но если он не внемлет нам, то впредь
Не стану домогательства терпеть.

Когда войну захочет он начать,
Мы за себя сумеем постоять.

Навфал мне оскорбление нанес —
Хвастливых не боимся мы угроз.

И если вздумал он начать войну,
Я выступить в поход не премину!»

Речь он закончил, отпустив послов,
Сказав: «Ступайте, мой ответ таков!»

Вернулись сваты, поспешив принести
Навфалу огорчительную весть.

Он был отказом дерзким уязвлен,
Но больше за Меджнуна огорчен.

Предвидел вождь, что так произойдет,
И снаряжать стал воинов в поход.

Чтоб обещанье выполнить сполна,
Соседние призвал он племена.

Был из конюшни выведен скакун,
В подарок получил его Меджнун.

Вручил он также другу своему
Меч исфаганский, панцирь и чалму.

Но у того перед глазами мрак,
Не различает — рядом друг иль враг.

Он скачет на горячем скакуне
Как будто бы незрячий, в полусне.

А воины, сражения сыны,
В недобром нетерпенье ждут войны.

Навфал обижен, он лелеет месть,
Он отстоит в бою Меджнуна честь!

Отец Лейли, не дрогнув, в свой черед
В военный снаряжается поход.

Удар он жаждет первым нанести,
С лица земли противника смести.

Война, война — страшнее нет беды!
Наизготове воинов ряды.

Громовый клич прошел во все концы.
Их небо поощряет: «Молодцы!»

Воитель каждый — опьяненный нар,
Кровопролитья чующий угар.

Смерть не пугает, пусть она близка!
Нетерпеливо замерли войска.

И вдруг вперед рванулся первый ряд —
Бойцы друг друга, злобствуя, разят.

Заржали кони, топчут зелень трав,
Копытом милосердие поправ.

Рой стрел летучих, свист над головой,
Как будто дождь из тучи проливной.

Верблюды кружат, потерявши ум,
Как будто караван застиг самум.

А древки копий, грудь пронзив, дрожат, —
Так змеи выются, если их мозжат.

Меч жаждет жертву обрести скорей,
Он рубит шею, смерти брадобрей.

И войны литую сталь меча
На головы обрушили сплеча.

Казалась птицей каждая стрела,
Стремясь вонзиться, кровь она пила

И настигала всюду и везде,
Подобно адом посланной звезде.

Кольчугу, сколь бы крепкой ни была,
Пронзал кинжал, как тонкий шелк игла.

Не насыщаясь кровью ни на миг,
Клинок кровавый высунул язык.

Удар наносит тяжкий булава —
И наземь покатилась голова.

Ни мысли ей, ни чувства не нужны,
Она всего лишь для клинка ножны.

Подобно тучам двигались полки,
Сверкали занесенные клинки.

Шли эти тучи, бедствие суля,
И содрогалась в ужасе земля,

Носились кони с быстротой комет,
Крутящийся за ними таял след.

Сноп молний вылетал из-под копыт,
Победы близость душу веселит.

Навфал презрением к смерти полон там,
Как в битву снарядившийся Рустам.

Араб, презрев смирения закон,
Желанием возмездья раскален.

От искорки пожар горит такой,
Что пламя мести не залить рекой.

Ожесточились грозные войска,
В разгаре бой, победа не близка.

Войск у Навфала больше, он сильней,
И каждый воин опытней и злей.

Противник понял — трудно победить,
Придется перемирия просить.

Урона больше людям не чиня,
Бой постепенно стих к исходу дня.

И, не скрывая радости, Навфал
Свои войска на отдых отозвал.

На землю ночь свою спустила рать,
И звезды стали лагерь охранять.

Китайский хан дневной покинул трон,
И тьма заполонила небосклон.

«Что будет дальше, чем решится спор?» —
Гадает у шатров ночной дозор.

О страж любви! Услышь мой долгий стон,
Я воинством печали полонен.

Вели подать вина, чтоб, страх презрев,
Я мчался в битву, шлема не надев.

ГЛАВА XXIII

О том, как отец Лейли понял, что война им проиграна; чтобы избежать позора поражения, он решил убить свою дочь. Меджнун увидел это в вещем сне и упросил Навфала отозвать свое войско.

Поэт, чья речь острее, чем кинжал,
Как конский повод свой калам держал.

Когда войска устроили привал —
Заснули все, один Навфал не спал.

Он жаждал продолжения войны:
«Противники разбиты быть должны!»

Предвидя поражение наперед,
Отец Лейли искал разумный ход.

Созвав старейшин родственных племен,
Советоваться с ними начал он.

И каждый столько произнес речей,
Чтоб их понять, не хватит ста ночей!

Но, потеряв терпенье под конец,
Прервал их рассердившийся отец:

«Не дай аллах, Навфал, лелея мечь,
Отнимет у меня семью и честь.

Эмиром став захваченной земли,
Наложницей он сделает Лейли

И этим обесславит древний род,
Не выдержит позора наш народ.

Сквозь землю провалюсь я от стыда
Иль родину оставлю навсегда.

Тот жалкий трус, чей дух в груди ослаб,
Не сможет средь арабов жить араб!

Пока беда на землю не пришла,
Я уничтожу сам причину зла.

Из-за Лейли у нас идет война,
Во всем виновна юная луна.

А если так, я отвращу беду —
Дочь на рассвете в лагерь приведу.

Игла стрелы одежду ей сошьет,
Кровь словно хну двуострый меч прольет.

Застынет смерть в изогнутых бровях,
Стан молодой земной засыплет прах.

И пусть луноподобен юный лик,
Пускай она души моей цветник,

Пусть вихрь несчастья лунный свет затмит,
Он, ледящий, сад мой разорит, —

Лейли не станет — страшно произнесть!..
Еще ужасней нам утратить честь».

Он кончил речь с отчаяньем глухим —
И все, кто слушал, согласился с ним.

* * *

А между тем в своем шатре Навфал
Желанную победу предвкушал.

А на Меджнуна глянуть было жаль —
Сменила радость острая печаль.

Его глаза сияли и цвели,
Предчувствуя свидание с Лейли.

Но омрачался болью звездный взор
От мысли, что война несет разор.

Страшна влюбленность слабостью своею,
Опасно гибнуть в кладезе страстей.

Теряя сердце, он, впадая в грусть,
Любимой облик помнил наизусть.

Во сне он видит, что издалека
Идет Лейли, одетая в шелка.

Стройнее пальмы, утра — розовой,
Затмила солнце прелестью своей.

Но слезы окропляют нежность щек,
Как будто в сердце спрятан родничок.

Она — в степи расцвеченной тюльпан,
Нет, не тюльпан — доверчивый джейран.

Жемчужина в расцвете красоты,
Не жемчуг, а блистанье доброты.

Полуприкрыты кроткие глаза,
А в них алмазом светится слеза.

Так в ночь разлуки ясный свет свечи
Благословляет путника в ночи.

Она — цветок очнувшейся зари,
Росинки слез скрывающий внутри.

Вдруг ливнем хлынув, слезы потекли —
О чем так убивается Лейли?

И тихо, чтоб никто внимать не мог,
Ее уста раскрыл легчайший вздох.

И, стан свой преклоняя до земли,
С упреком подняла свой взор Лейли.

И юношу безгрешно обняла,
Доверчиво руками обвила.

Шепнув чуть слышно: «Мой желанный друг,
Нет, нет, мой вечный богоданный друг!

Отец мой гневный, вся его родня
Из-за любви к тебе убьют меня.

Он на заре, решителен, жесток,
Моею кровью окропит песок.

Чтоб солнца жизни не увидел взгляд,
Чтоб кровь моя зарделась, как закат,

Он солнце красной обагрит рукой,
И под землей я обрету покой.

Но не жалею жизни я ничуть,
Меня любовь вела в последний путь.

Моление услышал всеильный рок —
Идут мгновенья, час мой недалек.

Нам было счастье высшее дано.
Любимой мне погибнуть суждено.

Я ухожу дорогой неземной,
Прощай навек! Живи, любимый мой!»

Тут слезы звездный взор заволокли,
И облаком истаяла Лейли.

«Ах!» — простонал Меджнун, сгоняя сон...
Был спящий лагерь воплем пробужден.

И воины вскочили второпях,
Потусторонний ощущая страх.

Быстрее, чем небесный метеор,
Меджнун к Навфалу бросился в шатер.

Припав к плечу, он, плача, возгласил:
«О ты, который в битве победил,

Аллаха ради, спрячь свой меч в ножны —
Оставь вражду, не продолжай войны!

Не на врагов ты поднял меч, поверь,
Меня ты можешь им рассечь теперь.

Молю тебя, сломай возмездья лук.
Меня своей стрелой сражаешь, друг.

Я заклинаю, именем любви:
Кончай с войной и войско отзови!»

Навфал был страстной речью удивлен,
Противоречье в ней увидел он.

«Меджнун, должно быть, вновь утратил ум!»
Узнав про сон, воитель стал угрюм,

Но про себя размыслил он: «Представь,
Вдруг сон Меджнуна претворится в явь!

Ведь юноша душой и сердцем чист,
Зерцало он, где правды свет лучист».

* * *

Когда аравитянка-ночь пришла,
Посеяв в небе звезды без числа,

И в синеве, заполнившей простор,
Серебряной луны возник шатер,

Сон обсудил взволнованный народ:
«Уйдем домой, не то Лейли умрет!»

И порешил Навфал кончать с войной,
Рать распустив, вернуться в край родной.

Меджнун, во власти тягостного сна,
В пустыню вновь направил скакуна.

О ты, достойный тысячи похвал,
Ты с дружеским участием мне внимал.

Забудь вражду, услышь мою мольбу:
Даруй свободу пленному рабу!

ГЛАВА XXIV

О том, как Меджнун, покинув Навфала, удалился в пустыню и там встретил Зейда. Выслушав его печальный рассказ, Меджнун отдал ему всё, что имел, и упроясил его поехать в край, где обитало племя Лейли.

Тот, кто искусен в построенье фраз,
Так продолжал свой искренний рассказ.

Когда войска Навфала отошли,
Решили соплеменники Лейли:

«Ох, воинская хитрость велика —
В засаде враг таит свои войска!

Навфал желает нас застать врасплох...»
Всё племя охватил переполох.

«Мы разгадали вовремя обман!...»
Был снаряжен поспешно караван —

И, все пожитки увязав в тюки,
Отец Лейли откочевал в пески.

Остановив в пустыне караван,
В оазисе раскинул новый стан.

А тот, который близок к счастью был,
Вновь бесприютно по степи бродил.

Свеча надежды вспыхнула, светла,
Но, разгораясь, дом сожгла дотла.

Конь упованья совершил скачок,
И сброшен был неопытный седок.

Цветением роз был полон вешний сад,
Но боль таил пьянящий аромат.

К пустыне мертвой, в марево песка,
Меджнуна снова повлекла тоска.

Внезапно путник вырос перед ним
И от испуга замер, недвижим.

Оборванный, он был обличьем дик,
И жалостью к нему Меджнун проник.

Сочувственно он нищего спросил:
«Кто ты, бредущий из последних сил?»

Отчаянье сквозит в твоих чертах,
За что, скажи, казнит тебя аллах?»

Из глаз скитальца слезы потекли,
Он отвечал: «О юноша, внимли!»

Знай, пред тобой судьбы злосчастный раб —
До нитки обворованный араб.

Нуждою беспросветною гоним,
Питаюсь подаянием одним.

Шатер стоял мой близ шатра Лейли,
В спокойствии там дни мои текли.

В большой семье, любовью обогрет,
Носил я имя Зейда с малых лет.

Когда свирепый, словно барс, Навфал
Безумному Меджнуну другом стал

И, чтоб пленить Лейли любой ценой,
На наше племя двинулся войной,

Вдруг войско он внезапно отозвал, —
Нам стало ясно, что хитрит Навфал.

Уловку вражью мы понять смогли:
«Нас разгромив, захватят в плен Лейли!»

Решили нападения мы не ждать,
А загодя в пески откочевать.

Пока владычил полумночный мрак,
Поспешно собираться начал всяк.

А я, устав, немного задремал.
Очнувшись — вижу: от своих отстал.

Где племя скрылось? Ночью не найти,
И в бездорожье сбился я с пути.

Когда восход затеплился чуть-чуть,
Два всадника мне преградили путь.

Навфал, и впрямь покончивший с войной,
Их на верблюдах отпустил домой.

Куда бежать? Кругом один песок...
За пазухой хранил я кошелек,

Два-три дирхема — всё что было в нем.
Разбойники, напавшие вдвоем,

Отняли их, «Где спрятал клад?», крича.
Свистя, взметнулась надо мной камча...

Натешились злодеи как могли,
Но ни дирхема больше не нашли.

Прочь поскакали, бить меня устав,
А я побрел в пустыне, еле встав.

О юноша, ты с виду не из тех,
Кто на душу берет разбоя грех.

Нет у меня в кармане ни гроша,
Всё достоянье — нищая душа.

Иного нет богатства у меня!»
Меджнун мгновенно соскочил с коня.

«Мы все страдаем, друг, из-за потери!
Твоею жертвой стану я теперь.

Вернул бы всё тебе, что мог, сполна, —
Поверь, на мне одном лежит вина.

Навфала понапрасну все корят —
Меджнун в твоих злосчастьях виноват.

Знай, я — Меджнун, несчастнейший из всех,
Убить меня не посчитай за грех.

Мечом своим бестрепетно рази,
Разбей мне сердце, раны наноси!

Спасения от совести ищу,
Казни, убей — я всё тебе прощу.

Но если, содрогнувшись, может быть,
Меня ты пожалеешь погубить,

Терпя нужду и в деньгах и в коне,
Всё забирай, что только есть при мне!»

Промолвив так, он снял с себя что мог
И положил пред Зейдом на песок.

Плащ и кольчугу быстро скинув с плеч,
Вручил ему колчан и острый меч,

Потом пред Зейдом наземь он упал,
Прося прощенья, ноги целовал,

В порыве милосердия благом,
Коня ему он отдал под седлом,

Моля: «О властелин моей души,
Теперь к Лейли прекрасной поспеши.

Ей передай о бедном сердце весть,
Всё опиши, что ты увидел здесь.

Мол, угрызеньем совести томим,
Меджнун в пустыне бродит нелюдим,

По-прежнему тоскуя и любя,
Он не похож на самого себя.

Словами муку передать нельзя,
Такой беде не сострадать нельзя.

Ты, горести изведавший вполне,
В прошенье слезном не откажешь мне.

Ищи откочевавших по следам
И, разыскав родных, останься там.

И на пороге у шатра Лейли
Лежать останься в прахе и пыли.

На тот порог главою припади,
Молящий взор на миг не отводи

И тело в прах бесплотный преврати.
Ей душу в благодарность посвети.

А если жизни жаль тебе своей,
Моей душой и сердцем завладей.

Ты душу на пороге растопчи,
А сердце кинь голодным псам в ночи!»

Тут он замолк, издав щемящий стон...
Зейд тихо слушал, речью потрясен.

Всем сердцем он молениям скорбным внял
И на колени пред Меджнуном стал,

Произнеся: «Ты истинно велик,
Возвышенной любви ты смысл постиг.

С рассветною зарей сравню Лейли,
Нет, не с зарей, а с солнцем всей земли,

Сияющим под шелком чистоты, —
Вершины счастья с ней достоин ты!

Любя тебя, страдая свыше мер,
Она являет верности пример.

Лишь о тебе ее уста твердят,
Мечтою о тебе наполнен взгляд.

Всё передам, что слышал. От души
Обрадую я сердце госпожи.

Весть о тебе всего сейчас ценней,
Немедленно спешить я должен к ней!

Ты в щедрости отдал мне скакуна,
Одежду и оружие сполна.

За эту новость, думается мне,
Лейли вознаградит меня вдвойне.

Дословно передам я твой наказ
И привезу ответ, коль даст приказ.

Не может ничего достойней быть,
Чем любящих сердца соединить».

Меджнун промолвил: «Слава небесам!
Твои слова — целительный бальзам.

Разлукою мучительно томим,
Я речь утратил, сделался немым.

Но ты ко мне участие проявил,
Мне душу в одночасье оживил.

Не погнушался тем, что я убог.
Теперь ступай, с тобой да будет бог!»

На скакуне, спеша во весь опор,
Помчался Зейд как будто метеор

В тот край, где след Лейли исчез в песках...
Меджнун побрел на слабнувших ногах,

Надеялся он место отыскать,
Откуда род успел откочевать.

Туда, где прежде цвел шатер Лейли,
Где раньше жили люди и ушли.

О ветер из обители любви,
Сколь вздохи упоительны твои.

Я чуть не умер, стоя на ветру.
Пошли благую весть, иль я умру!

ГЛАВА XXV

О том, как солнце, встав в созвездии Сартан, беспощадно сжигало всё живое; раскаленный воздух сгущался в расселинах скал. Меджнун пылал таким же нестерпимым огнем и, как огненный вихрь пустыни, устремился в край, где некогда было становье племени Лейли. Там он встретил страдавшего чесоткой пса, и собака приласкалась к нему. Он обратился к ней с мольбой и ушел от удивленных людей в пустыню, где обитали олени.

Хочу, чтоб тот, кому талант был дан,
Играл словами, как игрок в човган.

Когда Меджнун в песках бесплодных брел,
Пылал вокруг солнца знойный ореол.

На редкость жарким выдался таммуз,
Вступило солнце с засухой в союз.

Зной достигал до глубины земли,
Горячий, как дыхание Лейли.

Жар нестерпимо всё живое жег,
Как вздох Меджнуна мир спалить он мог.

А тот бежал, отчаяньем влеком,
Бежал и ноги обжигал песком.

Жару умерить не сумела ночь,
И звездам в небе сделалось невмочь.

Они, расплавясь, в тень земли сошли,
Но спрятаться в прохладу не смогли.

Был небосклон такой жарой объят,
Что углем раскаленным тлел закат.

Казались горы в дымке красной мглы
Огромной грудой гаснущей золы.

Речную воду пил свирепый жар,
Над гладью плыл, кружась, горячий пар.

Хотела утка броситься в поток,
Но лапку обварил ей кипяток.

И стала лапа красного красней,
И перепонки выросли на ней.

Луч солнца, уподобившись огню,
Спалил пшеницу в поле на корню.

И зерна запекались в борозде,
Как будто на большой сковороде.

И куропатки корм себе нашли —
Горячее зерно клюют в пыли.

Паук не смог тот лютый зной терпеть —
Как в серый кокон замотался в сеть.

Собак распахнут зев — так пить хотят,
Как рыжий лев, свирепствует Асад.

Червяк хитер — ему не страшен зной:
Запрятался он в персик наливной.

Но в беспощадных солнечных лучах
Плоды засохли прямо на ветвях.

Там, где была речная быстрина,
Растрескалась сухая глина дна.

По той земле, горячей, как чугун,
Истерзанный разлукой брел Меджнун.

Стопы его внезапно привели
Туда, где жил недавно род Лейли.

Он обошел становища следы,
Не помышляя о глотке воды.

В беспамятстве, то плача, то смеясь,
То наземь упадая, то кружась,

Под небом, тускло-серым от жары,
Порой ему мерещились шатры.

Приметил вдруг его незрячий взор
То место, где Лейли стоял шатер.

Воспоминанье вспыхнуло огнем,
Больной души воспламеняя дом.

Горело тело в солнечном огне,
Стучало сердце глухо в глубине.

Вдруг замерло оно на миг в груди:
«Здесь был шатер Лейли, о, погляди!

Где завивает ветер легкий прах,
Душой шатра недавно цвел очаг».

И, угадав следы любимых ног,
Он нестерпимый ощутил ожог.

Боль грудь сдавила, раны вороша,
И заметалась пленная душа.

И он, представив мысленно шатер,
К нему объятья слезные простер.

В поклоне низком наземь он упал
И сор с земли ресницами сметал.

Сухая глина стала, увлажняясь,
Для воспаленных глаз нужней, чем мазь.

Он влез в танур, в заброшенную печь,
Как будто вздохом мог его разжечь.

Обитель зренья одевая тьмой,
Золою веки смазал, как сурьмой.

В покинутой конюшне рос бурьян,
Там постоял он, желтый, как саман.

Зерно в закуте отыскав пустом,
Он взял его, чтоб посадить потом, —

Пусть из него взойдет любви росток! . .
Прижал к губам кошмы забытый клок,

Хозяином оставленный потник. . .
Внезапно старый пес пред ним возник.

Бродячий пес, в чесотке, в лишаях,
Внушал и отвращение, и страх.

В собачьих жилах капли крови нет,
Обтянут кожей сгорбленный скелет.

Шерстинки, чуть прикрывшие мослы,
Для шелудивой кожи тяжелы.

Вся жизнь его — сплошной, должно быть, пост,
Не лаает он — поднять не в силах хвост.

Пес щерился, истерзанный судьбой,
Так, словно бы смеялся над собой.

Глаза запали в глубину орбит,
Казалось, пса вид собственный стыдит.

И голодом и жаждою томим,
Пес скрючился, подобно букве «мим».

Гноятся раны, в них кишит кишмя
Червей бесшумных жадная семья.

И шкура стала вроде решета —
Собачья жизнь, похоже, прожита!

Бедняк пытался раны зализать,
Но кровь и гной их полнили опять.

Столь яростно работал языком,
Как будто жаждал счет свести с врагом.

А воронье, оставя небеса,
Добычею своей считало пса.

Рой мух согнать напрасно тщится он,
Не может защититься от ворон.

Меджнун, увидев, как страдает пес,
Слова увещеванья произнес:

«О вороны, зловещие на вид,
Пусть ваша стая на меня слетит.

Подобьем станьте черного венца,
Умилосердьте алчные сердца.

В незримых ранах тех, что разум жгут,
Я невозбранный вам дарю приют.

Гляди, о стая, дышит грудь с трудом,
Ее, слетая, сделайте гнездом.

Я — ваша пища, немощь во плоти.
Нет, вам жилища лучше не найти!

Терзайте тело, выключьте глаза,
Не добивайте, не терзайте пса.

Я хуже пса, бездомный и больной,
Вершите тризну, насыщайтесь мной!»

Но понял он, что доводы слабы
И не помогут просьбы и мольбы.

И так ужасно крикнул он тогда,
Что воронье умчалось без следа.

Оставшись с бедным псом наедине,
Меджнун его погладил по спине.

В молящие и робкие глаза
Он целовал измученного пса.

И у собаки вычистил больной
Скопившийся в зудящих ранах гной.

Без отвращения, ласково склонясь,
Своим плащом отер и кровь и грязь.

Увидел он, как раны глубоки, —
Свою рубаху изорвал в клоки,

И, чтобы кровью бедный не истек,
Перевязал его Меджнун, как мог.

Не в силах сам кровавых слез сдержать,
Запекшихся, как красная печать.

И, обласкав и успокоив пса,
Сев рядом, причитать он принялся:

«О ты, кто был для дружбы сотворен,
Терзаний путь тебе определен.

Ты был послушен, ты с детьми играл
И добродушьем взрослых умилял.

И чутче в мире не было ушей,
Один ты стоил сотни сторожей.

Когда ночами совершал дозор,
То даже серый волк, клыкастый вор,
Тебя завидя, прятался в тени,
Одни глаза светились, как огни.
Бесстрашный барс, когтистый житель скал,
Дрожа перед тобой, пятнистым стал.
Клыками тигра ты полосовал —
И полосатым тигр навеки стал.
А леопард, увидя твой прыжок,
От зависти стал желтым, как песок.
Огромные следы собачьих пят
Казались больше сдвоенных Плеяд.
Ты на охоте мчался притче всех,
Оленья кровь кропила хною мех.
Был у тебя атласный поводок,
Чтоб ты не отходил от царских ног.
Твой рык был грозен, словно горный гром,
Так тигр ярится в логове своем.
А ныне ты и нищий, и в беде,
Приюта и жилища нет нигде.
Гнушаются тобою люди, пусть!
Твоим доверьем я один горжусь.
Тебя счастливец в стае нарекли,
Ведь ты стерег шатер самой Лейли!
Ночь напролет, до самого утра,
Ты не сводил бессонных глаз с шатра.
Умильно лапаясь, полз к Лейли ползком
И наслаждался лакомым куском.
И госпожа, за преданность любя,
Надела ожерелье на тебя.
Я жертвою твоею стать готов,
Подставить грудь под щелканье клыков.

О небо милосердное, внемли,
Творение больное исцели!

Стань, добрый пес, здоров и весел вновь,
Себя на службу прежнюю готовь.

Счастливым будь, как был до этих пор,
А если попадешь к Лейли в шатер,

Ко мне враждебным в милости не будь,
Страдания мои не позабудь!

Когда бы душу ты мою извлек
И положил к любимой на порог!

И передал поклон друзьям своим,
Всем верным псам ее сторожевым.

И вспомнил обо мне, глодая кость,
Что обратился я, страдая, в кость,

Столь исхудал, едва ходить могу.
А если проберешься к очагу

И родичи тебя ногой не пнут,
«Эй, прочь ступай!» — в сердцах не заорут,

Ты сможешь снова, в сумраке ночном,
Спать чутким сном, свернувшись калачом.

Ляг на пороге, чтоб святой порог
Переступить никто чужой не мог.

И, благодарный, преданность тая,
Прижмись к порогу, будто это я.

Чтоб ни один на свете не узнал,
Что это я порог облобызал!»

Глаза целуя псу, Меджнун изрек:
«В слезах лобзай следы точеных ног.

Мои глаза, слепые от обид,
Я умоляю, вырви из орбит.

Мои зеницы — зеркало души, —
Их на ее дороге положи!»

Так вдохновенно произнес он речь,
Что странников прохожих смог привлечь.

Тот путник, что Меджнуна узнавал,
Сочувствуя безумному, вздыхал.

А не узнавший, замедляя шаг,
Предполагал, что перед ним чудак.

И лишь один, спознавшийся с бедой,
Спросил его: «Страдалец молодой,

Тебя как уголь жгут страстей огни,
Ты саламандре огненной сродни.

В огне горишь, тебя рукой не тронь,
Вся суть твоя — пылающий огонь.

Он наполняет каждый твой сосуд,
Тебя за это ангелом зовут.

Но объясни мне, что за чудеса,
Что общего у ангела и пса?

Дом, где собака псиною смердит,
Пречистый дух вовек не посетит.

В подобной дружбе скрыта срамота —
Несовместимы грязь и чистота!»

Меджнун ответил, выслушав его:
«Ты о любви не знаешь ничего.

Не я, а ты скорей бесплотный дух,
Огонь любви, не вспыхнув, в нем потух.

Чем я, скажи, на ангела похож?
Мое лицо шайтана бросит в дрожь.

Любовный пламень так спалил меня,
Что черен стал я, словно головня.

Вглядись, прохожий: я сожжен дотла.
Я — грудa пепла, легкая зола.

Зола необходима, как бальзам,
Не только людям, но и бедным псам.

Израженной собаке пепел тот,
Возможно, облегченье принесет.

Ты, от золы больного пса прогнав,
Жестокосерден будешь и не прав.

Нет, не собакой я на свет рожден,
Но преданностью той же наделен.

Да, я собака, я позор людской,
Я костью стал, изглоданной тоской.

Мне также раны истерзали плоть,
Страдание души не побороть.

Меня поймет, кто боль переносил,
Кто помощи у лекаря просил.

Кто за одной повязки белый пласт
Целителю-врачу всю жизнь отдаст.

И если даже я, по волшебству,
Еще сто тысяч жизней проживу,

То их, без колебанья, до одной,
У ног собаки положу больной!»

Таким он красноречьем обуян,
Что мозг увечный вновь одел туман.

Все мысли перепутались опять,
Зовя его в степную даль бежать.

И, напоследок пса поцеловав,
Он поспешил уйти, велению вняв.

Бродягою он сделался степным,
И звери стали следовать за ним.

* * *

Пути-дороги Зейда привели
В пустынный край, к становищу Лейли.

И тайно, под покровом тьмы ночной,
Он повстречался с юною луной.

Под пологом, укрытая от глаз,
Волнуясь, пери слушала рассказ.

Поведал он ей о влюбленном всё,
О Кайсе, страстью опаленном, всё.

Стремился Зейд подробно изложить,
Боялся даже мелочь опустить.

И слушала Лейли, боясь вздохнуть,
Кровь билась в жилах, как живая ртуть.

Стучало сердце, пламени полно,
В **глазах** от дыма сделалось темно.

И с амброй благовонной был сравним
Среди кудрей запутавшийся дым.

Как ложинов распущенных каскад,
Был дух ее в смятении разъят.

Потоки скорбных слез лила она,
И речь не сразу обрела она.

Сказав: «О мой спаситель, я — жива!
Благодарю за добрые слова.

Ты — небожитель, если смог принести
Такую утешительную весть!»

И на прощанье стала умолять,
Дар драгоценный в знак признанья взять.

«Прими, — сказала, — малость это всё,
Возьми, имея жалость, это всё!»

Ты так меня обрадовал сейчас,
Что большего достоин в сотни раз.

Не откажи мне в просьбе, я прошу,
Я письмецо безумцу напишу,

Чтоб, прочитав его, в недолгий срок
Прислал бы он ответный мне листок!»

Зейд отвечал: «Пиши, но торопись,
Проходит ночь, спеши, поторопись.

Ты любящей душой поймешь сама,
Как ждет Меджнун ответного письма!»

Тут девушки, прислужницы Лейли,
Чернильницу с каламом принесли.

И с тайнами, что вверены письму,
Зейд благородный канул вновь во тьму,

Спеша туда, где, мучимый бедой,
Изнемогал безумец молодой.

Являя нетерпение само,
Меджнун схватил желанное письмо.

К устам его трепещущим прижал
И на песок в беспамятстве упал.

Он на сухой земле лежал ничком,
Сам странно схожий с вырванным листком.

Письмо с трудом сумел он развернуть
И стал читать, душой вникая в суть.

ГЛАВА XXVI

О том, как Меджнун прочитал письмо Лейли, строчки которого могут быть сравнены с чернотой безлунной ночи, и, предвкушая радость свидания, стал сочинять ответ.

«Начну посланье именем Творца,
Сияньем озарившего сердца.

Вино любви ниспослано судьбой, —
Кто пьет его, не властен над собой.

Едва пригубив, сразу опьянен,
К безумию души приговорен.

Есть наслажденье тайное в вине,
Но терпкий яд разлуки скрыт на дне.

Противоядье дать способен нам
Свидания целительный бальзам.

Так соловей несчастьем истомлен,
Что роза рвет на части свой бутон,

Сгорел в огне беспечный мотылек,
Чтоб ярче вспыхнул свечки огонек».

Лейли слова низала — жемчуга,
Светилась мыслью каждая строка.

Она писала: «О любимый мой,
Письмо больному от души больной.

На эти строчки быстрые взгляни,
Они узору чинскому сродни.

Сама устав от горя и тревог,
Пишу тому, кто боль не превозмог.

Ты стог соломы, вспыхнувший в огне,
Ты одинок — знакомо это мне.

Любви ты жаждал, ум мечтой пьяня,
Не смея даже глянуть на меня.

Терпя гоненья бедственной судьбы,
Шел по камням, не свернув с тропы.

Когда костер любви тебя спалил,
Его ты с розой пышущей сравнил.

Шипами скорби занозив стопы,
Восславил ты колючие шипы.

Безумья цепи на твоих руках,
Хвост бешеного зверя — твой кушак.

Как ты горюешь, всматриваясь вдаль?
С кого взыскуешь, претерпев печаль?

Кто вынимает, отвечай скорей,
Былинки из запутанных кудрей?

Кто с лаской проведет по волосам?
Кто ароматный поднесет бальзам?

Когда полдневный жар в степи палящ,
Кто отряхнет твой пропыленный плащ?

В тебя метнуло горе камень злой,
Кто рану оросит своей слезой?

Ты занозишь ступню, — склоняясь ниц,
Кто извлечет шипы иглой ресниц?

Огонь разлуки всё сильнее жжет,
Кто пламень усмирит и разметет?

Ты упадешь без сил, любимый мой,
Кем будешь поднят с нежностью немой?

Ты по пустыне бродишь день за днем,
Скажи, с чьей тенью ты теперь вдвоем?

Иль над тобою веет в знойный день
Совиных крыльев траурная тень?

Не страшно ль одному тебе в ночи,
Когда вдруг зычно закричат сычи?

И не похож ли на закат восход,
Когда тебе разлука душу рвет?

Один упав, без сил, в пустынной тьме,
Ты на песке лежишь, как на кошме.

И только звери рядом в час ночной,
И волчьи очи светятся свечой.

Напиться хочешь — огненный тюльпан
Взамен воды подносит кровь из ран.

Москиты вьются над твоим челом,
И кружит смерч в неистовстве слепом.

О, если б небо, где луна цветет,
Избавить нас решило от невзгод,

Чтоб я была с тобой в ночи и днем,
Не разлучаясь ни на миг, вдвоем.

Во всей вселенной до небытия,
Мой несравненный, только ты и я!

Чтоб наша встреча длилась бы всегда,
До самой смерти, долгие года,

Чтоб не было ни горя, ни разлук,
Чтоб мы не разжимали нежных рук,

Чтоб на щеке пылающей моей
Остался робкий след твоих бровей,

Чтоб не был мир безрадостен и пуст
Без сладости твоих любимых уст,

Чтоб не робели мы перед судьбой,
Чтоб я как тень скользила за тобой.

Как дальше быть? Ни в чем мы не вольны —
С единственной мечтой разлучены.

Пусть беспределен в горе ты своим,
Но вам, мужчинам, — легче в мире сем.

Ведь для мужей запретной нет тропы —
Помехой разве можно счесть шипы?

Подол движенья ваши не сковал,
Силками унижения не стал.

Бессильны стали ноги у меня,
Переломали ноги у меня.

Мне говорят: «Ни сесть, ни встать не смей!»
Со мною звон невидимых цепей.

Мне дом родной — бесправия тюрьма,
Я честь и стыд не преступлю сама.

Мужей собранье красит кубков звон,
Благопристойность — украшенье жен.

И что ни день, то тягостней запрет, —
И преступить его надежды нет.

На горе роза расцвела не в срок —
Судьба ломает хрупкий стебелек.

Знай, я живу, страданья гнет терпя,
Он, может, тяжелей, чем у тебя!

Когда в степи безводной ты блуждал,
На нас пошел войной твой друг Навфал.

И заметались родичи в тоске,
Как будто их хлестнули по щеке.

Чтоб осуждать родные не могли,
Решил отец убить свою Лейли.

Я не боялась, я была горда,
В любви и смерти я с тобой всегда!

Я всё могла тогда перетерпеть,
Сто раз была готова умереть.

Еще такое люди говорят:
Мол, ты с Навфалом породниться рад.

На дочь его единый бросил взор —
И свадебный подписан договор.

Коль правда это, счастлив будь, мой друг!
Хотя боюсь поверить в страшный слух.

Но если нету в слухах клеветы,
Да будет так, как пожелаешь ты!

Я повстречалась как-то с ней в саду,
Увидела ее — мою беду.

Навфала дочь собою хороша,
Приветлива, нарядна и свежа.

Так поступай, как бог тебе велит,
Пусть он союз сердец благословит!

Когда ты будешь счастье с ней делить,
Мою любовь ты вспомнишь, может быть.

Молю я: милосердие прояви,
Не предавай своей былой любви!»

Письмо Лейли прочтя, Меджнун поник,
Он сделался слабее, чем тростник.

Пред Зейдом, не стыдясь невольных слез,
Он, голову склоняя, произнес:

«Целитель мой, достойный ста наград,
Твой эликсир таил змеинный яд.

Прочтя посланье, я душой скорблю —
Упрек несправедливый я терплю!»

И на листе возникла, торопясь,
Ответных строк взволнованная вязь.

Сочувствием и дружбою влеком,
Зейд возвратиться поспешил с письмом.

Стремясь его красавице вручить,
Летающий вихрь он мог опередить.

Она письмо открыла в миг один,
Там черной амброй окроплен жасмин.

И каждая прочтенная строка
Пред ней светилась, словно жемчуга.

ГЛАВА XXVII

О том, как Лейли прочитала письмо Меджнуна, где кровавые слезы заменяли чернила. Его душевные муки стали ее болью.

«Благословенья господа прошу,
От имени всех любящих пишу.

Он — сущий без начала и конца,
Любовью наполняет нам сердца.

Он кущи роз на глине возрастил,
Песок он бороной избородил.

Но, розу одаря красотой,
Он дал ей нрав жестокий и крутой.

Страдающим в разлуке суждено
Испить печали терпкое вино.

Кого-то он в огне любви спалил,
Кого-то милосердия лишил.

Бог, отрешенный от житейских дел,
Терзания влюбленным дал в удел.

Одной надежду в сердце заронил,
Другого упования лишил.

Один вдыхает свежий ветерок,
Другой в огне сгорает в тот же срок».

Ложились строки ровно, как тесьма,
В них проявлялся тонкий смысл письма:

«Пишу тебе с любовью и в тоске,
Биенье крови слышится в строке.

Твое несчастье, став бедой моей,
Двойной печалью жжет меня больней.

На мне клеймо безумья с неких пор —
Прославленного рода я позор.

О пери, всех на свете краше ты,
Луною светишь в звездной чаше ты.

Как мне молиться, с верою какой,
Чтоб мог спуститься на тебя покой?

Где отыскать слова, мой друг, ответь,
Чтоб образ твой восславить и воспеть?

Слепому не дано нетопырю
Описывать рассветную зарю.

Надменный ирис был в тщеславье пуст —
Цветущих роз он не заменит куст.

И я, должно быть, в чем-то им сродни —
Меня за скудность речи извини!

Есть красоты страна, молва гласит,
Ее красавиц — войско сторожит.

Владычица страны волшебной той,
Ты мир ошеломляешь красотой.

Тебе названья я найти не мог
В садах очарования, цветок!

Весна моя, как ждет тебя простор,
Тюльпанов алых расстелив ковер!

Шалит весенний ветер в купах роз,
Не треплет ли он шелк твоих волос?

Сама природа с нежностью своей
Чернит ли тонкий лук твоих бровей?

Глаза твои, что убивать вольны,
Неужто от тревоги вновь больны?

И родинка на щечке, всех губя,
Уж не сожжет ли самое себя?

Твой локон — гиацинта лепесток,
Скользит ли он по розовости щек?

Пот, проступая на челе твоем,
Схож ли с росой, с ее живым огнем?

Твой алый рот, пунцовый, словно лал,
От нежных слов неужто не устал?

Что шепчешь ты, едва восстав от сна,
Заботливости ласковой полна?

На тех путях, где твой сияет след,
Пылинка — я, меня ничтожней нет.

Случилось то, что начертал аллах,
Таящий тайну в вечных небесах.

Зачем он мне не выколол зрачок
И голову на части не рассек?

Зачем тебя увидел я тогда,
Мое мечтанье и моя беда?

Когда бы я провидцем мудрым был,
Я б сам свои зеницы ослепил.

Я не достоин о тебе скорбеть —
Нельзя пылинке солнце лицезреть!

Я на тебя невольный бросил взгляд.
О, неужель я в этом виноват?

Невзгоды над моею головой
Кружатся грозно тучей грозовой.

Безумцем стал я — миром пренебрег,
Скиталец — позабыл родной порог.

Брожу пустыней, удалясь от всех,
В развалинах отныне мой ночлег.

Сплю на песке, по милости судьб,
Круг солнца в небе — мой насущный хлеб.

Гор седловина — вот мое седло.
Смерч мой халат, в пустыне в нем тепло.

А слух прошел, что я в безумье лют,
Мол, даже дэвы от меня бегут.

Зверям мои повадки не страшны,
К безумцу звери жалости полны.

Измучен я, страдаю больше всех,
Недуг последний длится дольше всех.

Бесплотной тени уподоблен я,
Не человек, а ответ бытия.

Так исхудал, что мертвому под стать,
Мне паутинки даже не порвать.

Клинок разлуки раскроил мне грудь —
Нельзя без содрогания взглянуть.

А мошкара и жалит, и жужжит,
И слезы пьют из мертвенных орбит.

Всё вынесу покорно, всё стерплю
Во имя той, которую люблю.

И вот награда послана судьбой —
Послание написано тобой!

Как без него я мог дышать досель?
Твое письмо — в нем жизни вижу цель.

Но есть слова, их, к счастью, только два,
Их написав, была ты не права.

Ты о Навфале высказалась так,
Что будто бы Навфал — твой лютей враг,

Что мы вдвоем затеяли поход,
Задумав погубить твой славный род.

Аллах, аллах, спаси нас от клевет —
У ящери с драконом сходства нет!

Кто смеет комара назвать слоном,
Кто сравнивает хобот с хоботком?

А было так: Навфал — он всех добрей —
Нашел меня в пустыне среди зверей.

Оленья стадо — вот мой легион!
И состраданьем был Навфал пленен.

Он, добротой и жалостью томим,
Задумал стать заступником моим.

А я был то в уме, то не в уме,
То здраво мыслил, то блуждал во тьме.

Меня Навфал привез гостить в свой дом,
Что было дальше — ведаешь о том!

Вдруг узнаю: Навфал задумал мстить, —
Я сделал всё, чтоб зло предотвратить.

Клянусь тебе: я не хотел войны!
Послушно меч вложил Навфал в ножны.

Потом меня, я помню, утешал,
Всё о какой-то свадьбе толковал.

Что говорил, я понимал едва,
Не мог я осознать его слова.

Поверь мне, позабыл я обо всем,
Но память ожила с твоим письмом.

Кто, исповедь мою узнав, скажи,
Меня посмеет уличить во лжи?

Я столько мук терплю из-за любви,
Обидны подозренья мне твои.

Сама постигни, рассудив умом,
Кто виноват в безумии моем!

На мне лежит безумия печать —
Я за себя не вправе отвечать.

Жизнь за твое посланье положу,
Но слово справедливое скажу:

В несчастье общем нет на мне вины —
Не я зачинщик бедственной войны.

В безумии моем повинна ты,
Любимая, всему причина — ты!

Не ты ль сама, в измене обвиня,
Лукавя, правду скрыла от меня?

Ведь Ибн-Салам — боюсь о том сказать —
Твоим супругом вскоре должен стать.

А твой отец, всё взвесив на весах,
Согласье дал, прости ему аллах!

Не знаю, ты согласна или нет?
Я уповаю: этот слух — навет.

Откуда эта страшная молва,
Меня не погубившая едва?

Мне кажется, я столько перенес,
Вихрь бесноватый разум мой унес.

Я как в бреду ответ тебе пишу,
Я самых нужных слов не нахожу.

О пери рая, ангел доброты,
Безумный этот бред простишь ли ты!

За то, что уничтожен я, прости,
Бессвязность слога тоже мне прости.

Я тенью стал своей, живой едва,
Значенья лишены мои слова.

В небытие теперь пролег мой путь,
Пока живу, моей опорой будь!

Всей радостью и счастьем завладей,
При жизни я стал жертвою твоей!»

Когда Лейли вчиталась в горечь строк,
Она согнулась, как письма листок.

Припоминая все свои слова,
Постигла, как жестоко не права.

Но, сожалея о письме своем,
Она ответным счастлива письмом.

Послание, целящее от ран,
Ты дорого сердцам, как талисман!

О письмоносец! Что ты смог принести?
Всё передай, нужна любая весть.

Единым словом исцели недуг,
Коль есть письмо, отдай мне, добрый
друг!

ГЛАВА XXVIII

**О том, как отец Меджнуна, кружась как смерч в бес-
крайней пустыне, нашел своего несчастного сына, разум
которого был уподоблен беззащитному каравану, ограб-
ленному разбойниками безумия, и о том, как отец уго-
ворил Меджнуна вернуться в родительский дом.**

Кто эту книгу долго создавал,
В раздумчивой печали продолжал.

Отец безумца с горя поседел.
И, перейдя страдания предел,

И днем и ночью убивалась мать,
Не ведая, где сына отыскать.

Родитель, изнемогший от тоски,
На поиски отправился в пески.

В слезах безумца он уговорит,
Поступки безрассудные простит.

Сын, сжался над отцовской сединой,
Опомнясь, возвратится в дом родной.

И снова жизнь спокойная пойдет!
Размыслив так, он двинулся в поход.

И вскорости среди брошенных руин
Был наконец разыскан блудный сын.

Он — дух развалин, тень среди теней,
Жил, как в чертоге, в капище камней.

И если есть безумия предел,
Несчастный превзойти его сумел.

То пойман им зачем-то муравей,
То возведен из глины мавзолеей.

Он строил башни из комков сухих,
В остервененье тут же руша их.

Песком он кудри посыпал свои,
В отчаянье грыз ногти до крови.

На обветшалою крыше важно он
Так восседал, как будто это трон.

Вдруг, исщипав себя до синяков,
Жевал лохмотья грязных рукавов.

Как мрачный филин, ухал он в ночи,
Над бедной головой вились сычи

И на плечи садились, расхрабрясь,
А он счищал с их перьев кровь и грязь.

И, головой ушастою вертя,
Сова к нему ласкалась, как дитя.

Забыл он все слова, и на устах
Теснился скорбный стон: «Увы и ах!»

Не мог страдалец совладать со злом —
Бед было больше, чем волос числом.

Глаза опухли и воспалены,
Ресницы в гнойной корке не видны.

Увидя, что пред ним живой мертвец,
Окаменел от ужаса отец.

Шептал он горько: «Боже мой, что с ним?
Что с первенцем возлюбленным моим?

Нет слов таких, чтоб ужас передать,
Зачем пришлось мне это увидеть!»

Преодолев смятение и страх,
В волненье к сыну он направил шаг.

Но тот, отца как будто не узнав,
Метнулся, что-то дико закричав.

Отец, рыдая, руки протянул
И ворот свой в отчаянье рванул:

«Опомнись, сын, души частица — ты,
Отца не должен сторониться ты!»

И, окриком застигнутый врасплох,
Со вздохом сын упал у отчих ног.

В нем память сердца вспыхнула, свежа,
Родную душу встретила душа.

Сближенье их, столь слитное на вид,
Напомнило арабский алфавит.

И, оба потрясенные, они
Припоминали прожитые дни.

И наконец, не вытирая слез,
Отец, чуть успокоясь, произнес:

«О бедный мой, о трепетный мой сын,
Ты боль моя, ты — сердца властелин.

Верь, раны и страдания твои
Я разделяю в скорби и любви.

Я истекаю кровью, печень рвет
Невыносимый груз твоих невзгод.

Ведь ты мой сын, родная кровь и плоть,
Тебя послал, моленьям вняв, господь.

Чтоб ты родился, я зывал в мольбе,
И кровь твою я ощущал в себе.

Я на твое рожденье уповал,
Свое именьице нищим раздавал.

Кормил голодных, одевал нагих,
И ты родился, счастье дней моих.

Лет до пяти ты бледным был с лица,
Твоим болезням не было конца.

Ты молоко по капельке сосал,
Я б за тебя до капли кровь отдал.

Бывало так: ты занозишь ступню,
Казалось, в печень шип вошел мою.

Ты захотел учиться — в должный срок
Тебя отвел я в школу на урок

И, позабыв о собственных делах,
С заботой направлял твой каждый шаг,

Чтоб соблюдал достоинство и честь,
Чтоб знания сумел ты приобрести.

Я полагал, когда мой час придет
И бог в свою обитель призовет,

Как некогда родителей моих,
Которых нет, увы, давно в живых,

Сыновний долг исполнив до конца,
У изголовья мертвого отца

Забьешься ты, как будто мотылек,
Согнешься, как сгоревший фитилек.

Но жизнь семьи со мною не уйдет —
Сын возвеличит и прославит род.

В моих глазах померкнет свет дневной,
В твоих он вспыхнет с яркостью двойной.

Продолжишь ты деяние мое,
Умножишь достояние мое.

Мое жилище, вся моя казна
К тебе, наследник, перейдут сполна.

Чтоб вихрь не пошатнул родной шатер,
Чтоб не проник в него недобрый взор,

Чтоб я, на землю поглядев с небес,
Был счастлив тем, что род наш не исчез.

Но то, что, сын, с тобой произошло,
Последнюю надежду унесло.

Всё ближе ночь прощанья для меня,
Затмится для меня сиянье дня.

Свеча, хирея, не развеет тьму,
Твоя болезнь, мой сын, виной тому.

Душа с рыданьем покидает грудь,
Раскаивьем ты можешь жизнь вернуть.

Твой дух любовью пагубной томим, —
Неволен ты, тебя мы не виним.

Но есть конец для всех на свете дел,
И у несчастья должен быть предел.

Или влюбленных не видали мы,
Или любовь не испытали мы?

Но мы не позволяли, чтобы страсть
Над разумом брала такую власть!

Знай, не сгорит в огне пожара тот,
Кто, спохватившись, сам огонь зальет.

Тот не утонет и сумеет всплыть,
Кто по воде начнет ногами бить.

И ты, мой сын, попав к злосчастью в сеть,
Сумей свою беду преодолеть.

Так из хрустальной чаши муравей
Спасется только мудростью своей.

По божьей воле хворь вступает в дом,
Но бог шлет исцеленье нам потом.

Тебя в пучину бедствий вверг господь.
Молись, чтобы болезнь пребороть.

Пора сойти с опасного пути,
Подумай, как спасение найти.

Не сразу станет сахаром тростник,
Приобретает опыт ученик.

Коль век прожить стремится человек,
Запас терпенья пусть берет на век.

Подъем на минарет бывает крут,
Но вниз ступени легко нас сведут.

Ты достигал безумия вершин,
Остепенись, одумайся, мой сын!

Размысли обо всем, не времени,
Себя на землю твердую верни.

Вернись домой, пора, давно пора.
Не доведет упорство до добра!

Измучен я тоскою без тебя,
Не знает мать покоя без тебя.

Она страдает, возвратись скорей,
Нельзя терзать нам старых матерей!

Глядит она невидяще вокруг,
Согбенная от горя, словно лук.

Взывая: «Где ты, верблюжонок мой,
О, возвратись, молю, ребенок мой!» —

Так бьется и рыдает средь камней,
Что даже камни сострадают ей.

Седыми стали волосы ее,
Ты не узнаешь голоса ее —

Она охрипла — всё тебя зовет,
С тобой деля весь груз твоих невзгод.

Представит, что расшибся ты, упав,
И падает, сознание потеряв.

Ей без тебя на свете не житье,
Спешి последний вздох принять ее.

Пусть я ослаб, но мать совсем плоха —
Приди на помощь, не свершай греха!

Ушла надежда, смертный час грядет,
И мы покинем бранный мир вот-вот.

Вернись домой, туда, где жил досель,
Не дай чужому лечь в твою постель.

Не позволяй нам траура носить,
Дай нам, сынок, спокойно дни дожить!

Родителей убив, подумай сам,
Как ты ответишь грозным небесам».

В смятенье всё прослушав до конца,
В слезах Меджнун упал к ногам отца.

Ресницами, когда бы только мог,
Подмел бы он следы отцовских ног.

А речь его чуть внятною была:
«Отец, порог твой для меня кыбла.

Кого спасаешь ты, совет даря?
Я пеплом стал, мучительно горя.

«Терпение, покорность», — ты изрек,
Но слез поток куда-то их увлек.

От ласковости мудрых слов твоих,
Как от воды, мой пламень поутих.

Но, поучая, ты не знал о том,
Что прижигаешь мой ожог клеймом.

И я, храня безумия печать,
На речь твою не смею отвечать.

Твое веленье, о родитель мой,
Исполнить мне сыновний долг прямой.

Ты в мудрости великой знал давно,
Что в жизни всё судьбой предreshено.

Она одна свершила приговор —
Я волею судьбы терплю позор.

Я не виновен в собственной беде.
Знай, от болезни средства нет нигде.

Костер любви столь истово горит,
Что искрою весь мир испепелит.

Что делать мне, когда на мой хирман
Зигзаги молний бросил ураган?

Мне искорки хватило золотой,
Сухой соломе долго ль стать золой?

А если искрам не было числа,
Запыхает стог, сгорит дотла.

Ты мудр и стар, а я и слаб и юн,
Не Кайс перед тобою, а Меджнун.

Ты полагал, что сын твой кипарис,
А я с надзвездной выси рухнул вниз.

Стал пеплом я, и смерч меня кружит,
С песком и пылью легкий прах мой мчит.

Ты, содрогаясь пред моей бедой,
Назвал меня сгоревшею звездой.

Я все свои желанья потерял
И даже к горю безразличным стал.

Отца родного признавать не смел,
Куда не помню убежать хотел,

Чтоб жить среди зверей, оставив вас,
Не сможет человеком стать наснас.

Собак бродячих презирает всяк, —
Мечтаю жить я средь твоих собак!

Собака неподкупна и верна —
Не предаст хозяйина она.

Как пес я пресмыкаюсь пред тобой,
Пес изможденный и полуживой.

Ты можешь, сострадая, мне помочь
Или прогнать пинком безгливо прочь.

Заблудшего, отец мой, вразуми,
Каким бы я ни стал, молю, прими!

Прости за то, что сбился я с пути,
За всё, что совершил, меня прости!»

Моление кончив, бросился он тут
К камням, где верховой стоял верблюдо.

Веревку от хурджинов отвязал,
Свою он шею ловко обмотал

И, протянув отцу другой конец,
Униженно сказав: «Держи, отец!

Я — раболепный и послушный пес!»
И, на колени встав, в пыли пополз.

Сын поднят был растроганным отцом,
В станowie поспешившим с беглецом.

Вступил на путь безумья Навои.
О родина, где милости твои?

У Кайса есть отец. Я — одинок,
Оставлен мной родительский порог.

ГЛАВА XXX

О том, как отец Меджнуна с трудом уговорил сына жениться на дочери Навфала; о том, как Меджнун покинул в свадебную ночь свою невесту, и о том, как мечта двух других влюбленных увенчалась счастьем.

Нанизывает жемчуг мешшате —
И повесть как невеста в красоте.

Когда влюбленный возвратился в дом,
Рассудок снова пробудился в нем.

Беглец, сознание обретя едва,
Вновь назиданья выслушал слова.

Не поднимал смущенного лица,
Глядеть не мог в отцовские глаза.

Отчаянье и стыд мешались в нем,
В поклоне распростерся он земном.

И, голову руками обхватив,
Покорность и смиренность проявив,

Так умолял: «Отец, прости мой грех,
Защитой будь, спаси от бедствий всех!»

И, покаянной этой речи вняв,
Сказал родитель: «Если ум твой здрав,

Ты должен сам недуг преодолеть,
Как прикажу, так и поступишь впредь!

Прощенья просишь? Будешь мной прощен,
Но опасайся преступать закон,

Не нарушай обычаев семьи!»
И, успокоясь, Кайс зажил с людьми.

Благочестивый, сдержанный во всем,
С разносторонне развитым умом,

Учтивости являл он образец.
На сына глядя, счастлив был отец.

А сын молился, чтоб простил аллах,
И плакал у родителя в ногах.

В раскаянье твердя: «Я виноват,
Любому испытанью буду рад.

Не выйду из твоей я воли впредь,
Позорной смертью лучше умереть!»

Отец был этой речью умилен,
Невольно о Навфале вспомнил он:

«На счастье ваши встретились пути,
Знай, преданное друга не найти.

Ты болен был, он так тебя жалел,
Что сам от горя чуть не заболел.

И, о тебе заботясь, как родной,
На родичей Лейли пошел войной.

Чтоб ты был счастлив, сделал всё, что мог, —
С ним расплатиться твой священный долг.

Он должен быть достойно награжден,
Мое желанье — для тебя закон.

Он заслужил не дружбы, а родства, —
Есть дочка у него, гласит молва.

Все говорят: красива и умна,
В чертоге чистоты она — луна.

На ней жениться каждый бы желал,
Но всех отверг взыскательный Навфал.

Он твоего согласия только ждет.
Жена такая радость принесет.

Прощенья хочешь — к свадьбе будь готов,
Без размышленья засылай сватов!»

И сам Меджнун не мог понять тогда,
Как скованный язык промолвил: «Да!»

Родитель обнял сына своего
И родичей созвал на торжество,

Как повелел обычай и закон,
Приготовление к свадьбе начал он.

Был сам Меджнун для праздничных утех
Одет в атлас и черно-белый мех.

И свадебный, богатый караван
Направился к Навфалу, в дальний стан.

Обрадован Навфал был вестью той —
Все племена приехали на той.

Друзей и близких пригласил на пир,
Богатым блеском поразивший мир.

Воистину неслыханный размах!
И день и ночь веселье шло в шатрах.

Но свадебная полночь подошла,
Убрали слуги яства со стола.

Как дивный перл в оправе золотой,
В чертог ввели невесту под фатой.

Лик под фатою прятала она,
Как под ревнивым облаком луна.

Подобно солнцу средь померкших лун
Среди гостей прекрасен был Меджнун.

Хатиб, красноречивый, как Иса,
Господние прославив чудеса,

Незыблемость и крепость брачных уз,
Меж солнцем и луной скрепил союз.

Когда невесту дня украл закат
И мрак-жених накинул свой халат,

«Прекрасны и невеста и жених!» —
Решило небо, осеняя их.

Убранством пышным свадебный шатер
Всё превзошел, что было до сих пор.

Варился плов, шашлычный плавал дым,
Желали гости счастья молодым:

«Луну Юпитер получает в дар,
Купцу достался сладостный товар!»

Навфал, спустив завесу у шатра,
Велел гостям, чтоб спали до утра.

Все разошлись, в полуночной тиши
Вокруг шатра не стало ни души.

За винной чашей лишь один Навфал
В тревоге смутной очи не смыкал.

Предчувствием неведомым влеком,
К шатру в ночи подкрался он тайком.

Чуть приподняв расшитую кошму,
Он через шелку глянул в полутьму.

Что увидал, то передать невмочь:
Меджнуну в ноги поклонилась дочь,
Воскликнув так: «Во всей вселенной ты —
Единственный хранитель чистоты.
Свет благородства на твоём челе,
Ты всех добрей и лучше на земле.
Я убедилась в том, что знают все, —
Ты совершенен в нравственной красе!
И слухи до меня давно дошли,
Что терпишь муки ты из-за Лейли
И что никто другой не нужен ей, —
Нет чувства в мире выше и святей.
Зачем, ответь, гасить огонь благой,
К чему тебе жениться на другой?
Из-за того, чтоб ублажить отцов,
Ты на себя ярмо надеть готов.
Не ты ль страны любви великий шах?
Ты знаешь пламень, пышущий в сердцах.
Поняв меня, участие прояви —
Я связана с другим тесьмой любви.
Мы с ним давно горим одним огнем,
Но близкие не ведают о том.
Не знаю я, как тайну сохранить,
Но друг без друга мы не можем жить.
Подумай сам, что он переживет,
Когда о нашей свадьбе весть дойдет!
Последней ночью станет эта ночь!
Что делать мне, как бедному помочь?
Ты полон сам любовью неземной,
Будь милосерден, сжался надо мной!
Встань и покинь наш свадебный шатер,
Один прими насмешки и позор.

Осуду, брань — всё на себя прими,
Не осрами меня перед людьми.

Избавь меня, молю, от клеветы,
Ведь в благородстве безграничен ты.

Великую мне милость окажи
И доброту и смелость докажи.

Аллах всесильный не оставит вас,
Твою Лейли, души твоей алмаз,

Он защитит, от бедствий охранит,
Навеки вас двоих соединит!»

Задетый до глубин сердечных струн,
От этих слов расстроился Меджнун.

Он произнес: «Печальная, живи,
Будь радостна в единственной любви!

Добейся счастья, легких нет дорог,
Но любящим сердцам поможет бог.

Спокойной будь, сомнения откинь —
Я сам хотел уйти в пески пустынь.

Ты оказала честь мне, всё открыв,
Воистину прекрасен твой порыв.

Опомнившись, я сам хотел уйти,
Ты ни при чем, виновен я, прости!

Я счастлив тем, что не свершилось зло, —
Твое признание в этом помогло!»

Он тихо с ложа встал в ночной тиши
И счастья пожелал ей от души:

«Не обессудь, коль в чем-то виноват,
Будь мне сестрой. Я твой отныне брат!»

И вышел из шатра, направив шаг
В пустыню горя, где сгущался мрак.

Навфал стоял, не заходя в шатер.
Он слышал этот странный разговор.

Как пьяница, упившийся вином,
На слабнущих ногах ушел с трудом.

Что слышал он! Как этот стыд избыть?
Не рассказать и невозможно скрыть!

А юноша, кого любила дочь,
Не мог и гнев и ревность превозмочь.

Он, издали на свадебный шатер
Неутоленный устремляя взор,

В руке нетерпеливой сжав кинжал,
Удобного мгновенья поджидал.

Он их хотел убить сперва вдвоем,
Себя кинжалом поразив потом.

Но сжалилась над ним сама любовь —
Цветник любви не окропила кровь.

Он убедился, сколь Меджнун высок,
Дав благородства истинный урок.

Его следы целуя на полу,
Величью духа он вознес хвалу.

И, верностью любимой потрясен
И благородный и счастливый, он

В шатер заветный бросился стремглав,
Перед любимой замертво упав.

Она, увидя помертвелый лик,
К нему метнулась, сдерживая крик,

Над головою наклонясь родной,
Как ласковая тень в палящий зной.

Не приходилось им бывать вдвоем,
Хотя любовь их крепла с каждым днем.

Любя друг друга верно и давно,
Свиданья счастье было не дано.

Они не знали пламенных услад,
Им доставлял отраду робкий взгляд.

Теперь они вдвоем средь тишины
Свиданьем без вина опьянены.

Пропел петух и разбудил восток.
Влюбленный встал — пришел прощанья срок.

Но в их сердцах, истерзанных тоской,
От краткой встречи наступил покой.

Заре-невесте время встать пришло,
Рассвет лицо ей высветлил бело,

И солнце заблестало в красоте,
Как зеркало небесной мешшате.

Тут каждый гость, едва глаза протер,
Стопы направил в свадебный шатер.

Вошли и видят — юная жена
Печально на тахте сидит одна.

«А где жених? Куда пропал жених?» —
Весь род Медждуна от стыда притих.

Навфал, решивший промолчать сперва,
Успокоенья стал искать слова.

Он, потрясенье переживший сам,
Стал извиненье приносить гостям.

Твердя смиренно: «Так желал аллах,
Непостижимый в праведных делах.

Всесильный рок над сущим властелин,
Дочь — неподсудна, невиновен сын.

Судьбою было всё предрешено —
На божью волю сетовать грешно!»

Так ласково гостям он говорил,
А дома рухнул на ковер без сил.

Свербила тайна душу, как ожог,
Он от сокрытой боли занемог.

О врачеватель, болен я, гляди,
Своим лекарством мне не навреди.

Мой дух терзает тайный яд скорбей,
Дух возроди, тоску мою убей!

ГЛАВА XXXI

О том, как превратная судьба устроила так, что Ибн-Салам женился на Лейли, но в ночь свадьбы новобрачный заболел, и Лейли, воспользовавшись этим, убежала в степь и нашла там Меджнуна.

Калам, тобой исписаны листы,
Продолжить эту повесть должен ты.

Немало дней прошло, как небосклон
Был в тайном вероломстве уличен.

Он подшутил — так шутит ярый враг,
Меджнуну дав вступить в постыдный брак.

Угодно было тем же небесам,
Чтоб возмечтал о свадьбе Ибн-Салам.

Решительно настроен и влюблен,
Он в стан Лейли поехал на поклон.

Его встречали дружно стар и мал,
Шатер и ужин Ибн-Салама ждал.

Отцом Лейли привечен, как родной,
Он пил вино из чаши расписной.

Был знатный той неслыханно богат,
Он продолжался десять дней подряд.

И днем и ночью, как заведено,
Струилось в кубки пенное вино.

Когда настало время наконец
Достойно возвестить союз сердец,

В шатер собралось племя — стар и млад,
Чтоб завершить торжественный обряд.

Встал проповедник, не страшась греха,
Превозносить он начал жениха.

Все гости полупьяные пошли
В обитель чистоты, в шатер Лейли.

Чудовищная сделка свершена —
Женой дракона сделалась луна.

Уже он руки протянул к Лейли,
Тут жениха вдруг ноги подвели:

Болезнью сердца он страдал давно,
А на пиру сверх меры пил вино.

Муж тяжело и трудно задышал,
Багровым, как печное пламя, стал.

В день свадьбы и до свадьбы, день за днем,
Он жил в чаду угарном и хмельном.

Упав на землю в чайные конца,
Он с виду стал похож на мертвеца.

Казалось всем: простился с жизнью он,
Шум свадьбы сменит погребальный стон.

И гости, позабывши о Лейли,
Его в шатер отдельный понесли.

Переполох сменила тишина,
Несчастливая невеста вновь одна.

Бледна как смерть в отчаянье немом,
Как лебедь с переломанным крылом.

От тяжких мыслей нет спасенья ей,
Одна другой тревожней и грустней.

Нет рядом друга, чтобы ей помог,
Одно спасенье — спрятанный клинок.

Отравленное ядом острие
С постылым мужем разлучит ее.

Она убьет себя, презревши страх,
Чтоб вместе с милым быть на небесах.

Достанет сил направить в грудь удар,
Но, к счастью, жениха хватил удар.

Воистину по прихоти небес
Та ночь была исполнена чудес.

Сперва судьба, причудлива и зла,
Влюбленных разбросала, развела,

Дозволив им в несчастный брак вступить,
Не разрешила жемчуг просверлить.

По воле неба в темноте ночной
Свершиться мог великий грех двойной.

Деяния небесные темны —
Влюбленные опять разлучены.

Как будто бы провидец-звездочет
Земным свершеньям строгий счет ведет.

Какой бы он ни предсказал конец,
Пословица гласит: «Провидец — лжец!»

* * *

Когда жених в беспамятстве упал,
Страх за него всё племя обуял,

Страшась, что ночью он испустит дух,
К нему позвали лекаршей-старух.

Тогда Лейли, спасенная от зла,
Печаль на радость поменять смогла.

Глядит она, что темь вокруг глуха,
Столпились все у ложа жениха.

В шатре пустом спокойно ей одной,
Там, за кошмою, степь, песок ночной.

Далеких всхолмий брезжится гряда,
Лейли свой шаг направила туда.

Без остановки двигаясь вперед,
Шла медленно под бременем невзгод.

Благодаренье богу вознося,
Не ведая, куда ведет стезя.

А звезды и манили и цвели,
Становище растаяло вдали.

Но, по веленью неподвластных сил,
Меджнун в ту ночь навстречу к ней спешил.

Всё ближе, ближе... Небо, помоги —
Сближаются неслышные шаги.

И музыкой самой звучат вдали
Газели, посвященные Лейли.

Всё позабыв, Меджнун в восторге смог
Вдохнуть ее дыханья ветерок.

И встреча!.. Боже, нету слов таких,
Чтоб описать свидание двоих.

Вновь на свою подругу смотрит друг —
В обитель тела возвратился дух.

Плоть истомилась, истрадался он,
Любовь — его душа, он — воскрешен!

Душа вернулась, свят ее полет!
Пусть тело вновь ликует и живет.

Для двух жемчужин и для двух сердец
Вместилищем единый стал ларец.

Сок винных лоз в единый слит сосуд,
Две розы на одном стебле цветут.

В одной груди два сердца бьются в лад,
И два зрачка слились в единый взгляд.

Небесный кравчий, повелитель сил,
Их двойственность в единстве воплотил.

Один — сладчайшим опьянен вином,
Другая — пьет в забвении хмельном,

Отведав заповедного вина,
Не менее, чем он, опьянена.

Пусть двое их, но счастья торжество
В единое слило их существо.

Две капли слиты, кем же надо быть,
Чтоб разлучить их и разъединить?

Пускай он — сахар, а она — вода,
В которой сахар тает без следа.

Нет, он — вода, она — пузырик в ней,
Он растворил его, вздохнув сильней.

Жестокосердые усмирив на миг,
Взглянуло небо ласково на них.

Свет верности заполнил свод небес,
Несчастья призрак, растворясь, исчез.

Вселенная, исполняясь похвальбы,
Отгородила горе от судьбы.

Пространство, время — верится с трудом —
Влюбленным помогать взялись во всем.

Создания живые в эту ночь
Объединились, чтоб двоим помочь.

Чтоб не тревожил их случайный звук,
Густую паутину сплел паук.

Летучей мыши серое крыло
От взоров им укрыться помогло.

Волк притушил своих очей огни,
Чтоб не слепили любящих они.

Не ухал филин, крылья распахнув,
В молчанье он сомкнул свой вещей клюв.

На псов пастушьих сон пошел войной,
Заснули все собаки до одной...

Лисицу, что горазда на обман,
В норе полночный окурил туман.

На ветках птицы впали в забытье —
Спят до утра и змеи и зверье.

Природа, как заботливая мать,
Решила этой встрече помогать. . .

Пыль не вздымает ветерок пустынь,
Притихшей речки безмятежна синь.

Роса на травах, превращаясь в пар,
Дыханием смирила летний жар.

Был шелковистой, теплой пеленой
Задержан воздух ночи ледяной.

Все девять сфер взирали с высоты
На празднество любви и красоты.

Недвижных звезд стал благосклонней свет
Средь счастье нам дарующих планет.

Луны лепешка свет свой не лила —
Жаровня солнца днем ее сожгла.

Бессонницей Меркурий истомлен,
«Воистину готовы!» — шепчет он.

Венера не читает звонкий стих,
В ночном безмолвье чанг ее затих.

Светильник солнца под землю скрыт,
В ночи уединенья мрак царит.

Копьем грозящим красный Марс потряс,
Готовый ослепить недобрый глаз.

Юпитер обратился к Богу сил,
Свиданья время он продлить просил.

Недоброту души Сатурн забыл,
Он тусклым светом ночь не озарил.

Она, ладони сажей зачерня,
Мешала наступить началу дня.

Бойтся предрассветный холодок
Развеять пепел полночи не в срок.

Не смеет он до времени дохнуть,
Чтобы восход не снарядился в путь.

Ночной дымок простерт за окоем,
Заря, не разгорясь, погаснет в нем.

И под покровом беспредельной тьмы
Заснули наблюдателей умы.

И только двое из детей Земли
Насытить взоры счастьем не могли.

К ним небеса, сулящие беду,
Вдруг потеряли прежнюю вражду.

Душа и тело под одним плащом,
Оплелся тесно кипарис плющом.

Целует он ступни прекрасных ног,
Она ласкает локон-завиток.

Косою нежно, как петлей ловца,
Окручивает шею в два кольца.

А он, ее ладонь в руке держа,
К губам, к глазам прикладывал, дрожа.

В блаженное впадая забытье,
Вкруг пальцев кудри навивал ее.

Они как змейки, что, свернувшись в жгут,
Сокровище ревниво стерегут.

Песчинки выбирать отрадно ей
Из непокорных, спутанных кудрей.

И эта пыль — след муки неземной —
Дороже ей, чем мускус привозной.

Ласкается она, к нему припав,
Сама, как он, в полубезумье впав.

Благодаря судьбу за близость к ней,
Его объятья стали всё тесней.

Да, он стал ею, стала им — она,
Пусть двое их — в них целостность одна.

Им приходилось много перенести,
Ничем они не запятнали честь.

Любовь двоих чиста и велика,
Как будто впереди у них века.

Тому, кем движет низменная страсть,
Запрещена святого чувства власть.

Благословенен был союз двоих,
Но небо ополчилось вдруг на них

И, оборвав связующую нить,
Решило вероломство проявить.

С усмешкою язвительной и злой
Простерся лживый сумрак над землей.

От искр зари, летящих из-за гор,
В груди Меджнуна запылал костер.

И слезы опечаленной Лейли
Как воск горячей свечки потекли.

И стало ясно любящим двоим:
Немилосердно небо снова к ним.

Стал о прощенье умолять нарцисс,
В росе кровавой никнет кипарис.

Лейли, не осушая скорбных глаз,
О прошлой ночи повела рассказ.

Потом шепнула: «Должен ты простить,
Я б не ушла, но надо мне спешить!»

Безумцу вновь скитаться вышел срок,
Луне пора вернуться в свой чертог.

Ночь, дольше длись, блаженство всем даря,
О, как ты преждевременна, заря!

Сто лет мечтать, чтоб эта ночь была!
Как мимолетный вздох она прошла.

ГЛАВА XXXIII

О том, как родители Меджнуна умерли, не вынеся разлуки с любимым сыном, о том, как Меджнун, увидев их смерть в вещем сне, пришел на кладбище и плакал сиротскими слезами на могиле отца и матери.

Придя на пир печали, спел певец
Такую песнь для горестных сердец.

Когда, покинув свадебный шатер,
Меджнун ушел в неведомый простор

И о беде, случившейся в шатре,
Родители узнали на заре —

Их осудила праздная молва
И жизнь в обоих теплилась едва.

Снедаемые горем и стыдом,
Они поспешно возвратились в дом.

Поднялся жар у старого отца,
Катился градом пот с его лица.

В горячечном бреду, с трудом дыша,
Лежал он, и стеная и дрожа.

Сбивались с ног родные, хлопоча,
Призвали к ложу лучшего врача.

Больной хирел в ознобе и в жару,
Напрасно принимая камфару.

Коль с древа жизни рушится листва,
То смерть вступает в высшие права.

Из плевел тех, что лекарь нам дает,
Трава забвенья в смертный час растет.

Слабительное может закрепить,
Лекарство от желтухи — желчь разлить.

Молитвы, заклинанья, талисман —
Приблизят смерть от нанесенных ран.

Боль, возрастая, грудь на части рвет,
Уже ничье участие не спасет.

И срок настал — призывный слыша глас,
Душа, как птица, в небо вознеслась.

Дух воспарил в нездешние миры,
Чтоб вить гнездо в ветвях святой сидры.

Усопшего почтительно любя,
Весь род собрался, плача и скорбя.

Осталась безутешная вдова,
Меджнуна мать, она едва жива.

Двойной удар пришлось ей претерпеть —
Безумье сына и супруга смерть.

И убивалась, и страдала мать,
И умоляла смерть ее прибрать.

Рвала одежды темное шитье,
И тоньше нитки стала жизнь ее,

Молениям вняв, жестокий небосвод,
Жену и мужа рядышком кладет.

Страдалица, покинув мир, ушла,
В предвечной жизни мужа догнала.

И, погребальный вновь свершив обряд,
Опять оделись в траур стар и млад.

На кладбище старинном, родовом
Супруги упокоились вдвоем.

Неслышную стопою время шло,
Семь раз вставало солнце и зашло.

Там, где гранитный кряж вздымает Неджд,
Бродил Меджнун без мыслей и надежд.

Однажды, долгим странствием сморен,
На краткий миг заснул в ущелье он.

Объял его ласкающий покой,
И он увидел странный сон такой:

У голубей — нет преданней сердец —
В гнезде, на радость, вывелся птенец.

Когда он оперился в должный срок,
Его пронзил змеиным жалом рок.

И голубь, обезумев, в небо взмыл
И там и кувыркался, и кружил.

А рок вещал: «Родителей покинь,
Ступай к зверям, стань детищем пустынь!»

Родители нашли его с трудом,
Но сын не пожелал вернуться в дом.

И возвратились голуби тогда,
Но налетела новая беда:

Орлы на них набросились стремглав,
Двух голубей на части растерзав. . . .

Меджнун очнулся, страхом пробужден,
Предчувствием ужасным возбужден.

Припомнил он зловещий этот сон
И понял сердцем: это вещий сон.

Родители мертвы, их больше нет. . .
Стал сумрачным и тусклым солнца свет.

С предгорий Неджда он сошел спеша,
Его вела смятенная душа.

Слезами, что его затмили взор,
Он мог бы переполнить глубь озер.

Дошел он до кладбищенской стены,
Где родичи его погребены.

И долго он по кладбищу бродил,
Пока не встал у свежих двух могил —

Могилы двух погибших голубей,
Засыпанные глиною скорбей.

Занес их сверху бедствия песок,
Кругом колючий терн пророс не в срок.

И расцвели страдания цветы,
Рейхан печали, розы маеты.

Багрово-красный затаил тюльпан
Разлуки кровь, клеймо багряных ран.

Как две дотла сгоревшие свечи,
Темнели два надгробия в ночи.

Два праха в чреве матери-земли
Покоились, как в свечках фитили.

Меджнун, который их опорой был,
Окаменело замер у могил.

Вдруг осознал он: под двойным холмом
Родители покоятся вдвоем.

Он принялся себя камнями бить,
Как будто грудь пытался раздробить.

Так жарко он вздыхал, что вздохов дым
Окутал небо облаком густым.

Так о надгробье бился головой,
Как будто мертвый камень — враг живой,

Неутоленно он навзрыд рыдал
И в громком плаче тайну раскрывал.

«О, среди арабов самый лучший ты,
Вручивший небу пояс доброты!

Тобой одним для сопредельных стран,
Накрыт был милосердья дастархан.

Ты длани над арабами простер,
А я — несчастье рода, твой позор.

Не перенес ты злоклучений гнет,
Разбилось сердце от моих невзгод.

Ты жаждал сына охранить от бед,
Из-за меня погас твой звездный свет.

Чтоб я родился, бедным людям всем
Давал ты за дирхемами дирхем.

Не перлом я в короне стал твоей,
А тяжким камнем, лихом жизни всей.

Ты корпией хотел лечить ожог,
Но, приложив, сильнее себя обжег.

Хотел, чтоб сын защитным был мечом,
Меч затупился, не помог ни в чем.

Светильник был тебе не в радость дан,
Огонь спалил и дом твой, и хирман.

Ты жаждал света, но ошибся ты,
До черной я довел тебя черты.

Лицом я черен, как мертвец в гробу,
Окрасил в черный цвет твою судьбу.

Как дальше жить, как я смогу дышать?
Как о прощенье слезно умолять?

Мне не поднять повинной головы —
Твоим путем я не пошел, увы!

Покинул ты, без времени, меня,
Свалив скалу гоненья на меня.

Все косточки мои переломал,
С кладбищенской землей перемешал.

И сколько б ни был злополучен я,
Судьбою проклят и измучен я.

Прости, отец, меня благослови,
Ведь я твой сын, дитя твоей любви!»

Перед могилой, где лежала мать,
Лишаясь силы, начал сын рыдать.

И в исступленье, сам полуживой,
Он о камня бился головой.

Нет, не одежды рвал он воротник,
Грудь без надежды растерзал он вмиг.

Слез пролил море. Мертвецы могли б
Сойти за тени неподвижных рыб.

Так в покаянном корчился огне,
Как рыба в раскаленном казане.

Всё тело было сплошь опалено,
Ожоги походили на зерно.

Он болен был, но хворь здесь ни при чем —
Душа располосована мечом.

Его рыдания как весенний гром,
Нет, шум потока в беге буревом.

Сраженный громом, землю целовал,
Рыдая, слезно к матери взывал:

«О свет очей, была ты молодой,
Но от страдания сделалась седой.

О мать моя, души услада ты,
Ты мой покой, сердец отрада — ты!

Кааба — ты, а я тебя отверг,
Себя в кумирню жреческую вверг.

Я, на тебя свалив безумья гнет,
Разрушил Мекку — святости оплот.

Кааба мною втоптана во прах,
Как мне простит великий грех аллах!

Кто раковину чрева осквернил,
В нее не перл, а камень положил?

Зачем не умер я, на свет родясь,
С душою неродившихся сроднясь?

Несчастный я, вся жизнь моя черна —
Источник счастья вычерпал до дна.

С любовью, что не слыхана досель,
Ты первенца качала колыбель,

На миг не отходила от меня,
От вежд бессонных сон ночной гоня.

Я часто плакал, не смыкая глаз
Ты поднималась с ложа каждый раз.

Ты, отгоняя от меня беду,
В заботе забывала про еду.

Ты ела как-нибудь и что-нибудь,
Чтоб только молоком наполнить грудь.

Ты уповала, полная забот:
Настанет время, старость подойдет,

Морщинами лицо избороздив
И волосы твои посеребрив,

Я к изголовью твоему приду
И ласково все беды отведу.

С заботою сыновнею служа,
Вниманьем и любовью окружа,

Хранил бы я покой святых седин,
Как должен кроткий благонравный сын.

И не было бы горести такой,
Какую не отвел бы я рукой.

И получилось, что на склоне дней
Ты сделалась слабее, я — сильней.

Ты уповала доброю душой,
Что сын твой — друг надежный и большой,

Но я, дурной, с мятущимся умом,
С тобою рядом редко был вдвоем.

Десницами тебя не поддержал,
Ресницами твой путь не подметал.

На хрупкость плеч, которых время гнет,
Я бремя возложил — безумья гнет.

Нет, не служил тебе, как стоишь ты,
Не оценил сердечной доброты.

Неблагодарный и неверный сын,
В пустыне дикой я бродил один.

В безумие притворное впадал,
В твой трудный час руки я не подал.

Я не лечил смертельный твой недуг,
А между тем сужался тесный круг

Моих несчастий, он тебя теснил,
Отзывчивое сердце погубил.

Ты вынести страданий не могла,
Туда, где нет терзаний, ты ушла,

Меж тем как, позабывший божий страх,
Сын одержимый странствовал в песках,

Как подобает истинно святой,
Твоя душа в раю нашла покой.

Ты недовольна мною там, прости,
Я наказание должен понести.

Несчастен я, тебя мне не вернуть,
Как боль унять, сжигающую грудь?»

Так продолжал он горестно рыдать
И, убиваясь, звал отца и мать,

Убитый горем, в сумеречной мгле,
Он в судорогах бился на земле.

Опять безумье верх взяло над ним,
Он на песке простерся, недвижим.

Как будто плоть покинула душа,
Родителей в раю настичь спеша.

О друг бесценный, подойди на миг,
На траур погляди одежд моих.

Я — одинок, вниманьем удостой.
В разлуке я остался сиротой.

ГЛАВА XXXIV

О том, как к страданиям Меджнуна, опаленного огнем разлуки с любимой, прибавилась скорбь по умершим родителям, и Лейли, узнав о постигшем его несчастье, прониклась состраданием к нему, и горе Меджнуна одело мраком и ее жизнь.

Тот, кто страницы смог раззолотить,
Так жемчуг слов нанизывал на нить.

Казалось, Кайсу нечего терять,
Но он утратил и отца и мать.

К страданью по возлюбленной теперь
Прибавился тягчайший груз потерь.

Разлука поднесла смертельный яд —
Он опоев отравую утрат.

Разлукою с любимой он разбит,
Двойное горе дух его дробит.

Стоял он на коленях у могил,
С кладбищенской земли не уходил.

С тех самых пор, как стал он сиротой,
Оделся мир могильной темнотой.

Не замечая ничего вокруг,
Сам вверг себя в объятья лютых мук.

Он волю дал безудержным слезам,
Взывая к равнодушным небесам:

«Двойной ожог — смерть близких для меня,
Разлука с милой — масло для огня!»

Клеймо утраты в сердце мы храним,
Огонь разлуки с молнией сравним.

Смерть и разлука — пагубный союз!
Невыносимый, непомерный груз.

Теней подобье, в сумраке ночном,
Среди надгробий он упал ничком.

Сбежались лани, он их приручил,
И в состраданье встали средь могил.

Но здесь перу, рассказчик, повели
Продлить повествованье о Лейли.

Та, что была, как утро дня, светла,
От радости свиданья расцвела.

Завидуя их счастью, небосвод
Боль расставанья вновь влюбленным шлет.

И встречи упительный бальзам,
Увы, был неугоден небесам.

Огонь любви, суля беду утрат,
Цветок эдема вверг в палящий ад.

Душа болела, истомилась вся,
Изныло тело, жизнь разбилась вся.

Такою изнурялась маетой,
Как будто тоже стала сиротой.

Одну себя виновницей сочла,
Единственной носительницей зла.

«Из-за меня Меджнун сошел с ума,
В его сиротстве я виной сама.

Первопричина я несчастий всех,
Виновница одна напастей всех!» —

Лейли себя корила и кляла,
В раскаянье горя, как гармала.

И причитанья слышались сквозь плач:
«Небесный рок, насильник и палач!

В обители спокойной синевы
Не ведаешь ты жалости, увы!

Доколь меня тиранить и пытаться,
Доколь тисками грудь мою сжимать?

Ты губишь розу, о неправый рок,
За лепестком срывая лепесток.

Те лепестки развеет вихрь-злодей,
Кидая наземь под ноги людей.

Не причинял цветок тебе вреда —
Он не твоя колючая звезда!

Зачем, жестокий проявив каприз,
Рубить под корень стройный кипарис?

И с торжеством, скрываемым едва,
Пускать живые ветви на дрова?

Иль ты его с кометою сравнил,
С звездой хвостатой, полной мрачных сил!

Зачем рубины, вопрошу тебя,
В пасть жерновам бросаешь, раздробя?

К чему, и нерасчетлив и жесток,
Ты измельчаешь лалы в порошок?

Рубин далек от Марса твоего,
В планете этой — злобы торжество.

Увидя чернооковую газель,
С жестокостью, неслыханной досель,

Не жаждешь сразу ты ее убить,
А режешь по кускам, чтоб боль продлить.

Так опускаешь меч, рассвирепев,
Как будто пред тобой не лань, а лев.

Фазана в хитрый заманив силок,
Ты голову несчастному отсек.

И с быстротой, что удивить могла б,
Надел на вертел, превратив в кебаб.

Победы радость ты не приобрел,
Тобой убит фазан, а не орел.

Зачем многострадальную Лейли,
Безвольную, печальную Лейли

Одним мгновенным взмахом не убьешь,
А, как былинку, постепенно жжешь?

Лейли, была как полнолуние ты!
Ведь не старуха, не ведунья ты!

О небосвод, сгори, развейся в прах,
Испепелитесь, звезды, в небесах.

Вы тело растерзали мне, увы!
Вы душу растоптали мне, увы!

Доколе мне клониться на ветру,
Пшеницею гореть в печном жару?

Долготерпенья нить оборвалась —
Душа и тело разорвали связь.

Вздохну — и прах развеется вот-вот!..
За что меня караешь, небосвод?

Обитель сердца, так она хрупка!
Ее судьбы разрушила рука.

Все угрызенья совести — мои.
Любимого все горести — мои.

Тоскует он и плачет по родным,
Стал траур друга трауром моим.

Он чахнет там, с тоской наедине,
Мне тяжелей от этого вдвойне.

Лейли, Лейли, разлуки боль страшна,
В нее Меджнуна мука вплетена.

К чему мне этой жизнью дорожить,
Мне умереть отраднее, чем жить!»

Протяжно стоны из груди рвались,
Уста-бутоны знойно запеклись.

Последним жаром лик ее объят,
Так рдеет догорающий закат.

В росе прощальной розы лепесток,
Поник печально сломанный цветок.

Пылают щеки в бисерном поту,
У розы отнимая красноту.

Над розоликой изнывает мать,
Не знает только, что предпринимать.

И дух ее мучительно ослаб,
Сгорело сердце, как в огне кебаб.

Себя не помня, от тоски бела,
Она к отцу взволнованно пошла,

И ужаснулся, весть услышав, он,
До глубины душевной потрясен.

Как дочь спасти? И на совет скорей
Прославленных призвали лекарей.

Но солнце застит хмурой мглой туман,
Лицо Лейли желтеет, как шафран.

Врачей старанье ей не помогло,
От них страданье только возросло.

Пытался лекарь делать чудеса,
Простой табиб — не праведный Иса!

Он даже жар и то не в силах сбить —
Смерть подошла, ее не отворотить.

И с каждой ночью хуже ей, больной,
Короче, уже скорбный путь земной.

Кружилась у бедняжки голова,
Но вдруг она услышала слова:

«Бедняк Меджнун на свете не жилец,
Плененный горем, он полумертвец.

На кладбище, среди родственных могил,
Он сам себя от жизни отвратил.

То он в сознание, то впадает в бред,
В его глазах померкших света нет.

Невыносим его страданий гнет,
Болезнь Лейли несчастного добьет,

Жизнь траурной покрылась пеленой,
Из-за Лейли в печали он двойной.

Душа устала боль превозмогать,
Так худо стало, что не описать».

Когда Лейли услышала рассказ,
Ей хуже стало тут же в сотни раз.

Жизнь, как ладья, попала в водоверть,
Болезнь лютует, приближая смерть.

О лекарь! Продолжать я не могу,
Огнем болезни сам себя сожгу.

Напиток горький, всё внутри мне сжег,
Дай мне воды живительный глоток!

ГЛАВА XXXV

О том, как осенний ветер погасил свечу жизни Лейли и, подобно соловью из клетки, улетела душа Меджнуна.

Осенним ветром изгнан летний зной,
Цветник лицо окрасил желтизной.

Так пожелтели листья все подряд,
Как будто заражен желтухой сад.

Листочек каждый — словно впрямь больной,
Лежащий на постели земляной.

Как птичьи ножки, листьев черенки
Протянуты, и ломки и легки,

Ненастный ветер вздумал так кружить,
Что бедным листьям расхотелось жить.

Дрожат деревья, в чайные беды,
В хранилища запрятаны плоды.

А ветер, довершая злой налет,
Последнюю одежду с веток рвет.

Платан — он изумрудным был шатром —
Теперь багряным кажется костром.

Порхает лист, как резвое дитя,
Воздушную дорогу обретя,

И, опускаясь, рдеет в гуще трав,
С родимой ветвью связь навек порвав.

Когда оденет сад ночная мгла,
Листва — как звезды, звезды без числа.

Их золото, на небе отмерцав,
Спустилось наземь, сад ковром устлав.

Нет, не звезда, а зеркальце у ног,
Где желтой ручкой загнут черенок.

Есть с зеркалом различье у него —
Лист отразить не может ничего.

Краснеет лист сперва у черенка,
Как будто кровью запеклась щека.

Так на ланитах от шипов беды
Кровавых слез виднеются следы.

И каждый лист, с пустых ветвей слетев, —
Предсмертное послание дерев.

Воде недолго листья колыхать,
Их золотой накрап поглотит гладь.

Вода стремится золото увлечь,
В лазурных ножнах спрятать хрупкий меч.

Лист винограда рдеет вырезной,
Как будто пальцы он окрасил хной.

Ушла благословенная пора,
Не блещут в розах капли серебра.

Тюльпаны краснотой не налиты,
У гиацинтов кудри развиты,

А ветер, предвещая холода,
Родник укрыл под черствой коркой льда.

В холодном небе посвист ветровой,
И сад скорбит по розе неживой.

Смолк соловей в объятых мрачной тьмы,
И перья у него серей кошмы.

В сад обнищавший, равнодушно-зла,
Хозяйка-осень стужу привела.

Ее войска, вступив в примолкший сад,
Победно завершили листопад.

Бутоны роз склонились до земли,
Горюя, что они не расцвели.

Чухоточна нарциссов желтизна —
Из сада жизни изгнана весна.

Когда листва рассеялась везде,
Одежда роз развеялась везде,

То у Лейли, шахини красоты,
Превосходящей нежностью цветы,

Не стало сил болезнь преодолеть:
Цветку весной не распуститься впрядь.

В истоме косы расплела свои,
Освобождая пленников любви.

Так повелитель, настрадавшись сам,
Дарит свободу в смертный час рабам.

Но лишь один, который всех верней,
С ним пребывал до окончания дней.

Сомкнулись брови, словно сторожа,
Обитель зренья зорко сторожа,

Чтоб жажда жизни очи не зажгла
И навсегда в зрачках застыла мгла.

На розе кровь алеет, как заря,
Смерть ей кладет румяна, говоря:

«Для тех, кто умер от сердечных ран,
Белил не пожалею и румян!»

Но на щеке атласной бледный пот
Румянить лик прекрасный не дает.

Сгубила осень соловьиный сад —
Цветы в нем никогда не запестрят.

От жара пересох медвяный рот.
Нет, нет, запекся нежно-рдяный рот.

И, подступая, смерти немота
Печати налагает на уста.

И ямочка навек поблекших щек,
Где родинка, как черный голубок,

Засыплется кладбищенским песком,
Уйдет в могилу вместе с голубком.

Смертельных ей не избежать оков,
Лиловый на нее надет покров.

Так оттеняет солнечный заход
Фиалкового цвета тучеход.

От странницы мытарства отошли.
Ее пути земные отцвели.

Темнеет мир чудесный и большой —
Пришла пора прощания с душой.

В своем шатре она лежит одна,
И только мать страдальце нужна.

И, к изголовью призывая мать,
Лейли ей стала тайну поверять:

«Твоя душа — приют моей души,
Мне жертвой за тебя стать разреши.

О мать родная, ты за годом год
Со мною разделяла груз невзгод,

Живи на свете я хоть тыщу лет,
Не вымолю себе прощенья, нет!

Бутон, не распустившийся, поник,
Вихрь ледяной погубит мой цветник.

Жестокий небосвод свершил свой суд.
И розы вновь в тиши не расцветут.

Бедою черной сгублен кипарис,
Он с высоты нагорной рухнул вниз.

Я ухожу, слабея с каждым днем,
Не расцветет весна в саду моем.

Уже в глазах горит вечерний свет,
Таиться от тебя мне нужды нет.

Теперь, когда едва-едва дышу,
Когда навеки в землю ухожу,

Молю тебя, потоки слез не лей,
Себя во имя жизни пожалей.

Не нарушай спокойствие души,
Стенания и жалобы сдержи.

Ты всё исполнишь, знаю я о том,
Прошу тебя я слезно об одном:

На лучшее надежды не теряй
И траурных одежд не надевай.

Неколебимость духа прояви
И причитаньем небо не гневи!

Верь, за терпенье наградит аллах...
Он не позволит, чтоб наш род зачах.

Один цветок завял, но сад цветет.
Померкнет солнце — вечен небосвод».

Уже прощаясь, мертвенно-бледна,
Чуть слышно прошептать смогла она:

«Когда о том, что больше нет Лейли,
Узнают люди нашей всей земли,

Услышит весть страдалец бедный мой,
Чей день завешан непроглядной тьмой.

Мысль обо мне рождала в нем пожар,
Он для меня — судьбы бесценный дар.

В пустыне кружит, словно ветер, он,
В ущельях гор его затерян стон.

Когда узнает он, что нет меня,
Померкнет для него сиянье дня.

И эта боль всё в мире превзойдет,
Многострадальный дух его сожжет.

Как без своей Лейли он сможет жить?
Отчаясь, сам погибнет, может быть!

Или примчится с силой вихревой,
Чтобы застать любимую живой.

Смотрите все, смотрите на него —
Любви в нем воплотилось торжество!

Но поздно, жизнь любимой отцвела,
Я, не дождавшись встречи, умерла.

Свой прах смешает с прахом он моим,
И души мы навек соединим.

Почет Меджнуну окажите вы,
Нас вместе, рядом положите вы.

О мать моя, завет исполни мой,
Невинен он, слезой его омой.

Зла не таи, молю я, поспеши,
Сшей саван нам из собственной души.

Мы будем навсегда вдвоем, одни.
В одно нас покрывало заверни,

Заботу, словно к сыну, проявив,
В одну постель навеки положив,

Чтоб, как младенцам, свитым пелёной,
Лежать нам в колыбели земляной».

Лейли замолкла, и в теснине рта
Речь навсегда как пленник заперта.

Глаза закрыла, словно отзвук струн
Прошелестело в воздухе: «Меджнун...»

Молчит Лейли, ее напрасно звать.
Так закричала, обезумев, мать,

Что этот крик, ее тоскливый стон
Стрелой вонзился в синий небосклон.

Он возвратил стрелу в предел земли —
Смерть хищно закружилась над Лейли.

Над изголовьем убивалась мать:
«Дитя, открой глаза, пора вставать!

Ночь миновала, встань, умой лицо,
С улыбкою промолви хоть словцо!»

Ловила, прижимаясь, сердца стук,
Дыханьем согревала мрамор рук. . .

И за руки тянула дочь она,
Пытаясь вырвать из объятий сна.

С чела кудрей откидывала прядь,
Чтоб светоч глаз смог снова засиять.

К лицу Лейли прикладывая лик,
Слез проливала горестный родник.

Ей капли слез, рожденные бедой,
Казались животворною водой.

«Вздохни разок!» Недвижно дочь лежит,
Как будто сном последним дорожит.

Вдруг поняла: надежды больше нет!
И солнца для нее затмился свет.

Простоволоса, словно лунь бела,
Она, казалось, с жизнью нить рвала.

Терзала грудь свою, чтоб сердца пыл
Дочь обогрел и к жизни возвратил.

Так ночь, отчаясь, плащ срывает свой,
Чтоб солнца луч зажегся заревой.

В морщинах щек багровые следы —
Кровоточат царапины беды.

Иль это кровь, что вытекла из глаз,
Страдальчески на лике запеклась?

«О горе мне! — в слезах взывала мать. —
Дитя мое, нельзя так долго спать.

Взгляни, прозрачен воздух голубой,
Твои подружки шумною гурьбой

В сад собрались гулять, но не пошли,
Все ждут они и все зовут Лейли.

Им без тебя не в радость вешний сад,
Не веселит их праздничный наряд.

Дай косы расплету и расчешу,
Их красоту я миру покажу.

Они живой водой во тьме блещут,
Они благоуханием пьянят.

Пусть с гиацинтом схожий локонок
Откроет миру сто путей-дорог.

Дай заплету тебе я две косы —
Пусть берегут тебя, как две гюрзы.

Те змеи словно шелковистый жгут
Сердца влюбленных, связывая, жгут.

Тебе усмой покрою брови я,
В колчан ресниц упрячу острия.

Твои глаза я подведу сурьмой,
Чтобы завистник-мир оделся тьмой.

Чтоб лик твой стал застенчиво румян,
В румяна кровь своих прибавлю ран.

Индиго на ланиты наложу,
Тебя от сглаза им огорожу.

Пусть украшают твой сладчайший рот
Две родинки, как точки в слове «мёд».

На подбородке родинка одна,
Как маковое зернышко черна.

На волосы накину свой платок,
Пусть дразнит локон, словно язычок.

Пускай одежды розовый атлас
Туманит взоры и прельщает глаз.

На зависть всем, у мира на виду,
Я снаряжу тебя гулять в саду.

И, восхищенный юной красотой,
Забудет благочестие святой.

А на дорожках, и влюблен и юн,
Возлюбленную ждет в слезах Меджнун.

Тебя не встретив, он поймет — беда!
На поиски он кинется сюда.

«Где ты?» — он спросит, что сказать ему?
Как поступать мне дальше, не пойму.

Очнись, дитя! Молчаньем не томи,
Чтоб не стыдиться мне перед людьми».

С такую причитала мать мольбой,
Что почернел свод неба голубой.

А там, снаружи, бледный, чуть живой,
Отец о камни бился головой.

К шатру толпою родичи пришли,
Стеная, восклицали: «Вай, вайли!»

Чтоб нить повествованья не прервать,
К Меджнуну возвратимся мы опять.

На кладбище повержен он без сил,
Неотличим от жителей могил.

Здесь дух его витает, только тут,
Как души тех, кто воскресенья ждут.

Когда ослабла и слегла Лейли,
Он слег, неотличимый от земли.

Лейли металась, бледная лицом,
Возлюбленный стал сходен с мертвецом.

Где б ни был он — в мечтах или во сне, —
Везде он был с Лейли наедине.

Всех тех, что навещать могилы шли,
Расспрашивал он жадно о Лейли,

Не пропуская слов, боясь вздохнуть,
Кровь трепетала в жилах, словно ртуть.

Вдруг в небе беспредельно голубом
Раздался голос, будто грянул гром:

«О ты, чья страсть единственна в веках,
Ты, воинов несчастья падишах!

Страданье — твой оплот и твой престол,
Ты всех влюбленных мира превзошел.

Влюбленные — прислужники твои,
Встань, предводитель воинства любви!

Твой сад цветущий стал навек пустым,
Светильник сброшен ветром грозовым.

Ты — соловей, но розы в кущах нет.
Ты — мотылек, померк зовущий свет.

В пугающей дали твоя луна, —
О, поспеши, тебя зовет она!

Ты внял всему, о чем я возвестил?»
И тот, кто слушал, немощен и хил,

Как барс, вдруг прынул, силой обуян.
Понесся, словно вспугнутый джейран.

И с быстротой, невиданной досель,
Слагая песнь свидания — газель,

Спешил к Лейли, чтоб рядом с нею быть
И жизнь и душу ей одной вручить:

Струились слезы счастья, застыл взор,
Он пересек как молния простор.

Огнем любви всю землю озарил
И сам как солнце в этом мире был.

Страж смерти отступился от него —
Он не боялся больше ничего.

Бежали звери вслед, не отходя,
Заступником своим его сочтя.

И диким, им чужда была вражда,
Но люди разбегались кто куда,

Страшась Меджнуна и его зверей.
А он бежал. Быстрее, всё быстрее...

Вот и шатер. Застыл у входа он.
Зверей оставил чуть поодаль он.

И люди, что столпились пред шатром,
Вмиг расступились в ужасе немом.

Неколебим, торжественен и строг,
Меджнун переступил через порог.

* * *

Когда в глазах Лейли стал меркнуть свет,
Оставлен ею был такой завет:

Она молила и отца и мать
К Меджнуну снисходительными стать.

И он вошел, ее желанный друг,
О, нет же, нет, — навеки данный друг.

И встретились, и счастье обрели
Меджнуна взгляд и чистый взор Лейли.

Дыханье их в единый вздох слилось
И в тот же миг навек оборвалось.

Она ушла, сумев его найти,
Сошлись многострадальные пути.

У ног любимой, и красив и юн,
Недвижный, бездыханный лег Меджнун.

Все близкие под сводами шатра
Столпились у печального одра,

Над теми, кто заснул последним сном,
Застыли в потрясении немом.

И близкие, придя в себя едва,
Печальные промолвили слова:

«Не только жертвы избрала любовь,
Но жизни высший смысл дала — любовь.

Как хоронить, как дальше поступить?
Возможно ль в смерти их разъединить?»

И порешили: «Были столь чисты
До гробовой дошедшие черты.

Любовь немилосердной к ним была,
Изведать, бедным, счастья не дала.

И, радости не зная ни одной,
Покинули страдальцы мир земной.

Их души тайно встретятся в раю,
В блаженном, не подвластном нам краю.

И если дух на небе будет слит,
То пусть земля тела соединит.

Мы периликой выполним завет!..» —
Решил согласно родичей совет.

И погребальный начали обряд,
Как повелел священный шариат,

В одни носилки положив двоих.
Мертва невеста, мертв ее жених!

Тела обвиты саваном одним,
Накрыты покрывалом гробовым.

Направились носилки по тропе,
В них ядрышками в тесной скорлупе,

Как в миндале бороздчато-резном,
Влюбленные покоятся вдвоем.

Так миндаля двудольное зерно
Кожуркой тесно спаяно в одно.

Лейли и Қайс, заснув последним сном,
Неразделимым стали существом.

Их свет навеки высших чувств порыв,
Влюбленных навсегда соединив.

Они себя, покинув мир земли,
На вечное свиданье обрekli.

Недвижные тела укрыл от глаз
Расшитый тусклым золотом атлас.

С останками Меджнуна и Лейли
Носилки люди, плача, понесли.

На кладбище готов для них приют —
В могилу опускается табут.

В обитель тех, кто кончил путь земной, —
Дом странников в утробе земляной.

Оставив их во мраке, все ушли,
С рыданьем причитая: «Вай, вайли!»

Могилу видя свежую одну,
Закрыли тучи солнце и луну.

Запорошив их серою золой,
Во тьме кружиться начал ветер злой.

Погиб влюбленных шах, сгустилась мгла,
На небе красоты луна зашла.

Отец и мать, родители Лейли,
Два раза в день к родной могиле шли.

И безутешно, до скончанья дней
Оплакивали умерших детей.

В короткий срок, не совладав с тоской,
Они в могиле обрели покой.

О плачущий, рыдать не уставай.
Разрушатся чертоги жизни, знай.

Влюбленные уйти смогли вдвоем,
Куда и мы с возлюбленной уйдем!

ГЛАВА XII

Н а ч а л о п о в е с т и

О том, как шах Бахрам на охоте пленил удивительную птицу — несравненного живописца Мани — и тут же сам пленился им, а также о том, как Мани показал ему чудесное изображение розы всех лун, при виде которого шах лишился покоя.

Мудрейшим известна запись сказаний
О жизни владык, царивших в Иране.

Там есть среди иных рассказ о Бахраме,
Красе всей земли, царе над царями.

И сказано там: небесная воля
Судила царю особую долю.

Держава его росла постоянно,
И слава его росла постоянно.

От Рума до Чина был он единым
И непререкаемым господином,

Звезда его счастья мир озаряла,
Рука его власти мир покоряла,

И все семь частей подлунного круга
Бахраму служить считали заслугой.

А он, победитель на поле брани,
Князьям назначал оброки и дани.

Порядок такой он всюду поставил:
«Кто б ни был ты, князь, и где б ты ни правил,

Раз платишь оброк и раз ты мой данник,
Не жди, чтоб к тебе приехал посланник,

А сам собери всю сумму оброка
И в нашу казну доставь ее к сроку».

И всем полюбилось правило это,
В закон превратилось правило это,
И, как властелину было угодно,
Оброк доставлялся в срок ежегодно,
Сверх дани царю собирали повсюду
Крупнейшие яхонты, изумруды,
И доля всего, что произрастало,
Из каждой страны в казну попадала,
И было подвергнуто обложению
Любого достатка приумножение.
А царь кочевал по лучшим владеньям
В веселых пирах, с музыкой и пеньем,
С искусством певцов всегда был он в дружбе,
И множество их держал он на службе,
Едва царский двор с места снимался,
За ним целый хор с места снимался,
Певцы от царя кивка только ждали,
Любое желанье предупреждали.
Всегда для певцов имелась работа,
Но пуще влекла Бахрама охота,
От меткой стрелы, от царской десницы
Ни зверю, ни птице было не скрыться,
Их кровью свой след кропил он обильно,
И вина побед цедил он обильно,
Гонясь за добычей со свитой вместе
И вдруг очутившись в красивом месте,
Бросал он охотничьи похождения
И требовал пира, музыки, пенья,
И чангу рубаб на смену трудился,
А рядом кебаб в жаровнях дымился.
Однажды, гонясь за стадом оленьим,
Он стал на холме и дал повеленье

Стоянку разбить над вольным безбрежьем,
Чтоб ветром дышать медовым и свежим,

Все поняли: нынче кончена ловля.
И вот уже славный пир приготовлен,

Звон чаш к небосводу поднимается,
А тот от музыки содрогается.

Но первая чаша дух укрепляет,
И шах, пригубив вина, размышляет:

Он первый, он высший царь во вселенной,
Весь мир покорил он многоплеменный,

Он негой вина уста услаждает,
Любая струна ему угождает,

Добра упованье, солнц украшенье,
Отныне навек он примет решение:

Он, будучи избран мудрым аллахом,
Поставлен единоцарственным шахом,

Стране справедливость нести обязан,
И радость, и милость нести обязан,

Обязан отвести напасти от сирых,
Да слышится весть о счастье от сирых.

Так думает шах, а царские взоры
Спешат между тем окинуть просторы.

Так судьбы страны Бахрам предрешает.
Вдруг видит — вдали ходок поспешает,

Ходок поспешает как-то неровно —
То словно бежит, то тащится словно.

И шах произнес, исполняясь участия:
«Я знаю, что так бегут от несчастья.

А я здесь вблизи сижу и пирую.
Быть может, печаль его утолю я?

Загонщик, седлай коня вороного,
Веди в поводу узорном другого,

Тому чужестранцу коня отдашь и
Доставишь его пред очи пред наши».

Стрелую понесся шахский посланец,
И вот перед шахом пал чужестранец

И, прах лобызая, шахский услышал
Вопрос о стране, из коей он вышел.

Встал путник и всем придворным на диво
Повел свою речь красно и учтиво,

Он в первых словах восславил аллаха,
Затем восхвалил великого шаха,

И всяк, кто ту речь услышал, тот сразу
Ее уподобил блеску алмаза.

Велел властелин присесть чужестранцу,
Еды и питья поднести чужестранцу,

И дичи сполна ему предложили,
И чашу вина ему предложили,

И стало вино ум гостя окрашивать,
И начал владыка гостя расспрашивать.

Куда бы вопросы вдруг ни направились,
Ответы лились свободно и нравились,

И понял Бахрам, речам этим внемля,
Что путник видал все страны и земли.

И, в тысячный раз подивившись путнику,
Промолвил Бахрам, обратившись к путнику:

«О ты, чрезвычайный и несравненный,
Постигший все тайны нашей вселенной,

Твой дух и твой шаг легки, словно ветер,
И радостно нам, что разум твой светел,

Что все он впитал познания мира
И все повидал создания мира.

Но может **быть**, ты о другом расскажешь?
О том, кто ты есть, и о том расскажешь,

Зачем ты идешь в далекие страны
Вдали от жилищ и троп караванных?

Куда ты спешил с усердьем немалым?
Быть может, столкнулся ты с небывалым?

Быть может, столкнулся ты с несравнимым?
Не вести ль о том проносишь ты мимо?

Яви нам приязнь и этой беседой
О том несравнимом щедро поведай.

Ты, видно, известен необычайно,
Ты нам интересен необычайно,

А жизнь человека — ведает каждый —
Великих чудес касается дважды.

Так будь же нам вождь в своих откровениях
И всё расскажи об этих мгновениях».

И путник склонился, прах лобызая,
И молвил: «О мой счастливый хозяин!

Касаешься ты души моей бремени.
Хотел я молчать об этом до времени,

Но всё ты провидишь. Да, я оттуда,
Где мир посетило чудное чудо.

Я видел его, ему удивлялся
И весть о нем в тайне хранить поклялся.

Бреду, одинокий и нелюдимый,
Отшельником, стражем тайны хранимой.

Людей сторонюсь я, дабы случайно
Не выдать до срока дивную тайну,

Ее я ревниво оберегаю,
Степные безбрежья пересекаю,

Надеясь узнать о шахе Бахраме,
Владыке владык, царе над царями.

Все звезды — в коврах у его порога,
И лягу я в прах у его чертога,

И лишь перед ним, могучим владыкой,
Расстанусь я с тайной этой великой.

Ты раньше, чем он, меня вопрошаешь,
Ты разум от сердца мне отрешаешь.

Коль я промолчу, тебя рассержу я,
Но клятву нарушу, коль расскажу я.

Я вижу, что ты избранник аллаха,
Я вижу в тебе все признаки шаха,

И, может быть, ты Бахраму подобен,
Как купол небесный храму подобен,

Но строгий завет нам дан мудрецами:
Подобий нельзя равнять с образцами.

Радушье твое не знает границы,
Силками его пленен я, как птица,

Но я об иной о встрече мечтаю,
Иному поведать речи мечтаю.

О, горе! Скажи, на что мне решиться,
Коль грех мне молчать и грех мне открыться!»

Расцвел властелин при слове при этом
И, яхонты уст наполнивши светом,

Ответил: «О ты, забывший о пристани!
Кто ищет — обрящет, молвят воистину.

Свой смелый зарок ты славно венчаешь,
Ты цели достиг, которой ты чаешь.

Не жаждут, где бьет родник из ущелья,
Не плачут, всходя к порогам веселья,

И пусть твоя речь не будет скупой.
О путник! Узнай — Бахрам пред тобою!»

И путник прозрел: страдал он и брел он,
Но цели достиг — искал и обрел он,

И он восхвалил в восторге аллаха,
Возблагодарил радушие шаха,

И сел, взвеселясь, и начал рассказ он:
Устами припал к земле еще раз он

«О царь! Приступая к повествованью,
Я прежде свое открою прозвание.

Мани — мое имя, и повсеместно
Оно уважаемо и известно.

В ученых познаниях редкий мне равен,
Но я живописец, этим я славен».

Бахрам восхитился. Нежное чувство
Питал он к цветам и линий искусству.

Бахрам взвеселился розой расцветшей,
Как будто бы новую жизнь обретший,

И перед Мани объятья раскрыл он,
Как новую жизнь ему подарил он,

Даров чередой ее украшая
И сладость речей Мани предвкушая.

И молвил Мани: «Не счел бы заслугой
Пройти семь частей подлунного круга

И всё, что молва зовет чудесами,
Узреть и постичь своими глазами,

Когда бы не диво дивное то,
Что видел я в дальнем царстве Хито.

Богатых купцов не счесть в этом царстве,
Но есть там один во всем государстве

Первейший ходжа, чей дом и палаты
Кипят, как моря чистейшего злата.

Прилавки его забиты шелками,
А деньги считает он сундуками,

Горстями он сыплет перлы и лалы,
Таких богачей еще не бывало,

Но дома его богатство великое
Венчает певунья сереброликая,

Первейшее диво целого Чипа
И всем хитоянским мужам кручина.

Мечтанья о ней гнетут их и гложут,
Никто устоять пред нею не может,

Особо тогда, когда она руки
Наложит на чанг и, странные звуки

Из струн извлекая, петь начинает, —
Услышишь, и сердце тлеть начинает,

И, взятые в плен напева и слова,
Всю душу отдать ей люди готовы.

Веками ищи в небесных наречьях
Хвалы для нее — в слова не облечь их.

Хозяин-ходжа с раденьем немалым
Ее паланкин отделал сандалом,

Ее приучил к одеждам особым,
Воздушным, тончайшим и невесомым,

И, словно паря над твердью земною,
Она проплывает, споря с луною,

Звездою Зухра, что взоры пленяет,
Красавица к чангу лик свой склоняет.

Кто молвит: «Зухра!» Кто молвит: «Муштар!»
И лишь для ходжи то диво — товар.

Есть много сумевших скопить богатство.
Готовых и это купить богатство,

Но цену ходжа назначил такую,
Что все отступают, горько тоскую.

Цена ей — оброк годичный Хито.
Такой уплатить не может никто.

С такою ценой за вкус этой смоквы
Лишь хан хитоянский справиться смог бы,

И он пожелал, но все приближенные
Его умолять пришли, пристыженные:

«От траты такой казна разорится
И мощь государства прочь испарится.

Вторично налог собрать невозможно,
Оставить без платы рать невозможно,

Войска разбегутся — враг нагрянет,
А сил отразить набег не достанет.

Себя и державу сгубить недолго.
О хан! Отступишь же во имя долга!»

И хан отступился, понял: не справиться.
Куда уж иным до этой красавицы!

Светлейший владыка, шах справедливый!
Тебе послужить — удел мой счастливый,

Явиться к тебе я принял решение.
Прими же, о шах, мое подношение.

Воде животворной краски доверив,
Писал я на шелке образ той пери.

Хоть с пери живую он не сравним,
Черты его те ж. Так сведайся с ним!»

Рукою прилежной и осторожной
Он сверток достал из сумки дорожной,

Бровями пылинки снял до единой
И встал, развернув пред шахом картину.

И шахово зрение помутилось,
Его разумение помутилось,

И слова он был произнести не в силах,
И взор от картины отвести не в силах,

Чем дольше смотрел, тем дольше смотрелось,
И мука в душе его разгорелась,

Часов проходящих не замечал он,
Молчал и смотрел; смотрел и молчал он.

И, видя его в печали великой,
Воскликнул Мани: «Опомнись, владыка!

Не знает никто, что завтра случится,
Так следует с делом поторопиться,

Не то ускользнуть красавица может,
И горю тогда ничто не поможет!»

Бахрам отвечал: «О друг и кудесник!
Ты счастья гонец и горести вестник!

Картиной твоей и впрямь я пленился,
Мой взор ослеплен, мой ум помутился,

Не дай же беде в груди поселиться
И средство найди, как мне исцелиться.

Тоска меня жжет, нет сил превозмочь ее!
О, как мне узреть то диво воочию?!»

И молвил Мани: «Владыка вселенной!
Купи у ходжи бутон драгоценный.

Ты болен, но знаешь цену лекарства —
Годичный оброк восточного царства.

Коль можешь внести подобную плату,
Немедленно шли посольство туда ты.

Целебная сила с теми послами
Прибудет гасить души твоей пламя.

От дани Хито на год откажись
Иль — горько сказать! — с мечтою протись».

Ответствовал шах: «Не спорят с душою,
Годичный оброк — богатство большое,

Но, больше стократ истратив, я знаю,
Что приобрету, а не потеряю».

И шах отрядил сто самых проворных
И преданных слуг из сонма придворных,

И евнухов царских целую дюжину,
И лучших рабынь, искусниц заслуженных,

И нынче же в путь велел им отправиться,
Умно и с почетом вывезть красавицу,

Внушив хитоянскому властелину
Отдать свой оброк ее господину.

Проникнувшись важностью поручения,
Послы поспешили по назначению,

А шах нетерпением меряет дни,
Картина пред ним, с ним рядом — Мани.

ГЛАВА XIII

О том, сколь совершенна была красота луноликой, которую влюбленный Бахрам узрел в пору, когда свеча свидания осветила уединение услад, а сердца, избавленные от разорения разлуки, раскрылись словно бутоны, приветствуя весну встречи.

Стрелой пронеслось посольство Бахрамово
В пределы Хито. И с начала с самого,

Раскинув шатры вблизи от столицы,
Послы поспешили к хану явиться,

Умно и достойно хана почтили
И волю верховную возвестили.

И с живостью хан на волю верховную
Ответил покорностью безусловною.

С ходжой побеседовали учтиво,
Ему посоветовали учтиво

Принять от владыки почесть великую,
Без торга отдать красу луноликую.

Торгаш был торгаш, как все торгаши,
Деньгами он мерял цену души

И хану вручил газель молодую
За сумму размером в дань годовую,

И тут же послам вручил ее хан,
Дабы сей бутон доставить в Иран.

Удачей послы свой труд увенчали,
Добыв утоление шахской печали.

А шах между тем иссыхал, тоскуя,
Покоя не ведал, вздыхал, тоскуя,

Добычей он всем невзгодам казался,
И день ему целым годом казался,

Терзаясь и мыкая ожиданье,
Он стал словно мукою ожиданья.

Дробятся терпенья его осколки,
Прикованы взоры к лику на шелке,

Вздыхал он, и вздохи шелк волновали,
Как будто черты на нем оживали,

И шах, от любви теряя сознание,
К картине свои обращал стенания.

Он был как в бреду, не ведал покоя,
В любовном чаду не ведал покоя,

Пирь затевал, пил вина помногу,
В тоске застывал, глядел на дорогу.

Чуть облачко пыли там заиграет,
Уж он в нетерпении обмирает

И словно крошится от напряженья,
Как ветхие стены в землетрясенье.

В пожаре надежд пылая, как ветка,
Он пеших и конных слал на разведку,

Но те всякий раз ни с чем возвращались,
И муки Бахрама не прекращались.

Вдруг роскошь дворца темницей оказывалась
И сердце в груди тесниться отказывалось,

И несся он в степь, гнал зверя жестоко,
Но только к востоку, только к востоку.

И встречных в пути расспрашивал жадно,
Надеясь проведать о ненаглядной.

Про город ее и страну услышать
И лютость сердечной боли утишить.

За шаха душой волновался Мани;
Печальями шаха терзался Мани,

Любую возможность отвлечь искал он,
Любую возможность развлечь искал он,

Он диво-былины шаху рассказывал,
Он чудо-картины шаху показывал,

Внимание шахово занимая,
Но шах его слушал не понимая.

Так всякий влюбленный, страстью погубленный,
Желает лишь встречи с нежной возлюбленной,

На углях разлук душа его тает,
А долготерпенье тот жар питает,

Разлука сулит жестокие муки,
Но жжет ожиданье горше разлуки,

И день ото дня слабеет влюбленный,
Огнем ожиданья испепеленный.

Внезапно гонец от дальних границ
Пред царской особой простерся ниц

И молвил: «Всё то, что было мечтою,
Взошло на востоке яркой звездой,

И солнце вот-вот восстанет, и прочь
Исчезнет разлуки долгая ночь!»

И трепет вселился в шахово тело
Такой, что душа на миг отлетела.

Влюбленных, уставших от ожиданья,
Способна сразить внезапность свиданья,

И, чтоб от такой беды уберечь их,
Готовят страдальцев к радостям встречи.

И вот, разодеты и веселы,
Пред шахом гурьбой предстали послы,

Один за другим, от радости плача,
Они поздравляли шаха с удачей,

Воспели пиры хитоянского хана,
Вручили дары хитоянского хана,

Сказали, что дань в указанной мере
Ходжа получил за чудную пери,

Которую, тысяче роз подобную,
Сиянию тысячи звезд подобную,

Ничуть по дороге не утомленную,
Узреть могут очи шаха влюбленные.

Бахрам наградил послов за удачу
Противу надежд их — стократ богаче,

А дивный бутон с серебряным станом,
Доставивший столько мук хитоянам,

В особый чертог в саду проводили,
В особом покое там разместили.

Она повела только взглядом райским —
И сад словно сделался садом райским.

И только успели там разместить ее,
Как шах пожелал войти навестить ее.

Открылись пред шахом тихие двери,
И с бьющимся сердцем вошел он к пери,

Хмелен от любви и смел от вина,
Вошел он, ему навстречу — луна.

Та пери живая, не утаю,
Ему показалась раем в раю,

Прекраснейшим раем, в плоть воплощенным,
И солнцем самим, к нему обращенным,

Любви волшебством с головы до ног,
Красы торжеством с головы до ног.

Прическа лилась благовонным мускусом,
Подобная ста караванам с мускусом.

Нет, мускуса было больше — так много,
Что он затопил пространство чертога!

И локоны с мускусом пополам
В силки завивались буквами «лам».

Чело — словно спор зари и тюльпана,
Миндалины глаз — два быстрых джейрана,

Зрачки, как хотанский мускус, черны,
Близ скул капли родинок чуть видны,

В них радость вечерней встречи темнеет,
А ниже лицо, как утро, светлеет

Подобьем раскрывшегося цветка.
А губы ее как два лепестка,

Наполненных свежестью молодою,
Манящих, как чаши с живой водою,

Испить из которых — милость небес,
Отдавших указ, чтоб мертвый воскрес.

А рот меж губами еле заметен,
Нет в этом рубине сверла отметин,

Для речи открывшись едва-едва,
Рождает он перлы, а не слова.

Кто видел рубин, что перлы рождает?
Кто зрел лепестки, что жизнь возрождают?

Судьбы каллиграф сей розе всех лун
Обвел подбородок буквою «нун».

Поставил он точку буквы чуть выше,
Поставил он дужку буквы чуть ниже,

И точка устамч сделалась кротко,
А дужка — ямочкой на подбородке.

Росою прохладной в недрах той точки
Блистала зубов жемчужных цепочка.

Тончайшие брови в райской красе
Сошлись, словно арка пред медресе.

Нет! Словно михраба радуга горняя!
И мушкой над ними — родинка черная.

Зухра и Муштар на своде небесном,
Подвески серег горели чудесно,

Лицо солнцевидное обрамляя
И взор растерявшийся соблазняя.

А стан — стебелек из райского сада,
Колeblesь, мерцал такую усладой,

Такой светлотой, как будто пред вами
Блаженства любви колышется пламя.

А талия нитью неуловимой,
Для глаз и для пальцев неощутимой,

Вилась бесподобно и несравненно,
Укрыта в туман шелков драгоценных.

А лона ее жемчужный цветок
От взоров таил лазурный платок.

Халат ее дивным дивом казался,
Фиалковым цветом переливался,

Бесценные камни на нем сияли,
И разум, и взор они ослепляли,

И тех, кто бы смог не пасть перед ней,
Убила бы яркость этих камней.

Не пери она, не гурия нежная,
А яд беспощадный, смерть неизбежная,

Рубин ее уст окрыляет душу,
Но стрелы очей умерщвляют душу,

Живую водой уста ее млеют,
Но горе тому, кто к ним вожделеет!

И эта краса, безумство вселяющая,
Убранством нездешним ошеломляющая,

Плеснулась пред шахом нежности морем,
Покорна ему, как он ей покорен.

И, пав перед ним, осталась лежащей, —
Зовущей, влекущей, принадлежащей.

И шах, красоту воочью увидев,
Ту деву-мечту воочью увидев,

С таким же томленьем к ней устремился,
С каким пред картиной чудной томился.

Уж ежели образ пери на шелке
Терзал его душу мукою колкой,

То мог ли он медлить, мог ли не взять ее
Сей миг в стосковавшиеся объятия?

И здесь я скажу: когда к Диларам
В покои вошел влюбленный Бахрам,

То не было лишней живой души там,
А вход, затворясь, остался закрытым.

Рвались ветерки — чертог не впустил их.
Что случилось в тиши, я молвить не в силах.

Рассказов моих о том не просите,
А думайте сами — сообразите.

Лишь отроду глупый не представляет,
Какое вино в любви утоляет,

А умный смолчит, хоть умным то ведомо.
На том и закончим эту беседу мы.

ГЛАВА XIV

О том, как шах Бахрам рыдал от сладчайших напевов розоликой утренней звезды, птица его устремлений день от дня всё отчаянней запутывалась в сетях ее чанга, сердце его, бнясь о струны души, исторгало из них стена-ния, и, чем звонче пел чанг луны всех роз, тем горестней звучал стон его душевной муки.

Добился и здесь удачи владыка,
Усладу любви испив с луноликой.

Он вновь подружился с хмелем и музыкой,
И пир закужился с хмелем и музыкой.

Порою в своем дворце горделивом,
Порою в ее чертоге счастливом,
Подобном садам божественной пери,
Он праздновал, веря сам и не веря,
Что птица любви, прекрасна собою,
Ему суждена капризной судьбою.
Отведав вина, его розоликая
Вдвойне красотой сияла великою,
И выгнутый чанг к себе привлекала,
И чудную песнь из струн извлекала.
А чанг тот подобен был в совершенстве
Суфию, согнувшемуся в блаженстве,
И пенью его, подобно суфию,
Владыка внимал, пригнув свою выю.
Подобно суфию, он очищался,
Подобно суфию, он наслаждался
И, о чистоте души беспокоясь,
Втройне обвивал потуже свой пояс,
Радел, вознося вину благовестие,
Усердней пьянчуг, погрязших в нечестии.
Он блюл свою верность винному вкусу
С ретивостию рабов Иисуса,
Над кубком склонялся ночью и днем,
Как огнепоклонник перед огнем,
Поддерживал чанг певучими фразами,
Лишавшими ближних веры и разума.
А чанг этот пел на фениксов лад,
В чьем клюве цевниц шесть раз шестьдесят,
При каждой цевнице по триста струн —
Любая поет, как сам Афлатун,
Любая, одна другой благородней,
Поет свою песнь во славу господню,

И песни летят дорогой прямою
Вдоль райских садов на небо седьмое.

Да, чанг очарованный пел, как феникс,
Весь мир сожигая, горел, как феникс,

И лопались струны в этом горении,
Рыдая в восторге чудного пения.

Один лишь павлин, прекрасная птица,
С тем фениксом в пенье может сравниться,

Но феникс сильнее в распевности дробной,
Во всем соловьиной трели подобной.

И слала газель на чанге своем
Струну за струной греметь соловьем.

И пела, и таял слух государя
От пенья павлина с фениксом в паре.

Во взорах ее ища вдохновения,
Без розы Бахрам не жил ни мгновения,

Он взгляд услаждал ее лицезреньем,
Он слух свой питал одним ее пеньем,

Был дух его скован, слух очарован,
А взгляд его страстью был околдован.

Она отлучится — уж он бледнеет,
Она возвратится — он пламенсет

И истинно пьет с рубиновых губок
То счастья глоток, то радости кубок.

Она удалялась — вмиг угасал он,
Она появлялась — вмиг воскресал он,

И млея он под чанг своей солнцелицей,
Мечтая душою с музыкой слиться.

Порой средь цветов нежнейших названий,
Порой средь садов на дивном айване

С луною всех роз беседовал он,
Как с солнцем, взошедшим на небосклон.

Чуть молвит она — уж он расцветает,
А чуть запоеет — он в трепет впадает.

Как прежде, он часто в степь отправлялся,
Как прежде, охотой он забавлялся,

Но, даже с копьём преследуя зверя,
Не мог оторвать он взгляда от пери.

А роза-луна при том, что красива,
Была и скромна и неприхотлива,

Пред ней уж стелились степи хотанские,
Теперь полюбились степи иранские,

Простые тюльпаны душу ей радовали,
Здоровья ее — ветра не обкрадывали,

И, будучи всюду спутницей шаха,
Она отправлялась в степи без страха.

А шаху то было первое дело —
Потешиться ловлей, быстрой и смелой,

И оба они один только отдых
Душе находили в дальних походах.

За зверем носился шах по пустыне,
Она же качалась в паланкине,

И царь, возвратясь при добытой дичи,
Ее становился славной добычей.

Завидя царя, подруга кричала,
Владыку веселой шуткой встречала

И степь оглашала радостным пеньем,
Любуясь убитым львом иль оленем,

А шах принимал в восторге хмельном
Из рук розоликой чашу с вином,

Чтоб доблесть хмельною влагой измерить
И пыл своих чувств горящих умерить.

Но пыла того вино не стреножило,
Оно его вдвое, вчетверо множило,

И вот, подоженный песней-подарком,
Бахрам возгорался пламенем жарким,

Вздымал свой огонь к небесному своду
(У влюбчивых душ такая природа)

И шел со своей любимой вдвоем
Надолго в шатре укрыться своим.

Ну, как не предаться милым уладам,
Коль роза всех лун находится рядом!

Но что-то неладно делалось с шахом,
Разлуки он весь проникнут был страхом.

У встреч есть и боль, и переживанья,
Но горше стократ боязнь расставанья.

На миг отвернется роза — не более,
А сердце Бахрама полнится болюю.

Газель к нему вновь свой взор обращает,
Он счастлив, а сам — ту боль ощущает,

Уж роза при нем и ночью и днем,
А боль всё нет-нет да жалит огнем.

С безумной загадкой бился он, маясь:
Как вечно встречаться, не расставаясь?

А червь-то возник, а боль-то всё капает,
Царь рвет воротник и сердце царапает.

Дошло до того, что, мучаясь, шах
Забыл о важнейших царских делах,

Забыл о законах, о правосудье,
Забыл о простом и воинском люде.

Три года так шло. К четвертому году
Молву понесло гулять по народу,

Усилились толки да пересуды:
Мол, нету защиты бедному люду,

Мол, если любовь царем овладела;
То правду искать — пропащее дело.

Над нами любовь царит безгранично,
А царь ты иль нищий — ей безразлично.

Всё ветру любви по силам и впору,
Равно он несёт пылинку и гору,

Всё рекам любви сдается униженно:
И пышный дворец, и жалкая хижина,

Любовь с муравьем равняет дракона,
Любви ни о чем все наши законы,

И царь со своей державною волею
Любви только раб и пленник — не более.

И шах позабыл геройство былое,
Гас доблестный пыл под пеплом-золою,

Одна у него осталась забота —
С прекрасной газелью пир да охота,

Чтоб ловчий успех она награждала,
Чтоб музыкой слух его услаждала,

Чтоб в хмеле цвела игривость великая
И чтоб весела была лунолика.

Мы мним, что вино нам жизнь украшает,
Меж тем ведь оно нас воли лишает,

А если вино сойдется с любовью —
Всё сгинет, что добыл потом и кровью.

ГЛАВА XV

О том, как шах Бахрам потерял путь разума меж вихрем любви и потоком хмеля, а также о том, как газель, унизив льва дерзкою насмешкою над его ловчим подвигом, неосторожно обрушила на себя львиный гнев и была брошена связанной в степи, подобно оленю, угодившему в западню посреди своего исконного пастбища.

Шло время. Бахрам по целым неделям
Себя затоплял любовью и хмелем,

Отдавшись пирам, в горячке томления
Из рук упустил бразды управления.

Оставшись без властной шаховой хватки,
Иные чины забыли порядки,

Нарушили все указы державные
И стали чинить злодеяния бесправные.

Обрушились вновь на бедную паству
Поборы, мздоимство, самоуправство,

Про черные дни пошли разговоры.
Вовсю расплодились алчные воры

И, пользуясь смутой и попустительством,
Пустились в разгул, занявшись грабительством.

Явились пьянчуги около храмов,
Они заглушали речи имамов

И в диком угаре пьяного блуда
Тащили в кабаки святые сосуды.

Размножились волки, львы и шакалы,
Ни пастыря там, ни стада не стало,

И, верные долгу, шаху покорные,
Царю донесли об этом придворные

И не умолчали в честном докладе,
Что ропщет народ, на правящих глядя.

Задумался шах. Всерьез и надолго
Проснулось в нем чувство царского долга.

Он понял, что быть царем и владыкой
Мешает ему любовь к луноликой,

Он понял: ему уже не избавиться
От сладостных чар желанной красавицы!

Он гибнет, попав в тенета прекрасные!
Он — да! Но при чем народы подвластные?

Ему не спастись, любви не унять ему,
Но что для других пора предпринять ему?

Что сделать ему, любовью больному,
Дабы не страдать всему остальному?

С короной расстаться? Нет, невозможно.
С желанной расстаться? Нет, невозможно.

До боли душа царя напрягалась.
Меж тем и опасность всё надвигалась.

Он думал: «Коль царство оберегу я,
Найду и луну, и розу другую.

Да! Лучшую розу нежу в руках я,
Но лишь потому, что царственный шах я.

Коль елавного трона сего лишусь я,
Я розы лишусь и всего лишусь я.

Коль царь пуще власти женщину любит,
Он сам пропадет и царство погубит.

Кто хочет сопрячь величье и негу,
Тот попросту лепит свечи из снега».

И сам от себя ту истину пряча,
Бахрам тяготиться негою начал.

Не дружит любовь с верховным владычеством,
Любовь недоступна царским величествам,

Любовь — это дар для бренного люда,
С любым бедняком творит она чудо:

Он жизни укладом пренебрегает,
Он раем и адом пренебрегает,

Он только любви в ответ вожделеет
И душу отдать за то не жалеет.

Влюбленный ликует, жизнь отдавая,
А царь торжествует, овладевая.

Влюбленные, жизнью не дорожим мы,
Владыки же не дорожат — чужими,

Мы можем любить, всю душу даря,
Но это немислимо для царя.

По-прежнему шах в степи веселился,
Но замысел черный в нем поселился,

По-прежнему он носился за дичью,
По-прежнему брал любую добычу,

По-прежнему чашу пил от любимой, —
Но тайной и тяжкой мукой томимый,

Однажды в степи гарцевал Бахрам,
С ним рядом была его Диларам.

Глядит он и видит — олень могучий
Стремится, подобно звезде падучей.

Зорчайший, набивший твердую руку,
Бахрам знаменит был в стрельбах из лука,

И мог он навскидку, с первого раза
В бегущую цель попасть по заказу,

Шутя поражал по слову хотенья
Любой волосок на теле оленя.

И вот он, хмельной, сказал луноликой:
«Вот мчится олень. О роза, вели-ка,

Куда мне стрелу направить мою!
Вели! Как закажешь — так и убью!»

И роза, смеясь счастливо и звонко,
Сказала царю игриво и тонко:

«Он быстро бежит. Копыта стреножь ему,
А после всади под горло свой нож ему.

Стреножь и всади, не сходя с коня
И здесь оставаясь, возле меня».

Та шутка-загадка розы прекрасной
Сей миг для Бахрама сделалась ясной,

Стрелу, улыбнувшись, взял он точеную,
Легко натянул тетиву крученую,

И, прынув, стрела настигла оленя
И с лету прожгла оленю колени.

Конечно, она его не убила,
Но всё ж бегуна приостановила,

А царь, натянув тетиву тугую,
Вослед той стреле направил другую,

Вонзилась стрела оленю под горло,
Добила его и мертвым простерла.

Вот так по заказу царственной пери
Промыслил Бахрам завидного зверя.

Об этой стрельбе умельцы и судьи,
Не веря себе, твердят как о чуде,

И кубок царю за это был налит.
Все ждали, что роза шаха восхвалит,

Но роза, привыкнув цвезть-красоваться,
Успела, к несчастью, избаловаться,

Ни руку царю не обლობызала,
Ни чанг не взяла, а громко сказала:

«Ну, кто же дивиться этому станет!
Ведь шах наш — стрелок! Тем только и занят»,

Как будто бы выстрел тот знаменитый
Не подвиг, а дело руки набитой.

При этих не в меру дерзких словах
Обиделся шах, нахмурился шах,

И плечи его заметно пригнулись,
И брови его, как лук, натянулись.

Но пери при виде гневного вала
Продолжила, как ни в чем не бывало:

«Обиды я в том не вижу царю.
Ведь я же всё правильно говорю!

Когда я на чанге звонком играю,
Я нежностью сердце вам раздираю,

Искусство мое не знает изъяна,
Поскольку играю я постоянно.

И царь наш, отдавшись ловчим утехам,
Вседневности их обязан успехом».

В ответ на слова ее таковы
Бахрамова ярость как с тетивы,
Как громом в упор ее поразила,
Что дважды подряд царю надерзила!

А в гневе Бахрам не ведал пощады,
Мертвел весь Иран от царского взгляда,
Ни удержу царь не ведал, ни милости,
Ни меры законной, ни справедливости.

И он пожелал с усмешкою злобною
Зарезать ножом газель бесподобную,
Но кто-то сказал, собою рискуя,
Что мир не одобрит кару такую.

Другие ж, из тех, что шаху прислуживали
И к скорым расправам вкус обнаруживали,
Схватили бывшее великолепье
И прочь повлекли бескрайнею степью

Туда, где, как стрелы, колются травы,
Набравшись в песках соленой отравы,
Туда, где к костям приводят следы,
Где сутки бреди — не сыщешь воды.

Связали там розу ее же косами
И бросили кверху пятками бóсыми.

Ах косы, те косы — людей погибель!
Теперь они стали и ей погибель.

Исполнив сие, негодники прямо
Помчались с докладом к шаху Бахраму,
Но шах, вне себя от гнева и пьянства,
Не внял исполнителям окаянства,

Укрывшись, он пил и пил до заката,
И гнев его бил и бил до заката,

Так день и прошел в питье постоянном,
И рухнул Бахрам в беспамятстве пьяном,

Проспался. Хотелось выпить с похмелья.
Где ж роза? Где лик ее над постелью?

«Где роза? — спросил. — Где месяц мой ясный?»
Забыл он про свой поступок ужасный.

Открыли ему вчерашнее дело,
И тут у него в глазах потемнело,

С трудом он припомнил, что же случилось,
Представил себе, как всё получилось,

И понял, что в гневе буйном и пьяном
Нанес себе сам смертельную рану.

«Всю степь обыщу, — воскликнул он, — дикую!
Найду, отыщу свою розоликую!

Найду, отыщу, все пути порушу,
Отдам ей свою скорбящую душу!

Живую найду — паду на колени
И буду просить, просить о прощенье!

А мертвой найду — так возле могилы
Вот этим ножом вспорю себе жилы!»

Но в дело вмешалась честь государя.
Цари не рыдают, по степи шаря,

Никак не пристало шаху Бахраму
Набраться стыда такого и срама.

В пустыню любовь толкала упорно,
Но разум твердил, что это зазорно,

Душа перед милой пасть призывала,
Но разума сила одолевала,

И сердце царя со скорбными стонами
Металось, как бабочка меж драконами.

Меж долгом и чувством рознь положив,
Бахрам цепенел, ни мертв и ни жив.

ГЛАВА XVI

О том, как шах Бахрам, отрезвев и очнувшись от ужасного наваждения, огорчился и, устыдившись содеянного, бросился в степь искать кипарисоподобную газель, а не найдя ее, лишился рассудка от горя.

Итак, совершил владыка деянье,
Достойное горького посмеянья.

Два дня он блуждал меж мраком и светом,
Не ведая сам, что думать об этом,

И только на третий понял сполна,
Какие надвинулись времена.

Нахлынул набег любви, разоряя
Владенья души от края до края.

Он думал, что царство разом окрепнет,
А вышло, что сам он глохнет и слепнет,

Пустился в моря, надеясь на прибыли,
Но сам оказался прибылью гибели,

Большие доходы прочил от сада,
Но всё, что взрастил, погибло от града,

Ударили следом молнии-стрелы,
И, что не побито, всё погорело,

Просил он у бога камень-алмаз,
А рок тот алмаз вонзил ему в глаз,

Он сталь обнажил во имя державы
И — в сердце вложил обломок кровавый,

Хотел волосок поправить над бровью
И — насмерть умылся собственной кровью.

С небес в свою тень вглядевшись, как коршун,
Царь понял: нет доли жалъче и горше,

Измаяли тело корчи страданий,
Изъедено сердце порчей рыданий,

Друг друга душа и тело чуждаются,
А сердце равно от них отрекается,

Несет от судьбы — загнившей виною,
И стал он готовой, лопнуть струною,

От стона его небеса крушатся,
А скулы, от слез намокнув, крошатся.

Не в силах унять мучения тайные,
Владыка понесся в степи бескрайние,

Понесся туда, где розу наказанную
На волю судьбы покинули, связанную,

Понесся из пут несчастную вызволить
И, пав перед ней, прощение вымолить,

А если мертва она, то достойным
Почтить ее плачем зауспокойным,

Воздвигнуть прекрасный храм и гробницу,
Предать кипарис земле, как царицу,

И, слезы пролив над свежей могилой,
Покончить кинжалом с жизнью постылой,

Дабы с кипарисом тем бесподобным
Забуть о разлуке в царстве загробном.

От края до края степью прошел он.
Увы! Кипариса там не нашел он.

Ведь тот кипарис, как все кипарисы,
Лелеемый рос меж роз и нарциссов,

А в дикой степи, где зной пламенеет,
Найти кипарис и шах не сумеет.

Поняв, что его порывы бесплодны,
Ударился оземь шах благородный,

Завыл и задергался, сокрушенный,
Фархад, лицезренья Ширин лишенный.

В бессильной тоске соль горя глотал он,
Себя по щеке ладонью хлестал он

И громко вопил, простершийся ниц,
Не слезы, а кровь лия из зениц:

«О, как же я мог решиться на это!
Лишил свои очи ясного света!

Кто вынул кинжал и в грудь себе тычет,
Тот смерть на себя, несчастный, накличет!

Пример незавидный, злая кончина!
Кто так поступает, тот не мужчина!

Так что ж! Я отдам кинжал укоризне!
Пусть гасит она свечу моей жизни!

Ведь тело душа тревожит ранимая
Не так же ль, как душу тело казнимое?

О тело! Не клянчи сталь оголенную!
Покончит с тобой душа уязвленная,

И ты свой конец обрящешь, просимый,
От скорби душевной невыносимой.

Так хочет мой рок, а рока сужденья
Не знают пощады и снисхожденья.

Глотай же под дрожь предсмертных рыданий
Губящую хладность предначертаний,

В них нет ни добра, ни великодушья —
Иначе бы я не чуял удушья,

Над ними любовь не ведает власти —
Иначе бы мрак мне очи не застил.

Вот слезы мои — как звезды бесчисленны!
Вот счастье мое — погибло бессмысленно!

Оно от меня укрыто землею.
Земля, расступись! Я стану золою!

Мне мир безразличней битого камня,
Без милой моей душа не нужна мне,

Душе ж отлететь нейдет — ей-богу!
И сердце в груди не бьется — ей-богу!

Увы! Без тебя, о роза любимая,
Я мертвое тело, зноем палимое,

А мертвому телу солнце немило,
А мертвое тело хочет в могилу!»

Бахрамовы крики боль источали
Меж войском скорбей и ратью печалей,

Забыв о стране, твердя о потере,
Он рыскал в степи, как дикие звери,

О горе твердя, не помня о троне,
Безлюдную степь он принял в ладони,

Он выл от стыда, как будто бы хором
Кричат города, застигнуты мором.

И всё население шахской столицы,
Увидя, как царь в пустыне томится,

Отправилось в степь припасть ко властителю,
Оставив дома, забросив обители.

Всё небо, где нет звезды Диларам,
Созвездьями слез усыпал Бахрам.

А темень и впрямь нахлынула вскоре,
И сделалось небо черным, как горе,

И, глядя, как тьма ночная сгущается,
Почуял Бахрам, что с миром прощается,

Что, отданный в плен печали недужной,
Скиталец он, тлен, пустой и ненужный,

Что жизни его остатку название
Отныне одно — часы расставанья,

Что тьма по лицу земли простирается,
Что воля к дыханью смолкнуть старается,

Что тысяча Хызров солнцеподобных
Вернуть ему свет и жизнь не способны.

Уж коль задымится неба утроба,
Найти, чем дышать, не мни и не пробуй,

Небесного дыма не переспоришь,
Будь Хызром самим, а — смерть не поборешь.

И может быть, взор не в ночной темнице —
В дыму от жаровни разлук темнится?

Ведь если разлука в сердце пылает,
То дым от нее весь свет застилает,

А лучшее топливо для разлуки —
Влюбленных тела, сухие от муки.

И жар от разлуки сушит влюбленных,
А дым, что над жаром, душит влюбленных.

О, жар этот, жар, пустой и мучительный!
О, дым, удушающий и губительный!

Не этот ли дым, не это ли пламя
В ту ночь закружились в шахе Бахраме?

Народом тревожным и страдающим
Был поднят шатер над шахом рыдающим,

А после — народ угнали подале,
И вот потянулся вечер печали,

И люди мрачнели, ошеломленные,
И прятались в щели уединенные.

Осталась лишь горсть придворных угрюмых —
Кто в горьких слезах, кто в горестных думах,

Одни из них розу злом поминали,
Другие шайтана вслух обвиняли,

И всяк за свое держался упрямо,
И всяк почитал безумным Бахрама,

И все друг за дружкой духом упали,
И все друг за дружкой позасыпали.

Один лишь Бахрам бессонные муки
Вкушал, задыхаясь дымом разлуки.

ГЛАВА XVII

О том, как длилась ночь разлуки, упреков совести и приступов тоски в душе Бахрама, а также о том, как его, бесчувственного от безумного плача по совершеннейшей, столпы государства увлекли в столицу, питая надежду исцелить своего господина.

В тот вечер, когда тоска и унынье
Повергли Бахрама в дикой пустыне,

Великая тьма всем миром владела,
И не было ей конца и предела.

Горела разлука в сердце Бахрама,
А дым достигал небесного храма,

И звезды, плывя извечной стезею,
Мешались с кровавой шахской слезою.

Орда его слез в степи его бдений
Прогнала от глаз войска сновидений,

Но тщетно гасил он теми слезами
Разлуки постылой жгучее пламя.

Влюбленного слезы не охлаждают,
Не гасят огонь они, а питают,

Недаром есть слух, что слезы горючи.
Да, пламя от них особенно жгуче.

Тоска осадила царскую душу,
Оплот его силы бивнями руша.

С надеждою смотрит царь на дорогу,
Но там не спешат друзья на подмогу.

Уж если разлука заполонила,
То будешь ей раб до самой могилы.

В высоком шатре владыка укрылся,
В глаза поглядеть он людям стыдился,

Упал и лежал, лицо свое пряча,
Всем телом дрожал от горького плача,

Отдавшись беде, рыдал безутешно,
Бнясь в темноте немой и кромешной.

Бахрам горевал, терзаясь и маясь,
Он ворот порвал, от слез задыхаясь,

Всю грудь он в клочки изрезал ногтями,
Себе в кулаки впивался зубами,

Крушил, обивал углы головою
И волосы рвал, придушенно воя.

Огнем голова горела, побитая,
Вся свежими ссадинами покрытая,

Его существа отроги высокие
Ущельями грызли боли жестокие,

И сотни цветов от семени боли
Избитую плоть шипами кололи,

А поздняя тьма бесстрастно смотрела,
Как сходит с ума несчастное тело.

А он продолжал терзаться и биться,
Надеясь хотя б от боли забыться,

Но сник, утомленный, в землю уткнувшись,
Под вихрем беды душой пошатнувшись.

Но он не смирился, а обессилел,
Без розы весь свет ему опостылел,

Он тропы печали молча изведывал,
Он памятью сердца с милой беседовал,

От кос ее черных скорби особые
В унынии каждым волосом пробуя,

Из воплей плетя арканы напрасные
И тщетно меча их в небо безгласное.

Сводило его теперь пополам,
Подобно серпам бровей Диларам,

Сравнимых с одной луной молодой,
Но только сводило теперь — бедою.

Могла его роза взорами пряными
Заставить сердца помчаться куланами,

Те взоры и шаха с места срывали,
За то его люди «гуром» и звали.

Ресницы ее как стрелы каленые,
Рядами во грудь факира вонзенные,

И стало любой из стрел невозбранно
Бахраму нанести особую рану.

Сквозь слезы лицо ее вспоминалось,
Как будто бы солнце в тьме загоралось,

Но била слюна кровавая снова,
Как будто луна всходила багрово.

Двух родинок зернь на скулах у милой
Всю зрячую чернь в зеницах затмила

И немо плыла, плыла пред глазницами,
Как будто пришла, чтоб стать в них зеницами.

Уста ее были лалами алыми,
И слез избылье сыпалось лалами.

И степью катилось, прячась под травами
Великой тоски следами кровавыми.

А рот ее — меньше родинки малой,
Его и не разглядишь-то, бывало,

И вот его след как в точку сомкнулся
И в небытие навек окунулся.

Шах вспомнил, как зубы светились жемчугом,
И слезы его покатались жемчугом,

И жемчуг сего стенания вящего
Виски побелил у шаха скорбящего.

Он пел о своей пропавшей возлюбленной,
Он выл, точно зверь булатом подрубленный.

Те песни живым гроба разверзали,
Где мертвые в ужасе воскресали.

О ямочке пел он на подбородке,
Ломая души последние четки,

И четки души, хрустя, разлетались,
Осколками боли в сердце вонзались.

Тростник его жизни ломался тонкий,
Когда ему стан вспоминался тонкий,

О лучших на свете цветах забыл он,
О собственной жизни садах забыл он,

Припомнив, как стан ее изгибался,
От мук иссыхая, он извивался.

Была она ящеркой бирюзовой,
А он стал шуршащей кожей гюрзовой,

Была ее кожа как снег бела,
Слеза же его — как ртуть, тяжела,

И всё серебро казны его силы
Та ртуть, растворив, с собой уносила.

Когда вспоминал он чанг ее гнутый,
То корчился сам и странно, и круто

И душу свою натягивал струнами,
И струны звенели звуками странными,

Неслыханной песней он раздражался,
Невиданной хворью он заражался

И тщетно молил у мрачного рока
Целительных средств от боли жестокой.

А хворь разгоралась пуше и пуше,
А горечь сбиралась гуще и гуще,

И, слез ощущая жгучую сладость,
Бахрам в изумленьи зрел свою слабость.

«О, что за тоска и где ей предел!
О сильный мой дух! Иль ты оскудел?»

Не мой ли то взгляд с высокого трона
Сминал в муравья любого дракона?

И вот совершилась доля моя:
Драконом любви я смят в муравья.

Не я ли один вот этой десницей
Справлялся с двумя: со львом и со львицей?

Но памяти лев и львица тоски,
Играючи, рвут меня на куски.

Не я ли на вечный срам узкоглазым
Все полчища Чина смалывал разом?

Но туфля любви ударом носка
Смела моего терпенья войска.

Я верил в себя, в аллаха, в победу,
Преодолевал потери и беды,

Себя не жалел, других не жалел,
Но рок изнутри меня одолел.

Я дымом давлюсь, я чахну от стона,
Желает ослепнуть ум исступленный,

Я мрака прошу, я боли хочу
И в долгие казни душу влачу.

А казни черны, как локоны пери!
Не снести мне вины, не снести мне потери,

В тоске я грызу прах тверди земной,
А сердце ушло во тьму за луной.

У смерти оно теперь на границе,
И с ним мне пора бы соединиться,

Мне страшно и душно в сумраке сем,
Мне тошно и скучно в сумраке сем,

Устал я терзаться, плакать и биться,
Пора бы мне сном навеки забыться.

Судьба! Обнажи клинок роковой!
Стою пред тобой в могиле — живой.

О сталь! Я трава в пустыне могильной!
Слети, голова, с опоры бессильной!

О слуги мои! О беки придворные,
Приказам моим от века покорные!

Вы хлебом и солью шаху обязаны
И выполнить волю шаха обязаны!

Не вы ли клялись при первом же случае
И доблесть явить, и силу могучую?

Так где ж ваши сабли, дуги стальные?
Иль ваши ослабли руки стальные?

Не будьте моих терзаний свидетелями,
А станьте в последний час благодетелями!

Вот сердце мое, присохшее к ребрам!
Покончите с ним мечом своим добрым!

Пусть муки мои угаснут навеки!
Дарю свою кровь вам, верные беки!

Дарю свое сердце вашей деснице,
А мне лишь моя вина да простится.

Ведь вы ж мусульмане! Где ж ваша вера?
Иль дружества в вас неполная мера?

Прошу я, как друг, услуги сердечной!
Избавьте от мук тоски бесконечной!»

И так до утра кричал он и бился,
Мешался с землей и кровью давился,

Услышал рассветных птиц щебетанье,
Бессильно поник и пал без сознания.

Лежал он незряч, недвижим и нем,
И многим казался мертвым совсем.

Народ огорчился, люди встревожились,
О царской кончине слухи размножились,

Но, прочь отвергая слух этот вздорный,
Цари оставались шаху покорны,

А беки, что верно шаху служили,
Почтенные головы обнажили,

Почтенные бороды ощипали,
В печаль и расстройство черное впали.

Но, главную видя пользу служения
В исканье исхода из положения,

Решили собрать совет мудрецов,
Чтоб дело со всех обдумать концов,

Решили лечить великого шаха
И в том уповать на милость аллаха.

Но так как в степи лечить невозможно,
То шаха приподняли осторожно

И прочь унесли из голой пустыни
В целебном сандаловом паланкине.

В дворцовом саду, средь роз и средь лилий,
Поставили трон, ковры постелили,

И шах там сидел в беспамятстве полном,
Зловещей горячки отданный волнам,

А люд обсуждал неслыханный случай
И смуты со страхом ждал неминучей.

ГЛАВА XVIII

О том, как разлука с периподобной день ото дня усугубляла умственное расстройство шаха, о том, как врачи и целители несчетными трудами частично вернули ему здоровье телесное, а также о том, как по их совету князь семи частей подлунного мира начали строить семь дворцов, любуясь ростом которых верховный повелитель обрел бы опору в поисках здоровья душевного.

С трудом восседал Бахрам на престоле,
Ни памяти он не чуял, ни воли,

Престол ему твердым торцом казался,
И сам он себе мертвецом казался,

Которого зря сюда посадили,
Которому место только в могиле.

А время уж к вечеру приближалось,
При мысли о тьме душа его сжалась,

И снова беду вспоминать он начал,
Метаться в бреду и стенать он начал.

Вновь корчи свели, нахлынул припадок,
И речи пришли в больной беспорядок,

Все боли, что за́ день были накоплены,
На волю рванулись дикими воплями,

Пределы подлунной вихрем покинули
И звезды с их мест насиженных сдвинули.

Как стрелы, в глаза светил небосклона
Вонзались, дрожа, Бахрамовы стоны.

И вновь, как кебаб, он прежние муки
Вкушал над жаровней горькой разлуки,

И звезды не плавно плыли и ровно,
А, криков пугаясь, дергались словно.

И так до утра с ним худо творилось,
А утром беспамятство повторилось,

И вновь он сидел одеревенело
И слушал, как жизнь уходит из тела.

И несколько дней подряд это длилось,
В душе у Бахрама что-то сломилось,

И всё, что в нем было твердое, цельное,
В осколки дробило горе смертельное.

Порвались здоровья прочные нити,
Он сам был не в силах соединить их,

На память его обрушилась тьма,
Он начал входить в расстройство ума.

Томительно шли за сутками сутки,
Болела вся плоть, мутилось в рассудке,

Стал в теле комок тепла истощаться,
Царь больше не мог кричать и метаться.

Не стало осанки царственно статной,
Он только шептал темно и невнятно

И слезы ронял, вкопец искудавший,
Лишь тенью Бахрама прежнего ставший.

Он путал слова, прозванья и числа
И в речи чужой не чувствовал смысла.

Визирям, доверием облеченным,
Казался Бахрам — увы! — обреченным,

Но всё же, найти надеясь лекарство,
Созвали совет столпы государства,

Созвали людей ученого звания,
Искусных во всех делах врачевания

И сильных в иных познаниях к тому ж.
Их было числом четыреста душ.

Вот сели врачи и в слух превратились,
Столпы государства к ним обратились:

«Наш царь милосердный и справедливый
Всё делал для вашей жизни счастливой,

Всегда исполнял он ваши желанья,
Оказывал честь и благодеянья.

Он так поступал, казну свою тратя,
Не слов благодарности вашей ради,

А с тем, что когда худое случится,
Когда на него недуг ополчится,

То вы сообща недуг укротите
И бедствие злое предотвратите.

И вот наступили дни эти черные.
Так что же! Ответьте делом, ученые!

В ответ на дары царицы и дружбу
Пора сослужить вам верную службу.

Прослыша о вражеском приближении,
Мы дружно пойдем за шаха в сражение,

Мы в сече погибнем иль победим,
Мы собственной жизни не пощадим,

Но, как призывают честь и отвага,
Живыми назад не ступим ни шагу!

Того ж и от вас мы ждем, говоря:
„Ученый народ! Спаси нам царя!“»

Ученые люди не промолчали,
А посовещались и отвечали:

«Вы правы во всем, герои и воины!
Высоких похвал речь ваша достойна,

Но хворь от любви с разлукою купно
Науке — увы! — пока недоступна.

Не гасят огня любовной отравы
Ни мази, ни заговоры, ни травы.

Горенье сердец от мук расставанья
Способны залить лишь воды свиданья.

Когда возникает хворь естества
От дурнослужения вещества,

Такого больного, взяв его в руки,
Мы лечим по всем законам науки.

Пред нами ж — огонь, любовная хворость,
Все снадобья ей — что пламени хворост,

Но мы от больного не отрекаемся,
Мы всё же лечить его попытаемся,

Мы будем, как вы, за жизнь его биться,
Мы сделаем всё, чтоб не ошибиться,

И эту начнем великую битву
С того, что прильнем к аллаху с молитвой,

Чтоб он исцелил главу государства,
А после возьмемся и за лекарства».

И вот мудрецы, исполнившись рвення,
Взялись сообща за труд исцеления,

Усердие их не знало предела,
Не зря возле книг глава их седела.

И сто мудрецов, ни мало ни много,
И ночью и днем молилися богу

И всех призывали верных аллаху
Молить небеса о здравии шаха.

А сто мудрецов, в чьи тайные знания
Входили сложнейшие заклинания,

Изгнали всех бесов в округе этом,
Прибегнув к заклятьям и амулетам.

А сто мудрецов по книгам древнейшим
Искали леченья способ вернейший,

А выискавши, вычитывали,
А вычитавши, испытывали.

А сто мудрецов в порыве старания
Готовили мази и притирания,

Готовили зелья, пищу, напитки,
Способные дать здоровье в избытке.

И эти четыреста мудрецов
Добились успеха в конце концов!

Два года они не спали, не ели,
Но в деле своем весьма преуспели,

И благодаря рукам их умелым
Владыка окреп, поправился телом,

И благодаря заклятьям волшебным
Не буйствовал шах в расстройстве душевном.

Он здраво судил, но вяло и мало,
Ничто его душу не занимало.

И вот мудрецы, собравшись синклитом,
Подали совет мужам именитым:

«Вот здравие тела к шаху вернулось,
Но бодрость души еще не проснулась».

Кто в мире сем грешном бодр настроением? —
Кто занят успешным домостроением.

Так сделайте стройку делом правительства!
Пусть шах увлечется делом строительства,

И радостный рост дворца совершенного
Воздвигнет в нем мост здоровья душевного».

Столпы государства всею душою
Взялись и за это дело большое.

Князя всех частей подлунной державы
Желали царю здоровья и славы,

И прибыли все явить ему дружбу,
И жаждали все служить ему службу,

Решили они, что будут в столице,
Пока нездоровье шахское длится,

А если по делу кто отлучался,
Первейший посол взамен оставался,

И эти послы в покоях дворца
Служили от княжеского лица.

И вот семь князей, всех выше считавшихся,
Особо усердием отличавшихся

И сердцем деливших шаха мучения,
Решили помочь его излечению.

Царю излечиться пылко желая,
При том отличиться пылко желая,

Они торопились всюду с услугами,
Чтоб царь их почел первейшими слугами.

Дошел и до них совет мудрецов
Насчет возведения новых дворцов,

И вот предложили эти владыки
Возвесть семь дворцов в честь стран их великих,

Вступив меж собою в соревнование,
Они воздвигали чудные здания,

Они ежедневно в дело вникали
И щедро строителей опекали,

И, как купола и стены выкладывались,
О том ежедневно шаху докладывалось.

Чтоб строить спорей, до дальних сторон им
Пришлось семь путей построить к их тронам

И сотни дворов возвесть вдоль путей,
Чтоб на ночь там был приют у людей.

По этим путям указом правителей
Доставили лес, кирпич и строителей.

Строители бойко взялись за дело,
И шумная стройка разом вскипела.

Где башни, как пики, к небу вздымались,
Там радости клики к небу вздымались,

И солнце с луной ходили дивиться,
Как строят семь раев в царской столице.

Не мог равнодушным шах оставаться
И ростом дворцов привык любоваться.

ГЛАВА XIX

О том, как было построено семь дворцов, подобных семи небесным сферам, о том, как несравненный живописец Мани украсил их, придав каждому особый цвет, а также о том, как шах Бахрам сочетался браком с семью дочерьми князей семи частей подлунного мира, дабы идти путем исцеления, проводя по дню недели в пирах, беседах и усядах в одном из названных дворцов.

Усердьем рабочих, рвением зодчих
Дворцы поднимались краше всех прочих,

И голос живой горячки строительной
Вливался в Бахрама влагой живительной,

И, видя, как крепнут здания новые,
Он чуял, как крепнут силы здоровые.

Чертоги уперлись в небо безмерное,
И ширь их была тому соразмерною,
За этим Мани, знаток замечательный,
Вседневно следил особо и тщательно.
Закончилась стройка райских дворцов,
Собрался опять совет мудрецов,
Собрался и принял постановление,
Что шах — на дороге к выздоровлению.
«Но дело продолжить необходимо, —
Сказали врачи. — И средство дадим мы.
Пускай во дворцы художники явятся
И кисти возьмут, которыми славятся,
Пускай мастерством великим блеснут они,
На стены цветы и блики плеснут они,
И будут дворцы, что к небу возвысены,
Внутри и снаружи щедро расписаны».
Призвали Мани художники, одного
Умельца, доселе не превзойденного:
«Не ты ли кистей пленительным взмахом
Любви волшебство отверз перед шахом?
Так пусть же теперь той кисти творения
Способствуют шаху в выздоровлении!
Вот древо стоит о семи листах,
Вот радуги вид о семи цветах.
Пусть радуга щедро к древу приляжет,
Как зренье тебе и опыт подскажут!
Бледны наши краски, кисти корявы.
Не нам же тебе подсказывать, право!»
Мани умолять себя не заставил,
Он кончики пальцев кó лбу приставил
И молвил: «Чтоб сделать эту работу,
Достаньте-ка то-то, справьте-ка то-то».

И приняли все его наставления,
Став кистью в руке его вдохновения.

Мани мастеров разбил на артели,
Назначил им стены, краски, недели,

Поставил надзор от царской палаты
Над теми, кому работать со златом,

А сам занялся особым надзором,
Отдавшись душой цветам и узорам.

Всяк день по утрам и по вечерам
Дворцы посещал со свитой Бахрам.

Пред ним расцветали изображения,
Волнуя мечты и воображение,

А линий игра, цветов совершенство
В душе пробуждали хмель и блаженство.

По розе всех лун еще тосковал он,
Но эту тоску порой забывал он,

Толкуя с Мани о новых затеях
И видя потом во всей красоте их.

Разлука свое умерила пламя
И жглась лишь отдельными угольками.

Стоят семь дворцов — диковинок света,
И каждый из них — особого цвета,

И нету для шаха больше занятия.
Опять собрались ученые братья

И молвят: «Чтоб хворь навеки поправить,
А шаху былую силу набрать,

Семь гурий, мужи, в сем мире найдите
И в этих семи дворцах поселите.

Быть может, у этих самых царей
Как раз и найдется семь дочерей?

Пусть будет семь жен при нашем Бахrame!
А свадьбы сыграем пышно, с пирами».

Разведку мужи предприняли срочно.
Великий аллах! И вышло всё точно!

Есть семь дочерей у семи царей
За строгим запором семи дверей!

И умницы все, и видом красавицы,
Они несомненно шаху понравятся,

Они словно солнца за облаками,
Семь звезд красоты в божественном храме,

В шкатулке судьбы они как жемчужины,
Чисты их покровы и не нарушены,

Алмазов в них свет, рубинов в них алость,
Которых сверло еще не касалось,

Они несравненны и бесподобны,
Их прелесть стихи воспеть не способны.

И вот их отцам-царям, что едва ли
О счастье таком в душе помышляли,

Державный совет, как было замыслено,
Открыл притязанья шаховы письменно,

Конечно, не слишком уж внятным словом,
Но всё же любому понятным словом.

И те отвечали: «Бахрам — могущество.
Нет воли у нас. Мы — его имущество,

И нам остается, славя аллаха,
Исполнить желанье светлого шаха,

Что волен луну создать из пылинки
И гору-волну из малой дождейки».

Невест приготовили и доставили,
И свадьбы по всем обычаям справили,

Их всех на пиру с царем обручили
И всем по ключу от дворца вручили,

Чтоб каждой владеть отныне дворцом,
Построенным здесь ее же отцом.

Тем временем мудрые звездочеты
Вели наблюдения и подсчеты
И определяли благостный срок
Вступленья царя на брачный порог.
И вышло, что звезд противостояние
Сопутно цареву благодеянию
В субботнюю ночь для той, чей отец
Поставил, что темный мускус, дворец,
Где будет вольно по этим причинам
Отдать предпочтенье мускусным винам.

ГЛАВА XXIV

О том, как в понедельник шах Бахрам в одеждах цвета весны ступил под своды базиликово-зеленого дворца и принял там из рук кипарисоподобной нефритовой кубок с изумрудным вином, дабы, подобно Хызру, вкусить от силы, творящей вечную жизнь.

Настал понедельник. Звезды померкли,
Омылось от туч небесное зеркало

И даже каким-то способом чудным
Предстало глазам царя изумрудным,

И солнце само очам изумленным,
Восстав, показалось светло-зеленым.

Сияя одежды зеленью чистой, —
Уж вот кто воистину кипарис-то! —

Явился Бахрам и путь свой направил
В чертог, что Мани зеленым представил.

Зеленый наряд был шаху к лицу,
Зеленым путем он шел ко дворцу,

Зеленая сладость духу приятна,
И шах улыбнулся неоднократно

Нефритовым кубкам темно-зеленым,
Ему подносимым с низким поклоном,

И пил он вино оттенка зеленого
В прохладе зеленого зала тронного.

Но вот изумрудность неба сгустилась,
Вечерняя зелень мглой задымилась,

И веки у шаха отяжелели,
И тяжкие думы вновь одолели.

И тут же рабами, что в тронном зале
Подобной минуты только и ждали,

Доставлен был в спальню странник убогий,
Который был взят с зеленой дороги.

За тканью он сел, невидимый глазу,
Ему приступить велели к рассказу,

И, чуя, что выпал жребий счастливый,
Повел он рассказ свой неторопливый,

Начавши его с молитвы к аллаху
И с благословенья светлomu шаху.

ГЛАВА XXV

**О том, что рассказал скиталец, взятый с дороги, ве-
дущей в третью часть подлунного круга, владыка которой
возвел базиликово-зеленый дворец.**

Словами начав достойными теми,
Продолжил он так: «В далекое время

В Каире торговец жил пребогатый,
В делах даровитый и тороватый.

Был дом его славен редким довольством,
И гостеприимством, и хлебосольством.

Был сын у торговца в возрасте нежном,
Тот сын отличался нравом прилежным,

И был удивителен в школе бодростью,
И был рассудителен не по возрасту.

Пресветлый умом, богатством всевластный,
Лицом и сложеньем — Юсуф Прекрасный,

Сей отпрыск купца готовился с детства
Заботы отца принять по наследству.

Следил он движенье дум просвещенных,
Снискал уваженье многих ученых,

И был этот сын — он звался Саадом —
В именьях отца прекраснейшим садом.

Построил он двор весьма замечательный,
К своим и чужим там были внимательны,

А дальних гостей, нимало не мешкая,
Спешили ободрить щедрой поддержкою,

Беседу вели, подробно расспрашивали,
Подарки несли, принять их упрасивали,

Хоть гость, притерпясь к лишеньям дорожным,
Излишней считал ту щедрость, возможно;

Беседа меж тем неспешная шла
Про таинства гостева ремесла,

Про то, что в пути познал, испытал он,
Про мненья его о том, что читал он.

И стали солидны знанья Саада
Путем сим, не видным беглому взгляду,

Он книгами стал владеть неплохими и
Стал сведущ и в магии, и в алхимии.

И как-то к нему вечерней порою
Пришли чужестранцы — было их двое, —

Подобных людей в зеленой одежде
Саад никогда не видывал прежде.

Довольный весьма таким посещением,
Приветствовал их Саад угощением,

А после своим манером привычным
С беседой подсел к гостям необычным,

Но гости его, в пути утомленные,
Хозяйским вниманием удивленные,

Как видно, пугаясь щедрости встречи,
Весьма оказались скупы на речи.

Ни капельки этим не огорошенный,
Саад отрядил покой им роскошный,

Обхаживал странников неустанно и
Вино подливал, хмельное и пряное.

Пригрело вино, как солнце весеннее,
Сошел постепенно панцирь стеснения.

Саад же к кувшину вновь призывал их,
Речами любезными чаровал их,

А сам, между прочим как бы, пытая
Далеких гостей про имя их края, —

Мол, как ему молвить, ежели спросят,
В какой-де стране зеленое носят.

И молвил один, стесняясь по-прежнему:
«В стране Шахрисабз, или Кеш по-здешнему.

Как Хызр, та страна в одеждах зеленых
От влажности рек, в моря устремленных.

Слова «шахри сабз» — то «город зеленый»
Мы так и зовем наш край отдаленный».

Саад изумился: «Экое чудо!
Поди-ка, в стране той дива повсюду?»

И начал другой: «От края зеленого,
Лугами нежнейшими окаймленного,

Дорога ведет в высокие горы,
Есть край там, Китвар зовется который.

Там есть не кирпичный — каменный храм,
Размером своим он равен горам,

А купол его лишь дэвы могли бы
Исечь целиком из каменной глыбы.

Расписаны купол, стены и двери,
Показаны там все птицы и звери,

И с каждым, кто в храм с ночевкой приходит,
Событье чудесное происходит:

Что будет ему на свете даровано,
Какая судьба и в чем уготована —

Всё это, когда он в храме уснет
И бог ему очи крепко сомкнет,

Уснувшему будет явственно сниться.
Сойдут со стены не люди — не птицы

И, очи вперив в просителя спящего,
Откроют ему пути предстоящего,

И каждое, справив должный черед
И кончив рассказ, на стену уйдет.

Одно существо расскажет такое
Про всё, что случится в жизни благое,

Другое оплачет тяжкие бедствия,
Что спящего львами встретят впоследствии,

И спящий проснется, плача и каясь,
Пред бездной разверзшейся содрогаясь,

И впредь, утешаясь доброю вестью,
Он будет бежать от зла и нечестия».

На том чужестранец речь прекратил.
Товарищ его сей миг подхватил:

«Близ храма живет в пещере ученый,
Старик многомудрый и просвещенный.

И если кому ночные видения
Неясно доносят глас провидения,

Сей ревностный муж благого дерзания
Пытается вникнуть в иносказания.

Но только тогда помочь лишь он может
(А если он может, значит, поможет),

Коль сон свой, будь длинным он иль коротким,
Запомнит уснувший ясно и четко.

Смутила тебя неясность явления? —
Спеши к старику, оставь промедления

И всё, что велит мудрец беспорочный,
Старайся исполнить строго и точно».

Закончил пришлец в одежде зеленой,
Надолго умолк Саад изумленный.

Весь вечер потом с предчувствием странным,
Чем мог, он служил гостям иностранным,

А ночью в нем вспыхнул сладостный жар,
Мечта: посетить бы этот Китвар,

Проникнуть во храм бы тот и во сне бы
Узнать, что свершить сулит ему небо.

Когда же взошла заря над Каиром
И солнце опять явилось над миром,

Почуял Саад, что изнемогает,
Что страсть эта волю превозмогает.

Отправился он к отцу и с рыданием
Сказал, что таким-де мучим желанием.

Почтенный отец руками всплеснул!
Уж он умолял и время тянул,

Надеясь, что сын авось поостынет.
Но нет! Сын твердил, что дома-де сгинет,

И понял отец, что делать тут нечего —
Саад одержим, никак не сберечь его.

Несчастный отец! Взываючи к богу,
Он стал собирать сыночка в дорогу.

Ведь сын покидал отчизну впервые.
Отец перед ним раскрыл кладовые

И стал набивать вьюки для дитяти —
Ни с места не сдвинуть, ни сосчитати!

Саад приказал рабам припасти
Лишь то, что потребуется в пути,

Но слуги в пылу усердия рабского
Собрали — ну, впрямь царя шахрисабзского!

Верблюды с трудом водили боками
Под грузом мешков, набитых деньгами,

Четыреста слуг: отвага в глазах,
Рубины и яхонты в поясах,

Вьюки полнотою взор умиляют,
А в них — всё, чего душа пожелает, —

Вода в бурдюках, припасы в достатке, —
Готов караван, всё в полном порядке.

Вожатыми быть наш путник с поклонами
Призвал тех мужей из града зеленого.

Вот, плача, Саад с отцом распростился
И, благословясь, в дорогу пустился.

Поскольку отец до хвори расстроился,
А любящий сын о нем беспокоился,

То шел с быстротой Саад небывалой,
В пути пропуская дневки-привалы,

А проводники, на ивы похожие,
Неслись впереди, как ангелы божии,

Как будто бы Хызр вселился в обоих
Иль, сил подбавляя, влек за собой их.

Сто гор одолев и степь раскаленную,
Пройдя сквозь страну и вправду зеленую

И вновь одолев тропу меж горами,
Достиг караван стоянки при храме.

Усталым в стремительных переходах,
Саад предоставил спутникам отдых,

Велел угостить брахманов-служителей,
Хранящих святыни местных обитателей,

И, мучась горячкою чрезвычайной,
Он в храм поспешил, окутанный тайной,

А два жоака в зеленой одежде
Шли рядом шаг в шаг при нем, как и прежде,

Он долго смотрел на изображения,
Томившие дух и воображение,

Покуда светило не закатилось
И внутренность храма не охладилась.

Саад объявил брахманам, что хочет
В сем храме пробыть в течение ночи.

Жрецы всполошились, затрепетали:
Мол, многие здесь чрез то пострадали,

Чрез то, мол, вся жизнь способна разрушиться,
Но юный Саад не мог их послушаться —

Лишь выбрал для сна подальше угол,
Где меньше на стенах чудищ и пугал.

Жрецы затворили тщательно двери,
Как будто врата в Пенджаб на Хайбере,

И хмуро ушли, сгибаясь в поклонах,
А с ними и те, в одеждах зеленых.

Саада невольно дрожь охватила.
Хотелось бежать, да некуда было.

По правде сказать, он начал побаиваться,
Раскаивался. Да поздно раскаиваться!

Не мог он себя заставить уснуть.
Какие тут сны! Тут глаз не сомкнуть.

Зловещая тишь, ни искры в глазах, и
В клубящейся тьме мерещатся страхи.

«Спать! Спать!» — он всю ночь твердил и томился,
Но только под утро словно забылся.

Пред ним тот же храм, он — в той же одежде,
Он те же картины видит, что прежде,

И хочет уже уйти, оглядев
Зеленых двух птиц, похожих на дев, —

И вдруг эти птицы как затрепещут,
Как разом вспорхнут, как крыльями всплещут,

Как сядут ему на оба плеча,
На птичьем наречии щебеча!

И та, что сидит, веселая, слева,
Вдруг молвит ему певуче, как дева:

«Явившись сюда, назад не уйдешь,
Но пери Востока ты обретешь!»

А та, что сидит, печальная, справа,
Кричит, как старуха, зло и гнусаво:

«Какая там пери! Вой да хрипи
У дэва в пещере да на цепи!»

Услышав сие, Саад содрогнулся,
От страха вскричал — и тут же проснулся.

Повел головою, вытянув шею,
Глядь — утро встает, в оконцах алея.

Он — к двери скорей, на дверь напирает! —
А тут и брахман ее отпирает.

Он — мимо, он — вниз, бежит, как слепой,
Он явно владеть не может собой,

Он плачет, рыдает и до заката
Дрожит и бормочет, как бесноватый.

Саадовы люди очень расстроились,
Они испугались, забеспокоились,

И к тем вожакам в зеленой одежде
Возвали они в последней надежде:

«Не вынес Саад столь трудной дороги.
Не знаем, как быть. В большой мы тревоге».

Но старший вожатый, выслушав слуг,
Вернее постиг Саадов недуг.

Пришел он к Сааду, сел он с ним рядом
И тихо повел беседу с Саадом:

«Ведь я ж говорил, что здесь обретается
Ученый, что сны толковать пытается.

Пойдем же к нему. Его поучения,
Возможно, доставят вам облегчение».

Саад согласился. Узкой тропой
Свели вожак его за собою

Туда, где в стене скалы поднебесной
Проем был прорублен, низкий и тесный.

Саада подталкивая, втроем
В пещерку вошли они сквозь проем.

Казалась пещерка бедным покоем,
Айван в уголку был рублен киркою,

Сидел там старик, поджавши колени и
Предавшись глубокому размышлению.

Он словно бы врос в шершавые стены,
Как в недра скалы нефрит драгоценный,

Обросший до пят, он образ был точный
Великого мрака, тьмы полуночной,

Но дух старика на голом айване
Наполнен был светлым жемчугом знаний.

Отверг он мирские страсти и бредни,
А возраст имел он семисотлетний,

Ни страха, ни зла не знал по природе
И был Файлакусом прозван в народе.

Все трое пред ним склонились в поклоне,
Все трое к груди прижали ладони,

Но старец в ответ не подал им голоса,
А лик свой явил, раздвинувши волосы,

И светлая сила мудрого взгляда
Почти ослепила очи Саада.

Но старец молчал. Согласно обычаю,
Хозяин молчит, блюдуший приличия.

Все трое легли пред старцем на землю,
И молвил Саад: «Счастливейший! Внемли,

Да будет твой возраст благословенный
И впредь украшеньем нашей вселенной!

Тебя утруждать не смею речами,
Я чую: без слов постиг ты очами,

Почто я пришел к тебе, о блистательный!
Иль нужен и мой рассказ обстоятельный?»

Старик поклонился и прошептал:
«Один лишь Лукман по лицам читал. . .»

Молчанье настало полное снова,
И вдруг зазвучала речь старикова!

Как будто бы в книгу тайную глядя,
Он всё рассказал о юном Сааде!

Сказал про страну, про город и род,
Про ширь-глубину отцовских щедрот,

Про то, как Саад разумен и взросел
В познание наук и разных ремесел,

Про то, как скитальцев щедро обслуживает,
Про хитрость, что он при том обнаруживает,

Про то, как явились люди в зеленом,
Про то, как он слушал их изумленно,

Про то, как, гоним предчувствием странным,
Спешил он сюда, в далекие страны,

Как сетовал он, что в храме не спится,
Как пели ему две вещи птицы. . .

Все трое гостей, привстав на колени и
Внимая, немели от изумления.

И тут Файлакус промолвил Сааду:
«Саад! Ты мечта моя и награда!

Я вещей твой сон тебе истолкую,
В дальнейшем пути тебе помогу я,

Но только молю: послушайте прежде —
И ты, и мужи в зеленой одежде —

Мой сказ, как, в твое пришествие веря,
Сто лет я провел в сей мрачной пещере!

Служил я в сем храме главным жрецом
И между жрецами слыл мудрецом,

Но слабый мой дух не чист был пыланьем,
Снедаемый суетнейшим желаньем.

Я страстно алкал, изведавши сна,
Познать, что за участь мне суждена.

Я долго ученым бдением спасался,
Но попорванным разум мой оказался,

Я двери закрыть остался во храме
И запер себя за теми дверями.

Прилег я, в заветный угол пробравшись,
И вдался в соблазн, уснуть постаравшись.

Нахлынувший сон я принял, как милость,
Но был потрясен всем тем, что мне снилось.

Доныне молюсь во здравие тех,
Кто в храме искал у рока утех.

Всю ночь напролет я бился с соблазнами,
Мирской суеты обличьями разными,

Корысть суеты оставил я втуне.
Вот тут и слетели птицы-вещуньи,

Ко мне, как к тебе, присели на плечи
И стали держать пророчески речи.

«О жадный к судьбе! — одна говорила. —
Жилищем тебе да будет могила.

Увы! Небесам нет места во гробе.
Свети себе сам, насколько способен».

Другая звала: «Удвой же усилия!
Расступится мгла, и вырастут крылья!

Кто, грех искупив, даст многим спасенье,
Тот, в бездну ступив, найдет вознесенье,

На света обилье станет стопою,
И вырастут крылья сами собою».

Едва лишь допели вещие птицы,
Я вздрогнул, и сон покинул зеницы.

Мой ум не открыл мне смысл предсказаний,
Мой дух погрузился в пропасть терзаний,

На душу легла тревожная стужа,
И начал искать я мудрого мужа,

Чья речь мне дала бы истины влагу
И путь мой от зла вела бы ко благу.

Но эти исканья были напрасны,
Не знал толкованья сон мой неясный.

От этих трудов измучилось тело,
Свет духа померк, душа оскудела,

И сердце в груди стучало, как молот,
От страха то в жар кидало, то в холод.

«Крушит не беда, а страх пред бедой» —
Великий есть смысл в пословице той.

И вот я бродил по скалам и кручам,
Тем страхом беды терзаем и мучим,

Чего ни коснусь иль слухом, иль взглядом,
Всё скверна души мерещится рядом.

И вдруг предо мной явился не призрак,
А старец, во всем похожий на Хызр.

Стоял он, как Хызр, на утренних росах:
Зеленый халат, зеленый же посох.

И молвил он мне: «О пленник неясности!
Не цель себе в жизнь стрелою опасности.

Исполню сей миг твои упования.
Мне ведомо снов твоих толкование,

Но прежде клянись служить беспорочно
И наши наказы выполнить точно».

Я землю у ног его лобызал.
«Клянусь! — горячо и пылко сказал. —

Приказывай мне, о светоч зеленый!
Клянусь исполнять наказ неуклонно!»

«Храни же, — промолвил старец, — в уме
Название книги — «Джамасп-наме».

Найди эту книгу. Силою разума
Судьба в ней твоя подробно предсказана.

Исполни ее святое веление,
Покорствуя нашему наставлению.

Успехов в иных делах не взыскуй ты,
А сосредоточься и сны толкуй ты,

Спешి послужить в сем деле советом,
А мы поспешим помочь тебе в этом.

Кто, выспавшись в храме, примет мучения
Не в силах понять вещаний значение,

Кто страхом, как ты, от них искалечен, —
Да будет теперь тобою излечен!»

Сказал и исчез в ущелии горном.
Следы его ног омыл я проворно

Слезами очей, блуждавших во тьме.
И вот разыскал я «Джамасп-наме».

И мне воздалось за поиск сторицей,
Прочел я слова под сотой страницей:

«В такое-то время муж благомысленный,
Отдавший труды наукам бесчисленным,

Прельстится во сне вкусить предвещания,
И будет ему за то испытание.

Пускай же хранит усердье и веру он,
Пускай исскребет глухую пещеру он

И в ней проведет сто лет, обитая
И стен ее темных не покидая.

Когда же свершит он это деяние,
Поймет он великий смысл покаяния.

Минует сто лет, и небо простит его,
Свершит он завет, и свет посетит его,

В безвидных ночах трудов и ненастия
Узрит он звезду грядущего счастья.

И встретится он с томящимся странником,
Счастливой судьбы невольным избранником.

При юноше том, прилежном Сааде,
Светлейший Муштар померкнет в досаде.

В пещерную тьму Саад этот явится,
Попросит помочь с видением справиться,

Сааду мудрец всё это изложит,
Откроет судьбу и помощь предложит,

Пусть помнит, споспешествуя Сааду, он:
То знак, что получит неба награду он.

Свершится с премудрым пресотворение,
И будет дано ему озарение,

Он разом постигнет тайны небесные,
Он сможет ступить в крайны небесные,

Присутствуя в мироустановлении,
Стихиям он даст свои повеления,

И небо и землю сменит местами он
За то, что исскреб пещеру перстами он.

Навек его дух от берегов избавится,
Он сам от телесных оков избавится.

Сей подвиг мудрейшим во многократности
Свершить помешали судеб превратности,

Но он воплотит мечтанья великие
За то, что вкусил страданья великие,

Во светоч всемирный преобразится он,
Коль будет сто лет терпеть и трудиться он».

И понял я птиц пророческих пение
Про свод гробовой и свет вознесения,

Про души, спасенья сонмом алкающие,
Про бездну и крылья возникающие,

Припомнил слова святого наказа,
Что сны толковать отныне обязан,

И стал я вникать в законы видений,
И стал иссекать пещеру для бдений.

Сто лет, суеты мирской избегая,
Я людям понять их сны помогаю.

Любой, кто пытается рока веленья,
При том обретает духа томленье,

И в этой норе, Саад солнцелиций,
Я всем им помог душой исцелиться.

Провел я сто лет, тебя ожидая,
Пресветлый твой лик увидеть мечтая.

Пресветлый твой вид, я верил, средь ночи
Мне свет возвратит в угасшие очи.

Я верил в сию награду и милость.
И вот ты пришел. И чудо свершилось!

И я пред тобой, прозревший, ликую! . .
Я кончил. Сейчас твой сон истолкую.

Пропела тебе вещунья счастливая,
Что пери добудешь ты горделивую.

Та пери Востока — дочь достославного
Зеленой страны владыки державного,

Следы его ног затемняют солнце,
А рать, как листва, заслоняет солнце,

А дочь всем на зависть ведомым пери
Цветет, прозываясь истинной пери.

И гурии, райские небожительницы,
В рабыни годятся ей и в служительницы,

Ей волосы чешет небо само,
Ей зеркало держит солнце само,

А впрочем, и нет. Зачем зеркала ей,
Коль солнце при ней тускнеет, пылая?

Певцы перед ней в отчаянье бьются:
Слова описать ее — не даются!

И этот источник жизни и света
В шелка погружен зеленого цвета,

И скрыт от очей за полог зеленый
Сей дивный цветок с лугов небосклона.

Отцу она дочь и радость единственная,
Царевым зеницам сладость единственная,

Стоит в Шахрисабзе грозная крепость,
Вся — ярость бойниц и башен свирепость,

Крутая стена за небо цепляет,
Минуя ту крепость, солнце петляет,

За первой стеной — вторая и третья,
Покруче наружной высятся эти,

За третьей стеной — дворцовые двери,
За теми дверьми скрывается пери.

Ворота там есть, огромны они,
Но в каждой стене — всего лишь одни.

Ворота сии не заперты даже,
Ведь их охраняет грозная стража.

У первых ворот стоит великан,
Похожий на дэва черный Катран,

Пред ним муравьем даже слон покажется,
Бессильней ягненка дракон окажется,

В нем каждая жила драконом вьется,
Страшна его сила, когда он бьется.

Он сам по себе ходячая крепость,
И мору подобна зинджа свирепость.

Вторые врата старик охраняет,
Сидит он у врат и книгу читает.

То муж испытаний непревзойденный,
Ревнитель познаний непревзойденный.

Считают его строителем крепости
И ставят его хранителем крепости.

У третьих же врат старуха гнездится,
Ей кобра и та — лишь в слуги годится, —

Такая в ней грязь за жизнь накопилась,
Что смерть, отвратясь, от ней отступилась.

При ней ветерок и тот не решается
Подуть на порог царевны-красавицы,

Летели там птицы — поумирали,
Летели там мухи — пообгорали,

Швырни в нее камнем, издали стоя, —
Расплещется камень черной водою.

Та пери сидит в столь странном содружестве,
Затем что претит ей мысль о супружестве,

По просьбе ее та крепость построена,
По воле ее охрана утроена,

Ее красота весь мир искушает
И многих людей рассудка лишает.

Когда же они в сей град прибывают,
Когда о женитьбе речь затевают,

То будь то царевич происхождением
Иль муж, что высок своим поведением,

Хотя и не родственен с царственной кровью, —
Она за глаза им ставит условие:

Пускай, мол, ее он в жены берет,
Пройдя через эти трое ворот.

Не выиграть этих трех состязаний
Без дивной отваги, сил и познаний.

Сперва в поединке надобно бранном
Схватиться с подобным дэву Катраном.

Когда же победа первая та
Расчистит пред пылким первы врата,

То надо назавтра двинуться к следующим
И встретиться там с мудрецом всеведущим.

Мудрец задает вопросы труднейшие
И просит решить задачи сложнейшие.

Ответишь? Решишь? — Победа! А там
Тебя приглашают к третьим вратам.

У третьих же врат всё дико и глухо
И, сгорбясь, сидит колдунья-старуха.

Она изрыгнет заклятья жестоки,
Чудовищ найдет, напустит мороки.

Коль сможет пришлец от них отчураться,
То третьи врата пред ним отворятся.

Он стяг над дворцом поднимет высоко
И станет супругом пери Востока.

Но если в три дня сего не свершит он,
То смертью ужасной будет убит он —

Зарежут его, а труп обезглавят
И выбросят псам! Главу же доставят

К стене крепостной, поднимут на пику,
И там ей торчать с позором великим.

Лишат всю семью всех средств и именья
И выгонят прочь, предав поношенью.

И всё ж не бывает дня, чтобы кто-то
Не пал, пробиваясь в эти ворота,

Торчат черепа, на пиках приплясывая,
Ту крепость двойным кольцом опоясывая.

Пусти ж скакуна надежд и мечтаний,
О светлый Саад, во степь испытаний!

Будь смел! И добудешь пери Востока.
Такое тебе веление рока.

Тебя научу я, как поступить,
Чтоб эти преграды переступить».

Слова написал мудрец на пергаменте
И молвил: «Прочтя, тверди их по памяти».

А после рукой по камню пошарил
И подал Сааду крохотный шарик.

Вновь долго писал, а кончив писанье,
Сааду сказал: «Храни то посланье.

Тебя в Шахрисабз дорогой известною
Проводят вот эти жители местные.

Как Хызр, пролети меж гор и кочевков,
Не знай на пути своем остановок,

А эти два мужа, видом пригожие,
Летя впереди, как ангелы божиин,

Пред шахом-отцом поклоны положат,
Про цель твоего прибытья доложат.

Владыка, в твоём уверяюсь упорстве,
Сведет вас с Катраном в единоборстве.

Не бойся Катрана, бейся уверенно,
Твердя, что запомнить мной тебе велено,

Сон-шарик вложи себе под язык
И плюй во врага и меть ему в лик.

Забрав у врага всю мощь его лютую,
Те чудо-слова тебе отдадут ее,

От метких плевков Катрановы очи
Слипаться начнут, как будто бы к ночи,
И, видя, что зиндж тобой сокрушен,
Ликуй, о Саад! — твой подвиг свершен.
Пощаду даруй сраженному там и
Спокойно ступай во двор за воротами.
Когда же, являя вид Моисея,
Знаток всех наук, премудрости сея,
К тебе подойдет, послание это
Вручи знатоку со словом привета,
И он, все труды на то полагая,
Поможет тебе, как я помогаю.
Ведь этот знаток и сторож таинственный —
Мой сын — ученик любимый, единственный.
А он многомудр, ему только дунь — и
Разрушатся чары злобной колдуньи,
И вступишь ты в рай, о светлый Саад,
На пери Востока ляжет твой взгляд».
На том досказал мудрец знаменитый,
И облобызал Сааду ланиты,
И молвил: «Иду к вершинам припасть я!
Будь счастлив и ты, о знаменье счастья!
Скорее шагай, Саад быстроногий,
И не допускай задержек в дороге».
На этом мудрец с Саадом простился.
И тотчас Саад в дорогу пустился,
А два вожака в зеленой одежде
Пред ним по тропе шагали, как прежде.
И вот он достиг зеленой страны,
Просторы которой впрямь зелены.
И два вожака, что шли пред Саадом,
Немедля к царю пустились с докладом,

А сам же Саад, в пути утомленный,
Стоянку разбил среди рощи зеленой.

Придя во дворец, те двое в зеленом
Склонились ниц пред шаховым троном,

Открыли царю, что движется следом
Пленительный отрок, род его ведом,

Достоинств в нем — тьма, познаний — не счесть,
И вянул государь, что значит та весть,

Он знал тех людей в зеленой одежде,
Служили они властителю прежде,

Известен ему был нрав их правдивый,
Он счел потому их весть справедливой

И, зная, что нет вратам одоленья,
Печально вздохнул, сказав с сожаленьем:

«Скажите ему, что, как и когда
И чтобы он завтра прибыл сюда».

Назавтра явился отрок пленительный
И принят был шахом незамедлительно,

И умная речь и облик Саада
Царю полюбились с первого взгляда.

С приветствием шах к нему обратился,
Лобзаячи прах, Саад поклонился,

Ответствуя в лад. Довольный Саадом,
Велел государь присесть ему рядом.

Явил ему шах внимание отчее,
Приятного гостя яствами потчуя,

А два вожака в конце угощения
Напомнили мельком цель посещения.

Сказал государь: «Куда торопиться?
С дороги есть смысл поспать, подкрепиться».

Нет, нынче за дело братья — нелепость.
А завтра — прошу пожаловать в крепость».

От шахского хмеля сердце пылало,
Продолжить веселье сердце желало,

Покинув дворец, в пылу озорном
Весь вечер провел Саад за вином.

Любви предвкушенье, вин орошенье —
И словно бы бес в ногах в довершенье.

Средь лучших друзей ватагою дружной
Саад пожелал отправиться к суженой,

Но лучших друзей ватага шальная
Спала, кто где лег, мертвецки хмельная.

Грядущей любовью мысли питались,
А ноги несли, хотя заплетались,

И в крепость побрел влюбленный, пьянешенек,
Во мраке ночном один-одинешенек.

Добрёл, о какой-то камень споткнулся,
Чуть в стену крутую носом не ткнулся

И на четырех пополз вдоль стены:
Мол, где-то ворота быть здесь должны.

Казалось ему — он песню слагает,
А звездам — что он мычит и икает.

Катран-кровопийца шагом нескорым
Вкруг крепости шел полночным дозором,

Как будто гора из черного теста
Во мраке с рычаньем тронулась с места.

Не спится Катрану, гнев в нем клокочет,
Вдруг слышит — под стенкой кто-то бормочет,

И выхватил зиндж свой страшный кинжал
И черной грозой на шум побежал.

Глядит — в темноте с великой натугой
Ползет и мычит какой-то пьянчуга.

Прирезать его за шумство хмельное!
Нет. Злобный Катран задумал иное.

Задумал связать его до утра,
А утром, когда начнется игра,

То прежде, чем в бой вступить с чужестранцем,
Как с птичкой, расправиться с голодранцем

У всех на глазах. Вот будет потеха!
Народ набежавший лопнет от смеха,

А враг задрожит и после в бою
Нетвердо направит руку свою.

И, радуясь мысли этой полезной,
Скрутил он Саада цепью железной.

Куда его деть? А рядом — дыра,
Размерами — впрямь собачья нора,

Катран в эту дырку пьяного кинул,
А вход тяжеленным камнем задвинул

И дальше побрел нести караул,
А пьяный Саад попел да уснул.

Проспался, проснулся, смотрит, не веря:
Сидит он в цепях в какой-то пещере.

И стало ему тоскливо и страшно, и
Припомнил Саад пирушку вчерашнюю,

Припомнил, что пела вестница бедствия,
Припомнил и то, что было впоследствии,

Припомнил слова, что вещий мудрец
Велел затвердить ему под конец,

И их повторил. И силу и смелость
Почуял в себе. И цепь разлетелась,

А камень вспорхнул, как птичка пред мальчиком,
Едва лишь Саад толкнул его пальчиком.

Прыжком из тюрьмы он вышел Катраньей,
Глядь — утро встает, но час еще ранний.

Он в лагерь пошел, в леске остававшийся,
Народ успокоил там волновавшийся,

Слегка отдохнул, и время настало
Сбираться в дорогу в крепость, к порталу,

А там уже шах слезиночку смахивает,
А там уж Катран руками размахивает,

А пери, исход предвидя всегдашний,
Звездою Зухал сияет на башне,

И толпы людей, стеснясь пред зубцами,
Сааду побед желают сердцами.

Катран погрозил Саада друзьям и
Пошел доставать пьянчужку из ямы.

Глядь — камень отвален, цепи разъяты
И нет никого в пещере проклятой,

А в поле противник ходит и ждет,
Народу, царю поклоны кладет.

Взревел чернокожий, что было силы,
От лютости зинджа перекосило,

И бросился зиндж схватиться с Саадом,
Что мерил врага уверенным взглядом.

Твердя наизусть слова мудрецовы,
Саад наливался силой борцовой,

Ломил он врага, а яростный враг
Не мог ухватить Саада никак.

Саад под язык сон-шарик-то сунул
И в очи Катрану гнусному плюнул,

Катран осовел, руками взмахнул
И вдруг, потянувшись, сладко зевнул.

Вот тут-то Саад как подшиб Катрана,
Да так, что раздался лишь всхлип Катрана!

И поднял Саад врага над собою
И, трижды крутнувши над головою,

Ударил им оземь, так что народ
В восторге немом подался вперед.

И тут же раздался крик всенародный:
«Аллах! Победил Саад благородный!»

Катрана сковал Саад и без страха
«Что делать теперь?» — спросился у шаха.

Поздравил его той пери отец
И молвит: «Ступай туда, где мудрец».

Проникся Саад задачей новой,
Велел только снять с Катрана оковы.

Представ мудреца очам изумленным,
Саад протянул с глубоким поклоном

Посланье, что старец в горной пещере
Писал и вручить, прощаясь, доверил.

Открывши письмо, дабы изучить его,
Узнал испытатель руку учителя.

И он пред Саадам склонился радостно
И тут же в письмо углубился радостно.

А было в письме тому испытателю
Сто высших похвал от уст воспитателя,

И дадено там отца поручение
Довести до конца юнца приключения.

И молвил мудрец: «Вести испытания
Ни прав не имею я, ни желания».

А люди вдали стояли, не ведая,
О чем занялась та пара беседою,

Беседа же шла меж этою парою
О том, как же быть с колдуньею старою.

И молвил мудрец: «Упокой колдунье!
Да нет там совсем никакой колдуньи!

То я изготовил куклу тряпичную —
Пугать легковых средство отличное.

Но ты покажись, что ты-де отважный,
И с куклой сразись тряпично-бумажной.

Ты пни ее в грудь, распахивай двери
И смело ступай на башню за пери».

В душе хохоча, без всякого страха
Склонился Саад пред взорами шаха:

«Я кончил гулять с мудрецом беседующим.
Велите занять заданьем последующим».

«Ну, — думают все, — тут дело серьезней!
Поди сокруши старухины козни!»

Саада ведут с великой опаскою
К старухе, что ждет их, челюстью ляская.

Народу толпа, у каждого цель — еще
Взглянуть да узнать, чем кончится зрелище.

Взметнулся дракон средь шума и визга и
Пополз на Саада, пламенем брызгая.

Дракона Саад отбросил рукою,
Шагнул да как пнет старуху ногою!

Толпа на колени от страха рухнула,
И в то же мгновенье старуха рухнула

И, падая, вдруг превратилась в чучело,
Которое было из клочьев скручено,

Веревкой дракон прикинулся страшный,
А пламя ноздрей — тряпицей раскрашенной.

И весть о неслыханном том ударе
Донестъ поспешили до государя.

Приветствовал шах Саада объятьем,
Поздравил, при всех назвал его зятем.

Была украшеньем края зеленого
Земля под названьем «Рая зеленого».

На этой земле дворец основали,
«Зеленым дворцом» наименовали.

Там жить бы да жить бы — не помирать бы!
На весь Шахрисабз сыграли там свадьбу!

Саад повстречался с пери молодой,
Как солнце с предутреннюю звездой.

Преставился тесть чрез годик, не более,
Царевич Саад воссел на престоле и

Счастливо владел зеленым тем тронном,
Визирями сделав тех двух в зеленом.

Его кипарис в зеленых уборах
Расцвел, как нарцисс, как целый их ворох.

Покуда царил Саад, счастье сеющий,
Держава была как сад зеленеющий.

А зелени цвет беду прогоняет,
О радостях жизни напоминает.

Недаром печальми уязвленные
Так тянутся глянуть в кубки зеленые,

А нежный пушок над губкой — влюбленный
Недаром с пыльцой равняет зеленой.

В зеленом и Хызр обьял небосклон,
Да будем мы все бессмертны, как он!»

Дослушав конец рассказа счастливый,
Промолвил владыка: «О говорливый!

Откуда ты родом, гость мой невольный?»
А гость отвечал: «О первопрестольный!

Мой род — из того зеленого града
И прадедам счет ведет от Саада».

И гостю явил Бахрам покровительство,
Назначил скитальцу градоправительство

И сделался сладкой дремы уловом,
И сон его легким был и здоровым.

ГЛАВА XXXII

О том, как в день пятницы Бахрам в одеждах камфарной белизны под цвет камфарно-белого дворца принял белофарфоровую чашу с вином из рук белейшей из лилий ради успокоения горести разлуки с совершеннейшей из всех роз.

Вот пятницы утро близится. Это
День празднеств во славу белого цвета.

Эдва темнота натешилась, ласковая,
Огнями созвездий рот ополаскивая,

Рассвет кашлянул, восстал к омовению,
И звезды как сдуло в то же мгновение,

И солнце взошло с небесного края,
Пыльцу наших снов с ресниц отирая.

Но солнцем вторым, не виданным прежде,
Явился Бахрам в белейшей одежде,

В камфарный дворец свой путь совершал он,
И ярче, чем солнце, мир украшал он.

В белейших одеждах роза из Чина,
Красуясь, легла к стопам властелина,

И трон, из слоновой вырезан кости,
Принять поспешил пресветлого гостя.

И пир закипел в камфарном чертоге,
Был стол снежно-бел в камфарном чертоге,

И белая роза в белом уборе
Вино подала в белейшем фарфоре,

А в белом фарфоре, гордости Чина,
Вдвойне благородны кажутся вина,

И шах против всех пиров предыдущих
Пил вдвое и щедро потчевал пьющих.

Вот солнце зашло. На кровле наружной
Лег отсвет луны белёсо-жемчужный.

И в белом покое, в белом убранстве
Готово царю седьмое из странствий.

Седьмой собеседник сел на пороге
Из тех, что царю послали дороги,

И молвил он так: «Небесные своды
Пусть этот дворец хранят от невзгоды,

Да видят в нем все властители прочие
Могущества царского средоточие».

ГЛАВА XXXIII

О том, как из рассказа скитальца, взятого с дороги, ведущей в седьмую часть подлунного круга, князь которой воздвиг камфарно-белый дворец, Бахрам почерпнул весть о тропе и убежище мускусной газели.

Восславил скиталец шаха и сразу
Наполнил уста тесьмою рассказа:

«Родился и жил я в славном Хорезме,
Искусству служил я в славном Хорезме.

Среди музыкантов, издавна славных,
Никто и нигде не ведал мне равных,

Постиг я закон изящества звука,
Проник глубже прочих в эту науку,

И всех, кто слышет ее знатоками,
Я числю своими учениками.

Но вдруг по Хорезму слух прокатился:
Де, некий купец с востока явился,

Де, едет он к нам с невольницей юной,
Де, равных им нет в юдоли подлунной,

Де, славен и щедр, владеет купчина
Богатством всех недр и водной пучины,
Но вся та казна — рябая пустыня
Пред чудной красою юной рабыни,
И все почитают истинным чудом
Ее мастерство над чангом и рудом.
Молва есть молва — ни толку, ни прибыли.
Но вскоре купец с красавицей прибыли,
И всяк поспешил к караван-сараяу,
На ощупь и вкус молву проверяя.
Купец, как о том твердило известие,
И впрямь источал из глаз благочестие,
Являя во всем усердьи большое,
Чтоб зваться по праву щедрым ходжою.
А розу скрывал от черни базарной
Легчайшим туманом полог камфарный,
Сияла она, укрытая пологом,
Как солнце небес, омытое облаком,
Как солнце небес за дымкой жемчужною,
Что нежит лучом пространство наружное.
Не только тот полог тонкий и нежный —
Одежда ее была белоснежной.
Народ вразнобой шумел, уверяя,
Что нас посетила гурня рая.
С утра и под вечер, в пору прохлады,
Та роза цвела напевной усладой,
Небесную песнь уста напевали,
И, кто ее слышал, обомлевали,
А стоило руд ей тронуть рукою,
Как всех пронимало смертной тоскою,
Людей выручал лишь полог свисавший,
От молнии взгляда розы спасавший,

Иначе бы в каждом вспыхнуло пламя,
Иначе бы все ей стали рабами.

Так пела она, и чудное пение
Вселяло в людские души смятенне.

У духом не твердых мысли мешались,
Иные на жизнь свою покушались,

И не было дня, что мирно бы минул
Без вести, что некий слушатель сгинул,

Но всяк повторял мелодии эти,
Твердя, что они краше всех на свете.

О том, что умы тем дивом встревожены,
Хорезмскому шаху было доложено,

Но шах был не в силах в это поверить
И сам пожелал пойти и проверить.

И вот, облачась в одежду простую,
Вмешавшись в толпу народа густую

И слушая пенье, скрытый толпою,
Покой потерял и власть над собою.

Не видел и он искусницы облика
За белой завесой тканого облака,

Но шаху сказало верное чувство:
Божественно в ней не только искусство.

И шах загорелся мыслью греховной
Склонить это диво к связи любовной.

К ходже он послал посредницу-сводницу,
Весьма искушенную греховодницу,

И та к старику явилась с известьем,
Что может он царским сделаться тестем.

Но старый ходжа, не ведая страха,
Учтиво отвел искательства шаха.

«Сколь счастлив народ, — он молвил, — владыкой,
Дарящим нас, малых, честью великой!

До неба вознестъ щепоточку глины
Желает сердечный пыл властелина.

С владыкою глина спорить не смеет,
Она всепочтительнейше немеет,

Но жребий мой горек, царская милость
Напрасно на глину распространилась.

Та роза — увы! — хоть впрямь бесподобна,
Но счастья в браке дать не способна.

Знать, бог ей судил при голосе сладком
Казниться весь век таким недостатком».

«Ах вот как! — сказал владыка с угрозой. —
Кто правит страной, тот сладит и с розой!»

Не вдруг он пришел к такому решенью.
Он возобновлял свое предложение,

Он клялся в любви бессмертной душою,
Но так и не смог поладить с ходжою.

И вот, почуяв себя униженным,
И вот, почуяв себя обиженным,

Охваченный жаром страсти унылой,
Владыка решился действовать силой.

Дворцовых холопов целая стая
Явилась во двор караван-сарая,

И розу, хозяйку чанга и руда,
Схватили и вывезли прочь оттуда.

Ко входу в гарем, горланя и гикая,
Они отвезли звезду луноликую

И к мрачному шаху дружно отправились
Донестъ, что они с гордячкою справились.

В гарем поспешил владыка влюбленный,
Но роза взялась за чанг запыленный,

Ударила в струны, струны взбесились,
И ноги у шаха вдруг подкосились,

Угасли в нем мысли, пыл и желанья,
И он на ковры упал без сознанья.

И все, чьих ушей та песня достигла,
Попадали. Всех та участь постигла.

А роза, всё ту же песню играя,
Вернулась во двор караван-сарая.

«Ну, — вымолвил шах, очнувшись, — и лихо нам!»
Народ толковал о деле неслыханном,

Но шах не хотел на том урезониться,
Решил одолеть волшебницу конницей.

Но чанг зазвучал, и конники эти
На полном скаку уснули, как дети,

А роза-луна за пологом белым
Без всяких помех играла и пела.

Тот приступ не раз еще повторился —
Всё с тем же концом. И шах примирился,

Ее целомудрия силу понял,
Его вожделенье остыло, понял,

Упорство забыл, пошел на попятную,
Принес извиненья тысячекратные,

Пред бело-камфарной розою тою
Казнился своих страстей чернотою

И клял свой поступок неосторожный,
Как будто не шах он, а раб ничтожный,

Смягчиться просил над ним, виноватым,
Просил называть не шахом, а братом,

Отцом и сестрой пришельцев назвал он,
С нижайшим почтением к ним воззвал он,

И вот наконец ходжу успокоил,
И пир в его честь роскошный устроил.

Поверила пери в искренность шаха,
Осталась в стране без всякого страха.

Ходжа для нее хоромы поставил,
В роскошнейший сад арыки направил,

И в келье средь сада этого пышного
Луна белых роз молила всевышнего.

Мелькала ее одежда белейшая,
Едва доносились вздохи нежнейшие,

Так стонут, должно быть, духи загробные,
Роняя слезинки звездоподобные.

Кого-то она к себе призывала,
Какое-то горе переживала,

Но издали речь звучала невнятно,
И тайна ее была непонятна.

Едва наставало утро, оттуда
Печально плыла мелодия руда,

Печально плыла мелодия муки,
Души, истомленной болью разлуки,

И каменным сердцем тот обладал бы,
Кто, слыша те звуки, не возрыдал бы.

Дав горькому горю в песне излиться,
Звезда удалялась в келью молиться,

А вечером песня снова звучала,
В ней болью любое слово звучало,

Народ, ее слыша, стонал в беспамятстве,
Сам шах, ее слыша, стонал в беспамятстве.

Всяк день удостоенный посещением,
Ходжа привечал царя угощением,

Любые услуги царю оказывал,
Без меры и счета кошель развязывал,

Великий ущерб на этом терпел он,
И вместе с детьми своими скорбел он.

Я сам музыкант, как молвил вначале,
Меня на пирах с почетом встречали,

И всякий был щедр, игрой наслаждаясь.
На этот доход я жил, не нуждаясь.

Но разве я мог сравниться с той пери?
И вот предо мной захлопнулись двери,

И я призадумался, ощущая,
Что, всеми забыт, я быстро нищаю.

Не стало хватать на хлеб и на воду.
Я понял, что нет иного исхода,

И горсть камфары глотнул, да такую,
Что вмиг потерял всю силу мужскую,

И, горько оплакивая потерю,
Отправился к дому ходжи и пери

И, еле удерживая рыданья,
У входа упал, моля о свиданье.

Меня провели, ослабшего телом,
К ходже и луне за пологом белым.

«Ты что так кричишь? — спросили с участием. —
Ты кто? Кто твоим виновник несчастьям?»

И я возопил с неистовой злобой:
«В несчастьях моих повинны вы оба!»

Ответили мне: «Страдалец, не прав ты.
Уста твои молвят слово неправды.

Обиды от нас не видели ближние.
Зачем произносишь речи облыжные?»

Тогда я промолвил: «Не с клеветкою
Явился я к вам, гонимый бедою.

Дозвольте излить мне душу, и, думаю,
Признаете вы во всем правоту мою».

Дозволили мне. Я начал без страха.
Призвал я на дом сей милость аллаха

И честно раскрыл, как розы той пенье
Меня привело на край разоренья.

Ходжа многотимый заулыбался,
Цветок за завесой вслух рассмеялся.

Спросили меня, чего ж я желаю,
И я отвечал, надеждой пылая:

«Позвольте мне с вами жить, уважаемые,
Лишь вам угождать-служить, уважаемые!

Играть лишь и петь аллахом дано мне,
И нет никакой удачи в ином мне.

От ваших щедрот дозвоьте кормиться
И музыке райских гурий учиться.

Дозвольте узнать в ничтожнейшей мере
Секрет мастерства божественной пери!

Достаточно мне познания малости,
Чтоб горя-беды не ведать до старости.

Ведь я средь певцов искусных и славных
В хорезмском краю не знал себе равных,

Прославших в искусстве том знатоками
Я числю своими учениками,

И сам Афлатун, для песен рожденный,
Признал предо мной себя побежденным.

Я лишь пред тобой, о гурия рая,
Старшинство свое смущенно теряю.

Неведом мне звук, что ранил бы душу,
Ее единенье с телом наруша.

Убожество знаний я обнаруживаю,
Но смерти голодной! — нет, не заслуживаю».

Узрели они мое унижение,
Сердца их пришли в благое движение,

Хоть я и не знал гортанной их речи,
Но понял, что зла в их доме не встречу.

Тут молвил ходжа: «Мы в дом тебя взяли бы,
Внимая тебе, мы горя не знали бы,

Ты был бы приятен нам, без сомнения,
Но есть здесь — увы! — одно затруднение:

Нельзя здесь мужчинам жить посторонним,
Иначе мы честь нарцисса уроним».

В ответ я сказал: «И это улажено.
Честь вашего дома мною уважена.

Познаний в искусстве пенья взыскаю,
В себе погубил я силу мужскую.

Я взял камфары и так наглотался,
Что с силой мужской навеки расстался.

Я знал, что лишь это белое дело
Откроет мне путь за занавес белый.

Теперь Камфара — вот имя мне будет,
И вас за меня никто не осудит.

И полог ваш бел, и я теперь бел.
Иначе б я к вам проситься не смел».

Услышав мои рассказы подробные,
Дивилась весьма луна бесподобная,

Почтенный ходжа пришел в изумление,
Но мне оказали благоволение,

Сердца добротой доверья наполнили
И просьбу мою, подумав, исполнили.

Назваться — одно, а делать — другое.
Ведь я не умел быть в доме слугою,

Но я проявить старался ретивость,
Услужливость, скромность, благочестивость.

С поклоном гостей встречал я у двери,
Учился игре и пенью у пери,

Меня понапрасну не утруждали
И щедрой приязнью вознаграждали.

Но грызла меня загадка великая:
Едва лишь за чанг бралась луноликая,

Мрачнела она, и горькие слезы
Катились из глаз божественной розы.

Напевы ее полны были муки,
Такие поет влюбленный в разлуке.

В укромных местах и сада, и зданья
Я слышал ее глухие рыданья.

Я тут же за чанг с усердием брался,
Я песни ей пел, утешить старался.

Она наш язык с трудом понимала,
Но песням моим всё чаще внимала,

А я напевал ей самые чудные,
Слова толковал ей самые трудные.

Всё сон к ней не шел, и в полночи длинные
Я пел ей сказанья наши старинные.

Опять же гляжу: чуть речь о разлуке —
Так роза рыдает, вскинувши руки.

И тут я дошел своим разуменьем,
Что сердце ее объято томленьем,

Что роза всех лун влюблена, наверное,
Да с избранным разлучена, наверное,

Что, мучась от милого в отдалении,
Не ведает муке той утolenия

И с чанга ее слетают не звуки,
А искры любви, горящей в разлуке.

Всхотев в правоте своей убедиться,
В догадках и домыслах утвердиться,

Стократ усладил я речи медовые,
Сто слов находил на каждое слово я,

И вскоре, терзаем жгучим недугом,
Скакун ее сердца стал моим другом.

Вот тут я и молвил: «О роза сладости,
Дай бог тебе в жизни всяческой радости,

Избавь тебя бог от всяческой горести
И обереги от всяческой хворости,

Печет меня дума, будто заноза.
Дозволь же мне слово молвить, о роза!»

Дозволили мне, и начал беседу я:
«Я, рабская тень, стопам твоим следую,

Во мне отразились, словно в зеркале,
И радость твоя, и грусть, и печали.

И тень, и зеркало, отображая,
Твердят, что у розы горесть большая,

Удары ее всё глубже вонзаются,
А роза молчит и пуще терзается.

Любовные муки тому причина,
И горечь разлуки тому причина.

Твое истошилось долготерпение,
Страданьем твое изглодано пение.

И эти страданья будут жестоки,
Покуда в себе ты прячешь истоки.

Пока чье-то око не различит их,
Ничто не уймет их, не облегчит их.

Открой мне твоих печалей причину!
Не стану твердить: «Она излечима».

Покуда живу я на свете этом,
Клянусь я молчать о секрете этом,

Но, коли найду возможность такую,
Ничтожный слуга, тебе помогу я».

Прекрасная роза долго молчала,
Вздохнула и вот что мне отвечала:

«Не стану перечить. Знаю, что прав ты,
А выше всего — достоинство правды.

Твой ум разглядел и понял беду мою
И должен понять, зачем, как я думаю,

Нет проку ему те мысли вынашивать,
Нет права ему об этом выспрашивать.

От знания правды толк тебе малый.
Мне ж это грозит бедой небывалой.

Есть грозные тайны. Знать их опасно.
Опасен и ты, их жаждущий страстно.

Ты сделался жертвой неосторожности.
Теперь выбирай одну из возможностей:

Иль разом оставь попытки познания,
Иль, правду узнав, отправься в изгнание,

Поклявшись, что будешь век сторониться
И этой страны, и даже границы».

Испуг меня взял от слов розоликой.
Пять дней я ходил в печали великой,

Меня устрашала доля изгоя,
Ни почью ни днем не знал я покоя.

Мой разум взывал: «Душа, будь послушна!»
Душа же корила ум малодушный,

Твердя, что смиренье — худшая доля.
И вот замолчала разума воля,

И к розе явился я с разговором,
Ни крохи добра не видел в котором:

«Неверные мысли сердце мне гложут,
Но их укротить мой разум не может.

Поведай же тайну мне сокровенную,
И эту страну покину мгновенно я».

Ответила роза: «Собственной властью
Зовешь на себя беду и несчастье.

Клянись же, что в доме сем не останешься!
Клянись, что с Хорезмом тут же расстанешься!»

Промолвила зло, глядела сурово,
Но дал я такое верное слово,

Что страхи ее оставили сразу,
И вот приступила роза к рассказу:

«Догадка твоя касается главных,
Но всё же событий очень недавних.

И чтобы понять причину печали,
Ты должен узнать, что было вначале.

Из дальнего Чина буду я родом,
Я с детства в полон попала к невгодам,

В ту пору в стране усобицы были...
Ребенком меня на рынке купили,

Ходжа приобрел меня, и поныне
Я, солнце Востока, просто рабыня.

Жила у него и в неге и в холе я,
Но всё ж я рабыня в доме, не более.

Бог не дал ходже родного дитяти,
И стал он меня за дочь почитати.

Мне нравилось петь, мой говор был внятен,
А голос — весьма для слуха приятен.

Со всех уголков великой подлунной
Больших знатоков гармонии струнной

Собрали в наш дом учить меня пению
За невероятные подношения.

Все тайны я в несколько лет постигла,
Высот совершенства в пенье достигла.

Я тешила пеньем и удивляла,
Я мучила пеньем и усыпляла,

Весь мир прикипал вокруг изумленно,
Мой чанг колебал края небосклона,

Краса моя с каждым днем расцветала,
И слава моя всё пуще блистала.

Но ведомо стало людям вельможным,
Что я лишь раба, купить меня можно.

И вот предложенья разом посыпались,
И вот подношенья разом посыпались.

Чем краше весна моя становилась,
Тем выше цена моя становилась,

Тем громче купить меня предлагали,
Тем больше народу в торг вовлекали.

Всяк только и думал, как ему справиться
С покупкой такой небесной красавицы:

А в Чине художник жил несравненный,
Первейший художник целой вселенной.

Искусством своим весь мир потрясал он.
На шелке мой лик тайком написал он,

В неведомый край картину унес он,
И там ее в дар царю преподнес он.

А царь тот — не просто царь, а единым
Над всеми царями стал господином.

Тот царь живописцу, видно, доверился
И тут же купить меня вознамерился,

Назначил в послы людей именитых,
И благочестивых, и даровитых,

Велел им идти за горы, пустыни
И приобрести певицу-рабыню.

В то время наш хан ко мне приценялся,
Но голос царя приказу равнялся,

И ханство ходже доставило свой
Готовый царю оброк годовой.

Остались послы довольны покупкой,
И вот, дорожа добычею хрупкой,

Со всем береженьем и под охраной
Меня повезли в далекие страны.

Явилась царю я в лучшем уборе.
Вручили меня, жемчужину, морю,

Вручили меня, зарницу, светилу,
И я пред царем, рабыня, застыла.

А он, небосвод величия царского,
Послов одарил богато и ласково

И щедро мне дал приют, отворяя
Чертоги души, подобные раю.

И так получилось, что мной одною
Чертог озарялся, будто луною.

Моя красота — увы! — быстротечная -
Была для царя как бы жизнью вечною.

А царь кочевал степями, горами,
Он занят охотой был и пирами,

Он жил среди нарциссов, маков, тюльпанов,
Арканом ловил проворных куланов,

И те властелина встречали стоя,
Его покоренные быстрою.

Разил он копьем, и кровь выступала,
И травы от крови делались алы.

Так дивно царил в просторе хмельном он,
И жаркий кебаб укрощал вином он.

Ни в стройном дворце, ни в диком приволье,
Ни наедине, ни в шумном застолье

Ему без меня веселия не было,
Покая души от зелия не было.

Пока не явлюсь я рядом, бывало,
Ни капли не сседит он из бокала.

Бывало, мой палец струны чуть тронет,
А он уж, восторг предчувствуя, стонет.

Чертог ли над нами, вольное небо ли —
Все тайны его мне тайнами не были,

И всюду, всегда, везде, непрерывно
Меня его взгляд касался призывно,

В его небесах я солнцем блистала,
Я жизнью его единственной стала,

И войско — его несметная сила —
И облик его и голос забыло.

В державе своей, добытой войною,
Оставив войну, он занят был мною.

Рабыня царя подлунной вселенной,
Царя я любила самозабвенно.

Я встреч с ним искала, было мне мукой
Хоть час, хоть минуту спорить с разлукой.

Над чувством своим не знали мы власти,
И небо горело нашею страстью.

Но я, низкородная, соблазнилась,
Но я, низкородная, возгордилась,

Вольно ж было мне, ничтожной рабыне,
Чья плоть на худой замешана глине,

С великим царем блаженствуя вместе,
Поверить в заслуженность этой чести!

Забыв, что пред львом я жалкая серна,
Я стала держаться высокомерно.

И вот как-то раз во время облавы
Мы с ним поднялись на холм величавый,

Играло вино в моем господине,
А я — я была пьяна от гордыни.

Он лук натянул, внимательно глядя
На чудо-оленья, лучшего в стаде,

И молвил шутя: «Того великана
Сейчас, как захочешь, так и достану».

Ответила я: «Сначала стреножь его,
Он рухнет, и в горло стрелой добьешь **его**».

Кивнул властелин и мигом олению
Одной перебил стрелую колени,

И тут же, гортань ему раздирая,
Олень стрела убила вторая.

Да сыщется ль в мире рука, способная
Под шутки и смех совершить подобное!

Мне славой низать бы руку ту меткую!
Мне облобызать бы руку ту меткую!

Но я эту руку не лобызала,
Я дерзкую глупость громко сказала,

И смех мой обидный был непристойен
Пред ним, что хвалы высокой достоин.

И был бы он прав перед всей вселенною,
В клочки разорвав мое тело тленное, —

Мои непомерные притязания
И худшего стоили наказания.

Но воли кинжалу гнева он не дал,
Заслуженной смерти меня не предал,

А просто связал мне руки и ноги
И отдал судьбе при пыльной дороге.

Две ночи, два дня я изнемогала,
Нечистая совесть душу сжигала.

А старца ходжу, торговца из Чина,
В ту пору вконец заела кручина.

Он понял: богатством дух не насытить,
Былую рабыню должен он видеть.

Оставил он дом, ушел с караваном,
Стал мерять пути по всяческим странам,

Пытаясь дознаться, что со мной случилось,
И небо моля, чтоб я отыскалась.

Его караван случился поблизости
От места, где я терзалась от низости.

Ходжа с верховыми слугами вместе
Умчался вперед на поиск известий,

И темная ночь в пути их застала.
Ходжа огляделся, молвил устало:

«В неведомый край мы путь проложили
И столько трудов на то положили,

Но цель дорогая нам не дается,
Нам нынче в степи ночевать придется».

И в сотне шагов от грешницы брошенной
Он рухнул, забывшись сном, как подкошенный.

Вкушал до утра он сна благолепье,
Проснулся, глядит — светает над степью.

Как всякий попавший в новые местности,
Он встал и окинул взглядом окрестности.

На дальнем пригорке взгляд его зоркий,
Пытливый и зоркий взгляд, — на пригорке

Заметил подобье статуи некой,
Лежащей, похожей на человека.

Решив присмотреться к этой находке,
Туда поспешил он скорой походкой

И вскрикнул, увидя меня, лежавшую,
От боли сознание потерявшую, —

К ногам голова притянута косами,
Ладони торчат меж пятками босыми.

Он пути мои разрезал кинжалом,
Жива я иль нет, с тоской вопрошал он.

В глазах у меня ни живинки не было,
В лице у меня ни кровинки не было.

То я иль не я, он, слезы лия,
Себя вопрошал, то я иль не я?

Волос расправляя спутанных пряди,
Знакомые родинки видя, глядя,

Не мог он понять, пьяна иль трезва я,
Боялся узнать, жива иль мертва я.

Пустой окоем вокруг расстился,
Старик надо мной совсем растерялся,
В печали великой молиться стал он,
Но тут караван вдали увидал он.
Отправил гонца он вызнать у едущих,
Где можно сыскать здесь лекарей сведущих,
Но та чередка, что слала судьба нам,
Была его собственным караваном.
Там были мои служанки и мамки,
Там были мои подружки и няньки,
Они, словно шумный рой, налетели,
Узнали меня по меткам на теле,
Вокруг засновали, захопотали,
Рыдая и плача, запричитали,
Царапая лица, в грудь себя били,
Подумав, что я покойница, выли.
И даже ходжа, делец хладнокровный,
Ударился в стон и скрежет зубовный,
Теряясь в догадках и негодуя,
Боясь, что уже в себя не приду я.
«За что, — он кричал, — такая немилость
И солнце мое при мне закатилось?»
Струились их слезы в горе великом,
Как будто ручей при холме том диком.
Для савана шелк сложили мне втрое,
Засыпали весь его камфарою,
И розовым маслом sprysнули чистым,
И амбры комком натерли душистым.
И эту тканью благоуханною
Укутали сплошь меня, бездыханную,
И запахи те, омывшие тело,
Свершили свое целебное дело,

Великая сила благоуханья,
Во мне пробудила жажду дыханья.

Я слабо, со всхлипом воздух вбирала,
А челядь от счастья пообмирала,

Она мои ноги радостно гладила
И наперебой мне снадобья ладила,

Теряясь в догадках, — что же случилось? —
Пришло ко мне зреньё, речь отворилась,

И я, зарыдав пред ними, усердными,
Таковыми родными и милосердными,

Сказала: «Всю мочь свою напрягите!
Немедленно прочь отсюда бегите!

Не то вас сразит печаль беспредельная,
Не то вам грозит опасность смертельная!»

Со всею возможною быстротою
Расстались мы с долиною тою.

Меня, в паланкин устроив уютно,
Поили настоем ежеминутно.

Два дня и две ночи без остановки
Мы шли, пропустив привалы, ночевки.

Тут силы ко мне возвращаться стали,
Но все остальные очень устали.

Нашли мы родник, стоянку разбили,
Воздвигли шатер, ковры постелили,

И, тело свое воскресшее нежа,
Я, сидя, дышала воздухом свежим.

Сел рядом со мной ходжа, подошедший
В надежде узнать о всем происшедшем.

Я всё, как сумела, ему поведала,
Судьбы своей радость и тьму поведала.

Он слушал меня, дрожа и волнуясь,
Я смолкла, и замер старый, понурясь,

Спросила и я, какие причины
Его привели в пустыню из Чина.

И он рассказал, как он истомился,
И как он искать меня устремился,

И как он, по милости провидения,
В безлюдной степи принес мне спасение.

Задумались мы в расстройстве великом,
Куда же податься нам, горемыкам,

Какие еще грозят нам события,
Возможно ль для нас на свете укрытие?

Я молвила так: «Мне кара назначена
Царем, а всевышним переиначена.

Я кару свою стократ заслужила
От царской руки за то, что вершила.

Шах смерти обрек меня, а не страху —
Бог даровал жизнь. То должно знать шаху.

Рабыня царя, лишь царским решениям
Обязана быть хочу воскрешением.

Вы сделали саван мне, недостойной,
Обряд совершили заупокойный.

Так вот: я мертва! не чувствуя страха,
Пойду я к царю по воле аллаха!

Скажу я ему: «Ты прав был, рабыню
На смерть осудив за злую гордыню.

Я суд приняла, я грех не прикрашивала;
Я смерти ждала, я жизнь не выпрашивала,

Но жизнь мне дана с божественных высей,
Хозяин ей — ты. Так распорядись ей!»

Убьет он меня — что ж! — значит, судьба.
Простит он меня — ему я раба.

Пред ним я виновна, но он один
Мой щедрый, мой царственный господин.

Он судит меня, но вовсе не мстит мне.
Всем сердцем я верю, что он простит мне

И вас не пошлет в тюрьму иль на плаху.
Давайте сей миг отправимся к шаху!»

Я речь говорила — молчал ходжа.
Я смолкла — главой покачал ходжа.

«Ты, — молвил он, — путь наметила ложный,
Противный судьбе, неблагонадежный.

Бог дал тебе жизнь, бессильной и связанной,
А волю небес блюсти ты обязана.

Царю, что казнит рабыню за слово,
Нельзя докучать, являючись снова.

Царь этот — огонь. Его разъяришь ты —
Держись в стороне, иначе сгоришь ты.

А ты нас зовешь дразнить его ярость!
Иных я забот желал бы под старость.

Покуда в царе обида пылает,
Он вряд ли тебе добра пожелает.

Бежим от него подальше, несчастная!
Отыщем себе гнездо безопасное.

Когда же престольный гнев прекратится.
И слухи начнут об этом катиться,

То сразу нам ясно станет с тобою,
Что сделает царь с воскресшей рабою.

Молва нам расскажет, то ль он горюет,
То ль снова в степи, охотясь, пирует.

Коль будет скорбеть он по совершенному,
То будет он рад цветку воскрешенному,

А коль он вернется к пиру и негам,
Считай, что тебя спасли мы побегом».

Вся челядь сочла те речи разумными,
Признав правоту их кликами шумными,

Все стали кивать — кто вправо, кто влево, —
Куда нам уйти от царского гнева.

Поскольку Хорезм считается дальним,
Сюда и легла дорога опальным.

Томлюсь я разлукой с царственным шахом,
Брожу между скукой, мукой и страхом,

В очах моих мгла, мне жизнь немила,
Разлука мне — смерть. Да, я умерла.

Я здесь не пою, я здесь как немая,
Я саван ношу, ношу — не снимаю.

Тому, кто живет случившимся прежде,
Пристало ходить в загробной одежде.

Ах, шелк этот белый, сложенный втрое,
Пропавший насквозь бедой-камфарою!

Когда хоронить меня доведется,
Ее добавлять уже не придется.

Вот так и пришли мы к стенам Хорезма,
Вот так и влачим здесь дни бесполезно,

Страшимся и ждем, храня свою тайну,
О друг мой, иль враг, иль спутник случайный!

Однажды пойдя дорогою ложной,
Твержу я себе: «Будь впредь осторожной»,

Не то я ушла б из этой обители,
Но я берегу седины спасителя.

Рассвет настает. Рассказ мой досказан.
Ступай и исполни то, что обязан.

Сдержи свое слово по договору ты
И прочь уходи из этого города».

В безмерной тоске, в печали великой,
О царь, я простился с той розоликой.

Сто тысяч дорог легли предо мною.
Я все их прошел. Они за спиною,

Вся пыль их — в груди, о царь, но ни разу
Я уст не посмел открыть для рассказа.

Твои мудрецы мне строго велели
Всю душу открыть у белой постели.

Вошел я, гляжу — здесь всё белоснежное.
В глазах так и встала роза та нежная.

И саван ее из белого шелка,
Что носит она смиренно и долго,

Дай бог ей не стать в нем тленом и прахом,
Дай бог ей с любимым встретиться шахом!

Она бы и здесь не стала излишней,
Украстить могла бы трон этот пышный».

Едва лишь умолк рассказчик бессонный,
С постели вскочил Бахрам потрясенный.

Он понял давно, о ком эти речи,
Стократно душа рвалась ей навстречу,

И он обмирал, трепеща от счастья
И мысленно рукоплеща от счастья.

Уж он порывался обнять рассказчика,
Но только боялся прервать рассказчика.

Ведь если б рассказ оборвался плавный,
На месте скончался бы шах державный.

Но кончил рассказчик, и вопль восторга
Из шахской груди болящей исторг он.

Рассказчика крепко обнять спеша,
Шах встал, но рассталась с телом душа

И он на ковры упал без сознания,
Сраженный умолкшим повествованием.

Искать и, найдя, дыханья лишиться.
Но кто же отступит? Кто устратится?

ГЛАВА XXXIV

О том, как шах Бахрам, открыв тайну убежища луны всех роз, отправил в Хорезм послание, умоляя ходжу и нежнейшую из всех гурий прибыть к нему, о том, как он устремился навстречу долгожданным, и о том, как ночь разлуки окончилась рассветом воскрешения его души.

К полуночи шаху тайна открылась
Названья страны, где роза сокрылась,

И он до утра в покоях метался,
Как тигр, что в ловушке вдруг оказался,

Горел он, отдавшись страсти кипенью,
Олицетворял собой нетерпенье,

Палящий огонь из глаз его капал,
То вскакивал шах, то рушился на пол,

Скитальца играть и петь заставляя,
Сто раз повторять рассказ умоляя.

В стотысячный раз себя укорял он,
И то воскресал, то вновь умирал он,

А в сердце его, восставшем из пепла,
Надежда на встречу крепла и крепла.

Не в силах сказать я, что с ним творилось,
Но то до утра до самого длилось,

Он то обмирал, то вскакивал сызнава,
Улыбку рассвета диво то вызвало,

И утро, смеясь в редеющей тени,
Решило зарю поднять раньше времени.

И тут объявил придворным Бахрам,
Что едет в Хорезм к своей Диларам,

И к этому странствию отдаленному
Отряду велел готовиться конному.

Однако мужи державные хором
Сказали: «О царь! Ты долго был хворым.

Оправься сперва от долгой болезни,
Помедли день-два, так делу полезней.

Отсрочка подобна муке смертельной,
Но путь ты наметил многонедельный,

И, если в пути недуг воспалится,
Где силы возьмешь, дабы исцелиться?»

О том же молить явились из города
Мудрейшие старцы, белые бороды:

«Царь, словно гора, над всем возвышается.
Гора же спокойствием украшается.

Когда же она приходит в движение,
Не Судного дня ли то приближение?

О шах несравненный! Повремени же,
Дабы не разрушить храмов и хижин!»

И шах покорился просьбам усердным,
Поскольку он был царем милосердным,

Но в это же утро собственной дланью
Составил ходже такое посланье:

«Хорезм послужил вам местом приюта.
Об этом узнав, мы в ту же минуту

Посланье сие вам с радостью пишем.
Боялись, что мы про вас не услышим,

И нас огорчало это премного.
Не медля ни дня, пускайтесь в дорогу,

Спешите ускорить наше свиданье.
Не ведаем сна, томясь в ожиданье».

Дышало тоской и болью великой
Посланье царя к его луноликой:

«Разлуки часы мне в сердце впиваются.
Не слезы, а кровь из глаз изливается.

Тебе моя жизнь до капельки отдана.
Молю: не губи столь преданной подданной!

Разлука разит страшнее кинжала,
Тоска мою душу смертная сжала,

Кровь сердца бежит и путь тебе метит,
На каждом шажочке капелька встретит,

Крича, чтобы ты ко мне торопилась,
Пока моя казнь еще не свершилась.

Лети же стремглав иль дня провозвестником,
Иль ангелом смерти, божиим вестником.

Вложу в твою руку лезвие мщенья,
Коль грех мой — увы! — не знает прощенья.

Не ставь мне в вину, что письма пишу-де,
А сам прискакать к тебе не спешу-де.

Не хладен я стал к красе твоей милой —
Болезнь не дает собраться мне с силой.

В плену у разлуки сделался слаб я,
Я пища тоски, и немощи раб я,

Мне к чаше с водой и то не нагнуться,
Я кровью вот-вот готов захлебнуться,

И чувство такое мной овладело,
Как будто душа отходит от тела.

Не дай же увлечь себя укоризне,
Стань новой душой, опорой жизни,

Спешу, а не то, вконец исстрадавшись,
Я так и умру, тебя не дождавшись.

Тонка моя нить и может прерваться.
Что пользы потом рыдать-убиваться?»

Закончив, печать на шелковой нитке
Поставил Бахрам на свернутом свитке,

Со вздохом вручил гонцам, чтобы резво
Бежали их кони к стенам Хорезма

С указом царю того государства
Годичный оброк Хорезмского царства

Доставить ходже без всяких задержек
В покрытие его дорожных издержек.

Исполнившись шахской нетерпеливостью,
Со всею возможною торопливостью,

Не тратя в пути ни часа на отдых,
Коней загоняя на переходах,

Хорезмской тропой гонцы полетели
И быстро достигли названной цели.

Как ветер, что в пути не знает преграды,
Явились они ходже посреде сада

И подали письма с низким поклоном
Ему и цветку за белым заслоном.

Воспрял до небес ходжа терпеливый,
Цветок лепестки расправил счастливо,

А им уж везут хорезмское злато,
Что было казне готово в уплату.

Владыка Хорезма великодушен,
Коней подарил из царских конюшен,

И те скакуны, подобно ветрам,
Помчали к царю ходжу с Диларам,

Но за переход до царской столицы
Пришлось им на отдых остановиться.

Бахрам в одиночку, тайно от прочих
Их встретить решил под пологом ночи.

Вся стража спала. Ушел из дворца он,
Всю ночь поспешал в одежде гонца он,

Рассвет занимался, ласков и светел,
Когда он вблизи стоянку приметил.

Оставивши трудный путь за плечами,
Когда приходилось ехать ночами,

Уснул караван у цели заветной,
Вкушая целебный сон предрассветный.

Вблизи родника стояла палатка,
Где роза спала покойно и сладко,
А над родником склонялась чинара,
Грозами пробит был ствол ее старый,
Зиянье пространства испепеленного
Томило, как рана в сердце влюбленного.
Коня привязав за повод узорный,
Увидел Бахрам пролом этот черный
И скрылся тайком в дупле том обширном,
Как ангел, что бдит над лагерем мирным.
Но роза спала, об этом не зная,
В шатре, источавшем запаха рая.
Едва лишь Бахрам укрылся в пещере,
Как сон отлетел от вежд его пери,
Проснулось желанье у лунолицей
Свершить омовенье и помолиться.
Она помолилась, горько вздохнула
И к чангу ладонь свою протянула,
И вот уж от струн, тугих и крученных,
Напев побежал о двух разлученных.
О, сколько там боли, в звуках таящейся!
О, сколько там страсти, в сердце гнездящейся!
И вот уж, волшебный и сверхъестественный,
Раздался и голос розы божественной,
Звучащий горячим словом, тем самым,
Что послано было розе Бахрамом,
И руки луна воздела, стеная,
Кровавые слезы в воду роняя.
Бахрам в глубине сожженного древа
Рыдал, потрясенный силой напева,
А солнце всех лун, пия неземную
Тоску, затянула песню иную:

«Дорога длинна, уныла и знойна,
А сердце стучит в груди беспокойно,

Всё тело мое от солнца в ожогах,
И мечется дух на пыльных дорогах.

О, мука моя! — скитаться по свету!
Разлука моя, конца тебе нету!

Коварное небо! Молви мне прямо,
Воистину ль я увижу Бахрама

И сбудется ль то, что снится мне, снится мне,
Как ноги его я глажу ресницами?

И нет у меня желанья иного,
Пусть смерть меня ждет! Я к смерти готова!»

Услышав ту песнь из уст своей пери,
Не выдержал шах в древесной пещере,

Души его храм рванулся наружу,
И с воплем Бахрам метнулся наружу,

Палящая боль исторглась из чрева,
Окутав огнем столетнее древо,

Как огнепоклонник перед огнем,
Он пал, и не стало памяти в нем,

Безумно влюбленный шах знаменитый
У ног своей розы пал, как убитый.

Увидев его, бутон несравненный,
В смятенье отбросив чанг драгоценный,

Стопы его ног омыла слезами те,
О коих звала, и пала без памяти.

К несчастным влюбленным чувствуя жалость,
Светило, взойдя, чуть ниже держалось,

Дабы не сбжечь пылающим взглядом
Тела, на песке лежащие рядом.

Лежали они, не в силах очнуться,
А люди не смели к ним прикоснуться,

Сожженным дотла разлукою жгучей.
О боже! Какой невиданный случай!

Затем ли они в тоске изводились,
Чтоб, встретясь, свиданьем не насладились?

Лежали они, почти бездыханные,
Но утро вставало благоуханное,

И солнце, извечный путь повторяя,
Должно было встать с небесного края.

Ходжа это понял предусмотрительный,
Покинул стоящих круг нерешительный

И, счастья птицу чуя душою,
Велел покрывало вынуть большое.

Дабы не спугнуть прекрасную птицу,
Он всем приказал уйти-удалиться,

А сам покрывало чутко расправил,
Шатер над царем и розой поставил,

И солнце своим лучом благодарным
Шатер озарило светом камфарным.

Когда же в шатре очнулись влюбленные,
Беседы пошли у них потаённые.

О чем? Их, сокрытых в светлой обители,
Не слышали уши, очи не видели.

Дела их и речи нам не известны,
А праздные домыслы неуместны.

Тем боле, что пыль вдали заклубилась, —
То шахская свита с войском явилась,

Воспряли они, узнав о случившемся,
Предстал перед ними шах исцелившимся.

Поступок ходжи был щедро отплачен,
Особым визирем был он назначен.

И к дивным дворцам решили направиться
Счастливым Бахрам и роза-красавица.

ГЛАВА XXXV

О том, сколь счастливы были в дальнейшем лев и его несравненная газель, а также о том, как рок обратил против льва неукротимую львиную неумеренность и совершилось неизбежное.

Вернувшись домой, счастливый Бахрам
На радостях вновь отдался пирам.

Мгновенно забылись хвори и слезы —
Так пахли призывно вина и розы.

Ему приготовленные, блестили
Дворцы — по дворцу на всяк день недели,

И в каждом дворце все были одеты
В одежды оттенков должного цвета.

В урочный дворец с луной прибывал он,
Всю ночь напролет с луной пировал он,

Хозяек даря любовью великой,
Но страстью горя к одной розоликой.

Превыше всех роз великий Бахрам
Любил-почитал свою Диларам.

И множество раз сей круг повторил он,
И небо при каждом благодарил он.

Но так уж устроен мир наш унылый,
Чтоб всем обернуться темной могилой,

Будь нищим иль царствуй сто поколений,
Будь вечен сам дух твоих повелений,

Раздвинь небеса могучей рукою
Иль солнце поставь покорным слугою,

Но час твой настанет, жребий свершится,
И должен ты будешь прочь удалиться.

Так будет с тобой, коль ты человек.
И участи той Бахрам не избег.

Но рок был и здесь к Бахраму не мстителен,
Конец его скор был и удивителен.

Он век коротал, пируя свободно,
Дворцы посещая поочередно,

И в каждом дворце в распахнутой двери
К ногам властелина падала пери,

И царь наслаждался, слыша газели,
Которым не сыщешь равных доселе.

Когда ж от пиров и впрямь уставал он,
Облаву на зверя вновь затевал он,

И радость охоты с ним пополам
Делила всегда его Диларам.

Она тут была и певчим и кравчим,
Любил ее царь всё жарче и жарче,

Он пил ее свет, он пил ее пенье,
Не мог с ней расстаться ни на мгновенье,

На шумном пиру, в степях под шатрами
Та роза всех лун была при Бахраме.

И вот приказал он пешим и конным
Весь мир окружить и сделать загоном

И враз учинить на поле просторном
Побоище тиграм, львам и джейранам.

Рябило в глазах у спутников шаха
От стай и от стад, безумных от страха,

Их ревом и топотом оглушило,
Хотя ни на миг и не устрашило.

В десяток рядов построясь, по взмаху
Напали на зверя спутники шаха,

Они с двух сторон добычу стеснили,
Один пред другим усердствуя в силе,

Над львами и тиграми насмехаясь,
А звери, от ужаса задыхаясь,

Хрипели, круша друг друга в галопе
И падая ниц от стрел и от копий.

Кровавым цветком багрянились раны,
В огромную груды сбились джейраны,

И хлынул из груды поток кровавый —
Царевой причуды итог кровавый,

И в этом потоке, пав на колени,
Топули подраненные олени.

А шах, увлечен потехой кровавой,
Животных разил и слева и справа.

Бок о бок с ним сотни лучников мчались,
Один пред другим в стрельбе отличались,

А львицы, рыча безумно и воя,
Метались, топча вокруг всё живое,

И тщетно надеялись на спасенье,
Пытаясь уйти под группы оленьи.

Копыта коней, храпящих и потных,
Ломали хребты упавших животных,

Все лица, все руки, пасти и шкуры
От крови и пыли сделались буры,

Но свежая кровь багряной струею
Текла, застывая слой поверх слоя.

Никто не почуял, зверя валя,
Как странно нетвердой стала земля.

Ведь там, где Бахрам затеял охоту,
Когда-то не степь была, а болото,

Болото потом засыпала пыль,
На пыли той рос веками ковыль,

И корни его корою могучей
Слежались, сплетясь над топью зыбучей.

Те жесткие панцири травяные
Дожди размочить не в силах степные,

Но хлынул поперх кровавый поток —
И панцирь набух, и панцирь намок,
От топота ног несчетных животных
Открылись ловушки хлябей болотных,
Ушли туда разом кони по груди,
Увязли по шею пешие люди,
И с каждым порывом, с каждым рывком их
Пучина заглатывала целиком их.
А тут набежали на небо тучи,
И ливень пошел над прорвой зыбучей,
И вот сопрягли столбы водяные
Небесную хлябь и хляби земные,
И вмиг охватил пространство степное
Потоп, где, однако, не было Ноя.
Где почва еще хоть как-то держалась,
Сплетенье корней от влаги разжалось,
И в этом аду бездонном и скользком
Тонуло и гибло войско за войском.
А жижа кипела и косоротилась,
Теперь уж она, ликуя, охотилась,
Мешалась с кровью, стужей пронизывала
И шахскую свиту будто бы слизывала,
Ловящую воздух ртами открытыми,
Разимую бешеными копытами.
Вверху небеса дрожали в испуге,
Следя, что в подлунном деется круге,
Где слово сбывалось книги старинной
О том, что-де тонут там, где трясина.
А жребий свершался: почва разваливалась,
Полки за полками разом проваливались,
Где землю прогнули, смяли и вздыбили,
Никто не избегнет страшной гибели.

Вольно ж было им не жить поспокойней,
Вольно ж было им устраивать боины,

Чтоб вместе с горой убитых животных
Остаться навеки в прорвах болотных!

Вода поднялась, покрыла окрестности,
Нахлынула даже в дальние местности,

Напомним народам, кротким и мирным,
Что мир наш — листок на море обширном.

И, видя, как свита гибнет в волнах,
Погиб и Бахрам, над шахами шах.

Никто не ушел из топкой могилы,
То было превыше всяческой силы.

Вот так, западню готовя другому, ты
Себе открываешь мрачные омуты,

И ждет тебя там конец неминучий,
Джейран ли ты быстрый, лев ли могучий.

Когда же их гибнут тысячи разом,
Уже не вмещает этого разум.

Равно устрашает льва и оленя
Вид смерти и крах надежд на спасенье,

Стада их и стаи тесно сбиваются,
Друг к дружке они в тоске прижимаются —

И жертва, и хищник, смертью разимые
И сбитые в пары нерасторжимые.

Что значит их разный нрав и обычай,
Когда они вместе стали добычей?

Явил свою силу рок перед шахом,
Весь блеск его царства сделавши прахом.

И шаха постигла смерть неминучая,
И он, как его дружина могучая,

В бездонную хлябь ушел с головою,
Куда погружается всё живое.

Лягушку и птицу, льва и джейрана,
Владыку всех тайн царя Сулеймана,

Красу и величье, мудрость и силу —
Безмолвная всё глотает могила.

Сей мир по таким построен законам,
Что кажется мне коварным драконом,

Над каждым из нас он хищно витает,
Хватает — и в пасть и разом глотает,

Со всеми и вся справляется просто,
Глотает по пять, по десять и по сто,

А ежели случай ему представится,
Проглотит сто тысяч и не подавится.

Сам верю с трудом в подобные страсти,
Но вот ведь исчез Бахрам в его пасти,

Ни слава, ни сан не святы для жадного
Чудовища, злого и беспощадного,

Никто не спасется, не отобьется,
Никто не вернется, не отзовется.

Господь милосердный! Как получилось,
Что зверем на нас судьба ополчилась?

Открой, для кого и что за сокровище
Хранит неусыпно это чудовище!

Я вижу лишь тех, за кем оно рыщет,
Я пленник его, кричащая пища,

Я чувствую власть его над собою,
Ни ночью ни днем не знаю покоя.

Но мало ему той пищи кровавой,
Но мало расправ над силой и славой,

Оно еще пыль мешает со тленом,
Чтоб льнул этот яд ко всем нашим членам,

Отрава летит по воздуху с пылью,
И вот мы, дыша, вдыхаем бессилье,

Мы страждем в борьбе с отравой тления,
А годы идут, и нет исцеления.

Мы тленья добыча. Зная об этом,
Быть может, прощаться легче со светом,

Так нам Феридун еще заповедал
Задолго пред тем, как рок свой изведал.

Словцо «бытие» забудь, Навон,
И помни, что бренны тропы твои:

Иных не ищи, терзаясь напрасно,
Про бренность свою тверди ежечасно,

А если не можешь, прочь уходи,
Исчезни — и муки все позади.

ГЛАВА XXXVIII

Окончание повести

О том, как безграничная робость отважилась на чрезвычайную смелость, а также наставление переписчику, краткий свод повествования, счет стихам, обстоятельства писания и день и год окончания этой повести.

Возблагодарить осталось творца мне,
Что дал этот путь пройти до конца мне.

Вершил я прилежно божие дело,
Как небо святое мне повелело.

Свершил. И сижу над ним в размышленье,
Скорее похожем на изумленье.

Как много тетрадей мною исписано,
Как много событий мною описано!

Скакун этой сказки шел, не сменяясь,
Поводьям пера легко подчиняясь.

С великим трудом за ним поспевал я,
Семь трудных преград в пути миновал я,

В семи пропастях дорогу угадывал,
Туда даже ветер, страшась, не заглядывал.

Был труд мой весьма подобен местами
Семи повестям о Зале Рустаме,

Но всё ж я не дрогнул, не отступился
И цели достиг, к которой стремился.

Когда этот посох был мне предложен,
Я ведал, я знал, что путь будет сложен,

Что мне не поднять до музыки стройной
Мой слог, простоватый и недостойный,

Но всё ж на свое стотысячесловье
Гляжу я сейчас с отцовской любовью.

Пускай для других дитя неказисто,
С ним — сердце отца и помысел чистый,

Пусть будет дитя хромым и убогим,
Родитель в нем зрит не зримое многим.

Так я среди стихов, наивных и тленных,
Провижу десяток строк совершенных,

А слабых сторон не чувствую ныне,
Как добрый отец не чует их в сыне.

Я сам не пойму и тщетно гадаю —
Терзаю ль стихом иль слух услаждаю.

Пойму, что трудился я не впустую,
Коль отсвет добра на лицах прочту я,

И, словно искатель, что в завершенье
Нашел, я забуду труд и лишенья.

А если мой сказ — увы! — неудачен,
Ну что ж! Значит, пыл мой даром потрачен.

Я буду, как тот, что в Мекку ходил,
Да, сбившись с пути, в кабак угодил.

На взгляд я пороков не замечаю,
Но правым отнюдь считаться не чаю,

Не льщусь на похвал изящную сладость,
Не черпаю в ней души своей радость.

Мечты мою душу с детства питали,
Мечты меня всюду сопровождали,

Их недостижимость сердце томила.
Но счастье пришло, мне взоры затмило

И молвило: «Слез роняешь ты перлы.
Не долго ль роняешь? И не сверх мер ли?»

Ты слов жемчуга роняешь умело.
А слез жемчуга — твое ли то дело?

Тебе горевать совсем не по чину,
А ты всё горюешь! В чем же причина?»

Рассудок велел пред гостем столь славным
Молчать о своем терзании давнем,

Но сердце, почуяв в госте участие,
Мгновенно открылось светлому счастью,

И всё, от чего душа сокрушалась,
Излить мое сердце не побоялось.

А счастье, узнав про мои печали,
Ответило мне такими речами:

«Подобных тебе на свете немного,
Причин у тебя скорбети немного.

С того ты горишь тоской беспримерной,
Что путь для раздумий выбрал неверный.

Ошибкам своим ведешь ты подсчеты,
Как будто иной не знаешь работы.

Кто темным сосудом солнце считает?
Кто погнутому блюдом месяц считает?

Пусть в мире обилие хитрецов,
Пусть в мире обилие подлецов,

Но день никому не кажется ночью,
Различие меж ними видно воочью;

И полднем считать полуночь готовы
Летучие мыши только и совы.

Но слепы они, а тысячи зрячих
Творений на это смотрят иначе.

Навозным жукам не нравится роза,
Но прочим противен запах нароза.

Не тем ли жукам — увы! — уподоблены,
Кто ищет порок у розы озлобленно?

Не слепы ли те, как мыши и совы,
Кто хает твое жемчужное слово?

Их речи — что камни с тропы невежества,
И слушают их лишь рабы невежества.

Пусть глины комок в скалу ударяется,
От этого сам он в пыль претворяется.

Соломка огонь ругает так громко
Затем, что в огне сгорает соломка.

Пускай их брюзжат, пускай суесловят,
Но лай — каравана не остановит.

Свои огорченья разом забудь ты,
Свободен от этих помыслов будь ты,

Ты, видно, цены не ведаешь сам
Своей же душе, своим же стихам.

Печалится руд, а ты не печалься.
Ты — море, не пруд. Ты с небом встречайся».

Услыша те речи, я вдохновился
И впрямь с величавым морем сравнился,

Такая волна из сердца плеснулась,
Что гребнем кипящим неба коснулась.

Плеснулась волна и вынесла люду
Прекраснейший жемчуг, целую груду,

А я этих груд отдать в состоянье
Поболе, чем прячет дно океанье.

И прежде со мной такое бывало,
Но только тогда душа горевала,

Что зря я тружусь, что эти жемчужины
Не найдены будут, не обнаружены,

Что прелестям их, что их добродетелям
Один только я и буду свидетелем.

Теперь эта мысль оставлена прочно.
Мой стих догорел свечой полуночной,

И сам я сижу, спокойно взирая,
Как вьется в кольцо фитиль, догорая.

Хотя и по правилам стих слагал я,
В блюденье размера сил не влагал я,

И всякий ревнитель чистого слога
Изъянов в размере сыщет помногу.

Какие-то бейты длинней, чем водится,
В каких-то расчет построчный не сходится.

Я кое-какие строки исправил,
Кой-где поубавил или прибавил,

Кой-где подыскал удачнее слово,
Но рукопись, сердцем чую, готова.

Исправленных мест не стану указывать.
Кто зорок, тот сам заметит их сразу ведь,

Но прежде, сие читая творение,
Пусть чует мой пыл, пусть видит горение,

Постигнет хотя бы сотую долю
Того, что открыть я дал себе волю.

Такой, говорю я с радостным чувством,
Сроднил свою душу с нашим искусством,

Такого готов приветствовать я,
Да благословят такого друзья,

Такого аллах не судит сурово,
И место в раю такому готово.

Такому, свернувшему с тропок лживости,
Такому, взалкавшему справедливости,

Пускай называющему порою
Жемчужину светлую бирюзою,

Даруй же души красоту, о боже!
Даруй же ума чистоту, о боже!

Быть может, он слеп, но тянется к свету,
И много ему простится за это,

Хотя он, хваля, не разом подхватит
Всю сущность того, что взором охватит.

Особо скажу о тех, чье занятие —
Размножить мой труд тетрадь за тетрадью.

Они не должны вносить изменений,
Каких бы о нем ни приняли мнений,

Их почерк быть должен четок и тщателен,
Порядок стихов для них обязателен,

Да будет талант их много успешен,
А ревностный пыл на счастье замешен.

Но ежели кто стяжания ради
Спешит кое-как заполнить тетради,

А грамоту сам не слишком-то ведает
И только деньгу считает как следует,

И слово за словом переиначивает,
Да так, что стихи звучанье утрачивают

И смысл их не только ложным становится,
Но и противоположным становится, —

Таких покарай, аллах, слепотою,
Таких покарай, аллах, немотою

И сделай на вечный срам в наказание
Их рожи рябыми, как их писанья!

Воздвиг я дворцы злаченные в поле,
Подобных никто не выстроит боле,

Их росписью шахский взор взвеселил я,
Семь роз несравненных в них поселил я,

И каждый дворец Бахраму ночлегом
Служил в свой черед, маня его к негам.

И в каждый дворец, когда тишина
Желала царю спокойного сна,

К Бахраму являлся, чужд и неведом,
Скиталец, горящий жаждой к беседам,

И шах засыпал под эти рассказы.
Их семь, и подобен каждый алмазу.

Ведь были рассказчики мастерами
И нежно пеклись о хвором Бахраме.

В их честь сей узор на трепетных пальцах
Я так и назвал — «О семи скитальцах».

Кто хочет сравниться со мною, вышей
Такой же узор в пять тысяч двестишней,

И вышей его в четыре луны,
Что мне для работы были нужны.

В четыре недели труд бы свершил я,
Когда бы к иным делам не спешил я,

Но, сутки свои деля пополам,
Я дни посвящал судейским делам.

На ссоры людские сил не жалея,
Предчувствовал я — вот-вот заболею,

Вот-вот упаду, с трудом разбираясь,
Кто прав, а кто лжет, святым притворяясь.

Ах, сколько сутяг на свете проворных,
Жадюг и деляг, ревнивых и вздорных!

Я ел беспокойно, спал беспокойно,
Смирняя чужие свары и войны.

И вот, находясь в таком состоянии,
Вершил я ночами это деяние.

Завистник пустой, копясь в тетрадках,
Начнет упрекать меня в недостатках

И может в пример поставить мне даже
Иных, кто писал о том же, но глаже.

Но тех — я и сам сумел бы назвать их —
Не дергала жизнь на многих занятиях,

А я мог вложить в свои сочинения
Труда против них в десяток раз менее,

А будь я поэтом, только поэтом,
Стократ я писал бы лучше об этом,

Всей в мире бумаги мне не достало бы,
Всё небо мое перо исписало бы,

И строй облаков, таких белоснежных,
Стал бы строю стихов, певучих и нежных!

В людской суете я, быстро седея,
Скорбя и седея здесь, в суете, я

Живу, как могу, пишу, как могу,
Пред всеми и вся оставшись в долгу.

Закончи же песнь свою, Навои!
И так затянулись речи твои.

Свершилось! Исполнил волю я божью.
Повергнись мой труд к господню подножию!

Сильна моя сила или слаба —
Отныне пускай решает судьба,

Судьба управляла этой рукою,
Раз воля была господня такую

И всё, что свершить в сем мире дано нам,
Заранее было предрешено нам.

Хорош я поэт был или с пороком —
Я делал лишь то, что велено роком,

И, если ошибки я допускал,
Так бог повелел и рок попускал.

И я об одном прошу лишь у бога:
Чтоб этих ошибок было немного,

Чтоб труд мой со мною не погребли бы,
Чтоб люди его запомнить могли бы,

Чтоб эти стихи считались полезны
Любому уму, а сердцу — любезны.

Труды довелось мне эти содеять
От хиджры в год восемь, восемь и девять,

На пятницу в ночь свершились они,
А месяц сейчас — джумадус-сани.

Листы нумеруя, перечитал я,
Почти десять тысяч строк насчитал я.

«О боже! — молю я в это мгновение. —
Пошли этой книге благословение!

И пусть семь частей подлунного круга
Раскупят ее и любят, как друга!»

ГЛАВА XV

Начало сказания об Искандаре, ведущее к нахождению истины. Открытие подлинной его истории, в которой запечатлено веление промысла.

Противоречия в родословной Искандара вымышлены летописцами; исследователи, устраняя эти противоречия, узнают правду о его происхождении.

Когда правитель Файлакус ушел в ворота вечно-сти, престол его брэнного владения занял Искандар.

Тот, кто бывшее кистью оживил,
Завесу над картиной приоткрыл:

Четыре царских рода власть несли
В пределах обитаемой земли.

А длилось время их, как помнит свет,
Четыре тысячи и триста лет,

И тридцать шесть еще последних лет,
И десять месяцев еще вослед.

То были открыватели цари,
Мирозавоеватели цари.

И мир тысячелетний, и покой
Вкусил при тех владыках род людской.

Но, призванные благо утвердить,
Цари не всё успели совершить.

В сей малый срок, что дан живущим в дар,
Вращен был добрым шахом Искандар.

Коль перечислим все его дела,
То всякий скажет: «Слава и хвала!»

Теперь я суть вступленья объясню,
Происхожденья тайну проясню,

Четыре царских рода было. Он
После второй династии рожден.

Когда покинул мир последний Кей,
Бахман Дара вселенной правил всей,

Дара гордился, что цари земли
Ему покорно дань свою несли.

Тогда в Юнана правил Файлакус,
Его царем признали Рум и Рус.

Все свойства были царственными в нем;
Он — ангел был в обличии земном,

Чтоб знать его историю, возьми
Прочти царя поэтов Низами.

В сказанье, что как вечный свет горит,
Он так о Файлакусе говорит:

Хоть в мире счастлив был его удел,
Наследника он — сына — не имел.

Тоской по сыну был он удручен,
Скажи: опоры в жизни был лишен.

И вот однажды, позднею порой,
С охоты возвращался он домой.

И увидал в пустыне властелин
Столпы и стены сумрачных руин.

Врата и свод обрушились давно,
Как сердце, что тоской сокрушено,

В тени руин заснул он, утомлен,
И был дыханьем утра пробужден.

Услышав стон, воспрянул он, глядит:
Пред ним, мертва, роженица лежит.

И с ней — новорожденное дитя,
На гибель обреченное дитя.

Ее мучений день конца достиг...
Был жалобен и слаб младенца крик.

Как будто понимал малютка сын,
Что вот он — беззащитен и один.

А Файлакус? Живое сердце в нем
От состраданья вспыхнуло огнем.

Он кликнул слуг, велел дитя хранить,
А мать умершую похоронить.

Найденыша того забрал с собой
И стал его счастливою судьбой.

Он Искандаром отрока назвал
И трон ему, как сыну, завещал.

Другой хранитель памяти веков
Так открывает корни двух родов.

Даре румиец дочь — дитя свое —
Вручил, как деревцо из мумиё.

Но дело к недостойному концу
Пришло: Дара вернул ее отцу.

Лишь ночь царевна с мужем провела
И некий дар бесценный обрела.

И был жемчужицею перл рожден,
И мир был этим перлом изумлен.

Среди преданий, что хранит Иран,
Одно открыл неведомый дихкан,

Что будто Искандаров было два.
Один из них — как говорит молва —

Разбил Дару, другой же пребывал
Всю жизнь в походах и возвысил вал,

Теперь поведал нам иной рассказ
Царь мудрецов, живущий среди нас,

Хранитель истины, чье слово — свет,
Наставник наш, храни его Изед,

Об Искандаре, о его делах
Джами пропел нам в сладостных стихах

Пошел я той же трудною стезей;
И летописи были предо мной.

Но я, от малых знаний был немым,
Придя к Джами, советовался с ним.

«Двух Искандаров не было! — сказал
Учитель мне и свитки показал. —

Походы все и подвиги его —
Деянья человека одного!»

Так говорил правдивый Низами,
Так подтвердил и в наши дни Джами.

Открыт источник истины один,
Что Искандар был Файлакусов сын.

Исследуя, я правду проверял,
В исследованье правду отыскал.

Так говорил истории знаток,
Что изучал сей двойственный чертог:

Обретший Искандара Файлакус,
Его и царства утвердил союз.

Он слуг и войско щедро одарил,
Врата дворца для празднеств отворил.

Блюдя порядок царский и завет,
Дал оку ясновидящему свет.

Забываясь о наследнике своем,
Он ни на час не забывал о нем.

Он воспитанье истиной питал,
Достойной пищей разум воспитал.

Не только в царской роскоши, в тиши
Его растил он, в глубине души.

Так перл таится в сумраке глубин,
Так в руднике скрывается рубин.

Достойными он сына окружил
И путь ученья перед ним открыл.

Накумохис приставлен был к нему,
Наставником пытливому уму.

Тот, что как небо в знание был велик
И всех явлений мира связь постиг.

Ты скажешь — видел острый взгляд его
Зерно и корень сущего всего.

Главой ученых был он в пору ту:
Ему был сыном славный Арасту.

После кончины своего отца
Стал Арасту светильником дворца.

Был он велик. Минули сотни лет —
Ему подобных не было и нет.

И мудрый Файлакус избрал сго
Учителем для сына своего.

Счел порученье Арасту за честь;
Была от звезд ему благая весть:

Когда глаза он к небу обратил,
Читая предсказания светил,

Всё, что добро и зло сулить могло б,
Предугадав, составил гороскоп.

Ища решенья в знаках звезд ночных,
Исчислил Арасту значенье их.

«Родился, — прочитал он в небесах, —
Счастливый, мудрый, справедливый шах.

Весь мир он обитаемый пройдет
И славою наполнит небосвод.

Владыки примут власть его и суд,
Ярмо его приказов понесут.

Он мир великодушьем осенит,
Ему, как бубен, солнце зазвенит.

Движение светил предскажет он,
Заветный узел тайн развяжет он.

Познание в кровь и плоть его войдет.
Он целый мир сокровищ обретет.

Законы звезд он заключит в число
И по рукам земное свяжет зло.

Пройдет он по неведомым морям,
Проложит путь к безвестным островам.

Судил всевышний на заре времен —
Всё царство мира завоюет он».

Так, проведя последнюю черту,
Свой гороскоп закончил Арасту.

Скрижаль наук он стройно начертил
И к обученью шаха приступил.

Плоды столетних поисков и дум
Впивал, как влагу, отроческий ум.

Когда он грань науки познавал,
Другую грань догадкой раскрывал.

Был в жажде знания истинно велик
От бога одаренный ученик.

Весь век учась, он прожил на земле,
Был сведущим во всяком ремесле.

Он также, с первых дней своей весны,
Стал привыкать к ведению войны.

Он знал, что милость царская войскам —
Разгром и поражение врагам.

И в конном отличался он бою,
И в пешем закалялся он строю.

Скажу ль — стрелой пронзал он сеть кольчуг?
Нет, мыслью разрывал он сеть кольчуг.

Копьем он ратоборцам нес беду;
Метнув копье, он поражал звезду.

Своим мечом он разрубал гранит.
Где меч его? Земля его хранит.

Метнув аркан на крепостной отвес,
Достиг бы он и крепости небес.

Когда свои войска он в бой пускал,
В долину рушились громады скал.

Против дракона обнажая меч,
Дракона мог он надвое рассечь.

Он быстрой мыслью, пуще ратных сил,
Как молнией внезапною, разил.

Стал наконец державный ученик
В искусстве ратном подлинно велик.

А Файлакус в ту пору умирал;
И он проститься с сыном пожелал.

Могучий стан годами был согбен,
В глазах его земная слава — тлен.

И устремился Искандар к нему —
К отцу и властелину своему.

Прощения у бога попросил
Шах Файлакус и сыну власть вручил;

Державу завещал его руке
И опочил на гробовой доске.

Две было ветви древа: из одной —
Гроб сделан, трон вселенной — из другой.

На первой ветви птица песнь поет,
А на другой гнездо другая вьет.

Отца оплакивая своего,
Готов был шах отречься от всего.

Но после, по внушенью мудреца,
Он вспомнил завещание отца:

«Врага в свои владенья не пускай,
Мой прах на поруганье не предай!

Пусть именем твоим, твоей рукой
Мой будет вечный огражден покой!

Я вырастил тебя в моем саду
Затем, чтобы, когда навек уйду,

Меня ты был достоин заменить
И нашу славу в мире сохранить».

Шах к завещанью не остался глух,
Дабы отцовский радовался дух

И сор не падал в чистый водоем.
Веленье долга пробудилось в нем.

Обряд поминок справив по отцу,
Он возвратился к власти и венцу.

К престолу сонмы подданных сошлись.
Напевы саза стройно полились.

* * *

О кравчий, грудь слезами ороси,
Прощальную мне чашу поднеси.

Чтобы печаль вином я с сердца смыл,
Чтоб слезы по отце моем не лил.

Приди, певец, звенящий чанг настрой,
И заиграй, и песнь веселья спой!

Здесь было царство слова мне дано,
И во дворце хвалы я пил вино.

О Навои, не поддавайся лжи
И блеску мира! С разумом дружи!

Неверность мира — всюду и во всем.
Быть в мире лучше нищим, чем царем.

Дервиш свободный выше здесь, чем шах,
Чей дух томится в путах и сетях.

ГЛАВА XVI

Слово о высоком парении царственного благородства, тень крыльев которого образует гнездо на темной горе Каф сказочной птицы Солнца, и в похвалу величия духа, которое укрывает крыльями серебряное яйцо птицы Солнца; и, если тень этих крыльев падет на несчастного, царь будет нищим пред ним, если же шах лишен этой тени, то и нищий перед ним выглядит шахом.

Достойнейшим того мы назовем,
Кто благороден сердцем и умом.

Муж — пусть его добро один медяк, —
Коль благороден духом — не бедняк.

Но кто души величия лишен,
Тот подлинно и нищ, и обделен.

Обычай в брэнном мире люди чтят —
Гнуть спину перед теми, кто богат.

Но благородство — это эликсир,
И щедрость сердца завоюет мир.

Кто эликсир духовный создает,
Тот вечное богатство обретет.

Пускай того привыкли уважать,
Кто золото в горсти сумел зажать.

Но если в нем к добру стремленья нет,
Пусть он богат — к нему почтенья нет.

Разбогатеет низкий человек
И над казной своей дрожит весь век.

И если он медяк в ладонь возьмет,
Ладонь ему и смерть не разожмет.

Он кошелек решается открыть —
Чтобы еще хоть грош в него вложить,

Не ведая, что лучше раздавать,
Чем низменных забот узлы вязать.

Набьешь мошну — заботы налетят,
Заботой новой ум отяготят.

Медведю сколько хлеба ни давать,
Псам у него ни крошки не огнять.

Так обезьяна съест всё, что найдет,
И за щеку орехи уберет.

Орехов может тысяч сто сорвать
Ворона, чтобы в землю заковать.

Но не сберечь ей кладовой своей...
Есть под землею ходы у мышей.

Вот так скупой, стяжанье возлюбя,
Свои богатства прячет от себя.

Зароет золото в золе печной
И мусор назовет своей казной.

Таков жука навозного удел —
Он, в нечистотах роясь, почернел.

Пусть по нему хоть конница пройдет,
Он от комка навоза не уйдет.

Презренный копит весь свой век гроши;
Их тратят люди искренней души.

У щедрого всегда — пустой карман.
Стяжателю беда — пустой карман.

И мужу честному богатство — стыд,
Когда ему голодный предстоит.

А жадному казна его — тщета;
Хоть он богат, а в доме — нищета.

Нет разницы меж нищим и скупцом,
Который утонул в добре своем.

Но рознь, как пропасть, разделяет их, —
Так скажет разум — свет людей живых.

Не знает страха нищего душа,
Хоть у него в запасе — ни гроша.

А скряге, что в земле зарыл свой клад,
Опасности повсюду предстоят.

Он черный соболь, рыжая лиса,
За ним летят охотники в леса.

Как раковину, чтобы перл достать,
Сумеют вору дверь его взломать.

С ним благородный духом не сравним,
Богач и бедный равны перед ним.

Богач! Будь славен тем, что раздаешь,
Но не стыдись в нужде отдать и грош.

А кто сластей не ест — тесним нуждой,
Рад будет и похлебке просяной.

Тот мудр, кто щедр в свершенье добрых дел.
А скупость — низкой глупости удел.

Богатый, знатный в роскоши живет. . .
Ему простой завидует народ.

И ты, о благородный, не забудь:
Величье духа — вот богатства суть.

А тот, кто скуп и жаден, сколько он
За век свой встретит тягостных препон!

Тот, кто в делах и помыслах своих
Велик и добр, — тот не страшится злых.

Парящего за облаком орла
Не достигает меткая стрела.

Пускай ты можешь фейерверк пускать —
Рукой не можешь облако достать.

Пускай шутиха блещет и гремит,
Она светил небесных не затмит.

Высоко благородных реет стяг,
Для них мирские трудности — пустяк.

Кто благороден в существе своем,
Скорее нищим станет — не царем.

Пусть даже он царем взойдет на трон —
Величья внешнего стыдится он.

Не нищ, кто нищим у глупцов прослыл,
Кого творец на подвиг окрылил.

Завидуют цари его делам,
Как нищие завидуют царям.

Сними, творец, неведенья печать,
Чтобы богатство в бедности искать.

ГЛАВА XXIII

Рассказ о деяниях Искандара, с сокращением подробностей и подробное истолкование этих сокращений. Посланник Дары приходит к Искандару за золотым яйцом и получает ответ в словах острых, как стальные копыя. Молния сияния острия сжигает хирман терпения Дары; он посылает кунжут, мяч и клюку. Искандар этой клюкой отбивает мяч, а кунжут клюют птицы.

Так пронизательный поведал нам
Историк, счет ведущий временам:

В те дни, как Искандар, заняв престол,
Строй справедливый у себя завел,

Ему внушил его наставник-пир
Мысль — обойти весь необъятный мир

И всюду справедливость утвердить,
Народы от ярма освободить.

Мысль эта в царской памяти жила,
Ветвилась, мощным древом возросла,

Но влек его не славы бранной шум,
Был мудростью глубок пытливый ум.

Как солнце, поднимаясь издали,
Одно блистает над лицом земли,

Так Искандар под сводом древним сим
Ни с кем в делах великих не сравним.

Ему сопутствовали чудеса...
Пред ним смолкали гордых голоса.

Коль все его деянья описать,
Не хватит жизни — книгу прочитать.

Ведь важен каждый день его и час, —
Начав писать, нельзя прервать рассказ.

Поэтому я много упушу
И повесть нарочито сокращу.

Коль завершу сказание мое,
Исполнится желание мое.

Я из забвенья повесть подыму,
Столь много говорящую уму.

Немало есть значительного в ней,
Но больше удивительного в ней.

Отсеяв ложь, рожденную в веках,
Скажу я правду в искренних стихах.

Он — покровитель государства был
И в Руме утвердитель царства был.

Освободил народ свой от оков,
Страну свою очистил от врагов.

И, убедясь, что власть его крепка,
Он за предел страны повел войска.

Магрибским дивам он нанес удар,
Завоевал далекий Зангибар.

Большая распря у него была
С Дарой — оплотом зависти и зла.

Не медля, как опору бытия,
Завоевал он франкские края,

И, с франкским миром заключив союз,
Он покорил далекий Андалуз.

Идя обратно, Миср он захватил,
И небосвод — царя благословил.

Он там, с войсками ставши на привал,
Искандарию-город основал.

Потом, суди его источник сил,
Зардуштовы огни он погасил.

Потом в Иран пошел, в иракский край,
Чтоб радостно запел иракский най.

Когда иракской он достиг земли,
В Ираке люди радость обрели.

Потом он взял Халеб и землю Шам,
Принес благополучье беднякам.

Когда Йемену он явил свой лик,
Там камни превратились в сердолик.

Потом пред Меккой он предстал святой
И в Мекке прах поцеловал святой.

Потом к морским пошел он берегам,
Кладя основу славным городам.

Незавоеван оставался Фарс.
И что ж — ему без боя сдался Фарс.

И знаменiem счастья озарен,
В поход на Север устремился он.

И цепи гор пустынных увидал...
Вернулся и Хорезм завоевал,

Даря, как солнце, милостью своей
Простор кыпчакских пастбищ и степей.

И он в трудах походных не ослаб,
Прошел через Саксин, через Саклаб.

Прошел он стороною Ос и Рус
И с ними дружбы заключил союз.

И гурджей и чаркасов посетил,
И гурджей и чаркасов покорил.

От Севера, где древних рек исток,
Он с войском устремился на Восток.

Колючки истребил в стране Фархар,
Отраду подарил стране Фархар.

В Мавераннахр он прилетел, как дым,
И Самарканд открыл врата пред ним.

Как ветер западный, страну Чигиль
Овеял он, — так нам вещает быль.

И, в Чин прибыв, он там разбил свой стан,
И сам пришел служить ему хакан.

И с Хиндом у него была война,
Пред ним склонилась Кейдова страна,

Он изваянья идолов низверг,
На древних алтарях огонь померк.

И к правой вере — всей вселенной круг
Привел он, указавши путь — на юг.

И через Синд, пройдя в Кечу-Мукран,
Без остановки двинулся в Кирман.

Воздвиг он в Хорасане, говорят,
Прекраснейший из городов — Герат.

Пройдя пустынный и безлюдный край,
Построил Рей, как первоизданный рай.

И плод созрел в саду великих дум...
Мир покорив, он воротился в Рум.

Но — в радости, в пирах — не отыскал
Отрады той, что сердцем он алкал.

И вновь походом обошел весь мир,
Повсюду утвердив добро и мир.

Защитой от яджуджей им стена
Была железная возведена.

Скажи: он обошел не мир земной,
А девять сводов неба над землей.

На всех дорогах, для любой страны,
Ягач он сделал мерою длины,

И знаки расстояний на путях
Велел установить великий шах.

А на местах ночлегов каждый край
Был должен ставить караван-сарай.

Благоустривал без шума он
Строй жизни мира, к благу устремлен.

И в море, словно кит, решил уплыть;
И корабли смолить велел, снастить.

И долго плавал, как гласит молва,
И открывал средь моря острова.

Есть острова в неведомых морях,
Которые благословил аллах.

На них высаживаясь, Искандар
Брал их себе, как лучший божий дар.

Так он до крайних островов дошел,
Но утоленья сердца не нашел.

Великим беспокойством обуян —
В неведомый поплыл он океан.

Под кораблем — пучины вечных вод,
Над кораблем — бескрайный небосвод.

Но, дерзкое задумав, Искандар
С собою вез большой стеклянный шар.

Он влез в него; и крышку засмолить
Велел и шар в пучину опустить.

Канат надежный — в десять верст длиной —
Разматывался черною змеей;

Он к шару прикреплен одним концом,
К навою на борту — другим концом.

Шах быстро погружался в глубину,
Водоворотом увлечен ко дну.

Он чудеса увидел бездн морских. ...
Нет слов у нас, чтоб рассказать о них.

И, вытащен из глубины с трудом,
Очнулся он на корабле своем.

Противоречья, должен я признать,
В рассказе этом можно отыскать.

Искатель возвратился в мир земной
И устремился за «живой водой».

Свет жизни он во тьме пошел искать,
И не нашел, и обратился вспять.

Истока вечной жизни не нашел,
С устами пересохшими ушел.

Вел Хызр его по суше, а Ильяс
В морях — вставал к кормилу в грозный час.

Свершить же не под силу никому
Всё, что до нас свершить пришлось ему.

Дал небосвод ему такую власть,
Что целый мир пред ним был должен пасть.

Коль всё, что я о нем храню в уме,
Запечатлеть — возникнет «Шахнаме».

Итак, всё, что я знаю, записать
Решил я кратко в малую тетрадь.

В любом двустии заключена
Невыпощенной песни глубина.

Всё было так: я сделал всё, что мог;
Но если мне теперь поможет бог,

Всю правду ведая в делах земных,
Я расскажу о ней в стихах моих.

Тогда бессудный царствовал Дара,
Чинивший зло, не делавший добра.

Отец же Искандара Файлакус
С Дарой неравный заключил союз.

Дара тогда владыкой мира был,
Народ румийский дань ему платил.

Ведь он — потомок Кейев был прямой,
И в мире власти не было иной.

Установлен закон Лухраспом был,
Строй войсковой введен Гуштаспом был,

Но всех порядков Кейевых не знал
Дара, что от Бахмана власть приял.

Он — царь царей, столпы его основ —
Великий Кей-Кубад и Кей-Хосров.

Объяты страхом, все цари земли
Ему свои короны поднесли.

Харадж платили и везли дары
Все, павшие к подножию Дары.

И Файлакус Даре был подчинен;
Харадж платил беспрекословно он.

Харадж, где — угнетенного слеза,
Был в десять сотен золотых байза.

Когда ж навеки Файлакус ушел,
Шах Искандар наследовал престол.

Наследовал он угнетенья строй
И бремя униженья пред Дарой.

Сначала, утвердив закон и трон,
На шаха Занга устремился он.

Как молния, он свой нанес удар,
И почернел, как уголь, Зангибар.

Хоть были прежде лица их черны,
Как уголь, зинджи были сожжены.

На поле битв в долинах той земли
Как будто бы тюльпаны расцвели.

Так воевал три года он с тех пор,
Соседям жадным грозный дав отпор.

Поверг врагов, завистников своих,
Забрал богатство их и земли их.

Удвоил и утроил он предел
Земель, ему доставшихся в удел.

Людей учил он воевать с врагом,
Чтоб каждый был среди онагров львом.

Его величье морем разлилось,
К зениту знамя Рума поднялось.

Меч — молния в руке, как ветер — конь,
Лицо его — сжигающий огонь.

И он решил весь мир завоевать,
О меньшем не хотел и помышлять.

Он видел: мир земной не так велик
И равных нет ему среди владык.

Так за три года набрался он сил,
Владенья Рума удесятирил.

За все три года он не вспоминал
И даже мысли в сердце не держал,

Что он с Дарою должен в спор вступить
Или харадж и дань ему платить.

Ничтожным мнит подобного себе,
Кто вознесен благодаря судьбе.

Румийца у своих не видя ног,
Дара смириться и простить не мог.

Румиец должен был перед Дарой
Склониться или выйти с ним на бой.

Два льва, два равных силою своей
Сошлись, но — кто моложе, тот смелей.

Так не страшись, когда вражда идет, —
Враг тоже полон страха и забот.

Когда враждой два змея возгорят,
Какая разница — чей больше клад?

Акула — как ни велика она —
Киту, владыке моря, не страшна.

Так Искандар в те дни беспечен был
И небеса за всё благодарил.

Но от Дары явился вдруг гонец,
С поклонами вошел он во дворец.

И пожелал перед царем предстать,
Дабы наказ Дары пересказать.

Увидев шаха и его престол,
Подножье трона бородой подмел.

Почтительно он восхвалил царя,
С достоинством благословил царя.

Честь Искандар явить хотел гонцу,
Перед собой он сесть велел гонцу.

Посол смиренно сел у царских ног
И от смущенья говорить не мог.

Фарр Искандара ослепил его
И языка и чувств лишил его.

Тут понял Искандар: посол смущен,
Молчит, священным блеском утрашен,

Со свитою он разговор завел,
Чтоб понемногу тот в себя пришел.

Когда смятенье гостя улеглось,
Ему он задал царственный вопрос:

«По-доброму ли шах Дара здоров,
Счастливейший, как древний Кей-Хосров?»

Ответил гость и прах поцеловал,
И вновь владыка Рума вопрошал:

«Коль мир у вас, и счастье, и покой,
С какою вестью послан ты Дарой?»

И, вновь пред ним поцеловавши прах,
Посол ответил: «О великий шах,

Я пред величием твоим дрожу,
Но раз ты повелел — я всё скажу.

Отец твой — венценосный Файлакус
С Дарой когда-то заключил союз.

И десять сотен слитков золотых
Платил Даре, по договору их.

Прошло три года, как отец твой шах
В небесных наслаждается садах.

Но Рум не шлет хараджа третий год;
Долг этот, дружбы двух царей оплот,

В сокровищницы к нам не поступил...
Иль, может, вовсе не отправлен был.

И цель прихода моего одна —
Долг этот получить с тебя сполна.

Отдашь — я увезу. А если нет —
Скажи. Я передам Даре ответ».

Желчь Искандару горло обожгла,
Когда услышал он слова посла.

Лик приобрел внезапно цвет огня,
Что может всё спалить, воспламеня.

Но молча Искандар чело склонил,
На пламя воду мудрости излил.

Перед величием его ума
Орд иступленья отступила тьма.

И, светлый лик подняв, уста открыл,
Дорогу перлам речи отворил.

Сказал: «Привет мой передай Даре,
Потом ответ мой передай Даре:

В юдоли сей ничья не вечна власть,
Удел величья — пасть, истлеть, пропасть.

Не мучься — ради завтрашнего дня
Стяжаньем душу живу бременя!

Пусть ты ни с кем в богатстве не сравним,
Но ты богатством угнетен своим.

Где польза от богатства твоего?
Зачем без пользы собирать его.

Когда от дела происходит вред,
Такое дело делать смысла нет.

И вот: тебе — нет пользы, нам — печаль.
Смотри — себя и нас не опечаль.

Забудь наш долг! Ведь птица унеслась,
Что золотыми слитками неслась!

Коль примешь ты наш дружеский совет,
То и вражды у нас с тобою нет.

Но коль отвергнешь ты мои слова,
То мы отвергнем и твои слова.

Без пользы для себя хлопочешь ты!
Подумай, если мира хочешь ты:

Ведь мудростью глубокой обладать
Нам нужно, чтоб соперника познать.

Ты слабых подавлял и покорял.
Таких, как я, ты прежде не встречал.

Харадж и дань с полмира ты берешь.
Взамен — короны старые даешь.

Харадж — источник бедствий и невзгод
Тем, кто берет, и тем, кто отдает.

Без счета море жемчугов таит,
Подвластен ли тебе свободный кит?

Хоть жемчуга и много у него,
Как ты харадж потребуешь с него?

Чрезмерные желания — тщета.
Не стань и ты добычею кита!

Источник счастья — мудрость, свет ума;
Но в силе алчность там, где нет ума.

Нам не посильна дань минувших лет;
Потребуешь — мы сами скажем: нет.

А от судьбы — пусть ты могуч, богат —
Могущество и власть не защитят.

И пусть бесчисленны твои войска,
Их опрокинет сильная рука.

Пусть мы тебя слабее во сто раз,
То, что нас ждет, — утаено от нас.

Когда страна богата и сильна,
То не нужна такой стране война!»

Речь Искандар закончил. И тогда
Притих гонец персидский, как вода.

В обратный путь — ни жив ни мертв — пошел
Из Рума незадачливый посол.

И прибыл восвояси наконец,
И всё Даре пересказал гонец.

Когда Дара великий услышал
Слова гонца, он так ему сказал:

«Коль впрямь Румиец это говорил,
То, значит, бог ума его лишил.

Иль, может быть, в ту пору был он пьян
И от вина безумьем обуян?

Иль он еще дитя, незрел умом
И управлять не может языком?»

Так он — носитель царского венца —
Спросил. И услышал ответ гонца:

«За ним следил я зорко, не шутя:
Не пьян он, не безумен, не дитя.

Нет, разумом он светел и здоров,
И попусту он не бросает слов!

Благоразумен, сведущ и учен,
Он мудростью глубокой наделен!

Сильно иль слабо воинство его, —
В его словах — достоинство его.

В величии — хоть обойди весь свет —
Ему подобных не было и нет!

Присматривался долго я к нему
И удивлялся дивному уму».

Так был взъярен Дара ответом сим,
Что смерть сама не сладила бы с ним.

От гнева, как от грома, он оглох,
И в небесах пошел переполох.

И охватил полмира лютый страх,
Когда ворота гнева отпер шах.

В оковы он посла забить велел,
В колодец черный посадить велел.

Сказал: «Румиец — раб мой, сын рабов,
Что ползали у ног моих отцов.

Он — раб, и предки подлые его
Рабами были предка моего!

Кто он такой, чтоб милостью моей
Возвесть его в достоинство царей?

Чтобы слова его словами честь,
Что оскорбляют нашу власть и честь?

Ни страха предо мной не стало в нем,
И ни стыда перед людским судом!..

Но мы такой отпор дадим ему,
Так я его ничтожность покажу,

Что этот необузданный дикарь
Опомнится, раскается, как встарь!»

И царь Дара гонца найти велел,
Который бы находчив был и смел.

И, отправляя, дал ему наказ
В словах, как острый серп и как алмаз,

Чоуган и крепкий мяч послу вручив,
В две эти вещи тонкий смысл вложив,

И дал с кунжутным семенем мешок, —
Свою угрозу в притчу он облек.

Посла отправив, глаз он не спускал
С дороги царской. . . Всё ответа ждал.

Посол примчался в Рум, клубясь, как дым,
Язык свой сделал бедствием своим.

Явились к шаху стражи во дворец,
Сказали: «От Дары опять гонец!»

Стал пред царем гонец, как был — в пыли.
Как перед ликом солнца — ком земли.

Гонец увидел шаха — фарр его,
И речь застряла в горле у него.

Пал пред величьем Искандара он,
Ослабнув телом, страхом сокрушен,

Уста к подножью трона приложил,
Молитву по обряду сотворил.

Царь молвил: «Сядь, о деле расскажи,
Цель твоего прибытья изложи!»

Сказал носитель тайны, пав во прах:
«Сто раз благослови тебя аллах!

Нет сил мне говорить перед тобой. . .
Но обо всем, что велено Дарой,

Коль ты позволишь, речь я поведу,
А скажешь — «нет», смиренно прочь уйду».

Посланец Искандару дал понять,
Что он о многом должен толковать.

Сказал: «Дара, по милости своей,
Взымает дань со всех земных царей.

Берет харадж, по праву древних лет,
Хоть в том у нас нужды особой нет.

Но шахи, что зависимы от нас,
Что исполняют наш любой приказ,

Харадж не забывают в срок платить,
Чтоб о своем покорстве заявить.

Отец твой нам платил, пока был жив,
Служил нам преданно — и был счастлив.

Но умер он... Ты сел на отчий трон.
Ты б должен делать то, что делал он.

Но не пошел ты по его пути,
Решил от послушанья отойти.

Три года с вас налог не поступал.
Но царь царей не требовал и ждал.

И наконец гонца решил послать,
Чье дело — недоимки собирать.

Но ты с гонцом столь дерзко говорил,
Что, зная, забыл — кто есть ты, чем ты был.

Но так как ты — годами молодой —
Не стучался о камень головой,

Мы поняли: невежество и тьма
Сильны в тебе от малого ума!

Великодушье мы должны явить
И, как ребенку, промах твой простить.

Но образумься и не прекословь,
Дань собери — к отправке приготовь;

И сам спеши — под царственную сень,
Поцеловать высокую ступень!

Чтоб не покрыться пятнами стыда,
Будь честен с нами, предан нам всегда.

Увидишь много милостей от нас...
Но коль отклонишь царственный приказ,

Тщеславьем и гордынею объят,
И дивы злобы дух твой победят, —

Поймем, что буйство младости твоей,
Благоразумья твоего сильней.

Привез я от великого Дары
Тебе, о царь, достойные дары!»

Так краснобай-гонец проговорил
И мяч с клюкой пред шахом положил.

Сказал: «Тебе, как юноше, под стать
Клюкою мячик по полю гонять!

Тебе приличны — мяч, клюка, майдан.
Но царство — это не игра в човган!

Коль вновь ты возразишь царю царей,
Стыдись признаться в слабости своей,

Тебе возмездье ныне, а не месть,
И зол своих тебе тогда не счесть.

Ты знай, что больше войск в его руке,
Чем семени кунжутного в мешке!»

И принесли мешок посольский тут,
В котором был просеянный кунжут.

Проворно это семя на ковре
Гонец рассыпал, преданный Даре.

«Вот наше войско! Пусть сочтет его,
Кто не боится шаха моего!»

Умолк посол и опустил глаза,
Всё стихло, будто пронеслась гроза.

С улыбкой Искандар внимал ему,
Всё высказать — не помешал ему.

Когда гонец всё, что хотел, сказал —
Он так ему достойно отвечал:

«Дара — чистопородный Кей и шах,
Быть нам примером призванный в веках.

Но я, тебе внимая, изумлен:
Как стал в своих словах несдержан он.

Владык вселенной, как презренный сброд,
Достойнейших — рабами он зовет!

Царей, которых во главе людей
Поставил бог по мудрости своей,

Дара решил рабами называть?
Но тут пути добра не отыскать.

Мы все — рабы Яздана, только бог
Меня своим рабом назвать бы мог.

Пускай твой шах подумал бы сперва
Пред тем, как эти вымолвить слова.

Себя с великим богом он сравнил,
Грех святотатства страшный совершил.

Меня безумцем пьяным он зовет,
Дитятею, не знающим забот.

Меня он обвиняет в трех грехах,
А сам он богохульствует — твой шах!

Коль уважения меж нами нет —
И примирения меж нами нет!

Допустим, что я мал, а он велик, —
Но как несдержан у него язык!

Большая птица — аист; но и он
От ястреба уходит, устрашен.

Твой царь Дара мне милость оказал,
Клюку и мяч в подарок мне прислал.

Я в этом вижу тайный смысл. . . Ну что ж —
В истолкованье он весьма хорош. . .

Мысль мудрецов, что землю обошла,
Нам говорит: земля, как мяч, кругла.

Дара свой смысл в мяче и клюшке скрыл,
А бог мне целый мир, как мяч, вручил.

Какая же загадка скрыта в нем —
В човгане этом с загнутым концом?

Я понял: повелителем времен
Човган судьбы вселенной мне вручен,

Чтоб торопил я своего коня,
Чтоб мяч отбил у всех, вперед гоня.

Здесь — предсказанье, радостная весть...
Да, в этой вести — счастье мне и честь.

Не новую принес сегодня мне
Ты притчу о кунжутовом зерне.

Мол, как семян кунжута вам не счесть,
Так и числа моим войскам не счесть.

Пусть ваша рать несметна, как кунжут,
Ее мои цыплята поклюют!»

И на кунжут, что был среди палат
Рассыпан, он принести велел цыплят.

Всё поклевали птицы; и зерном
Не поделились даже с муравьем.

Посол Дары глядел, молчал, бледнел;
Понуро пристыженный он сидел.

И молвил Искандар: «Встань! Подобру
Иди от нас. И извести Дару:

Что слышал здесь, ему ты донеси,
В дороге дальней слов не растряс!»

Согбенный от стыда, ушел посол, —
Не на ногах — на голове ушел.

И распахнулись ворота беды...
Взметнулся до небес огонь вражды.

Нахлынул смуты неумный вал,
И мир из хижин бедственных бежал.

* * *

Дай, кравчий, мне вина! Пусть, опьянев,
Я зарычу, как разъяренный лев!

Во вражий стан ворвусь я пьяным львом
И в миг единый разочтусь с врагом.

Спой мне, певец, в рассветной полутьме
Напев воинственный из «Шахнаме».

Два шаха тронули струну вражды,
Так пусть же будут войны тверды.

О Навои! Покоя в мире нет,
Под горьким ветром смуты меркнет свет.

Коль хочешь мира в наши времена,
Не расставайся с чашею вина.

Круг наших бед земных неисчислим,
Но тот, кто пьет, — тот не подвержен им.

ГЛАВА XXIV

Осуждение вражды, которая является причиной разрушения достоинства людей и которая грозит гибелью миру.

Нет верности в сердцах людских, о друг,
И милосердье чуждо их, о друг!

Обычай их теперь — вражда и месть.
Выламывают дверь вражда и месть.

И где ни побывал бы ты, везде —
В любой стране — стремление к вражде.

Нет никого — в любом глухом углу —
Без сотоварища по ремеслу,

Не сотоварищ в деле ремесла —
Ему предстанет враг, источник зла.

Чеканщик, видя, что в других домах
Живут чеканщики, — им будет враг.

Коль мастер в некоем деле знаменит,
То превзойти другой его спешит.

Им предрассудки повод подают
К вражде, противоречья их растут.

Покоя днем не знают, ночь не спят,
В лицо друг друга видеть не хотят.

Но счастлив тот, кто зависти лишен,
В нем низкой злобы дух не угнетен.

В презренной зависти — зерно беды,
Причина распри, злобы и вражды.

И это ни для избранных людей
Не исключение; ни для царей.

У шаха сотни тысяч под рукой,
Народ — сословий вековечный строй.

Наместники ближайшие царя
Всем правят, волю шахскую творя.

Эмиры не хотят им уступать
И рвутся все наместниками стать.

Начальники туманов ждут, не спят,
Враждуют, стать эмирами хотят.

И каждый «тысячник» готов предать
Начальника, чтоб чином выше стать.

Вот он на розни зиждущийся строй!
Взгляни: он сверху донизу такой.

Какое бы сословие ни взять,
Оно вышестоящих жаждет смять;

И раздавить и подчинить себе,
Чтоб место лучшее добыть себе.

Чем тверже сверху косность и отпор,
Тем пуще снизу ярость и раздор.

И люди, что к царю приближены,
Друг к другу тоже злобою полны.

А среди простых людей, где труд, нужда,
Пусть нравы грубы, мягче там вражда.

Вражда и злоба! В них источник бед,
Людскому роду вековечный вред!

Когда у власти муж — носитель зла,
Грозят народу беды без числа.

И страх сердца охватит в море смут,
И царства сокрушатся и падут.

Когда плотину в срок не укрепить,
Сель может всё размыть и затопить.

Так — если распря перейдет в войну,
Лишь мудрый властелин спасет страну.

Но коль поток раздора возрастет
И царь не сможет защитить народ,

Разбушевавшееся море бед
Потопом гибельным затопит свет.

Когда оружие обнажит вражда,
Когда не будет правды и суда,

От мира безопасность отойдет
И гибнущий спасенья не найдет.

Сметает сель всё на своем пути,
И от него не скрыться, не уйти.

Но угнетенье больше зла несет,
Чем нападение разъяренных вод.

Вот два царя враждуют, мир поправ,
Всю землю на две доли разодрав.

И уведет от мирного труда,
Вооружит народы их вражда;

И поведет, ожесточив сердца,
Отца на сына, сына на отца.

Давно ли два смертельные врага
У одного сидели очага?

Отец возжаждет сына истребить,
И сын возжаждет кровь отца пролить.

И брат на брата обнажит свой меч,
Чтоб голову мечом ему отсечь.

И отчужденье разведет друзей,
И всюду рознь пойдет среди людей.

Когда два шаха затевают спор,
Возникнут злоба, ненависть, раздор.

Войны подует ветер ледяной,
Пыль подымая до́ неба стеной.

И люди на полях своей земли
Себя не будут видеть в той пыли.

Война придет, и бедствий не сочтешь —
Убийство, разорение, грабеж. . .

Но есть, увы, в делах любой страны
Страдания людские без войны.

Народ, что правосудия лишен,
Повсюду произволом угнетен.

Коль милости ему не оказать
И на соседа выйти воевать,

То всё равно для страждущих людей,
Который победит из двух царей.

Для всех, кто согнут под ярмом труда,
Война как пламя Страшного суда.

Добро, когда, народам мир даря,
В союз вступают славных два царя.

И, не пуская на порог раздор,
Решают полюбовно каждый спор.

Когда цари согласие найдут,
Народы их довольством расцветут.

Два нищих, крепких дружбою своей,
Не выше ль двух враждующих царей?

ГЛАВА XXV

О том, как от вражды двух правителей ударила молния бедствий в хирман народов мира, а от союза двух друзей пролился дождь милости и потушил языки огня.

В те дни, когда Чингис и Хорезм-шах
Пошли судьбу испытывать в боях,

Мир был тогда разгромлен... Но зачем
Описывать то, что известно всем.

Когда Чингис победу одержал,
Он городá в стране с землей сровнял.

Он всё живое истреблять велел,
Всех без разбора убивать велел.

Нахлынуло, вскипело море зла.
Волна всеокрушающая шла.

Отцы оплакивали сыновей,
А матери — несчастных дочерей.

Дом бытия заполонила смерть,
Все выходы заколотила смерть.

Вот что тогда случилось в царстве Шам:
Два бедняка, два друга жили там.

Они, под гнетом гибельной судьбы,
Неверному служили, как рабы.

И оба от надежды отреклись,
И слезы их кровавые лились.

Но так они сдружились, что любой
За друга бы пожертвовал собой.

И был один за что-то осужден,
И связан, и на плаху приведен.

Другой же, умоляя палача,
Пал на колени, плача и крича.

«Хватай меня, мне голову руби,
Его же отпусти и не губи!»

Тогда сказал хозяин палачу:
«Коль просит он, предай его мечу!»

А первый крикнул: «Пусть меня казнят!
Я осужден, а он не виноват!»

Так спорили. И каждый предлагал
За друга жизнь. . . Чингис в ту пору спал.

Друзей он этих увидел во сне,
И чей-то голос услышал во сне:

«Меч от главы народа отведи
И этих двух друзей освободи!

Ты Хорезм-шаха сокрушил оплот,
Но в чем повинен пред тобой народ?

Пусть целый мир разрушила война,
Как дружба этих плачущих сильна!»

Чингис, едва успел глаза открыть,
Велел убийства всюду прекратить.

Как ветер, весть о милости царя
Помчалась, мир надеждою даря.

И внял велению этих царских слов
Жестокий муж, хозяин двух рабов.

И он из сердца злобу удалил
И двух друзей на волю отпустил.

Два шаха враждовали, и тогда
Народ постигла страшная беда.

Но благородство бедных двух людей,
Их верность дружбе искренней своей

Страну от полной гибели спасли,
Меч мести от народа отвели.

Кто хочет в мире совершенным стать,
Не должен эту притчу забывать,

ГЛАВА XXVI

Н а з и д а н и е

Искандар просит Арасту рассказать о причинах войн. Раздоры нежелательны, и войны губительны для всех народов, но случается, что война становится неизбежной. Арасту открывает свет в этой тьме и объясняет истинное начало вражды.

Подобный Фаридуноу, шах спросил:
«Мудрец, открой мне суть безвестных сил,

Ведущих к войнам. Всё о них скажи,
Разлада в мире корни обнажи.

Когда мы знаем — от чего раздор,
Наш разум должен дать ему отпор.

Но есть ли в бытии такой закон,
Дошедший к нам из глубины времен,

Руководясь которым, мы должны
Решать раздор оружием войны?»

В ответ наставник шаха произнес:
«Ты очень сложный задал мне вопрос!

Война противна разуму, но, шах,
Ее не обойти в иных делах.

Раздор затеял некто... может быть,
Он вынужден был меч свой обнажить!

Но от него народу тяжкий вред,
Ему в народе оправданья нет.

Грешно стоять в ту пору в стороне,
Когда ты можешь помешать войне.

И коль зачинщик, принимая рать,
Не хочет слову разума внимать,

Коль будет он стремиться всё равно
К тому, что совестью запрещено,

Тогда сам бог велит — бери свой меч,
Чтоб разом когти хищнику отсечь;

Так — есть и вред и польза от войны;
Но для войны условия нужны:

Врага, пред тем как битву начинать,
Как самого себя ты должен знать.

Коль силы у тебя с врагом равны
И если скрыт во тьме исход войны,

Ты должен мощь накапливать свою,
Всё рассчитав, чтоб выиграть в бою.

И если знаешь ты, что ты сильнее,
Не торопись, напрасно кровь не лей.

Прибегни к наставлениям опять.
Ты должен мягко, мудро убеждать.

Угрозой раздражен, и слабый враг
Сильней становится, теряя страх.

Что можешь делать — делай! Вот закон
Любой войны — один для всех времен.

Коль не уверен — в битву не стремись,
Не гневом, разумом руководись.

Тот, кто путями разума идет,
На гибель рать свою не поведет».

Ответу молча Искандар внимал;
Вопросов больше он не задавал.

ГЛАВА XXVII

Дара поражен словами Искандара, он собирает бесчисленное войско со всех концов света и идет войной против Искандара. Искандар, оказавшись лицом к лицу с этим морем несчастий и селем бедствий, готов повергнуть эту гору опасностей молнией сражения. Оба царя готовятся перевернуть небо вверх дном. Однако знамя государства Дары повергнуто иной бурей, а знамя Искандара сверкает, как солнце.

Историк древней распри двух царей
Так завил кольца повести своей.

Когда посол Дары, что в Руме был,
Речь Искандара шаху изложил, —

Всё передал, утайки не творя,
Что слышал от румийского царя, —

Дара, владыка необъятных стран,
Был исступленьем гнева обуян.

Стал как огонь от головы до ног
Он, пред которым трепетал Восток.

«Тьфу!» — обращаясь к небу, он кричал,
Упрек земле и небу обращал.

Как молния небес, метался он,
Как в лихорадке, содрогался он.

И чтобы гнев души своей унять,
Приказ он отдал — войско собирать.

И хлынули, как реки в океан,
Полки из ближних и далеких стран.

Иран, Туран, Монголия, Китай,
Где мира обитаемого край,

Откуда солнце поутру встает, —
Все поголовно поднялись в поход.

И побережья западных морей
Послали всех мужчин царю царей.

И люди Африки, и тех земель,
Где вечный сумрак, стужа и метель, —

Все на могучий клич войны пришли,
И не прийти — ты скажешь — не могли.

Волнуясь, по долинам и горам,
Без края простираясь по степям,

Необозримо воинства текли, —
Цари, султаны, ханы их вели.

И так был шум идущих войск велик,
Что высшей сферы неба он достиг.

Лишь Зангибар, и Рум, и Франгистан
Людей не слали в Кей-Кубадов стан,

Затем, что Искандарову в те дни
Власть добровольно приняли они.

Текли войска в течение двух лет,
Сошлись войска, каких не видел свет.

Небесных звезд бесчисленной полки,
Несметней, чем пустынные пески.

И негде было им шатры разбить,
Рек не хватило ко́ней напоить.

Туда, где сбор войскам назначен был,
Шах, нетерпенья полный, поспешил.

Когда такую рать он увидал,
Сильней в нем пламень мести запылал.

Сказал: «Коль двинусь на́ небо в поход —
Я отступить заставлю небосвод!»

Цари и шахи, данники Дары,
Меж тем несли бесценные дары, —

Хоть каждый дома грозным был царем,
Здесь кротко нес сильнейшего ярем.

Плеск ликованья загремел в войсках,
Когда предстал пред ними шахиншах.

Не осенял дотоле небосклон
Султана величавее, чем он.

Всех войск вожди — цари — к Даре пришли,
Склоняясь перед троном до земли,

У ног Дары целуя прах земли, —
И этим честь и славу обрели.

Кто удостоен был у шахских ног,
Пав на лицо, поцеловать песок,

Тот мог быть счастлив: на его дела
Печать благоволения легла.

Так до жары полуденной с утра
Рабов венчанных принимал Дара.

Средь них был Чина властелин хакан,
Был падишах индийцев — Кара-хан.

Был Тимур-Таш — орды кыпчакской хан,
Был Рес-Варка — египетский султан.

Был Фарангис — король страны Хавран,
Был Давали — султан земли Ширван.

Там царских сыновей толпа была,
Там полководцам не было числа.

Все также возвеличились они
Лобзаньем Кейанидовой ступни,

Вниманьем сильного вознесены,
Величием его осенены.

И столько в дар сокровищ привезли,
Что их и за сто лет бы не сочли

Все счетчики великого царя,
Не зная сна, усердием горя.

Когда ж даров окончился прием,
По чину, наивящим чередом, —

Велел великий царь царей Дара
Вождей и шахов звать под сень шатра.

Подобен небосводу был шатер —
Так полы он широко распростер.

И венценосцам сесть Дара велел
Вкруг трона, на котором он сидел.

Как слуги, полководцы стали в круг, —
У трона места не было для слуг.

И, обзрев испытанных в бою,
Владыка мира начал речь свою:

«Вот в чем причина сбора войск моих
И нарушенья мирных дел мирских.

Как только Файлакус — румийский хан —
Ударил в погребальный барабан,

Власть захватил его безумный сын,
Текущий криво, как вода стремнин,

Неукрогимый, как степной огонь,
И непокорный, словно дикий конь.

Он — данник мой. Четвертый год настал
С тех пор, как дань платить он перестал.

Столь гордым он в своем безумье стал,
Когда же я гонцов к нему послал,

Чтоб разузнать о положенье дел
И почему платить он не хотел,

И сразу все расчеты с ним свести,
И сразу взять всю дань и привезти, —

Моим послам он дерзко отказал!
Он много слов бессвязных им сказал,

Необоснованных и наглых слов.
И снова я послал к нему послов,

Чтоб от его главы отвеять зло,
Но наставленье в пользу не пошло:

Глупец! Он так ответил дерзко мне,
Что кровь моя вскипела, как в огне!

Решил я слов напрасно не терять,
Решил я уши наглому надрать.

Вот каково начало, — отчего
Потрясено все мира существо!»

Умолк он. Поднялись за шахом шах,
Все — в ратных искушенные делах.

И лицами опять к земле припав,
И пыль у ног Дары поцеловав,

Сказали: «Как причиной столь пустой
Мог быть смущен властителя покой!

Румийский царь приличьям не учен,
Любым из нас он будет укрощен!

А тысяч сорок всадников пошлем,
Проучим мы его — в песок сотрем!».

Дара сказал: «Уж раз собрал я вас, —
Рум будет местом отдыха для нас.

Что Рум? На Франгистан и Зангибар
Направить мы теперь должны удар,

Дойти до крайних мира берегов,
Вселенную очистить от врагов —

Дней за десять! Свидетель — вечный бог, —
Никто придумать лучше бы не мог».

Судьба царю вложила речь в уста.
Нет от судьбы лекарства, нет щита!

И, как с судьбой, никто не спорил с ним...
И воротились все к войскам своим.

Не спали ночь — готовились в поход.
Едва багряно вспыхнул небосвод,

Рать, как гроза, на запад потекла.
Когда до Искандара весть дошла,

Что на него Дара — владыка стран —
Несется, как песчаный ураган,

Неотвратим, громаден и жесток, —
Он — Искандар — беспечным быть не мог,

Навстречу он лазутчиков послал —
О каждом вражьем шаге узнавал...

Спокойный, полный мужества и сил,
Он способы защиты находил,

Не зная отдыха и сна, — пока
Не подготовил так свои войска,

Что каждый рядовой его двустам
Врагам противостал бы, как Рустам.

И, дивною отвагой облечен,
Сам ринулся врагам навстречу он,

Как буря на простор морских валов,
Как лев рычащий на табун ослов.

И весть о том до войск Дары дошла
И ужасом гордыню потрясла, —

Как никому не ведомый царек
На властелина мира выйти мог?

Когда же переходов семь дневных
Всего лишь оставалось между них, —

Всё медленнее обе стороны
Сходились, осторожности полны.

При остановке войск вокруг шатров
Вал насыпали и копали ров.

И так охрана бдительна была,
Что мимо даже кошка б не прошла.

Так двигались два воинства. И вот
Меж них один остался переход.

Гора крутая возвышалась там,
Рассекшая пустыню пополам.

По ту и эту стороны горы —
Войска Румийца и войска Дары.

И вал велел насыпать Искандар,
Чтоб выдержать за ним любой удар.

И, выучку проверив войск своих,
Он сердце успокоил верой в них.

Полки своих мужей, готовых в бой,
На высоту возвел он за собой.

С высокой той горы он кинул взор
На открывавшийся пред ним простор.

И увидал врагов — их тьмы и тьмы!
Черны от войск равнины и холмы, —

Как будто ширь земная ожила
И в грозное движение пришла.

И пыль над войском, дым и конский пот
Лазурный омрачили небосвод.

Шум плыл от войск, как волн пучины шум.
И потрясен был Искандаров ум.

«Что ж! — молвил. — Если здесь я бой приму,
Сам собственную голову сниму!

Я от гордыни в ослепление был,
Когда ковер сраженья расстелил.

Отсель путей для отступленья нет,
Здесь гибель ждет меня, сомненья нет!»

Пока так сердцем сокрушался он,
В рассеянье воззрясь на крутосклон,

Двух куропаток вдруг перед собой
Заметил. Шел меж ними лютый бой.

Одна была сильнее и крупней,
Другая — втрое меньше и слабей.

Он, видя их неравенство в борьбе,
Даре их уподобил и себе.

И пристально смотрел он на борьбу,
Как будто видел в ней свою судьбу.

Он знал — победа будет за большой, —
И колебался скорбною душой.

Как вдруг могучий сокол с высоты
Упал стрелою рока, — скажешь ты.

Он куропатку сильную схватил
И на вершины скал с добычей взмыл.

А слабая осталась там одна,
Свободна и от смерти спасена.

Когда Румнец это увидал,
Он, сердцем ободрясь, возликовал.

Он понял: помощь некая придет —
И враг сильнейший перед ним падет.

Когда ж к своим войскам вернулся он,
Знамена ночи поднял небосклон

И факел дня, упав на грани гор,
Дым цвета дегтя по небу простер.

Душой, входящей в тело без души,
Вернулся царь к войскам в ночной тиши.

И ободрил он воинов своих,
И верных выставил сторожевых. . .

. . . Все спят. Не спят лишь в думах о войне
Цари на той и этой стороне.

Дара, что войск своих числа не знал,
Победу неизбежною считал.

Как мог иначе думать царь царей,
Могучий властелин подлунной всей?

Не видел он сквозь будущего тьму,
Что небосвод кривой сулит ему.

И так же Искандар не ведал сна, —
Заботами душа была полна. . .

Уж воины под кровом темноты
Готовили оружие и щиты.

Когда заря прекрасная взошла
И знамя золотое подняла,

И озарила воздух голубой
Счастливой Искандаровой звездой,

Два войска, как два моря, поднялись, —
И шум и топот их наполнил высь.

Богатыри издали страшный крик —
Такой, что слуха солнца он достиг.

И содрогнулся весь земной простор,
И глыбы скал оторвались от гор.

Подобны тюрку неба, на конях,
В железно-синих кованных бронях,

Построились огромные ряды,
Как грозовые темные гряды.

Так выстроил Дара, владыка стран,
Не войско — кровожадный океан!

Ты скажешь: лик земли отобразил
Все миллионы воинства светил!

Был строй составлен из семи рядов —
Семи великих мира поясов.

От Самарканда и до Чина шло
Войск Афридуна правое крыло.

Шесть сотен тысяч — на крыле одном —
Испытанных в искусстве боевом.

Узбеков было за сто тысяч там.
Кыпчаков — полтораста тысяч там.

Там войнов Чина был отборный цвет,
По мужеству нигде им равных нет.

Парчою — цвета радужных огней —
Богатыри украсили коней.

Китайский шелк в отливах заревых
На шлемах развевается у них.

Там, чуждый милосердья, хан Конграт
Своих калмыков выстроил отряд.

От них пришли в минувшие года
В мир — суматоха, ужас и беда.

Мечи их блещут, душу леденя,
Как языки подземного огня.

Я на собаке не считал волос,
Но больше там монголов поднялось.

Подобный льву, их вождь Мангу ведет,
В мрак погружает страны их налет.

Мангыты там в чаркасских шишаках,
Чернь блещет на седельных их луках.

Мавераннахра далее сыны,
Как львы — отважны, как слоны — силыны.

А украшеньем левого крыла
Громада воинств Запада была.

Сопутствовали ассирийцы им,
И буртасы, и берберийцы им.

Желты у них знамена и наряд,
Их латы медью желтою горят.

Арабов сорок тысяч было там, —
Завидуют ветра их скакунам.

И копы и знамена их — черны,
Под чепраком попоны их — черны.

Ваки — султаном был аравитян.
Тали был предводитель мавритан.

Сто тысяч сабель, ужасавших мир,
Из Медаина вывел Ардашир.

Был цвет знамен — фиалковый у них,
И цвет попон — фиалковый у них.

Вел Густахам, в один построив ряд,
Три города — Катиф, Бахрейн, Багдад.

Шли воины, как голубой поток,
В железных латах с головы до ног.

Шесть сотен тысяч было их число —
Войск, составлявших левое крыло.

Семьсот же тысяч — войск Дары краса, —
Что изумляли даже небеса,

Посередине двух огромных крыл
Стояли в голове всех царских сил.

Кафтаны были белые у них,
Тюрбаны были белые у них.

Шли далее янтарные ряды
Людей Хорезма и Кыпчак-орды.

И грозный, что ядром всех полчищ был,
Отряд ряды, как горы, взгромоздил.

И было семь в отряде том рядов —
И в каждом по сто тысяч удалцов,

Отборных из отборнейших мужей —
Телохранителей царя царей.

Им шахом власть и красота даны,
В зеленое они облачены.

Зеленый шелк на стягах их шумел.
Их строй, как чаща леса, зеленел.

А сам Дара — средь войска своего.
И нет у неба грома на него!

Так выстроив порядок сил своих,
Спокойно на врага он двинул их.

Шах Искандар на стороне другой,
Отвагой полн, людей готовил в бой.

И франков — сотня тысяч их число —
Поставил он на правое крыло.

Был князь Шейбал военачальник там,
По доблести он Заля сын — Рустам.

Их одеяний франкский аксамит
Был драгоценным жемчугом обшит.

Они — как львы в пылу кровавых сеч,
Склоняется пред ними солнца меч.

Враг падает пред ними, утрашен
Блистаньем семицветных их знамен,

А русов он на левое крыло
Поставил, сотня тысяч их число —

Суровых, ярых, как небесный конь,
В бою неукротимых, как огонь.

Весь их доспех — лишь копыя да щиты,
Они как совы в море темноты,

Плащ красной шерсти — война броня,
Чепрак багряный на спине коня.

Шлем руса сходен с чашею стальной,
На шлеме перья иволги лесной.

Согласным — дружбы он несет звезду,
А несогласным — гибель и беду.

А зинджи стали войска головой,
У зинджей был от всех отличный строй,

Изделье черных зинджей — их булат,
Щитки их лат как зеркала блестят.

Так мудрость черного — мне скажешь ты —
Свободной сделалась от черноты.

От вавилонских шлемов бьют лучи, —
То скачет зинджей воинство в ночи.

Их шлемы — как орлиные носы,
Изогнутый их строй — острей косы.

Так превратил их латы в зеркала
Напильник угнетения и зла.

Смерть отразилась в зеркалах их лат,
Их враг бежит, смятением объят.

Из румских войск ядро составил шах.
Румянец юности на их щеках.

Красивые в движениях — как львы,
И грозны в нападениях — как львы;

Как шкура льва и тигра — их броня.
Плащи их — цвета желтого огня.

Войска грозой грохочущею шли.
Покрыли львы и тигры лик земли.

Султан прекрасный — воинства глава,
Был светлый стяг над ним похож на льва.

Победы ветер знамя развевал
Над львом, что войском львов повелевал.

Так, наподобие пчелиных сот,
Войска построив, он пошел с высот,

Как будто диких пьяных дивов хор,
Завыл под барабанами простор.

Кавказ отгрянул, содрогнулся Тавр
От грохота бесчисленных литавр.

И надвое кровавый свой престол
Тюрк неба перед боем расколос.

Карнаи выли так, как будто ад
Разверзся и нагрянул кыямат.

До неба тучей за клубилась пыль,
Земля — ты скажешь — превратилась в пыль!

Скажи — не пыли! — то небо обняла
Безлунной ночи мускусная мгла.

Как молнии, зеркала и мечи
Сверкали в той грохочущей ночи.

И ржанье копей было словно гром,
Разящий землю огненным копьем.

Когда же воины издали крик,
Гром потерял от ужаса язык.

Будь небосвод беременной женой,
От страха плод он выкинул бы свой!

Когда ж умолкли воины на миг,
Настала тишина — страшней, чем крик.

И тучу пыли ветер отогнал,
И строю строй в долине виден стал.

И вот стрелою грозových высот
Румицец некий выехал вперед,

Красавца аргамака горяча,
Играя синим пламенем меча.

Крылом зеленым с левого плеча
Китайская клубилась епанча.

Как столб шатра его копье, а щит
Был яхонтами алыми покрыт.

Как лилии раскрывшийся бутон,
Шишак султаном белым оперен.

Проворный, пламенный любимец сеч,
Став на ристалище, он начал речь.

Всевышнего восславив и судьбу,
За Искандара он вознес мольбу

И, обратив к войскам врага свой лик,
Провозгласил: «Я — Бербери-Барик.

Я был слугой Дары — царя царей,
Но проку в службе не было моей.

За верный труд — не то чтобы добра —
И взгляда мне не уделил Дара.

Стоящих много ниже — он дарил,
Меня ж, моих заслуг не оценил!

Когда о том я шаху доложил,
К рабу властитель слуха не склонил!

Когда ж меня просил я отпустить,
Он, в гневе, приказал меня избить!

Униженному тяжко, мне тогда
Блеснула Искандарова звезда!

Когда я к Искандару прискакал,
Мне царь так много ласки оказал,

Так ни за что меня он наградил,
Что от стыда я голову склонил.

На смертный бой теперь я выхожу,
Две добрых думы на сердце держу:

Всемерно Искандару послужить
И вражьей кровью в битве стыд отмыть!

Всех, кто отмечен щедрым был Дарой,
Поодиночке вызываю в бой.

Пусть шах, чьей мудростью земля полна,
Увидит сам, какая им цена!»

Когда же Берберн-Барик умолк,
Навстречу воин вылетел, как волк, —

С лицом убийцы, темен, словно дым,
Нависший над пожарищем степным.

В индигоцветной сумрачной броне,
На черном, искры сыплющем коне.

То — в туче бедствий — гибели огонь!
То — небосвод бегущий, а не конь!

Копье в руке, как башенный таран,
А имя было воину — Харран.

Произнеся молитву за царя,
Он в бой рванулся, яростью горя.

И сшиблись на ристалище враги,
И разлетелся, делая круги.

Слетелись вновь. И долго длился бой,
Не побеждал ни тот и ни другой.

Но вот Барик проворство проявил,
Он в грудь копьем Харрана поразил —

И вышиб из седла, сломав ребро.
И прогремели небеса: «Добро!»

Поводьями Барик врага связал
И с пленником перед царем предстал.

Вновь Искандару дух возвеселил
Знак вещей, что победу им сулил.

Шах Искандар — ты скажешь — в пору ту
Победы первой видел красоту.

А лев-бербер, отвагой обуян,
Вновь на кровавый выехал майдан.

И вышел из рядов врага тогда
Слоноподобный богатырь Шейда.

Но льва от поражения и стыда
Хранила Искандарова звезда.

И он такой удар Шейде нанес,
Что рухнул тот на землю, как утес.

К царю Барик сраженного привел, —
Связал и униженного привел.

Дара, владыка стран и мощных сил,
Копьем в досаде небу погрозил.

И вновь на поле, раскрывая зев,
Примчался лютый берберийский лев.

Другой — навстречу — издающий рев.
И страшно лица их наморщил гнев.

Но и его, как молнии стрела,
Бербер ударом вышиб из седла.

Так повалил Барик рукой своей
Девятерых подряд богатырей.

И больше в бой никто не выходил,
Но вспять коня Барик не обратил.

Он громко ратоборцев вызывал;
Скажи: огонь в сердца врагов бросал!

Ужасный гнев Дарою овладел;
Сильнейших звать на бой он повелел.

Муж выступил — похожий на слона,
Кружиться заставляя скакуна.

Силен, как слон, он с ног слона валил.
А конь, как носорог, огромен был.

Мех леопарда на его боках,
Тигровый плащ у мужа на плечах,

Как кровь живая, красный шлем горит —
Чалмой, как гибель, черною повит.

Не шлем — тюльпан! Но только не черно
Его пятно, а словно кровь красно.

Его лицо, как финики, темно.
А волосы — льняное волокно.

Глаза — алмазы! Но орбиты глаз,
Как после казни полный кровью таз,

Из стран заката он ведет свой род —
Таков обличьем весь его народ.

Неслыханная сила им дана,
Им никакая сила не страшна.

И если занятый войною шах,
Терпящий беды в боевых делах,

Хоть одного из них пошлет на бой,
Как слон, растопчет он отряд любой.

Но если в битве пленника возьмет, —
Всё бросит и с добычей прочь уйдет

Домой, в пределы рода своего,
И силы нет остановить его.

А пленника приволочет в свой дом
И сделает навек своим рабом.

Но бербериец не был уstraшен, —
Как молния, на бой рванулся он,

И сшиблись ратоборцы, и сплелись,
И по полю, петляя, понеслись.

То настигал один, то убегал,
То вновь врага на край майдана гнал.

То первого бойца второй боец
Гнал на другой ристалища конец.

И подымали пыль они порой,
И пыль крутилась, словно смерч степной.

Кто мог бы льва, который вышел мстить,
В кровавом поединке победить?

Но всё же истомил бербер коня, —
И в нем самом уж не было огня,

Ведь он девятерых мужей сразил
И силу мышц железных истощил.

Ловец людей, поняв — слабеет враг, —
Схватил бербера крепко за кушак.

Добычу взяв, не отдал никому —
И не вернулся к войску своему.

Увел коня и пленника увлек,
И помешать никто ему не мог,

Ушел и скрылся медленно вдали,
Среди увалов пасмурной земли,

Там, где садилось солнце-властелин
За грани гор, в чертог морских пучин.

Увидев, что бербер его пропал,
Душою Искандар в унынье впал;

Сказал: «О, как горька его судьба!
О, как тяжел, увы, удел раба!»

Но он был рад, что богатырь такой
Неслыханный потерян был Дарой.

А шах Дара? — порадовался он,
Что бербериец лютый укрощен.

Но всё же втайне он был огорчен,
Что боевой ушел из войска слон. . .

. . . Ночь наступила. Поднялась луна,
Как Искандар величия полна. . .

И разделила ночи глубина
Войска. И наступила тишина.

В своем шатре Дара не ведал сна, —
Ему потребны чаша и струна.

Увы! — он кровь глотал взамен вина!
«Что завтра явит мир, что даст война?»

Румиец ночь в молитве проводил,
Он помощи просил у бога, сил.

Смиренно он чело к земле склонил,
В слезах о справедливости молил.

Когда ж уста мольбы он затворил,
Рассветный луч вершины озарил.

Тревожно вновь заволновался стан,
Взревели трубы, грянул барабан.

И в поле потекли войска тогда,
Как сонм воскресших в Страшный день суда.

И тучи пыли омрачили высь, —
Мечи и копыя яростно сплелись.

Зерцала рассекая синих лат,
Богатырям сердца пронзал булат.

Сраженьем управля издали,
Шах Искандар глядел на лик земли.

И в пору ту гонец пред ним предстал, —
В пыли, в поту — он тяжело дышал.

Склонясь во прах, он уст не отворил
И свиток запечатанный вручил.

Вскрыл свиток Искандар. Но как же он
Был тем письмом глубоко изумлен!

Он понял, что расправился с врагом
Небесный свод в могуществе своем.

Два были у Дары, раба судьбы, —
Наместники царя, а не рабы.

Но незаслуженно султан их гнал
И ужасом их души напитал.

«Войну закончу — смерть нашлю на них!» —
Он молвил о наместниках своих.

Поняв, что им в живых не долго быть,
Решили те властителя убить:

«Пока не обнажил на нас он меч,
Должны мы сами жизнь его пресечь!..»

Когда мы корни шаха поразим,
Народ от гнета мы освободим.

И пусть умрем потом! Ведь всё равно
Светило наших дней обречено!

Желаний нет у нас других. Умрем,
Но души от насилия спасем!»

Они письму доверили сердца.
В румийский стан отправили гонца

К великому царю чужой земли —
И тем на гибель души обрекли.

Когда же войск построились ряды, —
В кипенье нераскаянной вражды,

Те два, как заговор их был решен,
Настигли шахиншаха с двух сторон.

И разом заблистали их мечи,
Рубиновыми стали их мечи.

Один царю в живот клинок вонзил,
Другой — жестоко в темя поразил,

Возмездье и насилие творя
За гордость и насилие царя.

И наземь пал, как горделивый кедр,
Тот, корни чьи — в глубинах древних недр.

Величие Бахмана враг поверг.
Светильник рода Кейева померк. . .

И дрогнул воинств необъятный строй. . .
Прочтя письмо, Румиец той порой,

Вручив судьбу и душу небесам,
Сел на коня и поскакал к войскам, —

Кровопротитие остановил.
Во вражий стан бестрепетно вступил.

И расступились люди перед ним,
И преклонились люди перед ним,

И о беде поведали ему, —
Как светочу, вошедшему во тьму.

И наземь он тогда сошел с коня,
В шатер Дары вошел, как солнце дня, —

И видит: в луже крови шах лежит,
Кровавой багряницею покрыт.

И сердце горем сокрушалось в нем.
И сел он, горько плача над врагом,

И голову Дары в ладони взял,
И столько слез горячих проливал,

Что у Дары в его предсмертный час
Открылись сонные нарциссы глаз.

Он понял, кто у изголовья был,
И тихо так Дара заговорил:

«Добро пожаловать, мой юный шах!
Мудрец и богатырь, подлунный шах!

Кто перл родил столь дивной чистоты?
Кто мог бы так врагу простить, как ты?

О, как я гневом на тебя кипел!
Как часто гибели твоей хотел!

Средь сильных, миром правящих земным,
Один ты был соперником моим.

Кто в мире есть, как ты? Нет никого!
В тебе явилось миру божество.

Я на лицо твое взирать хочу!
Склонись ко мне! Тебе внимать хочу!

Ты — гость мой, — но в какие времена?
Дом рухнул мой, разграблена казна!

Как послужу я гостю моему?
Где друга долгожданного приму?

Вот лишь душа не отдана судьбе...
Коль примешь — душу я отдам тебе!

Мой милый гость! Ты сердцем так велик,
Теперь я сам — твой гость! — твой гость на миг!

И если дружба, а не зло — твой стяг, —
Бог да хранит тебя на всех путях!

Но если ты явился, чтоб убить,
Склонился, чтоб главу мою срубить, —

Великодушен будь — не убивай!
Помедли миг, сказать два слова дай!»

Крик Искандар и громкий плач подъял,
Венец свой сбросил, ворот разорвал.

Вскричал: «Живи, великий шах земли!
Уйдешь — как буду от тебя вдали?»

Вот пред тобой слуга смиренный твой,
Но я стыжусь, что был плохим слугой!

Увы! в ножны не вкладывая меч,
Я должен был властителя беречь.

Я должен был очистить от врагов
Чертог, где обитает Кей-Хосров!

О, если б о врагах его я знал,
Я б из пределов мира их изгнал!

Нет слов! Язык в бессилии молчит.
Отчаяньем стыда мой ум убит!

В безумье, знай, я принял вызов твой,
В безумье на тебя я вышел в бой.

Я не поверил вражьему письму.
И как — скажи — поверить мог ему?

Но вот — увы! — злодейство свершено.
И для меня светило дня чёрно!..

Свидетель — небо: лгать я не могу!
Ты знаешь, властелин, что я не лгу!

Я умер бы, судьбу благодаря,
Лишь бы спасти от гибели царя!

Теперь свою мне волю сообщи!
Ее исполнить в мире поручи!

Меня в свои желанья посвяти!
Дай светоч мне на жизненном пути!»

Молитву небу шах земли вознес
И голосом чуть слышным произнес:

«Внемли, — вот три желания мои!
Три главных завещания мои!

Те, что меня убили без вины,
Твоей рукой да будут казнены.

Пусть не поможет месть моей судьбе,
Но польза будет в деле том тебе.

Спасти меня — нет средства. Я умру.
Но делом правды ты почти Дару!

Не обижай, прошу, родни моей!
Не забывай: их прародитель — Кей.

Знай! Никого среди них я не найду,
Кто мог бы затаить к тебе вражду.

Сиротам милосердие окажи,
К себе их вечной дружбой привяжи.

Не обрубай моих ветвей живых!
Нет для тебя опасности от них!

Дочь — Роушанак! — с сегодняшнего дня
Она одна осталась без меня!

Короной Кейев древнею она —
Хосрова пурпуром осенена.

Она — луна в созвездии царей,
Перл драгоценный шаховых морей.

Ковер свой украшай ее лучом!
И сердце утешай ее лучом!

Ее женою в свой шатер введи,
На трон с собою рядом посади!

Она — частица печени моей,
Последний колос скошенных полей.

С моею слабой печенью свяжись!
Будь сыном мне! Во внуке дай мне жизнь.

Кусочек печени моей живой,
Внук будет продолжатель мой и твой.

Сын Искандара он и Кейанид
Меня с тобой навек соединит!

Трех этих просьб, о друг, не отвергай, —
Прими их! Мне ж пора сказать: „Прощай!“»

Воздел Румиец руки к небесам,
Дал волю горьким воплям и слезам.

«О царь царей, величия предел!
Всё принял я, что ты мне повелел,

И к богу обращаюсь я с мольбой,
Чтоб он простил мой грех перед тобой!»

Когда Дара услышал что желал,
Вздыхнул он и навеки замолчал.

И солнце закатилось, пала ночь.
В Бахмановом дворце настала ночь.

Закон пропал, что начертал Лухрасп,
Обычай пал, что завещал Гуштасп.

Кто светоч Кей-Хосрова омрачил?
Кто печень Кей-Хосрова поразил?

Смотри — Кава забвением объят.
Кто помнит, как был славен Кей-Кубад?

Страх духом Манучихра овладел,
На Афридуна ужас налетел. . .

Шах Искандар владыкой мира стал
И все Дары могущество приял.

В блистающий табут он прах царя
Убрал, едва забрезжила заря,

Зазеленела степь, как изумруд,
В ней все цветы благоуханье льют.

И вывел шах войска в степной простор,
А посреди поставил свой шатер.

Шатер, как небосвод, установил
И мир народам мира возгласил.

* * *

Вина мне, кравчий! Душу в нем найду,
Беду слезами скорби отведу!

Пусть рок Даре поспешно яд несет, —
«Живой воды» Румиец не найдет!

Приди, певец, и снова чанг настрой!
Но, сладких струн коснувшись, плачь, не пой,

Чтоб горько зарыдал я над Дарой,
Как мех вина кровавою струей.

О Навои! Вот мира существо!
Неверность и жестокость — суть его.

Будь верным, но о верности забудь.
Коль хочешь быть богатым — бедным будь!

ГЛАВА LXVIII

Когда, после завоевания Магриба, Искандар направ-
лялся в Рум, народ страны Кирван пожаловался ему на
притеснение яджуджей. И он, чтобы закрыть дорогу
этому бедствию, строит стену; и строители, подобные уче-
ным-геометрам, и каменщики, подобные звездочетам,
шнуром наметили место стены. И литейщики, по мысли
Утарида, и кузнецы, по знаку Сухейля, заливая гипс рас-
плавленной бронзой, а известь — блестящей сталью, воз-
вели стену до небесного купола.

Тот, кто события века записал,
Так мускусом по амбре начертал.

Когда правитель Рума, скажешь ты,
Дошел до крайней западной черты —

На западе увидел племя он,
Чьей злобой род людской был изнурен.

Хан из улуса к Искандару в плен
Попал и милость получил взамен.

Он, покорясь румийскому ярму,
Привел всё племя в подданство ему.

Им Искандар сказал: «Вы все со мной,
Чтоб верность доказать, пойдете в бой,

Чтоб муравьев огромных истребить,
Мир от опасности освободить!»

«О царь! — сказала войско дикарей. —
Опора мира и вселенной всей!

Коль этих муравьев мы перебьем,
Мы — великаны — сами пропадем.

Когда мы десять суток спим подряд,
В ту пору муравьи нас сторожат.

Мы десять суток бодрствуем; потом
Мы десять суток спим глубоким сном.

В ту пору к нам враги не подойдут,
Врага любого муравьи убьют!»

В ответ им шах ни слова не сказал,
Всем муравьям помилованье дал,

Сказал: «А где из золота гора?
И где еще гора из серебра?»

Тот исполин, себя ударив в грудь,
Сказал: «О них и думать позабудь!»

Нельзя пойти по этому пути,
А кто пошел — того нельзя спасти.

Отсюда, где стоим, от степи сей
До этих гор дорога — в десять дней.

Но мы их не видали никогда,
Хоть и недалний путь ведет туда.

На той дороге бедствий и вреда
Подстерегает путника беда.

Там воды смертоносные текут,
Деревья ядовитые растут.

Там, жаждой разрушенья обуян,
Свирепствует пустынный ураган.

Всё на своем пути сжигает он,
Дракона в воздух подымает он.

Те, кто, минуя этот смерч, пройдут,
Без счета на дороге змей найдут.

Там кобры и очковые кишат,
И каждая хранит старинный клад.

А змей число, как старцы говорят,
Тьмы тысяч, а вернее — мириад.

И воздух напоен над степью всей
Дыханьем ядовитым этих змей.

И аспиды, чей убивает взгляд,
На том пути к сокровищам стоят.

Ты не ходи к пределам той земли,
К которой мы и сами не дошли!»

Ответил Искандар ему: «Ты прав!
Рассказ твой необычный услыхав,

Куда хотел пойти, я не пойду,
Войска в обитель бед не поведу,

Зачем нам золото и серебро,
Когда от них беда, а не добро?

Несовместимо с нашим естеством,
Идя за золотом и серебром,

Войска в пути беспечно истребить,
Богатство жизни вечной погубить!»

За золотом и серебром в поход
Он не пошел: освободил народ —

Суровых этих диких степняков —
От рабства, лихоимства и оков.

И отпустил их, поручив судьбе.
Но несколько оставил при себе, —

Из-за ужасного обличья их
Поставил среди избранных своих.

Когда Магриб им завоеван был,
Он взгляд опять на Север обратил.

И кручи снежных гор перевалил,
И голубое море переплыл.

Пока корабль его, как колыбель,
Качали волны, чинская газель,

Чья в бедствии рука его спасла,
Кудрей арканом в плен его взяла.

Взяла его в глубокий плен утех,
Для Искандара став желанней всех.

С утра была, как кравчий на пиру,
Зухрой ему сияла ввечеру.

Вот близ Фаранга корабли царя
Пристали, опустили якоря.

Пред ним лежала хмурая страна,
Меж Западом и Севером она.

Там, где зима свирепая грозна,
Разрозненные жили племена.

И приступали к шаху: «В добрый час,
Бери свой меч и заступись за нас!

Там, где порядок свой построил ты,
Судьбу людей благоустроил ты.

А мы твоей защиты лишены,
Угнетены врагом, разорены!»

А царь: «Какие к вам враги пришли,
Рассыпали вас по лицу земли?»

Ответили: «Из неизвестных стран
Они идут через страну Кирван,

Где солнце от захода до утра
Скрывается, там высится гора.

К нам из-за той горы беда идет,
Оттуда — ужас, и оттуда — гнет.

Предел вселенной, той горы хребет
Дневного солнца заслоняет свет.

В горах — ущелье; по тому пути
Нельзя сквозь горы никому пройти,

Яджуджи злобные гнездятся там,
Подобные чудовищным зверям.

Оттуда вихри бедствий к нам летят.
Их нападение — сущий кыямат.

Видать, их породил аллах святой,
Разгневавшись на грешный род людской.

За чью вину мы — жертва мести их?
В словах не описать нечестья их!

Как дивов тьма, бесчисленны они,
Как бездны тьма, немыслимы они.

На их макушках волосы — копной,
Торчат их космы — в семь пядей длиной,

Ничем не одеваются они,
Ушами укрываются они.

Страшны их лица — желты и черны,
Их бороды, как ржавчина, красны.

У них глаза свирепых обезьян;
Их темный разум злобой обуян.

Даны еще, как печи, ноздри им, —
Они их чистят языком своим.

Они клыками, словно кабаны,
Изрыли землю нашей стороны.

Там, где яджудж, как злой кабан, пройдет,
Не то что злак, былинка не взрастет.

Самцы они иль самки, но подряд
У всех две груди длинные висят.

С тех пор как существует этот свет,
Их сквернословию сравненья нет,

А круча той горы так высока,
Что у ее подножий — облака.

Весь тот хребет в сединах снежных глав
Зовется издревле горою Каф.

Она, подковой кругозор обьяв,
Подобна начертанью буквы «каф».

Хребты заоблачные разорвав,
Теснина есть в горах, как в букве «гаф».

И через узкий горный тот проход
К нам от яджуджей бедствие идет.

Из горных нор своих два раза в год
На мир яджуджи движутся в поход.

И всё живое губят на пути,
Как нам спастись? Куда от них уйти?

И вот — покинули мы навсегда
Поля свои, сады и города.

Скитаемся мы по пескам степей,
Оторванные от своих корней.

Все города великой сей страны
В развалины врагом превращены.

А эти изверги зверей лютей,
Поверишь ли — они едят людей!

Овец, коров, коней — забрали всё,
К себе угнали и пожрали всё.

Здесь ни зерна нет в закромах пустых.
Всё съели! Только смерть насытит их.

Вот всё сказали мы тебе! Прости!
Народ наш можешь только ты спасти!»

Шах Искандар спросил: «Когда же тут
На вас яджуджи злобные идут?»

Как вы догадываетесь о том,
Чтобы успеть уйти перед врагом?»

Ответили ему: «Два раза в год
Идет на нас народ свирепый тот.

Тогда, клубясь, как туча, пыль встает,
Зеркальный затмевая небосвод.

Пыль, омрачающая блеск небес,
Предозначает нам, что мир исчез».

И царь спросил: «Когда вы ждете их?»
Сказали: «По примеру лет былых

Жить нам в покое — месяц или два».
Запали в сердце шаха те слова.

И войску станом там он стать велел,
Стан войска валом окопать велел.

Но возроптали толпы бедняков,
Рассеянные сонмы степняков,

И молвили царю: «До коих пор
Терпеть нам это горе и позор?»

Нас от врага не можешь ты спасти...
И просим мы тебя от нас уйти!

В тот день, когда чудовища придут,
Твоих румийцев воинства падут.

Вы все погибнете! А нам тогда
В сто крат настанет худшая беда!»

Царь им ответил: «Не пугайтесь вы!
Но всё же здесь не оставайтесь вы.

До нитки всё забрав, что есть у вас,
Подальше откочуйте — в добрый час!

Спешите! Бог — свидетель, я не лгу, —
Надеюсь — помогу вам, как смогу!»

Ушли они... Но там остался сам
Шах Искандар, подобный небесам.

Сказал он, и к ущелью, словно львы,
Пришли мужи и выкопали рвы.

И клич он кликнул лучшим мастерам,
Прислали лучших Рум, Фаранг и Шам.

Постигших числа мира и расчет
Движенья, где река светил течет.

Нет, не литейщиков, не кузнецов —
Он созвал мироздания творцов!

Чтоб мир стеною вечной защитить,
Навек дорогу бедствий преградить.

Медь, олово и сталь со всей земли
На тысячах верблюдов привезли.

Печей плавильных тысячи зажгли,
И реки огненные потекли.

А Искандар — при первом свете дня,
Встав раньше всех, садился на коня

И объезжал подошву Кафских гор,
Стеной загородивших кругозор.

А там — скалу валили за скалой
И камень резали стальной пилой.

Но увидали, дел не завершив,
Что пыль встает, полнеба омрачив.

Яджуджи шли, — скажи, за дивом див!
Неудержим, как сель, был их порыв...

.

Когда пожрал всё, что пожрать успел,
Свирепый род яджуджей ослабел

И ринулся в ущелье наутек,
Как вспять внезапно хлынувший поток,
Бегущих Искандар велел рубить,
Чтоб навсегда их память истребить.

Так воля добрая и сильный ум
Заставили умолкнуть этот шум.

Вот приступили, знанием сильны,
Румийцы к возведению стены.

Меж двух отвесных исполинских гор
Могучий стали воздвигать затвор.

Определил строитель-звездочет
Счастливейший час начала всех работ.

И начертили место на земле,
Где ставить стену — от скалы к скале.

Над чем-то колдовали мудрецы,
Всё строго рассчитали мудрецы.

Вновь к небесам поднялся голубым
От тысячи печей плавильных дым.

Опору всей твердыни основав,
Не гипс —семи металлов лили сплав.

На сплав горячий клали глыбы плит,
Сперва их обтесав, как надлежит.

Во всей работе слушались они
Великого строителя Бони.

Так плотно клали каменный оплот,
Что между плит и волос не пройдет.

Пятьсот локтей, вот ширина стены,
И тысяч за десять длина стены.

Десятки тысяч каменщиков там
Повиновались мудрым мастерам.

Полгода — ночи напролет и дни —
Без отдыха работали они.

И наконец твердыню возвели, —
Скажи, восьмое чудо всей земли.

А высота стены громадной всей,
Как говорят, была в пятьсот локтей.

На верх стены две лестницы вели,
Чтоб восходить дозорные могли.

Сторожевая башня на стене
Блестела синей сталью в вышине.

Укрытие для стражи было там,
Запас камней — метать их по врагам.

И печи, чтоб котлы разогреть,
Врага смолой кипящей обливать.

И были там дозор нести должны
Бессменно сотни стражей той страны.

Шах, видя завершение трудов,
Вознес хвалу строителю миров.

Он видел, как могуча и крепка
Стена, построенная на века. . .

Но вот померкли небеса в пыли,
Ордой к стене яджуджи подошли.

Но что поделать их клыки могли
С твердыней величайшею земли!

Тут Искандар сказал сторожевым:
«Бросайте камни на головы им!»

И тысячи проворных сторожей
Низвергли на чудовищ град камней,

Свинцом кипящим обливали их,
Горящей серой обжигали их.

Яджуджи, подымая страшный вой,
Вспять понеслись ревущею толпой.

Вот так, за всё содеянное зло,
На них теперь возмездие сошло.

И вновь пришли, и встретили отпор,
И перестали нападать с тех пор.

Так Искандар несчастных защитил,
И от яджуджей мир освободил,

И, как поток блистающей реки,
В обратный путь повел свои полки.

Овеян славой, полон морем дум,
В объятья матери вернулся, в Рум.

* * *

Дай, кравчий, мне отчаянья фиал!
Я по родной стране затосковал!

Так долго я блуждал в чужих краях,
Что — мнилось: мир земной распался в прах.

Певец! Я вновь теперь в краю родном...
Спой мне теперь забытый мной маком!

В слезах, внемля стенания твои,
Забуду я скитания свои!

Я — Навои — предела своего
Достиг, но нет мне пользы от того.

Ведь все, кого любил когда-то я,
Исчезли за пределом бытия!

ГЛАВА LXXVII

Искандар, захватив семь морей и двенадцать тысяч городов на островах, очертил, как циркулем, круг водных просторов и направился к центру Океана, и в этом походе его деревянные кони двигались на парусах, как на крыльях, под ветром, а равнина вод казалась небом,

и на этой равнине он много трудов перенес; и на этом пути ты много найдешь примет — как капля дробит камень. Искандар, достигнув центра Океана и превратив его в гидравлическое колесо, возвращается в Искандарию.

Искатель перлов в этом море слов
Так плыл на парусах в просторе слов.

Когда Сократ великий рассказал
Всё, что он сам об Океане знал,

Шах, вечной жаждой знанья обуян,
Решил поплыть в безвестный Океан.

И так он обратился к мудрецу,
Что предстоял творенью и творцу:

«Отец, да буду разумом твоим
В пути далеком я руководим!

И не противоборствовать тебе —
Нет! Будут все покорствовать тебе.

Всё это войско за тобой везде
Пойдет теперь по суше и воде.

Ты мыслью мощной, знаньем нам свети
На дальнем, на неизвестном пути!»

И дал Сократ согласие стать главой —
Вести поход неслыханный морской.

Навел порядок он, и чин, и страх
На всех ему подвластных кораблях.

Он знанием владел. Но в трудный час
Ему на помощь приходил Ильяс.

И корабли, как стан морских жилищ,
Помчались клином деревянных птиц.

И посетил великий шах сперва
Все Рума и Фаранга острова.

Всё население островов сошлось,
Без боя войску славному сдалось.

Поплыли вдаль. Над ними — небеса,
Под ними — бездны водной чудеса.

Как город,плыли по морю суда,
Земные открывая города.

Отдельным Искандаровым полкам
Сократ идти велел по берегам.

А впереди армады корабли
Дозорные и днем и ночью шли.

Вздымались волны, подымая мысль,
На славный подвиг подвигая мысль.

А те, что двигались на берегах,
Вычерчивали, как велел им шах,

Изгибы и заливы островов,
Расположение гор, долин, холмов.

Чтоб не рассеяться в пути морском,
Корабль соединен был с кораблем.

Канатами чудовищной длины
Суда их были соединены.

Покамест Искандар свершал поход,
Ученые его вели расчет.

Когда же утро прогоняло тьму,
Всходили на высокую корму.

И всё, что было нового у них,
Все описанья рыб и чуд морских,

Явившихся из глубины зыбей,
Привязывали к лапкам голубей,

Которых взяли из родной земли,
Дабы до Рума вести донесли.

Так семь морей гремящих, семь убийц,
Не семь морей — семь жадных кровопийц

Прошли на окрылённых кораблях,
Как на плавучих мощных крепостях.

Грозу и бурю дерзко поборав,
Незнаемого много увидав,

Двенадцать тысяч взяли островов;
Чтоб их воспеть — мне не хватает слов,

И совершили описанья их,
И начертили очертанья их.

Так Искандар с громадой кораблей
Прошел и изучил все семь морей.

И лег пред ним, волненьем обуян,
Неведомый Великий Океан.

Был обойден семи морей предел,
И голубь-письмоносец улетел.

А шах, Фаранг вниманием даря,
Пристал на отдых, бросил якоря,

Прошло уже двенадцать лет с тех пор,
Как начал пенить он морской простор.

Возликовали моряков сердца,
Что в плаванье достигнули конца,

Что кончен их страдной, тяжелый труд,
Что вскорости на родину придут.

Но не достигнут был пути предел,
Что муж Сократ свершить им повелел.

Все описания морских широт,
И островов, и чуд безвестных вод

Хранились на одном из кораблей
Под наблюденьем знающих людей.

Все свитки описаний моряки
В особые слагали сундуки.

На эти сундуки легла смола,
Чтобы вода проникнуть не могла.

Корабль, что нес запас бумажных вех
Увиденного, был громадней всех,

И сундуки со свитками достать
Шах приказал, и все — перелистать.

Морская влага не коснулась их,
И царь велел: «Хоть много свитков сих,

Пусть счетчики пересчитают их,
Пусть мудрецы перечитают их!»

Но их бы не исчислил человек,
И сонм ученых к алгебре прибег.

И все пределы знаемой земли
Они в числе едином изрекли.

И в том числе святом увидел шах
Всё, что на дальних повстречал морях.

Он стал размеры мира исчислять,
Сам Афлатун был должен помогать.

И всю измерили поверхность вод
По долготе, по поясам широт.

По долготе и широте частей
Исчислили размер планеты всей.

Тот Океан, что омывает мир,
Подобно чаше обнимает мир,

Хоть необъятен этот водоем,
Они измерили его объем.

Узнав строенье мира и морей,
Так молвил сонм всезнающих мужей:

«Когда корабль крылатый девять лет
И семь, быть может, месяцев вослед

Под парусами Океан пройдет, —
Вновь к месту отправленья приплывет.

Коль он уйдет на солнечный восход,
То с Запада обратно приплывет».

И, рассчитав экватора длину
И вымерив морскую ширину,

Решили — к центру Океана им
Пути три года будет с небольшим.

Коль плыть не уклоняясь, то скорей
Они увидят пуп вселенной всей.

А коль попутный ветер будет дуть,
Они в два года свой закончат путь.

Да и обратно столько же идти
По дальнему, неизвестному пути.

Вновь Искандар велел суда снастить
И нужным всем припасом снарядить.

Собрав достойных, Искандар сказал:
«Великий вождеденный день настал!

И пусть мое решение народ
Незрелым, недостойным назовет.

Но страсть мою переполняет грудь —
Плыть в предуказанный мне богом путь!

Я не могу противостать тому,
Кто есть начало сущему всему,

Я знаю — воинство утомлено,
В морских походах мучилось оно.

И якоря я здесь отдать решил,
Усталым людям отдых дать решил.

Я преданных не буду понуждать,
Коль не хотят меня сопровождать.

Но у меня желанье не пройдет
Опять в далекий двинуться поход.

Двенадцать лет волну семи морей
Я пенил с войском преданных мужей.

Я плавал, жаждой знания обуян,
Но цель пути — всемирный Океан.

В захвате мира не было мне нужд,
Завоеваний жажды стал я чужд.

Нет, цель моя была — не слабых бить,
А прямо к центру Океана плыть.

И мы, коль помощь нам пошлет аллах,
Четыре года будем на судах —

Два года плыть к Востоку, и назад
Два года, коль не будет нам преград.

Кто в мире сокровенное познал?
Таких людей досель я не встречал.

Мы дело необычное теперь
Задумали, не боясь потерь.

Пусть трудности похода не страшат
Товарищей! Я много дам наград.

И пусть, кто не боится смерти, тот
Со мной в безвестный Океан плывет.

А если муж устал, страшится он,
Пускай в отчизну возвратится он».

Когда сказал такое слово шах,
Великий шум возник на кораблях:

«В чем провинились мы перед тобой?
Везде с тобой пойдем, как за судьбой!

Зачем домой нас отсылаешь ты?
За что достойных обижаешь ты?

Одна с тобой нам радость и печаль,
А за тебя и жизни нам не жаль!

Мы у порога твоего умрем,
Когда предел, сужденный нам, пройдем.

За что теперь ты отчуждаешь нас?
И в чем наш грех, что отвергаешь нас?

Как быть нам без тебя? Куда пойдем
В плену разлуки со своим вождем?

Как за тобой досель мы всюду шли,
Пойдем и дальше хоть на край земли.

Не разлучимся мы с тобою впредь,
А без тебя нам лучше умереть!»

С восторгом шах на воинов глядел,
Он понял: войска дух не ослабел.

Он видел — все хотят служить ему,
Все жаждут спутниками быть ему.

Соратников он поблагодарил
И всех за службу щедро одарил.

Сказал: «Незабываем этот час,
О братья, испытать хотел я вас.

В походах дальних вы утомлены —
И вы свою судьбу решать должны.

И ваша верность, дух ваш боевой
Сравнимы с нерушимой стеной.

Вы те же, что и прежде. В день войны
Мы, как и прежде, будем сплочены.

Душою с вами буду я всегда,
О вас не позабуду никогда!»

И воины за шаха вознесли
Молитву богу неба и земли.

Всё Искандар обдумал и решил:
Он от плавучей силы отделил

Две тысячи тяжелых кораблей
С великим множеством своих людей,

Седых служак, израненных в боях,
Он поместил на этих кораблях.

Сказал: «Не нужно много войска мне.
Плывите с миром к отчей стороне!

Все возвращайтесь в Рум без лишних слов
И передайте весть, что я здоров.

Весть передайте о семи морях
И о прекрасных дальних островах,

Что взяли мы, зыбей пройдя купель,
Двенадцать тысяч островных земель.

Центр Океана — ныне цель моя.
Там в сильном войске не нуждаюсь я.

Хочу пройти Великий Океан,
А это — не завоеванье стран.

Поэтому я отправляю вас
На родину. Плывите в добрый час!»

Так проводив часть большую людей,
Он отделил семь сотен кораблей.

И молвил морякам: «Вам — здесь стоять.
Державы нашей берег охранять.

Здесь стойте стражами морских ворот!
Сюда вернусь я на четвертый год.

Старайтесь, чтоб с моей столицей связь —
На суше ль, на море ль — не прервалась;

Через четыре года я вернусь
И с вами в Рум на отдых устремлюсь.

Но если небеса нам явят гнев,
Упорство наше бурей одолев,

Всё сделают по-своему, и мне
Смерть суждена в безвестной глубине

И если, видом бездны увлечен,
Акулами я буду поглощен,

Тогда вы все увидите, что вспять
Нас безнадежно дольше ожидать.

Проститесь навсегда с царем своим
И возвращайтесь к берегам родным».

Три сотни быстрых выбрал он судов,
Как триста лунных молодых серпов.

И всех своих ученых взял с собой,
Чтоб со стихией спорить, как с судьбой.

И на четыре года взял припас
Всего, что нужно в море в трудный час.

И, опытных в вождении судов,
Надежных отобрал он моряков,

Бестрепетных и верных, как один,
Перед кипеньем яростных пучин.

Повеяли попутные ветра,
Настала отправления пора.

Под покровительством небесных сил,
От берега Румиец отвалил.

И лили слез поток, сказать могу,
Все, кто остались там — на берегу.

Суда, на сотнях полотняных крыл,
Неслись по указаниям светил.

А в том просторе буйственном, морском
Ни ночью людям отдыха, ни днем.

Там берегов не видит мореход,
Там только даль необозримых вод.

Туман ли встанет в утреннюю рань,
Небес и вод неразличима грань.

Две бездны голубых. . . И морякам
Казалось, что плывут по небесам.

Высоко солнце шло над головой,
Купаясь ночью в глубине морской.

Оно скрывалось в синеве пучин
И возрождалось в синеве пучин.

Когда оно на Западе зайдет —
Просвечивает сквозь завесу вод.

И медленно к Востоку проходя,
Сквозит из бездны, жемчугом блестя.

И, как фонарь сияет от свечи,
От солнца море светится в ночи.

Блестит, не погружается во мрак
Его небесно-голубой колпак.

Когда проходит солнце под водой,
Блестает небо дивной красотой:

Прекрасное творенье вечных сил —
Сияет астролыбиа светил.

И отраженья ль звезд в волнах ночных
Иль тьмы существ светящихся живых?

В покровых драгоценных существа
Снуют, блестят; волна от них жива.

Сияют их глаза в ночных волнах,
Как звезды в темно-синих небесах,

И любо, знать, сбегаться к кораблям
Всем этим светоносным существам.

Пучина светится от их лучей,
Как от несметных трепетных свечей.

Сперва страшдлись души моряков,
Что загорится дерево судов.

Но кораблям тот не грозил огонь,
Прохладный это, влажный был огонь.

Страх проникал в сердца людей живых
От непонятого свеченья их.

Таинственная та сияла жуть,
От страха у людей взмокала грудь.

И чуда новые из глубины
Являлись на поверхности волны.

Кругом опасности являлись там
Качающимся грузным кораблям.

Душа сто раз к гортани подойдет
От страха за ночь, средь безвестных вод.

Вот солнцем осветился Океан,
И поднялся от волн густой туман.

Померкли звезды неба, и вослед
Морские звезды погасили свет.

И вот, в безветрии, среди тихих вод
Возник чудовищный водоворот.

Казалось — то бездонный кладезь был,
Что солнце, как Юсуфа, поглотил.

То был среди вод колодец без воды...
Не ждали моряки такой страды.

А вокруг водоворота, к тучам ввысь,
Как минареты, смерчи поднялись.

И корабли кружились среди них,
Как листья в зимних вихрях ледяных.

Корабль за кораблем, как желтый лист,
Плясали там под гул, и гром, и свист.

Суда то подымались в высоту,
То падали, всё в пене, в темноту.

Как будто небосвод и Океан
Поссорились, поднялся ураган.

Как горы, волны яростные ввысь —
До облак пенной гривой поднялись.

Вставали волны наподобье гор,
Морской, великий всколебав простор.

По звездам прежде шли, не наугад,
А тут настал, казалось, кыямат.

Открыло небо все врата ветрам,
Явился ужас моря морякам.

Из бездн акулы всплыли и киты,
И черепах чудовищных щиты.

Когда взмывал морской великий вал,
Скажи — он свод небесный омывал.

Корабль, взносимый до неба волной,
Соперничал с небесною Стрелой,

Когда же разверзалась глубина,
Касался килем он морского дна.

Так всколебалась Океана глыбь,
Что не было пристанища для рыб.

Китов, чудовищ и зверей морских
Бросала сила волн до туч седых.

Когда же круг волнения прошли,
Спокойно вновь поплыли корабли.

Но и отважнейших на кораблях,
Скажу, охватывал в ту пору страх.

Их жизнь зависела среди зыбей
От деревянных парусных коней.

Сменилась буря тишью. Так они
Все миновали плавания дни.

И год, и восемь месяцев прошло,
Легко дыханье ветра их несло.

Тогда небесный дух принес им весть:
«О люди, средоточье мира здесь!

Открыли вы, что жаждали открыть,
А дальше вам теперь опасно плыть!»

И к Искандару в тот великий час
Пришли Сократ великий и Ильяс.

Сказали: «Нами сделан был расчет,
Что мы достигли центра вечных вод».

Приняв слова их, как бесценный дар,
Возликовал душою Искандар.

Он приказал суда остановить
И якоря в пучину опустить.

Сказал он славным спутникам: «Друзья,
Сегодня с вами попрощаюсь я.

Вы стойте здесь. Задумал я давно
На океанское спуститься дно.

Сегодня долгожданный час настал —
Исполнить то, что я давно желал».

Об этом, в слогe краток и суров,
Поведал нам делийский муж Хосров,

Что у царя припасена была
Литая сфера — толстого стекла.

Что на канате в десять верст длиной
Была та сфера залита смолой.

Шах Искандар в тот шар стеклянный сел
И в море опускать себя велел.

Ведь он не ведал, что такое страх,
Мирозавоеватель светлый шах.

Сто дней он пробыл в царстве водяном,
Увидел чудеса на дне морском.

Но наконец он телом ослабел
И подымать наверх себя велел.

В подводной бездне истомился он,
Но светлый ум был знаньем просветлен.

Он молвил, встав на доски корабля:
«Окончен путь, и цель теперь — земля!»

Шах, озаренный подвигом своим,
Подобен стал пророкам и святым.

Увидел он на океанском дне
Незримое глядящему извне.

Он понял: суть во всем одна жива
И все едины в мире существа.

Он видел, словно в зеркале, в воде,
Что никому не видимо нигде.

Ведь наблюдал он в глубине морской
Чудесный неизвестный мир иной.

Неведомых чудовищ видел он,
Пред кем любой бы умер, устрaшен.

Животные, огромней, чем киты,
Живут в пучинах водной темноты.

При виде их акул объемлет страх,
Они едят огромных черепах.

Сам славный Искандар был потрясен
Тем, что на дне морском увидел он.

И вспыхнул свет пророческой звезды —
Он стал владыкой суши и воды.

Но, небывалым светом озарен,
Желанья бытия утратил он.

Он людям счастье знания возвестил,
Сердца их счастьем знания осветил.

Возликовал, узнав, народ простой,
Что он — пророк, всевидец и святой.

Но всё ж в сердцах людей таился страх,
Что вечен будет путь на кораблях.

Так шли суда на парусах косых,
Что отставали небеса от них;

Так быстро шла громада кораблей,
Что отставала тень в волнах зыбей.

Двухлетний путь он в год преодолел,
До срока к ожидающим приспел.

Здесь описать я радость не смогу
Войск, им оставленных на берегу.

Дав отдых краткий множеству людей,
Шах устремился к родине своей,

Проплыв на веслах море среди земли,
Войска счастливо на берег сошли.

И так спокойно было тело вод,
И так был ясен солнечный восход,

Что шах подумал: не пора ль ему
Уйти отсель — в неведомую тьму.

Установив порядок войсковой
И весь закон правления страной,

Наместников своих он утвердил,
Хоть сам еще годами молод был.

Правителей он на семь сотен лет
Таких назвал, чтоб шли ему вослед,

Чтобы колено за коленом шло,
Чтоб небо раздавить их не могло.

На этом успокоившись душой,
Он сея в седло и поскакал домой.

Гнал скакуна без передышки он,
Больного тела заглушая стон.

Он степи знойные пересекал;
Отряд его нукеров отставал.

А от жары вскипала кровь в сердцах.
Вода горячей стала в турсуках.

Так были солнца яростны лучи,
Что воздух стал палящим, как в печи.

На землю стань — нога обожжена. . .
Вся, как жаровня, степь раскалена.

Шах, сильный прежде, в обморок порой
Впадал в пути — измученный жарой.

Когда в глазах его затмился свет,
Он понял — в теле сил былых уж нет.

Коня сдержал он, спешился и лег
На раскаленный, огненный песок.

Как удушающий угарный дым,
Болезнь и мука овладели им.

Сойдя с коня, он думал полежать,
Передохнуть, но был не в силах встать.

Упавшую седельную луку
Он подложил подушкой под щеку.

Один из преданных ему людей
От испуленных солнечных лучей,

Как смог, в ту пору защитил его;
Он золотым щитом укрыл его.

И предсказанье смерти вспомнил шах,
Забывшее в походах и в боях:

«Земля железом станет под тобой,
А свод небесный будет — золотой».

Так под щитом лежал он золотым,
Земля — железо жаркое под ним.

Из глаз безмолвно слезы потекли,
Он влагой их отмылся от земли.

* * *

Дай мне вина, как прежде подавал,
Дай, кравчий, мне прощания фиал!

Когда наполнят чашу небеса,
Жизнь эта испарится, как роса.

Приди, певец! Свой звонкий чанг настрой,
Мне — бедному — напев прощальный спой!

А коль напевы горестны твои,
Пой бейты из дивана Навои.

О Навои! Пусть виночерпий твой
С луной Новруза спорит красотой!

Будь пьяным! А не помнить ни о чем —
Условье, чтоб сегодня стать царем!

Решение с бережением нанизать на нить поэзии эти жемчуга повторений, и написать о доверии до конца, и поведать о перлах, таящихся в сердце светлого мыслями наставника Мейханы, и молвить о тайне приятия чистыми духом откровений великих поэтов; и о просьбе их помолиться за падишаха ислама, и молитва просящего.

Рука, что путь указывала мне,
Ведет проверку этой пятерне.

«То не панджа, — сказал наставник мой, —
А твердый камень, монолит стальной!»

Я поднял пятерню, чтоб сильным стать,
Чтобы в пяти окрепли эти Пять.

Пусть будут мощны, будут велики,
Но эта мощь не от моей руки.

Мой пир, когда дастаны прочитал,
«Пятью сокровищами» их назвал.

Пять книг, чьи перлы светозарней дня,
Дала мне высшей силы пятерня.

Что значит слабая моя рука
Перед рукой, что, как судьба, крепка?

Как мог я, изнуренный и больной,
Соперничать с небесной пятерней?

Мне поединок сердце изнурил,
Персты мои лишил последних сил.

Но от борьбы не мог я прочь уйти,
Не мог оставить труд на полпути.

В тот час, когда надежду я терял,
Явился вестник счастья и сказал:

«Эй, слабый, тонущий в волнах нужды,
Не знающий, как выйти из беды!»

Иди к порогу пира своего
И обратись к всезнанию его!

Пусть он — великой мудрости оплот —
К тебе с любовью сердца низойдет.

Ключи найдет для каждого замка
Его благословенная рука!»

Вняв тем словам, пошел я в тот же час
К великому, живущему среди нас.

Когда ступил я на его порог,
Казалось, в райский я попал чертог.

Где кровля — движущийся небосвод,
Где ангелы — как стражи у ворот.

В заветном том покое, в тишине,
Сомнения рассеялись во мне.

И я — надежды полон — ощутил
В усталом сердце волны новых сил.

Хоть в дверь не мог я постучать рукой,
Но дверь сама открылась предо мной.

«Войди, просящий!» — тут я услышал,
Как будто слову откровенья внял.

И не отшельник в снежной седине,
А сам Рухуламин явился мне.

В его покое — свет и чистота,
В его речах и мыслях — высота.

Казалось, разум мира был вмещен
Под кровлей той, где обитает он.

Когда шагнул я за его порог,
Как бы попал в сияющий чертог;

И к старцу в белоснежных сединах
Поплыл пылинкой в солнечных лучах.

Сам от себя освобождался я,
Верней — освобождалась суть моя.

И долго мыслей я не мог собрать,
Зачем пришел — не мог я рассказать.

Невольно речи он меня лишил
И, как Иса, со мной заговорил.

Всё, что я скрыл в сердечной глубине,
Как свиток, он прочел и молвил мне:

«Созрела мысль твоя! И надо сметь
Преграду немоты преодолеть!»

Как врач, заботящийся о больном,
В недуге разобрался он моем.

Все трудности мои он разрешил,
Распутал все узлы и так решил:

«Всё, что тобой задумано давно,
Должно быть сказано и свершено!

Час, предназначенный тебе, настал,
И срок, что дан тебе, не миновал.

Но хоть тебе и трудно, это твой —
Пред богом и народом — долг святой.

И в том богатства духа ты найдешь,
Сокровища вселенной обретешь.

Мы всматривались долго в этот мир,
Как дик он, и безграмотен, и сир.

Доныне в мире не было руки,
Чтобы писать на языке тюрки.

Не только тюрки, Персия прочтет
И славный труд твой чудом назовет.

Мы знаем, что не меньше двух недель
Потребно, чтоб сложить одну газель.

Ты мастеров тончайших назови,
Что пишут песни мерой месневи.

Им десять лет потребно, может быть,
Чтобы двести тысяч сложить!

В наш век поверхность белую листа
Сплошных письмен покрыла чернота.

И в этой черноте, как в тьме ночной,
Заблудится читающий любой.

И в этом мраке нет живой воды,
Нет ни луны блестящей, ни звезды.

Ведь если небо мускусом покрыть,
Тьма эта может сердце омрачить.

Два было грозных льва в пустыне той,
Могучих два кита в пучине той.

Будь смелым львом, чтоб перейти черту,
Подобен стань могучему киту.

Сегодня в мыслях тонок только ты,
В словах могучих звонок только ты.

Прославленный на языке дари,
Ты новые нам перлы подари.

Тебе присущи ясность, чистота,
Богатство речи, слога красота.

Великое внушил доверье нам
Крылатый раздвоенный твой калам.

И столько он живой воды таит,
Что жажду всей вселенной утолит.

Свой замысел ты должен воплотить.
В тебя мы верим — иначе не быть!

Иди и, как орел, пари всегда,
Стремись лишь к завершению труда.

Мы ждем! Спешь на подвиг — в добрый час,
Прими благословение от нас!»

Я вести жизни вял в его словах,
Душа вернулась в охладевший прах.

Мой пир дыханье жизни ощутил
В речах моих и жизнь мне возвратил.

И, новым вдохновеньем обуян,
Я ринулся в словесный океан.

Поцеловав наставника порог,
Вернулся я, светильник свой зажег.

Старательно калам свой заострил
И ста желаньям двери отворил.

И, завершив «Смятение» наконец,
Им победил смятение сердец.

Когда я стал «Фархада» создавать,
Пришлось мне тоже скалы прорубать.

Когда «Медждуна» свет в стихах померк,
То многих он в безумие поверг.

Когда «Семи» я покорил отвес,
Услышал похвалу семи небес.

К Румийцу, словно огненный язык,
Повлекся я, и «Стену» я воздвиг.

Дастан мой люди лучшие земли
«Стеною Искандара» нарекли.

Пять в мире лучезарных лун взошло,
Пять стройных кипарисов возросло.

Пять пальм в небесных выросло садах, —
Дыхание Мессии в их ветвях,

Всегда зеленых, шумно-молодых;
И гурии живут под сенью их.

С пяти сокровищниц я снял печать,
Их все успел подробно описать.

И в переплет надежный заключил
Листы, куда всю душу я вложил.

И сердцем потянулея вновь к нему,
К учителю и другу моему.

Он в поисках мой покровитель был,
Он в помыслах мой повелитель был.

Пошел к Джами. Ведь он один умел
Открыть мне тайну завершенья дел.

Но мучилась сомнением мысль моя,
Что быстро это дело сделал я.

Ведь каждый живший до меня поэт
Потратил для «Хамсе» десятки лет.

Великий наш учитель Низами,
Как он писал! С него пример возьми!

Он семя слов живое насадил,
Твердь языка живого сотворил;

Нашел, уйдя от низменных людей,
К пяти сокровищницам пять ключей;

Пока над ним вращались небеса,
Поистине творил он чудеса!

Храним вниманьем шахов и царей,
Он отдал тридцать лет «Хамсе» своей.

И тюрк с индийским прозвищем — Хосров
Мир покорил гремящим войском слов.

Но, крепость взяв, потратив много сил,
Он древнее сказанье сократил.

Он очень долго размышлял о том,
Как повесть новым повесть путем.

Слышал, — не знаю, правда или нет, —
Что над «Хамсе» сидел он сорок лет.

Кто, как они, был с тем путем знаком?
Кого мы с ними равных назовем?

А я — судьбою связанный своей —
Чем озабочен? Судьбами людей.

Весь день — о нуждах царства разговор,
Разбор докучных жалоб, тяжб и ссор...

И негде для ушей затычки взять,
Чтоб ропота людского не слышать.

Но внял я сердцем новые слова,
Мир небывалый создал года в два.

Калам твой к завершению спешит,
К великому свершению спешит.

Пусть упрекать ученый нас начнет,
Века ему другой поставят счет.

Отвечу — полугодья не прошло
С тех пор, как солнце новое взошло.

Стихии воздвигали мой дастан!
Основа — тюркской речи океан. . .

Не буду слушать, что гласит молва,
Коль справедливы все мои слова!

Огрехи могут быть в любом стихе,
Не надо думать о таком грехе.

Рожденное душой — приму его
Живою сутью духа своего!

Дитя и некрасивым может быть,
Но мать не может им не дорожить.

Сычата гадки, но сычиха-мать
Не станет на павлинов их менять.

Хоть улетел пыльцы кенафа дым,
Он кипарисом кажется большим.

Как знать: по нраву ль каждый мой дастан
Придется мудрым людям многих стран?

Но важно, что о нем, — душа, пойми, —
Нам скажет проницательный Джами.

Я трудной шел тропой творцов былых;
Надела маски смерть на лица их. . .

Они теперь в сияющем раю,
Но открывают душу нам свою.

Не знаю я, что скажут обо мне
Они — блистающие в вышине.

Я верил: всё мне скажет светлый пир
И утвердит в горящем сердце мир.

Сомненья может разрешить один
Наставник мой — вершина всех вершин.

Так я пришел к великому опять,
Чье имя не посмею повторять;

Его порога прах поцеловал
И к милосердью вечного воззвал.

Чуть из сафьяна я достать успел
Тетрадь дастанов — сердцем ослабел.

Рассыпал рукопись к его ногам,
Подобную индийским жемчугам.

Я в Океан ветрила устремил,
И Океан объятья мне открыл.

Он всю мою «Хамсе» перелистал,
За бейтом бейт с вниманьем прочитал.

И спрашивал меня; и, просияв,
Как солнце, ликовал — ответу вняв.

Не ждал я сотой доли от него
Глубокого признания того.

Мудрец, он в каждом слове был велик;
Он говорил, что цели я достиг.

И смысл глубинный мной рожденных слов
Открылся мне, как чашечки цветов.

Учитель пел, как вешняя гроза;
А я кивал, потупивши глаза.

И, труд мой одобряя горячо,
Он руку возложил мне на плечо.

Рукав одежд его был так широк,
Что осенил бы Запад и Восток,

Укрыл бы, словно свиток, небосвод...
И я — под этим рукавом щедрот

По-новому всё начал понимать
И перестал себя воспринимать.

Сознание я терял. . . И, как во сне,
Виденье в этот миг явилось мне.

Средь цветников я очутился вдруг
В густом саду, что как бы плыл вокруг.

Тот сад был, как блистающий эдем,
Которому завидовал Ирем.

Я садом шел, благословлял судьбу,
Обозревая эту Каабу.

Вдруг вижу их. Они, среди сада стаё,
Беседовали, круг образовав.

Тут обратился к малости моей
Один из горделивых тех мужей.

Он был прекрасен, строен, средних лет,
В глазах горел провидения свет.

Меня тот муж, как величавый князь,
Приветствовал, почтительно склонясь:

«Подобные пророкам и святым
Зовут тебя к себе! Приблизься к ним!»

И я пошел посланному вослед,
Спросив: «Но кто они?» — и был ответ:

«Источниками счастья их зови!
Они — творцы бессмертных месневи.

И все они — создатели «Хамсы»,
Сокровищниц божественной красоты.

Принять в свой круг тебя они хотят
И для тебя явились в этот сад.

О муж! Хасан мне имя. А народ
Меня Делийским издревле зовет».

Ответ услыша, вновь я ощутил
Волнение сердца, изнурение сил.

Но волею и духом овладел
И к славным как на крыльях полетел.

Тут мне Хасан назвал их имена,
Прекрасные, как вечная весна.

Сказал: «На величавых, как цари,
На трех главенствующих посмотри!

И первый тот, чьи помыслы чисты,
Сей старец несказанной красоты.

Ты предстоишь пред светлостью его —
Перед очами шейха твоего!

Направо — полководец войска слов,
Завоеватель стран — Амир Хосров.

А слева старец — твой духовный пир, —
Он звал тебя на этот светлый пир.

Коль эти люди — плоть, наставник твой
Пусть назовется их живой душой.

А коль душа нетленная — они,
Его со светом Истины сравни!

Ты видишь круг пирующих вдали?
Иди к ним, поклонись им до земли!

Они — великие! Ты это знай,
Пред ними блеска речи не являй!»

Я, вняв совету, устремился к ним,
К своим предтечам, ангелам земным.

И, увидав меня за сто кари,
Они свои покинули ковры;

И встали, и навстречу мне пошли,
Как будто не касая земли.

С кем предстояла встреча впереди
Я знал: то — Фирдуси и Саади,

И вещий Санаи, и Унсури,
И дивный Хагани, и Анвари.

Коль всё о них подробно говорить,
Рассказ я не успею завершить.

Пересказать я также не смогу,
Как очутился вдруг я в их кругу.

Тут подошел к нам — Солнце трех веков —
Шейх Низами, и рядом с ним Хосров,

И знаний океан — наставник мой.
И все пошли блистающей тропой.

Шейх впереди, как путеводный свет;
И я, несчастный, поспешил вослед.

Великий пир, явив свою любовь,
Всеми избранным меня представил вновь.

С ресниц ронял я капельки дождя,
Припав к деснице моего вождя.

Тут — подхватив меня — Хосров, Джами
Поставили пред ликом Низами.

Раба печали с двух сторон храня,
Два мира взяли за руки меня.

Владели мной растерянность и страх,
Но я два мира ощутил в руках! . .

Я, пав пред шейхом на золотой песок,
Припал к стопам благословенных ног.

И девяти небес бегущий свод
Завидовал слезам, что смертный льет.

Рукой участия я поднят был.
Познания свет стезю мне озарил.

Но, как река весенняя, светло
Всё в том саду струилось и текло.

И в просьбе вновь склонился я пред ним —
Святым первоучителем моим.

Растаяли, как предрассветный мрак,
Сомнения, когда он подал знак.

Он сел и сесть мне рядом приказал.
А я опять пред ним на землю пал.

Но милостиво шейх, склонив свой взор,
Десницу, как опору, мне простер.

Спросил о состоянии моем,
И я в ответ склонился в прах лицом.

Он молвил: «Благодарен будь судьбе,
Хоть в мире нет сопутника тебе!

Ты, волей неба, слова властелин,
В веках неповторимый и один.

Ты областью газелей овладел,
И блеск других газелей потускнел.

Ты мир стихом завоевал в тиши,
Не мир земной, а высший мир души.

Теперь своим и море месневи
Жемчугоносным морем назови.

Ты в царстве слова подвиг совершил,
Величий ложных сонмы сокрушил.

В моей «Хамсе» могучий твой исток,
И обо всем просить меня ты мог.

А есть в моем творенье стих такой:
«Тот, кто дерзнет соперничать со мной,

Падет бесславно! Голову ему
Мечом алмазным слова я сниму!»

И многие на то ристанье шли,
Но все на том ристанье полегли.

Когда ж Хосров о милости просил,
Сокровищницу я ему открыл.

Удел свой получили — сам смотри —
После него несчастных два иль три.

А ты, когда на этот путь ступил,
Мысль о себе ты первый истребил.

Хоть ты — гора, ты — прах низин степных
Перед громадой замыслов твоих.

Слезами просьб скрижаль души омой
И начертаньем верности покрой!

Премудрый пир, наставник твой Джами
Нашел опору в древнем Низами.

Он, взяв калам пречистою рукой,
Путь к Истине открыл перед тобой.

И, по утрам за рукопись садясь,
Еще творцу миров не помолясь,

Обдумывая новый свой рассказ,
Ты помни с чувством искренним о нас,

Благословляя каждую зарю
Словами: «С вашей помощью творю!»

И знай — о чем бы нас ты ни просил —
Неисчерпаем ключ извечных сил! . . .

Когда б тебе мы все не помогли,
«Хамсе» бы ты не создал, сын земли.

Как смог бы ты свой перл без нас добыть,
В два года «Пятерицу» завершить?

Те пять сокровищ, что тебе даны,
От ограбления ограждены,

Пять ожерелий, где в замке — алмаз,
Надежно скрыты от враждебных глаз.

Твой труд свершен. Но сам не знаешь ты
Сокровищ, что в душе скрываешь ты.

Ты с чистой просьбой к нам пришел, любя,
И люди тайны приняли тебя;

Те, что вязать и разрешать вольны,
С тобой отныне, в помощи сильны.

Мы ведаем, что совершенен шах,
Что для него блаженства мира — прах,

Султан Гази, чей нерушимый щит
На страже справедливости стоит,

На девяти высоких небесах
Благослови его святой аллах

За то, что в век его явился ты
И что на подвиг свой решился ты!

Ты совершил свой труд. Века пройдут,
Но дум твоих плоды не опадут».

Услышав шейха, я из праха встал,
Благоговейно, но без страха встал.

И руки древний шейх горé вознес
И так молитвословье произнес:

«Господь! Пока твой светлый мир цветет,
Пусть будет счастлив каждый в нем народ.

Да будет всем земля ковром усад,
Где радость, песни и плодовый сад!

Пусть на престоле мира сядет мир,
И люди все придут к нему на пир.

И в радости, в веселье заживут,
Пока не призовет их божий суд.

Пусть в мире справедливость и покой
Воздвигнут совершенные душой!»

Как книгу, шейх сложил ладони рук,
Умолк словам его вторивший круг.

Моление добрых слышно в небесах.
Моление добрых внемлет сам аллах.

И вновь о «Пятерице» я воззвал,
Страницу за страницей доставал

И на землю слагал их, орося
Слезами, покровительства прося:

«Вот — порожденье сердца моего,
Росток, где новой речи торжество!

Великодушны были вы к нему,
К заветному творенью моему.

Пять книг моих. . . Перелистайте их
И благосклонно прочитайте их!

Пусть ваши руки их благословят,
Пусть наши внуки их усыновят!»

И поднял шейх творение мое,
Живое откровение мое;

И молвил пиру: «Милость изъяви,
Сокровищницу слов благослови!

Просящий этот — нам как младший сын,
Последний урожай моих долин.

Те, кто за ним пойдут тропею сей,
Нам будут сыновьями сыновей.

Благослови его — душой велик!
Он — верный твой мюрид и ученик».

Когда мой пир к молитве приступил,
Весь круг мужей ладони рук сложил.

Молитва та, звучавшая в тиши,
Была бальзамом для моей души.

Как кит, я выплыл к свету из пучин,
Когда они промолвили: «Омин!»

И, тая, словно отблески зари,
Сказали мне: «Царя благодари».

При звуке этих слов очнулся я,
Как бы от обаянья забытья.

Увидел вновь отшельничий покой
И старца, увенчанного чалмой,

С лицом светлей небесного луча;
Тут снял он руку с моего плеча.

Я голову свою пред ним склонил,
Его стопы слезами оросил.

Меня коснувшись ласково рукой,
Участливо спросил он: «Что с тобой?»

Я отвечал ему: «О добрый друг!
Меня томит неведомый недуг!..»

И молвил он: «Был истинно велик
Прозренья твоего прекрасный миг.

Тот миг — тебя он спас, тебе помог!
Иди молись! Твоя защита — бог».

Припав к ногам духовного отца,
Я встал, покинул сень его дворца.

Я видел — цель достигнута моя,
Но пройдена долина бытия.

Свою «Хамсе» я завершить успел —
Но мир передо мною опустел...

Я в мире утвердил родной язык.
Предела вожделенного достиг.

Как будто у подножья трона сил,
Склонясь, страницы эти положил.

На лоно счастья ныне удалюсь,
Устрою пир, на час развеселюсь.

* * *

Эй, кравчий! Чашу счастья поднеси,
Мой мозг усталый ливнем ороси!

Чтоб ожил я, испивши чашу ту,
Как степь в благоухающем цвету!

Последним бейтам, мой певец, внимли,
Печаль души напевом утоли!

О Навои, ты всё свершил, что мог,
Твои наво тебе внушил твой бог.

Не спи! В сиянье утренней зари
Дарующего свет благодари!

ПРИМЕЧАНИЯ

Алишер Навои оставил после себя огромное литературное наследие, главное место в котором занимает поэзия — произведения всех жанров и форм, бытовавших в средневековой литературе Востока. По счастливому стечению обстоятельств поэтическое творчество Навои хорошо сохранилось в рукописях, причем — что особенно важно — в рукописях, современных поэту. Лучший каллиграф Герата Абдулжамил-кадиб переписывал крупные эпические произведения Навои сразу же по мере их создания. Переписанная им рукопись «Хамсе» («Пятерицы»), являющаяся выдающимся образцом гератской каллиграфической школы XV в., ныне находится в Ташкенте в рукописном фонде Института востоковедения имени Бируни АН Узбекской ССР. Другой экземпляр рукописи, также переписанной при жизни поэта известным каллиграфом Султан Али Мешхеда, хранится в Ленинграде в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Еще одна редкая рукопись «Хамсе», относящаяся к XVI в., находится в Ташкенте, в Институте востоковедения АН УзССР. Таким образом, до нас дошли экземпляры монументального эпического цикла Навои, переписанные с оригинала под наблюдением и руководством самого автора.

В рукописях богато представлено и обширное лирическое наследие поэта. В последние годы жизни Навои составил так называемый «Чар-диван» — диван из четырех сборников своих стихов, на основе которого — незадолго до смерти поэта — им был сформирован еще один сводный диван под заглавием «Сокровищница мыслей». Стихотворения были здесь расположены по четырем разделам, соответствующим четырем периодам литературной деятельности Навои. Ни одна из рукописей этих диванов не является автографом, но достоверность дошедших до нас копий, скорее всего непосредственно восходящих к первоисточнику, не вызывает сомнений.

Первые издания Навои на языке оригинала появляются в конце XIX в. В 1880 г. в Хиве было выпущено литографированное издание «Хамсе», в основе которого лежал текст, переписанный хорезмским катибом Мухаммад Юсуфом, сыном Бердимурата. В 1904—1905 гг. в Ташкенте были напечатаны «Пять поэм» Навои по рукописям известных каллиграфов Шахмурада и Маннофа-кари.

Небывалый размах публикация произведений Навои приобрела после Октября. 12 марта 1941 г. СНК СССР принял постановление «О проведении 500-летнего юбилея великого узбекского поэта Алишера Навои». Большая группа ученых и поэтов приступила к подго-

товке изданий Навои на узбекском и русском языках. Эта работа, прерванная Великой Отечественной войной, была продолжена вскоре после ее окончания.

Второй том «Избранных произведений» Навои, вышедший в 1948—1949 гг., включал в себя поэмы «Фархад и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь планет»¹ и «Стена Искандара». Что касается поэмы «Смятение праведных», то она частично была издана еще в 1941 г. Составление и публикация на научной основе текстов «Пятерицы», а также осуществление их транслитерации (замена арабских букв современными знаками узбекской письменности) — результат большого плодотворного труда ученых, и прежде всего заслуженного деятеля науки Узбекской ССР Порсо Шамсиева. Им подготовлены критически установленные тексты поэм «Фархад и Ширин» и «Семь планет», напечатанные соответственно в 1963 и 1966 гг. Он же явился публикатором полного текста «Хамсе», изданного Академией наук Узбекстана в 1960 г., который послужил основой для всех дальнейших перепечаток этих поэм. В связи с празднованием 525-й годовщины со дня рождения Алишера Навои Узбекское гос. издательство художественной литературы в 1963—1967 гг. выпустило пятнадцатитомное Собрание сочинений Навои, причем 6—10-й тома этого издания были посвящены пяти поэмам, составившим «Хамсе».

Издания стихотворного наследия Навои на русском языке, как правило, готовились к печати вслед за соответствующими изданиями на языке оригинала и, естественно, отражали тот уровень подготовки текста и ту полноту его, которые были достигнуты на данном этапе текстологами-ориенталистами, знатоками творчества Навои. Уже в 1941 г. в Ташкенте вышел небольшой сборник «Лирика», а в 1943 г. в русском поэтическом переводе отдельным изданием вышли «Фархад и Ширин» и «Лейли и Меджнун», которые несколько раз переиздавались в Москве в 1946, 1948, 1956 гг. («Фархад и Ширин») и в 1945, 1948, 1957 гг. («Лейли и Меджнун»). Перевод «Семи планет», опубликованный в 1948 г. в Ташкенте, был переиздан в 1949 г. (М.—Л.) и 1954 г. (М.). В 1948 г. в Москве вышел сокращенный перевод «Хамсе» под названием «Пять поэм». В том же 1948 г. в Москве издается сборник «Лирика», а в Большой серии «Библиотеки поэта» выходит сборник Навои «Избранное», в состав которого были включены отрывки из «Хамсе» и несколько десятков лирических стихотворений (в основном, газелей). В Малой серии «Библиотеки поэта» в 1965 г. вышли «Стихотворения и поэмы» Навои, где были помещены небольшие извлечения из «Пятерицы», фрагменты из поэмы «Язык птиц» и около 150 стихотворений — почти все, что к тому времени было опубликовано из лирики Навои в русских переводах. В течение 1968—1970 гг. на основе узбекского пятнадцатитомного издания был подготовлен и выпущен в свет десяти томник — «Сочинения» Навои в русских переводах. Первые два тома этого издания были посвящены лирике (свыше 900 газелей и десятки стихотворений других жанровых форм), а последующие тома заняли соответственно поэмы из «Пятерицы»: «Смятение праведных» (т. 3), «Фархад и Ширин» (т. 4), «Лейли и Меджнун» (т. 5), «Семь планет» (т. 6), «Стена Искандара» (т. 7).

В основу настоящего однотомника Навои в Большой серии

¹ В настоящем издании поэма публикуется под названием «О семи скитальцах».

«Библиотеки поэта» положены тексты переводов названного десяти-томника (т. 1—7, Ташкент, 1968—1970). Поэмы «Лейли и Меджнун» и «О семи скитальцах» публикуются в новых переводах Т. В. Стрешневой и А. А. Щербакова, специально осуществленных для данного издания. Использование же таких изданий, как «Стена Искандара» (Перевод со староузбекского Вл. Державина, М., 1970), как сборников «В красе негленной предстает. Узбекская классическая лирика XV—XIX веков» (Перевод со староузбекского Сергея Иванова, М., 1977), «Избранное» (Ташкент, 1978), позволило представить целый ряд переводов в последних, улучшенных переводчиками редакциях.

Несмотря на ограниченный объем издания, оно тем не менее является одним из наиболее полных и дает возможность читателю достаточно широко ознакомиться с творчеством Навои, со всеми излюбленными его жанрами, почувствовать масштабность и монументальность этой поэзии. К сожалению, по недостатку места не удалось поместить хотя бы в извлечениях последнюю (не входящую в «Пятерицу») поэму Навои «Язык птиц».

На русском языке пока не существует полного перевода всего текста «Хамсе». Каждая из поэм публиковалась лишь в избранных, наиболее существенных главах и отрывках. Таково, например, одно из последних изданий: «Поэмы» Алишера Навои в серии «Библиотека всемирной литературы» (М., 1972). По полноте текста «Пятерицы» настоящее издание немногим уступает изданию 1972 г., но в нем, как правило, не подвергались сокращениям главы, а подбор их преследует цель сохранить основные линии сюжетной канвы так, чтобы читатель не нуждался в пересказе опущенных эпизодов.

Главное место в лирическом наследии Навои занимает жанр газели. В настоящем издании помещено около 200 газелей. Составитель стремился представить все тематические разновидности этого жанра у Навои, в частности продемонстрировать разнообразие его орнаментальных художественных средств, наиболее интересные индивидуальные комбинации традиционных мотивов и образов. Руководствуясь этой задачей, составитель отбирал прежде всего художественно выразительные переводы и наиболее близкие к своему оригиналу.

Вслед за газелями, образующими основной массив стихов в «Сокровищнице мыслей», приведены образцы других форм лирики, причем в последовательности, установленной самим поэтом, строившим диваны своих стихов в соответствии с общепринятой в то время традицией. Ввиду отсутствия данных для датировки большинства газелей и других стихотворений поэта все эти произведения сгруппированы в пределах каждой жанровой рубрики по переводчикам.

Публикуемые тексты «Хамсе» принадлежат четырем переводчикам, из которых двое покойных. Ввиду этого не удалось устранить некоторый разнобой в подаче собственных имен (Искандар — Искандер, Джамшид — Джемшид, Наджд — Неджд и т. п.) и в оформлении глав.

Комментарий к настоящему изданию строится из двух частей. Названия и термины, относящиеся к культуре, быту, истории и мифологии узбекского народа и других народов Востока, а также все имена собственные и слова, оставшиеся без перевода, разъясняются в Словаре. Прочие реалии — всякого рода намеки, цитаты, непонятные неподготовленному читателю сравнения и уподобления — поясняются в примечаниях.

СТИХОТВОРЕНИЯ «СОКРОВИЩНИЦА МЫСЛЕЙ»

Лирика Навои на староузбекском языке насчитывает 45 000 строк и вместе со стихами на персидско-таджикском языке (их не менее 12 000 строк) составляет приблизительно третью часть его литературного наследия. Подлинным итогом этого наследия является составленный самим поэтом в 1498—1499 гг. сводный диван его лирики — «Сокровищница мыслей». Главное место в нем занимают газели, количество которых превышает 2600. Между тем в этом капитальном собрании немало стихотворений других видов лирики, немногочисленные образцы которых приводятся в настоящем разделе вслед за газелями.

ГАЗЕЛИ

ЧУДЕСА ДЕТСТВА

2. *Указ подпишешь ты «Джамшид» или «Кубад»* — т. е. не имеет значения, какая подпись будет стоять под указом, хотя бы она принадлежала знаменитым легендарным иранским шахам.

13. *Дека* — доска, на которую натягивают струны музыкальных инструментов.

51. *Киноварь* — ярко-красная краска (сернистая ртуть).

РЕДКОСТИ ЮНОСТИ

70. *За девятую завесу* — намек на девять небесных сфер (см. об этом прим. 153).

72. *Коврик свой После омовенья стелет в луже*. Подразумевается коврик, на котором молятся верующие мусульмане. Стелить коврик в луже — значит творить молитву на том же месте, где совершается ритуальное омовение, и тем самым пренебречь элементарным требованием обряда. Стелить ковер на воде — поговорка, указывающая на глупые и бессмысленные действия.

82. *Воротник порвал халата*. Порвать ворот одежды — значит выразить сильнейшее отчаяние.

86. *Как будто предо мной — индус*. Одно из распространенных поэтических сравнений: смуглая родинка на лице возлюбленной сравнивается с темнокожим индусом.

ДИКОВИНЫ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

102. Упоминание *Астрабада* — автобиографическая реалья ст-ния (см. вступ. статью, с. 17). Та же реалья в ст-нии № 107.

103. *Семь небес* — см. прим. 153.

139. *Непонятно для Парвиза то, что вытерпел Фархад*. Всеобъемлющая сила любви Фархада к Ширин, готового ради нее переносить любые муки и лишения, непонятна его сопернику, шаху Хосрову Парвизу, который пылал к Ширин чисто эгоистической страстью (см. гл. ХLI поэмы Навои «Фархад и Ширин»).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ СТАРОСТИ

153. *В скрижаль небес мою беду вписали* — т. е. несчастье героя предопределено волей неба. *Девять сфер небес*. В мусульманской средневековой космогонии небо представлялось разделенным на семь сфер (одна внутри другой), каждая из которых управлялась Солнцем, Луной и пятью известными в то время планетами: Меркурий (Утарид), Венера (Зухре), Марс (Миррих), Юпитер (Муштари), Сатурн (Кейван). Считалось, что за этими сферами находится еще две непланетарные сферы, за которыми следует «неподвижное небо».

155. *Искандар, построив вал*. По преданию, распространенному на Востоке, Искандар (Александр Македонский) воздвиг стену для защиты своих владений от диких народов — яджуджей и маджуджей. Эта легенда нашла широкое отражение в поэме Навои «Стена Искандара» (см. гл. LXVIII этой поэмы).

157. *Птица сердца — как сова: свиданья, словно клада, ждет*. Сова (или филин), согласно древним поверьям, сторожит спрятанный в развалинах клад.

163. *Точка вместо уст*. Считалось, что маленький, едва заметный рот — обязательный признак красоты женского лица.

164. В первом двустишии намек на традиционный эпизод всех произведений о Меджнуне: дети бросают камни в бегущего безумного от любви героя.

165. *Принесет посланье птица* — голубь, который использовался как почтовая птица.

170. *Диван стихов, в нем брови в первый стих слились*. В рукописных диванах двустишия (бейты) писались одной строкой, при этом в начальном бейте четко выделялись обе его половины, так как они рифмовались. Это и дало повод для сравнения бровей красавицы с начертаниями стихов в диване.

173. *Тебе поможет шах — нет остролова лучше!* Шах — Хусейн Байкара (см. Словарь), который отличался не только красноречием, но и талантом поэта (он был автором дивана стихов).

176. *Красным, желтым, зеленым* — эти цвета соответствуют алому румянцу лица красавицы, желтым, светло-коричневым родинкам и зеленоватому оттенку пушка на щеках. *Ведь сами стихи пестрят красным, желтым, зеленым* — намек на то, что рукописи диванов нередко украшались заставками и рисунками, раскрашенными этими тремя цветами.

178. *Сравнить ли цвет камфары* и т. д. Белые цветы камфары — символ седины и старости.

183. *Моя наездница лиха*. Подразумевается игра човган, которая состоит в том, что всадники специальными клюшками загоняют мяч в промежуток между двумя столбами.

188. В ст-нии имеется в виду символическое значение цифр (от 1 до 8), связанных с характерными для средневекового Востока представлениями о строении мира: единство в боге, творце и центре вселенной; противостояние земли и неба; троичность природы: неодушевленные вещества, растения, животные; четыре стихии: земля, вода, воздух, огонь (которые сравниваются с четырьмя концами креста — символа безверия); пять чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус; шесть направлений света: север, юг, запад, восток, зенит и противоположная ему сторона — надир; семь сфер неба (см. прим. 153); восемь райских садов.

191. *Со всех шести сторон* — см. предыдущее прим. о шести направлениях света.

МУХАММАСЫ

200. *Да рванул прёд всеми вóрот*. См. прим. 82.

203. *От рыбы, что подперла мир*. Отзвук раннемусульманских мифологических представлений о строении вселенной. Согласно им, мир держится на рогах гигантского быка, стоящего на спине колоссальной рыбы.

МЕСНЕВИ

215. Написанное в форме месневи, которая обычно использовалась в произведениях эпического и лиро-эпического типа, послание было включено поэтом в «Сокровищницу мыслей» без какого-либо названия и, надо полагать, в исправленной редакции. После вступления, содержащего традиционную хвалу богу, Навои обращается в своем ст-нии к адресату, видному представителю гератской интеллигенции *Саид-Хасану Ардашеру* (1415—1488), имя которого неоднократно встречается и в других произведениях поэта. Далее, воздав

должное достоинством своего покровителя и учителя, Навои переходит к характеристике политической обстановки в Герате во время правления тимуридского султана Абу Саида. В настоящем издании печатается перевод именно этой, наиболее важной части произведения, в которой с необычайной откровенностью запечатлено резко критическое отношение поэта к современной ему действительности. Послание скорее всего написано в 1467 г. в Самарканде. Личные и родственные связи Навои с претендентом на хорасанский престол Хусейном Байкарой вызывали враждебность к поэту со стороны Абу Саида и его придворной клики. Реальная угроза расправы и вынудила Навои переселиться из Герата в Самарканд (см.: А. Хайитметов, Ценный источник для изучения жизни и творчества Навои. — «Народы Азии и Африки», 1961, № 6, с. 136—142). *И выпал жребий мне идти в далекий путь.* Навои уехал в Самарканд в конце 1466 г. *И ты, про мой уход, про мой отъезд узнав.* Когда поэт покинул Герат, Саид-Хасан Ардашер также находился за пределами города. *Пусть Низами сказал о трех десятках лет и т. д.* Низами создал свою «Пятерницу» за 28 лет, Навои — за 3 года.

САКИНАМЕ

217. *Сказания, написанные мной.* Свою «Пятерницу» Навои посвятил султану Хусейну (см. Словарь).

218. *Мелодия «Ирак»* — одна из шести мелодий («шашмаком»), являющихся основой узбекской и таджикской классической музыки. *Из слов Хусейна — вязь цветов живых и т. д.* Султан Хусейн был автором дивана лирических стихов, которые ценил Навои.

220. *Семь климатов* соответствуют семи частям или поясам (иклимам), из которых, по средневековым представлениям Востока, состояла земная суша. *Девять небес* — см. прим. 153. «*Да будет!*». По легенде, когда аллах произнес эти слова, возникли семь климатов и девять небес.

221. *Подумай только, с кем я разлучен.* Речь идет о Джами (см. Словарь).

222. *Саид прозванием, по имени Хасан* — Саид-Хасан Ардашер; к нему обращено публикуемое выше послание. (см. № 215 и прим. к нему).

223. *Ее я выпил в честь богатыря.* Подразумевается Мухаммад Пахлаван (ум. 1493), борец, поэт, музыкант. «Около сорока лет он был моим задушевным собеседником и близким другом, посвященным во все тайны мои», — писал Навои в своем сочинении «Жизнеописание Мухаммада Пахлавана».

227. *В «Собраниях» написано о них.* Навои имеет в виду свою книгу «Собрания избранных», написанную в 1491—1492 гг. и доработанную в 1498—1499 гг. В этой книге он приводит сведения о 459 поэтах, в основном XV в.

БЫТА

238. В 1469 г. Навои был возведен султаном Хусейном в придворную должность мухрара (хранителя печати).

ПОЭМЫ «ПЯТЕРИЦА»

Полный текст «Хамсе» на языке оригинала содержит 25 615 бейтов, т. е. 51 230 строк. По количеству стихов на первом месте у Навои стоит «Стена Искандара», затем идут поэмы «Фархад и Ширин», «О семи скитальцах», «Смятение праведных» и, наконец, «Лейли и Меджнун». Каждой поэме предпослано узаконенное традицией обширное вступление, обычно насчитывающее свыше десятка глав. Во вступительных главах поэт говорит о высших ценностях и высших силах бытия, славит творца мироздания, вспоминает своих литературных предшественников и т. д. Лишь после подобного «приступа» автор переходит к построению основной — собственно эпической — части произведения. При этом каждая глава начинается с пространного заголовка, в котором перечисляются важнейшие события или предметы, о которых пойдет речь. Характер таких заглавий, несущих на себе печать времени и определенного художественного стиля, отчасти удержан лишь в переводе «Лейли и Меджнуна» и «О семи скитальцах». В других поэмах заголовки, как правило, не являются авторскими и оформлены по-разному. Ввиду того что двух переводчиков «Хамсе» уже нет в живых, провести унификацию заглавий в настоящем издании не представлялось возможным.

СМЯТЕНИЕ ПРАВЕДНЫХ

Поэма «Смятение праведных» состоит из вступления, трех разделов, именуемых «смятениями», и двадцати глав — так называемых «бесед». Каждая из «бесед» завершается рассказом, иллюстрирующим выраженную в ней главную мысль. Г л. X I V. *Четыре перла мироздания — в нем.* Имеются в виду четыре стихии жизни (см. прим. 188). *Всех звезд семи небес.* О семи сферах неба см. прим. 153. *Тех признаков значение — «Каф» и «Нун», То есть: «Твори!» Иль, как мы скажем «Кун!».* Из сочетания арабских букв «каф» (к) и «нун» (н) при помощи огласовки на «у» («замма») получается слово «кун», что в переводе означает: «твори», «да будет». По легенде, после того как бог произнес это слово, возникла вселенная. *Книга Книг — Коран.* Г л. X V. *«Ай-Тулгум» и «Ай-Тулум» — мелодии тюркских народных песен, которые исполнялись на различных праздниках. Я, одинок! Поэтов тюркских нет.* Навои говорит о том, что на его родном языке — тюрки (староузбекском) — ни один из современных поэтов не рискнул написать «Пятерицу». Г л. X X V I. *Благословляет хутбой Муштари — т. е. высокое положение и достоинства этого правителя настолько блестящи, что его славит в молитве сам Муштари (Юпитер). Ты пра-*

вишь там, где правил древний Джам. Златой фиал идет твоим перстам. По преданию, во время правления Джамшида не было болезней, страна процветала — до тех пор пока Джамшид не поддался наущениям демона. Под «златым фиалом» подразумевается волшебная чаша Джамшида. *«В справедливости — к спасенью путь!», «Правитель, справедливо управляй!»*. Эти цитаты из Корана Навои приводит, чтобы подчеркнуть необходимость строго придерживаться справедливости в управлении страной. *Источник Вечных Сил* — аллах, творец вселенной. *Пророка и халифов четверых*. Пророк — Мухаммад, халифы: Абу Бакр, Омар, Усман, Али. *Хранит один Победоносный шах* — султан Хусейн Байкара по прозвищу Газн. Гл. ХХVІІІ. *Смысл ее По начертанью слова — «бу-риё»*. Здесь игра слов: «буриё» означает циновку, на которой молятся отшельники; то же слово, если его читать по слогам (бу-риё), означает: «это ложь» или «лицемерие». Гл. ХХХ. *Блещет, словно слово «барк», Твоя звезда, как «фарр» над словом «фарк»*. Барк — молния, фарр — сияние. В написании слова «фарк» (темя) в арабской письменности верхнее положение занимает точка над буквой «ф». Т. е. поэт сравнивает высокое положение звезды счастья, сверкающей над головой щедрого правителя, с молнией. *Как гордый стяг «алифа» в слове «бош»*. При написании арабского слова «баш» (голова) буква «алиф» (а) находится в середине; начертание этой буквы поэт сравнивает с флагом, который гордо реет над головой великодушного правителя. *В одной руке — Кулзум, в другой — Оман*. Красное море (Кулзум) и прибрежные воды Омана издавна славились добычей жемчуга. Поэт, подчеркивая щедрость своего воображаемого героя, сравнивает его с жемчугоносным океаном, две руки которого будто бы держат Кулзум и Оман. *Рубины посылаешь в Бадахшан, Тмин посылаешь в тминовый Кирман*. Поскольку Бадахшан славился добычей рубинов, а в Кирмане выращивался тмин, постольку направлять в эти местности рубины и тмин — бессмысленное занятие. *Водю жизни Хызра напоить, Египет леденцами угостить*. Навои продолжает разоблачать ложную щедрость, плоды которой достаются пресыщенным богачам. Нелепо поить Хызра живую водой, если он уже испил ее и обрел бессмертие, столь же безрассудно угощать леденцами египтян, так как именно Египет поставлял эти лакомства. *Дракон, что на сокровище лежит*. По легенде, драконы будто бы пребывают там, где зарыты клады, которые они охраняют. *Бахрам небес* — планета Марс (Миррих), считающаяся предвестницей войны и смерти. Гл. ХХХІІ. *Новруза месяц согнут* и т. д. Имеется в виду молодой, весенний месяц, чей серп согнут так, как если бы находился в униженной позе, но по достижении полнолуния он засияет в полном торжестве. *Нисана капля пала в перламутр* и т. д. От апрельского дождя, по легенде, зарождается жемчуг. *Ведь имя — счастья знак и знак обид, — Не зря: один — Хусейн, другой — Язид*. Хусейн — внук пророка Мухаммада, законный наследник престола — был убит узурпатором Язидом. Гл. ХХХVІ. *У неба — девять золотых ларцов*. Намек на девять небесных сфер (см. прим. 153). Гл. ХL. *Любезен звонкий най за то, что прям*. Прямому и правдивому поэт сравнивает с этим музыкальным инструментом, имеющим прямую, удлиненную форму. *Коль верные михраб не возведут, Намазы их напрасно пропадут*. Мусульманский обычай требует, чтобы молящиеся в мечети обращались лицом к михрабу, иначе намаз считается недействительным. *Живет в наш век султан, хахан еремен* — Хусейн Байкара. *Был прям «алиф», но в плен его взяло Петлею начертание «балю»*. В арабской письменности слово «балю»

(несчастье) пишется так, что и буква «алиф» попадает в середину других букв, оказываясь как бы запетленной ими. Такое положение буквы «алиф» Навои сравнивает с положением прямодушных людей в окружении лживых и нечестных. Гл. LXIII. *Звук, порожденный писчим тростником*, и т. д. Во времена Навои писали при помощи тростникового пера (калама), при писании от него исходил легкий скрип. *Сломался пополам Секретаря небесного калам*. Секретарь небесный — планета Меркурий (Утарид), считавшаяся покровителем поэтов. Навои говорит о том, что написанное было настолько прекрасным, что даже небесный секретарь был поражен и сломал свой калам. *Киноварь* — см. прим. 51. *Саид-Хасан* — см. прим. 215. Рассказ о рабе. *Пишу в благословенный восьмьсот Восемьдесят восьмой — ло хиджре — год*. 888 г. по хиджре соответствует 1483 г. современного календаря.

ФАРХАД И ШИРИН

В поэме географическое название Чин переведено как Китай. У Навои же Чин и Китай — понятия отнюдь не тождественные. Страна Чин, отечество Фархада, — не этнический Китай, а Восточный Туркестан, населенный восточными тюрками. Было бы правильнее в русском переводе сохранить название Чин, как это сделано в переводе последней поэмы «Пятерицы» — «Стена Искандара».

Гл. XII. *Был до седьмого неба высотой* — см. прим. 153. *О жемчуге другом мечтает он*. Владелец жемчужного венца хахан мечтает иметь потомство, которого у него пока нет. Гл. XIII. *Луна Прибавлен блеск и Рыбе в глубине*. В оригинале игра слов: рыба (маха) — Луна (мах). *Блеск — это «фарр», а знак судьбы — «хади»*. Навои объясняет, исходя из чего хахан нарек своего сына: «фарр» — божественная благодать, сияние над головой венценосца; «хади» — водитель, указующий путь к истине. Следовательно, имя Фархад означает: предводитель, осененный божественной благодатью царей (подобная этимология этого имени — поэтическая вольность). *Сложи пять первых букв — прочтешь: «Фархад»*. По-арабски имя Фархад состоит из пяти букв (ф, р, х, а, д), так как первое краткое «а», обозначающее огласовкой (фатха), не пишется. *Невеста небосвода*. В восточной поэзии небосвод (воплощение судьбы) нередко сравнивали с коварной женщиной; ввиду древности мира его уподобляли даже злой старухе. В данном случае, называя небосвод невестой, поэт подчеркивает его благосклонность к Фархаду. *Телом точка для него была*. Точка в геометрии — величина воображаемая, абстрактная, но для острого ума учителя Фархада такая точка приобретала телесные очертания. *«Алиф» воспринял как «алам» Фархад, «Би» как «бела» истолковать был рад*. Букву «алиф» (а) Фархад воспринимал как горе (алам), а «би» — как бедствие (бела). Здесь намек на то, что рок уже predeterminedил участь Фархада в качестве мученика любви. Гл. XIV. *На стройный стан его давя, печаль Решила изогнуть «алиф» как «даль»* — т. е. печаль давила на стройный стан Фархада, придавая ему согбенный вид. *Мульк-Ара* — это имя буквально означает: украшающий царство. Гл. XVI. *Мекканский храм — Кааба*. Гл. XVIII. *Кто в царский тулумбас ударил, тот и т. д.* Ударить в тулумбас — значит рассказывать о делах шаха. Гл. XXI. *Когда Меркурий вступит в Зодиак*. Здесь вступление хахана в Грецию и

встречу его греческими учеными поэт сравнивает с вступлением Меркурия в сон звездных скоплений Зодиака, т. е., когда хакан появился, ученые и мудрецы окружили его как своего покровителя. *Мудрец Сухейль*. Герой Навои носит имя звезды Сухейль (Канопус), которая считалась звездой добра. *Основа дела и уток*. Основа — продольные нити ткани, уток — поперечные; основа и уток в данном случае — суть, подоплека дела. *Масло саламандры тут и т. д.* Сухейль (Сократ) копил саламандровое масло. По старинному поверью, кто натрет себя маслом саламандры, тот останется невредимым в огне. Гл. ХХII. *Пылающий, двуструйный нефтемет*. Огненные глаза дракона уподоблены двуструйному нефтемету (нефть была известна на Востоке уже в древности и применялась в военной технике). *Сатурна мы сравним*. Эта планета считалась предвестницей зла и гибели. *Придя, как Искандар, из царства тьмы*. Поэт сравнивает здесь победоносного Фархада с Искандаром, который, согласно легенде, будто бы побывал в стране тьмы и вышел оттуда невредимым. Гл. ХХIV. *Свозил Руми в свой замок-талисман*. Руми — Искандар. Все сокровища, захваченные им во время бесчисленных военных походов, он хранил в этой сокровищнице, обладателем которой стал Фархад. *И солнце — Искандар, — главу склоня, Ушло во мрак и т. д.* Заходящее солнце здесь сравнивается с великим властителем Искандаром, который ушел во мрак (умер). Вслед за ним скрылась в сокровищнице и легендарная чаша Джамшида, в которой отражался весь мир — пока не наступала ночь. Другая чаша Джамшида никогда не осушалась — сколько бы вина ни пили из нее. На пиру в честь победы Фархада пили из этой чаши. Гл. ХХХ. *На лик ее венец не бросил тень*. Михин-Бану была правительницей, находившейся в вассальной зависимости, а не коронованной особой. Гл. ХХХI. *Те же губы рассыпают соль* — т. е. эти уста, хотя и сладостные, но производят остроумные, меткие слова. Гл. ХХХIII. *Сто вавилонских чар затмих*. Чар — яма вблизи Вавилона (в Ираке), где, по легенде, были подвергнуты наказанию богом нечестивые ангелы — Хорут и Морут. Совершаемый Фархадом труд, говорит Навои, столь изумителен, что стоит чуда вавилонских ям. Гл. ХХХIV. *Но ветерок, чья ноша серебро, Боится сбросить всё же серебро*. Конь Ширин хотя и быстрог как ветер, но он везет серебро (сребротелую красавицу), поэтому боится слишком быстрых движений, чтобы не причинить вреда всаднице. Гл. ХХХVI. *Аджамский шах и аравийский шах, Скажи: он был полуазийский шах*. Шах иранцев, арабов, властелин половины Азии — в таких масштабах определяет поэт государство Хосрова Парвиза. *Хотя имел супругу он*. Хосров Парвиз был женат на дочери византийского кесаря Мариам, о чем подробно рассказывается в поэме Низами «Хосров и Ширин». Гл. ХХХVII. *Не просто воин — сам Бахрам*. Под Бахрамом здесь подразумевается Марс, воплощение войны и гибели. *Как звезд при Овне — было там овец, Коров — как звезд, когда стоит Телец*. Подразумеваются звездные скопления Овна и Тельца. *Метну я камень в голову твою — И лунку шлема твоего собью*. Фархад занял удобное положение высоко в горах, откуда, бросая камни, мог нанести серьезный урон войску Хосрова. Но, будучи исключительно гуманным человеком, Фархад решает продемонстрировать свою меткость, пытаясь предупредить Хосрова о том, что ему следует образумиться — иначе камни полетят на головы его воинов. Гл. ХLI. *Он свался Селасиль*. По-арабски Селасиль означает: цепи, оковы. Гл. ХLV. В предыдущей (не представленной в наст. изд. главе) рассказывалось о том, как друг Фархада Шапур сумел

проникнуть к нему в место его заточения и передать ему письмо Ширин. *Да прозвучит моя хвала тому* и т. д. Согласно литературному этикету того времени, Ширин и Фархад начинают свои письма с упоминания аллаха, его могущества, совершенства и лишь затем переходят к личным делам. Это — показатель их хорошего воспитания и высокой образованности. *Хитон* — одежда древних греков, род длинной рубахи. *Он атом на страдание обрек*. В оригинале не атом, а пылинки (зарра). *Прольешь ли розовые слезы ты?* Вспоминая о двух розах — двух щеках Ширин, — Фархад пролет розовые, т. е. окрашенные кровью, слезы. *Нам огласит дальнейшая глава*. В ней дается изложение ответного письма Фархада к Ширин. В этом письме Фархад впервые открывает возлюбленной, что он сын хакана. Гл. XLVIII. *Как некогда Мария на Синай*. Отзвук библейской легенды о пребывании Марии с младенцем Иисусом в Египте (на Синайском полуострове), куда она пришла, чтобы спасти сына от гибели. Гл. LI. *К месту исцеления спешить* — к замку, построенному для Ширин покойным Фархадом. По просьбе Михин-Бану Хосров дал согласие на перевод туда больной Ширин с целью укрепления ее здоровья. Об этой просьбе речь шла в предыдущей главе.

ЛЕЙЛІ И МЕДЖНУН

Гл. V. *О великом мудреце из Гянджи и о его «Пяти сокровищах»*. Речь идет о Низами (см. Словарь) и его «Пятерице». *Индийский чудотворец* — Хосров Дехлеви (см. Словарь). *Успел я две поэмы написать* — «Сматенные праведных» и «Фархад и Ширин». «*Пять сокровищ*» и «*Сокровищ пять*» — «Пятерицы» Низами и Хосрова Дехлеви. Гл. VI. «*Силсила*» — «Золотая цепь», первое произведение «Семерицы» Джамии (см. Словарь и вступ. статью, с. 21). «*Тухфа*» — «Тухфат ал-ахрар» («Дар благородным») и «*Сибха*» — «Сибхат ал-абрар» («Четки праведных») — две поэмы Джамии из его «Семерицы». «*Сан-ул-кисас*» — буквально: лучшая из поэм, подразумевается «Юсуф и Зулейха» Джамии из его «Семерицы». Гл. IX. *Небосклон* — здесь: символ изменчивой, коварной судьбы. *Мешая мускус ночи с камфарой* — метафора рассвета. *Иемен излучал поток огней* и т. д. Иемен и звезда Сухейль (Канопус, главная звезда созвездия Корабль Арго) — взаимосвязанные понятия, так как считалось, что лучше всего эта звезда видна в Йемене. *Салам* — здесь: Багдад. *Из элементов главных четырех* — из воды, земли, воздуха и огня. Гл. XI. *В честь ночи Кадра названа она*. В оригинале игра слов: имя Лейли по-арабски звучит почти так же, как слово «лайл» (ночь); Кадр — см. Словарь. *Кармин* — ярко-красная краска. *Как запятая после слова «хадд»*. Хадд — по-арабски щека; последняя буква этого слова «дал» имеет изогнутое очертание. *Казалась точкой после слова «фам»*. Фам — рот, первая буква этого слова в арабской письменности имеет точку. *Уток* — см. прим. на с. 885. *Все девять сфер в волнении пришли*. О девяти сферах неба см. прим. 153. Гл. XVII. *Семь небесных сфер* — см. прим. 153. Гл. XXII. *Китайский хан дневной покинул трон*. Китайский хан — здесь: олицетворение солнца, восходившего, по представлениям того времени, в Китае. Гл. XXV. *Следы собачьих пят* *Казались больше сдвоенных Плеяд*. Сравнение следов собаки с очертаниями звездного скопления Плеяд. Гл. XXVII. *Нетопырь* —

летучая мышь. Г л. X X V I I I. *Напомнило арабский алфавит.* В арабской письменности некоторые буквы пишутся слитно, как бы образуя новые сложные буквы. Г л. X X X I. *Пословица гласит: «Провидец — лжец!».* Подразумевается афоризм пророка Мухаммада из его хадисов (изречений), направленный против прорицателей судьбы. *Венера не читает звонкий стих.* Планета Венера (Зухре) считалась воплощением музыки и изображалась на средневековых миниатюрах в виде музыкантши с чангом в руках. Планета *Марс* (Миррих) считалась провозвестницей войны, *Юпитер* (Муштари) — воплощением мудрости. *Недоброту души Сатурн.* Планета Сатурн (Кейван), по представлениям того времени, воплощала в себе недоброе начало. Г л. X X X I I I. *Корпия* — средство для перевязки ран: пучки ниток, ветошь.

О СЕМИ СКИТАЛЬЦАХ

Г л. X I I. *Все семь частей подлунного круга.* По средневековым представлениям Востока, вся обитаемая земля состояла из семи иклинмов — поясов. *Шах, пригубив вина, размышляет.* Хотя в Коране осуждалось употребление вина, на этот явный запрет в ряде мусульманских стран смотрели сквозь пальцы — осуждалось лишь злоупотребление алкогольными напитками. *Ее паланкин отделал сандалом.* Древесина сандалового дерева, обладающая ароматом, использовалась для изготовления ценной утвари. *Кто молвит: «Муштар».* Муштар (см. Словарь) в данном случае имеет другое значение: покупатель. Г л. X I I I. *Диларам* — это имя означает: несущая успокоение сердцу. Г л. X I V. *Небо седьмое* — см. прим. 153. *Царь рвет воротник.* Разрывать ворот — знак отчаяния. Г л. X V I I. *Всю грудь он в клочки изрезал ногтями* — обычай выражать горе через нанесение себе телесных повреждений. *За то его люди «гуром» и звали.* По легенде, шах Бахрам был страстным охотником на диких ослов — гуров, откуда и его прозвище: Бахрам-Гур. *Ведь вы ж мусульмане.* В упреке Бахрама — намек на то, что он просит смерти как милости, подать которую — долг правверных. Г л. X V I I I. *Синклит* (древнегреч.) — собрание старейшин, мудрецов. Г л. X X V. *Он звался Саадом.* Имя рассказчика в переводе с арабского означает: счастье. Г л. X X X I I I. *Юдоль* — долина, в переносном смысле: жизнь с ее тернистым путем, горестями и лишениями. *Изгой* — здесь: изгнанник. Г л. X X X V. *Весь мир окружить и сделать загоном.* Облавные охоты с охватом громадных территорий издавна практиковались в Средней Азии; еще монголы, захватившие этот край, применяли такую охоту в масштабах всей армии; добычи монгольскому войску хватало на годовой поход. Г л. X X X V I I I. *Семь повестям о Зале Рустаме.* Рустам, сын Заля (см. Словарь), — один из главных героев «Шахнаме» Фирдоуси; ему посвящено, в частности, сказание (дастан) «Семь подвигов Рустама». *Хотя и по правилам стих слагал я, В блюденье размера сил не влагал я.* «О семи скитальцах» написана разновидностью размера хафифа (перешедшего в тюркскую поэзию из арабского стихосложения). Пропуск слога в середине каждого полустихия бейта, видимо, был использован Навои для того, чтобы избежать монотонного звучания стихов. В настоящем переводе этот вид хафифа передан четырехстопным амфибрахнем с выпадением одного безударного слога (обыч-

но в начале 3-й стопы, реже — в ее конце). *В четыре луны* — в четыре месяца по мусульманскому календарю. *Иных, кто писал о том же, но глаже*. Навои имеет в виду своих предшественников по «Пятернице»: прежде всего Низами, Хосрова Дехлеви, Джами (подробнее см. о них во вступ. статье, с. 19—20). *От хиджры в год восемь, восемь и девять*. 889 г. по хиджре в переводе на современное летосчисление — 1484 г. *На пятницу*. . . *А месяц сейчас — Джумадус-сани*. Джумад, шестой месяц мусульманского календаря, соответствует двум летним месяцам (конец июня — начало июля). Пятницы этого месяца приходились на 2, 9, 16 и 22 июля. Поскольку в оригинале имеется слово «вторая» (видимо, оно означает вторую пятницу), постольку датой завершения поэмы следует считать 9 июля 1484 г.

СТЕНА ИСКАНДАРА

Последняя книга «Хамсе» Навои, превосходящая по своему объему другие произведения этого монументального цикла, посвящена знаменитому полководцу и завоевателю древности Александру Македонскому. Однако «Стена Искандара» не претендует на реальное воссоздание исторических фактов. Навои рисует образ Искандара (Александра), каким он запечатлелся в старинных устных преданиях и в целом ряде литературных сочинений (некоторые из них упоминаются в тексте книги).

Гл. XV. *Четыре царских рода власть несли*. Имеются в виду древнеиранские царские роды: Пешдадий, Кайений, Ашконий, Сасаний. *В сказанье, что как вечный свет горит*, — в поэме Низами «Искандар-наме». *Другой хранитель памяти веков* — Амир Хосров Дехлеви. *Джами пропел нам в сладостных стихах*. Речь идет о «Книге мудростей Искандара» Джами. *Дал оку ясновидящему свет* — т. е. дал сыну образование. *Ему, как бубен, солнце зазвенит* — т. е. само солнце прославит Искандара. Гл. XVI. *Завоевал он франкские края* — Европу; в дальнейшем, говоря о Франгистане и Фаранге, Навои подразумевает то всю Европу, то ее отдельные страны. *Андалуз* — Андалузия, т. е. Испания. *Зардуштовы огни он погасил* — т. е. покорил иранские племена огнепоклонников, исповедовавших религию зороастризма. *Колочки истребил в стране Фархар*. Поэт обыгрывает слово «хар» (колючка), входящее в состав слова «Фархар», обозначающее сказочную страну, населенную красавицами. *Кейдова страна* — Иран. *Девять сводов неба* — девять небесных сфер, см. прим. 153. *Навой* — вал с намотанным на него канатом. *С устами пересохишими ушел*. Искандар ушел из жизни подобно всем смертным, так и не напившись «живой воды». *Установлен закон Лухраспом был, Строй войсковой введен Гуштаспом был*. Согласно преданиям, при иранских царях династии Кейанидов Лухраспе и Гуштаспе были установлены справедливые законы, обеспечившие благоденствие народу. Гл. XXV. *В те дни, когда Чингис и Хорезм-шах*. Речь идет о завоевании Чингисханом Хорезмского государства (Средней Азии) в начале XIII в. Гл. XXVI. *Подобный Фаридуну шах* — Искандар. Навои часто прилагает имена древних царей Ирана к Даре и к Александру. Гл. XXVII. *Кей-Кубадов стан* — стан Дары. *Кара-хан, Тимур-Таш, Рес-Варка, Фарангис, Давали*, как и упоминаемые далее *Мангу, Ваки, Тали, Густахам* — условные имена царей, подвластных

Даре, дружины которых участвовали в развязанной им войне против Искандара. *Лобзаньем Кейанидовой ступни*. Кейанид — Дара. *Как только Файлакус... Ударил в погребальный барабан* — как только правитель Рума умер. *Небосвод кривой сулит ему*. Эпитет «кривой» означает не только изогнутую форму неба, но и коварство, ненадежность судьбы, воплощенной в небе. *Подобны тюрку неба*. Тюрк в восточной поэзии — синоним отважного воина. Тюрком неба называли планету Марс (см. прим. на с. 885). *Семи великих мира поясов* — семь частей света (см. прим. на с. 887). *Афридун* — здесь: Дара. *Хан Конграт Своих калмыков выстроил отряд*. Конграт — одно из крупнейших узбекских племен (родов) — с историческими калмыками не имел ничего общего. *Франкский аксамит* — европейский бархат. *Как небесный конь* — мифический конь Бурак, на котором будто бы пророк Мухаммад вознесся на небо. *Как сонм воскресших в Страшный день суда*. По мусульманскому вероучению, все мертвые люди воскреснут в день Страшного суда. *Те два, как заговор их был решен, Настигли шахишаха с двух сторон*. Исторический Дарий был убит своими сатрапами, уже будучи побежденным в 331 г. до н. э. войсками Александра Македонского. *Кей-Хосров* — здесь: Дара. *Она — частица печени моей, Последний колос скошенных полей*. Печень означает близкого, родного. Неизбежное сиротство своей дочери Дара сравнивает с последним колосом полностью скошенного поля. *Смотри — Кава забвением объят. Кто помнит, как был славен Кей-Кубад? Страх духом Манучихра овладел, На Афридуна ужас налетел*. Смысл этих двуступий в том, что любая слава и любое могущество преходящи и предаются забвению. Легендарный кузнец Кава, подняв восстание против тирана Зоухака, вернул иранский престол законному наследнику Афридуну, который под старость поделил царство между сыновьями. Один из них Ирадж, получивший Иран, был убит своими братьями, а голова его отправлена отцу. Сын Ираджа Манучихр в свой черед отомстил убийцам отца, отправив их головы тому же Афридуну. *«Живой воды» Румиец не найдет!* Т. е. хотя Дара умер, Искандар тоже не будет вечно жить. Г л. L X V I I I. *По мысли Утарида... по знаку Сухейля* — т. е. вознесли стену после того, как астрологи сделали свои вычисления. *Аспид* — ядовитая змея. *Постигших числа мира и расчет*. Речь идет об астрологах, которые, вычисляя положение светил, пытались предсказать по ним судьбы мира и отдельных людей. *Река светил* — Млечный Путь. *Яджуджи или... Неудержим как сель был их порыв*. Далее строкой точек обозначен пропуск в переводе. В оригинале рассказывается, как Искандар укрыл свое войско за неприступными рвами, с их помощью и посредством засад он нанес сокрушительный удар по яджуджам; выждав некоторое время, пока не истощилась сила этого племени, Искандар приступил к сооружению оборонительной стены. Г л. L X X V I I. *Бездонный кладезь был, Что солнце, как Юсуфа, поглотил*. Намек на эпизод легенды, изложенной в Коране: Юсуф был ввержен в глубокий колодец своими братьями, которые хотели погубить его. *С небесною Стрелой* — с созвездием Стрелы. *Делийский муж Хосров* — в поэме «Анйан Искандари». Он — пророк, всевидец и святой. Искандар почитается мусульманами как пророк. *Отставали небеса от них*. По средневековым представлениям, над неподвижной землей вращаются небеса; с их движением сравнивается здесь бег кораблей. Г л. L X X X I X. *«То не панджа, — сказал наставник мой, — А твердый камень, монолит стальной!»* Наставник — поэт Джами, который назвал руку Навои, создавшего «Пятерицу», могучей. В этих строках и ниже Навои обыгрывает

слово «пять» (пандж) и «пятерица» (панджа). *Мой пир* — Джами. *Вестник счастья* — божественный посланец Суруш. *Сам Рухуламин явился мне* — так Навои называет своего учителя Джами. *Как Иса, со мной заговорил* — т. е., подобно Исе, своей речью вернул растерянного и оцепеневшего Навои к жизни. *Прославленный на языке дари*. Навои писал также стихи и на староперсидском языке. «Смятенье» — первая поэма «Пятерицы» — «Смятение праведных». *Когда «Семи» я покорил отвес* — когда написал поэму «О семи скитальцах». *Океан объятья мне открыл*. Навои сравнивает с океаном Джами, имея в виду безмерное величие его духа и богатство его знаний. *Они — творцы небесных месневи*. Поэмы «Хамсе» по традиции писались в стиховой форме месневи (см. Словарь). *Все они — создатели «Хамсы»*. Рядом со знаменитыми авторами «Хамсе» Навои по масштабам дарования ставит Фирдоуси, Саади, Санаи и Анвари, хотя они и не написали «Пятерицы». *Хасан* — индийский поэт Хасан Дехлеви (1253—1327). *Перед очами шейха твоего* — перед Низами. *Два мира взяли за руки меня*. С двумя мирами поэт сравнивает Хосрова Дехлеви и Абдуррахмана Джами. *Два мира ощутил в руках* — земной и небесный. *И девяти небес бегущий свод*. О девяти сферах неба см. прим. 153. *Люди тайны* — великие люди, прикосновенные к тайнам загробной жизни. *Султан Гази* — Хусейн Байкара. *У подножья трона сил* — перед самим аллахом.

СЛОВАРЬ

- Абджед** — арабское слово, имеющее цифровое значение: 1—2—3—4; так как буквы арабского алфавита служили одновременно и цифрами, для запоминания последних существовали специальные слова наподобие абджеда.
- Абукубайс** — гора на окраине Мекки (см.).
- Абу-ль-Гази Хусейн Байкара** — правитель Хорасана (1469—1506), поэт (псевдоним Хусейни); в течение ряда лет Навои был в числе ближайших приближенных Хусейна Байкары.
- Аджам** — буквально: «чужой»; этим арабским словом назывались все неарабские земли, чаще всего — Иран.
- Азраил** — ангел смерти.
- Айван** — крытая галерея, терраса; во дворцах — сводчатый зал для приемов и пиров, открывающийся в сад.
- Аймэн** — название местности в Аравии.
- Айюб** — мусульманский пророк, известный своим долготерпением; его имя стало синонимом стойкости в муках и испытаниях.
- Аксамит** — бархат.
- Алам** — горе.
- Алим Сабзаварский** — поэт, ученый, старший современник Навои.
- Алиф** — название первой буквы арабского алфавита; в поэтическом языке алиф — символ стройности.
- Алиф-би** — арабская азбука.
- Альбурз** — горный хребет, огибающий южный берег Каспийского моря, делящийся на горы Талышские, Гилянские, Мазандаранские; высшая точка хребта — погасший вулкан Демавенд.
- Амбра** — воскообразное ароматическое вещество черного цвета, добываемое из пищеварительного тракта кашалота.
- Аму** — река Амударья.
- Анвар** Авхадиддин (1126—1169) — поэт, писавший на языке фарси (см.); автор касыд (од).
- Анка** — арабское название птицы Симураг (см.).
- Ануширван** — прозвище иранского шаха из династии Сасанидов Хосрова I (531—579).
- Арас** — река Аракс, правый приток Куры.
- Арасту** — см.: Аристотель.
- Аргамак** — породистая лошадь, скаковой конь.
- Ардашер** Саид-Хасан (1415—1488) — близкий друг и покровитель Навои,

- Ардашир I Папакан* — основатель иранской династии Сасанидов, первый шахиншах (226—241), герой «Шахнаме» Фирдоуси (см.).
- Аристотель* (384—322 до н. э.) — древнегреческий философ, воспитатель Александра Македонского, известный на Востоке под именем Арасту.
- Арктур* — небесное светило первой величины.
- Армен* — Армения.
- Арык* — оросительный канал.
- Асад* — созвездие Льва, пятый «знак» Зодиака (см.); солнце в его пределах появляется в июне — июле.
- Асафи* (ум. 1517) — поэт, писал на языке тюрки и фарси, жил в Герате.
- Астрабад* — город в Хорасане (см.), находившийся на окраине этого государства, место ссылки Навои в 1487—1488 гг.
- Атабек* — воспитатель молодого царевича, иногда регент.
- Атаи* — узбекский поэт, старший современник Навои, служивший при дворе Улугбека.
- Аттар* Фарид-ад-дин Мухаммад (1119—1230) — поэт и философ, писавший на языке фарси (см.); его наиболее известное сочинение — поэма «Язык птиц» — произвело сильное впечатление на юного Навои, который в конце своей жизни в «ответ» на сочинение Аттара написал свою поэму с таким же названием.
- Афлатун* — см.: Платон.
- Афридун* (Фаридун) — легендарный шах Ирана, потомок царя Джемшида; в союзе с кузнецом Кава одержал победу над тираном Зоххаком, убийцей Джемшида (см.).
- Ахриман* — в религии зороастризма имя злого духа, находящегося в вечной борьбе с творцом добра — богом Ормуздом. В поэме Навои «Фархад и Ширин» имя Ахримана присвоено дэву (см.), с которым сражается и которого побеждает Фархад.
- Ашканиды* — легендарная династия Древнего Ирана.
- Ашраф* (ум. 1450) — поэт, старший современник Навои, живший в Герате, автор «Хамсе», не получившей популярности.
- Аят* — стих Корана (см.), текст которого разделяется на суры (главы), а последние — на стихи.
- Бадахшан* — район Памира, славившийся добычей драгоценных камней — гранатов, рубинов.
- Базилик* (рейхан) — однолетнее эфиромасличное растение с приятным запахом.
- Байза* — золотая пластинка, единица денежного счета.
- Банг* — см.: бендж.
- Барк* — молния.
- Барлас* — человек из одноименного тюрко-монгольского рода, из которого происходил Тимур (см.).
- Бармак* — легендарная личность, известная среди арабов своей исключительной щедростью.
- Басма* — трава, сок которой служит средством для окраски бровей.
- Батман* — старинная мера веса; от 2,9 до 13,8 кг — в зависимости от местности.
- Батыр* (бахадур) — богатырь.
- Бахман* — легендарный царь Древнего Ирана, отец Дары (см.).
- Бахрам* — иранский шах Варахран V (421—438) по прозвищу Бахрам-Гур; с его именем на Востоке было связано множество ле-

- генд и сказаний; *Бахрам* — герой поэмы Навои «О семи скитальцах».
- Бахрейн* — группа островов в Персидском заливе, центр добычи жемчуга.
- Бейт* — двустипие, основная единица арабского стихосложения, перешедшая в персидскую, а затем и в тюркскую классическую поэзию.
- Бек* — правитель области, почетный титул знатных и богатых людей.
- Бела* — бедствие.
- Бенаи* (1453—1512) — персоязычный поэт, современник Навои, которого он ценил, но считал чрезмерно гордым.
- Бендж* (банг) — индийская конопля, сырье для приготовления сильного наркотического средства, а также название самого наркотика.
- Берберийцы* — народ, обитавший в Северной Африке.
- Би* — вторая буква арабского алфавита.
- Билькис* — возлюбленная пророка Сулеймана (см.), библейская царица Савская.
- Бобуль* — Вавилон.
- Бони* — легендарный строитель, непревзойденный мастер зодчества.
- Бош* — голова.
- Брахманы* (брамины) — каста священнослужителей в Индии.
- Букрат* — так называли на Востоке древнегреческого врача, основоположника научной медицины Гиппократ (466—365 до н. э.).
- Буртасы* — народы, обитавшие в Среднем и Нижнем Поволжье.
- Вазир* (везирь, визирь) — высшее должностное лицо при султанах, первый министр.
- Вай, вайли* — междометия, возгласы отчаяния.
- Вакал* — судебный чиновник низшего ранга.
- Вамык* и *Узра* — герои поэмы Унсур (см.) «Вамык и Узра», имена которых стали символом верной и самозабвенной любви.
- Газель* — лирическое стихотворение, чаще всего любовного содержания; состоящая из двустипий (бейтов), газель имеет сквозную рифму: каждая вторая строка бейта рифмуется с первым двустипием.
- Гази* — победитель в священной войне во имя веры, прозвище султана Абу-ль-Гази Хусейна Байкары (см.).
- Гариб* — дядя Навои по материнской линии.
- Гармала* (исрык) — ароматная трава, которой в сухом виде окуривают помещение.
- Гарун* — см.: Карун.
- Гаф* — название буквы арабского алфавита, начертание которой состоит из двух параллельных черточек.
- Гашиш* — смолистое наркотическое вещество.
- Гебр* — огнепоклонник, зороастриец, исповедующий древнюю религию Ирана зороастризм (см.: Зардушт).
- Герат* — древний город в Афганистане, в прошлом столица Хорасана (см.).
- Гильманы* — прекрасные юноши, которые ублажают праведников в раю.
- Гулистан* — цветник, сад роз.
- Гуль* — демон, злой дух, сбивающий путников с дороги, затем пожирающий их.

- Гульгун* — розовоцветный.
- Гур* — дикий осел, прозвище шаха Бахрама (см.).
- Гураган* — прозвище Тимура (см.).
- Гурия* — вечно молодая райская дева, красавица.
- Гурджи* — грузины.
- Гушгасп* — царь из династии Кейанидов (см.).
- Гюрза* — ядовитая змея пустыни, укусы которой смертельно опасны для человека.
- Гянджа* — древний город в Азербайджане (ныне Кировабад), родина Низами (см.).
- Давид* — полубог-получеловек, царь древних евреев (XI в. до н. э.), обладавший необыкновенным даром песнопения.
- Дал* (*даль*) — название буквы «д» арабского алфавита, представляющей собой ломаную линию; в поэзии — символ души и тела, согбенных под непосильным бременем.
- Дара* — иранский шах Дарий III Кодоман (335—330 до н. э.), последний правитель из династии Ахеменидов, царство которого было завоевано Александром Македонским.
- Дари* — новоперсидский язык.
- Дард* — боль.
- Дастан* — сказание, эпическое произведение.
- Дастархан* — скатерть; в переносном смысле — обильное угощение, трапеза.
- Дей* — десятый месяц солнечного иранского календаря (с 23 декабря по 21 января).
- Дервиш* — мусульманский монах, отшельник, зачастую странствующий.
- Джабраил* — посланник бога, несущий добрые вести; соответствует библейскому Гавриилу.
- Джам* — см.: Джамшид.
- Джамасп* — персидский мудрец, автор «Джамасп-наме» (см.).
- Джамасп-наме* — книга о зороастризме, приписываемая последователю Зардушта (см.), религиозному проповеднику Джамаспу, чья могила будто бы находится около деревни Кариде в Фарсе. «Джамасп-наме» считалась книгой, в которой предсказывается будущее.
- Джами* Нураддин Абдуррахман ибн Ахмад (1414—1492) — классик таджикско-персидской поэзии родом из местности Джам (от него происходит литературное имя поэта); учитель и друг Навои, автор семи поэм, составляющих цикл «Созвездие Большой Медведицы» («Хафт авранг»), трех диванов стихов и ряда других сочинений. Навои посвятил жизнеописанию Джамии книгу «Пять изумленных».
- Джамшид* (*Джам*) — мифический шах Ирана; согласно легенде, народ во время его правления жил в довольстве. Джамшид научил людей ремеслам, сооружению жилищ. У него была волшебная чаша, глядя в которую можно было рассмотреть все, что происходит в мире. Позднее, под воздействием демона Джамшид, возомнивший себя богом, приказал молиться себе и в результате был убит.
- Джан* — ласковое обращение: «душа моя», «дорогая».
- Джауз* — третий месяц солнечного мусульманского календаря, приходится на май — июнь.
- Джейхун* — старое арабское название Амударьи.

Джинн — злой дух.

Джумад — шестой месяц лунного мусульманского календаря, прихो-
дившийся на конец июня — июль.

Див — см.: дэв.

Диван — собрание лирических стихов, которые располагаются в ал-
фавитном порядке — по конечной букве последней строки. В дру-
гом значении диван — совет вельмож и высших чиновников сул-
тана или шаха.

Динар — золотая монета.

Дирхем — мелкая серебряная монета.

Дихкан — представитель низшей родовой земледельческой знати,
хранитель древних преданий.

Дромадер (дромедар) — одногорбый верблюд.

Дувал — глинобитный забор.

Дутар — двухструнный музыкальный инструмент.

Дэв (*див*) — злой дух.

Заль и *Сам* — персонажи эпоса Фирдоуси (см.) «Шахнаме», могу-
щественные витязи; Сам — дед, а Заль — отец Рустама (см.),
имевшего прозвище Дастан.

Занг, Зангибар (Занзибар) — страна чернокожих в Африке.

Зардушт — Заратуштра, или Зороастр (VII в. до н. э.) — основатель
зороастризма, религии древних иранцев, просуществовавшей до
VII в.; в этой религии большую роль играл культ огня (см.
также: Ахриман).

Зикр — ритуальный танец дервишей (см.), а также обряд призывания
бога посредством повторения его имени.

Зиндан — тюрьма, темница.

Зиндж — негр.

Зодиак — двенадцать созвездий, образующих пояс небесной сферы,
в пределах которого наблюдается видимое движение солнца и
планет. В старину Зодиак служил небесной «картой», по которой
определялись месяцы года.

Зуль-Карнайн — буквально: владыка двух концов мира, имя, упоми-
наемое в Коране и отождествляемое с Александром Македон-
ским.

Зуль-Фикар — название меча халифа (см.) Али, который был обою-
доострым и волнистым.

Зуннар — ритуальный пояс приверженцев зороастризма (см.: Зар-
душт); зуннаром назывался также пояс, носимый христианами —
подданными мусульманских правителей; надеть зуннар означало
отречься от ислама.

Зуннун (ум. 860 г.) — один из знаменитых представителей раннего
суфизма (см.).

Зухал — планета Сатурн (см.: Кейван).

Зухре (Зухра) — планета Венера, уподоблявшаяся в средние века
небесному музыканту; на старинных восточных миниатюрах изо-
бражалась в образе женщины с чангом (см.) в руках.

Изад (Изед) — см.: Яздан.

Изид (Иезид) — второй халиф (см.) династии Омейядов.

Иисус — см.: Иса.

Иклим — географические пояса Земли, части света (вся обитаемая
суша представлялась в виде семи иклимов).

Ильяс — мусульманский вариант имени библейского пророка Ильи;

- считался покровителем мореплавателей; на суше подобное благодеяние оказывает Хызр (см.).
- Имам* — мусульманский священнослужитель, глава религиозно-политической общины; настоятель большой мечети.
- Индиго* — краситель синего цвета для тканей растительного происхождения.
- Ирем* — сад, подобный райскому, который будто бы создал мифический тиран Шеддад.
- Иса* — арабская форма имени Иисуса, почитаемого мусульманами, как одного из пророков, живших до Мухаммада; Иса считается воскресителем мертвых, так как его дыхание будто бы обладало чудодейственной силой.
- Искандар* (Искандер) — Александр Македонский (356—323 до н. э.), древнегреческий полководец, чрезвычайно популярный в литературе Востока персонаж, наделяемый сверхчеловеческими свойствами.
- Искандария* — Александрия, город в Египте, основанный в 332—331 г. до н. э. Александром Македонским (см.: Искандар).
- Исфаган* — древний город в Иране, славился выделкой сабель и мечей.
- Исфагани* Абу Бекр Мухаммад (868—909) — персоязычный поэт.
- Исфраил* — ангел, который, по мусульманскому вероучению, звуками трубы возвестит о дне Страшного суда и воскресения из мертвых.
- Кааба* (Каба) — храм кубической формы в Мекке (см.), в нишу которого, находящуюся в восточном углу наружной стены, вделан Черный камень (метеорит), почитаемый мусульманами, как святыня.
- Кабарга* — разновидность небольшого безрогого оленя; из мускусных желез самца кабарги добывают мускус (см.).
- Кава* — кузнец, возглавивший восстание против иранского правителя, тирана Зоухака; персонаж эпопеи Фирдоуси (см.) «Шахнаме».
- Кавсар* — см.: Ковсер.
- Каган* — титул правителя государства у многих тюркоязычных народов периода раннего средневековья.
- Кадр* — Лейлат-ул-кадр, двадцать седьмая священная ночь рамазана (девятого месяца мусульманского календаря, в течение которого соблюдается пост); в эту ночь пророку Мухаммаду (см.) будто бы был ниспослан Коран (см.).
- Казан* — большой котел.
- Кази* — судья.
- Калам* — тростниковое перо — орудие письма.
- Каландар* — странствующий монах, живущий на подаяние.
- Калым* — выкуп за невесту, который платит жених ее родителям.
- Камфара* — дерево, цветущее ароматными бело-желтыми цветами, в древесине которого содержится камфарное масло; вещество это и его различные воздействия на организм человека издавна были известны в Средней Азии; в поэзии — символ белизны, седины и старости.
- Камча* — плетка, нагайка.
- Караван-сарай* — благоустроенное место остановки торговых караванов.
- Карнай* — духовой музыкальный инструмент в форме длинной трубы; на карнае играли в особо торжественных случаях, во время многолюдных праздников.

- Карун* — легендарный богач, прославленный своими несметными богатствами; его имя упоминается в Коране.
- Кари* — мера длины, подобная старорусскому «локтю».
- Касыда* — монорифмическое, дидактическое стихотворение или панегирик типа оды.
- Катиб* — писец, секретарь.
- Каф* — название высокой горы, обобщенный образ далеких и неприступных гор, отождествляемых иногда с горами Кавказа; каф — название буквы «к» в арабской письменности, начертание которой напоминает подкову.
- Кашмир* — область в Индии; в среднеазиатской поэзии — страна черноглазых красавиц.
- Каюмерс* — первый человек и первый правитель в древнеиранской мифологии.
- Кебаб* — мясо, жаренное на открытом огне, шашлык.
- Кей* — представитель легендарной династии Кейанидов (см.).
- Кейаниды* — легендарная династия иранских царей (Кей, Кей-Кобус, Кей-Кубад, Кей-Хосров, Лухрасп, Гуштасп, Бахман, Дара), в нарицательном значении — шахи.
- Кейван* — планета Сатурн; по представлениям астрологов, предвещала дурную судьбу, несчастье и беды.
- Кейдова страна* — страна Кейанидов (см.).
- Кей-Кубад, Кей-Хосров* — цари из династии Кейанидов (см.).
- Кемаль* — вероятно, шейх Кемаль Турбаты (ум. ок. 1491—1492 г.) — поэт, по отзыву Навои, красноречивый остроумец.
- Кенаф* — однолетнее растение (пенька, джут), после цветения чахнет.
- Кеш* — см.: Шахрисабз.
- Кирман (Керман)* — область на юго-востоке Ирана.
- Кият* — название одного из тюркских племен.
- Ковсер* — один из райских источников, упоминаемых в Коране (см.).
- Конграт* — название одного из крупнейших узбекских родов.
- Коран* — священная религиозная книга мусульман, представляющая собой записи речей и проповедей пророка Мухаммада (см.).
- Кубад* — см.: Кей.
- Кудс* — Иерусалим.
- Кулан* — дикий осел.
- Кулах* — головной убор знати, конусообразная шапка из войлока или меха.
- Кулзум* — Красное море.
- Кунжут* — однолетнее растение, из семян которого получают кунжутное масло.
- Кыбла* — направление в сторону Мекки (см.), куда мусульмане обращаются лицом во время молитвы.
- Кыпчаки* — древние тюркские кочевые народы, в русских летописях отождествляемые с половцами.
- Кыта* — короткое стихотворение афористического характера, состоящее из двух — пяти двустиший, связанных единой рифмой.
- Кыямат* — день Страшного суда и воскресения из мертвых в мусульманском вероучении.
- Кяфир* — неверный, немусульманин.
- Лал* — рубин.
- Лам* — буква арабского алфавита, имеет три начертания в зависимости от своего положения: Навои, очевидно, имеет в виду ее начертание в конце слова, где оно походит на букву «йот».

Лейли — см.: Меджнун.

Лукман — легендарный мудрец; ему приписываются различные изречения и афоризмы.

Лухрасп — царь Древнего Ирана, правил после Кей-Хосрова (см.: Кей); его отождествляли с Киром.

Мавераннахр — арабское название части Средней Азии — территории, расположенной между Амударьей и Сырдарьей.

Мавлана — почтительное обращение к образованным людям, буквально: «наш ученый».

Магриб — под этим названием на Востоке подразумевались страны Северо-Западной Африки и арабская Испания.

Мазандаран — южный Прикаспий, северо-восточная часть Ирана.

Майдан — площадь.

Майхана — питейный дом, кабачок.

Маком — мелодия.

Мангыты — узбекское племя.

Мани (ум. 244) — легендарный основатель религии манихеев, получившей распространение на Ближнем и Среднем Востоке; считался знаменитым художником.

Мария, Марьям — мать Исы (см.).

Махмуд Газневи (998—1030) — царь древнего Газневидского государства на Среднем Востоке.

Медаин — арабское название Ктесифона, древней столицы иранских царей династии Сасанидов, находившейся неподалеку от современного Багдада.

Меджлис — шахский прием, на котором читали стихи и слушали музыку.

Меджнун — буквально: «безумный», «одержимый»; имя героя народных сказаний и ряда классических поэм Востока (в том числе поэмы Навои), посвященных истории трагической любви юноши Кайса (прозванного Меджнуном) к прекрасной Лейли.

Медресе — среднее и высшее духовное училище в странах мусульманского Востока.

Мекка — священный город мусульман, религиозный центр ислама; расположен на Аравийском полуострове, на берегу Красного моря.

Меркурий (Утарид) — по восточным поверьям, эта планета считается покровителем наук; изображалась в виде писца.

Месневи — двустишие, в котором рифмуются обе строки; форма наиболее распространенная в крупных эпических произведениях; такими двустишиями написаны все поэмы Навои в его «Пятерице».

Мессия — то же, что Иса (см.).

Мешхеди — Султан Али Мешхеди, художник, каллиграф, переписчик произведений Навои.

Мешшате — служанка, наряжавшая и украшавшая свою госпожу.

Миль — верстовой столб, мера расстояния.

Мим — название арабской буквы, этой буквой начинается слово «мехнат», означающее: мученье.

Минарет — высокая узкая башня в мечети, откуда муэдзин (см.) пять раз в день призывает верующих к молитве.

Минбар — род кафедры, место проповеди в мечети.

Мир — эмир (см.).

Мирза — господин; употребленное после собственного имени слово «мирза» означает потомка шаха.

- Мирта** (мирт) — южное древесное растение, из плодов которого добывают эфирное масло, применяемое в парфюмерии и косметике.
- Мискал** — мера веса (в основном применялась в ювелирном деле и фармацевтике, где имели дело с микродозами).
- Миср** — Египет.
- Михраб** — ниша в стене мечети, лицом к которой обращаются молящиеся, так как михраб указывает направление в сторону Мекки (см.); с полукруглой аркой михраба в поэзии обычно сравниваются брови красавицы.
- Моисей** — см.: Муса.
- Муамма** — стихотворение типа шарады, в котором зашифровано чаще всего собственное имя.
- Муаммаи** (ум. 1491 или 1492) — поэт, современник Навои, виднейший мастер жанра муамма (см.), откуда происходит и выбранное им литературное имя.
- Муиё** — горная смола, содержащая биологически активные вещества; издавна применяется в народной медицине.
- Муса** — арабская форма имени библейского пророка Моисей, почитаемого и мусульманами.
- Мускус** — маслянистое ароматическое вещество черного цвета, добываемое из желез самца кабарги (см.); «татарский мускус» — высший сорт мускуса; в поэзии — символ благоухания и черного цвета.
- Мутриб** — музыкант и певец.
- Муфтий** — мусульманский правовед, толкователь шарии (см.).
- Мухаммад** (570—632) — арабский религиозный и государственный деятель, основатель ислама, почитаемый мусульманами как пророк.
- Мухаммас** — форма лирического стихотворения, состоящего из пятистиший и рифмующегося по схеме: аааб, ббба, ввва и т. д.; обычно три первых стиха каждой строфы принадлежат автору, два последних — цитата из поэтического произведения.
- Муштари** — планета Юпитер; считалась воплощением мудрости, в другом значении — покупатель.
- Муэдзин** — служитель мечети, призывающий с минарета верующих на молитву.
- Мюрид** — послушник; от мюрида требовалось безусловное подчинение воле своего духовного наставника (пира).
- Наво** — мелодия, напев; от этого слова происходит псевдоним поэта — Навои.
- Наджд** (*Нежд*) — плоскогорье в центральной Аравии, где расположены Мекка (см.) и Медина (см.).
- Надир** — точка небесной сферы, противоположная зениту.
- Най** — музыкальный инструмент, род флейты.
- Накумохис** — древнегреческий ученый Никомах, отец философа Аристотеля, учителя Александра Македонского (см.).
- Намаз** — обязательная молитва у мусульман, совершаемая пять раз в течение дня.
- Нар** — верблюд-самец, воплощение силы и мужества.
- Наргис** — цветок, похожий на человеческий глаз; традиционное поэтическое сравнение с глазами красавицы.
- Нард** — пахучее вещество, добываемое из корневища одноименного растения (из семейства валериановых), растущего в Гималаях.

- Нарды** — игра, заключающаяся в передвижении шашек по доске в соответствии с числом очков, выпавших на игральные кости.
- Наснас** — фантастическое существо, получеловек.
- Немёрод** — легендарный тиран.
- Низами** — Абу Мухаммад Ильяс Низами Гянджеви (1140—1202) — великий азербайджанский поэт и мыслитель, уроженец г. Гянджа (см.); создатель «Хамсе» («Пятерицы»), ставшей каноническим образцом подобного цикла поэм.
- Нимат Абад** — сад в Герате (см.).
- Нисан** — месяц апрель.
- Новруз** — новый год по мусульманскому календарю, приходящийся на день весеннего равноденствия — 22 марта; в широком смысле — весна.
- Ной** — в Библии десятый (последний) патриарх, живший будто бы 950 лет; родоначальник новых поколений людей после всемирного потопа; мусульманами почитается как пророк под именем Нуха.
- Нукер** — воин, дружинник.
- Нун** — буква арабского алфавита, близкая по произношению к звуку «н»; в поэзии символ изогнутости.
- Огар** — название тюркского племени.
- Огнепоклонник** — приверженец религии зороастризма; см.: Зардушт.
- Омин** — утвердительная частица в конце молитв и проповедей, означающая: истинно, верно (аналогична др.-евр. «аминь»).
- Онагр** — дикий осел.
- Ос** — вероятно, Осетия.
- Падишах** — царь, шах.
- Пазанда** — искусный кулинар.
- Паланкин** — кресло на носилках, которое носильщики поддерживали плечами; зачастую паланкин делался крытым.
- Парвиз** — см.: Хосров Парвиз.
- Панджа** — пятерня.
- Пенджаб** — географическая область в Индии и Пакистане, в древности знаменитый очаг индийской культуры.
- Пери** — райская красавица; синоним красивой женщины.
- Пехлеви** — староперсидский язык.
- Пир** — старец, духовный наставник у суфиев (см.).
- Платон** (ок. 427 — ок. 347 до н. э.) — древнегреческий философ, известный на Востоке под именем Афлатун; арабы и другие народы исламского Востока приписывали ему открытие законов струнной гармонии и певческий дар.
- Рабат** — постоянный двор.
- Раджа** — титул индийских правителей.
- Ребаб** — см.: рубаб.
- Редиф** — слово или сочетание слов, повторяющееся в конце стихотворной строки после рифмы.
- Рей** — древний иранский город.
- Рейхан** — см.: базилик.
- Ринд** — весельчак, кутила, вольнодумец.
- Рубаб** (ребаб) — 3—6-струнный музыкальный щипковый инструмент.
- Рубаи** — четверостишие, в котором рифмуются первая, вторая и четвертая строки.
- Руд** — струнный музыкальный инструмент.

- Руйн-Тен* — буквально: «обладающий бронзовым телом», прозвание неуязвимого в боях богатыря Исфендиара, героя «Шахнаме» Фирдоуси (см.).
- Рум* — Византия и некоторые части Малой Азии; иногда обозначение Запада вообще.
- Руми, румиец* — Искандар Румий, т. е. Александр Македонский.
- Рус* — суммарное наименование славян и сопредельно проживающих с ними тюркских и других народов.
- Рустам* — легендарный герой народных сказаний Древнего Ирана, могучий и благородный богатырь, воспетый Фирдоуси (см.) в «Шахнаме» (см.).
- Рута* — растение, наделявшееся магическими свойствами: его зернами окуривали «от дурного глаза».
- Рухуламин* — архангел, несущий добрые вести.
- Саади* Муслихаддин Абу Мухаммад Абдула ибн-Мушриф (между 1203 и 1208—1292) — персидско-таджикский поэт родом из Ши-раза, автор двух исключительно популярных произведений философского и дидактического характера: «Гулистан» и «Бустан».
- Сабзаварский Алим* — см.: Алим Сабзаварский.
- Садр* — друг Навои.
- Саз* — струнный музыкальный инструмент.
- Саид-Хасан Ардашер* — см.: Ардашер.
- Сакинаме* — «песни о виночерпии», по форме совпадающие с газелью (см.), единственной темой сакинаме является воспевание вина.
- Саклаб* — арабское наименование страны славян.
- Саксаул* — дерево пустынь, лишенное листьев.
- Саксин* — в средневековой восточной географии река, отделяющая Азию от Европы, — Урал или Волга.
- Саламандра* — фантастическое существо, подобное крысе, которое живет в огне и золе.
- Сам* — см.: Заль.
- Саман* — род необожженного кирпича из глины с примесью навоза или соломы.
- Саманиды* — независимая от халифов (см.) династия (825—999), стоявшая во главе иранского государства со столицей в Бухаре.
- Самум* — горячий ветер пустынь, обладающий разрушительной силой.
- Самшит* — вечнозеленое дерево или кустарник с мелкими листьями, живущее 500—600 лет; в поэзии — традиционное сравнение с человеческим стоном.
- Санавбар* — сосна.
- Санаи* Абу-ль Маджд Мадждуд ибн Адам (1070 — ок. 1130—1131) — персидско-таджикский поэт, автор ст-ний суфийского (см.) направления, поэмы религиозно-дидактического содержания «Сад истин».
- Сандал* — дерево; из него изготовлялась ценная утварь; древесина сандалового дерева сохраняла аромат, палочки сандалового дерева сжигались для получения благовонного дыма.
- Сардар* — военачальник, полководец.
- Сари* — город в Иране, древняя столица Мазандарана (см.).
- Сарган* — созвездие Рака, четвертый «знак» Зодиака (см.); солнце появляется в пределах этого созвездья летом.
- Сель* — ливневая или талая вода, несущаяся с гор и обладающая огромной разрушительной силой.

- Симург* — мифическая огромная птица, царь птиц, обитающая на легендарной горе Каф (см.), царь всех пернатых.
- Синд* — область в Северной части Индостанского полуострова.
- Сидра* — мифическое дерево, растущее на седьмом небе (о семи небесных сферах см. прим. 153).
- Сократ* — древнегреческий философ (ок. 469—399 до н. э.), в литературе средневекового Востока образ идеального мудреца.
- Сулейман* — арабская форма имени библейского царя Соломона; по преданию, он обладал перстнем, на котором было вырезано таинственное «высшее имя бога». При помощи этого перстня Сулейман будто бы обладал волшебной силой повелевать людьми, животными и даже духами.
- Султанат* — царство.
- Сунбул* — черное благоухающее растение; традиционное поэтическое сравнение с черными косами красавицы.
- Сура* — глава Корана.
- Суфизм* — мистическое направление в исламе, возникшее в VIII в. как форма мусульманского аскетизма, враждебная социальному и имущественному неравенству. К XIII в. еретическая тенденция суфизма значительно ослабла, приверженцы его стремились к непосредственному соединению с богом путем самоусовершенствования и мистического растворения своего «я» в абсолюте. Увлечению суфизмом отдали дань многие крупнейшие поэты Востока.
- Суфий* — буквально: «носящий власяницу», «аскет»; последователь суфизма (см.).
- Сухайли* — поэт XV века.
- Сухейль* — звезда Канопус, которой астрологи приписывали благотворное воздействие на человеческую жизнь.
- Табиб* — лекарь.
- Табут* — погребальные носилки.
- Тавр* — Таврида (Крым).
- Тай* — см.: Хатам.
- Тайласан* — молитвенная одежда.
- Таммуз* — месяц июль сирийского календаря, синоним лютой жары.
- Танур* — печь для выпечки хлеба.
- Тар* — музыкальный щипковый двухструнный инструмент.
- Тарджибанд* — строфическая форма, представляющая собой цепочку газелей (см.), каждая из которых связана с другим повторяющимся заключительным двустушием — своеобразным рефреном.
- Тимур* (Тамерлан или Тимурленг, 1336—1405) по прозвищу Гурган — среднеазиатский полководец и завоеватель, эмир, создатель огромного государства со столицей в Самарканде, основатель династии Тимуридов.
- Тиша* — земледельческое орудие, подобное кирке.
- Той* — свадебное пиршество.
- Туба* — дерево в райском саду.
- Тугмач* — название одного из тюркских родов.
- Тулпар* — волшебный конь в народно-поэтическом эпосе Средней Азии.
- Тулумбас* — барабан.
- Туман* — денежная единица; цифра 10 000; войско в десять тысяч человек, подразделяющееся на отряды по тысяче воинов в каждом.

Тун — город в Иране, горном районе южного Хорасана (см.).

Туран — территория за правым берегом Амударьи, населенная тюрками.

Тур-гора — гора в Аравии, на которую, по легенде, поднялся пророк Муса (см.), увидавший с ее вершины лик бога.

Турсук — кожаный мех.

Туяог — четверостишие со схемой рифмовки: ааба, реже: абвб.

Тюрк неба — так называли планету Марс, предвестницу, как считалось в средние века, войны; в восточной поэзии тюрк — синоним смелого воина, белокожего, красивого человека.

Угедэй — монгольский хан (1229—1241), третий сын Чингисхана (см.) и его преемник, при котором были осуществлены захватнические походы Батыя.

Улус — народ, страна.

Унсур Абу-ль-Касем Хасан ибн Ахмад (970 или 980—1039) — персидский поэт; служил при дворе султана Махмуда (см.) в Газне, автор поэмы «Вамык и Узра».

Усма — растительная черно-зеленая краска для волос и бровей.

Утарид — см.: Меркурий.

Фагфурчин — фарфор высшего качества из императорских мастерских (фагфуром называли китайского императора).

Файлакус — под этим именем в странах исламского Востока знали македонского царя Филиппа (359—336 до н. э.), отца Александра Македонского.

Факих — мусульманский законовед, а также священнослужитель, совершающий обряд бракосочетания.

Фанаи — поэт, современник Навои, родом из Мешхеда.

Фаранг — обобщенное наименование христианского Запада.

Фараон — в Коране злой, несправедливый царь.

Фард — строфическая форма, двустипные афористического характера, представляющее собой самостоятельное стихотворение; иногда употребляется в дидактической прозе для подчеркивания основного смысла.

Фарк — темя.

Фарр — ореол, сияние; величие, присущее царям.

Фарс (Фарсистан) — область в южном Иране; в древности большое могучее государство.

Фарси — персидско-таджикский язык.

Фархад — герой широко распространенного на Востоке сказания; история его трагической любви к прекрасной Ширин в самых разных вариантах пересказана многими персидскими и тюркоязычными поэтами, в том числе и в поэме Навои «Фархад и Ширин».

Фархар — мифический город, славившийся красотой своих жителей.

Феникс — волшебная птица, которая, согласно древнеегипетскому мифу, сжигала себя в пламени и возрождалась из пепла молодой и сильной.

Фаридун — см.: Афридун.

Ферьяби Захир (ум. 1202) — персидский поэт.

Фирдоуси Абулкасим (ок. 940—1020 или 1030) — персидско-таджикский поэт, автор уникального в мировой литературе грандиозного памятника — «Шахнаме» (см.).

Франкские края (Франгистан) — страна франков, т. е. европейцев.

- Хавран** — название области в Сирии.
- Хагани** Афзаладдин Ибрагим Али-оглы (1120—1199) — азербайджанский поэт из Ширвана (см.), писавший под псевдонимом Ширвани.
- Хади** (арабск.) — водитель, указывающий путь к истине.
- Хадис** — предания о речах и поступках пророка Мухаммада (см.).
- Хайбер** — Хайберский проход, горная теснина, через которую пролегает путь из Афганистана в Индию; через него вторглись в Индию войска Александра Македонского, Чингисхана, Тимура (см.).
- Хакан** — император древних тюрков; титул императора Чина (см.).
- Халеб** — Алеппо, город в Сирии.
- Халил** — прозвище мусульманского пророка Ибрагима (соответствует библейскому Аврааму); в нарицательном значении друг, приближенный.
- Халиф** — титул верховного правителя мусульман, обладающего и всей полнотой светской власти; после первых четырех халифов («преемников» пророка Мухаммада) Абу Бакра, Омара, Усмана, Али, которые назывались «праведными», главнейшими династиями халифов были Омейяды (661—749) и Аббасиды (749—1258); позднее халифы потеряли светскую власть.
- Хаман** — министр фараона (египетского царя).
- Хамсе** — «Пятерница», т. е. цикл из пяти поэм; знаменитые авторы «Хамсе» на Востоке: Низами (см.), Хосров Дехлеви (см.) и Навои. Джамии (см.) был автором «Семерницы».
- Ханака** — обитель дервишей (см.).
- Харабат** — развалины; в переносном смысле — место сбора религиозных фанатиков.
- Харадж** — налог, поземельная подать.
- Харам** — территория священных городов мусульман, Мекки и Медины, а также все священное для мусульман: внутренняя половина двора, специальная часть дома для самых близких.
- Харвар** — мера веса, равная грузу, поднимаемому одним ослом (от 100 до 400 кг).
- Хасан** Дехлеви Амир (1253—1327) — персоязычный поэт Индии суфийского (см.) толка.
- Хатам Тайский** — легендарное лицо, один из вождей арабского племени Тай, живший в доисламскую эпоху и прославившийся своей безмерной щедростью.
- Хатиб** — проповедник, читающий молитву в мечети, священнослужитель.
- Хиджаз** — область на Аравийском полуострове со священными городами Мединой и Меккой (см.); в другом значении хиджаз — мелодия.
- Хиджра** — название мусульманского летосчисления, началом которого считается переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину — 16 июля 622 г.
- Хинд, Хиндустан** — Индия.
- Хирман** — гряда зерна, скирд, гумно.
- Хито** — то же, что Чин (см.).
- Ходжа** — духовное лицо, почетный титул правоверного вообще, вежливое обращение к образованному человеку.
- Хорасан** — древняя страна, занимавшая территорию юга Средней Азии, Северного Афганистана и Восточного Ирана; в разные эпохи Хорасан входил в состав различных государств.
- Хорезм** — древняя страна в районе Хорезмского оазиса (низовья Аму-

- дарья и прилегающие к ней территории), ныне одна из областей Узбекской ССР).
- Хосров Дехлеви* (1253—1315) — персоязычный поэт родом из Средней Азии; жил и творил в Индии; автор «Хамсе» (см.).
- Хосров Парвиз* — главный герой поэм Низами (см.) и Хосрова Дехлеви (см.) «Хосров и Ширин». Прототипом его был одноименный иранский шах из династии Сасанидов (590—628); в поэме Навои «Фархад и Ширин» Хосров обрисован как тиран и захватчик.
- Хотан* — название области в Туркестане, откуда привозили красивых рабынь, шелка, мускус; синоним белизны и красоты.
- Худжра* — келья, комната; так назывались обычно кельи медресе (см.), где жили учащиеся.
- Хума* (Хумаюн) — сказочная птица счастья; на кого падает ее тень, тот становится царем или достигает желаемого.
- Хурджин* — матерчатая переметная сума.
- Хурмуз* — древний город на северном (иранском) берегу Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы.
- Хусейн* — внук пророка Мухаммада (см.).
- Хусейн Байкара* — см.: Абу-ль-Гази Хусейн Байкара.
- Хусейн Ибрагим* — сын султана Хусейна Байкары.
- Хусейни* — один из ладов узбекской народной музыки.
- Хутба* — проповедь, читаемая в мечети во время молитв по пятницам; в хутбе прославлялись правители.
- Хушенг* — иранский мифический царь.
- Хызр* — мифическое существо; во время путешествия в страну тьмы вместе с Искандаром (см.) Хызр нашел живую воду, напившись которой стал бессмертным. Хызр считался покровителем и спасителем заблудившихся путников; он символ вечно возрождающейся к жизни природы и бессмертия.
- Хурка* — одежда бедняков, рубище, власняница.
- Чанг* — музыкальный струнный инструмент, напоминавший арфу.
- Чигиль* — страна тюрок в восточной части Средней Азии и Казахстана; славилась красивыми женщинами.
- Чин* — Китай; в классической литературе Востока и в произведениях Навои — страна тюрок, не соответствующая современным географическим представлениям. Чин — страна восходящего солнца, где живут искусные художники, откуда привозят прекрасных рабынь.
- Чинар* (чинара) — многолетнее дерево из рода платановых.
- Чингисхан* (1155—1227) — монгольский хан и полководец, организатор грабительских завоевательных походов, создатель огромной державы, распавшейся после его смерти.
- Чинский* — китайский (см.: Чин).
- Човган* (чоуган) — клюшка для игры в мяч, напоминающей конное поло.
- Шакеристан* — место, где в изобилии растет сахарный тростник, заросли этого тростника; нарицательно: страна сладостей.
- Шайтан* — демон, сатана.
- Шам* — Сирия.
- Шариат* — свод мусульманских религиозных и юридических законов, основанных на Коране.
- Шафии* — поэт, современник Навои.
- Шах-заде* — сын царя, принц.
- Шахиншах* — «царь царей», титул иранского шаха.

«Шахнаме» — «Книга царей», монументальное творение персидского поэта Фирдоуси (см.), описывающее царствование пятидесяти легендарных и исторических царей Ирана и насчитывающее 110 тысяч стихотворных строк.

Шахрисабз (Кеш) — город в южном Узбекистане, буквально: «зеленый город», родина Тимура (см.), внуком которого был Абу-ль-Гази Хусейн Байкара (см.).

Шебдиз — вороной конь; Шебдиз — имя легендарного коня Хосрова Парвиза (см.).

Шейбал (шибл) — львенок.

Шейх — духовный наставник; глава мусульманской религиозной общины, секты, школы; употребляется также в качестве почетного титула духовного наставника, применительно к поэтам и ученым.

Шейх-уль-ислам — высший духовный титул в мусульманской религии.

Шербет — фруктовый сок.

Ширван — феодальное государство в северном Азербайджане, правители которого носили титул ширваншаха.

Ширин — см.: Фархад.

Шируйя (590—623) — сын Хосрова Парвиза (см.), шах из династии Сасанидов.

Эбен — тропическое дерево с древесной черного цвета; в поэзии — синоним черного цвета.

Эдем — земной рай, по библейской легенде; в переносном смысле — благодатный уголок земли.

Эмир — правитель, вельможа.

Юнан — Греция.

Юсуф — арабская форма имени Иосифа Прекрасного, который, по библейской легенде, был продан братьями в рабство. Приключениям Юсуфа и любви к нему Зулейхи посвящены многие литературные произведения на Востоке.

Ягач — мера расстояния, равная семи километрам или тройному расстоянию, в пределах которого может быть услышан крик.

Яджуджи — легендарные звероподобные племена, одержимые страстью к разрушению.

Яздан — бог, творец, древнее имя зороастрийского божества.

Яздигерд (Ездигерд) (ум. 420) — иранский шах из династии Сасанидов, отец которого Варахран V явился прототипом Бахрама Гура — героя поэмы Навои «О семи скитальцах».

Язид — имя злодея, узурпатора, убийцы Хусейна, внука пророка Мухаммада.

Ясриб — город Медина в Аравии, место погребения Мухаммада (см.), куда совершаются паломничества мусульман.

Ятаган — меч изогнутой формы.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Между с. 432 и 433.* Игра в чоуган. Рисунок в рукописи дивана Навои (Герат, конец XV в.). Музей Навои (Ташкент).

2. *На обороте.* Страница рукописи «Фархад и Ширин», переписанной в 1492 г. Султан Али Мешхеда. Отдел рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

3. *Между с. 464 и 465.* Ученики в школе. Рисунок в рукописи «Лейли и Меджнун» (Коканд, 1824). Музей Навои.

4. *На обороте.* Страница рукописи «Фархад и Ширин» (Кызылагач, 1596). Музей Навои.

СОДЕРЖАНИЕ

Великий мастер поэзии. *Вступительная статья Камиля Яшена . . .* 5

СТИХОТВОРЕНИЯ

«СОКРОВИЩНИЦА МЫСЛЕЙ»

ГАЗЕЛИ

ЧУДЕСА ДЕТСТВА

Переводы Е. Аксельрод

1. «Если со свечою дружбы ступишь на порог, мой друг...» 35
2. «Я возрожден твоим письмом, о, как я рад, поверь мне...» 35
3. «Камень горя привязала к телу без пощады ты...» . . . 36

Переводы Т.Боровковой

4. «Едва прижал к груди письмо — затрепетало сердце...» . . 37
5. «Клялся он, что друг мой верный, даже плакал от обиды...» 37
6. «За верность гнетом нас судьба вознаграждает часто...» . . 38

Переводы А. Голембы

7. «Узнай, с твоим лицом в разлуке мой каждый вздох костром возрос...» 39
8. «Мне внятны все ее слова, неуловим для взгляда рот...» . . 39
9. «Пользы мира ты не жаждай, ибо в нем лишь вред — не больше...» 40
10. «Я обезумел, закутавшись в шкуру оленью, — и только...» 41
11. «Нет, не только очи твои черны, о красавица черноокая...» 42
12. «Лишь взглянул на эту перь, очи прелестью пьяня...» . . 42
13. «Всё громче стон в моей груди, что пронзена твоей стрелой...» *Перевод В. Державина* 43

Переводы П. Железнова

14. «Всадник на соревнованье бьет тулпара по бокам...» . . . 43
15. «Без тебя разлуки пламя жжет меня за часом час...» . . . 44
16. «Верю я, что мертвых могут оживить рубины уст...» . . . 45
17. «Взор твой вдруг мрачнее ночи в гневе и презренье стал...» 45
18. «С удивленьем пальчик топкий на ее устах застыл...» . . . 46

Переводы В. Звягинцевой

19. «Что за пегий конь несется? С луноликой мчится он...» . . . 46
20. «Кипарис подобен розе увлажненной, — говорю...» . . . 47

Переводы А. Кронгауза

21. «С несчастным нищим говорить и шах не может дерзко...» 48
22. «Человеку дал горенье этот мир-хамелеон...» 48
23. «Меланхолия безбрежной забурлившего ручья...» 49

Переводы М. Курганцева

24. «Моя любимая с другим блаженство делит, как в раю...» 49
25. «Настало утро, я — в похмелье, мы оба — пленники вина...» 50

Переводы Н. Лебедева

26. «Мы — свиток времен предвечных, что мудростью озарен...» 51
27. «Я от скорби обезумел, одичал — и потому...» 51
28. «Я упьюсь вином и буду опьянением осиян...» 52
29. «Мечется в кругу дервишей, воеет в испступление шейх...» 52
30. «Словно зеркало, омыла ты лицо водой тоски...» 53

Переводы Д. Лукашевич

31. «Снарядила корабль — нам разлука опять суждена 53
32. «Как гарцует она! Как танцует под ней вороной!...» 54

Переводы А. Наумова

33. «В моем сердце твоя обломилась шальная стрела...» 54
34. «То ли щеки румянами красит вино...» 55
35. «Войди в мой темный дом, о джан, от смерти дай свободу...» 55
36. «Ах, в чертах у каждой пери оставляет росчерк шалость...» 56
37. «Лик — белой розы, косы — смоль, и тонкий стан — сам-
шит...» 57
38. «Горит свеча любви, и тает воском тело...» 57

Переводы Вс. Рождественского

39. «То не заросли тюльпанов — то стенанья пал огонь...» . . . 58
40. «Я дохну — и лик у девы станет зеркала мутней...» 58

Переводы А. Сендыка

41. «Не знаю, чем смог человек ненависть неба навлечь...» . . . 59
42. «Во мраке разлуки с тобой сгораю я, будто свеча...» . . . 59
43. «Когда повелела она любить и страдать вдали...» 60

Переводы С. Сомовой

44. «Те брови — лук. А их стрела летит в сердца-колчаны...» 60
45. «О ветерок, поведай мне о черноокой весть...» 61
46. «Очень горько, что подруга верным причиняет боль...» 62
47. «Бессильно сердце пред тобой, тебя я жду в печали...» 62
48. «Мне подруга повязала рану на груди платком...» 63
49. «Свеча горела в темноте. Свеча в слезах сгорела...» 64
50. «От поста и лицемерья избавляясь, пей вино...» 64

Переводы Т. Спендиаровой

51. «С холодным вздохом почему спускается по склону утро?...» 65
52. «Ушла, но глаз ее игра в душе моей осталась...» 65
53. «Всякий раз теряюсь, если, по пути меня тесня...» 66
54. «Говорю: „Лишь кудри могут излечить любовный бред“...» 66
55. «В драгоценном платье цвета ртути снова розоликая явилась...» *Перевод А. Старостина* 67

Переводы Н. Стефановича

56. «Не удивляйтесь, о друзья, что я тоской томим...» 68
57. «То не тюльпан, не запах трав вдруг ветер к нам принес...» 68

Переводы В. Тихомирова

58. «С минбара искусное слово лепил проповедник...» 69
59. «В невежестве погибла жизнь и в суете напрасно...» 70
60. «Я жажду близости твоей — приди, моя отрада!...» 70
61. «Если кровью изойду — этому виною ты...» 71
62. «Долго ли, себя казня, должен я о камни биться...» 71

Переводы Г. Ярославцева

63. «В гневе ты — любой поступок мой мученье для тебя...» 72
64. «Сто тысяч раз кинжал любви полосовал мне тело...» 72
65. «О, если бы в саду любви вступила страсть в свои права!...» 73

РЕДКОСТИ ЮНОСТИ

Переводы Е. Аксельрод

66. «Есть где-то пери, говорят, она красивей всех...» 74
67. «Вновь разлука обожгла, вновь тоской теснится сердце...» 74
68. «Чтоб свежей ты травой была в саду моем, хочу я...» 75
69. «Оставь скорей случайный кров. Пускай душа больна...» 75

Переводы П. Железнова

70. «Лик твой в бисеринках пота обретает новый свет...» 76
71. «Наступили дни разлуки, угрожает смертью рок...» 77

72. «Он любить мне запрещает, простодушный, кроткий шейх!..»
Перевод С. Иванова 77

Переводы А. Кронгауза

73. «Не придет она — из тела мое сердце выйдет...» 78
74. «Небосвода грудь сияет солнцем, звездами, луной...» 79

Переводы Н. Лебедева

75. «Я отвел глаза от милой, боль тревог — возмездье мне...» 79
76. «Нет! Не нарциссы те глаза! Нарциссы разве палачи?...» 80
77. «Познал вино — и от глупцов, от их речей свободен я...» 80

Переводы В. Липко

78. «Друзья! Надежда на свиданье сожгла мне грудь, лишила
сил...» 81
79. «Меня покинув, чаровница теперь смеется надо мной...» 82
80. «Прямого, искреннего друга искал я много лет подряд...» 83

Переводы Н. Панова

81. «Враг пожалеет иногда, но не разделит горе друг...» 83
82. «Царь вселенной на востоке расстелил потоки света...» 84
83. «Я буду очень удивлен, что соблюдает верность...» 85

Переводы Вс. Рождественского

84. «Скажу ль, что уст твоих шербет мне как родник воды
живой...» 86
85. «В мечтах увидя шелк ресниц, я из-за них страдать готов...» 86
86. «На мускус родинка похожа — как будто предо мной —
индус...» 87
87. «Из сердца вынута стрела со вздохом горестным моим...» 88
88. «Зачем, о солнце, словно тень, тобою я гоним?...» 88
89. «Сердце, полное печали, взял красавиц легкий строй...» 89
90. «Я хотел, чтобы подруга в сердце радость мне несла...» 89
90. «Узор твоих волнистых строк теперь в душе моей живет...»
Перевод С. Северцева 90

Переводы Н. Ушакова

92. «Как меня б ты ни терзала — буду молча я терпеть...» 91
93. «У любимой на пиру, милый музыкант, играй...» 91
94. «Двух зубов мне не хватает, но какая это щель!...» 92
95. «Пусть из праха моего, тот, кто любит, сленит печь...» 92
96. «Я хочу, чтоб был счастливым и богатым мой народ...» 93
97. «Камни милая бросает. Что с моею головой?...» 93

Переводы А. Файнберга

98. «Кто в любви бывал несчастен и страдания узнал...» . . . 94
99. «У тебя халат зеленый, пуговицы золотые...» 95
100. «Осрамился я — но пьяный сок земной тому причиной...»
Перевод С. Шервинского 96
101. «Твоей неверностью, увы, терзаюсь постоянно...» *Перевод*
Г. Ярославцева 96

ДИКОВИНЫ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

102. «Неблагоклонная моя несправедливой быть решила...»
Перевод А. Голембы 97

Переводы П. Железнова

103. «Кипарис розоволикий, гордо в сад выходишь ты...» . . . 98
104. «Коль возлюбленная пери у бродяги где-то есть...» . . . 98
105. «Горе мне! Огонь разлуки налетел и тело сжег...» . . . 99
106. «Всё чудесно осветилось, будто Хорасана край...» . . . 99
107. «Трудно чувством твоим слабым мою душу возродить...» 100

Переводы С. Иванова

108. «Умолкнул пред твоею красою разум...» 100
109. «Всегда он в обуви грубой, с небрежной чалмой, — гру-
биян...» 101

Переводы Н. Лебедева

110. «Ах, наполнил мальчик чаши влагой светлую, и вот...» . . . 102
111. «Ну так что ж, коль в сердце милой восемнадцать тысяч
смут?..» 102
112. «В час, когда глаза любимой в памяти моей кружат...» . . . 103
113. «Если жив я, эти стоны надо мною почему?..» 103
114. «Голова моя разбита, я — Меджнун, безумен я...» . . . 104
115. «Размоет ли зданье сердца беды и скорби река?..» . . . 104
116. «По нежности твое лицо — и роза, и цветущий сад...» . . . 105
117. «Брызжет в черный мускус ночи белым серебром зима...» 105
118. «Искрой солнца озарила ты мой бедный кров, свеча...» . . . 106
119. «Вокруг твоих очей-убийц стоят в засаде круговой...» . . . 107
120. «Щеки — розы. Над щеками увлажненный локон твой...» 107

Переводы А. Наумова

121. «Все красавицы, что страстью сердце мучат нам, — ка-
призны...» 108
122. «Скажи я всё, что в сердце скрыл, — земля запыляется...» 108
123. «Своим письмом ты боль мою не уняла ни разу...» . . . 109
124. «Я на пиру не от вина — от дум о ней пьянею...» . . . 109
125. «О, чашей стань хоть солнца круг — что сок сладчайший
в чаше...» 110

126. «Когда любовь тебя свела на нет, от благочестья жалкого — что пользы?..» 111
 127. «Из груди отверстой выйдя, страсть мой разум подожгла..» 112
 128. «Мне в час, когда блеснет звезда, на ум луна приходит..» 113
 129. «Мне суждены скитанья, и знанье..» 113
 130. «Рубину губ, убийце моему, моей души отторженной не нужно..» 114
 131. «Живописец, к портрету ее пририсуй меня тоже, дивясь!..»
Перевод Ю. Нейман 115

Переводы Вс. Рождественского

132. «Я, с тобою разлученный, горестным иду путем..» 115
 133. «На ее щеке девичьей темной родинки пятно..» 116
 134. «Эти губы, чья улыбка зажигает блеск очей..» 116
 135. «Человек в любви не видит тьмы мучения, как я..» 117
 136. «Лик явив мне, словно пламя, ты сама мой дом сожгла..» 118
 137. «От страдания в разлуке лик иссохший мой — айва..» 118
 138. «С прикосновеньем губ твоих душа бессильна и больна..» 119
 139. «Что о муках знают шахи, чей парчой горит наряд?..» . . . 119
 140. «Певец, узнав мою тоску, спой мне о ней в печальный час..» 120
 141. «О жестокая, до пепла тело ты мое сожгла..» 121
 142. «Дождусь ли светлого я дня, когда ко мне она придет..» 121

Переводы Т. Стрешневой

143. «Тебя увидя в цветнике, смутясь, затрепетала роза..» . . . 122
 144. «Связь с городами я порвал, от шума их я отказался..» 122
 145. «Если встречи долгожданной человек, волнуясь, ждет..» 123

Переводы Г. Ярославцева

146. «Позором жалости твоей смущаюсь каждый день я..» . . . 123
 147. «И мертвый бы воскреснуть мог от тех бесценных слов..» 124

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ СТАРОСТИ

148. «Если сердце вспыхнет гневом — вся вселенная сгорит..»
Перевод П. Железнова 124
 149. «В мой дом, разгорячась, вбежала с вечернею звездой она..»
Перевод В. Звягинцевой 125

Переводы С. Иванова

150. «Моя безумная душа в обломках сломленного тела..» . . . 126
 151. «Она ушла, покинув пир, и села на коня, хмельна..» . . . 126
 152. «Мой жар растопит и свечу — не только мотыльков сожжет..» 127
 153. «Ты ношей горестей мой стан, как чанг, горбатым сделала..» 128
 154. «О сердце, про мою беду моей жестокой расскажи..» . . . 129

155. «Я луноликой бы не смог и слова молвить за сто лет...» 129
 156. «Хоть борды телом и душой бывают старики...» 130
 157. «Моя душа — как властелин, она — султан в стране мечты...» 131
 158. «В пустыне горьких мук любви, безумец, я сожжен разлукой...» 131
 159. «В огне измен душа от слез и от тревог сгорает...» 132
 160. «У твоего жилья, озлясь, подняли вой собаки...» 133
 161. «В моих слезах — из сердца кровь, поток их красным кажется...» 133
 162. «О, не врачуйте сердце мне, оно от муки омертвело...» 134
 163. «У пери — точка вместо уст, бог дал ей чудо чуд — уста...» 134
 164. «За мною дети вслед бегут, жестоко бьют камнями...» 135
 165. «В болтовне неисчерпаем, кладезь сладких слов — болтун...» 136
 166. «Отрекся я от уз любви. Гоните прочь меня скорей...» 136
 167. «Секрет влюбленности — у тех, кто раб ее оков, спросите...» 137
 168. «Пустословя на минбаре, вволю чешет шейх язык...» 138
 169. «На ее пути я лягу прахом — взвейся надо мною, ветерок!...» 139
 170. «Ее краса — диван стихов, в нем брови в первый стих слились...» 140
 171. «Сверкнула в темноте ночной краса ее чела — свеча...» 140
 172. «В печальном сердце от любви такая тяжесть мук...» 141
 173. «Что жизнь мне? — Речь твоя, живое слово — лучше...» 141
 174. «Друзья, мой стройный кинарис вы среди роз в саду спросили б...» 142
 175. «Ах, от печали умер я — жестокая моя, приди!...» 143
 176. «Украшишь ты свой наряд красным, желтым, зеленым...» 143
 177. «Когда я сердцем и душой изведаль от людей печаль...» 144
 178. «Я в юности старцам служил, в послугах сгибаясь спиной...» 145
 179. «Не диво, если кровью слез людское зло грозит всегда...» 146
 180. «Я бью себя камнями в грудь в смертельном гнете каждый миг...» 146
 181. «Я странником пустился в путь, чтоб жар любви во мне иссяк...» 147
 182. «Любовь к одним благоволит, других — корит хотя бы...» 148
 183. «Когда, тоскуя по тебе, я розу в цветнике возьму...» 148
 184. «Я явой платок держал в руке и слез сдержатъ не мог тогда...» 149
 185. «Твердят любимой обо мне то ль правду, то ли ложь теперь...» 150
 186. «Когда тюльпаны зацветут на брошенной моей могиле...» 150
 187. «Поверь, никто не претерпел такой напасти злой, как я!...» 151
 188. «Кто на стезе любви един, в ком суть одна жива...» 152

Переводы Н. Лебедева

189. «Душа бедою сражена, разбойница моя!...» 152
 190. «Зверя дикого поймала тех кудрей густая сеть...» 153

Переводы Вс. Рождественского

191. «Уже белеет голова, да и зубов уж многих нет...» 153
 192. «Будь жестокой или нежной — весь я твой, душа моя...» 154

193. «Улыбки всем расточая, мне ты не улыбнулась...» *Перевод А. Сендыка* 154
 194. «О кравчий, всё, чем я богат, всё в чаше той заключено...» *Перевод З. Тумановой* 155

Переводы С. Шервинского

195. «Не спросила — сердце друга трепетать давно ли стало?..» 156
 196. «Пусть сто тысяч звезд-жемчужин сыплет с высей небосвод...» 156
 197. «Как от вздохов безнадежных дым струится, посмотрите!..» 157

МУХАММАСЫ

Переводы С. Иванова

198. «Позабыт моим кипарисом, я грущу всё сильнее в разлуке...» 157
 199. «О, не была б твоя краса такой прекрасной никогда...» 159
 200. «Ах, любимую покинут я жестоко напоследок!..» 160
 201. «О, сколько дней ты не со мной, отторгнул грозный рок тебя...» 162
 202. «Лик явив, столикой мукой разве сердце не гнела ты?..» 163

Переводы Н. Лебедева

203. «Где тополь мой? О, горе мне! Я с нежным станом разлучен...» 164
 204. «Кто твои увидел кудри, тот навек тоской пленен...» 165

ТАРДЖИБАНД

Переводы Т. Спендиаровой

- 205—214
 «О кравчий, утром принеси, прошу, того вина...» 166
 «О чаше радостную весть ты принеси мне в срок...» 167
 «Глоток осадка в черепке — вина ничтожный след...» 168
 «Хотел бы в этом мире я иметь красивый дом...» 169
 «В ту пору постоянно был я грустен и влюблен...» 169
 «Где схожий с розою лицом прекрасный кравчий мой?..» 170
 «В угаре винном сам не свой я постоянно был...» 171
 «Опять из гордости тяну осадок терпкий тот...» 172
 «Стал вновь любимый пить вино. Снести мне это как?..» 172
 «Как не признать мне, что вино — мой самый верный друг...» 173

МЕСНЕВИ

215. (Послание к Саид-Хасану Ардашеру). *Перевод С. Иванова* 174

САВИНАМЕ

Переводы Вс. Рождественского

216.	«О кравчий, кубок царственный подай...»	180
217.	«О кравчий, в чашу мне налей вино...»	183
218.	«О кравчий, дай мне пьяное вино...»	184
219.	«О кравчий, сладость кто душе нальет?...»	184
220.	«О кравчий, чашу-зеркало налей...»	185
221.	«О кравчий, чашу-море дай мне пить...»	187
222.	«О кравчий, дай мне небытия...»	188
223.	«О кравчий, по-ирански лей вино...»	190
224.	«О кравчий, дай скорей вина любви...»	191
225.	«О кравчий, дай мне хоть один глоток...»	193
226.	«О кравчий, поднеси, как друг, вина...»	195
227.	«О кравчий, я прошу тебя, полней...»	196
228.	«О кравчий, отдыхая от забот...»	197

КЫТА

Переводы С. Иванова

229.	«Старайся этот мир покинуть так...»	198
230.	«Пусть в сад твоей души негодник не заглянет...»	198
231.	«Невежда в страхе жизнь провел...»	198
232.	«Что золото-серебро! От них — лишь порча рук...»	199
233.	«Когда я в тишине лечу души недуги...»	199
234.	«Кто сокрушил в себе прибежище гордыни...»	199
235.	«Со мной в походе два коня...»	199
236.	«Из тысячи один поделится с другим...»	199
237.	«Я, жар души в стихи вдохнув, мечтал...»	200
238.	«В диване шах печать мне поручил...»	200
239.	«Бывает так, что странный в ином сидит задор...»	200
240.	«Не разделяйте трапезу с тираном...»	200
241.	«Учтивость привлекательна вдвойне...»	200
242.	«Не позволяй лъстцам себя завлечь...»	201
243.	«И в тысяче ответов будь правдив...»	201
244.	«Как женский лик, сияя вдалеке...»	201
245.	«Ты благороден, ты умом высок...»	201
246.	«Болтливым с любопытными не будь...»	202
247.	«Есть выродки, чьи свойства, как ни прядь...»	202
248.	«Не внемлет он словам, как сил ни трать...»	202
249.	«Бывает так, что, спеси полн, болван...»	202
250.	«Далекий дым, а не манящий свет...»	202
251.	«Когда холоп отставлен, а без зова...»	203
252.	«За темнотой придет сиянье света...»	203
253.	«От всех венцов — одна доюка нам...»	203
254.	«Когда богатств души ты уберечь не смог...»	203
255.	«Хулит монах сородичей народ...»	203
256.	«Уж если об ином молва пошла...»	204
257.	«Я столько от друзей обид терпел...»	204
258.	«Среди искусств такое есть уменье...»	204
259.	«Прекрасен дом, в котором есть жена...»	204
260.	«О Навон, не дай взойти корысти зернам...»	204

261.	«Заводишь речь — скажи лишь половину...»	205
262.	«Два пса борзых охотились на льва...»	205

РУБАИ

Переводы С. Иванова

263.	«То море плещет, ценный дар скрывая...»	205
264.	«За то письмо я жизнь отдать бы смог...»	205
265.	«Когда тебя народ виной корит...»	205
266.	«Когда я гнал вином печаль забот...»	206
267.	«Когда, порвав с людьми, я вырвался из пут...»	206
268.	«Здесь розы нет, а мне о ней твердят!...»	206
269.	«О ветер! Полетишь за милую моей...»	206
270.	«Укрывшийся в горах от мира человек...»	206
271.	«Сильней души моей тебя люблю я, жизнь...»	206
272.	«Сто тягот сердцу принесла разлука...»	207

ТУЮГИ

Переводы С. Иванова

273.	«То — губ нектар ли, глаз твоих алмазная слеза ли?..»	207
274.	«Стрела обиды в грудь впилась и сердце мне задела...»	207
275.	«Дугою бровь — как меткий лук: стрелу мне брось навстречу!..»	207
276.	«Рубины губ ее — огонь, они мне душу жгут...»	207
277.	«Нет, ты не роза, я правдив в сравненье этом смелом...»	208
278.	«Кинжал разлуки в эту ночь затеял пир и справил...»	208
279.	«Пока любимая в Сари, грустить не перестану...»	208
280.	«Бальзам для ран я не нашел, страницы книг листая...»	208
281.	«Жестокий град коварных стрел мне душу поражал...»	208
282.	«Мой взор состарила слеза, в мученьях пролитая...»	209
283.	«Чтоб ей сказать: «Не уходи, уста я растворил...»	209

ФАРДЫ

Переводы Вс. Рождественского

284.	«Всё отдать, себя лишая, — это щедрость свыше мер...»	209
285.	«Дородность тела — нам всегда отягощает бытие...»	209
286.	«Обманщик должен быть хитер, внимания не привлекать...»	209
287.	«Тот, кто учтив и кто не скуп, вдвойне свой одарил народ...»	209
288.	«От людей звероподобных ждать привета и добра...»	210
289.	«Знай — обирающий народ бывает алчным до конца...»	210
290.	«Знай — настоящий тот глупец, кто вечности от мира ждет...»	210
291.	«Кто тебе приносит сплетни, не щадя в них никого...»	210
292.	«Друг обвинит — молчи: он хочет, чтоб в зеркало упал твой взгляд...»	210
293.	«Разбито сердце, дом терпенья вот-вот на землю упадет...»	210
294.	«В этих полных горя вздохах траур жизни я таю...»	210

ПОЭМЫ
«ПЯТЕРИЦА»

СМЯТЕНИЕ ПРАВЕДНЫХ

Перевод В. Державина

Глава XIV. О слове	213
Глава XV. Несколько слов о том, что в слове содержание является его душой, а без содержания форма слова — тело без души	217
Глава XXVI. Третья беседа. О султанах	221
Глава XXVII. Рассказ о султани и старухе	228
Глава XXVIII. Четвертая беседа. О лицемерных шейхах	230
Глава XXX. Пятая беседа. О щедрости	237
Глава XXXI. Рассказ о Хатаме Тайском	243
Глава XXXII. Шестая беседа. О благопристойности	245
Глава XXXIII. Рассказ о стыдливости Ануширвана	251
Глава XXXVI. Восьмая беседа. О верности	253
Глава XXXVII. Рассказ о двух влюбленных	260
Глава XL. Десятая беседа. О правдивости	262
Глава XLI. Рассказ о птице — лгуне тураче	267
Глава LVI. Восемнадцатая беседа. О ценности жизни	270
Глава LXIII. Заключение	277
Рассказ о рабе	286

ФАРХАД И ШИРИН

Перевод Л. Пеньковского

Глава XII. Рождение Фархада	288
Глава XIII. Воспитание Фархада	293
Глава XIV. Обреченность Фархада	298
Глава XVI. Отделка дворцов	303
Глава XVIII. Хакан предлагает Фархаду свой трон	310
Глава XIX. Зеркало Искандара	319
Глава XX. Фархад мечтает о подвигах	325
Глава XXI. Поход в Грецию	329
Глава XXII. Фархад убивает дракона	337
Глава XXIV. Фархад добывает зеркало мира	343
Глава XXV. Фархад у Сократа	350
Глава XXVI. Видение в зеркале Искандара	359
Глава XXVII. Врачи посылают Фархада на острова	365
Глава XXVIII. Кораблекрушение	370
Глава XXIX. Спасение Фархада и встреча с Шапуром	376
Глава XXX. Фархад с Шапуром прибывают в страну Армен	386
Глава XXXI. Встреча Фархада с Ширин	394
Глава XXXII. Ширин влюбляется в Фархада	402
Глава XXXIII. Фархад заканчивает арык и строит замок для Ширин	407
Глава XXXIV. Праздник водопуска	414
Глава XXXVI. Сватовство Хосрова	421
Глава XXXVII. Михин-Бану отказывает Хосрову	426

Глава XXXVIII. Нашествие Хосрова на страну Армен . . .	433
Глава XL. Пленение Фархада	439
Глава XLI. Допрос Фархада Хосровом	445
Глава XLV. Письмо Ширин к Фархаду	455
Глава XLVIII. Колдунья обманывает Фархада	462
Глава LI. Смерть Ширин	467
Глава LII. Бахрам восстанавливает мир в стране Армен . . .	477

ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН

Перевод Т. Стрешневой

Глава V	486
Глава VI	490
Глава IX	492
Глава X	500
Глава XI	504
Глава XII	513
Глава XV	521
Глава XVI	525
Глава XVII	528
Глава XVIII	535
Глава XIX	540
Глава XX	545
Глава XXI	551
Глава XXII	558
Глава XXIII	564
Глава XXIV	568
Глава XXV	574
Глава XXVI	584
Глава XXVII	589
Глава XXVIII	595
Глава XXX	603
Глава XXXI	611
Глава XXXIII	619
Глава XXXIV	627
Глава XXXV	632

О СЕМИ СКИТАЛЬЦАХ

Перевод А. Щербакова

Глава XII	645
Глава XIII	655
Глава XIV	661
Глава XV	666
Глава XVI	673
Глава XVII	678
Глава XVIII	684
Глава XIX	690
Глава XXIV	694
Глава XXV	695
Глава XXXII	722

Глава XXXIII	723
Глава XXXIV	747
Глава XXXV	754
Глава XXXVIII	760

СТЕНА ИСКАНДАРА

Перевод В. Державина

Глава XV	769
Глава XVI	777
Глава XXIII	780
Глава XXIV	798
Глава XXV	802
Глава XXVI	804
Глава XXVII	805
Глава LXVIII	830
Глава LXXVII	840
Глава LXXXIX	857
Примечания	873
Словарь	891
К иллюстрациям	907

Навои

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1983, 920 стр. План выпуска 1981 г. № 433. Художник *И. С. Серов*. Редактор *В. С. Киселев*. Худож. редактор *А. С. Орлов*. Техн. редактор *Е. Ф. Шараева*. Корректор *Е. Я. Лапкин*. ИБ № 2597. Сдано в набор 22.02.83. Подписано к печати 15.06.83. М 35076. Формат 84×108^{1/32}. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 48,52. Уч.-изд. л. 41,30. Тираж 40 000 экз. Заказ № 1058. Цена 3 р. 60 к. Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.

